

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России



Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Саша Чёрный

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века



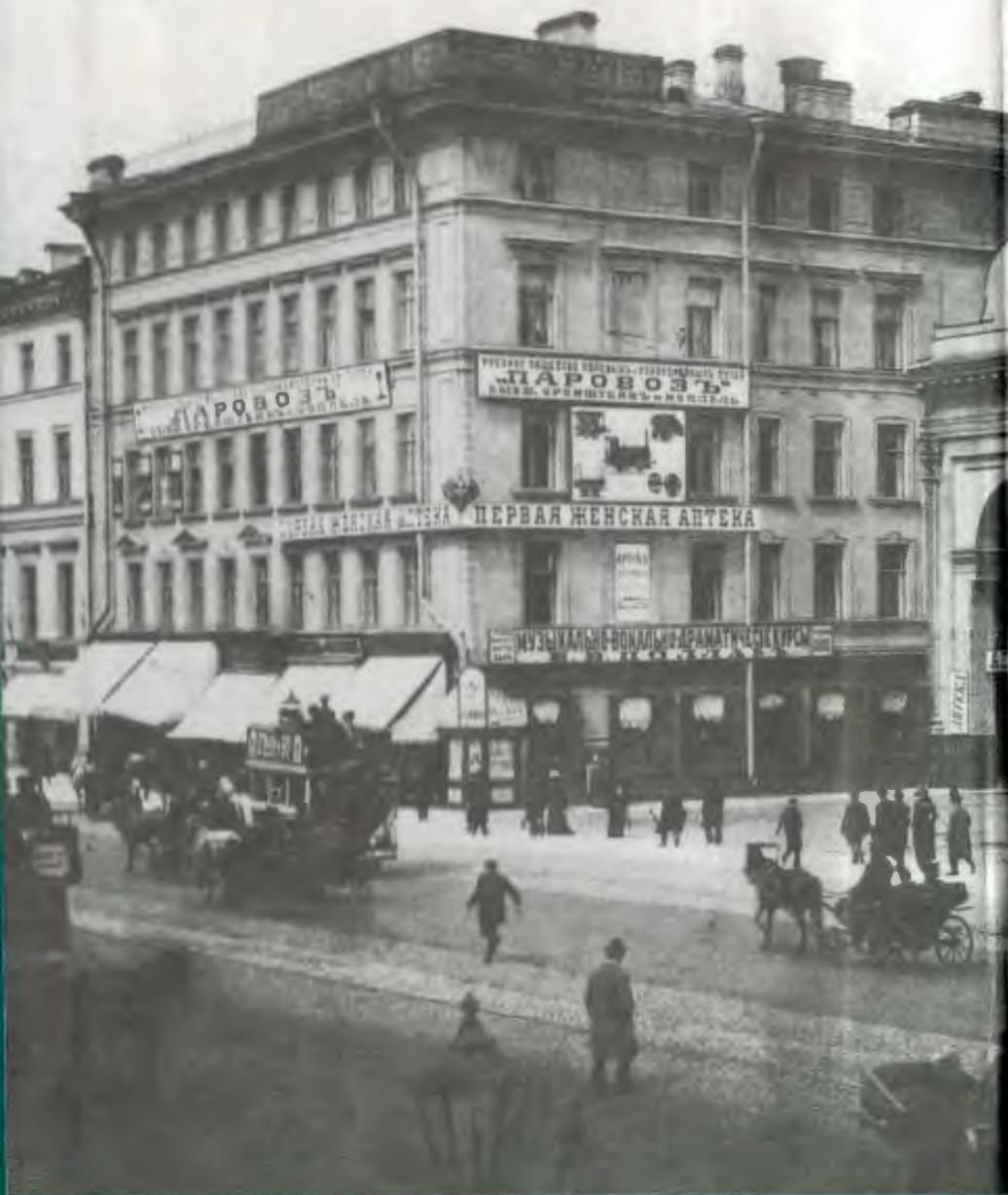
Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века



ПАРОВОЗЪ

ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР  
ПАРОВОЗЪ  
ВЫСШ. СПЕЦИАЛЬН. ИСКУССТВО

ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ АПТЕКА ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ АПТЕКА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ БОНАНЫ И ПАНАТЫ ВСЯК КИСК







Антология Сатиры и Юмора России XX века



САША ЧЕРНЫЙ

11

Антология Сатиры и Юмора России XX века

---

Саша Чёрный

---

«ЭКСМО» 2004

УДК 882  
ББК 84(2 Рос-Рус)6-4  
Ч 49

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА  
Саша Черный

Серия основана в 2000 году



*С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»*

Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Владимир Войнович,  
Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,  
Лев Новоженев, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,  
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак

**Саша Черный**

Ч 49 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 30. — М.:  
Изд-во Эксмо, 2004. — 704 с., илл.

УДК 882  
ББК 84(2 Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-05152-X (т. 30)  
ISBN 5-04-003950-6

© С. С. Никоенко, предисловие,  
составление, 2003  
© Кушак Ю. Н., составление, 2003  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2004

# Содержание

Ст. Никоненко. Светлая душа	16
Саша Черный — прозаик	27
НЕСЕРЬЕЗНЫЕ РАССКАЗЫ	
Третейский суд	29
Московский случай (Рассказ обывателя)	44
Самое страшное	54
Испанская легенда	59
Экономка	65
Изобретатели	71
Иллинойсский богач	77
Диспут	83
Патентованная краска	88
Полная выкладка (Подлинное происшествие)	93
Колбасный оккультизм (Рассказ делового человека)	102
Купальщики	110
Буйабес	115
Замиритель	121
Сырная пасха (Рассказ эмигранта)	126
Треческий самодур	130
Письмо из Берлина	135

## СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ

Королева – золотые пятки 139

Антигной 148

Ослиный тормоз 159

Кавказский черт 164

С колокольчиком 175

Кабы я был царем 180

Корнет-лунатик 191

Бестелесная команда 202

Солдат и русалка 213

Армейский спотыкач 217

Муравьиная куча 227

Мирная война 237

Скоропостижный помещик 243

Сумбур-трава 254

Антошина беда 265

«Лебединая прохлада» 271

Безгласное королевство 281

Штабс-капитанская сласть 292

Кому за махоркой идти 303

(Солдатские побрехушки)

Правдивая колбаса 309

Катись горошком 319

## РАССКАЗЫ, НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГИ

Друг 331

Ракета (Пасхальный рассказ) 342

Клещ 346

Млечный Путь (Назидательный рассказ) 354

Птичка	359
Кофе по-турецки	363
«Тихое кабаре»	370
Комариные мощи	377
Мелкоземельный грипп	384
Буба	394
Акажу	399
У моря	402
Уютное семейство	405
Страшный сон	415
Насхальный сюрприз	417
«Илья Муромец»	429
Саша Черный — поэт	441
ИЗ КНИГИ «САТИРЫ»	
Ламентации	443
Пробуждение весны	444
Анархист	445
Пошлость. Пастель	446
Потомки	448
Крейцера соната	449
Отъезд петербуржца	450
Искатель (Из дневника современника)	451
Опять...	452
Культурная работа	453
Желтый дом	454
Зеркало	455
Интеллигент	456

	1909	457
Новая цифра.	1910	459
Диета		460
Мясо (Шарж)		461
Всероссийское горе		463
Обстановочка		465
Служба Сборов		465
Насхальный перезвон		467
Городская сказка		467
В гостях (Петербург)		469
Европеец		470
Мухи		471
Кухня		473
В редакции «толстого» журнала		473
Стилизованный осел (Ария для безголовых)		475
Недоразумение		476
Переутомление		477
Нетерпеливому		478
Недержание		478
Сиропчик		479
Манургова муза		479
Вешалка дураков		480
Баллада		
(Из «Sinngedichte» Людвига Фульда)		482
После посещения одного		
«Литературного общества»		482
Трагедия		483
Месня сотрудников сатирического журнала		483
Послания		485
Послание первое		485

Послание второе	486
Послание третье	488
Послание четвертое	489
Послание пятое	490
Послание шестое	491
Бульвары	492
Священная собственность	493
На славном посту	494
При лампе	495
Шкатулка провинциального «Cabalero» (Опись)	496
На галерке (В опере)	497
Ранним утром	497
Первая любовь	499
На музыкальной репетиции	500
На реке	501
У моря	502
Из Финляндии	503
Карнавал в Гейдельберге	505
ИЗ КНИГИ «САТИРЫ И ЛИРИКА»	
В пространство	507
Человек в бумажном воротничке	508
Утешение	510
Пряник	510
Рождение футуризма	511
Трагедия	511
«Безглазые глаза надменных дураков...»	512

Русское	513
Так себе	515
Страшная история	516
Колыбельная (Для мужского голоса)	519
В Александровском саду	520
Лукавая серенада	520
Человек	522

ИЗ КНИГИ «ЖАЖДА»

На поправке	523
Аисты	524
«Здравствуй, Муза! Хочешь финик?..»	524
«Прокуроров было слишком много!..»	525
Весна на Крестовском	526
Полтавский рай	527
Репетитор	528

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

1905–1913

Балбес	529
Кому живется весело?	530
До реакции. Пародия	530
Жалобы обывателя	531
«Четыре нравственных уroda...»	532
«Мы сжились с богами и сказками...»	533
«Ньяный» вопрос	533
Юдофобы	535
Странный обычай	535
Герой нашего времени	536
Подшофе	536

Герой (Дурак без примеси)	537
Книги	537
Друг-читатель (Этюд)	539
Застольная (Отнюдь не для алкоголиков)	540
«Эпохе черной нашей нужен...»	542
Воробьиная элегия	543
Правила для родителей	544
(1924–1932)	
«Консьержке дай и почтальону тоже...»	545
«Сатирикон»	546
Насха в Гатчине	548
Мой роман	551
Размышления у подъезда «Лютеции»	552
Легкие стихи	554
Парижские частушки («Ветерок с Бульвар-Мишеля...»)	555
Ночные lamentации	557
Парижские частушки («Эх ты, кризис, чертов кризис!..»)	558
Любовь	560
В угловом бистро	561
1. Каменщики	561
2. Чуткая душа	561
«Детский остров» Саши Черного	563
ВЕСЕЛЫЕ ГЛАЗКИ	
В раю	565
Приготовишка	566

Костер	567
Трубочист	568
Перед ужином	569
Поезд	569
Про Катюшу	570
На вербе	572
Бобина лошадка	573
Летом	574
Иммортели	575
Цирк	575
Про девочку, которая нашла своего мишку	578
Храбрецы	579
Снежная баба	579
Плакса	581
«Зимою всего веселей...»	582
Имя	582
Волк	583
Приставалка	584
На коньках	584
Перед сном	586
В огороде	586
ЗВЕРЮШКИ	
Арапкина молитва	587
Крокодил	588
Хрюшка	589
Приключение	590
Загадка	590
Враги	591

Мышиное горе	592
«На заборе снег мохнатый толстой грядочкой лежит...»	592
Аисты	593
Как кот сметаны поел	594
Что кому нравится	595
Про пчел	596
Слон	597
Два утенка	597
Воробей	598
Про кота	599
Моментальная фотография	600
Уговор	600
В хлеву	601
«Что ты тискаешь утенка?..»	602
Индюк важничает	603
Жеребенок	603
Мартышка	604
Попка	605
Меленок сосет	606
Кто?	606
ПЕСЕНКИ	
Вечерний хоровод	608
Колыбельная (Для куклы)	608
Девочка поет	609
Мамина песня	609
Доктор Ай	610
Негритянская песня	610

Цирик	611
Колыбельная (Для маленького брата)	612
Карточный домик	613
Кошки-мышки	614
Застенчивый таракан	615
Человечек в часах	615
Нолька	615
Горькое лекарство	616
Дождик	617
Месня солнечного луча	617
Рождественская	618
Месня мухи	619
Скрут	619
Месня ветра	620
Когда никого нет дома	621
Зимой	622
Сверчок	623
Концерт	623
Зеленые стихи	624
«Ах, сколько на свете детей!..»	625
ДНЕВНИК ФОКСА МИККИ	
О Зине, о еде, о корове и т.п.	626
Стихи, котята и блохи	629
Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли	631
Осенний кавардак	633
Я один	636
Мереезд в Париж	639

- 
- На пляже 642  
В зоологическом саду 645  
Как я заблудился 648  
В цирке 652  
Проклятый пароход 655  
Возвращаюсь в Париж и ставлю большую точку 659

#### БИБЛЕЙСКИЕ СКАЗКИ

- Отчего Моисей не улыбался,  
когда был маленький 662  
Сказка о лысом пророке Елисее,  
о его медведице и о детях 665  
Справедник Иона 669  
Даниил во львином рву 674

#### Вспоминая Сашу Черного

- Николай Станюкович.  
«Саше Черному не было места в стране,  
населенной персонажами Зощенко» 681  
Андрей Седых. Ему было всего 52 года... 691  
Александр Бахрах. По памяти, по записям... 695  
Владимир Набоков. Памяти А.М. Черного 700  
Библиографический комментарий 702

Лет сорок с лишком назад приятель привез из Риги старый журнал «Перезвоны», издававшийся там в 20-х годах. Листая журнал, я наткнулся на довольно длинную поэму «Дом над Великой». Обратил внимание на подпись: А. Черный.

С Сашей Черным многие читатели в Советском Союзе были знакомы. В 1960 году вышел его том в «Библиотеке поэта», который мгновенно стал библиографической редкостью. Его острые, меткие, даже вызывающие стихи, написанные давным-давно, звучали свежо и современно.

И вот тут кто-то себе взял его псевдоним, правда, с инициалом А. А может, это сам Саша Черный? Да нет, не может быть. Ну что это?

Любой пустяк из прежних дней  
Так ненасытно мил и чуден...  
В базарной миске, среди сеней,  
На табуретке стынет студень.  
Янтарно-жирный ободок  
Дрожит морщинистою пленкой,  
Как застывающий прудок  
Под хрупкой корочкою тонкой...  
Желток в хрящах застыл кольцом,  
Каемка миски блещет сонно,  
И кот, глубокий гастроном,  
Вдыхает воздух упоенно...

Конечно же, это не может быть Саша Черный. Какая-то благостная картинка. Что тут общего с разящим сарказмом, издевкой, неожиданным поворотом мысли, с блестящей метафорой?

Взять хотя бы такой фрагмент:

Я волдырь на сиденье прекрасной  
российской словесности!  
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!  
Оголюсь и добьюсь скандально-всемирной  
известности,  
И усядусь, как нищий слепец, на распутье путей.  
Я люблю апельсины и все, что случайно  
рифмуется,  
У меня темперамент макаки и нервы как сталь.  
Пусть любой старомодник из зависти злится  
и дуется  
И вопит: «Не поэзия — шваль!»

Вот это настоящий Саша Черный!

И все же я ошибся: поэт из журнала «Перезвоны» оказался тем же самым, только теперь он назывался Александром Черным, стал как бы более домашним, менее выразительным, обыкновенным (за исключением тех мест, где он изливал свою злость на большевиков — здесь его голос вновь обретал крепость и пафос).

С сожалением можно отметить, что чужбина не придала его поэзии новых красок, хотя как прозаик он именно за рубежом написал мягкие, улыбочивые «Солдатские сказки», прелестный «Дневник фокса Микки», несколько веселых и умных рассказов.

В прозе он явление столь же самобытное, как и в поэзии, и без него картина русской литературы XX века выглядела бы, несомненно, бледнее.

\* \* \*

Нелепо надевать носки поверх ботинок  
И прежде книги критику читать...  
А после книги кто спешит на рынок  
Чужое мнение скорее покупать?  
Конечно, тот, кто понял не совсем,  
Что дважды два — четыре, а не семь.

Эти строчки принадлежат Саше Черному, и в них яснее ясного выражено его отношение к критике. Но не только.

В том-то состоит, очевидно, чудо настоящего искусства, что оно многозначно и — вечно. Именно так говорили древние: жизнь коротка, искусство вечно. Вечно-то вечно, да не любое.

Из этих стихов мы узнаем и об отношении Саши Черного к литературе: она должна быть понятна читателю, и об отношении к читателю — пишущий должен понимать читателя. Разумеется, все это бывает лишь в идеале.

Сапу Черного не раз ругали критики, принимая лирического, так сказать, героя за самого автора.

А потом в России долго — сорок лет — замалчивали его творчество, поскольку в 1918 году он оказался в эмиграции. Когда в 1960 году все же выпустили сборник его стихов, он сразу стал одним из любимых поэтов поколения читателей, которое о том времени, когда жил и писал поэт, знало лишь из учебников и из книг. И не могло похвастаться полнотой этих знаний.

\* \* \*

Саша Черный (это псевдоним; настоящее его имя Александр Михайлович Гликберг) родился в Одессе 1 октября 1880 года, а умер во Франции, в небольшом поселке Ла Фавьер, 5 августа 1932 года, после того как в течение нескольких часов принимал участие в тушении лесного пожара; там же он и похоронен, на сельском кладбище поселка Лаванду неподалеку от Ла Фавьера.

Такова судьба. Еврейский мальчик, ставший замечательным русским поэтом, беззаветно любившим свою родину — Россию, умер за границей. И вместе с тем славная судьба: ведь стихи Саши Черного при его жизни знала вся страна. А сегодня, спустя семь десятилетий после смерти, не только его стихи, но и прозу Саши Черного читают в России, его книги издают, и книги о нем — тоже.

Чем прозаик, поэт, художник отличается от обычного человека? Об этом много писано и говорено. И тем не менее тайна литературного дара так и остается тайной.

Обстоятельства жизни никак не объясняют появления художника.

Саша Черный родился в многодетной семье провизора, детство провел на Украине, в Белой Церкви, а затем опять в Одессе, где в возрасте десяти лет был крещен и поступил в гимназию. Учился не слишком успешно, а потому, видимо, у него происходили баталии с родителями.

Уйдя из дому, скитался по России. Год проучился в гимназии в Петербурге, из которой был отчислен за двойку по алгебре. О судьбе юноши узнает почетный мировой судья из Житомира К.К. Роше и приглашает его к себе. Здесь Александр заканчивает 5-й класс гимназии, однако уже на следующий год за столкновение с директором гимназии его исключают «без права поступления».

В 1900—1902 гг. А. Гликберг служит рядовым в Галицком полку. После армии — случайные работы, случайные заработки. Он начинает писать стихи и даже выпускает книжку, пока еще ничем не примечательную.

Всероссийская слава приходит к нему, когда он в 1908 г. становится постоянным автором «Сатирикона» — журнала, редактор которого — молодой и энергичный Аркадий Аверченко — обладал замечательным даром находить и поддерживать талантливых писателей.

Портрет Саша Черного тех времен ярко нарисовал Корней Иванович Чуковский:

«Сотрудники «Сатирикона», молодого журнала, одно время были неразлучны друг с другом и всюду ходили гурьбой. Завидев одного, можно было заранее сказать, что сейчас увидишь остальных.

Впереди выступал круглолицый Аркадий Аверченко, крупный, дородный мужчина, очень плодovitый писатель, неистощимый остряк, заполнявший своей юмористикой чуть не половину журнала. Рядом шагал Радаков, художник, хохотун и богема, живописно лохматый, с широкими пушистыми баками, похожими на петушиные перья. Тут же бросалась в глаза длинная

фигура поэта Потемкина, и над всеми возвышался Ре-Ми (или попросту Ремизов), замечательный карикатурист, с милым, нелепым, курносым лицом.

Вместе с ними, в их дружной компании, но как бы в стороне, на отлете, шел еще один сатириконец — Саша Черный, совершенно непохожий на всех остальных. Худощавый, узкоплечий, невысокого роста, он, казалось, очутился среди этих людей поневоле и был бы рад уйти от них подальше. Он не участвовал в их шумных разговорах и, когда они шутили, не смеялся. Грудь у него была впалая, шея тонкая, лицо без улыбки.

Даже своей одеждой он был не похож на товарищей. Аверченко, в преувеличенно модном костюме, с брильянтом в сногшибательном галстуке, производил впечатление моветонного щеголя. Ре-Ми не отставал от него. А на Саше Черном был вечно один и тот же пиджак и обвислые, измятые брюки.

<...>

Между тем сатириконский период был самым счастливым периодом его писательской жизни. Никогда, ни раньше, ни потом, стихи его не имели такого успеха. Получив свежий номер журнала, читатель прежде всего искал в нем стихи Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть.

Но меньше всего походил он на баловня славы: очень чуждался публичности, жил (вместе с седоватой женой) в полутемной петербургской квартире, как живут в номере дешевой гостиницы, откуда собираются завтра же съехать. Кроме книг (а он всегда очень много читал), там не было ни одной такой вещи, в которую он вложил бы хоть часть души: шаткий стол, разнокалиберные гнутые стулья. С писателями он почти ни с кем не водился, лишь изредка бывал у Куприна и Леонида Андреева, которые душевно любили его. Да и там при посторонних все больше молчал, и было в его молчании что-то колючее, желчно-насмешливое и в то же время глубоко печальное. Казалось, ему в тягость не только посторонние люди, но и он сам для себя. Из его писем ко

мне, относящихся к этому времени, у меня сохранилось всего лишь одно, где он, между прочим, пишет:

«...В общем, так измотался, что минутами хочется уже никогда ничего не писать, не издаваться... плюнуть на все и открыть кухмистерскую в Швейцарии».

Его самого удручал сумрачный тон его первых сатир. В том же письме говорится:

«Книжка висит над головой и положительно мешает думать и работать — хочется уже выйти из круга ее мотивов, в нем становится тесно, но чтобы прислушаться к новым голосам в самом себе — надо хоть иллюзию спокойствия».

Но никакого спокойствия в его характере не было.

Даже знаменитое имя свое, которое было в ту пору у всех на устах, сильно раздражало его.

— Здравствуйте, Саша, — сказал ему на Невском один журналист.

— Черт меня дернул придумать себе такой псевдоним! Теперь всякий олух зовет меня Сашей.

Вообще он держал себя гордо и замкнуто. Фамильярничать с собой не позволял никому»<sup>1</sup>.

Едва не в каждом номере еженедельника появлялись сатирические стихи, подписанные именем Саши Черного. И в скором времени читатель узнавал их, даже если они появлялись без подписи. А это уже свидетельство своеобразия, самобытности, оригинальности творчества, которым может быть наделен лишь истинный талант.

Да, конечно, темы, за которые брался Саша Черный, были актуальны: бездушие и жестокость власти, интеллигентское равнодушие к судьбе ближнего, отсутствие идеалов у широких обывательских масс, пустота жизни, словоблудие под маской революционности и т. п. Но на подобные темы писали многие в то время. Стихи Саши Черного отличались необычной, порой не-

---

<sup>1</sup>Чуковский К. Саша Черный//Черный С. Стихотворения. СПб., 1996. С. 5—6.

ожиданной образностью, сочетанием серьезного и комичного в пределах небольшого пространства, органичным слиянием юмора и лирики. Многие исследователи творчества поэта утверждали, что у него нет ни одного любовного стихотворения. Но вот я открыл наугад сборник его стихов и сразу же наткнулся на прекрасное любовное стихотворение под вроде бы скучным заголовком «Экзамен»:

Из всех билетов вызубрив четыре,  
Со скомканной программой в руке,  
Неся в душе раскаяния гири,  
Я мрачно шел с учебником к реке.

Там у реки блондинка гимназистка  
Мои билеты выслушать должна.  
Ах, провалюсь! Ах, будет злая чистка!  
Но ведь отчасти и ее вина...

Зачем о ней я должен думать вечно?  
Зачем она близка мне каждый миг?  
Ведь это, наконец, бесчеловечно!  
Конечно, мне не до проклятых книг.

Ей хорошо: по всем двенадцать баллов.  
А у меня лишь по закону «пять».  
Ах, только гимназистки без скандалов  
Любовь с наукой могут совмещать!

Пришел. Навстречу грозный голос Любы:  
«Когда Лойола орден основал?»  
А я в ответ ее жестоко в губы,  
Жестоко в губы вдруг поцеловал.

«Не смей! Нахал! Что сделал для науки  
Декарт, Бэкон, Паскаль и Галилей?»  
А я в ответ ее смешные руки  
Расцеловал от пальцев до локтей.

«Кого освободил Пипин Короткий?  
Ну что ж? Молчишь! Не знаешь ни аза?»  
А я в ответ почтительно и кротко  
Поцеловал лучистые глаза.

Так два часа экзамен продолжался.  
Я получил ужаснейший разнос!  
Но, расставаясь с ней, не удержался  
И вновь поцеловал ее в засос.

Я на экзамене дрожал, как в лихорадке,  
И вытащил... второй билет! Спасен!  
Как я рубил! Спокойно, четко, гладко...  
Иван Кузьмич был страшно поражен.

Бегом с истории я, радостный и чванный,  
Летел мою любовь благодарить...  
В душе горел восторг благоуханный.  
Могу ли я экзамены хулить?

Стихотворение незамысловатое, история простенькая. Но... какая за этими строчками чистота, молодость, непосредственность!

И почти каждое стихотворение Саша Черного — это рассказ о характерах, о людях, о живой жизни, в которой есть и мерзости, и непреходящая красота...

Нет, Саша Черный — вовсе не мизантроп и ворчун, каким его почему-то считали некоторые критики, а поэт, а затем и прозаик, пропустивший сквозь свою душу муки и радости мира и выразивший свои чувства, свою боль, свою надежду, свою веру в многоликом и ярком творчестве. И если критики это не сразу поняли, то широкие читательские массы (это уже термин из советской эпохи) — почувствовали это сразу.

«...Талантливый, но еще застенчивый новичок из волынской газеты приобрел в несколько недель и громадную аудиторию, и широкий размах в творчестве, и благодарное признание публики, всегда руководимой своим безошибочным вкусом», — писал о Саше Черном Александр Куприн.

А вот мнение А.М. Горького, высказанное в письме М.М. Коцюбинскому 24 сентября 1912 г. Сообщив, что его на Капри посетили несколько художников, Горь-

кий продолжал: «Были и литераторы — Саша Черный, оказавшийся очень скромным, милым и умным человеком»<sup>1</sup>.

Если эпитеты «скромный» и «милый» можно отнести только к личности Саши Черного, но отнюдь не к его поэзии, то характеристика «умный» вполне характеризует и его талант. Поэзия Саши Черного была умной и оставалась таковой при всех масках, которые надевал на себя поэт.

«...Такого оригинального: смелого, буйного лирико-юмориста, такой мрачно-язвительной, комически-унылой, смешно-свирепой стихотворной маски не появлялось на Российском Парнасе со времен почти что незапамятных», — отмечал писатель Александр Амфитеатров<sup>2</sup>.

Примерно в 1910 г. поэт, как бы повзрослев, начинает печататься под именем Александр Черный. Однако псевдоним Саша Черный настолько органично к тому времени был связан с ним, что для читателей Александр все равно оставался Сашей Черным, и так до наших дней. Впрочем, в жизни друзья и знакомые всегда называли его Александром Михайловичем.

Оставаясь поэтом, Саша Черный в начале 1910-х годов пробует свои силы в прозе, публикует несколько рассказов.

Но в полной мере его талант прозаика проявился в эмиграции. В различных русских газетах и журналах, издававшихся в тех странах, куда гражданская война в

---

<sup>1</sup> Горький М. Собрание сочинений. В 30 т. М., 1955. Т. 29. С. 253.

<sup>2</sup> Амфитеатров А. В. О Саше Черном. Одесские Новости. 1911. 29 июня. № 8152. С. 2.

России забросила многие сотни тысяч своих граждан, в частности во Франции, Германии, Латвии, Литве, Китае, Сербии, с начала 20-х годов печатаются его рассказы, сказки, детские истории, статьи, заметки.

Саша Черный и в прозе очень скоро нащупывает свой путь. И его солдатские и библейские сказки, рассказы и сказки для детей отмечены и оригинальностью таланта, и душевным теплом, и добротой, и светом.

Обычно говорят, что автор только тогда может создать правдивое, убедительное, волнующее произведение, когда прекрасно знает тот предмет, о котором пишет, когда сам был участником событий, схожих с описываемыми им. Обычно вспоминают о «Войне и мире» и о том, что Лев Толстой участвовал в Крымской войне. Это, конечно, верно. Однако мы знаем, что Лев Толстой никогда не был лошадью, а Куприн пуделем, а вот такие шедевры, как «Холстомер» и «Белый пудель», они создали. Для этого было достаточно таланта, любви и доброты.

Несомненно, служба в армии в начале века, а затем и участие в Первой мировой войне дали Саше Черному много материала для его «Солдатских сказок», для понимания сущности русского солдата — его души, его духа.

Но, для того чтобы написать «Дневник фокса Микки», Саше Черному не понадобилось уподобляться фоксу. Для этого было достаточно лишь таланта и доброй наблюдательности.

У Саши Черного не было своих детей. Но многие свои стихи, рассказы и сказки он написал для детей. И это, быть может, не менее значимое в его творческом наследии, чем сатирические стихи.

С сохранившихся фотографий на нас смотрит седой человек с умными, чуть грустными глазами. Это Саша Черный, автор острых сатир, веселых сказок и рассказов. Человек с внимательным взглядом и светлой душой.

Нынешние псевдоученые, ясновидцы, астрологи, хироманты и проч. связывают судьбу человека с его именем. Блажен, кто верует. Однако судьбы Демьяна Бедного (который отнюдь не был бедным), Артема

Веселого (жизнь которого оборвалась в заключении), Максима Горького (у которого в жизни и творчестве всего было вдоволь, а не только горького) и многих-многих других небезызвестных людей в достаточной мере опровергают всяческие домыслы.

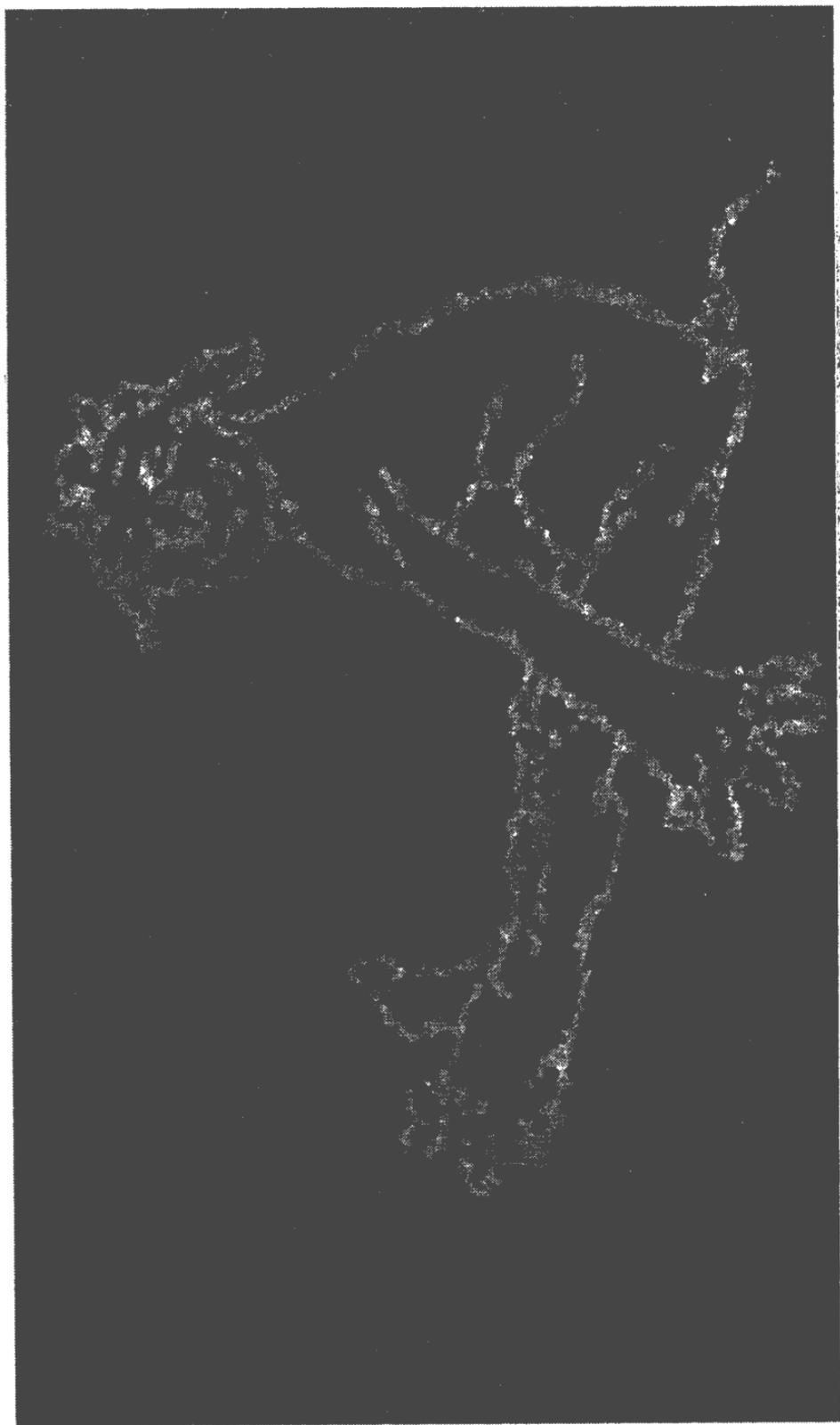
— Так что не будем удивляться вопиющему несоответствию между именем и жизнью и творчеством светлого человека и писателя, а прильнем к очищающему, живому, искрящему роднику по имени Саша Черный.

— Саша Черный не писал автобиографий, не любил говорить о себе. Все главное о нем мы узнаем из его стихов, сказок, рассказов.

Ст. НИКОНЕНКО

Саша Чёрный —  
прозаик





# Несерьезные рассказы

## ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

(Шутка в | бездействии)

Бездействующие лица:

Третейские судьи

1. ДУНДУКОВ.

2. ГУЛЬКИН.

Тяжущиеся

3. АННА ПЕТРОВНА.

4. ИВАН СИДОРОВИЧ.

### I

Дундуков. Мода пошла на участки эти. Земли с дамскую сорочку. Домишко вроде подержанного рояльного ящика. Плюнешь с крыльца — ветром соседу на лысину отнесет. Хочешь — на дуэль вызывай, хочешь — суд чести устраивай. От тесноты и грызутся.

Гулькин (*смотрит на часы*). Однако суперарбитра нашего все нет. Полагаю, как он в ночном баре всю ночь на флейте свистит, — не успел еще отоспаться.

Дундуков. Чего же ждать зря? И без акушера рожают.

Гулькин. Неофициально, знаете, выйдет. Вроде супа без ложки.

Дундуков. К концу арбитра наш и подойдет. Ваня! Позови-ка сюда гг. дуэлянтов этих...

(Входят Анна Петровна и Иван Сидорович.)

Гулькин. Садитесь, силь-ву-плэ... Так вот, как полагается по кодексу взаимных обид в неопределенном наклонении, предлагаю вам положить руку на сердце...

Дундуков. Сердце-то слева, а вы руку направо прикладываете.

Гулькин (*переменяя руку*). Юридически разницы не усматриваю. Положа руку на сердце и прочее, предлагаю вам покончить дело миром. Чтоб, как говорится, никаких двусмысленностей между вами не было.

Анна Петровна (*зажимая уши*). Не слышу!

Иван Сидорович. Двусмысленности все равно будут. Уж если добрых знакомых потревожили, соседский срам по переулку размазали, будьте добры, пальмовую ветку спрячьте-с...

Гулькин. Пункт первый: не желают... Может быть, г. Дундуков, вы желаете на них силу внушения испытать?

Анна Петровна (*закрывая уши*). Не слышу! Не слышу!

Дундуков. Ну и пес с ней, если не слышит!

Анна Петровна. Со мной?! Пес!

Дундуков. Раз вы не слышите, то я вроде про себя вслух подумал. Что вы со мной задираетесь? Со мной вы судиться пришли или с вашим соседом?..

Гулькин. Видите, как без суперарбитра дело поворачивается?..

Дундуков. Ничего не поворачивается. Объявляю заседание открытым. Прошу встать!

Гулькин. Что же это вы делаете? Зачем вставать?

Дундуков. Ну, пусть сидят... Как вы, Анна Петровна, дамской масти, то и выкладывайте первая обстоятельства вашей междоусобной брани. А вы, Иван Сидорович, пока смойтесь.

Анна Петровна. Протестую. Вы, г. Дундуков, человек юридический, бывший судебный пристав. Как же вы не соображаете, что обстоятельства всегда выгоднее излагать противной стороне в затылок.

Дундуков. Термина такого юридического не помню-с.

Анна Петровна. Не в военно-полевом суде сидим. И так сойдет. Он вам тут последний про меня наплетет-наахает, — все мои предварительные слова и завянут. И симпатии все на него перейдут. Нашли тоже симпатичного!

Гулькин. Просил бы, сударыня, вперед не забегать. Объективно говоря, на основании третейских традиций вы нам оба несимпатичны.

Дундуков (поправляет). Бессимпатичны.

Гулькин. Бессимпатичны. Но раз вы оба к нам обратились, оказали максимальное доверие и прочее, то позвольте нам и решить, кто из вас ангел, а кто...

Анна Петровна. Это он ангел? Действительно. Вылитый ангел. Да разве ангел перед дамой в купальном халате ходит расхристанный? Укроп из чужого огорода щиплет? Газету чужую у почтальона перехватывает? Прочтет, складочки загладит и опять в бандероль. Будто бы и не читал. Плюшкин средиземный!

Иван Сидорович. Не могу выдержать! Ведь вот же бывают в других местах эпидемии, землетрясения разные...

Гулькин. Просил бы не забегать, Иван Сидорович, пожалуйста! А вы, Анна Петровна, посидите в коридоре на стульчике и остыньте. «Руководство по мыловарению» там на полке лежит — развлечетесь. Иван Сидорович, прошу вас.

Иван Сидорович. Что ж, я человек кроткий, я на все согласен.

Анна Петровна. Больно скоро, лебедь мой, согласился... А может, мне первой лучше начать? (Подозрительно.) Вы же тут, мужчины, конечно, будете мужскую руку тянуть... Почему ему первому начинать? С какой такой привилегии?

Дундуков. Да Господи! Вам же предлагали. Вы же, Анна Петровна, более или менее буйвола до обморока доведете. Или начинайте, или я пойду к жилету пуговицы пришивать. Ух!

Анна Петровна. Хорошо. Ну а как же я буду знать, что он тут про меня наплетет? Скажет, что я его козу выдаиваю... А я только раз из жалости. Она с тугим выменем зашла ко мне в палисадник. Что ж, думаю, молоко ей в голову бросится... Взяла да и выдоила в кошкино блюдце.

Гулькин. Так и он же тоже не будет знать, что вы про него предварительно наплетете. Перекрестный до-

прос будет, все и вскроется. Слава Богу, третий год в квартирном бюро служу — и не такие дела разматывали.

Дундуков. Эх, Анна Петровна, зря вы только все предварительные симпатии на противную сторону перетягиваете.

Иван Сидорович. Да знаете... Тарантул!

Анна Петровна (*испуганно*). Ухожу, ухожу... А тарантула вы в протокол занесите! Глист овечий! (*Уходит.*)

Дундуков. Н-да-с. Можно сказать, лесной ландыш... Валите, Иван Сидорович. Только более или менее поменьше врите. Папиросочку дайте. Из-за вашего дурацкого дела и папирос купить не успел.

Гулькин. Неудобно, знаете, у одной из сторон папиросочку брать... Дело окончим, тогда и возьмете.

Дундуков. Ну, батенька, стану я ждать. Вы человек некурящий — без темперамента, где же вам понять... (*Берет у Ивана Сидоровича папиросу.*) Валите.

Иван Сидорович. У меня застарелый мышечный ревматизм еще с военного времени. Человек я нервный, застенчивый. Позвольте мне в письменной форме. Я даже с покойным тестем, когда насчет приданого объяснялся, все больше в письменной форме.

Дундуков. Хоть в стихах, ангел мой. Валите.

Иван Сидорович (*читает*). Имя-отчество — Иван Сидорович. Фамилия — Хрущ. Майские такие жуки в России были. Родился по старому стилю 3-го марта 1882 года. Места рождения по причине морского происхождения указать в точности не могу.

Дундуков. Что ж ты, рак, что ли?

Гулькин. Неудобно, знаете, с подсудимым на такой фамильярной ноге...

Иван Сидорович. Это они правильно. Вроде рака. Преждевременно родился на пароходе во время переезда матушки моей из Херсона в Аккерман по случаю дурной погоды. Образование классического: за продажу букинисту из гимназической библиотеки древних классиков уволен из пятого класса без мундира и пенсии.

Гулькин. Биографию вашу нельзя ли сократить?

Иван Сидорович. О себе поговорить каждому приятно. Перехожу к предмету. 13-го августа сего года, сидя на своем участке близ Тулона, в местности, именуемой «La brebis galeuse», по-русски, извиняюсь, «Паршивая овца», — я, по причине прозрачности воздуха и ограниченности моего участка, совершенно явственно расслышал, как соседка моя по участку, Анна Петровна Малышева, выразилась про меня... (Оглядываясь на дверь.) Очень боюсь, что она подслушивает.. Проверьте, пожалуйста, убедительно вас прошу!

Анна Петровна (за дверью). Нахал!

Дундуков. Ваня! (Входит молодой человек.) Запри-ка ее в моем кабинете, пока он тут кончит. (Понижая голос.) Только, будь другом, переписку мою спрячь, а то она имеет обыкновение иностранные марки с конвертов сдирать. Валите дальше.

(Молодой человек уходит.)

Иван Сидорович. Выразилась про меня: какой это осел на моем заборе свои письменные принадлежности развесил?

Гулькин. Почему «письменные принадлежности»?

Иван Сидорович. Это она, извините, мужское белье так называет. Я ей и говорю, не вставая с места: во-первых, это не осел развесил, а я; во-вторых, развесил под своей смоковницей, за которую деньги в рассрочку сполна плачены; и, в-третьих, если вы такого деликатного телосложения, можете заткнуть уши и не смотреть. А она на это выразилась, — я тотчас же на веранде в письменной форме все это и записал: «Какой же пес вашу сорочку на мой забор занес? Почему же ваши придаточные предложения перед моим крыльцом валяются? Что про меня прохожие провансальские мужики теперь подумают?»

Гулькин. Виноват, что она под придаточными предложениями подразумевала?

Иван Сидорович. Депанданс к белью, извините за выражение. носки. И в пояснение к означенным словам скинула, как бы про себя, но, по причине прозрачности южного воздуха и направления ветра, совершен-

но как бы вслух: «Старый циник!» Тут я, разумеется, вскипел... И напел ей... Ах, циник? Старый циник?! А вы, сударыня, бесплодная смоковница!.. Кой, говорю, шут про вас подумает что-нибудь, хоть целый гусарский гардероб перебрось вам на крыльцо? И, признаться, погорячился и пересолил... На ногах у вас, матушка, могу сказать, перья растут. Хоть бы купались в стороне... Да-с.

Дундуков (с интересом). Здорово! А скажите, Иван Сидорович, между нами, — в самом деле перья растут?

Гулькин. Позвольте. Вопрос не академический. Вы, как инстанция решающая, не должны таких вопросов задавать.

Дундуков. Я что ж. Я неофициально. По мне хоть репейник расти, не то что перья...

Иван Сидорович. Нет-с. Это я так, для красоты слога преувеличил. Чтоб ей печенку разбередить. А она на эти слова — хлоп — «Девятым Термидором» в меня ухнула. И так ловко нацелилась, что...

Гулькин. В переплете?

Иван Сидорович. Без переплета-с. Извиняюсь. Томик этот она у меня же и зачитала. А я у знакомого корректора. По беженским обстоятельствам, какие же переплеты? Вопрос, простите, не юридический. К тому же, ежели бы корешком в висок, то, может, вместо третейского суда была бы сплошная панихида. Да-с. Пенс не с меня сбила, шрам до сих пор держится, вылинял только немного. Листочки веером по всему заливу — фыр! Ползаю я по буеракам, среди кактусов этих средиземных, коленки и прочие вещи ободрал, чуть не плачу. Листочки от меня по всем концам все дальше взлетают. А она меня с забора, на колодец взобравшись, так и поливает.

Дундуков. Кишкой?

Иван Сидорович. Словами то есть. Вот у меня полный прејскурант записан: курдюк бараний, вобла беспартийная, рохля, индюк херсонский, тухлая личность... цыплячий отец...

Гулькин. Почему — цыплячий?

Иван Сидорович. Видите ли. Это я, мопассановский один рассказ прочитавши, ввиду неограниченности свободного летнего времени и для научной пользы и дешевизны, инкубатор у себя под мышками устроил.

Дундуков (с интересом). Высидели?

Иван Сидорович. Выносил то есть. Голодают же люди для спорта по 30 дней. Или, скажем, по 40 сигар выкуривают... одновременно...

Дундуков. Фотографии даже с таких дураков при магии снимают.

Иван Сидорович. Вот именно. Я тоже, значит, приспособился: карманы себе под мышками кисейные пристроил и выносил... И вдруг, знаете, вместо научной благодарности, — «цыплячий отец». Очень она меня этим прозвищем пронзила! Ну-с, я тоже, само собой, не сдержался... И ахнул в нее...

Гулькин. Мопассаном?

Иван Сидорович. Мопассана, простите, под рукой не оказалось. Шишкой сосновой ахнул. Шишки под Тулоном колоссальные попадают. Вроде пятидюймового снаряда. С таким расчетом, конечно, бросил, чтоб сантиметра три мимо носа ее угодить. Убивать ее преждевременно, да и ответственность во Франции большая. Она, само собой, в азарт. Принадлежности мои с забора поскидала, ногами потоптала и мне их через забор в лицо. А сама после того, выбрав ровное место с вереском, где помягче, в обморок хлопнулась. Я же ее по человеколюбию противофилоксеровым раствором и отдал.

Гулькин. И помогло? Надо будет себе средство это на всякий случай записать.

Иван Сидорович. Да я не столько для помощи, сколько потому, что жидкости другой под рукой не было. В колодце, между прочим, по случаю засухи даже лягушки околели. Вот-с. Платице у нее, правда, от купоросного раствора голубыми пятнами пошло. Я не отпираюсь. Это я откупить могу-с... И насчет «Термидора», Бог с ним, книга зачитанная, я тоже не настаиваю. Но уж относительно «цыплячьего отца» прошу ей общест-

венное порицание выразить. На весь залив было слышно. А у нас вокруг по участкам люди интеллигентные живут, русские беженцы. Профессора разные, даже евраиец один есть по горловым болезням; справа от нее бывший инспектор полевой артиллерии, напротив композитор тоже один — книгу по подводной ботанике пишет. И все смеются. Чуть цыплята за мной к морю сквозь можжевельник потянутся, только и слышишь: «А вон и цыплячий отец со своей командой!» Невыносимо. Спрячешься в можжевельник и сидишь там, как камень в печени...

Дундуков. Можжевельник, друг мой, вещь важная. Англичане его в джин кладут. Больше ничего не имеете показать?

Иван Сидорович. Ничего.

Дундуков. В таком случае дайте еще папиросочку. Цыплячий отец! А здорово она этикетку эту приклеила.

Иван Сидорович (обиженно). Вот видите — даже вы надсмехаетесь.

Дундуков. Ничего, друг, присохнет, как на собаке. Мы и ее взмылим. Ваня! (Хлопает в ладоши.) Запри, пожалуйста, в кабинет Ивана Сидоровича и приведи Анну Петровну сюда.

(Иван Сидорович удаляется.)

Анна Петровна (входит). Во-о-бра-жа-ю, какие он тут лунные сонаты вам распевал. А еще говорят, что женщины преувеличивают...

Гулькин. Вы лучше не воображайте, да расскажите толком всю суть. Лаконически и в пределах снисходительной любви к ближнему.

Анна Петровна (вспыхивая). Лаконически?! Он по моим часам четверть часа в меня осиноый кол вбивал, а я чтоб в пределах любви к ближнему! Может, на ручки его взять прикажете? Я ж вам не беззащитная тургеневская девушка, которая не сопротивляется...

Дундуков. Это толстовские не сопротивляются, а тургеневские — наоборот. А кроме того...

Анна Петровна. Мерси. Епархиальное училище

первой кончила. Спасибо за урок! Разложил воробья на 12 блюд, думает — философ!

Гулькин. Анна Петровна! Или локализируйте ваше внимание на фактах, или я по невменяемости личности объявляю вам первое предостережение.

Дундуков. Чем в бб сыграть, сиди тут и расхлебывай бульон ваш эмигрантский... В Библии ж еще сказано: лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть...

Анна Петровна. Это кто же тут откормленный бык, спрашивается? Подите в переднюю, посмотрите в зеркало, а потом и намекайте из Библии...

Дундуков. Женщина! Да перестаньте же вы... Этак вы и со мной до третейского суда дорветесь... Не рекомендовал бы!.. Считаю до пяти. Если не начнете толком, уйдем всем составом в кинематограф «Роковую мозоль» смотреть. Раз-два-три-четыре...

Анна Петровна. Пять! 13-го августа в 3 часа полудни лежу я, как тихий ангел, мирно и интеллигентно в гамаке над своей землей, рядом с участком этого самого пирата...

Гулькин. Выражайтесь, пожалуйста, объективно.

Анна Петровна. Я объективно и выражаюсь... Этого самого разбойника. Никого не трогаю. Сосны себе надо мной качаются, можжевеловый шипит. Смотрю одним глазом сквозь гамачную дырочку — я всегда, когда у меня невралгия, спиной кверху лежу — и вижу, как этот самый бандит...

Гулькин. Я же просил вас объективно выражаться!

Анна Петровна. Могу еще объективнее... Этот самый детоубийца посмотрел в мою сторону и сплюнул. Опять, говорит, сколопендра эта в гамаке пейзаж портит! Ветер в мою сторону, каждое слово, как по беспроволочному телеграфу, доносит... Разумеется, я на такую рецензию, хотя и сказанную в третьем лице на своем участке, в долгу не осталась. Если б, говорю, это было в России в довоенное время — я б об такого соседа всю швабру изломала!.. У того, говорю, лопнет глаз, кто не любит нас. У меня, говорю, сколько в Крыму десятин было, столько чтоб тебе фурункулов на затылок!

Гулькин. Почему же именно вы швабру бы об него изломали?

Анна Петровна. Арфу я для него держать стану, что ли? Тоже скажете... А он на ветру стал, халат купальный зубами придерживает, стыд все-таки не весь потерял и прямо мне в профиль: «От швабры, говорит, слышу!» Это я — швабра! Да я у нас в Керчи епархиальное училище с золотой медалью кончила, вице-губернатор в меня влюблен был, только по случаю разрыва сердечной сумки не успел предложение сделать. На всем Крымском полуострове карьера была обеспечена.

Дундуков. Гм...

Анна Петровна. Можете не гмыкать! За живую картину «Смерть Клеопатры» на маскараде в Югославии в премию земгорское теплое одеяло получила. Гад он цыплячий!

Гулькин. Ради Бога же, я просил вас неофициально не выражаться.

Анна Петровна. Как умею, сударь. Военной академии не кончила... Гад, говорю, ты цыплячий! Ну, тут он в меня, в одинокую незащитную женщину, «Термидором» и бросил...

Дундуков. Он?! В вас?!

Анна Петровна. Не в вас, конечно. Что же вы хотели, чтобы он роялем в меня бросил?

Гулькин. Без переплета?

Анна Петровна. Без, батюшка. Уже в женщину, так непременно в переплете. Могу сказать объективно. Бросил... Я, само собой, в обморок.

Дундуков. Купоросом он вас все-таки впрыскивал?

Анна Петровна. Спасибо, что вспомнили. Для насмешки и впрыскивал. Меня теперь в третьем лице «филоксерой», иначе и не зовут. У меня все тело потом голубыми тюльпанами расцвело, как мебельный кретон, прости Господи. Целый месяц купаться не могла... Лежу, значит, я в обмороке, матине на себе от злости вдребезги так и рву, так и деру. А матине гладью вышито, за крепдешин по тридцать шесть франков метр по случаю у знакомой гадалки плочено. Даром ему это обойдется? А?

Дундуков. Позвольте все-таки. Нам не матине ваше важно, а истина. Ведь это вы же в него «Термидором» бросили... Ведь по заливу листочки он собирал? И вещественное доказательство под глазом у него сидит, а не у вас.

Анна Петровна. Ага! Сговорились. Круговая порука... Браслет с часиками обещал? На правую ручку?

Дундуков. Вы бы, знаете, барыня, того-с, легче на поворотах. Ведь ляпнет же такое, что мужчину бы за такое слово пишущей машинкой по голове хлопнул.

Гулькин. Объективно, господа, объективно. Вы, как решающая сторона, до окончания дела хлопать ее не можете... Позвольте, Анна Петровна. Не волнуйтесь и кладнокровно припомните: когда Ивана Сидоровича письменные принадлежности на вашем крыльце очутились и он насчет ваших, извините, перьев прошелся, — разве вы в него тогда томиком не ахнули?

Анна Петровна. Галлюцинация какая! Это — во-все мой купальный костюм и лифчики на его веранду перелетели. Ветер прямо меня из гамака выворачивал...

Дундуков. Вывернешь ее, как же!

Анна Петровна. Заткнулись бы, г. Дундуков! Пробочка на столе лежит. Да-с. А он и взвился, как уж на сковороде: диффамация! Что теперь, мол, провансальские бабы про него скажут?.. Она, говорит, думает, что если участки рядом, так я на ней жениться для округления земли обязан. Я даже позеленела, как кипарис какой-нибудь! Нужен ты мне, как курице бинокль... Осьминог тулонский. Ходит по чужим дачам да навоз для своего салата в ридикюль собирает.

Дундуков. Ух! Крышка у меня на черепе подымается...

Анна Петровна. А вы придержите.

Дундуков (сердито). Да кто ж в кого бросал? Чьи к кому принадлежности перелетали? Кто швабра? Кто щиплячий отец? Кто матине драл? Кто платить должен? Откуда куда ветер дул?!

Гулькин. Постойте. Судья вы или не судья? Ведь это мы же должны все точки над і поставить, а не она. Кончим дело, тогда и кипятитесь.

Анна Петровна. Воротничок-то, ангел, отстегните. Ишь, красный стал, как лангуст вареный. Кончила я. Пусть письменно с распубликованием на площади в присутствии мэра, почтмейстера, нотариуса, архивариуса и всех беженцев извинится да забор свой до трех метров сплошь досками забьет, чтоб я и лица его арестантского больше с гамака не видела. Это я ему пейзаж порчу?! Соловьи, можно сказать, на меня в гамаке садятся, все равно как на цветущий куст, а он... И олеандр мой, который его цыплята перепачкали, пусть отмоет! А дорогу я ему к морю мимо моего дома закрываю. Пусть туннель роет!

Дундуков. Будет! Ведь вот подбивали же меня участок по другую от нее сторону купить... Дно бы она из меня вышибла. Ваня! Отомкни там Ивана Сидоровича. Сейчас мы им резолюцию объявим. Будьте благонадежны!

Гулькин. Пошептаться бы предварительно следовало. Я, знаете, еще никакого соломонова решения по данному казусу себе не рисую.

Дундуков. Ну! Соломона еще тревожить ему надо. (Входит Иван Сидорович.) Садитесь, Иван Сидорович! Поспали? Нет, говорите? Ведь вот жалость какая с вашими принадлежностями. Как у Овидия говорится: не имела баба хлопот, тай купила порося.

Гулькин. Где же это у Овидия говорится? А еще и классик. Это у нас на Подоле говорится... Гм... Прямо не знаю, как мы с ними тут и развяжемся. Перекрестный допрос затеем, так она ему голову отгрызет...

Иван Сидорович (уныло). Заставьте ее, покорнейше вас прошу, в другой залив переехать. Я на все согласен.

Анна Петровна. В другой зали-ив?! Фу-ты, какой генерал-губернатор временного правительства! А как лягушки прыгают, видал?! А? Заливами-проливами распорядиться вздумал. Я им еще про козу вашу не рассказала. Срам!

Деревцо у меня там фиговое на нашей границе выросло. По игре природы — ствол на моей земле, а плоды над его участком. Как по-французски — не знаю, а

по-русски — чей ствол, того и плоды. Что ж он придумал?!

Козу свою к стволу сквозь забор привязывает, будто для порядка. А сам на нее из-за угла палкой невидимо замахнется... Коза на дыбки, веревка натянется, фиги так и попадают. А он и подбирает. Да еще смеется, гусь конопатый: «Это, говорит, я опадки на своей земле собираю». Хорошо?

Иван Сидорович. Вы бы заодно рассказали, как вы моих пчел с ваших цветов метлой гоняете...

Анна Петровна. И расскажу... Если на то пошло, зубы я все вашим пчелам повыдеру. Кухмистерская у меня для них, что ли?.. Обманщик! Голый участок мне подсунул. Сам горой прикрылся, а меня всю под мистраль подсунул. Одуванчик я тебе?!

Иван Сидорович. Зато у вас вид на жительство лучше. Вы же хотите, чтоб и не дуло и чтоб из окна Корсику в трубу видеть. Жирно будет!

Анна Петровна. Шулер малоземельный!.. На плане, как показывал, так и не дуло, а на деле прямо шпунтренности выворачивает.

Дундуков. Бросьте, женщина. Не то я сердиться по-настоящему начну, плохо будет... Погодите. Как будто в голове у меня форточка раскрылась. Ну да-с! Полномочия даете, так я решение свое с налета, вот так, от широкого сердца вынесу — и баста... Даете? Считаю до пяти. Раз...

Анна Петровна. Чего ж там... Я уже остыла. Даю.

Иван Сидорович. Решайте. Все равно я с ней помириться как-нибудь должен, иначе она у меня, как инсидентит, поперек горла станет.

Гулькин. Прошу без личностей. Со своей стороны, объективно рассуждая, дело вроде квартиры в не строящемся доме, которая сдана двум жильцам сразу... Идите. Пусть я вроде как бы помер. Вход есть, а выхода не вижу.

Дундуков. Бон. По зрелом рассуждении, находясь в здравом уме и твердой памяти, в настоящем деле прямых членовредителей не обнаруживаю. Ни Анна Петровна ни при чем, ни Иван Сидорович. А между тем

главный и, можно сказать, единственный членовредитель хотя и предмет одушевленный, но по причине своих свойств неуловим и потому общественному порицанию ни в письменной, ни в устной форме не подлежит. В одну дверь влетит, в другую вылетит.

Гулькин. На кого же вы, однако, намекаете? У нас здесь все-таки не сеанс спиритический, а третейский суд.

Дундуков. Если вы вроде как померли, то и не вмешивайтесь. Все сейчас, как на аптекарских весах, выравнивается. В междоусобный день этот, Анна Петровна, нервы ваши были в порядке?

Анна Петровна. Землю под собой рыла. Матине вокруг меня обвивается, словно я факел погребальный... В ушах скрежет, в очаге черти в чехарду играют. Распласталась я в гамаке, сосны надо мной в волосы друг другу вцепились, рычаг, снизу вереск корежится, внутренности выматывает. По всему дому вурдалаки воют, печень раздуло, на зубах морской песок...

Дундуков. Тэк-с. И все это еще при вашем собственноручном деликатном характере. Воображаю... А вы, Иван Сидорович, что скажете?

Иван Сидорович. То же самое. Может, если бы не этот случай меня отвлек, я бы на своей смоковнице в тот же день бы и удавился. Ведь третий день терпел, в голове даже посвистывать стало.

Дундуков. Тэк-с. Стало быть: лицом, ответственным в перелетании с участка на участок письменных принадлежностей с вовлечением провансальских мужиков обоюго пола в подозрительные мысли, кто является? Лицом, ответственным за вылетающие из соседских уст слова вплоть до швабры и цыплячьего отца, а также за поступки вплоть до метания друг в друга «Девятым Термидором» и прочими современными романами, кто, спрашиваю я вас, является? А?

Анна Петровна. Ей-богу же. Соломон вы не Соломон, а я и не подозревала, что вы до такой степени человек неглупый.

Дундуков (повышая голос). Ответственным лицом кто, спрашиваю я вас, является?..

Все. Мистраль! Мистраль!

Дундуков. Фу... (Обтирает лицо платком.) Именно. Значит, русским людям, да еще добрым соседям, поругавшимся на чужбине при таких обстоятельствах, с добавлением в голову летающих предметов без переплета, — судиться между собой по такому поводу столь же зазорно и глупо, как, скажем (подчеркивает), судиться лунатикам, вцепившимся в полнолуние друг другу на крыше в волосы. Поэтому, голуби мои, подайте друг другу правую руку, а вы, Иван Сидорович, пользуйтесь сим случаем, приложите, ведь она ж все-таки болше или менее дама — и идите все на балкон чай пить. Я сегодня, кстати, из Риги балык получил.

Гулькин. Балык, конечно, хорошо. Но тем не менее, объективно говоря, решение вышло неофициальное. Дрались, ругались, бросались — и на тебе: чай с балыком!

Дундуков. Что ж вы хотите, чтоб я их на поселение на остров Св. Елены сослал? Так, во-первых, юридически не имею права. А во-вторых, вы думаете, там мистралья нет? Он, подлец, везде дует!

Ваня!.. Пойди, займи у Брусковых полдюжины бумажных салфеток. Скажи, мол, у Дундукова третейский фиф-о-клок с балыком и вас, мол, звали.

Гулькин. Ох, Господи! Как же это мы про Прохорова забыли, про суперарбитра нашего? Решение-то все-таки он бы оформить должен...

Анна Петровна. Вспомнил! В кабинете спит наш сукин арбитр. Налоговым листом прикрылся и храпит, как утопленник.

Иван Сидорович. Бог с ним, с арбитром... Анна Петровна! Золото мое бирюзовое! Мириться так мириться: участки наши ровные, домики как сиамские близнецы похожи. Сквозь вас дует, сквозь меня — нет... Так чтобы совесть меня не мучила, будто у вас через меня сквозняк в голове и прочее, давайте обменяемся участками... В два счета!

Дундуков. Ай да Ванечка! Вот это я понимаю.

Анна Петровна. Что-о?! Ме-няться? Да от меня и к колодцу ближе... Да чтоб две мои мимозы к вам пере-

шли?! С крыши у меня — весь залив на подносе, всех дачников вижу: кто кофе пьет, кто ребенка наказывает... Бисмарк какой нашелся! Да и не дует у меня совсем. Важность большая! В жару даже лучше, когда дует. Меньше потеешь, и комаров оттягивает...

Дундуков. Господи, это ж не женщина, а прямо фонтан нефтяной! Чай пить! Прошу встать! Объявляю заседание закрытым.

1927

## МОСКОВСКИЙ СЛУЧАЙ

(Рассказ обывателя)

**Н**еред самой войной судьба меня с корнями пересаживала из волынского чернозема в Санкт-Петербургский торф. Еще по старому романсу известно: «судьба играет человеком» — ничего не попишешь.

Долго не мог привыкнуть. Очень все парадно: дворцы, проспекты, римские тройки на крышах. Нева в гранитном корсете... Слов нет, красота, но сердце зазябло и съезжилось. Природа к тому же на любителя — зимой черные дни, летом белые ночи, осень и весна на один салтык, светлой улыбки на небе не увидишь... Не одобряю.

На эмигрантском расстоянии пейзажец, правда, заголубел, солнцем воспоминания насквозь омыт, однако в те давние времена очень я себя неуютно чувствовал в столице. Все о своем Житомире вздыхал: тополя, бульвары, Тетерев в скалах, маевки за рекой в «Зеленой роще»... Провинциал? Что ж!.. Каждому своя смоковница симпатична.

Служил я в Петербурге на Загородном. В Службе сборов Варшавской дороги по отделу местной таксировки. Переборы и недоборы. С утра сидишь, сжав колени, над грязными накладными, указательным перстом по графам водишь, заблудшие копейки разыскиваешь. А со мной в комнате двадцать три девицы, один я мужчина, не считая тухлого немца Циммермана. Мо-

жете себе представить, до чего я женоненавистником стал!

Немец серьезный был — сам курил и газету читал, а мне запрещал. И болтовни этой сорочьей при нем не было. Счеты кряхтят, перышки шелестят; голову подымишь, на желтый пар в окне уставишься и весь скорчишься, как райская птица в банке из-под маринованной корюшки.

А чуть Циммерман за дверь — круглая язва желудка у него была, часто он за дверь бегал, — двадцать три девицы в двадцать три языка начнут щелкать (меня они не стеснялись, словно я евнухом при их счетоводном гареমে состоял), как начнут прищелкивать... Господи! И из себя к тому же, как вам сказать, сплошное сухожилие. Цвет лица, как у лежалого бисквита, уши насквозь светятся. Другая и поосновательнее, да все какая-то простоквашная полнота: пером ткнешь, сыворotka прольется.

И на улице — сколько их мимо в тумане промаячит навстречу. Улица, что ли, была такая незадачливая, однако, хоть и столица, — далеко им, петербургским килькам, до житомирских лебедей.

\* \* \*

Весной от приятеля письмо из Москвы пришло, от Насеньки Болдырева, — в одном полку, в одной роте нольноперами были...

Пишет коротко и ясно: «Живу, друг Федор, по-царски. Служу у архитектора Чепцова по чертежной части, сто двадцать пять целковых охватываю. Приезжай, черт, погостить. Стыдно даже — русский человек Москвы не видал. Мать и сестра просят. Заочно тебя в ангелы произвел, смотри — не подведи»...

Это точно — не пью я, не курю, в карты дальше подкидных дураков не развертывался и к женщинам, как ныне указано, хладнокровен... Чем не ангел?

Словом, взмыло меня, жаворонком сорвался с прицила. Счеты локтем отодвинул, пошел в Личный Состав, доложил: так и так, по домашним обстоятельствам пропну на две недели отпуск, без сохранения содержания

ния, с выпиской мне в Москву и обратно присвоенного мне по должности билета 2-го класса. К концу занятий все было готово. Не успел мне Циммерман палку в колеса вставить, рот раскрыл, а я общий поклон и к двери.

Вечером к Николаевскому вокзалу подъехал — мгла, мокрый снежок, навозная каша, под штиблет снизу ветер пробирается... Разыскал свой вагон, залег на верхнюю полку падишахом...

Утром проснулся: пейзаж! В стеклах небесный василек, белая тучка над телеграфными проводами висит, вокруг веселая пестрядь, грузные рекламы на столбах, вокзалы шатрами, вдали горит позолота... лязг телег, ширина, солнце. Скатился я мячиком, визави своего на верхней полке бужу: «Вставайте, что ли, к Москве подъезжаем!»

А он лохматую грузинскую голову свесил, осовелыми глазами по вагону повел и под технологической ту-журкой перстами скребет:

— Большинство спит!

Должно быть, социал-демократ был. Я портплед кое-как сваял, продрался сквозь вокзальную гущу, на площадь вышел.

— Господи, Твоя воля... Да ведь это я домой приехал!

\* \* \*

Вахлак-извозчик меня по дороге насмешил. Я во все глаза смотрю, словно давнюю детскую книжку с картинками нашел, вспоминаю страницу за страницей, а он с разговорами пристает. К кому еду? Да кто такой?

— Англичанин я, — говорю. — По-русски не понимаю.

Старик обиделся, шею в ворот втянул, как черепаха, и замолчал. Потом повернулся, из-под своего бурого цилиндра с пряжкой на меня покосился и пробурчал:

— Чего зря врать-то... Англичанин... У англичанина, брат, лицо вумственное.

Подымались в гору, спустились. Никогда б я в этих, одна в другую впадающих, кривоколенных улочках не разобрался... Лабиринт! А дома! То дом, как дом, а рядом комод, на комод терем с пузатыми бутылками, на

тереме гауптвахта. Точно царь Ирод в пьяном виде заказывал... И влипшие среди толстых солидных стен пестрые домовые церковки, и зацветающая черемуха над уездными палисадниками, и разношерстный люд, неторопливый, румяный, ни кокард, ни петличек, а по обществу сразу узнаешь, кто какого сорта, кто чем занимается...

Это тебе не Загородный проспект... А солнце! А ветерок!

Сивцев Вражек... Я по названию думал — закоулок какой-нибудь, избушки на курьих ножках, а улица — хоть к Невскому пристегни. Болдырев мой жил пресolidно. Дом пятиэтажным слоном, подъезд — хоть баню в нем устраивай. Швейцар вроде генерала Скобелева, с приездом меня поздравил и отправил с портпледом в подъемной шкатулке на пятый этаж, под небеса.

Подъезжаю — дверь настежь. Васька мой — усы, как у брандмайора, отросли, — к чесучовой рубашке меня притиснул, облобызал. За ним в дверях сестра его... Олимпиада Иннокентьевна. Познакомился...

Повели в столовую к мамаше их, сидит за самоваром вся в лиловом, в черной наколочке, щечки добрые, носик добрый, глаза добрые. Короче сказать, как я, в Москву въехавши, сразу ощутил, что домой вернулся, хоть никогда и во сне я Москвы не видал, так и мамаша эта сразу мне родной стала.

А об Олимпиаде Иннокентьевне речь особая. Надо паузу сделать...

\* \* \*

Не люблю я женщин, действительно... В Житомире много случаев было: и хохлушки, и польки, и чистокровные русские. По всем бульварам, по всей реке «шу-шу, шу-шу», сегодня с батальонным адъютантом, завтра с семинаристом, послезавтра с ветеринарным студентом, благо у него воротник литого серебра под драгуна. Уж такого непостоянства женского, как у нас в Житомире, и в Венеции не найдешь (предполагаю, ибо и самой Венеции не довелось быть).

Петербургские, по совокупности климатических ус-

ловий, может быть, и постоянное. Но игры никакой, одна практичность. На Службе сборов ошибку в накладной поможешь соседке найти, сейчас же она к тебе, как раковина к кораблю, приклеится, внизу в буфете в кандидаты тебя произведут и на законный союз во всех этажах намекают.

Были, правда, у меня кой-какие и приватные питерские знакомства. Четыре сестры со вдовствующей мамашей интендантского происхождения, у Пяти Углов небо коптили. Одна грусть. Мамаша спать уйдет и мне безбоязненно дочек подкинет, — знает, что умный человек зря в капкан головой не полезет. Старшая треска треской, Пшибышевским все козыряла, — по-моему, он и не гений, а просто Заратустра из почтово-телеграфных нищсеанцев...

Вторая пухла и малокровна, вроде диванной подушки: торчит в углу и ждет, кто на нее облокотится. Третья, упаси Бог... В итальянского шофера в Генуе влюбилась, какую-то с ним идейную беспроволочную любовь крутила, а в дневниках такое про него писала, что я и читать отказался. Меньшая... Даром что подлесток, всех знакомых мужчин по рубрикам разнесла, по пятибалльной системе отметки им вывела и качества все прописала. Про меня выражалась двойственно: «Кисляй Кисляевич, глаза и рост ничего, зачислен в резерв, во вторую линию. Тройка с минусом»... Сама-то... Килька в обмороке, укус пятнадцатилетний, туда же.

Как перейти теперь к Олимпиаде Иннокентьевне? Господи, благослови! Простота-то какая, лучезарность, плавность лебединая, сероглазое мое золото, — вишь, чуть стихами не заговорил. Про дурное-то слов много найдешь, а поди-ка, опиши хрусталь...

Еще в передней я понял, чуть только она на меня глазами повела: вот она, моя Москва, в женском образе и подобии, румяная моя судьба, с которой и бороться не стоит. И пробовать не стал: внутренне руки вверх поднял, хотя наружно и держал себя на строгой уздечке, памятуя, что какой я ей, увалень, партнер?..

Влип сразу. Предрасположение у меня, так сказать, литературное давно было... Ольгу Татьяне всегда предчитал и Онегина по этой причине большим ротозеем

считал. По местожительству пусть Татьяна хоть в С.-Петербурге, хоть где угодно холодное свое гнездо вьет, а уж Ольга в Москве, как жемчуг в футляре, как раз на своем месте. Взглянул на московский золотисто-голубой пейзаж, на уют их ленивый и теплый, на походку ее и на брови и сразу это понял...

И вот с первого часа, как приехал, все свое расписание переменял: Румянцевский музей, подъем на Ивана Великого, Кремль да окрестности, «Синюю птицу» у художественников — все отложил. Куда моя Ольга-Олимпиада, туда и я, как зонтик на кисти подвешенный. И изучал Москву применительно к тому, куда звонкие каблучки поворачивали.

\* \* \*

А поворачивали они... Разве знает голубь в небе, куда ему запричудится плыть через минуту? Вернется с уроков, узкой перчаткой меня по руке хлопнет (перчатки, ей-богу, словно плечико грудного младенца благоухали) и угонит за собой на буксире... И только на втором-третьем перекрестке с хохотом начнем разбираться: куда нас, собственно, вольные ноги несут...

То душегрейку себе дымно-малинового бархата с хорьковой оторочкой отправится по верхним пассажам выбирать, а я решать должен: к лицу ли цвет, хороша ли парча на подкладке... Примерит — Василиса Мелентьевна, — на душегрейку и не глядишь, что ни наденет, все собой украсит... То отправимся на Трубу карликовых попугаев-неразлучников в подарок племяннице покупать, и опять я консультантом по попугайской красоте. Не знал я до того, что взрослый таксировщик местного сообщения подчас счастливей пригостишки может быть... То в Третьяковку забежим — за реку сквозь уездное Замоскворечье нырнем — и начерно обойдем плечо к плечу любимые картины, дальше да дальше — словно знаем, что не раз еще к ним вернемся. А оттуда в случайную пивнушку: Олимпиада Иннокентьевна на шустовский плакат удивленно уставится, пьет свою «Фиалку», лимонад был такой (настояй жженого сахара с пачулиями), а я трехгорное пиво потягиваю,

ракам задумчиво клешни обламываю, с голубого окна глаз не спускаю и думаю: «Господи! Ужели до отъезда всего лишь три дня осталось?!»

Мамаша ничего, не вмешивалась. Даже по-своему положение мне мое при дочери объяснила: «Липа у меня такая, и пес к ней, какой ни попадись, льнет, и кошки ее на всей лестнице обожают, а уж про людей не говорю. Кто к нам ни завернет, уж непременно к ней флигель-адъютантом приклеится. Воробьи даже, поверишь ли, по утрам к ней с балкона в комнату залетают. Хоть и моя дочь, а уж скажу по совести: клад девушка». А Липа из другой комнаты смеется, чашками звенит: «Слышали? Клад девушка! Вот только открыть некому...» Так у меня язык к небу и прилип... Молчи, Федор, молчи. Нужен ты ей, как муха в чае. На кого, микроб, глаза подымаешь?..

\* \* \*

В предпоследний вечер, мрачный, как «Остров смерти», шагал я по болдыревской гостиной. Олимпиада Иннокентьевна в столовой чай разливала. Дядя ее пришел, брат мамыши, мастодонт в купеческом сюртуке, на голове седой бобр, борода веером, глаза строгие гвозди, — солиднейшая орясина. Сидел, потел, чай с блюдечка всасывал и молчал. Перстнями поиграет, вздохнет и опять к своему блюду припадет.

Человек навек уезжает, а он тут, как насос, хлюпает... Шагал я по гостиной и со злости обстановку критиковал. Само собой, я не профессор домашней эстетики и до этого вечера даже и не покосился, что у них там по углам наворочено, однако в злости человек легко в критиканство впадает.

Кресла, например... от прежнего купеческого великолепия остались... жабы красного дерева, ни тебе пропорции, ни тебе удобства, — сиденье, как у выездного барского кучера, когда на нем 18 армяков для стиля намотано... Спинка у дивана покатым катком, голову прислонишь, как к могильной плите... Портьеры — шаману сибирскому шубу из такой бы портьеры сшить. Доволен бы остался! А на золоченом пупыристом столике уж со-

всем африканско-московская штучка... Мамашин вкус. Наполеон гипсовый над кремлевской стеной ручки сложил, штепсель ежели в него сзади вставить, глаза красным пламенем, как у вурдалака, нальются, над кремлевской стеной за матовым стеклом пожарчик розовый вспыхивает. И под сие сооружение мамаша еще граммофон обычно заводит: «Шумел-гудел пожар московский, дым расстилался над землей»... Тьфу!

Ведь вот сидит леший. Дядя, подумаешь. Нужен он здесь, как верблюду арфа. Точно у него после моего отъезда времени не будет чаи свои приклебывать...

Васька Болдырев в пустую гостиную на шаги мои вошел и смеется.

— Ты что, метроном, шагаешь?

— Скучно. Да и дядя твой, извини, подавляет. Экая гора добродетели, замоскворецкий бонза. Пошути-ка при таком...

Васька задернул портьеру и, усмехнувшись, понизил голос:

— Это ты про Савелия Игнатьевича-то? Да ты знаешь ли, что бонза этот раза по три в год новую одалиску себе заводит. Уж дома у него так и знают: не стесняется дядя, — чуть кабинет его сверху тащат и на ломового укладывают, значит, он к новому сюжету перебирается. Без своего кабинета он, чудак, не может, а на что ему там письменный стол, сам Мартын Задека не разгадает. Месяц-другой пройдет, с одалиской своей разругается, — глядишь, кабинет опять во двор въехал, а сам дяденька на коленках покаянно от самых ворот по лестнице вверх ползет. Доползет до тетенькиной спальни и до тех пор не встанет, пока прощенье себе не вымолит. Думаешь, вру? Всей Москве известно... Вот тебе и гора добродетели. Идем в столовую? А он, между прочим, старик добрый и очень тебе пригодиться может.

Последний день неотлучно при Олимпиаде состоял. И в аптеку с ней, и гарус подбিরали, и по Тверскому носились — розовый рахат-лукум искали. Час за часом уплывал, живым меня в землю закапывал.

Вечером поднялся домой; подъемная машина, ей-богу, эшафотом показалась... в последний раз подымаюсь. Щелкнул тихонько американский ключ, вошли, слышим в зеленой гостиной потаенные детские голоса, смешок, писк комариный.

Олимпиада Иннокентьевна палец к губам, на меня обернулась, скользнули мы за портьеру, смотрим, что за спектакль такой?

Племянник болдыревский, кадетик, что раз в неделю в отпуск из корпуса приходил, собрал у балконной двери своих знакомцев: швейцарский Мишка, реалистик Лавр с верхней площадки и еще какие-то микроскопические личности жадно уставились сквозь балконную дверь на ярко освещенное во дворе окно против нашего этажа. Оторваться не могут, хихикают. На что бы, вы думали, уставились? Школа во дворе была пластики и художественных танцев, по Далькрозу... Портьеры, черти, не догадались на окнах повесить. Собралось десятка два дебелих московских гагар, в кисейных сквозных воскрылиях распластываются над паркетом, руки лебедями, ноги — розовыми балыками, шеи словно пристяжные. Детвора в восторге...

— Ты б, Лаврик, на которой женился?

— На второй справа. Мускулы у нее какие замечательные!

— Мускулы у меня у самого есть... Важность какая. А я бы на розовой женился. У нее, брат, на Тверском бульваре своя кондитерская... Я б целый день из тортов не вылезал...

Олимпиада за портьерой губы кусает, за руку меня щиплет, чтоб я голоса не подал... Темно, душно, от милых волос лесным ландышем и московским ветром тянет, теплая рука меня за рукав теребит. Света я не взвидел, в темноте да с горя и божья коровка осмелеет. Прильнул я губами к пушистой жаркой щеке... Как на это решился, и до сих пор не пойму! И вот подумайте, вместо того, чтобы меня за мою дерзость в балконную дверь выставить либо локотком в глаза, как полагается в таких случаях, двинуть, — Липа моя, подумайте, повернулась ко мне всем лицом и...

Не приходилось мне ни у одного поэта читать, чтобы за портьерой целовались, однако лучше места и на свете нет.

Понеслись мы в столовую, хохочем, совсем ошалели... Мамашу разбудили, на гарусной подушке у окна, как потухающий самовар, похрапывала.

— Что ж, вещи сложил? — спрашивает.

— Сложил! — отвечает за меня Липа. К матери подбежала, на коленки перед ней стала. — А я их, мамочка, опять разложила...

Старушка так шарады этой и не поняла в тот вечер. А потом Васенька подошел, еще из передней кричит:

— Федор! Дяде ты очень понравился. Звезд, говорит, с неба не хватает, но своя, говорит, лампа у него в голове есть... Просил передать, что в Правлении Московско-Курской дороги у него большие связи; если хочешь, в два счета тебя в Москву переведут.

И опять Липа за меня отвечает:

— Зачем же ему в Москву? В Петербурге на Службе сборов с ним в одной комнате двадцать три барышни сидят. Авось он там, женоненавистник, судьбу свою найдет...

Ведь вот какая злоязычица!

Ну, сами понимаете, что в Москву я в скором времени перевелся, т. е., собственно говоря, в Петербург я только за вещами на два дня слетал.

\* \* \*

Вот и весь мой «случай». Сколько я ни живу, сколько чего ни видал, сколько романов ни читал — а я свой московский роман самым выдающимся считаю, ей-богу. В два счета свежий ветер всю жизнь мою перевернул, и не раз мне с тех пор кажется, что я точно не на женщине, не на Липе, а на самой Москве женат. А ведь не решишь я тогда за портьерой...

В Марселе который год теперь бьемся, прачечную французскую держали, в гавани я верблюдом по разгрузке нанимался — все ничего. Моя маленькая Москва при мне, а в большую Москву... есть такие заповедные

слова, и думаешь-то о них с трепетом... в большую Москву дай, Господи, хоть под старость вернуться. Сынишка у нас растет; не в Житомир, не в С.-Петербург — в Москву его с собой повезем, пусть наш старый неоплатный долг выплачивает...

1926

Париж

## САМОЕ СТРАШНОЕ

Конечно, «страшное» разное бывает. Акула за тобой в море погонится, еле успеешь доплыть до лодки, через борт плюхнуться... Или пойдешь в погреб за углем, уронишь совок в ящик, наклонишься за ним, а тебя крыса за палец цапнет. Благодарю покорно!..

Самое страшное, что со мной в жизни случилось, даже и страшным назвать трудно. Стряслось это среди бела дня, вокруг янтарный иней на кустах пушился, люди улыбались, ни акул, ни крыс не было... Однако до сих пор — а уж не такой я и трус, — чуть вспомню — по спине ртутная змейка побежит. Ужаснешься... и улыбнешься. Рассказать?

\* \* \*

Был я тогда «приготовишкой», маленьким стриженным человеком. До сих пор карточка в столе цела: глаза черносливками, лицо серьезное, словно у обиженной девочки, мундирчик, как на карлике, морщится... Учился в белоцерковской гимназии. Кто же Белую Церковь не помнит:

Луна спокойно с высоты  
Над Белой Церковью сияет...»

Рядом с мужской гимназией помещалась женская. У мальчиков двор был для игр и прогулок, у девочек — сад. А между ними Китайская стена, чтобы друг другу не мешали.

Помню, перед самыми рождественскими каникулами холод был детский: градусов всего пять-шесть. Вы-

пустили нас, гимназистов, и верзил и маленьких на большой перемене во двор проветриться. В пальто, конечно, чтобы инфлюэнцы не схватить (тогда грипп инфлюэнцей называли).

Характер был у меня особенный. У маленьких собачонок нередко такая склонность замечается: ни за что с маленькими собаками играть не хотят, все за большими гоняются... Так и я. Крепость ли снежную шестой-седьмой класс в лоб берет, либо в лапту играют — я все с ними. Визжать помогаю, мяч подаю, дела не мало. Привыкли они ко мне, прочь не гнали. И прозвали Колобок, потому что голова у меня была круглая, а шинель очень толстая, стеганая, вроде подушечки для втыкания булавок. Увязался я и на этот раз за взрослыми. Мяч под небеса, я наперерез за мячом. Ловить, само собой, остерегаюсь — литой черный мяч, руки обожжет. А так, если мимо всех рук хлопнется, летишь за ним чертом, галоши на ходу взлетают, — и подаешь кому надо. Опять на свое место станешь и ноги ромбом поставишь. Такая уж позиция была любимая: перед тем, как по мячу шестиклассник лопаткой ударит, его подручный мяч кверху подбрасывает. А ты за них волнуешься и на кривых ножницах, словно паяц на нитке, дергаешься.

И вот, на мою беду, ребром по мячу попало, полетел он низко над головами косой галкой прямо в женский сад за стенку. Стенка ростом в полтора Созонта Яковлевича (надзиратель у нас такой был, вроде складной лестницы). Что делать?

На свое горе, я сгоряча и вызвался. Приготовишки очень ведь к героическим поступкам склонны, во сне на тигра один на один с перочинным ножом ходят... А взрослые балбесы обрадовались. Подхватили меня под руки и, как самовар стационарный, к стенке поволокли. Один стал внизу, руками и головой в стену уперся, другой на него — вроде римской осадной колонны.

Подхватили меня, под некоторое место хлопнули — ух! — взлетел я на стенку, на руках по ту сторону повис... Снег мягкий, шинель толстая — ничего! И полетел вниз в полной безопасности легким перышком на ватной подкладке.

\* \* \*

Вылез я из сугроба, снегу наелся, по спине порция мороженого потекла. Руки и ноги целы. По полам себя хлопаю, снег отряхиваю, глаз не подымаю — некогда.

И вдруг из-за всех кустов, словно стадо поросят кпятком ошпарили, визг невообразимый... Справа девочки, слева девочки, сзади девочки... Тысячи девочек, миллионы девочек... Маленькие, средние, большие, самые большие.

А впереди краснощекая, толстая, ватрушка воинственная в капоре, надсаживается — кричит:

— Идите все сюда! Мальчик к нам в сад свалился!

Съежился я, как мышшь в мышеловке. Стена за спиной до неба выросла. Предателей моих не видно, не слышно... Где моя любимая мужская гимназия? Куда удирать? Как я из этого осинового гнезда выдерусь?! Снег на моем затылке горячий-горячий стал. В ушах сердце, как паровая молотилка, бьется.

А девочки по всем правилам осады круг сомкнули, смолкли и смотрят. Синие глаза, серые глаза, карие глаза, голубые глаза — острые, ехидные по всей моей восьмилетней душе ползают... Колют, жалят, в один пестрый глаз сливаются. Они, девочки, храбрые, когда мальчик один!

И все ближе и ближе... Это тебе не тигр во сне. Не акула в море. Не крыса в погребе...

Тысяча губ раскрываются, перешептываются: шу-шу, шу-шу... Язычки, как жала, высовываются. И вдруг одна фыркнула, другая захлебнулась, третья по коленкам себя хлопнула, и как прыснут все, как покатаются... Воробьи с кустов так и брызнули. А я посередине — один, как мученик на костре.

Стянули они круг теснее. Еще теснее... Когда к дикарям в плен попадешь, всегда ведь так бывает: прежде чем пленника поджарить, отдают его женщинам — помучить... Господи, до чего мне страшно было! Может быть, они меня подбрасывать станут? Или защекочут, как русалки? Каждая в отдельности ни-

чего, но когда их тысячи — мышей, например, — что они с епископом Гаттоном сделали?!

Но они ничего. Только еще ближе подобралась. Одна постарше наклонилась, фуражку мою подняла, боком на меня надела. Другая со щеки у меня снежок смахнула. Третья по голове погладила... Какая-то ехидна подскочила, еловую лапу над головой дернула — всего меня снегом обкатила. Начинается!

Стою я пунцовый. И со страху в ярость приходиться начинаю. Мускулы под шинелью натянул. Как стали! Что ж, думаю... погибать, так с треском! Сто девочек на левую руку, сто на правую! Брыкаться-кусаться буду.. И не выдержал, в позу стал и головой слегка вперед боднул.

А они опять как зальются. Словно весь сад битым стеклом посыпали.

И первая, ватрушка воинственная, вдруг сбоку нацелилась и рукой меня за нос... Чайник я ей с ручкой, что ли?! Обидно мне стало ужасно... Посмотрел вверх на гимназическую стену, фуражку козырьком на свое место передвинул и издал пронзительный крик.

— Шестой и седьмой класс! На помощь! Девчонки меня му-ча-ют!!!

Да разве их перекричишь... Такой смех поднялся, такой визг, такое улюлюканье, словно в аду, когда, помните, гоголевский запорожец с ведьмой в дурачки играл... Так бы я, быть может, и погиб...

Но, на мое счастье, вижу издали, словно облако, седая дама плывет — в серой шубке, на голове серебряная парчовая шапочка. Подошла. Девчонки все сразу ангелами, божьими коровками стали. Расступились, шубки оправили... От реверансов снег задымился...

А я, маленький, врос в снежную грядку, стою посредине и дышу, как загнанный олень.

Посмотрела на меня дама в очки с ручкой, которые у нее на шее висели, мягко улыбнулась и спрашивает:

— Вы как сюда, дружок, попали?

Представьте себе — тишина кругом, словно на Северном полюсе. Все смотрят, ждут, что я отвечать буду, а я совсем начисто с перепугу забыл, зачем я в сад сва-

лился. Будто я и не приготошишка, а «капитанская дочка», и сама Екатерина Великая со мной разговаривает. И уши до того горят, что и сказать невозможно...

Взяла меня седая дама пальцем под подбородок, подняла мою замороженную голову и опять спрашивает:

— Как вас зовут?

Ну это я кое-как, слава Богу, вспомнил. Но от робости ни с того, ни с сего шепелявить стал:

— Шаша.

Опять вокруг ехидные девочки захихикали. Не громко, конечно, но все равно же обидно.

Дама на них строго оглянулась. Точно холодным ветром смешок сдуло. Только за спиной тихо-тихо (слух у приготошишки острый!) шипение слышу:

— Шашечка! Промокашечка... Таракашечка...

А даме, конечно, любопытно. Не аист же меня в женскую гимназию принес.

— Как же вы, Саша, все-таки в сад к нам попали?

И вдруг над стенкой шестиклассная голова в фуражке появляется и басит:

— Извините, пожалуйста, Анна Ивановна! Мяч у нас через стенку перелетел. Мы гимназистика этого в сад и перебросили.

Но дама его, как классный наставник, очень строго на место поставила:

— Стыдитесь! Большие — маленького подвели. Да и где он тут в снегах-сугробах мяч ваш найдет?

— Да он сам вызвался.

— Не возражать. Сейчас же пришлите кого-нибудь к нашей парадной двери, чтобы его в класс отвели. Слышите?

И шестиклассная голова сконфуженно нырнула за стенку.

— Вам тоже стыдно, медам! Разве так можно? Точно зайца на охоте обступили... Слава Богу, не все же здесь маленькие... Могли бы и умней поступить.

Тут уж девчонкина очередь пришла: покраснели многие, как клюковки. А одна гимназисточка, ростом с меня, тихонько мне руку сочувственно пожалала.

Довела меня седая дама до калитки. Руку на плечо положила. Сразу мне легче стало...

Расшаркаться я даже не догадался, побежал к парадным дверям: да и время было — колокольчик во всю глотку заливался... Кончилась, значит, большая перемена — кончились и мои мучения...

На елку в женскую гимназию, как ни уговаривала меня няня, я не пошел.

— Почему?

— Не пойду.

— Да почему же?

— Не пойду, не пойду!

Няня только головой покачала:

— Фу, козел упрямый... Уж попомни мои слова, сошлют тебя когда-нибудь в Симбирск.

Няня наша в географии плохо разбиралась, и что Сибирь, что Симбирск — для нее было все едино.

Так я дома и остался. А поздно-поздно старшая сестра-гимназистка с елки вернулась, целый ворох игрушек мне на постель вывалила.

И сказала таинственно:

— Они очень раскаиваются. Очень жалели, что ты, козявка, не пришел, и прислали тебе с елки подарки.

А я головой в подушку зарылся и в ответ только головой пяткой брыкнул.

1928

Париж

## ИСПАНСКАЯ ЛЕГЕНДА

После нудного конторского дня Беляев, совершив очередной рейс к испанцу-фруктовщику, вернулся домой взволнованный и оторопелый. Бросил на стол пакет с мятой земляничкой, схватил географический атлас сына и, разыскав на голубом средиземном просторе Балеарские острова, радостно крикнул в коридор:

— Аничка!

— Ну что еще? У меня картошка горит!

— Пусть горит. Закрой газ... Совершенно невероятная история!

Багрово-сизая Аничка хлопнула кухонной дверью и,

благоухая сложным ароматом жареного лука и «Coeur de Jeannette», стремительно вошла в столовую.

— Опять на скачках продулся?

— Какие там скачки... (Верная лошадь случайно пришла четвертой, так она забыть второй год не может.) Ты географию помнишь?

Аничка внимательно посмотрела на мужа и вдруг, дернув за угол передника, подошла к нему вплотную.

— А ну-ка, дыхни на меня!

Беляев покорно дыхнул. Запах как запах: скверный табак да земляника — должно быть, по дороге из лавочки пощипал.

— Сядь. Какая география? В чем дело? Женщина ты, прости Господи, или мужчина?

— Не в том дело, Аничка. Прихожу к испанцу, а он из кассы вынул пачечку фотографий и сует мне в нос: родину, говорит, мою видали?

— Ну-с?

— Заливы, проливы, муромские леса... Горы вверх, горы вниз. Есть еще, оказывается, такие Эдемы непроходимые на свете... А мы, как дураки, по карте Франции ползаем. Телеграммы с уплотненными ответами рассылаем да проспекты выписываем. Тоже — коллекционеры...

— Покороче не можешь?

— У тебя, ей-богу, Аничка, кухня всю идеологию съела. Покороче вот что: у него на острове Майорке есть дом, и он к нам очень симпатично относится... Вот и испанец, а душа русская.

— Видно, что симпатично. — Аничка иронически посмотрела на мятые ягоды и строго спросила: — Дальше?

— Дом в три комнаты, кухня, ветряная мельница, колодец, право пользоваться фруктами и виноградом сколько влезет, и за все про все... сто франков в месяц... Что?!..

Жена побледнела и сняла передник.

— Тетя дома? — спросил Беляев.

— Спит.

— Разбуди! Такие случаи раз в жизни бывают. Зимой отоспится.

\* \* \*

Тетя Женя долго не могла понять, в чем дело. Терла заспанные глаза, водила, как слепая, пальцем по Средиземному морю и наконец сухо и категорически отказалась:

— Вы как угодно. А я еще с ума не сошла, слава тебе Господи.

— Почему, тетечка? — мягко спросила Аня и злобно отшвырнула под столом теревшуюся об ноги кошку.

— Объясняй тебе еще... Восьмой год в эмиграции, пора бы и без объяснений понимать. От большевиков ушли, от Махно ушли, буду я тебе на склоне лет под бандитские пули соваться!

— Да где же вы, тетя, бандитов нашли? — вежливо спросил Беляев и по беспроволочному телеграфу переглянулся с женой: «Вот дура-то пензенская!»

— И искать не надо. Газеты-то читаешь? Романетти или Бареннетти этого где подстрелили? На острове твоём... Наполеон еще там родился, одного поля ягода. Ты думаешь, что после Бареннетти этого шайка его в монастырь пошла? Снимут в горах часики, в спину ножом пырнут, вот и будешь с дачей... Шакалам на завтрак.

Аничка резко отодвинула от мужа пакет с ягодами, которые он незаметно одну за другой подьедал, взяла с буфета маникюрную пилочку и ткнула в остров Корсику.

— На Корсике, тетя, бандиты, на Корсике. А это остров Майорка. Испанские владения, Балеарские острова.

— Других, мать моя, учи! Что испанцы, что корсиканцы, бандит на бандите. Контрабандой только и живут... Не видала я «Кармен», что ли? Стану я острова твои по фамилиям разбирать! Балеарские?.. У нас под Пензой имение было Балеарских. Шулера да жулики, только и всего.

Беспроволочный телеграф опять заработал: «Пылесосом бы тебе, милая, мозги проветрить...»

Но к пылесосу нельзя было прибегать. У тети Жени была твердая, незыблемая база: сорок восемь английских фунтов. И хранила она их не в каком-нибудь «Ли-

онском кредите» (что за кредит такой, Господь его веда-ет), а в банке из-под американских консервов, вывезенной из Югославии...

Беляев снял пиджак, опрокинул в рот рюмку с русскими валериановыми каплями и, крепко поглаживая клеенку, стал вбивать в тетину голову слово за словом.

— Клянусь вам, тетя Женья, своей службой и здоровьем жены и сына! Дом расположен в благоустроенной испанской деревне. Против дома пост национальной гвардии. На острове давно нет ни одного контрабандиста. Все по курортам в наемных танцорах служат. Остров, как вы знаете, со всех сторон окружен водой, а вокруг острова днем и ночью плавают броненосцы с прожекторами. В Испании правая диктатура. Вы же читали сами... Все Кармен давно служат стенографистками и машинистками в местных городских управах. Чего же вам бояться, тетя Женья? Ведь сто франков в месяц с виноградником и палисадником.

— А быки? — спросила поколебленная вескими доводами тетя.

— Быков едва хватает на Севилью и Гренаду, зачем же их будут держать на Майорке? И вообще быки — исторический предрассудок, который даже, кажется, запрещен королевским декретом.

Тетя Женья, облегченно вздохнув, посмотрела на свой красный сак и сдалась.

— Что же, куда люди, туда и я. Как ехать-то?

— Да Марселя поездом. А оттуда морем два шага.

— Морем не поеду.

— Как же, тетушка? Ведь остров же...

— А качка?

— Качки в Средиземном море по летнему расписанию никогда не бывает.

— А виза? — в свою очередь спросила жена.

— Пустяки. Муж Нининой портнихи натирает в испанском консульстве полы. Протекция. Все равно с Ниней ехать... Позвони ей, пусть возьмет такси, на свой, конечно, счет, и приедет столкнуться. Время — деньги, соседи могут узнать, шиш без масла получим...

\* \* \*

Подруга Анички, Нина, с которой еще с весны, в видах экономии и дружбы, сговорились устроиться на даче вместе, русалочьей походкой вплыла в столовую и, томно стаскивая пальчик за пальчиком длинную перчатку с раструбом, защебетала:

— Почему такая таинственность, Аня? Бери такси, по телефону загадочные намеки... В чем дело? Когда мы слем и куда мы, наконец, едем? Я изнемогаю в Париже!..

Она, как всегда ни к селу ни к городу, захохотала: женщины ведь так часто превратно понимают, что им к лицу и что не к лицу.

Беляев начал по порядку: испанец-фруктовщик, симпатичное отношение, русская душа, виноградник-палисадник.. Но незаметно для самого себя стал пересаживать, словно рецензию о собственной книге писал. В доме уже было четыре комнаты, а не три. В саду забил фонтан, — на фотографии, кажется, было что-то вроде фонтана.. Овощами тоже можно пользоваться бесплатно. А ведь на острове Майорке лучшие овощи в мире. И какой климат! Испанец говорил, что столетние старики пляшут в горах сарабанду... И нравы! Честность финляндская. Положи на крыльцо английский фунт и уйди хоть до вечера, никто пальцем не тронет. Разве что ветер унесет. И какое молоко, и какие яйца... Яйца, кажется, тоже бесплатно.

Нину, впрочем, больше интересовала романтика.

— Боже мой, Майорка... На этом острове, да-да, я припоминаю, жила Жорж Санд с Шопеном. И вдруг мы будем жить в том же самом доме! Вы не знаете, там есть поблизости дамский парикмахер? Ах, как удачно все складывается. Испанские шали выходят в Париже из моды, но в Испании, извините! Испанское солнце, оранжевая шаль и кресло, в котором сидела Жорж Санд... Аничка, если ты не ревнива, я готова расцеловать за эту идею твоего мужа.

Но Аничка не позволила и деловито заторопила мужа.

— Пока твой испанец не закрыл лавку, поди и распроси подробно, сколько в доме кроватей, себя не считай, приедешь, привезешь с собой гамак. Какая вообще

мебель, есть ли газ? Запиши подробно, чем можно пользоваться, дай задаток и возьми расписку... Можно ли там достать приходящую прислугу, разрешает ли он стирать в фонтане — впрочем, это его не касается, — что стоит проезд.. И план дома возьми, слышишь?

Похожая на старую черепаху консьержка сердито высунула голову из своей клетки: мало этим русским места в своей квартире, надо еще на лестнице вдогонку кричать...

\* \* \*

Беляев вернулся минут через двадцать. Долго копался в передней и на нетерпеливые призывы жены, тети Жени и Нины бормотал в рукав своего пальто что-то невнятное.

Вошел красный, медленно пил воду, которой вообще никогда не пил, и рассказывать не торопился. Жена тоже молчала, но иное молчание хуже плети. Надо было сесть, ничего не поделаешь.

— Ты, Аничка, напрасно, того... сгущаешь краски. Комнаты действительно три, но в одной обрушился потолок, а в другой курятник. Не можем же мы запретить испанцам разводить кур. И вообще, почему это эмигранты должны непременно разъезжать по дачам? Поездили, будет... Испанию им подавай, как же! А проезд туда что стоит? А четыре визы? Опять же мебель. Везти с собой только испанскому королю по средствам. Брать напрокат — прокатов никаких не хватит. Испанец сам эмигрант, открыл в Париже лавочку, так я должен к нему с ножом к горлу приставать, почему он там для меня палисандровой мебели не заводит? Нет мебели — и конец. Не могу же в его частную жизнь вторгаться. И совсем не сто франков. С какой стати сто? Меценат он наш, что ли? Ко мне он, конечно, симпатично относится, и если бы я один поехал, с меня бы одного взял сто, а если целая орава — с каждого по сто... И деньги вперед за сезон, потому что франк падает... то есть летит. Виноградом и сельдереем, конечно, пользоваться можно, сколько хочешь за свои деньги. Потому что и палисадник, и виноградник сданы в аренду. Не можем же мы,

Аничка, запретить испанскому эмигранту извлекать из своей недвижимой собственности доходы. Комаров действительно много, но старожилы выдерживают. И ветряная мельница есть. А фонтана — нет... У нас ведь тоже нет, почему у него должен быть?

Жена выслушала до конца. Подошла поближе, принюхалась: странно, ни кальвадосом, ни ромом от него не несет...

И, глядя мимо, как только это женщины умеют делать, обошла мужа и сказала приветливо тете:

— Одевайтесь, тетя Женя, пойдем в ресторан, поедим, а оттуда в кинематограф. Ниночка, ты с нами?

— А я? — смущенно спросил Беляев.

— Ты? — Аничка весело хлопнула перчаткой по зонтику. — Ты сегодня можешь обедать на острове Майорке со своим испанцем.

1926

## ЭКОНОМКА

За узорными чугунными воротами — полумрак и прохлада. Липы сплели изогнутые ветки в темно-зеленый туннель, — дождь не пробьет.

Белая, зигзагами выющаяся стена наглухо отделила усадьбу от пустынного пыльного шоссе, обрамленного тополями, от неоглядных полей, полого спускающихся к станции. Кто бы сказал, что в часе езды — Париж?..

У входа, против домика консьержа, — длинный кирпичный флигель. Площадка перед кухней усеяна темными, лопнувшими каштанами, куриным пометом и мелкой упаковочной стружкой.

За ржавым столиком в затрапезном, пропахшем землей и курятником, сером платье сидит грузная, полуседающая женщина в очках и тяжело дышит.

Поговорить бы, отвести душу с русским понимающим человеком... Да не с кем. Уж она бы напела! И, как всегда, присела дух перевести, а мысли бегут, выплескиваются — словно сама с собой говорит, остановиться не может.

\* \* \*

Десять гектаров... Тоже, имение называется. В полчаса все обревизуешь, а потом целые сутки сердце кипит.

На птичнике ворота настежь. Известно, чьи это штуки! В бочке — воды нет. Куры, позадрав носы, в кружок собрались, на втулку смотрят. Все углы грязью-пометом позаросли. Индюки драные, худые, словно нищие на паперти, вдоль сетки стоят. Глаза бы не смотрели!

В прачечной маляр-испанец с хохлушкой-птичницей разговор в амурном направлении завел. Скажите, пожалуйста, мезальянс какой! А постирушка ждет, цыплята по всем лавкам мокрые носки клюют... Разве ж это порядок? Шуганула его, хахаля, конечно. Жаль только, слов настоящих на французском языке нет.

Дров конюх опять не напилит. Вот злыдень, прости Господи. Как теперь пироги печь? Носится на велосипеде, как скаженный, от усадьбы до станции, от станции до местечка. Русский конюх, а, вишь, тоже к французским романам приспособился! Хозяевам очки втирает: у коровы аппендицит, надо ветеринара вызвать...

С овощами — беда. Садовник с придурью, даром что бельгиец. По четным дням пьет, по нечетным жену бьет. На огород никого не пускает: «огород — это я!». Контрабандой с хозяйского огорода к хозяйскому же столу овощи таскать надо... Да и такого насажал, что и цыган есть не станет. Тыква — лешему на третье блюдо. Укроп без запаха, хоть бы на смех чем-нибудь пахнул. Ну как такой в огуречный рассол класть? Артишоки никто не ест. Разве это овощ? Повырастали, как олухи, все в цвет пошли. Деньги людям не жалко! Огурцы басурманской породы какой-то: длинные да кривые, слово кинжалы. А на вкус вроде сырой кобылятины. В рот возьмешь да тихонько в руку сплюнешь, чтобы люди не засмеяли.

\* \* \*

Главное, в большом доме никто делом не интересуется. Девушки теннис за оранжереей завели, прыгают весь день, как оглашенные, бюсты спускают. Похудеть,

видите ли, надо!.. И что за игра такая окаянная: словно малые ребята, мячик с лопатки на лопатку перебрасывают. Чем пойти на птичник поинтересоваться, почему индюшка окривела, какие яйца для еды отобрать, какие на высидку, только и знают свой теннис, либо в гостиной под граммофон полы натирают. Танцы! Изогнут в три погибели животы и хребтом вертят, как кошки наскипидаренные... А то сядут в лодку друг против дружки и гребут: одна вперед, другая назад. Кто кого перегребет. Воспитание!

Отец в Париже коммиссионную лавку держит. Человек ничего, киевлянин. Баки, как у собаки, глаза шилом. За все лето два пальца дал. Соблаговолит... Полпальца б ему сдачи к носу поднести! В хозяйстве кобылы от жеребца не отличит, а туда же... имение завел. В город поедешь за покупками, явишься с докладом, выслушает, — только ничего кислого ему не докладывай, огорчаться не любит. А придет в усадьбу — беда. Почему на капусте гусеница? С какой стати лодка течет? Почему скамейки не подкрашены?.. Почему прачка беременна?

Где же это видано, чтобы экономка и за гусеницу, и за лодку, и за прачку отвечала? Бельгиец-садовник хитрюга, чем свет в огороде роз понарежет, длинноухою травой перевьет, фонарь под глазом пудрой присыплет и тащит букет в столовую... Все воскресенье ходит за хозяином следом, как грач за плугом: очки втирает. Тот доволен, губу на локоть и сейчас же бельгийцу на чай двадцать франков. Я, говорит, вами «тре контан»! Подожди до осени, будешь ты три контан... Маркиз свинячий!

А конюх еще похлеще. В укромном месте в парке хозяина высмотрит и давай про людей наговаривать... Экономка яйца прикапливает, кофе со сливками пьет. Неужели без сливок?! Покупать, что ли?.. За собой бы, лодырь, смотрел! Кто лошадь в водокачке на всю ночь забыл? Кто хозяйское вино бистровщику продал? Все известно... И про портьеры тоже, будьте покойны... На чердаке собрал охапку, свез в Париж, в канареечный цвет перекрасил и своим кралям по всему округу на платья раздарил. Уток сколько, подлец, съел! Чикнет

утку в конюшне об колесо, а потом зайвится, глаза, как у лешего, в разные стороны смотрят: «Опять, Варвара Ильинишна, коршун утку склевал!..» Вот уж именно... коршун.

С самой мадам тоже толку не много. Распустит пояс и лежит весь день на веранде, как майская ночь или утопленница. Тоска, видите ли, у нее. У других, может, три тоски, да еще камень в печени. Однако ничего, встают до зари, топчутся. Какая же тоска, если хозяйство? Женщина она, слов нет, кроткая: но как же так своим добром не интересоваться? Бог такое, можно сказать, редкое счастье послал... Другие в эмиграции своим горбом чужую стену подпирают, а тут все свое: дом, оранжерея, корова. Ключок русской земли создать можно. Горлинки стонут, груши наливаются, в пруду свои утри — один другого жирней. Смотреть тошно!

Кто человек понимающий и дело это самое обожает, должен по чужим кухням трепаться, глупым капризам потакать, а другой, как крот в пеньюаре, — сидит на веранде, на зеленый благословенный рай смотрит и, сложив ручки, равнодушно зеваает. Скучно им здесь!.. Принцессы свеклосахарные!

\* \* \*

Дожила, нечего сказать. Оттого и сердце кипит, когда всю эту безалаберщину видишь. Чужой хлеб давишься-ешь, да еще улыбайся им с утра до вечера. От этих улыбок, может, и годы свои сократишь.

«Варвара Ильинишна, почему кабачки невкусные?» У садовника спросить надо, мать моя... Переросшие к столу подает. Улыбнешься, да руками разводишь, да на европейский климат сваливаешь... Старшая дочка ихняя никогда головой не кивнет. Дождевой воды ей для волос принесешь либо душистого горошка пучок — сквозь зубы буркнет. Догадайся там — либо «спасибо», либо «пошла к черту»... Ученая! Турецкий синтаксис в гамаке весь день перелистывает. А почему куры во вшах да как огурцы солить — этому в Сорбоннах не учат?.. Вылупит глазенкапы, как сова в очках, и по-английски на мой счет двоюродному брату: «И чего эта ку-

илда тут околачивается?» Язык чужой, да по выражению все понятно! Будьте покойны... В сорок восемь лет, персик мой, каждая женщина на законном основании расплывается. А вот когда в восемнадцать руки-ноги как диванные валики, это, можно сказать, не стоило и в Париж приезжать... А кавалер-то, кузен, жимолость в штанах, туда же с усмешечкой: «Вы, — говорит, — Варвара Ильинишна, по руке хорошо гадаете. Погадали бы мне». И лапу свою цыплячью сует. Да у меня, может, на пятке больше линий, чем у тебя на руке! Что ж... Улыбнешься и врешь... Пять минут потом руки дегтярным мылом отмываешь. Богатым услуживаешь, хоть выгода какая, а этот двоюродный... Два воротничка, да подтяжки, да на сберегательной книжке — дырка от бублика. Тьфу!

В кладовую надо идти, а в поясице черти жгуты выют...

Конюха столуешь, так он, гад, еще и нос воротит. «Каклеты», говорит, пережарены. Да где он, хамло, «каклеты»-то раньше ел?! Рожка — циферблатом, вино пьет до отвалу, еще и выбирай, с маркой ему подай! И молчишь. Садовнику яичек снесешь — он тут же на манер президент-министра, что поделаешь. Землянику в парке, спину гнешь, собираешь. Принесешь в большой дом, приезжая племянница, кобыла сверхобхватная, и спасибо не скажет: пасть раскроет, всю миску вмиг опростает. Для тебя собирала!.. Смолчишь, улыбнешься ласково, и только за углом — дом обогнешь, плюнешь с досады...

А уж как жилось дома!.. Домик в Житомире за третьим бульваром — игрушка. Над крышей тополя до неба. Огород русский, православный: закрудрявится весь, не уйдешь... Никакой Версаль не сравнится. И не сидела ведь павой, благо что капитал кое-какой был. Осенью вздохнуть некогда. Капусту рубят-шинкуют, огурцы горой, только бы бочек хватило... Соленья, маринады, по-видло... Рецепты такие хозяйственные знала, что самой Молоховец и во сне не снилось!

Конюх свой был. По струнке ходил. Придет в дом, у притолоки станет, дело свое обскажет и будьте здоро-

вы. Никаких фиников-пряников — и без «каклет» доволен был. А когда бежала, он же первый, милый человек, лепешек на дорогу принес... А сад какой... Господи! Одних яблонь сортов до шестнадцати: розмарин, антоновка, цыганка, золотое семечко...

\* \* \*

— Варвара Ильинишна!

Экономка очнулась и сердито из-под очков покосилась на дорожку.

— Чего, дуся?

Зашуршали кусты. Из большого дома прибежал, щелкая на ходу по веткам хлыстом, младший хозяйский сын, тонконогий веснушчатый мальчуган.

— Папа звонил только что. К ужину из Парижа к нам гости приедут. Восемь человек... Мама просит, чтобы вы что-нибудь придумали поинтереснее... А когда же вы мне маникюр сделаете? Вы же обещали!

Экономка встает, на лице вспыхивают багровые пятна.

Действительно, только ей и недоставало — слюнявому индюшонку маникюр делать... Ах ты Господи! Дров не напилили, птичница за жавелевой водой ушла, садовник пьян — в огороде сидит, с тыквой разговаривает, жена садовника пластом третий день лежит после очередной потасовки, конюх краденым одеколоном надушился, укатил за ветеринаром... Вот и воюй без войска. Птицы без воды, корова недоена, печень разыгралась, а тут восемь человек на голову свалились... Лодыри парижские!

Она судорожно выдавливает на лице приветливую улыбку и, запахивая на груди капот, треплет мальчугана по плечу.

— Сейчас, дуся... Сейчас, дуся, приду.

И про себя добавляет уже безо всякой улыбки: «Сказались бы вы все, гром вас побей с гостями вместе!»

1925 Апрель

## ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Сидели они в бистро — эмигрант-переплетчик Гуськов и эмигрант-кондитер Флипс. Пили свирепую французскую водку кальвадос и беседовали.

Гуськов, небритый и взъерошенный, похожий на прежнюю щетку для чистки ламповых стекол, покосился на обтянутую тусклым свинцом стойку, ткнул пальцем в сторону радужного спектра ликеров и вздохнул.

— Золотые россыпи... На каждой рюмке сто процентов чистых. Книги только Дон-Кихоты отдают в переплет, а пьет каждый. Стало быть, кто-нибудь это пойло и изобретать должен.

— Со времен Ноя изобретено, — компетентно заметил Флипс.

— Консерватизм. Если взять, скажем, кальвадос, смешать с куэнтро, для запаха эвкалипта прибавить, подцветить шафраном да бухнуть для крепости красного перцу — вот тебе и новая марка! Патент взять. Названьице «Мечта негра» или «Нижегородская слеза»... Этикетку с левитановской березкой завинтить. Ты понимаешь? Крез! Пол-Европы обопьется.

Флипс взглянул на дело трезво:

— Кальвадос с куэнтро смешаешь, почем тебе рюмка обойдется? Перец, бутылку и прочее из чистой благотворительности на свой счет ставить будешь? Брось, пожалуйста. Меценат спиртячий...

— Ну, ладно! А что, если простую водку баллонами покупать и на черносмородинной почке настаивать? Земляки обомлеют.

— Черносмородинную почку на подоконнике выращивать будешь? Не ерунди. Да и кто тебе в комнате разливать позволит? А капитал? Чудак Иванович! Бутылок на шесть хватит, сам же с гостями под Новый год разопьешь... Идея в основе единственная: настоящее дело должно не эмигрантов обслуживать, а весь, так сказать, земной шар.

— То есть?

— Например... — Флипс задумался. — Мазь для вызывания роскошных снов! Мне знакомый хиромант

объяснил, что если несколько симпатических запахов смешать на свином сале и втирать перед сном, допустим, в затылок или в спинной предпоследний хрящик, то и сон соответствующий приснится. На научном основании. Для богатых можно в фарфоровых баночках, для простых клиентов в простоквашных горшочках. Прейскурант соответствующий тиснем: сны для пожилых, сны для несовершеннолетних. Для дам с высшим образованием... понаучнее. Постоянным подписчикам скидка.

— Отчего же твой хиромант сам этим не займется?

— Ему ни к чему, раз своя профессия есть. А секрет он за сто франков продаст с удовольствием.

Переpletчик скептически свистнул.

— Я тебе и за пятьдесят продам и тоже с удовольствием. Нашел занятие... Да первый француз-клиент, допустим, после твоей мази во сне разведенную жену увидит. Сейчас на тебя донос, и в 24 часа на люксембургскую границу, как нежелательного иностранца, высадят... Вернее, друг, на американцев компас держать! Нация с золотым обрезом, шагреновый корешок! Изобрету я, скажем, алкогольный зубной порошок. Вернется мой клиент в Нью-Йорк, из жилетного кармана порошок вынул, зубы почистил, сельтерской запил — и весь день пьян, как каучук... Вот я и Ротшильд. Что-с? «Король алкогольных порошков». Так и на визитной карточке напечатаю.

Кондитер в отместку отнесся сдержанно:

— Мужчина ты, Федор Павлович, сравнительно трезвый, а фантазия у тебя девяностоградусная. Этак можно по-самоедски сушеного мухомора наесться, тоже пьян будешь, нутро вывернет. Не пройдет. Идея, конечно, в том правильная, что раз американцы со всего света в себя монету всосали, из них и высасывать надо... Допустим, откроем мы для них вблизи Мадлен сандуновские бани с всячим мостом через улицу. В передней гипсовая статуя Свободы с лучами в голове и венчиком под мышкой... На шайках русско-американские пословицы: «Грязь — не китовое сало, потер и отстало», «Жук в навозе копается, американец в бане купается...»

Банички так по-американски и чешут... В раздевальной русский бильярд с лузами, на ножках ихние вашингтонские банты. Вышел человек из-под душа, соединенные свои штаты подтяжками подтянул, а мы ему сейчас сухарного квасу...

— Квасу?.. — Гуськов насмешливо пососал мокрый ус. — Пятьдесят сантимов ты на своем квасе заработашь... Бутылочки надо, чтобы над каждым раздевальным диваном с потолка для приманки на шнурках свешивались! Сода-виски. Бесплатно. С горячего пара его в два счета развезет, а ты его шампанским для охлаждения и окатывай. Мум!! Цыганки чтоб с пением под гитару откупоривали. Вот тогда и расторгнешься... Капиталу только для открытия где возьмешь?

— Найдем. Тысяч семьсот всего для начала потребуется. Тебя в долю возьму. Объявление только напечатай, капиталы к нам сами попрут...

Переплетчик задумался и вспомнил:

— Что ж, объявление можно и в долг напечатать. У меня в газете знакомый корректор есть. Мелкое только дело, брат, американские спины намыливать — полета настоящего не вижу... Читал я во французском журнале для детей технического возраста, будто радио теперь не только звуки издает и распространяет. Может оно, скажем, и фотографию любимой собаки передать, автограф Наполеона или даже фальшивую подпись на векселе. Почему бы ему и алкогольную струю, пущенную, допустим, с Эйфелевой башни в Париже, в распыленном виде в Нью-Йорк не передать?.. А там гайные восприимчивки...

— Тьфу, господи! Никакой у тебя, кроме алкоголя, и игры в голове нет.

— Зачем же? — обиженно повернулся к Флипсу переплетчик. — Игра есть! Были мы, скажем, на докладе: «Роль тяжелых танков в будущей мировой войне». На душе у нас тяжесть. Люди мы с тобой мирные. Доехали мы в полночь на номере 123 до своей остановки у рю Дидо. Быстро и аптеки все закрыты. А нам скорая помощь требуется... Вот, значит, я к трамвайным столбам авто-

маты и приспособлю для таких случаев: полтинничек вбросил, сейчас оттуда и накапает тебе в рот... полрюмочки.

— Придумал! Уволокут твой автомат ночью со столбом вместе... Гарсон! В том же роде еще по одной.

Флипс мечтательно поднял к потолку голубоватые выцветшие глаза. Поднес тонкие ладони к губам и стал покусывать ногти... Дневной кавардак с резкой цукатов, с мелкой сахарной пылью и тошным запахом сладкого теста отошел от него прочь, точно он никогда к нему и близко не прикасался. Разве только тот поэт, кто по гладеньким клавишам польку рубит? Кто знает, что у скоропостижного кондитера-эмигранта в душе в вечерний час копошится?

Под большим никелевым столбом посвистывал сиреневый газ, кипятил кофе.

Флипс прислушался и перевел глаза на грязную потолочную розетку. Иногда ведь в самом, можно сказать, плюгавом предмете источник вдохновения сидит.

— Да-с... Кислый квас... Возьмем хоть газ этот... Свистит и греет. Два дела делает: бесполезное и полезное. Для души и для тела. Изобрел же этот самый Теремин электрический контрабас. И под контрольто может, и под белугу. Вот и надо бы все домашние звуки обработать. Сидишь в ванне: кран тебе под головой «Крейцерову сонату» высвистывает. Варит жена суп с клецками, газ ей для успокоения ноктюрн напевает. Телефон мазурку мурлычет. Радио — похоронный марш задувает. Вода в коридорном депо бежит — тоже что-нибудь гвадалквивирное журчит. Электрическая лампочка в спальнoй грудному младенцу колыбельную песню нажаривает. А центральное отопление по всей квартире органом гудит, как атлантический прибой.. Подумай только: не квартира, а консерватория!

Переpletчик Гуськов энергично дернул себя за чуб, качнулся и хлопнул ладонью по столу:

— Воображаю я, какими тогда все алкоголиками станут! Орган, говоришь, гудит? Гарсон, еще по одной в том же направлении... А я думаю, Флипс, ежели в тебе такой зловредный музыкальный уклон намечается, вы-

ходишь ты вроде врага рода человеческого. И следовало бы тебя на всякий случай изолировать... Может, ты будущий Калигула, мировая бестия? А?

Дверь хлопнула и затряслась, как в желтой лихорадке. Вкатился плотный и жизнерадостный монтер-эмигрант Брудершафт. Фамилия его была другая, но никто ее не помнил. А Брудершафтом его прозвали, потому что он со всеми очень скоро на «ты» переходил.

Начнет спорить, пуговицу оторвет и сразу на «ты».

Подошел он на замшевых ногах валкой походкой к столу, к землякам подсел и пухлые руки потирать стал.

— Ух, холодно! Что вы тут, изобретатели, сосете? Кальвадос? Спасибо, спасибо. Колючую проволоку в укусе настоять — вкусней будет... Гарсон! Кофе с круасаном.

— Сто лет пожить хочешь? — спросил Гуськов.

— И на девяносто девять согласен. А меня, между прочим, поздравить можете...

Флипс и Гуськов по тону голоса почувствовали, что Брудершафт не врет, и придвинулись теснее.

— Ты что ж, практик, патент на прибор для доения мышей взял?

— А вот и взял!

— На что же именно? — дрогнувшим голосом спросил Флипс.

— Теперь уж не секрет. Взял, и крышка. Как в сейфе лежит. Вот она, штучка, пожалуйста.

Он раскрыл портфель, вытащил то, что он называл штучкой, поправил пенсне и тоном гида, развозящего по городу иностранцев, доложил:

— Леди и джентльмены! Не будем вдаваться в подробности. В каждой интеллигентной квартире имеется центральное отопление, при помощи которого жильцы согревают все части своего организма. Но неуклюжий решетчатый столбик, напоминающий моржовую челюсть, совершенно не вяжется с вашей мебелью в стиле Людовика XX. Что же вам предлагают? Вы видите, леди и джентльмены, алюминиевый, вытянутый, как Офелия, поднос с изящными дырками, который, при помо-

щи двух лапок, прикрепляется, вроде летучей мыши, к отопительному столбику. Вокруг подноса переливается роскошная бисерная бахрома цвета, подходящего к крашеным волосам хозяйки дома. Таким образом, столбик при помощи легкого телодвижения превращается в роскошный столик с изящными дырками. Сидя в кресле возле отопления и грея свои мечтательные кости, вы можете дополнительно и совершенно бесплатно на означенном подносе подогревать ваши собственные утренние сухари и иметь постоянно теплую воду для прополаскивания ваших внутренностей..

Брудершафт поперхнулся, прополоскал свои собственные внутренности кофе и перевел дух.

— И дальше? — иронически спросил Гуськов, совершая свой маникюр при помощи вынутой из жилетного кармана зубочистки.

— Очень просто. Выставил эту штуку на выставке изобретений по домашнему хозяйству, запродал патент одному универсальному дому и даже получил кое-какой аванс. В воскресенье покорнейше прошу ко мне, новорожденный поднос вспрыскивать!..

Флипс холодно рассматривал грязную розетку. Гуськов развел руками:

— Думал я все, что ты Брудершафт, а ты, оказывается, Эдисон! Замечательно. Отчего же тебе дополнительно не изобрести электрические стеганые ватные штаны? Влез в них по самые уши, под мышками бантом перевязался, чтобы не падали, штепсель в себя вставил, а другой конец к трамвайной проволоке прикрепил. И тепло тебе, и по всему городу на роликовых коньках кататься можешь. Эх ты, изобретатель целлулоидный!

Надо сказать правду: ни в молчании Флипса, ни в ехидных словах Гуськова ни капли зависти не было. Просто, знаете: столкнулся пруд с океаном. Где им друга понять?..

1927

Париж

## ИЛЛИНОЙССКИЙ БОГАЧ

Художник Кандыба переменял ориентацию. Пейзажи послал к черту. Мужья домашней эстетикой вообще не заведывают, а знакомые парижские дамы покупают, не торгуясь, кушетки а-ля Рекамье, подграфмофонные столики «рюстик», трехспальные кровати негоциантского барокко. Но в простенках вешают пятифранковую дешевку: похожую на лошадь леди, прислонившуюся щекой к похожей на леди лошади; литографскую Венеру, наказывающую розгой Купидона; в лучшем случае гипсовую маску Бетховена, которую русский обойщик, обивающий по воскресным дням «м-м Рекамье», вымажет бронзовым риполином. Какие уж тут пейзажи...

Кандыба навел справки и решительно перешел к портрету. Выставил, рекламы ради, три бесплатных каллиграфических полотна: маститого антрепренера с мировой скорбью на скулах, знаменитого киноребенка с полным собранием Шекспира на коленях и портрет известной поэтессы, выпущенный им в свет в значительно исправленном и дополненном издании. Заказы пошли густо. Стиль Кандыба избрал благоразумный — приятный заказчику. Детей писал под Серова — тот ведь детей никогда не обижал. Дам по желанию — то под Сорина, с лилейной ручкой лебедью, то под Малявина, в купленном по случаю густо-зеленом платке с махровыми розанами. Мужчин в строгой музейной манере, причем больше всего подчеркивал выражение энергии и воли в подбородке и переливы пуговиц на жилете.

Помимо того, Кандыба разделил заказчиков на две группы. Мелких, торгующихся клиентов писал с «левым» уклоном, за сходством не гнался, лет не убавлял, краски нашлепывал разляписто и торопливо; неторгующуюся клиентуру брал на «правый» крючок: фон давал выигрышный, природные дефекты зализывал и к капризам заказчиков относился с торопливой предупредительностью. Вообще, нашел себя. О художниках, которым подражал, стал отзываться пренебрежительно.

но: «кустари». Из мировых имен, кроме себя, утвердил лишь Рембрандта и почему-то Джотто (очень уж звучное имя!)

Через полгода Кандыба, самодовольно теребя любимую волосатую бородавку на щеке, стоял посреди своей заново отделанной студии и любовался. Телефон проведен — ишь, блестит, как лакированный жук... Ковер, хоть и марокканская имитация, во весь простенок. По всем углам, носами к стене, начатые портреты... Днем работа, вечерами шумная болтовня в кафе.

Кандыба от мелкой ротондной богемы не отвернулся. Во-первых, гарниз, во-вторых — даже и гению общество нужно. Но к себе никого не звал: увидят заказчиков, разнюхают, зачем же? А главное, был он непристойно скуп. После голодной полосы методично накапливал валюту и на вечерние пиршества никогда больше пяти франков на себя не тратил. Хотя сам в гости ходил охотно, и на именины, и в особых случаях, когда собрат вспрыскивал проданную картину. Приходил, пил-ел и нимало не обижался, когда хозяин после десятой рюмки говорил:

- Слушай, Кандыба... Захрюкай.
- Почему же, собственно, я должен хрюкать?
- Да ведь ты же свинья!

\* \* \*

Кандыба подошел к зеркалу. За висевшей на зеркале веткой сухого перца в сумерках стекла выплыла квадратная кабанья голова хозяина студии — мутно-табачные глазки, верблюжий войлок волос, погасшая трубка в углу вялого рта. Скучно. Заехать за Мариной и взять ее с собой в кино? Дорого и зря. Непроизводительный расход... Прощлый раз угостил ее грогом и хотел было под столом руку пожать, а она вырвала и говорит: «Бросьте, Кандыба, руки у вас, как у покойника... и вообще не надо...» Который раз у него с женщинами повторяется это «и вообще...».

И вдруг на всю студию веселый звонок телефона. Кандыба щелкнул выключателем и подошел.

— Алло.

— Кандыба?!

— А то кто ж. Кто говорит?

— Болдырев. Кандыба, слушайте, был у вас уже Мишка?

— А почему, собственно, он у меня должен быть? — подозрительно спросил Кандыба.

— Хо! Так вы еще ничего не знаете?! Да об вас же весь Париж говорит, комик вы голландский!

Кандыба насторожился:

— В чем дело? Выставка?..

— Какая там к псу выставка... Так вы ничего не знаете?! От души вас, Кандыба, поздравляю. Ну, там болтают, что вы сухарь, карьерист чугунный и все такое прочее. А я им всегда говорил, что вы человек первоклассный. — вставьте Кандыбу в хорошую рамку, он во как развернется... Вот и вставили, нечего сказать.

Сомневаться было трудно. Стряслось нечто оглушительно-большое и радостное, слишком уж искренний и веселый был у Болдырева голос.

— Да что ж такое, черт?! Слово-то хоть одно вы можете сказать?

— Одно могу. А-ме-ри-ка! Стоп. Больше ни-ни. Сейчас беру такси и еду к вам. Мишка, должно быть, уже выехал...

Что за гиль? Болдырев и такси... Да он и в метро, кажется, только по воскресным дням катается. И почему «Америка»? Он подумал, вспомнил о кое-каких своих сумасбродных надеждах и побледнел. Неужели?!.

Через десять минут в дверь ввалилась вся артель: безработный офортист Болдырев, плакатных дел мастер Мишка, кошачий скульптор Шафгаузен и с ними два безыменных, знакомых по Ротонде персонажа.

Жали руки сердечно и напористо. Целовали в губы, в нос и в бородавку... Хлопали по плечу: «Ай да Кандыба! Надо ему, лешему, фамилию переменить. С Морганом будет в клубе на бильярде играть, неловко с такой фамилией!»

Кандыба растерялся:

— Да в чем же дело, с ума вы, что ли, походили?

И вдруг, как по команде, все смолкли.

Мишка выступил вперед, бережно вынул из конверта с американской маркой газетную вырезку и медленно, сдержанно волнуясь, прочел:

«Чикаго. «Новые русские ведомости». 10 декабря 1925 г.

Скончавшаяся в возрасте 68 лет в городе Спрингфилд, в штате Иллинойс, наша соотечественница Ирина Кливэлэнд, урожденная Кандыба, завещала все свое состояние в 90 тысяч долларов, не считая усадьбы, мелкого инвентаря и завода сушеных фиг, своему племяннику Федору Кандыбе, которого почившая безуспешно разыскивает с 1917 года. В случае нерозыска наследника в течение полугода состояние, по воле покойной, перейдет на улучшение кролиководства в ее родном штате».

Кандыба тяжело сел на стул.

— Она? — спросил участливо Мишка.

— Она. — Кандыба боднул головой. — Я же тебе рассказывал. Я только не знал, что она в Иллинойсе и что у нее... такие средства... Что же это, милые, такое? Что такое, я спрашиваю?!

Он жадно перечел газетную вырезку, конверт, письмо приятеля Мишки, который прислал ему заметку из Чикаго, и вдруг, во все побагровевшее лицо, точно его смазали прованским маслом, залоснился бессмысленной улыбкой.

— Как что? — встрепенулся Мишка. — Завтра Болдырев поедет с тобой в американское консульство, ты же по-английски ни в зуб. Удостоверишь личность, получишь визу — и досвидан-с! — поедешь в свой Иллинойс, черт поросячий!.. Ну а теперь вспрыски. Вспрыски, братчики, нечего дурака валять.

— Какие вспрыски? — тупо спросил еще не пришедший в себя иллинойсский богач.

— Какие?! — подскочил Мишка. — Случай-то твой, плюшкинская твоя душа, вспрыснуть надо или нет? Да и совпадение-то какое: русский ведь Сочельник сегодня! А?..

Болдырев встал, плюнул, напялил свое кургузое

пальтишко и постучал по звонкой китайской курильнице трубкой:

— Брось, Мишка! Чего распелся? Нам с миллионом какая же компания? Пусть сам по американским консульствам бегает, а я для него не свиной гид. Облупят его переводчики, как яичко, будет рад... Валите ко мне: ром есть, халвы по дороге купим, какого дьявола с ним валандаться!

Но Кандыба очнулся и превзошел себя. Вынул из карельской шкатулки сто франков и заступил Болдыреву дорогу:

— А вот мы сейчас увидим, какой Кандыба Плюшкин! Миша, будь другом, возьми там, что надо...

Мишка переглянулся с Болдыревым и отстранил щедрый дар.

— Ничего не надо... Студню я, что ли, куплю на твои сто франков?

— А сколько еще надо?

— Давай еще сто. Спрашивает! Раз в жизни друзей угощает, которые, можно сказать, как вестники счастья, его бескорыстно поздравить пришли, а он... сто франков!

Кандыба покраснел, отчаянно махнул рукой и сдался.

— Марину позвать? — спросил в дверях Мишка.

— Зови. — Кандыба подсел к Болдыреву и с почти-тельной предупредительностью стал выпрашивать, как получают американские наследства и с чего надо начинать. Болдырев небрежно объяснил.

Минут через двадцать вернулся Мишка с двумя своими адъютантами, нагруженными до подбородка свертками и бутылками. Сдвинули ломберные столы, накрыли их персидской легкой набойкой и развернули на столах такое фламандское сооружение, которое разве в музее на старом полотне увидишь: коричневый гусь в белых сборчатых штаниках, широкая ослиная колбаса-салями, мандарины, ром, зубровка — словом, на все двести франков, — за такси Мишка дополнительно получил. Прилетела и Марина. Мишка из бистро по телефону ее вызвал. Долго трясла Кандыбину руку, по-

здравляла, а сама почему-то все губы кусала... Дальше что ж, дальше дело известное.

Жилец под студией, кроткий француз-старичок, поднялся было к Кандыбе справиться, не пожар ли у него, что за грохот такой? Но ему объяснили, что русские художники справляют русский Сочельник и потому надо шуметь и что «мосье» Кандыба теперь самый богатый человек в Северной Америке, а пожалуй, и в Южной... Француз ничего не понял, вежливо улыбался, но ответить зубровки согласился, да так и застрял до утра.

Проснулся Кандыба поздно. Долго протирал глаза и ничего не мог понять. Почему у китайского дракона белый носок на голове? Почему из зубровой бутылки зубная щетка торчит? Почему на его котелке слон сидел?.. Но вдруг вспомнил и ахнул. Грузный и взлохмаченный, заплясал в розовом трико по студии, бросился было одеваться и невзначай покосился на зеркало. Что за прокламация на нем висит?

Подошел, да так с задранной сквозь неподатливую фуфайку рукой и застыл. Послание было короткое:

«Спасибо, Кандыба! Сочельник провели очень уютно, в теплой семейной обстановке. Насчет американского наследства будь спокоен: на конкурсе дураков в Ротонде получишь первую премию. Заметку из чикагской русской газеты набрал в Париже знакомый наборщик за 10 франков, которые мы уплатили сообща, и претензий к тебе больше никаких не имеем. А волосатую твою бородавку остригла на предмет сувенира Марина, когда ты в 3 ч. 15 мин. ночи (по парижскому времени) под стол свалился. С иллинойским приветом, любящие тебя кентавры».

Воробей, сквозь широкое окно глазевший на Кандыбу, вдруг шарахнулся в сторону и взлетел: с ума, что ли, сошел жилец? Чего он в розовом трико по комнате, как бешеная лошадь, носится и бутылки ногами лягает?..

## ДИСПУТ

В ноябрьский слякотный вечер шестнадцатого года пришел в госпиталь лазаретный батюшка о. Василий. Маленькая русая бородка клинышком, глаза как у пятилетней девочки.

Дождевик в парадной повесил, с часовым у денежного ящика поздоровался (что батюшке по уставу как будто и не полагается) и вприпрыжку по широкой лестнице пошел в коридор.

— Ну, воины, добрый вечер, — давайте читать будем.

И книжечку тоненькую из ряски вынул.

Сначала, как всегда, граммофон завели: кэк-уок, да прочее, что повеселее, сестрица подсунула, чтобы осеннюю госпитальную скуку развеять. Граммофон, признаться, был дрянной — хрипун и удушенник. Но где ж другой возьмешь.

Приползли из палат в коридор раненые из выздоравливающих, больные-гриппозники, дежурный ординатор на шум вышел, — раненые потеснились. Присел и он на край скамьи, тоже ведь человеку невесело по углам шагать.

А потом — чтение.

Оглядел батюшка добрыми глазами верблюжки халаты, знакомым лицам улыбнулся и начал:

— Сочинение Николая Васильевича Гоголя. Вий. К ночи бы вам, господа воины, этой страшной истории читать не следовало. Да уж знаю, вы, как дети, страшное любите. Или, может, что другое почитать, повеселее, ась?..

— Страшное, батюшка. Просим про страшное. Уж пожалуйста, почитайте.

— Ну уж, конечно...

«Как только ударял в Киеве поутру звонкий семинарский колокол...»

Читал о. Василий внятно и завлекательно. Разговор на разные голоса вел, где нужно басом, а в иных местах до бабьего писка подымал. А как дошел до страницы, как Вия в церковь ведут, так таким пронзительным ше-

потом чеканить стал, да с остановками, чтобы каждое слово проняло, — так иные в окна с опаской посматривать стали. Капли стучат, за стеклами мгла, гул и свист, — уж не Вия ли к ним ведут в 17-й полевой запасный госпиталь? Тьфу, тьфу, сохрани и помилуй!

Долго читал батюшка. Забыли солдаты о своей неласковой судьбе: кому в окоп возвращаться, ждать с часу на час шальной пули между глаз, кому домой инвалидом со скрюченной ногой добираться. Притихли. Ушли в страшную повесть, с тревожным участием прослушали о горькой доле Хомы Брута, жуть полевая к мокрым стеклам приникла, теснее придвинулись халаты друг к другу на коридорных скамьях.

Кончил батюшка, ухмыльнулся, усталое лицо платком обмахнул и книжку в рукав сунул.

— Прощайте, воины. Поздно уж... Чего насупились? Говорил, что страшное к ночи бы не читать. Да вот

Пожал доктору руку, подмигнул ему на солдат и мышиной побежкой исчез в коридорном сумраке.

\* \* \*

В четвертой палате, где тяжелораненых и больных не полагалось, у стены на койках разлеглась тихая компания и, поглядывая на затененную зеленой тафтой электрическую грушу, вполголоса разговорилась.

Согнув горбом под теплым одеялом колени, невидимый ефрейтор Костяшкин, по истории болезни мышечный ревматик, по характеру человек спокойный и обстоятельный, в деловитом раздумье покрутил головой:

— История. Ему бы самую малость удержаться, а он, дурень, смяк. Зрак выпучил, все труды пропали даром. Уж, конечно, сотник бы ему отвалил по обещанию. Может, и в эконома к нему бы попал, жил бы лучше не надо. Баран и есть, стойкости, братцы, в человеке не хватило.

— Тебя не спросил, — силпо отозвался сосед раненый и, раскурив потаенно зажатую в кулаке папироску, озарившую на миг щетинку усов и сердитые глаза, тяжело перевел дух. — Ты, голова, того и не понял, что

бурсак этот русский настоящий характер в себе обнаружил. Стойкость русскую проявил, а не то чтобы смяк... Нутренний голос ему приказывает: «не гляди, погибнешь, с... сын»... а он наперекор. Наплевать. Хоть погибну, а взгляну, очень я вашего Вия испужался. А ты про деньги... награждение... Эва, очень он про это думал. Немец, чи, скажем, австриец какой, конечно, до конца бы постарался, свою линию бы довел: и жив бы остался, и панским арендатором бы стал. Ему это первый интерес. Да жену бы себе из Германии выписал, страна вольная, дураков много, живи. А наш хлопец настоящий оказался. Раз, и готово. Сам погиб, да и чертям крышка: ишь головами, как летучие мыши, в церкви позастряли. Тоже вещь не сладкая.

— И чего это он не убег от холуев этих? — задумчиво спросил сидевший в ногах солдатик. — Предчувствие тяжелое имел, чего же тут в самом деле. Как они в корчме перепились, ему бы не пить, а на пол лить. А потом — ходу. С плену бегут, лесами-полями сотни верст отхватывают... Ужели пьяных казаков не обмануть? Постегали бы его в бурсе, конечно, эка важность, а тем временем чертовку бы эту и зарыли. Жалость какая.

— А ты на войну хотел идти? — спросил, гася о подошву туфли папироску, раненый.

— Кто же хочет...

— Так чего ж ты не спрятался? Коли надо, так и в стогу, брат, разыщут. Да и не очень он боялся. Неохота было эту чертовку отпевать, точно, но долг свой сполнил, он же ее и жизни лишил. Ну и думал: свой грех замолю, может, и ей спасение вымолю. Да вон по-иному вышло. А бежал он так... для очистки совести. Разве так бегут, по-настоящему-то?

Писарь управления военных сообщений фронта, человек образованный, лечившийся в госпитале не от какой-нибудь там чесотки или ревматизма, а от болезни, можно сказать, офицерской — застарелого ишиаса, давно снисходительно прислушивался к солдатской болтовне и не выдержал:

— Косолапость какая! Господин Гоголь для упражнения в стиле хохлацкое поверье обработал. Фольклор

называется, специальная наука по совокупности народной брехни, — а вы и уши поразвесили. Бурсак, как человек высшего развития и даже до философии причастный, на женщине верхом ездить не мог, это во-первых. И бить ее по чем попало, как в вашем сером быту полагается, не стал бы. Это во-вторых. Что касается полета гроба внутри церкви с поднятием до потолка, то это несуразность, ибо как же гроб без пропеллера и бензиномотора летать может? А Вий с прочей чепуховиной чистая, можно сказать, беллетристика. Просто бурсак, под влиянием алкоголизма, принятого внутрь для ободрения чувств, впал в галлюцинацию, по причине которой и скончался, как дурак, от разрыва сердечной аорты... Про умершую тоже понимать надо. Может, она в летаргическом сне вставала — поскрежетет и опять на место. Науке такие случаи доподлинно знакомы. А вы, обломы, и рты поразевали. Публика.

Вокруг сдержанно покашливали. Ишь, наговорил, черт гладкий. Точно серной кислотой полил. Да и как же так: станет сочинитель мужицкую сказку пересказывать, — чай, не баба на печи... Не глупее писаря был.

— А позвольте вас спросить, господин писарь, вы в Господа Бога веруете? — спросил кто-то темный тихим баском из глубины коек.

Солдаты повеселели.

— Вопрос несуразный. Отвечать бы тебе, идолу, не следовало, да уж...

— Соблаговолите...

— Конечно, верую... По долгу службы и присяги и сообразно со Священным Писанием, как на вселенских соборах отцами церкви и святителями установлено.

— Так-с. А в дьявола веруете?

— Ты что ж, экзамен мне производишь? Сам слов никаких не знаешь, а произносишь. Да знаешь ли ты, моржова голова, что есть дьявол? Алле-го-ри-я... Только и всего. Понял?

Бас сплюнул, сел на койку и твердо переменил тон.

— Ты, друг, ученых слов не загибай. Кака така аллегория? Я тебя русским языком спрашиваю: в дьявола ты веруешь? Евангелие читал? Кто Христа на горе искушал? Дьявол. Простому бесу такое дело несподручно,

рылом не вышел. Так что ж, тебе этого дьявола надо по штабным спискам провести да на казенное довольствие зачислить, — без того не поверишь. Далее. Кто в свиней бешеных вонзился, когда они в море поскакали? Бесы. Стало быть, и дьявол есть, и подручные его: бесы, лешаки, ведьмы и протчая. Одному дьяволу не управиться, да и по мелким делам ему возжаться не с руки.

— К чему это ты гнешь-то?

— К тому гну, что Вий этот, стало быть, один из его старших чертей.

— Это что же, вроде начальника штаба корпуса? — съязвил писарь.

— Ну уж, если ты иначе понимать не можешь, пусть вроде начальника штаба. Его, вишь, и позвали, когда мелкота с бурсаком не сладила.

— А ты его видал? — пренебрежительно спросил писарь.

— Може, и видал. Что к ночи поминать... Да вы-то сами где до войны проживать изволили? — бас вежливо перешел на «вы», очевидно, готовясь к новому подкопу.

— Мы-то? В столице, конечно, — с достоинством ответил писарь. — Народ мы непонимающий, у нас этих чертей да ведьм летающих, можно сказать, и с пьяных глаз не увидишь. Не удостоились.

— В том-то и дело. В городе, друг, нечисти этой точно не водится. Да и что в городе черту делать, когда люди там хуже чертей. Там Вия этого и не узнаешь: манджеты нацепил да орудует себе по коммерческой либо по адвокатской части. А может, и в писарях околачивается, ты, друг, не обижайся... В деревне же, да еще в стародавней жизни, которую сочинитель этот описывал, — им раздолье, полная, можно сказать, жизнь. Леса, буераки, омуты, народ свежий, непорченный, в нечисть верует, она ему себя и оказывает... Так-то...

В дверь, звеня мензуркой и аптечными склянками, вошла сестра, сняла зеленую тафту с лампы, посмотрела по углам: все на местах. Знает она эти штучки.

— Опять шушукались? Другим спать не даете. Вот скажу завтра главному врачу, чтоб разговорщиков этих по другим палатам распределил.

— Да мы, сестрица, ничего... — хрипло шепнул с койки у прохода, блестя веселыми глазами, солдатик, — поговорили точно... Очень уж занятную вещь о Василии прочитали... А как вы полагаете, сестрица, между прочим: есть ведьмы или это так, темный народ распространяет?

Сестрица усмехнулась.

— Вот не выпишу тебе завтра порции, тогда и узнаешь. Спи, а то лампу потушу!.. Тоже, умник какой...

Солдат нырнул под одеяло и притворно захрапел. Кругом рассмеялись. А бас, отчитывавший писаря, зевнул и, обращаясь к сестре, возившейся у аптечного шкафика, сказал:

— Идиет он, сестрица... Как ведьма женского сословия, то неделикатно даже у женщин про них и спрашивать... Спокойной ночи, сестрица.

— Верно, верно, — рассеянно отозвалась сестра, взбалтывая склянку и глядя на нее на свет усталыми, кроткими глазами.

1925

## ПАТЕНТОВАННАЯ КРАСКА

**В** тихом отеле на окраине Парижа сидел в своем номере русский мальчуган Дима и скучал. Настоящее его имя было Вадим, но у шестилетнего человека все ведь маленькое: и башмачки, и курточка, и самое имя. В номере отеля не очень-то развлечешься. Дима открывал и закрывал краны с горячей и холодной водой, выдвигал и задвигал ящики комода — понюхал завалившийся в комод колбасный хвостик... Неинтересно. Нажал кнопку звонка у дверей. Раз приделана, значит, надо нажать. Но пришла горничная и сказала, что если он еще раз позвонит, то придет пожарный солдат и откусит Диме нос. Странные пожарные в Париже! Подставил он стул к центральному отоплению, сел на него и сразу соскочил. Почему? А вот вы сядьте, так узнаете.

Тетя Маша все не возвращалась. Ушла после обеда по каким-то своим делам в город. Почему у взрослых всегда «дела»? Да еще дела такие несуразные. Прилетела

из Марселя с Димой, чтобы закупить в Париже партию дамских нарядов прошлого сезона. В Марселе в бедных кварталах мода всегда отстает на полгода, и для тети Маши то было почему-то выгодно. Хорошо все-таки быть мужчиной: носи себе свою курточку и пиджачок до бесконечности и никакая мода тебя не касается...

Вот и сиди и дожидайся, как скучающий пудель какой-нибудь, которого из Марселя только потому и привезли, что не на кого было там оставить.

И вдруг за окном... О, это очень интересно! Стали в кружок люди, на цыпочки подымаются, друг другу через плечо куда-то заглядывают, а из середины звонкий голос, веселый такой, что-то рассказывает. Натянул Дима свой берет на голову — швы так и затрещали, — слетел с лестницы леопардовыми прыжками — и на улицу.

\* \* \*

Когда мальчик ростом с табурет — танцевать за спиной взрослых на цыпочках не очень-то весело. Дима нырнул под локоть какой-то полной дамы, наступил ей на туфлю, не успел даже сказать «пардон» и сразу очутился в первом ряду.

Плотный румяный француз, склоняясь над походным столиком, грея на керосинке воду и купал в маленьких жестянках какие-то тряпочки. И все говорил, говорил, говорил, точно его завели на целые сутки, — губами, руками, ногами... Даже чуб помогал, прыгал в такт словам и поддакивал: да, да, да!

«Мои краски ничуть не похожи на те бесполезные дрянные порошки, которые вы можете купить в любой лавочке! Выбрасывать франки в Сену никому не воспрещается: Сена не станет от этого богаче, но вы обеднеете! Мои краски красят все: шелк, сукно, гипс, дерево, бумагу, волосы, слоновую кость, меха и даже гусиные перья. Кипятить не надо. Вы высыпаете в теплую воду краску — раз! — и окунаете туда вашу вещь, — два! — через пять минут вы облегченно вздыхаете. Ваша вещь раз навсегда становится красной, как петушинный гребень, зеленой, как морская волна, лиловой, как

фиалка, черной, как внутренности негра... Что кому нравится... Если вы хотите сделать любимому существу сюрприз, вы покупаете пакетик — один стоит франк, два — франк шестьдесят пять, — и красите гипсового поросенка, или шелковый платочек, или брезентовые туфли в любой цвет, как я это делаю на ваших глазах, господа! Вы хотите купить? Нет? Ничего, через две минуты вы купите! Вы хотите купить? Благодарю вас. Два пакета?.. Один. Еще кто? Торопитесь! Завтра я уезжаю в Мадрид, и это последний случай в вашей жизни, когда вы можете запастись такими изумительными красками...»

Дима стоял у самого ящика, нос его почти касался дымящейся кастрюльки. Разноцветные бульоны так вкусно и едко пахли... И вдруг одна его рука вытащила из кармана франк, а другая дернула болтающего человека за пальто (иногда ведь руки действуют раньше головы). А язык сказал робко и почтительно: «Дайте мне пакетик!..»

«Какого, друг мой, цвета?» — «Лилового...» — «Мерси, до свиданья! Видите, господа, даже дети не могут устоять!»

И только на лестнице своего отеля Дима понял, зачем ему эта краска. «Он же сказал, что можно сделать любимому существу сюрприз... Тетя Маша мое любимое существо, я ей и сделаю сюрприз!»

\* \* \*

Дима скользнул в свой номер с пакетиком в руке, — вот и развлечение нашлось. А за ним пушистый толстяк, белый отельный кот. Утром он от Димы ломтик ветчины получил, — коты такие услуги ценят и помнят... Запер мальчик поплотнее дверь, рукава засучил — и за работу. На столе лежала тетина вязаная салфеточка, старенькая и вся в рыжих пятнах, — как же ее не покрасить? Тете Маше такой сюрприз и во сне не приснится!

Напустил Дима горячей воды в умывальник, литра два. Всыпал в воду тонкой струйкой порошок, и вода стала лиловая-лиловая, лиловой сирени, прозрачней

аметиста. И стал купать салфеточку аккуратно и осторожно, чтоб брызги не дай Бог паркета не закапали: ведь отель!

Выкупал, отжал, лиловую воду в трубу сплавил, а чтоб не слышно было, как вода бурчит, стал громко кашлять. Умывальник начисто вымыл. Не салфетка, а фиалковый коврик!.. Разостлал на полу толстую оберточную бумагу, сверху газету, сверху опять бумагу — и разложил, расправил салфеточку, — пусть сохнет. А белый кот кругом ходит, о комод трется, о стул трется, о Димины ноги, и все ближе к салфетке на пружинных лапках подбирается: любопытно, никогда в отеле он таких штук не видал. Носом кислый воздух потянул и вдруг, не успел мальчик ахнуть, прыгнул кот на салфетку, перевернулся на спину и давай валяться и урчать. У котов всякие ведь фантазии бывают...

Дима смеется: пусть, пусть поваляется, салфетка скорее просохнет. Но когда кот встал, мальчик чуть со стула не свалился: лиловый кот! Вся спина как темно-сиреневый куст... Да ведь теперь весь отель сбежится, что будет?! Ведь тетя же просила, чтобы он не дай Бог, чего не натворил. Разве ж это он натворил? Это кот натворил. Что делать, что теперь делать?!

А в дверь стучат. Это всегда так бывает: чуть несчастье, сейчас тебя тут и накроют... «Сейчас, Господи...» Дима кота под мышку и скорей его в ночной шкафчик, кот лапы растопырил, еле удалось втиснуть. Вошла горничная (Дима лиловые руки за спину, салфетку успел под кровать ногой задвинуть) и спрашивает мальчика: «Наш кот не у вас?» — «Нет... он на улицу гулять пошел. Сегодня такая хорошая погода!» Посмотрела она во все углы — и вышла.

Благородный кот, представьте себе, даже не мяукнул.

Вытащил его Дима, стал газетой вытирать. Куда там! Еще ярче стал, краска и на живот пошла, и вдоль лап, и по ушам: прямо лиловая зебра. Продавец же ручался, что краска прочная, до самой смерти не сойдет. А кот к нему на колени нацеливается прыгнуть...

Заметался Дима, но крепко помнит, что дела так нельзя оставить. Завернул кота в бумагу, нос в коридор высунул — никого. Побежал в конец коридора, кота на

пол опустил и скорей к себе. У дверей оглянулся — все в порядке: крашеный кот в чью-то полуоткрытую дверь шмыгнул — жилец, очевидно, на минутку вышел.

Главное сделано. Салфетку с бумагой с черного хода вынес и проезжему молочнику подбросил — пусть себе кашне сделает.

Вернулся в номер, руки тер-тер и мылом, и тетиным одеколоном, и о каминные кирпичи. Наполовину отмыл. Что ж он врал, что краска не отходит?

Сел у стола и стал тихо-претихо сам с собой в домино играть.

Играет и одним ухом прислушивается: когда же в коридоре сражение начнется? И началось! Хозяйка закричала басом, жилец дискантом, потом горничная, потом хозяйская дочка, потом все жильцы посыпались сверху и снизу.

Нельзя было Диме оставаться в стороне. Выскочил и видит: все у жильца в комнате столпились, на белом одеяле фиалки расцвели — все в пятнах. Любимый кот в старое полотенце завернут, мяучит, ничего не понимает: он ведь один не знал, что он лиловый.

— Кто так посмел над ним надругаться? Вы мне, сударь, и за кота и за одеяло ответите!..

— Я?! — завизжал жилец. — Я?! Он ко мне вошел крашеный, я вам, мадам, не кошачий красильщик... Я у вас третий год живу, ноги моей здесь не будет после ваших слов!..

Другие жильцы заступились, стали на хозяйку кричать, и хозяйка заплакала. Отельные хозяйки плачут редко, но случай был такой особенный.

И все стали свои предположения высказывать: выкрасили ли кота в насмешку или он сам по легкомыслию выкрасился.

А Дима вперед просунулся и вежливо говорит: «Вы, мадам, извините. Я — маленький, но кое-что понимаю. Внизу из аптеки в бак на черной лестнице всякую дрянь выбрасывают, может быть, ваш кот там и перемазался...»

— Ах, какой умный мальчик! Конечно, конечно. Ведь это же анилиновая краска... — и побежала хозяйка аптекарю сцену делать.

Разве Дима соврал? Во-первых, кот сам выкрасился, а во-вторых, мог же он и в баке выкраситься... второй раз.

Убежал опять к себе. Представление было окончено, — и сел в домино доигрывать.

\* \* \*

Тетя Маша вернулась поздно. Все в порядке. Носом только потянула: «Почему это в комнате воздух такой кислый?» «Это ты утром лимон резала», — сказал Дима. Выпил свою порцию молока и раньше обыкновенного в постель. «Ты что же, Дима, нездоров?» — «Нет, тетечка, просто спать хочется». — «Ну, спи: Бог с тобой!»

Ходит тетя по комнате и все думает, привезла она с собой салфеточку или ей только показалось, что она утром на столе лежала? Не стоит, впрочем, о таких пустяках и думать.

А Дима лежит в постели и соображает: тетя не раз смеялась, что он во сне разговаривает. Вдруг он ночью все и разболтает?

И тихонько-тихонько вытянул из курточки носовой платок и завязал себе рот. Ночью и через нос дышать можно.

1926

## ПОЛНАЯ ВЫКЛАДКА

(Подлинное происшествие)

На воде ноги жидки, а на  
вине жиже того.

*Поговорка*

**В** кабачке «Мистраль» было шумно, мутно и весело. Спустились с холма в приморское местечко похожие на першеронов, в широченных плисовых штанах, бормские каменщики — народ грузный и спиртуозно-емкий. Немало было и местных рыбаков, врагов рыбьего царства от Тулона до Сен-Рафаэля, пьющих редко, да метко.

Забрел кое-кто и из пограничных итальянцев: шоссе-ные рабочие, темноглазые веселые ребята — они еще на пороге, не хвативши ни одной рюмки, казались в легком подпитии. Такая уж беспечная, птичья порода.

Лукавая, смуглая, словно гранат, хозяйская дочка Жильберта чувствовала себя за стойкой, как на капитанском мостике. Наливала капля в каплю, соразмерно рюмкам и бокалам, аперитивы, вермут и терпкое местное винишко, успокаивала взмахом бровей горланов и улыбалась фонтаном улыбок налево-направо, до самых дальних углов.

Перед стойкой, бережно, словно хрупкий фарфор, поддерживая друг друга, покачивались русский агроном из соседнего залива Арнаутов и застрявший в местечке русский художник Редько. Электрические груши в мутном радужном сиянии дробились в глазах. Аперитивные плакаты корчили рожи и уплывали под потолок. Пестрая галдящая толпа сливалась в ухмыляющуюся многоголовую харю... Порой то та, то другая посторонняя лапа добродушно хлопала русских по плечу, прикасалась рюмкой к рюмке, проливали капли яблочной водки на свинцовую стойку.

Арнаутов и Редько нагрузились до ватерлинии: вермут «Кап Коре», на вермут бессчетные рюмки остро-зеленого пепермента, а сверху джин. Джин!.. В одном звуке — шестьдесят градусов. Да еще на французский манер — без закуски, в теплой низкой зале, на утренний фундамент, в котором тоже никто рюмок не считал.

Приятели с трудом рассовали по карманам сдачу (Жильберта не обманет!), вежливо раскланялись со своими двойниками в туманном зеркале и кое-как продрались сквозь камышовые висюльки сквозной завесы на улицу.

Две луны... Качаются мохнатые звезды. С угла потянуло олеандром и дохлыми креветками. Под ложечкой... морской спрут. Вообще — Кап Коре!

Коренастый художник крепко уперся в землю, привел вихляющего агронома в перпендикулярное к шоссе отношение и вспомнил:

— Полуоборот напра-во!.. Направление на дом с острой крышей. Только ты, Павлушка, сними в коридо-

ре свои броненосцы... Пансион у нас семейный, приводить четвероногих можно только на неслышном ходу... А то хочешь я тебя в купальной будке устрою? Кофе сварим со сгущенной... коровой. Я ж почти не совсем не пьяный...

Но у агронома только ноги развинтились, голова еще кое-куда годилась:

— Чтоб я на свое рождение без башмаков по коридору унижался? Ты что ж, дезертирская твоя душа, придумал? В кусты?.. Кофе с молочком?.. Редько! Кто старше по службе?

— Ты.

— Полуоборот нале-во! Направление на пристань... Шагом аррш!.. Лодку мы зря сюда пригнали? Едем ко мне. Я посреди залива при лунном освещении... хором петь буду. Французские законы не воспрещают.

— Брось. Ты и на твердой земле сам себе на язык наступаешь.

— Я-то? Отпусти, хлюст, руку, — посмотрим, кто кого ведет...

Арнаутов рванул руку и, к своему удивлению, тотчас же очутился на крылечке булочной шагах в трех в противоположном направлении.

— Случайность. По причине полнолуния... На воде я зато, как... несгораемый шкаф. Едем.

Характер у агронома был сталелитейный. Редько знал, что теперь его от воды и зубами не оттащишь. Не то перепил, не то недопил. Надо ему разворачиваться дальше... Да почему бы в четыре весла не докатиться до соседнего залива? Море тихенькое. Две луны... Маяк на мысу подмигивает, путь указывает. Даже два маяка как будто... Спокойнее, значит, ехать. И арнаутовский глинтвейн с ромом из-за далеких скал душе светит. А море что ж? Жидкость, и больше ничего.

У мостков лодочная цепь долго не давалась в руки, и ключ никак не попадал в замочную скважину. От электрического фонарика тоже помощь небольшая, особенно когда его уронишь в воду и он со дна светит. Лодка прыгает, вода танцует, под носом луна расплывается.

По бокам пьяные яхты чайками покачиваются... Кап-Корел..

Намотал агроном цепочку на руку, дернул — звено пополам. На четвереньках сползли с мостков в вертлявую лодку. Разобрали весла. Арнаутов смазал лопастью по затылку художника, но где ж там, в темноте, после джина затылки различать. Особенно если хлопнувший — старше по службе.

Нескладно заплескались по воде весла. Рыбак, даже не из старожилов, по звуку сразу разобрал бы, что гребцы растворившейся в лунной мгле лодки провели вечер в «Мистрале». Но где же это сказано, что по Средиземному морю одни только трезвые кататься должны?..

\* \* \*

Морская прохлада, легкий соленый ветерок смывали на мгновение хмель, проясняли глаза, но колыхание лунной дороги, толчки от бестолковой гребли развозили все больше, гнали муть от подложечки к мозгам и обратно.

Берег качался вдали ниточкой фонарей. А может, это и не берег, а борт марсельского парохода? Весла цеплялись ребром за ребро. Гребцы то командовали друг другу, вспоминая «кто старше по службе», то начинали враз, стараясь не зарывать лопасти под самую лодку, как суповые ложки в лапшу. Но что ж стараться, если весла пьяные?

Агроном машинально из всех небесных и земных огней держал направление на маяк и время от времени покрикивал:

— Левым веслом круче!.. Левым... Той рукой, на которой пальца нету... Левоу!!! В Алжир тебя тянет, что ли? Голову оторву!.. Ты чего ж в другую сторону грести стал, сельдь керченская?

— Для перемены кровообращения.

— Я тебе перемену! Художник ты, Степа, говорят, замечательный, а моряк из тебя, как из кактуса зубочистка... Лимончика бы теперь пососать. Ползалива бы за этот фрукт отдал.

Художник в поисках за воображаемым «лимончи-

ком» заглянул под скамью. Весла столкнулись, рукоятки, как крабы в корзинке, сцепились друг с другом... Пролетавшие над лодкой чайки, хотя русского языка они не знали, шарахнулись от словесного дуэта сконфуженно в сторону...

Кое-как, однако, с поддороги отмахали. И когда на повороте к лесистому мыску над лодочными сараями в комнате старого рыбака Фолиаса тускло заблестала далекая знакомая лампа — гребцы перевели дух, бросили весла и потянулись к папиросам.

Арнаутов сполз со скамьи и вытянулся вдоль дна на сквозной решетке... В голове поплыла звездная карусель. Однако он не сдался. Затянулся, сплюнул за борт и раскрыл пасть:

— «Из-за острова на стержень...»

Пел он «хором» редко, но когда пел, действительно казалось, что на прибрежных скалах ревет целое стадо влюбленных моржей. И в любимой своей песне темное слово «стержень» всегда заменял более понятным «стержень»...

Редько сидел на корме и взволнованно шарил по карманам.

— Стой, черт, бык иерихонский! Ведь вот какая досада.

— Подтяжки лопнули?

— Хуже... — Художник сердито шлепнул веслом по воде. — Капли я свои сердечные в пансионе забыл... Ведь вот, связался черт с младенцем. Надо было ехать...

Арнаутов оглушительно заржал.

— Какие же тебе, душечка, капли помогут, когда от тебя джином на два километра несет.

— Врач предписал. Даром я, что ли, пятьдесят франков за визит загубил?

— Пить он тебе тоже предписал? Охра ты стоеросовая...

— Капли и джин друг друга... нейтрализуют. Ты человек серый, агроном. Удобрять землю можешь, а в высшую медицину лучше не вдавайся. Спичку лучше дай. Мои подмокли... Что же я теперь, убей меня Бог, без капель делать буду?

Редько, грузно навалившись вбок, потянулся за спичками. В тот же бок завалился и шарящий по дну Арнаутов.

И... с фантастической быстротой высокий медицинский разговор оборвался... Словно грузная утка, лодка перевернулась с борта на борт и всплыла килем кверху. Лунная рябь неистово заплясала, и из воды показались две разделенные лодкой, обалдевшие до неузнаваемости головы.

— Стоишь?! — отплевываясь, прохрипел ошеломленный Арнаутов.

— А ты?..

— Стою.

— Почему же мы стоим? — скользя рукой по лодке, спросил, заикаясь первый раз в жизни, но трезвым голосом Редько. — Ведь до берега, Гос-по-ди, кусок-то какой...

— Болван, шапку сними! — сердито через лодку крикнул агроном.

Испуганный художник послушно сбросил с головы прилипшую кепку.

— Бог спас! На подводной скале стоим... На единственной подводной скале между двумя заливами... Понял? Здесь, брат, средней глубины этажей на двадцать хватит... с гаком.

Художник оторопело перекрестился и застучал зубами.

— Ничего, ничего, Степушка. Не робей, живы будем. Весло перейми... Справа! Да справа же, пес! Кто старше по службе?! Ну вот. Не сходи с места! Голову оторву...

Арнаутов нырнул под лодку и вынырнул рядом с Редько. Подвели вместе руки под борт, рванули... жить захочешь, силы вдвое прибудет — и, оторвав борт от воды, перевернули грузную лодку скамьями кверху. В лодке маслянисто колыхалась вода. Выкачивали шапками и всплывшей у кормы жестянкой. Работали молча и быстро, как на пожаре. От вермута, пепермента и джина в голове ни одного градуса не осталось.

Сначала полез в лодку коренастый художник. — Арнаутов по горло в воде придержал вертлявый борт. За

художником, отогнав его к другому краю, осторожно балансируя, перенес в лодку ноги, обутые в тяжелые американские ботинки-утюги, и Арнаутов.

Молча взяли за весла. Гребли молча и быстро. Весла плавно ложились одно в одно, с вывертом разворачивались, уходили назад во всю длину до отказа и рвали воду, словно на морских гонках... По ногам гулко переливалась черная вода. Маяк уже не двоился и излучал с переборами на далеком выступе серебряный сноп.

Шапок не надевали до самого берега. И с каждым броском, приближавшим к залитому лунным дымом лесистому мыску, в душах разгоралась неукротимая радость: живы!

\* \* \*

В два часа ночи на русском хуторе за прибрежными соснами вскинулись с лаем собаки, но тотчас же, подобоострастно повизгивая, смолкли: пришли свои.

Тетушка Варвара Петровна встрепенулась на своей скрипучей койке, зажгла свечу и прислушалась.

— Брандахлысты пришли. Ну, теперь до зари карнавал пойдет... Не могли, идола, в местечке допить... По всем заливам нелегкая носит...

Но «карнавал» вышел не совсем обычный. В лунное стекло робко постучал справлявший третьи сутки день рождения племянник-агроном и под сурдинку заскулил покорно и ласково:

— Тетя Варя, отомкните. Утонули мы со Степой, честное слово. Прямо к вам из подводного царства верхом на весле доплыли.

Второй брандахлыст заискивающе добавил:

— Пожалуйста, тетя Варя... Блажен, иже и скоты милует.

Варвара Петровна замоталась наскоро в свое одеяло на манер римского сенатора, бросилась к окну и надставила ладони к глазам.

Действительно... утопленники. Со штанов горные потоки, пиджаки и сорочки облипли, волоса словно морские водоросли по циферблатам размазаны...

Что за история?! Ливня, кажись, не было — двор сухой. Где же это они так намокли?

— Переодеться бы нам, тетя Варя... — снова занял художник. — Добрей вас во всем Барском департаменте женщины нет. А я уж за это завтра портрет ваш в одеяльце, с родинкой на плечике, во весь рост напишу...

— Тыфу, охальник!

Варвара Петровна запахнулась и кинулась к комоду. В комнаты утопленников не пустила — тряпок не хватит лужи за ними подтирать. Выбросила в окно на веранду две сухие переменки белья, да капот свой с хризантемами — художнику, да старую портьеру, что под рукой нашла, племяннику завернуться. Чем не карнавал?..

Брандахлысты переоделись и сконфуженно вошли в комнату, стараясь не стучать по асфальтовому полу своими американскими копытами. Пыхтя и чертыхаясь, долго развязывали набрякшие на шнурках ботинок узлы и смущенно, точно самим себе не веря, какая беда прошла над головой, — рассказали тете Варе, что с ними стряслось в море.

Тетя Варя только пухлыми ладошками всплескивала, ахала и крестилась... Голоса трезвые, глаза кроткие, испуганные. Как у горлинок после грозы.

— И сильно выпивши были? — недоверчиво спросила она.

— Полная выкладка! — авторитетно доложил племянник. — Сама Жильберта точку поставила. Ни в кредит, ни за наличные. Чего уже больше... Только под водой в себя и пришли.

— Чудо Господне... Ангел-хранитель место выбрал, не иначе, — задумчиво произнесла Варвара Петровна.

— Его или мой? — любознательно обратился к тете Варе Редько.

— Ты что ж, басурман, никак надсмехаешься?

— Я... ничего, тетя Варенька. Уж и спросить нельзя?

— Твой ли ангел, либо его, либо оба вместе — не вашего ума дело. По мне и заботы вы такой не стоите... Достойнейшие люди тонут, младенцы невинные, а захочет Господь — шелудивую овцу из пучины вытянет.

— Спасибо, Варвара Петровна.

— Не на чем, изумруд мой. Вы б теперь оба, по-настоящему, покаяние на себя наложить должны. Совесть-то не одним джином обмывается...

Племянник решительно крикнул.

— Мы, тетя Варя, окончательно теперь пить зарекаемся.

— От Вознесенья до нового поднесенья?

— Будьте покойны. После сбора винограда чуть-чуть, уж это не в счет, чтоб соседи не обижались. А вообще... мухи не обсосем.

— Давай Бог. А что ж это дружок твой дрожит? — тетя Варя покосилась на художника.

— Промокли мы, как кефаль. Да потом в мокром платье гребли, вспотели. Каждый дрожать будет.

— Ладно. По рюмке перцовки, так и быть, дам.

— Очень уж промокли... — задумчиво подтвердил художник. — По стаканчику бы следовало.

— А зарок?

— Что ж... Ведь это же не пьянство, а вроде лекарства в предупреждение подводного гриппа.

Тетя Варя рассмеялась, отмерила брандахлыстам по стаканчику, пошла в чуланчик прятать перцовку в потаенное место. Вернулась и строго сказала:

— Спать пора. Сбрую вашу мокрую я уберу. Ступайте с Богом, не до зари тут с вами файф-о-клоки перцовые распивать.

\* \* \*

В надконюшенной пристройке приятели долго ворочались на певучих пружинных матрацах и вздыхали. На птичьем дворе закрипела спросонья цесарка. Сквозь качавшиеся сосновые лапы проплывало в окне бледное облако... Глухо шлепнуло невидимое море. Перцовка теплыми струями пробегала под кожей. Хорошо на твердой земле!

Редько оторвал прилипшую выше локтя ленточку морской водоросли и подумал вслух:

— Да-с. «И в распухнувшее тело раки черные впились...» А тетя Варя, пожалуй, права. Я бы, например,

на месте ангела-хранителя очень и очень подумал — стоило ли спасать такое золото, как мы с тобой.

Агрономический бас сонно и кисло отозвался у противоположной стены:

— Тебя, может быть, и не стоило. А о других попросил бы не выражаться.

1928 Февраль

## КОЛБАСНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ

(Рассказ делового человека)

Человек я не суеверный, некогда в эмигрантской жизни таким пустякам предаваться. И, по логике рассуждая, черному коту, либо проезжающему покойнику, либо католическому попу поперек прохожих передвигаться по Парижу приходится. Не на аэропланах же им перелетать.

Тем не менее, с некоторых пор русские объявления за салатом пробегая, стал я задумываться. Печатают же. Не зря Гутенберг свой наборный шрифт изобрел...

Предсказываю прошедшее, рассказываю настоящее, заглядываю в будущее. Брюнетам скидка. Имеющим свою квартиру — льготные условия платежа. С оккультным приветом, Веранда Брахмапутра.

И личико изображено соответственное.

В скидке я (хотя и бывший брюнет) не нуждаюсь. Подножные франки, слава богу, не перевелись. Перфектум и презенс меня тоже не интересуют. И даром известно: несла наша курица в прошлом золотые яйца; курицу зарезали, яйца разбились, пух по ветру гуляет... А кто ее зарезал, до сих пор на диспутах спорят. Может, интеллигенция, а может, и неграмотные...

Настоящее наше вроде братской могилы. Что в ней зря ковыряться? Но вот будущее, футурум, как выражались древние греки, — вещь заманчивая. Вроде маяка на неизвестном острове. Может, там финики сами в рот падают, может, там вроде собачьей пещеры близ Не-

аполя: тварь высокого роста выживает, а низкорослая ноги протянет.

Дела разные наворачиваются. Стоит перед тобой как бы эмигрантский столб, а на столбе написано: пойдешь прямо — последний капитал потеряешь, пойдешь вправо — из Франции вышлют, пойдешь влево — компаньон зарежет... Неразменным рублем, однако, тоже не обзавелся. Ждать нельзя. Мысли, сомнения — как быть, с кем посоветоваться? Вдов я, живу в мебелирашках, на манер бесплодной смоковницы... Сын один в Африке фельдшером, неграм пиявки к пупкам ставит; другой в Риге в танцклассе на какой-то собачьей кишке играет. От таких, хоть и по радио, какой же совет...

От французов тоже толку на сантим. «Са-ва, са-ва»... Как, мол, поживаете? А чуть ты ему начнешь про ишиас свой рассказывать или что вчера во сне видел, его и звания не осталось. Так, больше для упражнения в вежливости спрашивают.

Со своими земляками тоже разговор короткий. Каждый, как кот в океане, барахтается в неизвестном направлении. Компас в ломбарде, во рту горькая соль. Станет тебе такой советовать...

Стал я свое довоенное образование перетряхивать. Окончательным интеллигентом сделаться не успел, пришлось в Рязани после отца переплетное дело разворачивать. Кормился — ничего. Тогда книги переплетали, теперь только зачитывают... Прогимназию успел все-таки кончить: векселя и любовные письма писал без ошибки.

Стал я вспоминать. Верили же классические разные личности в ауспиции, по кишкам-внутренностям гадали. Гороскопы тоже астрологи составляли: по планете, проходящей через меридиан дня рождения, все штатские и военные операции предсказывали. А уж пифии совсем вроде гадалок были. Только бесплатно работали и серой от них пахло. Да еще сидели не на четвероногом акажу-кресле, а над пропастью на трех ножках. Разница несущественная. Александр Македонский насчет плана кампаний гадал, Клеопатра, может, на внутренних любовников в будущее заглядывала... Сам

Конан Дойл, мировой автор полного собрания походов, у загробных сыщиков насчет подброшенной младенческой ноги неизвестной национальности мнения спрашивал. Ужели я, Иван Трофимов, рязанский переплетчик, скептические вензеля выводить буду? Глупо.

Взял карту Парижа, разложил на соме. Улицу разыскал, метро красным карандашом обвел, котелок рукавом навошил, с ботинок меблированной салфеткой пыль веков смахнул — поехал. Потому подробно все описываю, что случай действительно выдающийся...

\* \* \*

По дороге все думаю — правильно ли я к ней, к Брахмапутре, в коричневой тройке, как парикмахер на панихиду, заявлюсь. Может, визитку бы рязанскую надеть (она у меня вроде мумии Тутанхамона, без износу!). Случай все же торжественный, все равно что судьбе визит наносишь. Да и дама ведь она, пифия-то эта монмартрская. Доктор оккультных наук, почетный член бабелмандебской теософской академии — пес натошак не выговорит... Про хвост ничего не сказано: с хвостом она, как по Гоголю ведьме полагается, или, так сказать, в уровень с модой — отрубилась...

Выскочил из метровой дырки. Совестно. Будто голый в витрине лежишь, а на грудях этикетка: «Вот старый дурак к гадалке собрался». Идти, не идти? Решил положиться на оккультную арифметику: если первый автомобиль на три делится — перст судьбы, надо идти. Гляжу — из-за угла выкатывает, и сзади, так я и ахнул: 567. Четыре раза, подлец, делится! Не пойдешь — рыбьей костью, чего доброго, в наказание за обедом подавишься...

Поднялся я на третий этаж; лестница тухлой консержкой припахивает. Ткнул я кнопку, дверь как дверь — ничего магнетического.

Отворяет этакая Агаша, домашняя рабыня русского привоза. Глаз голубой, веселый, вся в припухлостях. И румянец естественный — арбуз астраханский в разрезе. Даже отодвинулся я немного. Не затем-с пришел.

— Погадать, батюшка? Пожалуйста в ожидальную, номерок я вам очередной выдам.

— Да там много народу ли?

— Слава богу. Табурет дополнительный из кухни принесла.

— Ну, мать моя, я после зайду. Некогда мне в хвосты гадальные у вас становиться...

Конфузно стало. Не предбанник тут, гром их побей... Буду я себя, солидный человек, ножки под табуретом поджавши, на общий позор выводить.

Рабыня, однако, свое дело знала. Дверь за спиной щелк, сама у меня палку и котелок из рук, словно у грудного младенца, берет, голосок под сурдинку перевела:

— У нас, сударь, многие из мужчин стесняются. Не сомневайтесь. Коридорчиком я вас в столовую проведу. Уж вас там и водолаз не найдет. А если вы мне пять монет на сберегательную книжку пожалуете, я вас промеж двух барынь вне очереди втисну.

Втискивай. Что ж поделаешь, если в пятьдесят пять лет сдуру в гадальную мышшеловку влетел.

— Занятие ваше, — спрашивает, — какое?

— Тебе зачем?

— Да так... На капитана одного черноморского очень вы в профиль похожи.

— Гм... У меня, душа моя, и профиля почти нету: разнесло от мебелированной сидячей жизни. Занятие мое в прошлом сухопутное... Переплетное дело в Рязани держал. А теперь к колбасному производству тяготение имею. Впрочем, тебе это ни к чему... Поворачивай пятки.

Вхожу в столовую. Действительно, кроме летающей моли, никого. Да в дальнем углу на мои шаги проснулся на жердочке ревматический попугай, пегий старик. Почесал себя меланхолическим клювом под мышкой и этак отчетливо, барственным баском по-русски на всю столовую хрипло выразился:

— Еще один.

Я от удивления даже пиджак на верхнюю пуговицу застегнул.

— Кто же это, — спрашиваю, — еще один?

А он в ответ без всякого стеснения (разве ж он, дья-

вол носатый, не на деньги клиентов свои насущные семечки луцтит?) — прямо мне в нос традиционно ляпнул:  
— Дурррак.

\* \* \*

Впрочем, в дураках я, слава Богу, не оказался. Со всем наоборот. Провела меня Агаша сквозь коридорные Фермопилы, в дверь по телеграфному коду постучалась: мужчина, мол, — солидный — с икрой.

Впустили. Сидит в обыкновенной венской качалке этакий кулич необъятный. Щечки — земляничное желе, грудь на пульмановских корсетных рессорах, глаза — две коринки, — ничего мистического. Что ж, может, у нее главная сила внутри скрыта. Как жемчуг в устрице... На столе тоже ни черепов, ни змей в банке. Самая ординарная бутылка мадеры да халва на блюдечке.

Поздоровалась за руку и завела сразу. Весь свой гадальный прейскурант выложила:

— Желаете на картах в две колоды с вариациями? За прошлое десять франков приплаты. Или по-болгарски на кофейно-турецкой гуще? Специально для пожилых особ, которые еще не погасли... Можно и по руке, по разверстой ладони, полная хиромантия души со всеми буграми, линиями и перекрестками за 25 франков. Многие тоже по почерку, как на рентгеновской скелетной фотографии, обнаруживаются. Способ особо научный... Выбирайте.

Я ее сразу и укоротил.

— Если я к вам, как к врачу по внутренним душевным болезням пришел, с какой стати я сам для себя лечение выбирать буду? Банки ли мне наружные ставить, или цитварное семя внутрь принимать? Это, простите, вашу фирму не рекомендует.

Она насупилась, зубами и корсетом скрипнула и говорит:

— Я и без вас знаю, какой способ кому соответствует. Мне только надо было тембр голоса услышать, чтоб фибры ваши сообразить. Голос у вас тихий, но несим-

патичный... А гадать я вам по книжной рулетке буду... Покажите, между прочим, вашу руку. Гм... Бугор Юпитера у вас вон как выпячивается. Властолюбие.

— Действительно, — отвечаю, — Каракалла во мне тайный сидит, только наружу выйти не может. Французские законы не позволяют.

Покосилась она на меня вбок, насмешки не поняла, образование не такое...

— Может быть, желаете десять франков доплатить, попутай вам из урны билетик с настоящим вытянет.

— Спасибо, матушка. Он мне в столовой бесплатно уже все изустно сообщил. Прошедшим не интересуюсь: подобно оно одуванчику на могильной плите. А настоящее, пока мы болтаем зря из пустого в порожнее, в прошедшее переливается. Дело мое серьезное, ответственное. Одна нога здесь, другая там, середине Рубикон. Либо из меня золотой телец выскочит, либо собачий хвост в репейнике. Не томите, матушка, прошу вас покорно.

— Так бы сразу и сказали.

Снимает она с полочки над головой пузастенькую книжечку. Жест франкмасонский сделала, открыла где попало и спрашивает:

— Правая страница или левая? Отвечай сразу, не подумавши, будто кто тебя шилом в бок колет.

— Правая.

— Строка какая?

— Двенадцатая.

— Сверху или снизу?

— Снизу...

Повела она пальцем, нашла и... читает: «Свиную щетинку в кудри не завьешь».

— Скажи на милость! Ведь это ж прямо намек. Валите, — говорю, — дальше. — Опять она раскрыла.

— Страница?

— Правая!

— Строка?

— Семнадцатая!

— Слева?

— Справа!

«Около кости мясо слаще...»

Так я и взвился. Ясный намек на колбасное производство. Ну, до трех раз... валите, Веранда, как вас по батюшке... Брахма-путровна.

И представьте себе, по третьему разу полное, можно сказать, подтверждение:

«Свинья чешется — к теплу, а визжит — к ненастью...»

Вот тебе и суеверие! Прямо в мою свиную мишень все три стрелы.

Выпил я воды, паузу сделал — взволновался очень. Что в самом деле за колбасный спиритизм?..

А она сидит, перстами играет, улыбка во весь медальон: что, мол, фирма моя тебе нравится?

— Как же, — говорю, — сударыня, вы так навели, что все мои колбасные мечтания перед вами как на ладони вскрылись?

— Кто, милый, каким товаром торгует: один обыкновенными сосисками, другой высшим животным гипнотизмом... Теперь я вам самое существенное за тот же гонорар и предскажу. Недорогую подержанную машину для производства небось ищете?

— Ищу.

— И мастера, который непьющий, из русских?

— Господи! Третью неделю по всем газетам объявление тискаю.

— Помещение тоже, поди, требуется? Бай на девять лет, да на окраине, чтоб колбасные твои ароматы жильцам не мешали?

— Прямо в точку!

— Ну ладно. Открывай смело. Моя рука полевого ветра легче. Какое имя?

— Иван Трофимов.

— В крутом буераке лютые собаки. В лес дорога, на пупке тревога, внутри ярмарка... На море, на взморье, на белой салфетке, в бурой жилетке сидит раб Иван под деревом-лозою, торгует ливерною колбасою... Ступай теперь домой, а вечером наведайся. Насчет непьющей машины, подержанного мастера и всего прочего все тебе точно обскажу...

Устала, бедная, от напряжения фибр — заговариваться стала и глаза прикрыла. Даже серой, могу сказать, запахло... Сунул я ей за ошейник двойную против таксы мзду и на цыпочках вышел. С лестницы от радости козлом скатился... Вот тебе и суеверие!

\* \* \*

Дело мое (тьфу-тьфу!) теперь на мази. Мастер только тогда и пьет, когда я сам запиваю, — надо же хозяина уважить. Машина подержанная попалась прямо как новобрачная. И помещение — ателье первый сорт. Все она — Брахмапутра...

Чайная, ливерная, охотничьи сосиски, полендвица так залпом и расходится. Не то что среди эмигрантов, этих не удивишь — французы, народ гастрономический, нарасхват берут. А что процент гороховой муки в чайной колбасе у меня свыше нормы, наплюйте тому промеж глаз, кто говорит. Из зависти. Горох — не стрихнин... Хоть розовое масло клади, все равно брехать будут...

Гадалке, конечно, каждое первое и пятнадцатое разного свинства посылаю: она для меня все равно что Муза, все дело направила, нельзя свиньей себя оказать. И Агаше перепадает. Разживусь еще, перетяну ее в свой розничный — кассиршей. Руно ей на голове подстричь, совсем вроде пасхального поросенка, — симпатичная дамочка выйдет.

А книжку, по которой гадалка колбасную мою судьбу мне раскрыла, по дружбе я у нее на подержание взял. «Том второй, пословицы русского народа, собранные Далем».

Пробовал было на разные случаи сам себе гадать — фасон не тот. Я о скоропостижной любви, к примеру, загадаю (в 55 лет в Париже только бодрая осень разворачивается, особенно кто при своем деле), а по книжке бес его знает что выходит:

«Будет корова, будет и подоюник».

Или:

«У кого голоса нет, тот и петь охоч».

Как будто вроде насмешки. Нет, стало быть, во мне

этого самого оккультного перцу. И придется уж, видно, к пифии моей по специальному этому вопросу опять обращаться.

1928

## КУПАЛЬЩИКИ

### 1

#### МУЛ

**В** конюшне душно. Сквозь настежь распахнутую верхнюю половинку двери влетает и вылетает ласточка. У нее над дверью гнездо — пять писклявых ртов, работы до вечера хватит.

Мул косится на ласточку и нетерпеливо лязгает цепью. Почему верхняя поперечная половинка распахнута? Рядом в сарае не гремела высокая двуколка, не скрипели ворота, не хлопались через порог выкатываемые колеса, хозяин не чертыхался на незнакомом языке. Соломенная с дырками шляпка и конусообразный, похожий на кактус хомут висят на своих колках... Мул хлопает плоским копытом в асфальт — нервничает.

— Купаться так купаться... Чего зря томить? В спину пыль въелась, а почесать нечем...

Знакомая кудлатая голова в шляпе лопухом показывается в солнечном квадрате двери.

— Ну ты, леший!

Мул улыбается: как старая кокетка, поджимает губу и оттопыривает ее ковшиком. «Леший»... Должно быть, это самое ласкательное слово на незнакомом языке.

Он выходит за человеком в дверь. Человек, не оборачиваясь, идет среди сосен, заложив за спину руки. Мул за ним с сосновой кисточкой в зубах — любимая его закуска на свежем воздухе. Сейчас за поворотом сквозь сосновые лапы мелькнет сине-зеленая полоса: верхняя краска — небо, нижняя — море. Слов этих мул не знает, но на синее так приятно смотреть после конюшенной мглы, а в зеленую, прохладную жидкую краску он сейчас окунет бока.

Человек по дороге разделся — под можжевельник бросил штаны, под старую лодку куртку. В полосатых, болтающихся, как на ходулях, трусиках, костлявый и жилистый, в шляпе шлыком, человек сам стал похож на лешего, но мулу не до него. Вошел, томно подбирая копыта, в зеленое лоно по самое пузо и застыл.

Рука с черпаком нагибается и подымается, окатывает спину. Спина блестит, словно автомобильный кузов, и вздрагивает после каждой порции светлой влаги. Мул опускает в воду морду. Пьет?.. Разве можно средиземную воду пить — полынь с солью? Куцый и жидкий хвост, похожий на вставленную из озорства затертую метелку, ходит во все стороны: мул наслаждается — он полощет рот.

Человек швырнул черпак на песок, напялил на мула свою острую шляпу и поплыл к камню, вскидывая граблями руки. Мул, наконец, свободен. Без классного наставника.

Осторожно пробуя копытами дно, он входит в море по самую шею, останавливается, глубоко вздыхает и смотрит. На далекий, расплывающийся в солнечной ряби остров, на выплывающий из-за мыса фрегат, на похожую на розового мула тучу, на чайку, с наглым криком пролетающую взад и вперед мимо морды...

Косится на прозрачную тихую воду: треугольник за треугольником плывут к нему под водой косяки игольчатых светлых рыбок. Проплывают под пузом — мул повернул голову, — выплывают с другой стороны... Жук! Мул прислушался и застыл. И кто его знает, если бы снять в этот момент его глаз, только один глаз, показать вам и спросить: чей это глаз? — вы бы, пожалуй, ответили: «Это глаз поэта, который сочиняет стихотворение в прозе»...

Да. Но из моря выходит человек и слизывает катящиеся с носа на губу соленые капли. Мул огорченно вздыхает, поворачивает под водой свое охлажденное до самой селезенки крепкое тело и покорно идет за человеком на берег.

2

## МОЛОДАЯ СОБАКА

Мальчик и девочка сидят у воды и сохнут. Сквозь закрытые веки мутно дрожит в глазах оранжевая мгла солнца. Сохнут ли дальше или опять полезть в воду, разбрасывая коленками веселые брызги?

Но за спиной льстивый, осторожный визг. Дети переглядываются и на невидимых шарнирах поворачиваются спиной к морю.

— Хэпи, Хэпи, Хэпи! Иди сюда, душечка.

Но душечка Хэпи, собачий недоросль и комик, не хочет. Он смертельно боится воды. И он до сердцебиения, до судороги в ногах обожает мальчика и девочку.

Закатив глаза и горестно повизгивая, прополз он к ним несколько шагов на брюхе, оставив в песке широкую борозду...

...Дальше не решается. Ни за что на свете! Ведь он знает, чем это может для него кончиться.

— Хэпи, Хэпи, Хэпичка!

Он страдает. Извивается, как грешник на раскаленной сковородке, подобострастно вертит хвостом и скулит:

— Пожалуйста... Умоляю вас... Подойдите лучше вы ко мне! Я оближу ваши руки и пятки, перевернусь через голову два и еще два раза... Отнесу домой в зубах ваши купальные костюмы, хотя соленая вода так противна... только не зовите меня к себе...

Он трет лапой переносицу — убедительней жеста у него нет — и смолкает. Шоколадная помесь гиены с таксой, лягаша с кенгуру, он очень некрасив, бедный Хэпи, но преданнее и нежнее сердца вы не найдете от Тулона до Ниццы.

Дети снова переглядываются и встают на невидимых пружинках. Девочка заходит справа, мальчик — слева. Они притворяются, что ищут на песке наперсток, который бабушка потеряла вчера на пляже. Но Хэпи понимает, какой это наперсток... Все круче заворачивают к собаке загорелые детские пятки. Удрать? Но разве Хэпи смеет? Он закрывает лапами глаза и дро-

жит: жарьте меня, режьте меня, ешьте меня — я покоряюсь...

Гибкие детские пальцы подсовываются под брюхо, песок ведь подрыть нетрудно, и отрывают Хэпи от милой, твердой земли. Несут...

Девочка на ходу поддерживает вытянутые задние собачьи лапы. Хэпи слабо ими подергивает, ведь он не смеет по-настоящему сопротивляться. Все кончено, все погибло. Но благородное сердце стало еще благородней: Хэпи по дороге вскидывает голову и пытается острым языком лизнуть мальчика в глаз, в ухо, в переносицу — куда попадет.

— Хэпи, перестань! Хэпи, кому я говорю...

Видите — даже целоваться в такую минуту запрещают...

Внизу хлопает страшная, необъятная вода, вверху над мордой качается облако.

Дети зашли в воду по грудь и разжали пальцы. Вскипает бело-зеленый пузырь, и сразу с места в карьер Хэпи поворачивает к берегу. Остервенело гребет лапами... Пены, как от колесного парохода! Выпученные глаза впились в берег, еще шаг, еще полшага...

Под лапами зашипел песок... Хэпи, словно мокрый Петрушка, с визгом вылетает на пляж, брызги — стеклярусом, и мчится, пронзительно скуля, к гигантской сосне.

Под сосной — передышка. Хэпи не желает, чтобы на нем хоть одна капля морской воды осталась: зарывается в песок, прорывает в нем, раскинув по-тюленьи лапы, траншею и долго валяется за можжевелником на любимой падали, старой бараньей шкурке.

А потом поворачивается к морю и начинает лаять. Не на детей, нет, — разве он смеет? На море.

— Ты зеленая лужа! Гадость, гадость, гадость!

Дети снова сохнут на берегу. На лай Хэпи вскакивают, смеясь, и делают вид, что опять хотят к нему подобраться.

Хэпи не выдерживает: поджимает хвост к животу и галопом мчится к дому сквозь колючие кусты напролом, оглашая залив отчаянной собачьей жалобой:

— Второй раз купаться?! Мучители, терзатели, купатели!

А за спиной подлаивают девочка и мальчик. И до того им вдруг стало весело и смешно, что они, совсем уже во второй раз высохшие, снова бросились в светло-зеленую воду и стали друг друга серебряным морским стеклярусом окатывать.

### 3

#### МАЛЬЧИК С СЕЛЕЗНЕМ

Самый маленький житель в русской приморской усадьбе — Боб. Очень деловитый, очень хозяйственный, и забот у него больше, чем у министра земледелия. Жаба у ручья пчел лопают — непорядок. Кошка у колодца лучшую дыню выела — надо поймать и наказать. Не для кошек семена из Риги выписывали... Старый кролик, когда Боб его вчера кормил кочерыжками, отгрыз у Бобиной курточки пуговку и проглотил... Что теперь с ним будет? Касторки ему дать, что ли?

Но одна забота даже и во сне Боба мучит. Колодцы пересохли, в цистернах вода на доньшке. Утки на птичьем дворе стучат клювами в сухой, врытый в землю бак и скучают. Перепонки на лапках потрескались... Ведь этак у них чахотка развиться может.

И додумался. Взял старшего селезня и понес под мышкой к морю. А сзади сдобный, ухмыляющийся дедушка в сине-желто-малиновом халате телохранителем поплелся.

Селезень не Хэпи, птица солидная, лапами не дергает. Сидит важно под мышкой и покрякивает: мальчик знакомый, несет — значит, так надо.

У воды Боб птицу на песок спустил, к лапе бечевку привязал, другой конец дедушке в руку сунул:

— Ты, дедушка, не давай утке заплывать... А то она увлечется, до самой Корсики поплывет! Знаем мы их...

Боже мой, до чего утка разволновалась... Крылья вверх, на цыпочках подымается, восклицания какие-то утиные издает... Сколько воды, ах, сколько воды! И вошел селезень в воду, поплыл, бечевку натянул, шейку

выгибает — лебедем прикидывается, ныряет, крыльями себя окачивает... Совсем одурела с радости птица.

Дедушка, само собой, свое дело исполняет: ходит по берегу, веревочку подергивает, пасет в море утку.

А Боб сбоку в воде из старой консервной жестянки селезня поливает, как утром человек мула поливал.

Однако скоро понял селезень, что воды много, да нехорошая какая-то вода: жесткая, соленая, в горло попала, не отчихаешься никак... Потянул селезень к берегу. Боб его назад загоняет, а он упирается. Боб кричит, селезень кричит, дедушка кричит... Добрался все-таки селезень до берега. Присел наземь и завял. Зачичканный какой-то стал, словно облезлая галка. Клюв раскрыл, тяжело дышит, крыло по песку волочит. Еще не дай Бог в обморок упадет...

И поплелась процессия обратно к дому. Впереди синий Боб с селезнем, оба мокрые, оба дрожат. Сзади сердитый дедушка. А совсем сзади ползком за кустами любопытный Хэпи:

— Что?! Докупались?

1928

## БУЙАБЕС

Родители поехали вперед. А дядя Петя отважно взялся везти детскую команду: Гришу, Савву, Надю и Катеньку (восьми, девяти, одиннадцати и двенадцати лет).

Из Парижа до Тулона добрались благополучно. Попутчик по купе третьего класса, толстый негр с седой паклей на голове, так разоспался, что все норовил во сне положить свою ногу Савве на плечо, но Савва не сдался — пять раз сбрасывал негритянскую ногу и наконец победил... Негр спал с широко разинутым ртом; Гриша хотел было заткнуть ему рот алюминиевым яйцом для заварки чая, однако дядя Петя не позволил и заявил, что это «некультурно».

В Тулоне дядя Петя оплошал. Багаж — уйму пакетов и пакетиков с дачной рухлядью — по русскому обычаю везли в вагоне, и вот не догадался дядя, переправляясь

в Тулоне с большого вокзала на узкоколейный, сесть с детьми в трамвай, а багаж на переднюю площадку впихнуть.

Вместо того взяли извозчика. Лошади — два прили-  
занных одра в соломенных шляпах, коляска — загляде-  
нье — над головами белый балдахин с висюльками, си-  
денья вязаными салфеточками покрыты... Сесть даже  
боязно, как бы такой чистоты пыльными штанами не  
испачкать.

Зато и содрал извозчик: пятнадцать франков за де-  
сятиминутную черепашую рысь! Дядя Петя раньше не  
сторговался в суматохе и очень был огорчен. Не так це-  
ной, где уж наше не пропадало, сколько свинством. Го-  
род такой симпатичный, на Севастополь даже чуть-  
чуть похож, а извозчик такой неблагодарный попался.

Не выдержал дядя и сказал:

— В Париже, сударь, шофер за такой конец втрое  
дешевле берет, а у вас в Тулоне простому извозчику  
столько платить приходится... Надо же и границу знать.

А извозчик, черноусый морж, обернулся, дерзко дя-  
де подмигнул и ответил:

— В Париже? Хо! Зато у нас есть буйабес!

\* \* \*

Слово приятное, что и говорить... Но что оно зна-  
чит, даже дядя Петя не знал, даром что когда-то ветери-  
нарный институт окончил и имена всех жуков на свете  
знал.

Надюша решила, что буйабес — это, вероятно, ту-  
лонская наклонная башня... Почему бы и Тулону не  
иметь такой башни для туристов? За вход по три фран-  
ка, а упадет — будут развалины осматривать. Старшая,  
Катенька, самая умная, высказала догадку, что буйа-  
бес, должно быть, тулонское матросское ругательство;  
кучер был нахал — это ясно, а в приморских городах ку-  
чера ругаются по-матросски.

Гриша и Савва даже поссорились. Гриша уверял  
всех, что так называется по-провансальски бой бы-  
ков, — он сам видел на афише, когда извозчик проез-  
жал мимо, — два быка из лошади внутренности выпус-

кают, а сбоку стоит «быкадор» со шпагой и на груди у него надпись «буйабес».

Савва клялся, что никакой афиши не было, и в доказательство щелкнул Гришу «кодаком» по голове, дядя Петя, конечно, рассердился и заявил, что это некультурно...

Словом, только в провансальском рыбацьем поселке, когда приехали на место, все разъяснилось. У синего залива старик-рыбак варил на опушке прибрежной рощицы знаменитую провансальскую похлебку из красной рыбы и прочих морских жителей, заправленную... чем только не заправленную! Дачники похваливали, и называлась эта похлебка буйабес...

Такое кухмистерское открытие сперва разочаровало детей. Французская уха, эка невидаль, нашел чем извозчик хвастать! Если бы еще мороженое какое-либо особенное из кактусов или китовых сливок — это действительно достопримечательность не хуже пирамиды, а суп из рыбы... кушайте сами.

Однако почему же все едят, не наедятся? Американцы приезжали на зеленом автомобиле, заказали к воскресенью восемь порций, знакомый инженер говорил, что это не блюдо, а «лунная соната»... Может быть, рыбак в этот суп жемчуг кладет для вкуса? Ну нет, разве тогда продашь порцию за четыре франка?

Надо было попробовать... Может быть, действительно не стоит тогда есть ни китайских орешков, ни леденцов-сосулеч, ни фисташкового мороженого — только один буйабес, чтобы потом было о чем в Париже вспоминать... Это тебе не Па-де-Кале с бульоном из прошлогодних костей!

Но отец сказал: «Ни в коем случае». Во-первых, перец вредно влияет на детский организм — хотя Гриша и божился, что у него организм «мужественный» и что он в доказательство готов проглотить целую чайную ложечку перца даже без облатки. Во-вторых, сказал отец, в буйабес кладут каких-то морских тараканов, ежей и головастиков... Дети пошептались и решили, что головастики туда-сюда, из любопытства отчего бы не съесть. Но морской еж... Проглотить его дело нелегкое, а что с ним потом делать?

\* \* \*

Внук рыбака, маленький, загорелый, словно его в шоколаде выкупали, Пьер, открыл Наде секрет: никаких головастика, никаких морских ежей... Надя Пьеру очень нравилась — она вышила его дедушке закладку для Библии с надписью на русском языке «Рыбак рыбака видит издалека», она остригла по дружбе Пьеру волосы, правда, грядками, «вроде виноградника», как говорил дедушка, — но все-таки остригла... Уши остались целы, а ведь это самое главное.

Пьер открыл Наде секрет, как готовить буйабес, только взял с нее слово, что когда она вырастет и вздувает стряпать это кушанье для американцев-туристов, то чтоб она не делала этого на их берегу, а то дедушка не выдержит конкуренции и прогорит.

Надя поклялась, и Пьер, сидя верхом на старой опрокинутой лодке, все ей рассказал, как умел.

— В буйабесе главное — красная рыба... Колючая морда, выпученные глаза, красно-серая чешуя, красные плавники и хвостик. Для навара, чтобы крепче морем пахло, подбавь маленьких крабов, мулей, белых ракушек, креветок, маленьких осьминогов... Дедушка стар, плохо видит, он иногда и морскую звезду в котел бухнет, а раз мне целлулоидного дельфина знакомая девочка подарила, так он и дельфина сварил. Приправа — лавровый лист, шафран, чеснок, перец, лук, соль... Ты девочка, что ж тебе объяснять... Всего восемнадцать специй. Вышей дедушке еще одну закладку, он тебе сам все расскажет. А шафран продают в аптеке, в пакетиках — порошком. На каждого американца — по одному пакету. Полчаса кипит, полчаса через край бежит, полчаса дедушка трубку прочищает. Поняла?

\* \* \*

Надюша поняла. Позвала сестру и братьев, шептались, шептались и дошептались. Родители все говорят — «будьте самостоятельны». Хорошо! Прекрасно! Вот и приготовят буйабес сами и принесут родителям попробовать. Пусть тогда не выдумывают про голова-

стиков, и морских ежей, и свинок... и не бранят знаменитого блюда, не попробовавши.

Ковшик красной рыбы и всякую морскую мелочь дал сосед-рыбак — дети ему не раз помогали сети в лодку укладывать и рыбу разбирать. Среди красной попалась и «тигровая» рыбка — зеленая с оранжевой ленточкой вдоль боков... Чем зеленая хуже красной? Сойдет.

Мальчики вырыли под берегом ямку, выложили ее внутри и оградили вокруг от ветра камнями, а поперек вместо плиты приладили два куска ржавого обруча от старой бочки. Очаг всегда строят мальчики, и, пока он не был готов, девочки не имели права подходить ближе двадцати шагов — такое условие поставил Гриша.

В чем варить? Савва принес было найденную им в водорослях жестянку из-под керосина, но девочки рассердились и посоветовали Савве сделать себе из этой жестянки цилиндр и носить по воскресеньям. К счастью, у сарая для лодок стояло старое ведро, и так как на нем не было написано, кому оно принадлежит, то дети решили, что они «нашли» это ведро, — а найденное старое ведро, как известно, приятнее всякой кастрюли.

Катя принесла из аптеки пять пакетиков с шафраном: по полпакетика на детскую порцию и по пакетик на родителей и дядю Петю. Чеснок, соль и перец выменяли у соседки рыбака на портрет Лермонтова из хрестоматии, который рыбак немедленно приклеил над койкой между фотографиями своих ближайших родственников.

Чистили рыбу все вместе, — чешуя, впрочем, только вставала под ножом ежиком и шипела, но почти вся оставалась на своем месте. У каждого была своя манера: Гриша срезал у рыб только хвосты. Савва только головы, Надюша — и головы, и хвосты, а Катя отдала строгое распоряжение насчет рыбьих внутренностей и сама ушла за пресной водой...

Дети обиделись:

— Принцесса нидерландская! Мы должны кишки чистить, а она на каблучках вертится... Ни за что!

Так рыба с кишками в ведро и полетела. А у ракушек и кишок, слава Богу, нет, сполоснули и в воду...

Пламя лизало ведро, вода забулькала и забурлила по краям буграми. Снимали пену и сторожили ведро все по очереди, и, понятно, каждый по очереди подсыпал то перца, то соли, а Гриша, когда остался один, даже горсть китайских орешков подбросил — пусть и они свой навар дадут...

Каждую минуту пробовали: на «лунную сонату» все еще не было похоже, но не варить же целые сутки. Это, наконец, скучно! Сняли ведро с огня и понесли вчетвером свой дымящийся «буйабес» — угощать родителей и дядю Петю.

\* \* \*

Мама оказалась хитрее, чем можно было ожидать.

— Сами сварили? Настоящий буйабес? Вот и чудесно... Я сегодня, кстати, из-за головной боли и обеда не готовила... Вы ведь еще не ели, а?

— Нет, мы только пробовали...

Дети переглянулись: мать налила каждому по полной тарелке, налила и себе. Попробовала, закашлялась и похвалила.

— Очень, очень вкусно! Что же вы не едите?

Пришлось есть... Савва потом уверял, что у него в животе точно пороховой склад взорвался... Гриша чуть ракушкой не подавился, а Надя только тем от буйабеса и спаслась, что усердно принялась Гришу по спине колотить, — это ведь первое средство, когда кто-нибудь поперхнется.

А дядя Петя пришел, попробовал и сказал:

— Амброзия! По настоящему рецепту в буйабес для навара еще парочку резиновых каблучков кладут... В следующий раз, когда будете варить, возьмите у меня в ночном столике.

И трудно было понять, серьезно он это говорил или только так... дразнился.

## ЗАМИРИТЕЛЬ

В углу этапного двора, на крыше земляного погреба, густо пробивалась изумрудная весенняя щетина.

Кирпичные стены казарм цвета побуревшей говядины с четырех сторон обрамляли этапный пункт.

Возвращавшийся на фронт с побывки ефрейтор Егор Пафнутьев, развалиясь у насыпи погреба, поправил свалывшийся под головой вещевого мешок и, пустив в чистое васильковое небо густой клуб махорочного дыма, хлопнул по погону валявшегося рядом однополчанина-земляка.

— Не спал я, Федор Иванович, цельную ночь. Такое в голову лезет, что и сказать боюсь. Воюем второй год, народу изничтожена прорва, а толку на грош. Конечно, я не герой, человек кроткий, в разведчики и то не гоюсь. Но башкой меня Бог не обидел. Котелок работает! Ужели мозг против кулака ничего не может? Не спал, ворочался и надумал, брат, такое, что первым человеком в России буду, да и Европе нос утру. С тобой мы дружки, человек ты молчаливый, в летах, — должен тебе свое дело открыть... Очень я, брат, встревожен, вещь такую задумал, что только Суворову впору.

Придем мы теперь на позицию. Первым делом — через фельдфебеля ротному докладую: «Ваше высокоблагородие, хочу способствовать полной победе без пролития крови, представьте меня в штаб армии по секретной важности делу». — «Да что ты, после контузии рехнулся, что ли?» — «Никак нет, в полном сознании. Дозвольте, ваше высокоблагородие, на ухо в полной тайности доложить». И доложу! Ротный аж побелеет: «Ай да Егор Пафнутьев! В большие люди выйдешь — меня не забудь!»

И сейчас меня ходами сообщения из блиндажа в полковой штаб. Автомобиль по полевому телефону вызван: цоп! Еду в штаб, а там уж волнение. Дежурный генерал меня сейчас в полевой кабинет.

«Ты — Егор Пафнутьев?» — «Так точно, ваше превосходительство! Дозвольте на ухо доложить». Дежурный генерал аж побелеет: «Ну, Егор Пафнутьев! В большие

люди выйдешь — меня, старика, не забудь...» Сичас зазвонил в Ставку, снесся по особо секретному проводу с кем надо. Оттуда приказ: дать Егору Пафнутьеву что потребует, ни в чем ему не прекословить.

Вызываю я к себе самолучшего летчика. Хоша я ефрейтор, а он поручик, однако он у меня в полном подчинении. «Ваше благородие, добудьте чем свет немецкий ероплан, веревки английской сажень со сто, бульону французского в бутылочке да германского обмундирования полный комплект на две персоны». — «Слушаю-с! Ероплан, — говорит, — мы русский перекрасим, железный крест с исподу выведем, планки уширим — сойdet...» — «Ну, делайте как знаете... Карта при вас?» — «Так точно, господин ефрейтор!» — «Мертвым петлям, курбетам всяким, спиральному спуску турманом и подъему по прямой линии обучены?» — «Так точно, все могу-с». — «Ну ладно... Мы, ваше благородие, завтра с вами весь свет замирим и Россию на первое место поставим». — «Рад стараться!..» И портсигар раскрыл: разрешите, мол, предложить папироску? Хлост!

А дежурный генерал мне все обсказал: солдатский слухок по окопам не зря прошел — парад точно германский назначен супротив нашего фронта. Сам Вильгельм принимать будет, потому фронт наш сичас самый главный, всем фронтам голова.

Ладно. Чуть свет в полном секрете садимся с поручиком в ероплан. Начальник штаба нам для теплоты по большой рюмке коньяку вынес, потому сырость, а лететь далеко. Слезу обшлагом старик вытер, платком помахал. Взвились! Мать честная...

Низко лететь невозможно, потому наши батареи перекрестным шрапнельным огнем сшибут, ероплан с виду-то германский. Я поручику команду: «Ваше благородие! Берите еще повыше, облака пробьем, а там, как за дымовой завесой, валите прямо скрозь немецкий фронт, прямо к фольварку, где их парад нынче. Без пяти восемь ровно, чтоб поспеть, потому Вильгельм — немец аккуратный, ровно в восемь к войскам выйдет».

Летим, братец, летим. Внизу облака, как студень, колышутся, вверху солнышко... Птички, которые за нами увязались, все к черту поотстали.

Нагнулся поручик к карте, по барометру перчаткой щелкнул: «Здесь, — говорит, — в самый раз. Спускаться?» — «Вали, ваше благородие...» Мать честная!

Стал он кольцами, как ястреб-тетеревятник, кружить, да все ниже, да ближе. Облака прошли, дыра за нами лохматая, словно сапогом перину продрали. И вся, можно сказать, панорама, как на бильярде. Кавалерия, понтонный батальон, пехота поротно в походной колонне. А на пригорке сам Вильгельм: в дальнотбойный бинокль весь, сукин кот, как на ладони виден. Усы штыками кверху закручены, шинель вроде нашей николаевской, каска — пикой, ровно хвост у кобеля. Отдельно от других стоит. В том и вся суть!

Ну, немцы ничего. Никакого подозрения не обнаруживают. Свой ероплан спускается, может, с каким несением секретным в собственные руки.

А я канат в кольца выложил, размотал конец, петлю ружейной смазкой протер, кричу поручику: «Как на пятьдесят сажень подлетим, на самую малость задержись!» Ну, мой поручик знает: котелок работает. В самый раз потрафил, над головой Вильгельма замер... А я — раз! Аркан метнул... Прямо Вильгельма под мышки, зыкнуть он не успел. «Подымай-с!» — кричу... Мать честная!

Дернули мы в поднебесье, едва из-под заду ероплан не ушел... Ах-ах! Заелозили немцы, суета, стрелять нельзя, потому в своего императора попадешь... А он на веревке, как стерлядь, повис, ветром чуть вбок отнесло, шинель парусом вздуло. До-бы-ча!

Взнеслись мы за облака, летчик назад направление держит, в наш штаб армии. Я, значит, полегоньку Вильгельма подтянул, портянки ему фланелевые на бечевке спустил: подложите, мол, под мышки, ваше величество, а то веревка натрет, неудобно вам! А он вверх покосился и меня русским словом по-немецки обложил. Ругайся! Это ничего — облегчает! Подвел я под него трапецию: пусть отдохнет, посидит, хрен с ним, а то не смяк бы совсем, тогда и все дело мое к лешему. Бульону ему французского спустил на шнурке. Пусть питается — тоже ведь вроде человека. Поручик мой обернулся:

смеется, черт, — как не радоваться! Такую вещь удрали...

Глянул я вниз. Вижу — Вильгельм изловчился, мундир расстегнул, защитного цвета бумажником нам помахивает, знаки подает, по-своему лопочет.

«Ваше благородие, чего ему надоть? Я ихнего длинного разговору не понимаю».

Прислушался мой летчик — вижу, насупился, покраснел.

«Он, стерва, нам два миллиона жертвует, чтобы мы на немецкую сторону его свезли да к нему бы на службу перешли». — «Ах он, гад усатый! Да я ему сам три дам. Чтоб русский человек свою родину продал — сроду этого не бывало...»

Втянул наверх бутылочку с бульоном. Коли так, сиди голодный, разговор с тобой в штабе будет.

\* \* \*

Подлетаем, стало быть, к штабу. А уж там усмотрели, кто на трапедии сидит. Солдатня выстроилась. Музыка гремит... Слушай на караул! Только мы земли коснулись, подхватили нас, ероплан на руках несут... Егору Пафнутьеву! Ур-р-ра!

Сам командующий с коня слез, в губы меня чмокнул, с себя офицерский Георгий снял — да мне на грудь. Хоть и не по уставу — да уж подвиг больно выдающийся.

Первым делом я докладываю: «Ваше высокопревосходительство, дозвоьте с Вильгельмом короткий разговор иметь». — «Говори. Ты его добыл, твой и разговор первый». — «Ваше величество, кряхти не кряхти, дело кончать надо. Сейчас посылай своим телефонограмму: «Долой войну, замирение полное». Обмен пленными немедленно. Насчет контрибуции тебе в ставке полный счет напишут, будешь доволен».

Что же ему делать? Рванул ус, сел на барабан приказ писать. Слезы из-под каски так бисером и текут. А из Ставки звонок: «По высочайшему повелению Пафнутьева Егора через все ступени в полные генералы произвести, земель наделить по десятине за версту, сколько

он туда летал и обратно, и сверх того золотом два под-сумка с верхом насыпать». Ловко!

Только отзвонили, по беспроводному телефону депеша: французский президент шлет на выбор Егору Пафнутьеву портреты двенадцати красавиц. Очень за него замуж желают, потому он и свою страну вызволил, и их отечеству помог, и сам Наполеон перед ним все равно как младший унтер-офицер. Спрашивают только, какой из себя Пафнутьев, насчет цвета волос и протчего.

Ну я, конечно, против своей нации не пошел: вежливо отвечаю, что, мол, красавиц благодарю и в презент им по серебряному самовару посылаю, а насчет волос не их дело — у меня своя русская обрученная невеста есть, деревни Васькино Боровичского уезда Новгородской губернии, Авдотья Спиридоновна Мякишева. С тем и отъехали.

Нарядился я, стало быть, в полный генеральский парад, распоряжение дал, чтоб солдат по домам распустили... Подали автомобиль в восемь самолучших лошадиных сил, тебя, друга моего закадычного, впереди с шофером посадил... и покатили мы, брат, в свой уезд... Ух ты!..

— Все?

Федор Иванович, бородатый коренастый дядя, больше похожий на степенного лешего, чем на армейского пехотного рядового, кончил свое художество: на холщовом исподе фуражки чернильным карандашом вывел полк, роту, имя-фамилию, а под ними две винтовки накрест, на манер знака «за отличную стрельбу». Надел фуражку на ухо и хлопнул заскорузлой ладонью по траве.

— Ну и шут ты, Пафнутьев, даром что ефрейтор! Голова у тебя генерального штаба, а мозги телячьи... Да рази ротный твой с тобой на ухо шептаться будет? Сейчас тебе руки за спину и на испытание на распределительный пункт с фельдшером: проверить, мол, Егора Пафнутьева, точно ли он человек психический, либо так — от фронта отлынивает.

А ежели бы сдуру тебя ротный до дежурного генера-

ла допустил и генерал бы твоей брехне поверил, ни шиша бы у тебя, милый друг, не вышло. Стал бы ты на ероплане со своим поручиком над Вильгельмом кружить, со всех сторон караульные чепелины, отколь ни возьмишь, ероплан твой под микитки и ау, нет больше Егора Пафнутьева!

И уж, если точно такое твое дурацкое счастье, ты б его, Вильгельма, за хлястик либо под мышку зацепил, он сейчас шашку вон, по веревке цокнул — а ему б снизу брезент растянули, чтоб невредимо спустился, как пух на репейник. И вдогонку тебе вкатили бы полную порцию... как в галку! Ты что ж, полагаешь, что они с места по подвижной цели палить не умеют?..

Доставай, ваше превосходительство, котелок... Вишь, земляки на обед бегут. А то с твоим автомобилем, да с имением, да с французскими красавицами — и без борща останешься.

1925—1928

## СЫРНАЯ ПАСХА

(Рассказ эмигранта)

О войны жили мы с женой на Крестовском. Тот же Петербург, но знакомые, перебравшись к нам весной через Горбатый мост по конке откуда-нибудь с Гороховой, все, бывало, удивлялись. Черемуха у нас в саду цвела — прямо не дерево, а Монна Ванна. Райская яблоня бледным румянцем разгоралась... Речка своя была против дачи градоначальника, Крестовка. Пристань, лодчонка. Наберешь знакомых и повезешь их лимонную водку пить под Елагин мост. Вверху копыта гудят, а внизу мы сидим, покачиваемся и закусываем. Соловьи в кустах аккомпанируют. Где уж мне — только Фету впору описать...

Помню, бывало, Пасха поздняя и теплая выпадет, предпасхальные дни один другого краше пойдут. А в доме — флигелек у нас белый в саду стоял — битва русских с кабардинцами! Чухонка Дарья с дворником ковры волокут, друг на друга огрызаются, стулья все вверх нож-

ками на столах, портрет Достоевского на кровати, халат — сам Шерлок Холмс не сыщется.

Придешь из банка, живому человеку посмотреть на живое любопытно: жена с Дарьей замазку с двойных рам сдирают, кислоту и вату с гарусом прочь уносят, суконка по стеклам, как канарейка, заливается. Под ватой песок набрякший. Поколупаешь, потрогаешь пальцем — надо же хоть раз в году развлечься. У ног кот, Брандмайором прозывался, выгибается. Тоже ему удовольствие: на свидания теперь не через кухню будет бегать, а прямо из окна в сад. В старой оранжерее у него по вечерам целый гарем собирался...

Жена, конечно, меня за дверь, сердится, словно я всю ее стратегию нарушил:

— Брось, Васюк! Что ты как семилетний... Только мешаешь. Возьми «Речь», поди в сад почитай...

И уйдешь. Хоть эту «Речь» я уж в банке два раза насквозь прочитал, читаю в третий. А то подложишь ее под себя на сырую скамью и на скворешницу смотришь: «Прилетели, милые!» Брандмайор о плечо трется, тоже на скворцов любитесь. Я, так сказать, бескорыстно, а он гастрономическую лирику разводит, урчит.

\* \* \*

О самом главном толком и вспомнить не могу. Потому к этому делу меня и на пушечный выстрел не подпустили...

В кухонной лаборатории жена с Дарьей засядут. Толкут, цедят, месят, лучше и носу не показывай. Иной раз изловчишься, изюму немного стянешь, миндаля. Пожевать ведь сладкого хочется.

Жена сейчас на дыбы:

— Ты что, чучело, жуешь? Покажи, покажи карман! Да уходи ты отсюда, Бога ради. Нечего за кулисы зря соваться. Потерпеть не может, мальчик какой... Возьми свою «Речь» и ступай в сад.

Добрый ведь человек, росту маленького, уютного, глаза — васильки, а как она меня этой «Речью» допекала...

И уж действительно! Вернешься домой с компанией

после пасхальной заутрени, посмотришь на стол — голландский пейзаж. Куличи не какие-нибудь кособокие, с головой набекрень, а крепкие, ровные, белой глазурью отливают, пестрым сахарным бисером посыпаны. Барашек с флажками кротко копытце вперед вынес... Анемоны, гиацинты вокруг бутылок цветут — не нарадуешься. И пирамидками — сырны пасхи, заварные, цукатные, — неизбывная гордость моей жены... Не еда, а романс Чайковского, переложенный на сахарно-творожную музыку нежными и милыми женскими руками.

Не тревоугодник я, что зря на себя клепать, но скажу по совести: что краше весеннего пасхального стола? Завтрак, обед, ужин — ежедневная, так сказать, повинность. Хлеб наш насущный, и больше ничего. Перлового супа хлебнешь, отодвинешь, в зразах поковыряешь. Ну кисель еще туда-сюда, люблю. А пасхальное пиршество — можно ли сравнить? Краски, благоухание, архитектура... В вымытом окне облака, словно взбитые сливки, проплывают, банка точно и не бывало... Люди все такие кроткие, который скотина — и тот себя сдерживает, улыбка с утра до вечера во все лицо, и стол весь день накрыт... Полюбиешься, походишь, побурчишь, яичко, которое неровно окрашено, облупишь, рюмку шутовского «Спотыкача» опростаешь и медленно сырной пасхой закусишь.

В эмиграции какая уж жизнь. Ни двойных рам, ни белого флигеля, ни речки Крестовки...

Подходила Пасха. Надо же чем-нибудь эмигрантские будни подцветить, подобие праздника наладить. Работаем мы с женой, как битюги. Франков сто у нас в сгораемой карельской шкатулке накопилось, думаю, хватит.

Говорю жене:

— Как ты, Леночка, полагаешь? Шел я сегодня мимо русской лавки «Малиновый звон», видел в окне плакат: «Принимаются заказы на сырны пасхи, куличи и прочее...» Ты ж сырную пасху обожаешь, не заказать ли?

Как вскинулась моя Елена:

— Ты что ж, Васюк, совсем опустился? Совесть потерял?.. Чтоб я в колониальном вертепе сырную пасху покупала?! Да они вместо творогу известку кладут, на

кошачьем молоке замешивают... С ума сошел! Нет, милый, у меня уже все предусмотрено.

Женщина — ничего не поделаешь. Уж если на ее сокровенную романтику грубым сапогом наступишь, душу словами проточит, а не сдастся. Посмотрела на меня глазами раненого оленя и укоризненно отвернулась.

Стыдно мне стало:

— Хорошо, Леночка. Что у тебя там предусмотрено?

— Видишь ли, я по своим белошвейным заказам бегаю, устаю, годы не те, да и работы прерывать не могу. Ну, а у тебя занятие периодическое... (Я, видите ли, на аукционы в зал Друо бегаю, бронзу Людовика Девятнадцатого для перепродажи покупаю.) Вот, — говорит, — тебе список. Закупи что надо. Я тебе полный рецепт дам. Время такое: женщины должны все мужское уметь, мужчины — все женское.

Пошел покупать. Обороты французские все на бумажке выписал.

И сколько для этой сырной пасхи требуется, целая энциклопедия! Сухой творог, сливочное масло лучшее, яйца «из-под кур», густые сливки лучшие, цукаты, миндаль сладкий, ром лучший, ваниль лучшая, сахар в пудре... Кажется, все. Да еще форму добывал по всему Парижу, наконец в русской книжной лавке, на рю Винэз, по случаю купил.

\* \* \*

Сливочное масло, оказывается, нужно в умывальном тазу до белого каления растирать. Пестик? Искал, искал, нашел в хозяйском чулане старую детскую кеглю — сойдет. Записку развернул, сел за работу.

Первое. Снял пиджак. Два часа творог сквозь решето протирал... Жилет насквозь измазал — спрошу в русской аптеке, чем творог выводят.

Второе. Снял жилет. Масло по умывальному тазу бегает, а я за ним с кеглей. Целый час бегал, всю краску с кегли в масло стер... Сойдет! Дышу, как грузовик. Сорочка в масле, глаза, как у загнанного кабана.

Третье. Снял рубашку. Полтора часа месил творог с

желтками и сахарной пудрой. Рекомендовал бы это занятие для английских каторжных тюрем!

Четвертое. Снимать с себя больше нечего... Смешал творожную слякоть с маслом и сливками. Опять месил! Перемешивал!.. Кто этот рецепт выдумал, дай ему Бог, чтобы его на том свете так месили...

Вымачивал цукаты в роме и для поддержания сил ром выпил. Не алкоголики же они, эти самые цукаты. Полежали минуту и будет!

Словом, что рассказывать... Сырная пасха вышла такая, что хоть пальчики оближи. Я их действительно и облизал, когда к вечеру работу кончил.

Жена пришла, попробовала и в лоб меня поцеловала:

— Видишь, Васенька! Вот ты мужчина, а с женским делом отлично справился. Не так уж легко женщиной быть, как ты полагал...

Форму вымыла. Стряпню мою в нее выложила, пирамиду перевернула острием в кастрюлю, а сверху на дощечку полный комплект «Архива русской революции» для тяжести положила.

Одно мне только обидно: приходили знакомые — ели, консьержке кусок дали — ела, родственникам послали — ели. И все хвалили жену... Да как хвалили! Такого успеха, думаю, и Шалапин никогда не имел. А она все похвалы и восторги с сияющим лицом принимала и хоть бы словом обо мне обмолвилась!.. Справедливо ли это?

Вот подите ж. Двадцать пять лет с женщиной живешь и только на склоне дней по такому, можно сказать, мизерному поводу узнаешь, до чего ее авторское самолюбие заело...

1925

## ГРЕЧЕСКИЙ САМОДУР

Прошлой весной Александр Александрович Яблонский раскрыл как-то свой заветный ящик. Я с любопытством заглянул внутрь: щипцы, зажимы, алюминиевые коробочки, свинцовые пластинки.

— Набор для печатания английских фунтов? — подумал я и прикусил язык. Совсем как будто у Александра Александровича характер для такого занятия неподходящий.

Александр Александрович поднял глаза, паскудную мою мысль перехватил и сурово отрезал:

— Рыболовные принадлежности.

Но кроткое мое раскаяние вида, смягчился и все свои алюминиевые коробочки раскрыл.

— Вот это крючки на кефаль, это на щуку, это на... камбалу.

Крючков с тысячу разложил, в глазах блеск мягкий, будто альбом лимитрофных марок показывает.

До чего, думаю, рыбы интеллигентные стали. Каждая в мутной воде свой крючок находит и сама на себя научным способом руки накладывает.

— А это что за обручальные кольца?

— Это, сударь, чтобы на удилицах суставчики закреплять. Хирургическим шелком их обматывают, а сквозь кольца леску пропускают.

— Зачем?

— Чтоб рыб подтягивать... Другая дура нервничает. Во все стороны дергается, как барыня в чарльстоне. Так вот, чтобы удилица не обломала, и подтягиваешь ее аккуратноенько на вертушке сквозь кольца. Пока душу из нее не вымотаешь.

И глаза у него такие зеленые стали, как... у Торквемады. Слава тебе, Господи, думаю, что я все-таки не рыба, а писатель.

— Вот, — говорит, — друг мой. Едете вы к Средиземному морю. В море вода, а в воде рыба. Человек вы молодой, симпатичный. Чем летом зря флиртом-спиртом заниматься, приспособили бы себя лучше к рыбной ловле. Сядете себе на утес, под себя против ишиаса «Последние новости» подложите...

— Почему же не «Возрождение»?

— Можно и «Возрождение». Ветерок продувает, чайки мячуют, рыбка клюет... прохожие завидуют. К вечеру у вас, глядишь, на бесплатный буйабес и наберется...

— Не умею я, Александр Александрович.

— Чего ж тут уметь? Не ежа брить. Я вам самоучитель французский подарю. Тут все есть: от кита до устрицы. Полное заочное руководство. Мул и тот поймет.

Намек довольно странный.

— Спасибо. Но как же я сам рыбу с крючка снимать буду?

— А вам повивальная бабка нужна?

— Да нет же. Рыба, скажем, заглотает крючок до самой диафрагмы... Не Малюта же я Скуратов, чтоб живую тварь тиранить. Морфий ей впрыскивать, что ли?

— Глупости. Без морфия обойдется. Вот вам инструмент. За милую душу любой крючок вытащит.

И подал мне нечто вроде астролябии для лилипутов.

— Откройте рот. Предположим, что вы белуга... Я беру самый большой крючок и сейчас вам продемонстрирую.

Однако я уклонился. Потому что у Александра Александровича глаза совсем светло-зеленые стали.

— Впрочем, постойте... Есть у меня одна золотая снасть. Так рыба сама на нее и лезет. Когда мы в Грецию из Крыма попали, у одного лодочника видал. Но только он, бестия, из авторского самолюбия никому близко не показывал. Пришлось его накачать. Против русской зубровки какой же грек устоит?.. И пока он в латаргическо-зубровном сне под лодкой валялся, мы с прибора копию и сняли. Берите с Богом. Самодур называется.

Взял я в руки длинный кусок пробковой коры. На нем крючки с перышками. К концу струны свинцовая груша привязана. Вроде эоловой арфы. Ни наживки не надо, ни удилица. Знай разматывай за кормой струну да пальцем поддегивай, словно на цитре играешь. Свинцовая груша вертится-вертится, вальсирует. Перышки мигают, рыба в гипнозе, как одурелая, на крючки скачет... Словом — не снасть, а беспроволочный телеграф с ручкой.

Поблагодарил я сердечно. Теперь, думаю, до самой старости обеспечен. Самодур в карман положил, рыбий самоучитель с радости на камине забыл — и домой. Когда, думаю, последние издательства перелопаются, открою средиземный вегетарианский ресторан. — рыба

своя. Чего ж стесняться?.. А ресторан так и назову: «Греческий самодур». И в красном углу портрет Александра Александровича Яблоновского повешу в золотой рамке.

\* \* \*

Приехал я к Средиземному морю. В знакомом месте, у лафавьерского лукоморья, в хижине поселился. Хожу мимо камней, руки за спину заложив, наблюдаю. Знакомые русские дачники сидят, словно Будды, ноги поджавши, крючки на удочках в море полощут.

Раз! Полпорции червяка на крючке корчится, сардинка в воде смеется. Два! В таком же роде.

А то и похуже: крючок под камнем заест; снимай с себя ту часть туалета, которую греческие боги не носили, и лезь в воду отцеплять. А в воде либо на морского ежа наступишь, либо на свой же крючок напорешься, — сиди потом на берегу, задравши кочергой ногу, да палец зализывай... В лучшем случае часа за два пучок морской травы Бог пошлет. Пока на матрац наложишь — и лето пройдет.

Хожу я мимо, ухмыляюсь. Наконец не выдержал. Сел рядом и покровительственно по плечам их похлопал:

— Люди вы немолодые, симпатичные. Ветер вас продувает, чайки мячат, а толку на полсантима. Есть у меня золотая снасть — греческий самодур. В Греции у одного адмирала на ведро рома выменял. Завтра на рассвете выедем в лодке... Рыбой, можно сказать, по горло обложимся. Все окрестные коты внутренностями обожрут! Консервный завод откроем...

Знакомые мои и удить больше не стали... Видят, что оптовик пришел. И зрачки у меня тоже, должно быть, зеленые, как у Торквемады, стали. Сразу видно, что человек с высшим рыбьим образованием.

На заре выехали. Земляки на веслах. Я на корме с самодуром. Крючков двадцать с перышками, — это ж полморья выловить можно. Три больших ведра взяли, чтоб добычу было в чем нести...

Море вокруг лиловенькое, — пальцы полощешь, будто и не пальцы в воде, а фиалки с ногтями. Рыбкой вокруг так и попахивает. Чайки над нами спиралью вьются, стонут. Неприятно им, конечно: всю рыбу выловим, им-то что есть?

Размотал я струну широкой рукой. Закрутились перышки, струна вглубь натянулась, грузило в палец, как пульс отдает.

Минут пять подергал, думаю — все крючки полны. Господи, благослови. Подтянул. Гребцы рты раскрыли...

Однако... Закрыть пришлось. Рыба средиземная, должно быть, сразу к самодуру не привыкла. Или туше у меня слишком для них резкое? Однако я не смутился. Не богини горшки обжигают...

Второй раз забросил. И третий... И шестой... Гребцы мои профили в разные стороны отворотили. Может, смеются, а может, вода под кормой булькает. Н-да-с!..

Не в рыбе, конечно, дело. Рыба дрянь, в кооперативе хоть вагон купить можно, но репутации своей жалко...

Человек немолодой, симпатичный, непьющий, и вдруг в такую рыбью калошу сесть... Да еще самому и свидетелей пригласить!

Они же меня, чудачки, и утешать вздумали:

— А может, на ваш самодур только в лунную ночь русалки ловятся? Вазелином, может, крючки бы натереть? Морская рыба вазелин любит. В «Одиссее», — говорят, — нет ли чего про греческий самодур? Древние греки народ дошлый. Может, сначала рыбу в сеть поймать надо, а потом на самодурные крючки по одной насаживать?

Свернул я свою снасть. Желчь под ложечкой так пузырями и вскипает. Опустим меня тогда в море, вода бы кругом на сажень пожелтела... Молчу, как камбала. И только в душе (согрешил, признаться) милому Александру Александровичу по беспроводному телеграфу лирический привет послал.

Рыба, что ли, у греческого архипелага сплошная дурра? Либо греки рыбье слово знают, заговорное?

\* \* \*

И только к вечеру, при фонаре, сокрушенно укладывая проклятый самодур в коробку, понял я, кажется, что калоша моя оказалась глубже, чем я предполагал: на каждом крючке, чтоб в смотанном виде пальцев не наколоть, насажен был бузиновый шарик.

А я, значит, так с шариками в воду всю снасть и бухнул...

Александр Александрович Яблоновский, конечно, не догадался, что новобранцу-солдату надо объяснять: когда саблей рубишь, нужно предварительно саблю из ножен вытаскивать.

\* \* \*

Впрочем, Александра Александровича я все-таки огорчить должен. Для реабилитации своей должен сознаться, что я потом раз пять забрасывал самодур — без шариков. По всем правилам высшей рыболовной науки.

Много ли наловил?

Из тысячи вычтите девятьсот, да еще девяносто девять, да еще единицу. Вот столько я и наловил.

1928

## ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА

**З**олотая Анна Александровна!

Известный Вам Павел Николаевич Кузовков узнал, что Вы в Париже, и умоляет написать Вам. Сам не может. Сидит у меня на сундуке, нюхает валерьяновую пробку и плачет. Слезы падают на хозяйский ковер — и я в отчаянии...

Чудак, видите ли, завел белку. Жениться эмигрантам берлинские хозяйки не разрешают, но к животным они снисходительны. Причем белка обходилась Кузовкову только в 15 золотых пфеннигов в сутки. Разве на эти деньги жену прокормишь?

Позавчера утром, пользуясь последними осенними ясными днями, белка, нарушив предписанные квар-

тирные условия, вылезла из клетки, отгрызла у гипсового Гинденбурга нос и выскочила за окно.

Оттуда по карнизу жизнерадостным курцгалопом понеслась к соседнему балкону и прыгнула на дремавшую в качалке 70-летнюю фрау Шмальц. Слыхали Вы когда-нибудь, как визжат старые немки? Уличное движение сразу остановилось... Старухина наколка полетела вниз, а под наколкой — как у голой крысы. Можете себе представить удивление смотревших сверху жильцов?

А белка — хвост трубой, опрокинула вазон с душистым старушкиным горошком, шмыгнула в угловое окно и, приняв отдохавшего на перине коммерции советника Баумгольца за дубовую колоду, начала танцевать на его животе лесные танцы.

Баумголец проснулся и решил, что он сошел с ума. Но потом одумался, бросил в проклятую белку пивной кружкой и со страха наступил пяткой на слетевшее на пол золотое пенсне... Вы понимаете, чем это пахнет?

Пенсне крякнуло... Белка укусила советника за третью складку на затылке и, разбив по дороге портрет с полным комплектом семейства Вильгельма, понеслась собачьей рысью обратно к Кузовкову.

Теперь представьте себе... Мальчишки под окном визжат: «Русский! Русский! Ферфлюхтер русский!» Торговки потрясают жестянками с порошком для чистки медной посуды и орут басом: «Позор! Позор! Он держит диких зверей!..» И вдобавок идиот сосед, приняв, очевидно, мчавшуюся по карнизу рыжую белку за развевающееся пламя, вызвал пожарную команду...

На заднем плане старуха лежит в обмороке на своем балконе. Пожарные растирают ей виски. Снаружи Баумголец лупит кружкой в дверь. В спальне хозяйка Кузовкова размахивает перед его носом безносый Гинденбург. На кухне шуцман расстегнул пояс и, пососав карандаш, составляет протокол. А белка как ни в чем не бывало забилась в клетку и катает каштан...

Результаты? Шуцман увез белку в карете «Скорой помощи» в какой-то собачий крематорий для уничтожения. Угловой провизор с бельмом, который не любит русских, клянется, что белка была бешеная, и подсчи-

тал уже все убытки Баумгольца, если советник взбесится. Вы понимаете, чем это пахнет?!

Хозяйка требует за нос Гинденбурга 10 золотых марок, за поругание квартирной чести 28 марок и за порванную белкой плюшевую фамильную портьеру 34 марки (хотя портьера была порвана еще в прошлом году хозяйкиным пьяным «шацем» — по-вашему «ами»).

У лавочника напротив украли во время суматохи окорок довоенной заготовки. Жена его кричала на всю улицу, что раньше немцы были все честные, что это эмигранты их развратили и что если бы не эмигранты, то не было бы и войны...

Старуху, если выживет, Кузовкову придется взять на пожизненную пенсию — после случая с белкой она трясет головой и никак не может остановиться. Если не выживет — Вы представить себе не можете, золотая Анна Александровна, до чего вздорожали в Берлине надгробные камни и прочие предметы первой необходимости!

С Баумгольцем еще ужаснее! Коммерции советник о деньгах и слышать не хочет и говорит, что дело не в затылке, и не в разбитой кружке, и даже не в семействе Вильгельма, а в наглom засилии эмигрантов, благодаря которым пиво вздорожало на 10 золотых пфеннигов литр. Меньше 85 марок отступного он не возьмет.

В общем, если Кузовков продаст свою лавочку с радиоаппаратами и патентованными несгибающимися подтяжками, то только-только ликвидирует эту гнусную историю. С квартиры гонят. Строящиеся дома разобраны вперед на 125 лет. И вдобавок он, кажется, попадет в категорию нежелательных иностранцев, возбуждающих одну часть населения против другой (1001 статья), и будет выслан из Германии.

Бедняга до того подавлен, что сегодня утром, принав осеннюю муху на стене за гвоздик, повесил на нее свои последние золотые часы. Часы, конечно, разбились. А в ресторане, когда хозяин подошел к нему с обычным приветствием «мальцайт», несчастный побледнел и стал извиняться, что он совсем не Мальцайт, а Кузовков...

Что делать? Ради бога напишите, что в Париже. Один Кузовков на прирост парижского населения в два с половиной миллиона человек не повлияет, а здесь он меня замучит.

И хозяйка моя уже косится: потому что он нервничает, ходит по ее ковру, три раза уже садился на ее кресло, на которое даже я не сажусь, и что ужаснее всего — положил окурочек в ее фамильную пепельницу.

Вот сейчас я пишу, а она через замочную скважину смотрит и счет составляет.

Кузовков клянется, что больше белок заводить не будет. Знает древнегреческий язык и украинский. Умеет разбирать пишущие машинки и, если нужно, научиться и собирать...

Узнал, что Вы в Париже, и умоляет написать Вам, зная Ваше доброе сердце и прочее. В противном случае угрожает открыть у меня в комнате газ... А Вы знаете, чем это пахнет?!

Попадать из-за этого осла в нежелательные иностранцы я, слава Богу, еще не намерен!

Хотели мы, кроме Вас, обратиться к Лиге наций. Но практикующий здесь харьковский нотариус Мурло взял за совет 15 золотых марок и отсоветовал.

Целую Вашу гуманную мраморную ручку и с трепетом ожидаю ответа.

*Иван Лось.*

P. S. Полотерное депо, в котором я работал, лопнуло, потом немножко возродилось, потом окончательно лопнуло и открыло здесь ресторан под названием «Аскольдова могила». Но я не растерялся и затеял свое самостоятельное дело: контору по перепродаже в лимитрофы щетины из берлинских парикмахерских. Заказов еще нет, но у Кузовкова в Нарве большие связи, а ведь в коммерческом деле это самое главное.

## КОРОЛЕВА — ЗОЛОТЫЕ ПЯТКИ

**В**старовенгерском королевстве

жил король, старик седой, три зуба, да и те шатаются. Жена у него была молодая, собой крымское яблочко, румянец насквозь так себя и оказывает. Пройдет по дворцу, взглянет — солдаты на страже аж покачиваются.

Король все Богу молился, альбо в бане сидел, барсуковым салом крестец ему для полировки крови дежурные девушки терли. Пиров не давал, на охоту не ездил. Королеву раз в сутки в белый лоб поцелует, рукой махнет да и прочь пойдет. Короче сказать, никакого королеве удовольствия не было. Одно только оставалось — сладко попить-поесть. Паек ей шел королевский, полный, что хошь, то и заказывай. Хоть три куска сахару в чай клади, отказу нет.

Надумала королева как-то гурьевской кашки перед сном поесть. Русский посол ей в день ангела полный рецепт предоставил: мед да мигдаль, да манной каши на сливках, да изюму с цукатцем чайную чашечку верхом. До того вкусно, что повар на королевской кухне, пробывавши, наполовину приел. И горничная, по коридору несши, немало хватила. Однако и королеве осталось.

Ест она тихо-мирно в терему своем, в опочивальне, по-венгерски сказать — в салоне. Сверчок за голландкой пощыкивает, лунный блин в резное оконце глядит. На стене вышитый плат: прекрасная Гобелена ножки моет, сама на себя любится.

Глядь-поглядь, вырос перед королевой дымный старичок, личность паутиной обросла, вроде полкового ка-

пельмейстера. Глазки с бело-голубым мерцанием, ножки шуплые в валенках пестрых, ростом, как левофланговый в шестнадцатой роте, — еле носом до стола дотягивает. Королева ничего, не испугалась.

— Кто ты такой, старичок? Как так сквозь стражу продрались и что вам от моего королевского величества надобно?

А старичок только носом, как пес на морозе, потягивает:

— Ну и запах... Знаменито пахнет.

Топнула королева по хрустальному паркету венгерским каблучком.

— Ежели ты на мой королевский вопрос ответа не даешь, изволь тотчас выйти вон!

И к звонку-сонетке королевскую муаровую ручку протянула.

Тем часом старичок звонок отвел, ножку дерзко отставил и говорит:

— Что так сразу и вон? Я существо нужное, и выгнать меня никак нельзя. Я, матушка, домовой, могу тебе впалую грудь сделать либо, скажем, глаз скосить — родная мать не узнает...

— Ах, ах!

— Вот тебе и ах... Могу и доброе что сделать: королю дней прибавить, альбо тебе волос выбелить, с королем посравнять. Дай, матушка, кашки, за мной не пропадет...

Зло взяло королеву.

— Ты, швабра с ручкой! Нашел чем прельщать... Не про тебя каша варена! Ступай на помойку, с опаленной курицы перья обсоси.

Домовой зубом скрипнул, смолчал и сиганул за портьеру, как мышь в подполье, в сонную ночь.

Наглоталась королева кашки, расстегнула аграмантовые пуговицы, чтобы шов не треснул, ежели вздохнет. Хлопнула в белые ладоши. Постельные девушки свое дело знают: через ручки-ножки гардероб ейный постянули, ночной гарнитур сквозь голову вздели. Стеганое соболье одеяльце с боков подоткнули, будто пташку в гнезде обьютили. «Спите с Богом, Ваше Королевское

Величество! Первый сон — глаза закрывает, второй сон — сердце пеленает...»

Ладно. Стала она изумрудные глазки заводить. Лампадка в углу двоится. Сверчок пощипывает. В животе кашка урчит-бурчит, по-ученому сказать, переваривается.

Тем часом дымный старичок из-за портьерки ухо приклонил: легкий королевский храп услышал. Он, рябой кот, только того и дожидался. На приступочку стал, на другую подтянулся, из-за пазухи кавказского серебря пузырек достал.

А тут королева как раз во сне приятную сладость увидела, всем своим женским составом потянулась, розовые пятки-пальчики из-под собольей покрывки обнаружила. Тут старичок и нацелился: вспрыснул пятки из флажечки, дунул сверху, чтобы волшебная смазь ровней растеклась. Тарелку из-под каши облизал наскоро — и ходу. Будто и на свете его не было.

Вздохнула королева в обе королевские груди, ручку к сердцу тяжело притулила, и обволокло ее каменным сном аж до самого полудня.

\* \* \*

Солнце в цветной оконнице павлиньим хвостом полыхает. Караул сменяется, стража у дверей прикладывает о пол гремит. Стрепенулась королева, правую щечку заспала — маком горит. Вскинула было легкие ножки, ан врешь, будто утюги железные к пяткам привинчены. Пульсы все бьются, суставы в коленках действуют — однако пятки ни с места. Заело. Села она кое-как, по стенке подтянулась, глянула под одеяльце, так руками и всплеснула: свет оттедова веером, червонным золотом прыщет. Красота, скажем, красотой, а шевеления никакого.

Прибежали на крик постельные девушки, стража у дверей на изготовку взяла — в кого стрелять, неизвестно. Старик король поспешает, халатной кистью пол метет, за ним кот любимый, муаровой масти, лапкой подрыгивает.

Вбежал король, сейчас распоряжение сделал:

— Почему такое? Кто, пес собачий, королеву золотом подковал? Чего стража смотрела? Всех распотрошу, разжалую, на скотный двор сошлю свиньям хвосты подмывать. Чичас королеву на резвые ноги поставить.

Туда-сюда, взяли королеву под теплые мышки, поставили на самаркандский ковер, а она, как клейстер разваренный, так книзу и оседает. Нипочем не устоять. Всунули ее девушки под одеяльце, сами в ногах встали, пальцами фартушки теребят.

— Мы, ваше величество, этому делу не причинны. Почему такая перемена — нам неизвестно.

Опять от короля распоряжение:

— Цыц, сороки! Позвать ко мне лекарей-фельдшрей. Да чтобы беглым маршем, не то я их сам так подлечу, лучше не надо.

Не успел приказать — гул-топот. В две шеренги построились, старший рапортует:

— Честь имеем явиться, ваше величество.

То да се пробовать стали. Свежепросольные пивявки от золотых пяток отваливаются, лекарский нож золота не берет, припарки не припаривают. Нет никаких средств. Короче сказать, послал их король, озлясь, туда, куда во время учебной стрельбы фельдфебель роту посылает. Приказал с дворцового довольствия снять: лечить не умеют, пусть перила грызут. Прогнал их с глаз долой, а сам с досады пошел в кабинетную комнату сам с собой на русском бильярде в пирамидку играть.

Той порой по всему королевству, по всем корчмам, постоялым дворам поползли слухи, разговоры, бабы наговоры, что, мол, такая история с королевой приключилась — вся кругом начисто золотом обросла, одни пятки мясные наружу торчат. Известно, не бывает поля без ржи, слухов без лжи. Сидел в одной такой корчме проходящий солдат 18-го пехотного Вологодского полка, первой роты барабанщик. Домой на побывку шел, приустал, каблуки посбил, в корчму зашел винцом поразвлечься.

Услыхал такое, думает: «Солдат в сказках всегда высоких особ вызволяет, большое награждение ему за то идет. А тут не сказка, случай сурьезный. Неужто я на

сам деле сдрейфлю, супротив лекарей способа не сыщу?»

Поднял его винный хмель винтом, на лавку поставил. Обтер солдат усы, гаркнул:

— Смирно, черти! Равнение на меня... О чем галдеж-то? Ведите меня сей секунд к коменданту: нам золото с любого места свести, что чирей снять. Фамилия Дундуков. Ведите!

Взяли солдата под теплые мышки, поволокли. А у него чем ближе к дворцу, тем грузнее сапоги передвигаются, в себя приходиться стал, струсил. Однако идет. Куда ж денешься?

Доставили его по команде до самого короля.

— Ты, солдат Дундуков, похвалялся?

— Был грех, ваше королевское величество!

— Можешь?

— Похвальба на лучиновых ножках. Постараюсь, что Бог даст!

— Смотри! Оправишь королеву, век свой будешь двойную говяжью порцию есть. Не потрафишь — разговор короткий. Ступай!

Солдат глазом не сморгнул, налево-кругом щелкнул. Ать-два. Все равно, погибать так с треском... Вытребовал себе обмундирование первого срока и подпрапорщицкие сапоги на ранту, чтобы к королеве не холуем являться. В бане яичным мыльцем помылся, волос дорожный сбрил. В опочивальню его свели, а уж вечер в окно хмурится.

Спит королева, умильно дышит. Вокруг постельные девушки стоят, руками подпершись, жалостливо на солдата смотрят. Понимают, вишь, что зря человек влип.

Ну, видит солдат, дело не так плохо. Вся королева в своем виде, одни пятки золотые... Зря в корчме набрехали. Повеселел. Всех девушек отослал, одну Дуню, самую из себя разлапушку, оставил.

— Что ж, Дуняш, как, по-вашему, такое случилось?

— Бог знает. Может, она переела? Кровь золотом свернулась, в ножки ей бросилась...

— Тэк-с. А что они вчера кушать изволили?

— Гурьевскую кашку. Вон тарелочка ихняя на столике стоит. Ободок бирюзовый.

Повертел солдат тарелочку — чисто. Быдто кот языком облизал. Не королева ж лизала.

— Кот тут прошедшую ночь околачивался?

— Что вы, солдатик! Кот королю заместо грелки, всегда с ним спит.

Посмотрел опять тарелочку: три волоска седых к ободку прилипли. Вещь не простая... Задумался и говорит Дуне:

— Принеси-ка с кухни полную миску гурьевской каши. Да рому трехгодовалого полуштоф нераспечатанный. Покамест все.

— Что ж вы, одну сладкую кашку кушать будете? Может, вам, кавалер, и мясного хочется? У нас все есть.

— Вот и выходит, Дуняш, что я ошибся. Думал я, что вы умница, а вы, между прочим, такие вопросы задаете. Может, кашу и не я кушать буду.

Закраснелась она. Слетала на кухню. Принесла кашу да рому. Солдат и говорит:

— А теперь уходите, красавица, я лечить буду.

— Как же я королеву одну-то оставлю. Король осерчает.

— Пусть тогда король сам и лечит. Ступай, Дуня. Уж я свое дело и один справлю.

Вздохнула она, ушла. В дверях обернулась: солдат на нее только глазами зыркнул. Бестия!

Спит королева. Умильно дышит. Ухнул солдат рому в кашу, ложку из-за голенища достал, помешал, на стол поставил. Сам сел в углу перед печкой по-киргизски да в трубу махорочный дым пускать стал. Нельзя же в таком деле без курева.

Ждет-пождет. Только двенадцать часов на башне отщелкало, топ-топ, выходит из-за портьеры дымный старичок, носом поверху тянет, к миске направление держит.

Солдат за печку — нет его, и шабаш.

Короче сказать, ест старичок, ест, аж давится, деревянную ложку по самый черенок в пасть запихивает, с ромом-то каша еще забористее. Под конец едва ложку

до рта доносить стал. Стрескал, стервец, все, да так на кожаном кресле и уснул, головой в миске, бороду седую со стола свесивши... Глянул солдат из-за печки: клюнуло. Ах ты, в рот тебе тыква!

Подобрался он к старичку, потрусил его за плечико — пьян, как штопор, ручки-ножки обвисли. Достал солдат из ранца шило да дратву и пришил крепко-накрепко домового к креслу кругом сквозь штаны двойным арестантским швом. Ни в одной швальне лучше не сделают.

Сам шинель у королевской кровати разостлал, рукой дух солдатский разгреб, чтобы королеве не мешало, и спать улегся, как в лагерной палатке.

Просыпается на заре: что за шум такой? Видит, натужился старичок, покраснел, рябой кот, возит кресло по хрустальному паркету, отодраться не в силах. А королева понять ничего не может, с постельки головку румяную свесила, то на старичка, то на солдата смотрит — смех ее разбирает.

— Не извольте, — говорит солдат, — сомневаться. Мы с ним коммерцию в два счета кончим. Эй, — говорит, — господин золотарь, грузовичок свой остановите, разговаривать спокойнее будет! Вот.

Старичок, конечно, шипит:

— Чем ты меня, пес, с оборточной стороны приклеил?

— Пришил, а не приклеил. Это, друг, покрепче будет. Ну, милый, белый день занимается, некогда с тобой хороходы водить. Умел золотить, умей и раззолачивать. Давай обратное средство, живо, не то так тут на кресле и иссохнешь.

Старик умный был, видит, что перышко ему под ребро воткнули. Достал из-за пазушки пузырек перламутровый, насупился и подает солдату:

— Подавись!

Однако и солдат не из последних обалдуев был — репертичку сделать решил.

— А ну-кась, давай сюда и первый золотильный состав.

Оконце приоткрыл, проходящую кошку из кровельного желоба выудил, снял сапог, сунул ее в голенище.

Золотильным составом капнул ей под хвост, так кругом золотой циферблат и обозначился. Капнул из перламутростой стекляночки, враз все сошло.

— Ишь ты... Чтoб тебе ежа против шерсти родить!

Чуть он, можно сказать, впрыскал, не пустился. Честно-благородно дратву вокруг стариковых штанов подрезал. Вскочил старичок, встряхнулся, как мокрая крыса, и нырнул за портьеру.

Подошел солдат к королевской постели, каблуки вместе, во фронт стал. Королева, конечно, запунцовилась, глазки прикрыла, неудобно ей: хоть он, солдат, заместо лекаря, а все ж мужчина. На пятки ему пальчиком показывает.

Капнул солдат на мизинный палец с исподу, сразу он порозовел, будто бутон с яблони райской. — тепло-той наливаются... С полпятки выправил, сердце стучит — нет мочи.

— Дозвольте, ваше королевское величество, передышку сделать, оправиться. Очень меня в жар бросило с непривычки.

На эти слова повела она ласково бровью. А бровь, словно колос пшеничный, прости Господи...

\* \* \*

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Короче сказать, родилось у королевы в положенный срок дите-королевич. Многие давно примечали, что к тому дело шло. Король спервоначалу руками развел, однако потом ничего — обрадовался.

Пирование было, какого, скажем, и в офицерском собрании не бывает. Пили-ели, аж порасстегнулись некоторые. Костей, пробок полную корзину понакидали. Солдат Дундуков на почетном месте, супротив короля сидел. В холе жил после королевиной поправки. Ароматами дворцовыми заведовал, должность ему такую придумали. Каждый день двойная говяжья порция ему шла, папироски курил, не соврать, шесть копеек десяток — «Пажеские». Раздуло его на сладких харчах, словно бугай племенной стал. Многие из служанок-девушек

интересовались, одна Дуня брови сдвигала, никогда на него и не взглянет.

В полпирование поманил комендант королевский Дундукова пальцем.

Вышли они в прохладительную комнату, комендант по сторонам глянул и громким шепотом говорит:

— Лиса курку скубет, лиса и ответ дает. Дело свое ты, Дундуков, своевременно справил, золотые пятки с королевы, как мозоль, свел. Награждение получил, бессрочный отпуск сполна выслужил. Однако, друг любезный, надо тебе чичас сундучок собирать, в путь-дорогу отправляться. Маршрут на все четыре стороны. Прогонные — коленом ниже спины из секретного фонда получишь. С Богом, друг! Обмундирование свое второго срока прихватить не забудь. Дезинфекция сделана.

Побагровел солдат, в холодный жар его бросило, однако спросить насмелился:

— Почему ж такое?

— Потому такое, что у королевича новорожденного пятно мышастое на правом ухе... Понял?

— Пятно я свести могу. Должно, опять домовой...

Сунул ему комендант бессловесно под самые усы светлое походное зеркальце: смотри, мол.

Что ж сытого потчевать? Глянул солдат на свое правое ухо, серьгой замотал.

— Так точно, — говорит, — понял.

Вышел он на королевский двор, сундучок на ремне через плечо перекинул.

— Эх ты... С пухом, с духом, нос на вздержках... Не хвастай, коноплястый, — будешь рябеный!

Дуня сверху в окне стоит, мимо смотрит.

Постельные девушки рты ладонями прикрывают, перемигиваются. Вздурлся волдырь да и лопнул!..

Помаршировал солдат по дороге, в сундучке пуговицы перекатываются. Думает: зря это я сразу две пятки свел. Надо было хоть с полпятки золотой оставить. Разговор бы другой был. А впротчем, что ж: может, еще кого подлечить придется, в другом королевстве.

## АНТИГНОЙ

Посылает полковой адъютант к первой роты командиру с вестовым записку. Так и так, столик у меня карточный дорогого дерева на именинах водкой залили. Пришлите Ивана Бородулина глянec навести.

Ротный приказание через фельдфебеля дал, адъютанту не откажешь. А Бородулину что ж: с лагеря от занятий почему не освободиться; работа легкая — своя, задушевная, да и адъютант не такой жмот, чтобы даром солдатским потом пользоваться.

Сидит это Бородулин на полу, лаком-сандаракoм ножки натирает, упарился весь, разогрелся, гимнастерку с себя на паркет бросил, рукава засучил. Солдат был из себя статный да крепкий, хоть патрет пиши: мускулы на плечах, руках под кожей чугунными желваками перекатываются, лицо тонкое, будто и не простой солдат, а чуть-чуть офицерских дрожжей прибавлено. Однако ж что зря хаять — родительница у него была старого закала, природная слободская мещанка, — в постный день мимо колбасной лавки не пройдет, не то чтобы что...

Перевел дух Бородулин, ладонью пот со лба вытер. Поднял глаза, барыня в дверях стоит — молодая, значит, вдова, у которой адъютант по сходной цене фатеру сымал. Из себя аккуратненькая, личико тоже — не отвернешься. Ужли адъютант у корявой жить станет...

— Упрели, солдатик?

Соскочил он на резвые ноги — гимнастерка на полу. Только он ее через голову стал напяливать, второпях в ворот руку вместо головы сунул, ан барыня его и при тормозила:

— Нет, нет. Гимнастерку не трожьте!

Обсмотрела его по всем швам, будто экзамен произвела, и за портьерку медовым голосом бросила:

— Чисто Антигной!.. Энтот мне как есть подходит.

И ушла. Только дух за ней сиреневый так дорожкой и завился.

Принахмурился солдат. На кой ляд он ей подходит? Экое слово при белом свете лягнула... С жиру они, барыни, перила грызут, да не на такого напала.

Справил Бородулин работу, снасть свою в узелок связал, через вестового доложил.

Вышел адъютант самолично. Глаз прищурил: блещит столик, будто его корова мокрым языком облизала.

— Ловко, — говорит, — насандалил, молодец, Бородулин!

— Рад стараться, ваше скородие. Только извольте приказать, чтобы до завтрава окон не отпирали, пока лак не окреп. А то майская пыль налетит, столик затомится... Работа деликатная. Разрешите иттить?

Наградил его адъютант как следовало, а сам ухмыляется.

— Нет, братец, постой. Одну работу справил, другая прилипла. Барыне ты очень понравился, барыня лепить тебя хочет, понял?

— Никак нет. Сумнительно чтой-то...

А сам думает, что ж меня лепить-то? Чай уж вылеплен...

— Ну, ладно. Не понял, так барыня тебе разъяснение даст.

И с тем фуражку на лоб и в сени проследовал.

Только, стало быть, солдат за гимнастерку — портьерка — взык! — будто ветром ее вбок отнесло. Стоит барыня, пуховую ладонь к косяку прислонила и опять за свое:

— Нет, нет! Взойдите, как есть, в натуральном виде. Вас как зовут-то, солдатик?

— Иван Бородулин! — ответ дал, а сам, будто медведь на мельничное колесо, вбок устоялся.

Зовет она его, значит, в свой покой на близкую дистанцию. Адъютант приказал, не упрешься.

— Вот, — говорит барыня, — обсмотрите. Все кругом, как есть, моей работы.

Мать честная! Как глянул он, аж в глазах забелело: полна горница голых мужиков, кто без ног, кто без головы... А промеж них бабы алебастровые. Которая лежит, которая стоит... Платья-белья и звания не видать, а лица, между прочим, строгие.

Барыня тут полное пояснение сделала:

— Вот вы, Бородулин, по красному дереву мастер, а я из глины леплю. Только и разница. Ваша, например, политура, а моя — скульптура... В городе монументы, скажем, понаставлены, те же самые идолы, только в окончательном виде...

Видит солдат, что барыня не военная, мягкая, — он ей поперек и режет:

— Как, сударыня, возможно? На монументах ерои в полной парадной форме на конях шашками машут, а энти, без роду-племени, ни к чему. Разве таких голых чертей в город выкатаешь?

Она, ничего, не обижается. В кружевной платочек зубки поскалила и отвечает:

— Ан вот и ошиблись. В Питере не бывали? То-то и оно. А там в Летнем саду беспорточных энтих сколько угодно. Который бог по морской части, которая богиня бесплодородием заведует. Вы солдат грамотный, следует вам знать.

«Ишь заливает! — думает солдат. — Чай, там в столичном саду мамки княжеских ребят нянчат, начальство гуляет — как же возможно погань такую меж деревьев ставить?..»

Достает она из рундучка белую мохнатую простыню, край кумачовой лентой обшит, подает солдату.

— Вот вам заместо крымской епанчи. Рубаху нательную сымайте, мне она без надобности.

Ошалел Бородулин, стоит столбом, рука к вороту не подымается.

Ан барыня упрямая, солдатского конфуза не принимает:

— Ну что ж вы, солдатик? Мне ж только до пояса — подумаешь, одуванчик какой монастырский... Простыньку на правое плечо накиньте, левое у Антигноя завсегда в натуральном виде.

Не успел он опомниться, барыня простыню на плече лошадиной бляхой скрепила, посадила его на высокий табурет, винт подвинтила... Вознесся солдат, будто кот на тумбе, — глазами лупает, кипяток к вискам приливает. Дерево прямое, да яблочко кислое...

Взяла она солдата на прицел из всех углов.

— В самый раз! Вот только стригут вас, солдат, низ-

ко — мышь зубом не схватит. Антигною беспрерывно кудерьки полагаются... Мне для полной фантазии за- всегда с первого удара модель во всей форме видеть на- до. Ну, этой беде пособить нетрудно...

В рундучок снова нырнула, паричок ангельской масти вынула и на Бородулина его так круглым венчи- ком и скинула. Сверху обручем медным притиснула — то ли для прочности, то ли для красоты.

Глянула она с трех шагов в кулачок:

— Ох, до чего натурально! Известкой бы вас побе- лить да в замороженном виде на постамент поста- вить — и лепить не надо...

Посмотрел и Бородулин в зеркало, что наискось в простенке около козлоногого мужика висело... Будто черт его за губу дернул.

Ишь срамота... Мамка не мамка, банщик не бан- щик — то есть до того барыня солдата расфасонила, что хочь в балаганах показывай. Слава тебе, Господи, что окно высоко: окромя кошки, никто с улицы не увидит.

А молодая вдова в раж вошла. Глину вокруг станка вертит, туловище в сырмятном виде на скорую руку обшлепала, вместо головы колобок мятый посадила. Вертит, пыхтит, на Бородулина и не взглянет. Сперво- началу она, вишь, до тонких тонкостей не доходила, абы глину кое-как обломать.

Потеет солдат. И сплюнуть хочется, и покурить охо- та смертная, а в зеркале плечо да полгруды, как на лот- ке, корнем торчат, вверху рыжим барашком пакля рас- плывается, — так бы из-под себя табурет выдернул да себя по морде в зеркале и шваркнул... Нипочем нельзя: барыня хочь и не военная, однако обидится, через адъ- ютанта так ушибет, что и не отдышишься. Упрела, од- нако ж, и она. Ручки об фартук вытерла, на Бородулина смотрит, усмежается.

— Сомлели? А вот мы передышку чичас и сделаем. Желательно походить — походите, а то и так в вольной позиции посидите.

Чего ж ему ходить в балахоне-то энтот с обручем? Запахнул он плечо, слюнку проглотил и спрашивает:

— А из каких он, Антигной энтот, будет? В богах ба-

сурманских числился либо на какой штатской должности?

— При крымском императоре Андреевне в домашних красавцах состоял.

Покрутил Бородулин головой. Скажет тоже... При императоре либо флигель-адъютанты, либо обер-камердинеры полагаются. На кой ему ляд при себе хахаля такого в локонах содержать.

А барыня к окну подошла, в сад по грудь высунулась, чтобы ветром ее обдуло: тоже работа не легкая — пуд глины месить, не утку доить.

Слышит солдат за спиной писк-визг мышинный, портьера на кольцах трясется. Покосился он взад на оба фланга, чуть с табуретки не скovyрнулся: с одного конца барынина горничная, вертеха, в платочек давится, с другого денщик адъютантский циферблат высунул, погоны на нем так и трясутся, а за ним куфарка — фартуком пасть закрывает... Повернулся к ним Бородулин полным патретом — так враз всех и прорвало, будто по трем сковородкам горохом вдарили... Прыснули, да скорее ходу по стенке, чтобы барыня не застигла.

Обернулась барыня от окна, Бородулина спрашивает:

— Вы что же это, солдатик, фырчите?

И ответить нечего... Кто фырчит, а кто обалдуюм на табуретке сидит. Обруч набор съехал, глаза, как гвозди: так бы всех идолов в палисадник вместе с барыней к хрену и высадил. Вздохнул он тяжко — Бог из глины Адама лепил, поди Адам и не заметил, а тут барыня перед всей куфней на позор выставила...

Эх ты, гладкая! Сколько у ерша костей, столько и барских затей... Знак за отличную стрельбу выбил, по гимнастике, по словесности первый в роте, и вот достиг — из-за адъютантской политуры в Антигнои влип и не вылезешь... Не барыниным каблучкам присягал, чего ж в простыню-то заворачивает?

Видит барыня, что солдат совсем смяк. Полепила еще с малое время, передничек сняла и деликатным голосом выражает:

— Ежели вам, например, невмоготу, чего ж зря сопеть-то... Энто с простого звания людьми часто бывает — от умственного занятия до того иного с непривыч-

ки в полчаса расштатает, будто воду на ем возили... Да и мне лепить трудно, ежели натура на табуретке простоквашей сидит. Для фантазии несподручно. Идите, солдатик, в лагерь. А завтра с утра беспрерывно приходит. Я завтра постановку головы вам сделаю, а что касаето ног, уж я их вам наизусть с какого-нибудь крымского болвана приспособлю.

И полтинничек новый Бородулину из портмонетхи презентовала. Барыня была справедлива, тоже она не любила, чтобы около ее даром потели...

\* \* \*

Заявился Бородулин в лагерь — около передней линейки стоит ихней роты фельдфебель, брюхо чешет, в бороду регочет.

— С легким паром. Отполировался?

— Так точно. Столик в полную форму произвел.

— Ты мне столиком не козырай... Барыня-то до коих пор тебя вылепила? Антигноем заделался. Смотри, в Питер на выставку идола твоего пошлет, заказов не обещься.

Взводные тут которые, свои-чужие, — в руку похотывают, земляки ухмыляются.

Сгорел Бородулин... Вот так пуля! Стало быть, по денщицкому полевому телефону уже дошло... В городе рубят, по посадам щепки летят.

Тронулся он было дальше, в свое отделение, а сзади так и наддают.

— Ишь ты добротот! Такие-то тихие, можно сказать, и достигают.

— В карсет его засупонила. Лепись!

— Ен и сам вылепит... Ай да Бородулин, первую роту не посрамил.

Прибавил солдат ходу — сколько ни брешут, еще и на завтра останетса.

Ан тут ротный с батальонным, старичком, по песочку мимо палаток прогуливаются.

Стал Бородулин во фронт. Батальонный на него глазами ротному показывает.

— Антигной?

— Он самый. Ну что ж, Бородулин, потрафил?

— Не могу знать, ваше скородие.

Тянется солдат, а сам, как вишня, наскрозь горит.

— Ну, ступай отдохни. Замаялся поди. Ишь, орел какой... Можно сказать, выбрала!

А уж какой там орел — курицей в палатку свою заскочил, куска хлеба не съел, до самой вечерней поверки винтовку свою чистил, слова ни с кем не сказавши.

Утром, только на занятия вышли, Бородулин ни гу-гу, будто вчерашнее во сне привиделось. Однако фельдфебель пальцем его к себе поманил.

— Собирайся, гоголь. Адъютант вестового присылал, чтобы непременно тебе каждое утро у барыни лепиться... Портянки-то свежие надень — либо носки тебе фильдебросовые из штаба округа прислать. Павлин ты, как я погляжу.

Взмолился тут Бородулин, чуть не плачет:

— Ослобоните, господин фельдфебель... Заставьте за себя Бога молить. За что ж я в голой простыне на весь полк позор принимать должен? Уж я вашей супружнице в городе опосля маневров так кровать отполирую, что и у игуменьи такой не найти.

— Не подсыпайся, братец, не могу. Ты солдат старательный, сам знаю. Да как быть-то? Ротный из-за тебя с полковым адъютантом в раздор не пойдет... Потерпи, Бородулин, экой ты щекотливый. Солдат только на морозе да в бане краснеть должен. Однако ты там смотри — в адъютантский котел с солдатской ложкой не суйся... Адъютант у нас серьезный. Ступай.

Вот и позавтракал: селезень и тот упирается, когда его резать волокут, а солдат и серьгой тряхнуть не смеет.

\* \* \*

Помаршировал Бородулин к барыне, в каждом голенище словно по пуду песку — до того идти неохота. Слободю проходил, слышит из беловшвейной мастерской звонкий голос его окликает:

— Эй, кавалер! Что ж паричок-то не надели, мы для вас бантик розовый заготовили...

Обернулся он, а в окне четыре мамзели, одна на другой лежит, пальцами на него указывают.

— Антигной Иванович! Зашли бы к нам, что брегаете? Чай, мы не хуже барыни, красоту бы свою нам показали...

— Плечики у вас, сказывают, пуховые... Может, голь-кремом смазать прикажете? Что ж так барыне в сыром виде показываться?

Наддал солдат, щебень под каблуками как сахаром заскрипел. А вслед самая озорная, девчонка шелудивая, которая утюжки подает, на всю улицу заливаается:

— Цып-цып-цып!.. Солдатик! В случае, глины у вас не хватит, пришлите к нам, у нас на дворе свиньи свежей нарыли!..

Ишь, укус каторжный!.. На всю слободу оскоромила. Взял он наперерез проулком к адъютантской фатере направление, в затылок мальчишки в два пальца свистят, приказчики из москательной лавки на улицу высыпали:

— Эвона! Монумент глиняный на занятия вышел... Что к чему обычно — брюхо в опояске, солдат к барыниной ласке.

— На соборной площади тебя, сказывали, поставят — смотри не свались!

Развернулся было Бородулин, хотел одного, который более всех наседали, с катушек сбить, ан тот в лабаз заскочил. Сел, пес, в дверях на ящик, мешок через плечо перекинул, ноги раскорячил — показывает, как солдат на табуретке в позиции сидит...

Прямо, можно сказать, убил. Грохот, свист... Сиганул Бородулин через забор, да пустырями, по задворкам, на барынину улицу, как петух из капусты, вынырнул.

Зашел с черного хода, будто его на аркане топить волокни. Только мимо куфни проскочить нацелился: горничная за куфарку, куфарка за денщика — трясутся, заливаются, слова сказать не могут. Прошел Бородулин, словно босыми ногами по битой посуде... Барыня на скрип вышла, про здоровье спрашивает. Послал

бы он ее по прямому проводу, да нижним чинам в барском доме деликатные слова заказаны...

В два счета обрядила она его по-вчерашнему — локонцы эти собачьи промеж ушей натянула, на правом плече бляха, левое окороком вперед.

— Как сомлеете, скажите... Я зря человека мучить не люблю.

Добрая, что и говорить! А сама такую муку придумала, что кабы не служба, кота б она на крыше лепила за место Бородулина...

Мнет барыня глинку, миловидно дышит. Туловище кое-как обкорнала, на патрет перешла... Чиркуль со стенки сняла, для проверки дистанции стала солдату между губой и носом да промеж глаз тыкать... Наизусть, значит, не умела — а тоже берется...

Злой он сидит, как волк в капкане. Да волку, поди, легче — лапу отгрыз, и поминай как звали. А тут отгрызи-ка! На чиркуль глаз скашивает, как бы в ноздрю не заехал, и все ухом к портьерке: не регочут ли там энти гадюки домашние... Хорошо ему, денщику адъютантскому, — курносый да рябой, как наперсток, — в Антигнои-то не попал.

Встрепенулась тут барыня:

— Ах-ах! Совсем из памяти вон. Портниха ж меня там в будуарном покое дожидается!.. Делов столько, что почесаться некогда. Вы уж, солдатик, посидите, ручки-ножки поразомните, а я там мигом по своей женской части управлюсь. Орешков пока не желаете ли погрызть, только на паркет не сорите.

С тем и упорхнула. Сидит Бородулин, преет, табурет под ним покрякивает. До орешков ли тут, кажись бы, самого себя с досады перегрыз. Нечего сказать, поднесла ему барыня: и проглотить тошно, и выплюнуть не смей.

А за спиной фырк да фырк... Ляпнуть бы туда туловищем своим глиняным.

Ан тут портьерка в сторону — старая старушка, которая при барыниной дочке в няньках состояла, на пороге стоит, в коридор зычным голосом командует:

— Кыш, пошли прочь на куфню! Еще и чужих повели смотреть — эка невидаль, — с солдата мерку сыма-

ют... Вон отседова, не то барыне доложу, она вас живо распатронит.

И в монументальную комнату колобком вкатилась. Посмотрела на Бородулина, аж чепчики заскребла:

— Тыфу ты, нечистая сила! Ишь, как живого солдата в крымскую девку обработала...

Солдат, бедный, так голенищами с досады и хлопнул:

— Что ж, бабушка, самому не сладко... По городу не пройти — так и поливают. Привязала меня твоя барыня через адъютанта, как воробья на нитке, куда ж подашься...

— А ты не гоноши... Какой роты?

— Первой, бабушка. Под арестом ни разу не был, стрелок хоть куда — из пяти пуль все пять выбиваю... Вот и дождался производства. Барыне б твоей полпуда мышей за пазуху!

Пожевала старушка по-заячьи губами, обсмотрела со строгостью Бородулина, однако ж смягчилась.

— Внучек у меня в Галицком полку служит тоже в первой роте. Вроде тебя. Винтовку за штык на вытянутой руке подымает... Ну что ж, сынок, надо тебе ослобониться. Барыня у нас ничего, да вот блажь на нее накапывает, все норовит кобылу хвостом вперед запречь...

— Да как же, бабушка, ослобониться-то?

— А ты старших не перебивай. И не такие винты развинчивала... — Походила она по комнате, морскому богу в морду с досады плюнула и вдруг — хлоп! — на прюнелевых ботинках подкатывает к табуретке, веселым шепотом скворчит:

— Нашла, яхонт... Ей-богу, нашла! Куда дерево подрубил, туда, милый, и свалится! Барыню нашу нипочем не сколупнешь — адъютантом вертит, не то что солдатом на табуретке. Однако есть и на нее удавка: запахов она простых не переносит — субтильная дамочка. Почитай, с самого детства, чуть что, чичас же из комнаты вон...

— Да где ж я, бабушка, запахи энти-то возьму?

— А ты, Скобелев, вперед не заскакивай... Завтра спозаранку, прежде чем на муку свою идти, редька

скобленной поешь, сколько влезет да еще полстолько... Понял? Да луковицу старую пополам разрежь и под мышками себе натри до невозможности. Вот как вспотеешь, не то что барыня, мухи на паркет попадают. Чу, идет... Пострадай уж, сынок, сегодня, а завтра помянешь ты меня, старуху, добрым словом.

И с тем на прюнелевых ботинках выкатилась, будто светлый ангел.

Барыня взошла и опять за свою глинку. Воззрилась она раз-другой, сережками потрясла:

— Чудной вы, солдатик. То как сыч сидел, а теперь вишь веселость какую в лице обнаружил. Посурьезнее нельзя ли? Антигнои, они веселые не бывают.

А как тут серьезным сидеть, когда все нутро у солдата от старушкиных слов так и взыграло...

\* \* \*

Далее что и рассказывать?.. Как на другое утро стал солдат на посту своем табуретном редькой отрыгивать, да как потным луком от него, словно из цыганского табора, понесло — барыня так и взвилась. Да еще на евонное счастье дождик шел — окна не откроешь...

Стала она с ножки на ножку переступать, да кружевным платочком вентиляцию производить, да глину с тоски не в тех местах мять, где полагается...

К грудям ей подкатило, насилиу успела выбежать — можно сказать, аж люстра матом покрылась, до того солдат нянькин рецепт по всей форме произвел.

Ждет он, пождет, нет барыни. То ли ему одеваться, то ли дальше редькой икать... Да и совесть покалывать стала: барыня к нему «солдатик-солдатик», а он так со шкурой ее от глины и оторвал. Что ж, сама виновата, хочь бы, скажем, Ермака с него лепила либо генерала Кутузова, а то такую низменную вещь...

Стал он деликатно каблуками постукивать, чтоб редьку заглушить, ан тут нянька гимнастерку ему несет, глаза, как у лисы, когда она из курятника с полным брюхом ползет.

— Ну, милый, полный расчет. Оболакайся да ступай

в лагерь, нам ты более не надобен... Ух, и начадил ты, однако, — сига закоптить можно.

Курительную монашку зажгла и в угол отвернулась, пока солдат с себя поганую одежду сымал.

Затянул он поясок, обернулся, полушалок с турецкими бобами из кармана вынул и старушке с поклоном преподносит:

— Примите, бабушка, за совет, за беспокойство. Из волчьей ямы, можно сказать, вытащили...

— Ах, свет мой! Глазастый-то какой — вот уж угодил старухе... Спасибо, сынок. Кабы с плеч лет пятьдесят скинуть, я б тебя, ландыш, и не так отблагодарила. Однако ступай — до того от тебя простой овощью разит, что и разговор вести невозможно.

Встряхнулся Бородулин, налево-кругом повернулся, подошвой о пол хлопнул — аж все голые мужики-бабы по стенкам затряслись...

## ОСЛИНЫЙ ТОРМОЗ

Притаилась, стало быть, наша головная колонна в Альпах в непроходимом ущелье. Капказ не Капказ, а горы этак с полтора Ивана Великого. Облака, которые потяжелее, поверху цыпаются, ни взад ни вперед. Водопада сбоку шумит. Чего ж ей, дуре, больше делать? Суворов-фельдмаршал само собой в передовой части. Пока вторая бригада в далекий обход поднебесным путем пошла, чтобы французу в зад трахнуть, надо было переждать. А что ущелье непроходимое, Суворову через правый рукав наплевать. Потому прочие начальники — генералы, а он — генералиссимус, никаких препятствий не признавал. Где, говорит, древесный муравей проползет, где орел прочертит, там и мои чудо-богатыри ползком-швырком взойдут, скатятся. Дыхания хватит, а не хватит, у себя же и зайдем...

Сидят это солдатики под скалами, притихли, как жуки в сене. Не чухнут. За прикрытием кое-где костры развели, заслон велик, не видно, не слышно. Хлебные корочки на штыках поджаривают, чечевицу энту про-

клятую в котелках варят. Потому австрийские союзнички наш обоз с гречневой крупой переняли, своим бабам гусей кормить послали. Сволота они были, не приведи Бог! А нам своей чечевицы подсунули — час пыхтит, час кипит, — отшельник, к примеру, небрегающий, и тот есть не станет. Дерьмовый провиант.

Ходит Суворов-князь по рядам, кому кусок леденца из специального кармана ткнет: «Соси за мое адоровье!» Кого по лядунке хлопнет, пошутит: «Знаешь меня, кто я таков?»

— Как же нам своего отца не знать! Вас, ваше сиятельство, по всей Рассеи последний черемис и тот знает...

— А может, я вражеский шпиен под Суворова подзаделался... Ась? Что же ты — спорынья в квашне, сто рублей в мошне, — как зуй на болоте, нос вытянул? Стой не шатайся, говори не заикайся, ври не завирайся!

— Разве ж шпиен так по-русски чесать может?.. Да и по глазам кто ж ваше сиятельство сразу не признает...

— Какие такие у меня глаза? Один плачет, другой дремлет, третий за вас всех не спит.

— Такие глаза, будь здоров во веки веков, — отвечает чудо-богатырь, — что прикажи мне чичас, батюшка, чтоб я себя самого на шомпол насадил и на костре изжарил, — и глазом не моргну.

Ухмыльнулся Суворов в сухой кулачок, трюх свой поперек передвинул.

— Уж ты, сват, лучше на зажаривайся. Авось и живьем пригодишься.

Обошел линию, посты проверил, задумался. Адъютант любимый ему чичас табакерку на ладошке поднес для прояснения мыслей. Чихнул Суворов, эхо ему за горой: «Будьте здоровы-с!» Рассмеялся старик: «Покорнейше благодарим!» И спрашивает адъютанта: «Обоз в порядке?» «Так точно, за вашим шатром расположились».

А тут лунный месяц из-за гребешков альпийских выплыл, снежинки перепархивают, будто белые мотыльки в синьке кипят. Одним словом, красота. Ветер на буйных крылах за гору перемахнул, над хребтом грохочет, в ущелье не достигает. Солдат, значит, не подмо-

розит. Перекрестил Суворов адъютантову голову: «Ступай спать, Христос с тобой!» И пошел к себе в киргизский шатер, что всегда за им в обозе возили.

Отвернул вестовой Сундуков кошму, тихим голосом рапортует:

— Зайчиху я тутошнюю в силок поймал. Жирная, не уколупнешь. С каких харчей она тут в горах раздобрела, Господь ее знает.

— Ну что ж, — говорит князь Суворов. — И женись на своей зайчихе. Меня в посаженные отцы позовешь.

— Никак невозможно, ваше сиятельство, потому я ее зажарил, аржаной корочкой нашпиговал. Окажите божескую милость, погрызите хоть лапку. Силы вам, батюшка, беречь надо, а вы, можно сказать, одним сквозным воздухом изволите питаться.

Принахмурился Суворов, сальную свечку поднял, морду вестовому осветил.

— Смотри, Васька!.. Загадки гадки, а отгадки с души прут. Я раз в году сержусь, да крепко. Ты что ж, поведения моего не знаешь? Турок ты, что ли?

— Лайтесь не лайтесь, ваше сиятельство! Хоть жареным зайцем меня по скуле отхлещете, только извольте кушать.

— Эх ты, Васька! Семь в тебе душ, да не в одной пути нет. Даром что при мне состоишь... Когда ж я своих солдат по скуле хлестал? Хоть в нитку избожись, не поверю! Порцию я свою солдатскую съел, чечевичка, брат, сладкая пища. Австрийцы хвалят — с нее они такие и храбрые... А жаркое сам съешь, я тебе повелеваю.

Взял Сундуков зайца за задние лапки, сало с него так и каплет, прямо сердце зашло. Вышел на мороз и первый раз за всю службу приказания самого Суворова не сполнил: кликнул обозную собачку и шваркнул ей зайца: «Жри, чтоб тебя адским огнем попалило!»

Собачка, само собой, грамотная: хряп-хряп, только и разговору. Посмотрел Сундуков, слезы так бисерным горохом и катятся, к штанам примерзают. Махнул рукой и сел на мерзлый камень звезды считать: какие русские, какие французские...

Тут-то, братьцы мои, и началось. Сидит Суворов, гор-

ные планты рассматривает, — храбрость храбростью, а без ума бобра не убьешь. И вдруг музыка: ослы энти обозные как заголосят — заревут — зарыдают, будто пьяные черти на волынках наяривают... Да все гуще и пуще — обозные собачки подхватили в голос, с перебойми, все выше и выше забирают, словно кишки из них через глотку тянут.

Стукнул Суворов походным подстаканником по походному столику, летит Сундуков, в свечу вытянулся.

— Что там за светопреставление?! Ведьма, что ли, бешеного быка рождает?

— Никак нет!.. Ослы поют. Погонщик через переводчика сказывает, будто они всегда в полнолунную ночь в восторг приходят, кто кого перекричит. Занятие себе такое придумали, ваше сиятельство...

— Ишь ты, скажи на милость. А у меня, сват, свое занятие: соснуть на часок надо, тоже и я не двузильный. Дай-ка пакли из тюфячка, уши заткнуть.

Покрутил Сундуков головой... Ах ты, царица небесная! Ужели русскому генералиссимусу из-за такой последней твари не спать!.. Ишь, как притомился.

Паклю подал, вздохнул и на мелких цыпочках прочь вышел.

Да разве ж против ослиной команды пакля действует? Месяц встал выше, сияние на полную небесную дистанцию, ослы-стервы только в силу вошли, будто бабы-геликоны мехами раздувают, да с верхним подхватцем...

Тетку твою поперек! Сел Суворов на койку, щуплые ножки свесил, сплюнул. Под пушечный гром спал, под небесный спал, а тут — хочь воском уши залей, не всхрапнешь. Чего делать? Приказать им в мешки морды завязать? За что ж тварь мучить, погонщика обижать... Поколеют, не солдат же в дышла впрягать. И животная полезная, из жил тянется, в гору ли, с горы — ей наплевать. Соломы дадут — скряпают, не дадут — солдатскую пуговку пососет. Экая оказия!.. Спасибо создателю, ветер над горой ревет, ослов заглушает. А то беда, враг близко...

Вынырнул тихим манером Сундуков из-за кошмы,

стоит, искоса на начальника любимого смотрит. Шагнул ближе, в свечу вытянулся.

— Не извольте, ваше сиятельство, беспокоиться, чичас они замолчат.

— А ты что ж, с обоих концов их соломой заткнешь?

— Никак нет. Голос у них такой, никакая солома не удержит.

— Как же так они, сват, замолчат? Они ж только во вкус вошли — ишь, как наддают, хочь вприсядку пляши.

— Не извольте беспокоиться. Чичас полную тишину вашему сиятельству предоставлю.

Ушел вестовой. И что ж, братцы, как по отделениям, в одном конце закупорило, в другом... Чуть последний осел сверчком рипнул — и стоп.

Вынул Суворов паклю, прислушался: ни гугу. Ухмыльнулся он, походную думку-подушку поправил, плащом ножки прикрыл и, как малое дите, ручку под голову — засвистал-захрапел, словно шмель в бутылке. Какой ни герой, а и сам Илья Муромец, надо полагать, сонный отдых имел.

\* \* \*

Утречком, чуть серый день наступил, по горам-скалам до ущелья дотянулся, скочил князь Суворов, сухарик пососал, вестового кликнул. Ледяной воды в рот набрал, в ладони прыснул, ночную муть с личика смыл и спрашивает:

— Что ж, Василий Панкратыч, ослиный капельмейстер... Как же ты их, сват, ночью угомонил? Ась? Шаман ты сибирский, что ли?

— Никак нет! А как при лунном сиянии позицию их мне разглядеть потрафилось, приметил я, что ежели он, стерва-осел, рыдает, в восторг входит, чичас он хвост кверху штыком... Нипочем иначе не может. Такой у него, ваше сиятельство, стало быть, механизм. Ну, тут уж штука нехитрая: по камешку я им к хвостам вроде тормоза подвязал, они и примолкли...

Рассмеялся Суворов звонко, так личико морщинками и залучилось.

— Ах ты, ослиный министр, чертушка, милый ты

человек! Расскажу вот австрийцам, утиным головам, пусть с зависти полопаются. Разве ж им, козодоям, за русской смекалкой угнаться! Ась? Утешил ты меня по самое горлышко. Чем же мне тебя, сват, наградить? Проси чего хочешь, понатужься, — ежели только власти моей хватит, честное слово, не откажу... Ну!

Вестовой Сундуков ослабился, а сам руку за спину завел.

— Так точно, ваше сиятельство! Награждение мое в вашей полной власти, действительно. Вчерась ночью второй заяц в силос попался — заяц ничего, форменный. Не спал я, для вас изжарил, старался, авось смилуетесь. Будьте отцом родным, наградите вашего верного слугу, извольте откушать!

И зайца из-за спины вытаскивает.

Насупился было Суворов, посмотрел на вестового и оттаял.

— Хитрый ты, Васька, до невозможности! У лисы ухо срежешь да ей же и скормишь... Счастье твое, слово дал, солдатское слово не олово. Давай, сват, походную вилку-ножик. Только, чур, половина мне, половина тебе. А то три дня разговаривать с тобой не буду... Согласен?

— Так точно, согласен.

Насупился было и Сундуков, да что ж поделаешь.

А ослам приказал князь Суворов по гарнцу чечевицы выдать за то, что им ночью ради чужого русского старика лунный восторг перешибли.

## КАВКАЗСКИЙ ЧЕРТ

Читал у нас, землячки, на маневрах вольноопределяющий сказку про кавказского черта, поручика одного, Тенгинского полка, сочинение. Очень всем пондравилась. Фельдфебель Иван Лукич даже задумались. Круглым стишком вся как есть составлена, будто былина; однако ж сюжет более вольный. Садись, братцы, на сундучки, к окну поближе, а то Федор Калашников больно храпит, рассказывать невозможно...

\* \* \*

Пирует грузинский князь Удал — на триста персон столы понаставлены, бык жареный на медном блюде лежит, в быке — жареные утки, в утках — жареные цыплята. С амбицией князь был... Вином хочь залейся, по всем углам кахетинское в бочках скворчит, обручи еле сдерживают. Кто мимо ни идет, вали к князю, пей, ешь, хочь облопайся. Потому Удал единственную дочку просватал, к вечеру милого жениха ждут, а пока что, не зря ж сидеть, — песни, пляс, пирование. Под простыми гостями туркестанские ковры постланы, под княжеской родней — дагестанские.

Дочка Тамара меж подруг на собольем одеяльце сидит, ножки княжеские под себя поджавши, черные брови, как орлиные крылья, вразлет легли, белое личико будто фарфоровое пасхальное яичко, скромные ручки на коленках держит — девушка высокого рода, известно, стесняется.

Подходит к ней старший гость, дядя ейный по матери, князь Чагадаев, сивый ус за ухо закинул, чеканным кавказского серебра поясом поигрывает.

— Что ж, Тамара... Другие-прочие пляшут, а ты будто жар-птица привинченная. Уважь дядю, пройдишь, что ли, рыбкой...

Защелкал он мерно в ладони, словно деревянными ложками брякнул. Мужчины, стало быть, подхватили: раз-раз!.. Музыканты брызнули. Взмыла Тамара, Господи, твоя воля!

Летает это она пушинкой, шароварки легкими пузырями вздуло, косы полтинниками звякают, ножка ножке поклон отдает, ручка об ручку лебедем завивается. Слуги, которые гостей обносили, с подносами к земле приросли, а гости осатанели, суставами шевелят, каблуками землю роют... Сплясал бы который, да вино ножки спеленало.

Не выдержал тут дядя ейный, князь Чагадаев, даром что сивый; затянул пояс потуже, башлык за плечо — бабку твою на шашлык! — пошел кренделять... Запозисто, братцы, разделывал, до того плавно, что хочь

самовар горячий ему на папаху поставь — нипочем не сронит...

Разожгло тут и Тамару. Стеснения своего окончательно лишилась, потому лезгинка танец такой — кровь от его в голову полыхает... По кругу плывет, глазами всех так без разбору и режет: старый ли, молодой, ей наплевать!

Щечки факелом, грудь облаком, носком вострым под себя подгребают, одним глазом приманивает, другим холодит, поясница пополам, косы ковер метут... То исть, бубен ей в душу, пронзительно девушка плясала... В остатний раз свободу свою вихрем заметала.

\* \* \*

В тую пору одинокий кавказский черт по-за тучею пролетал, по сторонам поглядывал. Скука его взяла, прямо к сердцу так и подкатывается. Экая, думает, ведьме под хвост, жисть! Грешников энтих, как собак нерезанных, никто сопротивления не оказывает, хоть на проволоку их сотнями нижи. Опять же кругом никакого удовольствия: Терек ревет, будто верблюд голодный, гор наворочено до самого неба, а зачем — неизвестно... Облака в рот лезут, сырость да серость, — из одного вылетишь, ныряй в другое...

Сплюнул он с досады, ан тут в синюю дыру вниз глянул, на край тучи облокотился, туча его к самому княжескому замку подвезла. Покрутил черт голову: «Эх, благодать!»

Пир у князя Удада только в полпирование вошел, музыка гремит, факелы блещут, гости с ковшами на карачках по всему двору разбрелись... А на крыше княжеская дочка Тамара, красота несказанная, лезгинку чешет, месяц любит, звезды над тополями вниз подмигивают, ветер не шелохнет.

Обидно черту стало, хочь плачь, — да у чертей слез-то нету... На-кось, поди, у людей веселье, смех, душа к душе льнет. Под ручку, дьяволы, пьяные ходят, а он, как шакал ночной, один на один по-над горами рысать должен.

А как Тамару, пониже спустившись, со второго яру-

са поближе разглядел, так даже сомлел весь: отродясь таких миловидных не видывал, даром что весь Кавказ с Турцией-Персией наскрозь облетел. В сердце ему вступило, будто углей горячих горсть глотнул, чуть кубарем сверху на княжеский двор не свалился. Сроду его к бабам не тянуло — ан тут и заело...

Так вот, стало быть, к кому за Арагвой молодой Синодальный князь скачет, карабахского коня нагайкой ярит...

Ладно, думает: «Ты, брат, скорый, да и я не ползучий...» Не тот, мол, курку ест, кто к столу спешит, а тот, кто ее за крылышко держит.

\* \* \*

Летит Синодальный князь, к луке пригнувшись, на брачный пир поспешает. Алый башлык за спиной ласточкой вьется, борзый конь хвостом версты отсчитывает... За князем верблюды свадебными подарками бренчат, свита коней нахлестывает... Ан, князя Удала замка все не видать — давно бы, кажись, ему время за Арагвой светлыми окнами, брачными факелами блеснуть. Стало быть, черт через своих подручных все повороты спутал, тропинки вбок отвел, карабахскому коню в морду из-за тучи дует, направление сбивает. Чистая беда!

Да еще часовенка древняя в ущелье стояла — отшельник ее один в стародавние времена склал, сам по обещанию камни снизу на спине таскал. Которые путешествующие беспременно перед ней шаг замедляли, шапки сымали, молитву читали — против ночного набега, против внезапной пули, против чеченца гололобого. Черт и тут постарался: скрыл часовню туманом, будто чадрой покрыл. Князь без внимания мимо и проехал...

Едут да едут. Стал молодой князь сомневаться. Попридержал коня, пену с черкески белой перчаткой смахнул, золотые часы вынул — время позднее.

Дал он тут приказ:

— Стой! Оправься, слуги мои верные! Ночь пала, месяц за горы сгинул, карабахский конь задыхается. Не иначе, как нам на бивак до рассвета располагаться

придется. Скидывай тюки, закусим по малости, утро вечера мудренее... Ночь холодная, жертвую по чарке на каждого — более не могу, потому вокруг небезопасно.

Легла свита вокруг князя кольцом на голом камне. Дозорных выставили. Прилег князь на бурку, глаза обшлагом прикрыл, мурчит, как кот: Тамара перед ним на софе в шароварках потягивается, сонный ветер глаза закрывает. Прижимает он это седло к грудям, тайные слова шепчет — не четки ж ему во сне перебирать...

Верблюды посапывают. Вскрапнули и дозорные, против дьявола никакой караул не устоит. А тут, братцы мои, с обоих флангов не то чечня, не то осетины — во тьме и пес не разберет — пластунами подобрались, кинжалы в зубах, да как ахнут! «Халды-балды!..» Черт им тут на самую малость месяц приоткрыл, чтоб способнее было жениха-князя найти!.. Лязг, свист, — где тыл, где фронт, где свои, где чужие — ничего не известно, потому сражение кавказское, никакого плана, одна резня.

Проснулся князь, на коня неоседланного пал, звизганул шашкой — хрясь, брясь! — улочку себе сквозь неприятеля прорубил...

— За мной, — кричит, — ребята! Мы им хвост загнем...

А какие там ребята — почитай, вся свита без голов лежит, руки-ноги по утесам разбросаны. Так во сне в полном вооружении ни за понюшку и пропали. Который и жив, тому за кустом руки вяжут, к седлу приторачивают...

Эк, Калашников-то расхрапелся! Закрой его, Бондаренко, шинелью, а то собьюсь к чертям. Самое главное сейчас начинается.

Вынесся князь из сечи, борзый конь к князю Удалу направление взял, ан и черт не дурак. В ночной мгле перехватил у чеченца с правого фланга винтовку, да князю в затылок, с колена не целясь, с дистанции шагов, братцы, на триста. Как в галку! Ахнул Синодальный князь, к гриве припал — вот тебе, можно сказать, и женился. Ночь просватала, пуля венчала, частые звезды венец держали...

\* \* \*

Влетает, стало быть, карабахский конь, верный товарищ, к князю Удалу на широкий двор, залиvisto ржет, серебряной подковой о кремень чешет: привез дорогого гостя, примайте! А пир, хоть час и поздний, в полном разгаре. Бросились гости навстречу, князь Удал с крыльца поспешает, широкие рукава закинул... Тамара на крыше белую ручку к вороту прижала — не след княжеской невесте к жениху первой бежать, не такого она воспитания.

Что ж молодой жених с коня не сходит? Тестю поклона не отдает? Невесту не обнимает? Или порядков не знает?..

Соскользнул он на мощные плиты, кровь из-за бешмета черной рекой бежит, глаза, как у мертвого орла, темная мгла завела... Зашатался князь Удал, гостей словно ночной ветер закружил.. Спешит с кровли Тамара, а белая ручка все крепче к вороту прижимается. Не успел дядя ейный, князь Чагадаев, на руку ее деликатно принять — пала, как свеча, к жениховым ногам.

Повел дядя бровями, подняли ее служанки, понесли в прохладный покой, а у самих слезы так бисером по галунам-лентам бегут... Поди каждому жалко на этокое смертоубийство смотреть-то.

А черт рад, конечно: в самую мишень попал. Из-за туч, гад, снизился, по пустому двору ходит, лапы потирает. Собака на цепу надрывается, а ему хоть бы что. Подкрался к угловой башне, мурло свое к стеклам прижал — интересуется... Оттедова, изнутри-то, его не видеть, конечно.

Лампочка на подоконнике горит, Тамара на тахте пластом лежит, полотенце с уксусом на лбу белеет, а сама с лица полотенца белей. Омморок ее зашиб, значит.

Делать нечего, стала она кое-как в себя приходиться. Руки заломила, рыдает в три ручья — вещь не сладкая, братцы, жениха потерять — всей жизни расстройство.

А тут в фортку черт голос подает, умильными словами поет-уговаривает.

— Ты, — говорит, — девушка, не плачь напрасно. Помер твой князь, в рай попал, там ему полный покой, об тебе и не вспомнит... Женихов в Грузии не оберешь-

ся, а ты по здешней стороне первая красавица, да еще с во каким приданым, — есть об чем тужить... Все помрем, а пока что жить надоть. В небе звезды ходят, хороводы водят, ни скуки, ни досады не знают, ты бы с них, девушка, пример брала. А я тебя, между прочим, каждую ночь до первых петухов утешать буду, пока утренная пташка не стрепенется, — потому днем несподручно...

Вскочила княжна на резвые ноги, туда-сюда глянула. Кот под лавкой урчит — ходит, о подол трется, над головой князь Удал в расстройстве чувств шагает, а боле никого и не слышать. Выскочила она на крыльцо — Терек под горой поигрывает, собачка на цепу хвостом машет, княжне голос подает: не сплю, мол, не тревожься! Кто ж в фортку, однако, пел?

Караульный тут, который в доску для безопасности бил, подходит. Княжна к нему:

— Не проходил ли кто незнакомый через двор, по какому случаю в поздний час пение?

— Никак нет, — отвечает караульный, — седьмой раз дом обхожу. В доме такое несчастье, как можно... Уж я б его, певца, чичас князю Удалу представил, он бы ему прописал!

С тем и ушла. Головку к шелковой думке приклонила, к подушечке махонькой, вздохнула, об судьбе своей горькой призадумалась, однако ж слеза не идет: черт свое дело сделал.

В лампочке керосин вышел, дрема ее стала клонить. Заснула она тихо-благородно, косы-змеи под себя подостлавши. Ан тут черт ей в сонном видении и является.

И не то что в своем обыкновенном подлом виде, а во всей, можно сказать, неземной красоте. Кудри выются, глаз пронзительный, ус вертит, в бессловесной любви ей признается... Девушке много ль надо? Испужалась она было спервоначалу, а потом огонь у нее по жилам пробежал, потянулась она к нему, как дите...

Да, видишь, черт времени не рассчитал: петух тут первый закукурекал — сгинул бес, как дым над болотом. Так на первый раз ничего и не вышло...

Терек шумит, время бежит, никакого княжне облегчения нету. Подруги ее уговаривают: «Пойдем, Тамара, хочь к речке, смуглые ножки помыть!» Она упирается: «Нет мне покоя, днем об женихе тоскую, по ночам тайный голос меня душит. Никуда не пойду».

Испужались подружки, пошли к князю Удалу. Так, мол, и так, неладное с Тамарой творится, надо меры предпринять. Князь чичас к ней, дочка единственная, нельзя без внимания оставлять.

— Что ж, — говорит, — дите... Я мужчина, человек старый, слов настоящих не знаю. Кабы твоя мать покойная была жива, она бы тебя в минуту разговорила. Однако не тужи, достаток у нас, слава тебе, Господи, немалый, девичьи слезы вода. Надо себя в порядке содержать, а не то чтобы по ночам неизвестные голоса слушать.

У Тамары, однако, характер твердый, грузинский.

— Я, папаша, резоны ваши понимаю. Совсем я от хозяйства отбилась, вас, старика, без попечения оставляю. Не могу с собой совладать... Пойду в монастырь, а то как бы чего не вышло. Девушка я, сами знаете, горячая... Лучше вы меня и не отговаривайте.

Три дня хмурился князь, весь ковер протоптал шагавши — сына б приструнил, на милую дочку рука не подымается... Пускай, думает, идет. В монастыре хоть честь свою княжескую соблюдет, Бога за меня помолит... Поперек судьбы сам царь не пойдет.

Снарядил он ее богато, дары в монастырь на десяти верблюдах вперед послал. Дочку в горную обитель сам под конвоем предоставил, чтоб головорезы-чеченцы, не приведи Бог, в горы ее в плен не утнали. Народ аховый, наживы своей не упустят.

Живет это она в келейке своей месяц-другой, тихо, скромно, лучше и быть нельзя. На рассвете утренняя заря — по-грузински Аврора — в окошко wpłyвает, белую стенку над изголовьем румянит. Чинар сбоку шумит, светские мысли отгоняет. Пташки повадились крошки клевать. Горы вдали будто мелким сахаром посыпаны, снеговая прохлада от них идет — в жару самое от них удовольствие. Знай одно: службы не пропускай, об остальном не твоя забота. Чистота, пища легкая, яс-

ные мысли облаками плывут, пей себе чай с просфоркой, будто ангел бестелесный, смотри на горы, ручки сложимши, — боле и ничего.

Однако от черта и монастырь не крепость. Прознал он, само собой, что княжну Тамару в подоблачный монастырь укрыли, ан доступу ему туда нету — сторож, отставной солдат, по ночам с молитвой ограду обходит. Княжна воску белей все молится да поклоны кладет — в церкви ли, в келье ли своей глаз не подымет, об земном и не вспомнит.

Изловчился черт, стал ей с вечерним прохладным ветром шепоты свои да поклоны посылать...

— Очнись, княжна!.. От себя никуда не уйдешь. Ты месяца краше, миндаль-цвет перед тобой будто полынь-трава, — ужель красота в подземелье вянуть должна? Который месяц по тебе сохну, и все без последствий. Все свои дела через тебя забросил, должна ты меня на путь окончательно наставить, а то так закручу, что чертям тошно станет. Себя, девушка, спасаешь, а другого губишь — это что ж такое выходит?..

Стревожилась тут Тамара окончательно. На то ль она в подоблачный монастырь шла, чтоб невесть от кого такие слова слушать?.. Однако ж и ее зацепило. Ева, братцы, тоже, может, по такому случаю погибель свою приняла.

Зажгла она восковую свечку, поклоны стала класть, душой воспарила, а ухом все прислушивается, не будет ли еще чего. А ветер сквозь решетку в темные глаза дышит, гордую грудь целует — никуда ты от него не укроешься. Куст-барбарис за окном ласково об стенку скребется, звезды любовную подсказку насылают, фонтан монастырский звенит-уговаривает, ночной соловей сладкое кружево вьет... Со всех сторон ее черт оплел — хочь молись, хочь не молись.

\* \* \*

Видит черт, что полдела сделано, а далее окончательно затормозило. Не юнкер он какой, в самом деле, чтоб по ветру с девушкой перешептываться да во сне ей

являться, об любви своей докладывать. Тоже и он гордость свою имел.

Пустился он, песья голова, на хитрости. Штоф кизлярки украл да отставному солдату, сторожу, который обитель в ночное время с молитвой обходил, и подсунул. А ночь, милые мои, прохладная была, кавказские ночи известные. Отставному солдату, хочь он и при монастыре состоит, тоже выпить хочется — не святой. Хлебнул он с устатку, намаялся, которую ночь-то ходивши, хлебнул в другой, согрелся — в кизлярке этой градусов, поди, с пятьдесят было, — к стенке притулился, да и захрапел, как жук в соломе. Слабосильный старичок был, да и от вина отвыкши.

Черту только того и надо. Без обходной молитвы ему чего ж бояться. В трубу втиснулся, к княжне в келью проник, об паркетный пол вдарился и таким красавцем-ухарем объявился, что против него и покойный Синодальный князь ничего не стоил.

Княжна Тамара так ручками и всплеснула — удивляется:

— Кто вы такой есть и почему в неположенное время в келью мою тайно проникли? У нас этого не полагается.

Тут ей нечистый все как есть и выложил.

— Я, — говорит, — тебе в сонном видении неоднократно являлся... Я тебе по ночному ветру чувства свои объяснял. Ты, девушка, однако, не сомневайся. Я не из простых чертей, а вроде как разжалованный херувим. Потому за гордость свою и поступки наказание понес. Однако, как я теперь в тебя без памяти влюбившись, — все поведение свое переменю, добрей тихого младенца стану, только бы на красоту твою непрерывно любоваться... Тоже и мне пожить по-человечески хочется — со скуки одинокой давно б удавился, да черти смерти не подвержены... Сжался, княжна, я тебя во как возвеличу, по всему Кавказу слава трубой пройдет.

Принахмурила Тамара гордые брови, сердце у нее мотыльком бьется, ан доверия полного нету.

— Сгинь, — говорит, — сатана, прахом рассыпья! Почему я тебе доверять должна, ежели вся ваша порода

на лжи стоит, ложью сповита? Сызмальства я приучена чертей гнушаться, один от вас грех и погибельная отравка. Чем ты, пес, других лучше?.. Скройся с моих прекрасных глаз, не то в набат ударю, весь монастырь всполошу.

Побагровел черт, очень ему обидно стало — за всю жисть в первый раз на хорошую линию стал, а ему никакого доверия. Однако голос свой до тихой покорности умастил и полную княжне присягу по всей форме принес:

— Клянусь своим страстным позором и твоим черноокиим взором, клянусь Арарат-горой и твоей роскошной чадрой, что от всей дикой подлости дочиста отрекаюсь, буду жить честно, в эфирах с тобой купаться будем, и все твои капризы сполнять обещаюсь даже до невозможности...

Ахнула тут Тамара, видит, дело всурьез пошло — самого главного кавказского черта, шутка ли сказать, приручила.

Разожгло ее наскрозь — в восемнадцать, братцы мои, лет печаль-горе, как майский дождь, недолго держится. Раскрыла она свои белые плечики, смуглые губки бесу подставляет — и в ту ж минуту — хлоп! С ног долой, брякнулась на ковер, аж келья задрожала. Разрыв сердца по всей форме — будто огненное жало скрозь грудь прошло.

Закружился бес, копытом в печь вдарил, пол-угла отшиб. Вот тебе и попировал!.. Однако ж дела не поправишь. Душу из княжны скорым манером вынул да к окну — решетку железную, будто платок носовой, в клочки разорвал. Да не тут-то было... Навстречу ему с надворной стороны княжны Тамары Ангел-хранитель тут как тут. Так соколом и налетел:

— По какому такому праву ты, окаянный, сюда попал, почему душу ейнюю тащишь?

— По такому праву, что княжна со мной по своей воле обручилась. А ты где раньше был? Крепость сдалась, что ж ты не в свое дело суешься?

— Нипочем, — отвечает Ангел-хранитель, — не сдалась! Она, Тамара, как птенчик глупый, за поступки свои не отвечает. Я за нее ответ держу!.. А с тобой разговор короткий...

Да как хватит его справа налево огненным мечом наотмашь, так во всю щеку шрам ему и сделал... Локтем отпихнул черта и воспарил с Тамариной светлой душой в кавказскую поднебесную высь.

Очнулся черт. Щека горит, смола в печенке клокочет... Двинул в сердцах отставного солдата, что под руку подвернулся, вдоль спины, так что с той поры тот солдат на карачках до конца жизни и ходил.

Взмыл к тучам и прочь с Кавказа навсегда отлетел, только молоньи хвостом за ним, будто фейерверк, сиганули.

В Персию, говорят, переселился, потому там народ более легкий, да и девушки не хуже грузинских. Может, и взаправду остепенился, какую хорошую за себя взял, ремесло свое подлое оставил и в люди в свое удовольствие вышел. Кто их там, чертей, разберет, братцы...

## С КОЛОКОЛЬЧИКОМ

Папашу моего в нашем округе каждый козел знает: лабаз у него на выгоне, супротив больницы, — первеющий на селе. Крыша с накатцем, гремучего железа. В бочке кот сибирский на пшене прееет — чистая попадья. Чуть праздник, в хороводе королевича вертят — беспрерменно все у нас рожки да подсолнухи берут.

По делам прилучится куда папаше смотаться, не то чтобы в телеге об грядку зад бил, мыша пузастого кнутовищем настегивал — выезжал пофорсистее нашего батальонного. Таратаечка лаковая, передок расписной, дуга в елочках, серый конек — вдоль спины желобок, хвост двухаршинный, селезенка с пружиной... Сиди да держись, чтобы армяк из-под облучка не ушел... Кати, пострывай да вожжи подергивай. Колокольчик под дугой, будто голубь пьяненький, так и зайдется. С амбицией папаша ездил, не то чтобы как...

Покатил он как-то в уездный город соль-сахар закупить. Пыль пылит, колесо шипит, колокольчик захлебывается. Только в городок вплыл, ан тут на первом повороте у исправникова дома и заколодило. Ставни на-

стежь, новый исправник — бобровые подусники, глаза пупками — до половины в окно высунулся, гремит-кричит:

— Стой! Язви твою душу... Аль ты, мужицкое твое гузно, не слышал, что я простого звания людям форменно воспретил по городу с колокольчиками раскатывать? Подвернуть ему струмент!.. На первый раз прощаю, на второй — самого в оглобли запрягу...

Высочил тут стражник, холуйская косточка, колокольчик за язычок к кольцу привертел — смолкла пташка. Обидно стало родителю, аж коня на задние ноги посадил. Да что тут скажешь: поев крапивки, поскреби в загривке... Маленький начальник страшней сатаны. Повернул он с досады таратайку, ну ее, соль-сахар, к темной матери — взгрел коня, вынесся за околицу... Скажи на милость! Что ж, папаша мой, Губарев, патенту за лабаз не платит, пар у него свинячий заместо души, зад у него липовый, что ли, чтобы он не смел по городу с легким колокольчиком проехать? Чай, и в Питере закону такого нету — хочь соборный колокол к дуге подвяжи, ежели капитал тебе позволяет...

Летит папаша по столбовой дороге, коня шпандорит, направление к станции держит. Про село свое и думать забыл, до того его амбиция распирает. Докатил до водокачки, вожжи работнику бросил.

— Вертайсь, Сема, домой! Лабаз на три дня замкнешь, пока я в Питер, туда-сюда, смахаю. Удавлюсь, а не поддамся.

\* \* \*

Навернула машина на колеса, сколько ей верст до Питера полагается, — и стоп. Вышел родитель из вагона, бороду рукой обмел, да так, не пивши не евши, к военному министру и попер. Дорогу не по вехам искать: прямо от вокзала разворот до главного штабу идет, пьяный не собьется.

Взошел он в прихожую, старший городской — медали от плеча к плечу так и прыщут — спрашивает:

— Эй, любезный, чего надоть? С черного хода бы пер, а сюда одни господа достигают. Фамилия твоя как?

— Губарев, братец. К военному министру по личному делу. Доложи-ка, почтенный.

— Гу-ба-рев? Не сынок ли ваш в пятой роте Галицкого полка изволит служить? Знак за отличную стрельбу имеет?

— Он самый. Стало быть, о нем и в Питере известно?

— Как же-с, помилуйте. Ах ты, Господи...

Бросил тут городской и пост свой, венчиком папашу почистил да галопом за адъютантом, адъютант — за флигель-адъютантом. Повели моего родителя под локти, будто сдобного архиерея, к самому министру. Генералы, которые в очереди дожидались, только с досады отворачиваются.

Министр, жидкий старичок в густых эполетах, сам навстречу двери распахивает:

— Губарев?! С легким вас приездом... Как же, как же, слышали. Сынок ваш, можно сказать, по параллельным брусьям первый, по словесности первый, запевало знаменитый, знак за отличную стрельбу имеет... В креслице не угодно ли... Да, может, вы с дороги, с устатку не перекусите ли чего, пока до разговора дойдем?

Отчего же моему папаше и не перекусить. Харч генеральский, да в дороге он с амбицией, не пивши не евши, аппетит-то нагулял...

Затрезвонил тут генерал во все кнопки — денщику самовар заказал, — поворачивайся! Генеральша с закусками вкатывается.

— Ах, ах! Какого Бог гостя послал! Супруга ваша в добром ли здоровьице? Ножки у нее все затекают, слыхала. Бычок ваш черненький, поди, совсем в возраст вошел?! Сынок-то ваш все отличается... Скоро, поди, в ефрейтора его произведут, отделенным назначат...

Известно, женщина интересуется.

Дочка генеральская тут, про сынка услышавши, про меня то есть, из-за портьерки хрящики высунула — сухопарая, питерская жилка:

— Ах, мамаша! Не прихватили ли они солдатика энтова фотографии? Очинно интересно. Сказывали —

чистый шант-рет, рост гвардейский, взгляд злодейский... Петрушей зовут...

Ну, генерал тут на них зыркнул, бабий ихний департамент за дверь выставил.

Выпил он с родителем чашек по пяти с кизилковым вареньем, чашки перевернули, генерал и говорит:

— Вали, Губарев! В чем твоя до меня надобность? Кому же и услужить, как не тебе, голубю. По сыну и отцу честь.

Папаша ему доподлинно про исправника да про колокольчик и доложил. Разбульонился тут генерал, не знает, в какую кнопку и звонить...

— Ах он, воевода дырявый! Да что ж он — о двух головах? Тебе, Губареву, да колокольчики воспрещать?.. Который сына такого произвел, пятой роты Галицкого полка, Петра Губарева? По всей Империи из всех солдат первый. Обдумай сам, гордый старик, — как исправника порешишь, так и будет. Хоть с места его долой, хоть в женский монастырь на покаяние. Воля твоя.

Папаша, конечно, бороду надвое распустил, солидным голосом выражает:

— Мы, ваше превосходительство, не черкесы какие. Без молитвы и комара не уьем. Пусть он, ерыкала, на своем месте сидит. Только желаю я бумагу от вас получить форменную насчет колокольчика. Чтобы права свои определить. А то он мне завтра, серого звания человеку, и чихать воспретит, как я мимо его дома проезжаю.

— Ладно, не воспретит. Как бы сам не расчихался.

Кликнул генерал старшего писаря, настрочил папаше орленую бумагу: хочь по всей Империи с бубенцами раскатывай, не то что по своему уезду.

Папаша полой усы обтер, крест-накрест с генералом почмокался да на ухо ему кой-чего и сказал: приписку, мол, на обороте, такую и такую нельзя ли сделать по энтому самому делу?

Усмехнулся военный министр, однако перечить не стал — приписал. Выдали тут родителю обратный билет по первому классу, генеральша холодных каклет на дорогу выслала да мне шелковый платочек.

\* \* \*

Доехал папаша благополучно. Из первого класса на своей станции с узелком вышел — борода вперед, живот гоголем, — начальник в красной фуражке так глаза и вылупил. Не иначе как Губарев подряд в Питере взял: на всю аглицкую нацию мятные пряники поставлять. Однако ж экипажа на мягких рессорах ему не подано...

Зашкандыбал старый хрен в свое село. Пташки поют, телеграфная проволока гудет, а папаше наплевать. Отмахал пять верст, достиг до своей резиденции. Мамаша колобком с крыльца скатывается: «Ах да ох! Да куда же ты, орел, запропастился? Да чайку, соколик, не соизволишь ли? Да баньку, голубчик, не истопить ли?»

Отстранил он мамашу категорически — кака тут баня... Одно у него в думке: как бы ему скорей исправника выпарить, а сам-то успеет.

Приказал работнику в ту же минуту Серого запрягать. Сам в лабаз взошел, выбрал два бубенца-глухаря, которые побасистее, да к дуге их по бокам колокольчика и прикрутил. Для перебойного рокота, для густой политуры...

Покатил в уезд. Работник рядом на облучке кишки подобрал, удивляется: в игумны, что ли, хозяина произвели, экое дело он затеял. Однако молчит. Потому мой папаша поведения короткого — чуть на него не потрафишь, такую тебе выволочку задаст, что и фельдфебеля родной матерью назовешь.

Подъезжает он к городку, бубенцы скворчат, колокольчик подзывает. Серый наш так пухом и стелется. Влетел с перезвоном в улочку, перед исправничьим домом чуть попридержался. Трах — ставни настезь, — его скородие в архалуке весь фасад на улицу выставил, баки по ветру, глаза пьявками, клюквой весь так и залился.

— Стой! Трах-тах-тарарах... Ты что ж, шило тебе в глаза, гвоздь в душу, нож в печень — с тройным звоном сздишь? Над начальником каланчу строишь? Приказаний не исполняешь? Эй, стражник!

Не успел служивый холуек штанцы подтянуть, из

сарая выскочить, ан родитель мой к самой оконнице подкатил да исправнику в баки орленую бумагу и сунул:

— Не шуми, роцца, дубраву разбудишь... Теперь захочу, хочь Серому весь хвост бубенцами изукрашу. Читай, ваше скородиел!

Глянул исправник в бумагу, аржалук запахнул да ко-та любимого, который с подоконника лапкой его теребил, так об пол и шваркнул. На ком боле злость сорвать...

А папаша, умильный старик, тут пару и поддал:

— Переверни, господин, бумагу-то. Там для тебя самый смак-то и обозначен.

Обернул исправник папашин патент, а там и пропи-сано — хвост Фоме залупили да репей прицепили:

«Исправнику, имярек, за то, что папашу рядового Губарева пятой роты Галицкого полка напрасно изоби-дел, форменно воспрещается с колокольцами по своему городу-уезду раскатывать. Езжай, сукин кот, вглухую».

Съел он блин, даже и в маслице не омакнувши. Как у нас, братцы, говорится: приданое на грядке, а увечье на спине...

Засвистал папаша, покотил с громом-звоном соль-сахар закупать. Население из окон смотрит, рты на-стежь, собачки из подворотен — уши торчком — удив-ляются, городовые-стражники в затылках скребут. А папаше с высокого облучка наплевать. Ишь, как коло-кольчик наяривает:

«Трень-брень, теле-пень, на нос валенку надень»...

## КАБЫ Я БЫЛ ЦАРЕМ

Встал бы я утречком, умылся, чаю с бубличком на-пился, кликнул бы нашего фельдфебеля:

— Здорово, Ипатыч. Чай пил?

— Так точно, ваше величество. Какой же русский человек утром чаю не пьет?

— А солдаты пили?

— Никак нет. По раскладке в армейских частях на-турального чайного довольствия не полагается.

— Вишь ты, Ипатыч. А они, поди, тоже не венгерцы.

Русские, не хуже тебя. Отдай чичас через старшего писаря приказ, чтобы каждому солдату утром-вечером чаю полную миску выдавали, хочь залейся. И сахару по четыре куска.

— И по одному хватит, ваше величество. Солдат и вприкуску попьет. А то вся армия в день пуда четыре схряпает — расход-то какой!

— Эх ты, баран пузатый. Тебе с ротного котла не то что внакладку, и на варенье с приплодом твоим хватает. А солдатские куски на весах прикидываешь? Сею ж минуту распорядись, чтоб парадный мой золотой портсигар в импералы перелить, на чай-сахар солдатам, поди, на год хватит. Я в случае надобности и из серебряного покурю.

— Как же, ваше величество, возможно! Ежели к вам шах персидский в гости приедет, у него портсигар весь червонного золота, алмаз на алмазе, а у вас простого серебра. Несоответственно выйдет.

— Не бубни, Ипатыч. Фазана, поди, видал: зад у него да хвост весь золотистый, аж солнце перешибает, а что он против русского серого орла может? Ась?

\* \* \*

В полдень ко мне адъютант с докладом заявляется. Кого чином повысить, какому полку шефские вензеля за отлично-усердную службу презентовать.

— Ну, это дело не важное. Не горит. Морсу, ваше скородие, не угодно ли?

— Покорнейше благодарим.

— А вы стульчик возьмите. Я хочь и царь, однако обращения простого... Хочу я, ваше скородие, распоряжение по всем войскам сделать, чтоб солдат под гребенку до голого места не стригли. Пущай кажный с фантазией себе прически делает, кому что по вкусу.

— Да ведь по уставу, ваше величество, не полагается. Другой себе такой дикий чуб отпустит, что всю линию строя испортит...

— А ты мне уставом глаза не коли. Как захочу, так устав твой и поверну. Завидно тебе, что ли? Сам небось наклю себе взбил, девушкам на погибель... Опять же ка-

заки во какие чубы носят, однако же империи от этого никакого убытка.

— Так то ж кавалерия, ваше величество. Казакам для форсу начес полагается. Для устрашения супротивника...

— А пехота, по-твоему, шиш собачий, что ли? Не перечь, а то прикажу тебя самого под нулевой номер обкорнать, вот тогда, сокол, и поговоришь...

Насупился мой адъютант, морсу не допил, вон вылетел. Ну, что ж... Ужели я, царь, у адъютанта на поводу ходить буду?..

\* \* \*

Только я его сбыл, в дверь специальный зауряд-военный чиновник вкатывается.

— Эстафета от шведского короля. Хочет он свою племянницу, природную принцессу, к вашему величеству в гости прислать. Как она себя во всей форме в девицах сохранивши, а вы человек холостой, желает король, надо полагать, вас на брак подбить. Ему лестно, да и нам не зазорно... Хоть мы шведов и били, однако ж держава не последняя.

— Пошли, — говорю, — ты шведского короля на легком катере к шведской матери... Ежели мне в голову вступит, на своей, русской, женюсь. Шведки ихние из себя голенастые, разве с нашей пшеничной сравнить!

— Никак, ваше величество, невозможно. Министры вам воспретят. Потому им желательно по ходу политики со Швецией марьяжный интерес вести...

— Звание, — говорю, — у тебя полуофицерское, а в голове у тебя тараканы портянку сосут. Мои министры пушай хоть на венгерских козах женятся, а я патреот. Что ж ты мне политикой козыряешь? Сам-то небось на русской женат?

— Так точно. На Авдотье Кузьминишне. Дамочка из себя очень авантажная.

— Ну вот видишь... А сам ко мне с эстафетой суешься. Разжалую вот тебя в первобытное состояние — и следа от тебя не останется...

— А может, ваше величество, шведскую-то хочь для

посмотрения пригласить? Чай, не слиняет? Не контракт же с ней заключать с одного маху... А вдруг она из себя антрекот с изюмом? На сливках вскормлена, обхождение специальное, одним словом — принцесса.

— Дадено, видно, тебе в ручку. Да как же я с ней без языка легкий любовный разговор вести буду?

— Переводчика к вам, ваше величество, из генералов приставят.

— Ну вот, братец, сразу и видать, что окромя чернильницы да Авдотьи Кузьминишны ты ни к одному женскому предмету и не прикасался. Какой в таких делах переводчик? Как же это я на гармонии через чужие руки играть буду... Проваливай к псам... Житья от вас царю нету. Ступай на конский завод, там и распоржайся, а я когда хочу, на ком хочу и сам обженюсь...

До того он меня, братцы, разбередил, что цельную бутылку мадеры я один без закуски выцедил, дверь на крючок замкнул, под царским балдахином распростерся и до самого обеда, как бугай, провалялся.

\* \* \*

Просыпаюсь. Чего, думаю, закусить-выпить? А ты у меня, стало быть, Сидорчук, в денщиках. Чего ж ты, дурак, заржал? Не в фельдмаршалы же тебя, вахлака, сразу определять.

— Эй, — кричу, — Сидорчук! Индюшка у нас со вчерашнего дня осталась?

— Так точно, ваше величество... Лапки я действительно сгрыз, а около гузка еще сладкого мяса наскреести можно.

— Тащи сюды. Экой ты до лапок интересующийся. Да рябиновой новый штоф откупори. Садись супротив, хватим по лампадке. Спешить в летнее время некуда...

— Как же я, ваше величество, при вашей должности выпивать с вами буду? Сокол когда пьет, мелкие пташки за кустами трепещут.

— А я тебе повелеваю. Все, брат, теперь в моей власти. Сегодня ты денщик, а завтра, захочу, — хочь в бабы тебя произведу.

— Покорнейше благодарим.

Само собой — лохань ты свою чичас настезь и мало что не с рюмкой рябиновую заглотал.

Выпили мы по второй. Две сестры милосердия над нами веерами для температуры машут.

— Что ж, Ваня, — спрашиваю я тебя, — теперь я царь, пользуйся. Отчего ж для землячка не постараться. Только ты не очень загибай, линию свою помнить надо.

— Да вот, ваше величество, — отделенный, ефрейтор Барсуков, оченно уж себе позволяет. Вчерась я бляху на поясе не до жару заворонил, так он меня бляхой, извините, в скулу.

— Своротил?

— Никак нет. Я завсегда назад подаюсь. Да обидно уж очень — давно ли его самого хлестали...

— Ладно, Барсуков, говоришь? Назначаю я его при тебе в денщиках состоять. Вот и отыграешься... Чего регочешь-то? Шиш какой твой отделенный. Захочу, хочь в водовозную бочку его запрягу, ежели он моих солдат почем зря бляхой потчует.

Охватили мы с тобой штоф. Генералы в дежурной комнате покашливают. Да мне куды ж спешить? Чай, все с клязуами, друг под дружку подкапываются. Глянул я в фортку — а на дворе все та же хреновина: солдатики с разгону чучелу колят.

— Эй! — кричу. — Отставить. Будет вам, черти, соломленную кровь проливать. Распускаю всех на три дня, три ночи... Кажному по рублю, а кто из моей губернии — четвертак прибавлю... Вали в город. Только чтоб без безобразия: кто упьется, веди себя честно — в одну сторону качнись, в другую поправься.

Рота, само собой, довольна. Сгрудились земляки под окошком, морды красные, орут, аж дворец золотой трясетя:

— Покорнейше благодарим, ваше величество! А уж насчет поведения, будьте покойны — не подгадим... Только позвольте доложить, нельзя ли всем по рублю с четвертаком, а то обидно. Чай, и прочие губернии не хуже твоей...

Вышел я на малахитовый балкон, с ласковостью отвечаю:

— Пес с вами. Мне четвертаков не жалко, сколько захочу, столько и начеканю.

Грохнули землячки, аж железо на крыше загудело:

— Уррра! Сейчас тебя, ваше величество, качать придем.

— Нельзя, братцы, должность моя не позволяет... Смирно! В одну шеренгу стройся. На первый и второй рассчитайсь. Какой там хлюст на правом фланге разговаривает? Я тебе поговорю! Ряды вдвой! Отставить. Чище делай! Сидорчук, вали с ротой за старшого. В случае чего я тебе голову отвинчу... Спасибо, орлы, за службу!.. С Богом... Ать-два, ать-два... Дай ножку.

Упарился я, в кабинет свой взошел. Сестер с веерами к лысой матери отпустил — тоже их, поди, женихи в городском саду дожидаются.

Вышел я к генералам, за ручку поздоровался:

— Эк вы, ваши превосходительства, бумаг нанесли, все на нашу солдатскую голову. Ведь вот турки без канцелярии живут, а войско у них знаменитое... На три дня вас распускаю, авось государство не треснет.

Генерал-майорам по два рубля роздал, генерал-лейтенантам — по трешке. Полным генералам, старичкам малокровным, — ни полушки: не пьют, не курят, барышню встретят — губу на локоть, слюнка по сапогам. Футляр парадный, а скрипка без струн. Куды таким деньги?

— Валите, ваши превосходительства, а я опять сосну. Рябиновая водка — нежная. Простой штоф раздавивши, «соловья-пташечку» петь заставил... А теперь ничего. Счастливо оставаться.

\* \* \*

К закату очухался. Изжога у меня, не приведи Бог, — будто негашеной известики нажрался. В баню, что ли, сходить, либо для перебоя чувств цымлянское выпить? Однако ж сам себя и осадил: главные законы, думаю, писать надо, а цымлянское от нас не уйдет. Министры — им что, абы жалованье получать да царю что ни попало подсовывать. Один, скажем, на своем посту

находясь, на голой ладони волос бреет, другой, на его должность заступивши, — на той же ладони волос сеет. Только и разницы. А я что ж? Печать к пустой бочке, что ли?..

Сел я за столик. Задумался. Перво-наперво, как я человек военный, об войске подумал. Срок службы решил вдвое урезать. В четыре года перебежкам да бегу на месте и верблюда обучить можно, а русский солдат не идеот вяленный, и двух лет ему с горбушкой хватит... Пусть за сбавку службы население пополняют да землю пашут, чем зря казенными подметками хлопать.

Кавалерию, особливо легкую — мыльное войско — начисто срежу... Только пыль от них да горничные пухнут. Однако ж для царских парадов, по случаю приезда афганских принцев, чтоб плац расцветить, — три легкокоженских гусарских полка сформирую. Баба к лошади в линию фигуры вполне подходит, тыл у нее крутой... А ежели по всем швам бляшки да шнуручки, очень это ей соответствует. На войну брать их не буду — по всему фронту пойдут крутить, ни один солдат в окопах не усидит.

Морячкам тоже фитилек вставлю: год во флоте, год в армейской пехоте. Чтоб, ежели придется, вровень с нами страдали. А то ленточки пораспустили, штаны с начесом, порция усиленная... Война грянет — он кой-когда, пес, по пустой воде выпалит, а у нас, сухопутных, что ни день — полный урон...

Летчикам — первое место. Серебром обложу, золотом прикрою. В строю каждый гунявый — герой, — не откажешься. А он в одиночку на стальном жуке в неизвестном направлении орудует. Облака да Бог — сам бы Скобелев призадумался.

Насчет фельдфебелей по всем частям приказ отдам: чтобы, когда по ротным школам солдаты над грамотой преют, они б, жеребцы стоялые, нижних чинов за уши не тянули. Вольноопределяющий только по картонбуквам слогам обучит, а фельдфебель за ухо: «Тяни, сукин кот, гласную букву, чтоб гласно выходило!..» Этак и ушей не хватит. И чтобы библиотечки ротные везде заведены были. Для чего ж и грамота, ежели в шкапчике.

окромя уставчика внутренней службы да жития преподобной Анфисы-девы, — ни боба. Что же это за модель: печку завели, а топить воспрещается.

Опять же насчет солдатских жен... Я, скажем, холостой, сердце у меня вакантное. А другой, женатый, наплачется. Он тут прыжки да плавное на носках приседание делает, царскую службу несет, а жена евонная в деревне рассусоливает. То семинарист к батюшке на легкие каникулы припрет — к кому ж ему, как не к солдатке, припаяться? Сладкая водочка да стручки — в роту пойдут комаров считать, — ан глядь, ей теплым ветром и надуло. Снохачи тоже попадаются лакомые: днем поплавок в лампадке поправляет, а ночью к рыбе по стенке пробирается. Альбо в город которая сама подается в черные куфарки — кто мимо ни пройдет, норовит ее за подол: почем аршин ситца? Как горох при дороге...

Занятие это, ребята, я форменно прекращу. Всех солдаток по уездам велю в одну фатеру сбить, правильных старушек к ним, на манер старших, приставлю. Шей, стряпай, дите свое качай, полный паек им всем от казны. Солдаты ихние в побывку раз в полгода заявляются. Честь честью. А какая против закона выверт делает, в гречку прыгнет, — в специальный монастырь ее на усмирение откомандировать, чтобы солдатских чистых щей дегтем не забеливала...

В ротах прикажу для легкости прохождения службы всем желающим балалайки выдать либо гармонию, что кому по вкусу. Освещение удвою, что ж после проверки утопленниками по темным койкам сидеть... Дисциплина дисциплиной, а час в сутки и дятлы веселятся. По булке с маком каждому предоставляю, ужели в России пшеницы на нижних чинов не хватит?.. Струнки бренчат, чаек кишки греет, кто грамоте горазд — сонник читает, кто земляку на койке салазки загибает. Унтера в стороне за своим чайничком сидят, глазами зыркают — а насчет замечаний ни-ни... Потому час не ихний.

А по праздникам я сам все роты самолично обойду. Да чтоб не тянулись — смотри у меня! Поздоровкались — и будет. Понанесут мои лакеи и жареного и па-

реного, корзин со сто. За провизией не постою — не таковский... Барышень городских пригласим — Сидорчук у нас мастак. Да как грянем в шесть гармоний кудрявую польку — аж до офицерского собрания докатится. «Ти-ли, ти-ли, черта брили, завивали хохолок...»

Жалованье вам всем, само собой, утрою. На полтинник в месяц и мышь не разгуляется. Солдат, хочь и нижний чин, чай, из того же ребра сделан. Выпить да покурить и ему хочется, и мылом-резедой в праздник умыться всякому антересно. В орлянку опять же на пуговку от штанов не сыграешь...

Да еще вот. Ежели под ружье солдата ставят, полную выкладку на него навьючивают — чтобы у чистого крыльца его на потеху фельдфебельским дочкам не выставляли! А на задворках. Чтоб тихо-мирно он наказание отбыл, чтоб в душу ему помету не подсыпали... Обязательно приказание отдам.

А по гражданской части уж я, братцы, и не знаю... Созову разных сословий старичков — умственные из них попадаются. Так, мол, и так, отцы... Государство наше, поди, поболее Турции, а живем кисло. Голова в золоте, тело в коросте. Дворцы да парады, кумпола блестят, в театрах арфянки гремят, гостиные дворы финиками-пряниками завалены, а у нас в деревне кругом шестнадцать. Леший в дырявом лапте катается, сороковкой погоняет, онучей слезы утирает... Афганскому прыщу пирожок на золотом блюде показываем, а начинка тараканья. Я царь, мне это досадно. Ежели надо, жалованье мне урежьте, я и из солдатского котла попитаюсь — только полный порядок наведите.

Да засажу их, чертей-старичков, в отдельный дворец — пей-ешь, хочь пуговики напрочь, — а кругом строгий караул поставлю. До той поры их, иродов сивоусых, не выпущу, пока до настоящей точки не дойдут... Аль у нас в России золота под землей не хватит, аль реки наши осокой заросли, али земля наша каменная, али народ русский в поле обсевок? Почему ж эдакую прорву лет из решета в сито переливаем, а так до правильной жизни и не достигли?..

\* \* \*

Обдумал я все главные дела, ан тут и ночь накатила. Дежурные сестры перину взбили, горностаевое одеяльце отвернули:

— Пожалуйте, ваше величество. Простым солдатам редька с квасом снится, а вам пущай рябчик в сметане. Счастливо оставаться. Завтра чуть свет щиколладу мы вам миску принесем да сала полфунта. Рубашка ночная у вас под подушкой, потому цари в дневной не спят.

Фукнули они за дверь. Один я, как клоп, на одеяле остался. Тоска-скука меня распирает. Спать не хочется — днем я нахрапелся, аж глаза набрякли. Под окном почетный караул: друг на дружку два гренадера буркулы лупят — грудь колесом, усы шваброй. Перед опочивальней опять же двое. Дежурный поручик на тихих носках взад-вперед перепархивает. Паркет блестит... По всем углам пачками свечи горят — чисто, как на панихиде. То ли я царь, то ли скворец в клетке...

Хлопнул я в ладони — из задней дверки денщик Сидорчук появляется, сам, стерва, жует чтой-то. До царской куфни дорвался...

— Пойди в роту. Отдай чичас приказание, чтоб койку мою сюда приволокли. А энта бабья мякоть мне без надобности.

Горностай за хвост на пол сдернул, перинку носком поддал.

— Неудобно, ваше величество. Фельдфебель и тот на мягком спит. А при вашей должности...

— Ты, что ж это, присягу забыл? Без рассуждений! Как двину тебя по мордовской волости, так до самой роты и докатишься. Шарика с собой прихвати, развлекусь хочь с собачкой...

— Да как же, ваше величество, возможно? Разве ж дежурный поручик простого ротного пса пропустит?

— А я тебе свой перстень дам. Покажешь — так и кобылу пропустит.

Через пять минут, слышу, волокут мою койку. Шарик, обормот, так козлом с радости на часовых и сигает. Вскочил в опочивальню да меня в губы. Эх ты, собачка, друг закадычный!

Расклали солдатики койку — Курослеп да Соленый,

нашего взвода. Столбами вытянулись, глазами меня так и едят.

— Садись, — говорю, — ребята. Чего там. Чичас нам Сидорчук белую головку откупорит. В остатний раз с вами выпью. Садись, не бойся. Я вам повелеваю.

Только это мы расположились — Сидорчук нам ментальную закусочку соорудил, — сало поджарил, так на сковороде и скворчит... Глядь, из-за двери рука в гадунах просовывается, пакет подает.

— Что такое?! Ни днем ни ночью царю от вас передышки нет. Видишь, люди закусывают. Положь пакет на ларь в передней, авось не примерзнет.

Однако за рукой сам курьер так лапшой в щель и тянется.

— Спешно, секретно, в собственные руки — прочитайте от скуки. Расписание занятий вашему величеству на завтрашний день.

Принял я бумагу, водку с досады пробкой заткнул, чтобы градус не выдыхался. Курьеру на чай гривенник дал — человек подначальный: хочь бешеную собаку ему за обшлаг сунь — обязан доставить.

Вскрыл я конверт, а там скоропишущей машинкой цельная колбаса отбита, лопатой не проворотишь:

«В семь утра — в манеж гусарскую фигурную езду смотреть; в восемь — дагестанскому шаху тяжелую артиллерию показывать; в девять — юнкарей с производством поздравлять; в десять — со старым конвоем прощаться; в одиннадцать — свежий конвой принимать; в двенадцать — нового образца пограничной службы пуговки утверждать; в час — с дворцовым министром расход проверять; в два — подвойный крейсер спускать; в три — греческого короля племяннику ленту подносить...»

Да два парада гвардейских, да один армейский, да вечером бал — бык с елки упал! — турецкий посол за моего конвойного есаула троюродную внучку отдает... Анчутка вас задави! Дале я и читать не стал. Дрожки без колес, в оглоблях пес — вертись, как юла, вокруг овсяного кола...

Подошел я к царскому телефону, шарманку повертел, снова зауряд-чиновника вызвал:

— Дзынь-дзынь. Царь говорит. Реестр я ихний получил, бабку их под каблук. А что мне будет, ежели я наряда этого не исполню?

— Никак невозможно, ваше величество. Солнце цельный день по небу бродит, тоже много чего зря освещает. Не откажешься.

— Да когда ж при таком расписании я настоящее исполнять буду?

Слышу я, усмешается он, стрекулист, по проволоке, шершавым голосом с почтительностью отвечает:

— А может, энто по реестру — настоящее и есть? По всем странам один прейскурант. Поперек койки, ваше величество, не ложись — а то ножки замлеют...

Плюнул я в трубку, к землякам отошел:

— Ну, что ж, землячки, выпьем... Пошлины взяты, товар утонул. Дело энто еще обмозговать надо.

Скука-тоска меня распирает — аж сало горчит. Допили мы сороковку, не пропадать же царскому добру. Походил я по ковру, жука майского, что сдуру в царскую опочивальню залетел, в окно выпустил... Ан тут меня и осенило:

— Тащи, ребята, койку обратно. Простите, что зря потревожил...

Что ж, думаю, власть моя еще при мне. Не все карты биты, один козырь остался. Авось отыграюсь...

Сел за столик да и стал приказ писать: самого себя в рядовые приказал разжаловать да в свою роту тую ж минуту откомандировать. А за беспокойство повелел себе из царского сундука сапоги на ранту выдать. И сразу ж, братцы, точно утюг отрыгнул — легко мне стало просто до невозможности...

Вот, можно сказать, и поцарствовал. Как у нас говорится: нашел леший клубук, а взять убоялся...

## КОРНЕТ-ЛУНАТИК

Кому что, а нашему батальонному первое дело — театры крутить. Как из году в год повелось, благословил полковой командир на Масленую представлять. Прочих солдат завидки берут, а у нас в первом батальоне лафа.

Потому батальонный, подполковник Снегирев, начальник был с амбицией: чтоб всех ахтеров-плотников-плясунов только из его первых четырех рот и набирали. А прочие — смотри-любуйся, в чужой котел не суйся.

Само собой, кто в список попал, послабление занятый. Взводный уж тебя на ружейных приемах не засушит, пальчики коротки. И вопче жизнь свежая, будто вольного духу хлебнешь. Лимонад-фиалка...

\* \* \*

Словом сказать, столовый барак весь в ельнике, лампы-«молнии» горят, передние скамьи коврами крыты, со всех офицерских квартир понашарпали. Впереди полковые барыни да господа офицеры. Бригадный генерал с полковым командиром в малиновых креслах темляки покусывают. А за скамьями — солдатское море, голова к голове, как арбузы на ярмарке. Глаза блестят, носами посапывают — интересно.

А на помосте — кипит... Вольноопределяющий — подсказчик из собачьей будки — шипит-поддает. Да и поддает для проформы, потому рольки назубок раздраконены, аж сам батальонный удивляется. «Ах, — говорит, — и сволочи у меня, лучше и быть нельзя».

Все, само собой, в вольном платье: кто барином в крахмале, кто купцом пузатым, кто служающим половым-шестеркой. Бабьи рольки тоже все свои сполняли. Прямо удивления достойно... Другой обалдуй в роте последний человек, сам себе на копыта наступает, сборку-разборку винтовки, год с ним отделенный бьется, — ни с места. А тут так райским перышком и летает — ручку в бок, бровь в потолок, откуль взялось...

А всех чище вестовой батальонного командира, Алешка Гусаков, разделявал. Барыньку представлял, которая сама себя не понимала: то ли ей хрену с медом хочется, то ли в монастырь идти. То к одному, то к другому тулится, мужа своего, надо быть, для поднятия супружеской любви, дразнила... Мужчины за ей, конечно, как сибирские коты, так табуном и ходят. Ей что ж?.. Пожевать да выплюнуть. Плечиком передернет, слово с поднамеком бросит, аж весь барак от хохота трясется.

Бригадный генерал слезы батистом утирает, полковой командир ручкой отмахивается, батальонный уж и смеху лишился — только хрюкает. А адъютант полковой столбом встал и все взад оборачивается, солдатам знак подает:

— Тише вы, дуботолки, из-за вас никакой словесности не слышно.

Чистая камедь!.. Как развязка-то развязалась — барин в густых дураках оказался, на коленки пал. А Алешка Гусаков в бюстах себе рюшку поправляет, сам в публику подмигивает — прямо к полковому командиру рыло поворотил, — смелый-то какой, сукин кот... Расхлебали, стало быть, всю катну, занавеску с обеих сторон стянули — плеск, грохот, полное удовольствие.

Ну, тут батальонный по-за сцену продрался, Алешку в свекольную щеку чмокнул, руками развел:

— Эх, Алешка! Был бы ты, как следует, бабой, чичас бы тебя на свой счет в Питербург на императорский театр отправил... В червонцах бы купался. Не повезло тебе, ироду, родители подгадили...

\* \* \*

Камедь отвалили, вертисмент пошел. Кажный, как умеет, свое вертит. Солдатик один на балалайке «Коль славен» сыграл до того ладно, будто мотылек по невидимой цитре крылом прошелестел. Барабанщик Бородулин дрессированного первой роты кота показывал: колбаску ему перед носом положил, а кот отворачивается — благородство свое доказывает. А как Бородулин в барабан грянул, кот колбаску под себя и под раскатную дробь всю ее как есть с веревочкой слопал. Опосля на игрушечного конька влез, Бородулин перед им церемониальный марш печатает, а кот лапкой по усам себя мажет — парад принимает. Так все и легли...

Между прочим, и Алешка Гусаков номер свой показал: как сонной барыне за пазуху мышь попала... Полковница наша в первом ряду так киселем и разливаается, только грудку рукой придерживает... Кнопки на ней все напрочь отлетели, до того номер завлекательный был. Потом то да се — хором спели с присвистом:

Отчего у вас, Авдотья,  
Одеяльце в табачке?

Гусаков за Авдотью невинным фалынцетом отвечает. Хор ему поперек другой вопрос ставит, а он и еще погуще... С припеком.

Батальонный только за голову хватается, а которые барыни — ничего, в полрукава закрываются, иначе не уходят...

Кончилось представление. Господа офицеры с барыньками в собрание повзводно тронулись, окончательно вечер пополировать. Гусаков Алешка земляков, которые уж очень руками распространялись, пораспихал. «Не мыльтесь, братцы, бриться не будете!» И, дамской сбруи не сменивши, узелок с военной шкуркой под мышку, да и к себе. Батальонный евонный через три квартала жил — дома, не торопясь, из юбок вылезать способней...

\* \* \*

Вылетел Алешка за ворота, подол ковшиком подобрал, дует. Снежок белым дымом глаза пушит, над забором кусты в инее, как купчихи в бане расселись. Сбил Гусаков с дождевой кадки каблучком сосульку, чтобы жар утолить. Сосет-похрустывает, снег под им так ласточкой и чирикает.

Глядь, из-за мутного угла наперерез — разлихой корнет: прибор серебряный, фуражечка синяя с белым, шинелька крыльями, вдоль разреза так и взлетает... Откель такой соболев в городе взялся? Отпускной, что ли? И сладкой водочкой от него по всему переулку полыхает.

Разлет шагов мухобойный — раскатывает его на крутом ходу, будто черт его оседлал, — а между прочим, и не так уж слизко. Врезался он в Алешку, ручку к бровям поднес, честь отдал.

— Виноват. Напоролся... Куда ж это вы, Хризантема Агафьевна, так поздно? И как это вас мамаша-папаша в такой час одну в невинном виде отпускают?

Ну Алешка не сробел, в защитном дамском виде ему что ж...

— А что, — крик, — мне папаша с мамашей могут воспретить? Я натуральная сирота. А припоздала по случаю театра... И насчет тальмы не распространяйтесь, мои пульсы не для вас бьются!..

Корнет, само собой, еще пуще взыграл.

— Ах, ландыш пунцовый! Да я что же? Сироту всякий военный защищать обязан... Грудью за вас лягу.

Алешка тут, конечно, поломался:

— Мне, сударь, ваша грудь ни к чему. У меня и своя неплохая...

— Ах, Боже ж мой... Да я ж понимаю! А где, например, ваш дом?

— За дырявым мостом, под Лысой горой, у лешего под пятой.

— Скажи, пожалуйста... В самый раз — по дороге.

И припустил за Алешкой цесарским петухом, аж шпоры свистят.

Видит Алешка — дело мат. Обернул он вокруг руки юбку, да и деру. До калитки своей добежал, к крыльцу бросился, только ключ повернул, глядь, корнет за плечами... Иного вино с ножек валит, а его, вишь ты, как окрылило.

Испугался солдат, плечом деликатно дверь придерживает.

— Уходите, ваше благородие, от греха. Дядя мой в баню ушедши. С минуту на минуту вернется, он с нас головы поснимает.

— Ничего! Старички, они долго парятся. А насчет головы не извольте тревожиться, она у меня крепко привинчена. Да и вашу придержим.

И в дверь, как штопор, взвинтился. Шинельку на пол. За Алешку уцепился, да к батальонному в кабинетный угол дорогим званым гостем, как галка в квашню, ивалился. Выскользнул у него Алешка из-под руки. Стоит, зубками лязгает. Налетел с мылом на полотенце... А что сделаешь? Хоть и в дамском виде, однако простой солдат, — корнета коленом под пуговку в сугроб не выкатишь...

Сидит корнет на диване, разомлел в тепле, пух на губе щиплет, все мимо попадает. А потом, черт вялый, разоблакаться стал: сапожки ножкой об ножку снял, мундир на ковер шмякнул...

Гостиницу себе нашел. Сиротский дом для мимо-проходящих... Шпингалет пролетный. И все Алешку ручкой приманивает:

— Виноват, Хризантема Агафьевна, встать затрудняюсь. А вы б со мной рядом присели. На всякий случай... У меня с вами разговор миловидный будет...

Пятится Алешка задом к дверям, будто кот от гадюки, за портьерку нырнул — и на куфню. Дверь на крючок застегнул, юбку через голову — будь она неладна. Из лифчика кое-как вылез, рукав с буфером вырвал, с морды женскую прелесть керосиновой тряпочкой смыл, забрался под казенное одеяльце и трясется. «Пронеси, господи, корнета, а за мной не пропадет! Нипочем дверь не открою, хочь головой бейся!» Да для верности скочил на голый пол и шваброй, как колом, дверь под ручку подпер.

А корнет покачался на спружинах, телескопы выпучил, муть в ем играет, в голове все потроха перепутались. Сирота-то эта куда подевалась? Курочка в сережках... Поди, плечики пошла надушить, дело женское.

Глянул он в уголок — видит, на турецком столике чуть початая полбутылка шустовского коньяку... С колокольчиком. Потянулся к ей корнет, как младенец к соске. Вытер слюнку, припал к горлышку. «Клю-кля-кля»... Тепло в кишки ароматным кипятком вступило — каки уж там девушки! Да и давешний заряд немалый был.

Снежок по стеклу шуршит. Барышня, поди, ножки моет — дело женское. Ну и хрен, думает, с ней... И не таких взнуздывали.

Бурку подполковничью на себя по самое темя натянул, ножками посучил. Будто в коньячной бочке черти перекатывают. Так и заснул под колыбельный ветер, словно мышь в заячьем рукаве. Жернов — камень тяжелый, а пьяный сон и того навалистей.

\* \* \*

На крыльце калошки-ботики скрипят. Ворчит батальонный, ключом в дырку попасть не может. Однако добился. Не любит зря середь ночи денщика будить... Да и без того Алешка сегодня в театре упарился.

Ввалился в дверь, в пальцы подышал. Видит, из кабинета-покоя свет ясной дорожкой стелется: Алешка, стало быть, ангел-хранитель, постель стлал — лампу оставил. И храп этакий оттудова залиvistый, должно, ветер в трубе играет.

Ступил подполковник Снегирев на порог, глаза протер — отшатнулся... Что за дышло! Поперек пола офицерский драгунский мундир, ручки изогнувши, серебряным погоном блещет, сапожки лаковые в шпорках, как пьяные щенки, валяются... А на отомане, под евоенной буркой, живое тело урчит... Кто такой? По какому случаю? Сродников в кавалерии у батальонного отряда не было... Что за гусь сквозь трубу в полночь ввалился?

Поднял он тишком край бурки — личико неизвестное. А на корнета свежим духом пахнуло — потянулся он, суставами хрустнул и, глаз не продирая, с сонным удовольствием говорит:

— Пришли, душечка? Ну что ж, ложитесь рядом, а я еще с полчаса похраплю...

Но тут батальонный загремел:

— Какая такая я вам душечка? По какому такому праву вы, корнет, на мой холостой диван с неба упали, и почему я с вами рядом спать должен? Потрудитесь встать по службе и короткий ответ дать!

Да бурку с него на пол.

Корнет, само собой, от трубного гласа да от ночной прохлады вскочил репкой, зеньки вытаращил... Равноесие поймал, ручки по швам, и хриплым голосом в одних носках выражает:

— Извините за ради Бога, господин полковник, вы, стало быть, ейный дядя?

— Кому я, псу под хвост, дядя?.. Ежели вы, корнет, из сумасшедшей амбулатории сиганули, так я, слава Создателю, подполковник Снегирев, еще по потолок

пятками не хожу. Кто вы такой есть и почему я вас под своей буркой, как подброшенного младенца, нашел?

Зарумянился корнет; однако вылезать-то из невода надо.

— К племяннице вашей я точно подкатился. Однако будьте без сумления. Все честь честью. Потому как на вокзале, по случаю заносов, застрял, — сразу, к вам ввалившись, на отомане и заснул. А насчет намерений ничего у меня не было. Оне девушки хладнокровные даже до невозможности.

Рассвирепел тут батальонный, крючок на воротничке сорвал:

— Да вы что ж это, корнет, со мной в чехарду играете?.. Отродясь у меня племянницы не было. Я человек вдовый и над собой таких насмешек не дозволю. Да, может быть, вы и не корнет, а, извините, жулик маскарадный? Да я чичас всю вашу сбрую запрю, а вас к воинскому начальнику на рассвете в одних прохладных рейтузах отправлю... Эй, Алешка!..

Почернел гость залетный в лице, ан тут не взовьешься. Потерял голову — поиграл желвачком. Однако сообразил: из тылового кармана билет свой отпускной вынул. Так, мол, и так — занапрасно позорить изволите. А насчет племянницы, Бог ей судья. Либо я перепил, либо недопил — наваждение такое вышло, что и сам начальник главного штаба карандаш пососет.

Повертел батальонный офицерскую бумажку в руках, языком цокнул, засовестился:

— Прошу покорно меня извинить. Я человек полнокровный, да и случай больно уж сверхштатный. Может, Алешка в энтот разе узелок развяжет. Эй, Алешка! Горниста за тобой спсылать, что ли?

\* \* \*

Является, стало быть, Алешка. В темном углу у портьерки стал, шароварки оправил, руки по швам, стрункой. Батальонный ему форменный допрос делает:

— Дома был все время?

— Так точно. На куфне, вас дожидавшись, у столика всхрапнул.

— Рожа у тебя почему в саже?

— Самоварчик для вашего высокородия ставил... В трубу дул, а оттедева от напряжения воздуха сажа в морду летит. Куда ж ей деваться?

— Ладно, не расписывай. Господина корнета видишь?

— Так точно.

— Хорошо видишь? Возьми глаза в зубки.

— Явственно обозначается. Мундир ихний и сапожки на ковре лежат, а их благородие отдельно стоят изволят. Прикажете подобать?

— Не лезь, рукосуй, пока не спрашивают! Как их благородие к нам попал?

— В гости с вашим высокородием, надо полагать, явились. Чайку с лимоном прикажете на две персоны, либо каклетки со сладким горошком разогреть?

— Погоди греть, как бы я тебя сам не взгрел... А вот я тебе расскажу. Дверь я ключом сам открыл — была на запоре. Понял?

— Так точно. Сам на два поворота замкнул. Замок у нас знаменитый.

— Так-с... Взошел в кабинет, ан у меня на отоманке под буркой теплый корнет храпит. Вот они-с. Что ты на это скажешь? В замочную дырку он пролез, что ли?

— Никак нет. Замочную дырку я завсегда с унутренней стороны бляшечкой прикрываю...

Усмехнулся батальонный, да и корнет повеселел — сел на стул сапожки натягивать. Ишь какой, мол, солдат аккуратный.

— Так-так. Мозговат ты, Алешка, да и я не на глине замешен. Каким же манером, еловая твоя голова, корнет к нам попал? Тут, брат, не замком — чудом тут пахнет.

— Не могу знать! Насчет чудес полковой батюшка больше меня понимают. А только дозволейте разъяснение сделать...

— Говори. Ежели дельное скажешь, полтинник на пропой дам.

— Весной, ваше скородие, случай был: полковой ка-

пельмейстер по случаю полнолуния на крыше у городского головы очутился. Извольте помнить?

— Ну-с?

— Сняли их честь честью. Пожарные солдаты трехколенную лестницу привезли. Доктор полковой разъяснение сделал, будто это у них вроде лунного помрачнения. Лунный свет в них играл...

— Ну-с?

— Может, и их благородию таким же манером паморки забило...

Посмотрел батальонный на корнета, корнет на батальонного, оба враз рассмеялись.

— Ну, это ты, ангел, — говорит корнет, — моей гнедой кобыле рассказывай! Какое же теперь полнолуние, луны и на полмизинца нынче нет.

— Да, может, ваше благородие, в вас это с запрошлой луны действует? Вроде лунного запоя...

Махнул батальонный рукой:

— Заткнись, Алешка! Не то что полтинника, гривенника ты не стоишь. Посадил корову на ястреба, а зачем — неизвестно... Тащи-ка сюда каклеты. У меня от ваших чудес аппетит, как у новорожденного. Да и гость богоданный от волнения чувств пожует. Прошу покорно!

Тронулся Алешка легким жаворонком: пронесло, слава тебе, Господи. А батальонный ему в затылок:

— Стой! А чего это ты, шут, между прочим, все хрипишь? Голос у тебя в другую личность ударяет...

— Виноват, ваше скородие. Надо полагать, как в самовар дул, жилку себе от старания надсадил... Папироски на подоконнике, не извольте искать.

Да поскорее от греха два шага назад и за дверь.

\* \* \*

Сидят, закусывают. Снежок по стеклу шуршит, каклетки на вилках покачиваются. Пожевал батальонный, к коньяковой бутылке руку потянул: гнездо цело, да птичка улетела...

— Однако... И здоровы ж энти лунатики пить-то! Чокнуться даже нечем. Да вы будьте без сумления, пе-

хота не без запаса... Эй, Алешка, гони-ка сюда звербой, в сенях на полке стоит. Сурьезная водочка!.. А между прочим, корнет, здорового вы, надо быть, дрозда зашибли, допрежь того как в лунном виде под бурку мою попали. Ась?

— Так точно! По случаю заносов на вокзале флакона два-три пристроил.

— Конечно! Чего ж их жалеть... А за племянницей неизвестного дяди полевым галопом изволили все ж таки дуть? Я по службе вас старше... Сам кобелял в свое время. Валите...

— Так точно! Был грех.

— А в чем она, племянница, одевши-то была?

— В черной тальме. А может, и в белой. Снег в глаза бил, и я, признаться, на раскатах очень заносился... Вот платочек запомнил: в павлиньих узорах, округ головы зеленые махры...

Затоптал батальонный каблуками, глазки залучились, по коленке корнета хлопнул.

— Так и есть. Это ж вы за племянницей нашего старшего врача лупили. В театре она на камедь смотрела... Через дом от нас живет. Ах, корнет-пистон, комар тебя забодай! Ну и хват! Ан потом снежком ее занесло, ветром сдуло, а вы в мою калитку с двух бортов с разлета и попали... Ловко. Эй, Алешка!... Что ж звербой? Протодиакона за тобой спосылать, что ли?

А Алешка за портьеркой задержался, разговор ихний слушавши. Спервоначалу так весь сосулькой и заледенел, а потом видит, какой натуральный поворот делу даден, взошел бесстрашно, рюмками звякнул. Встал перед ими — душа на ладони — и дополнение светлым голосом сделал:

— Запомятовал, ваше скородие, виноват. Как за дровами в самую полночь в сарайчик отлучился — черный ход на самую малость у меня был не замкнут. Может, в эту самую дистанцию их благородое к нам в лунном виде и грохнули. Больше неоткуда, потому чердак у нас изнутри замазан. Таракан и тот не пролезет.

Объяснил чистосердечно, батальонный окончательно повеселел — военный начальник точность любит, а не то, чтоб на чудесном помеле корнеты сквозь

штукатурный потолок под бурку вваливались. Отпустил он Алешку сны досыпать, а сам по пятой зверобой-рюмке невинный вопрос задает:

— Ну что ж, сынок, пондравилась тебе докторская племянница? Лимон с гвоздикой!

— Так точно! Сужет приятный, да с крючка сорвалось... Руку только нацелился поцеловать — чуть зубов не лишился. Огонь девка!

Батальонный так и покатился.

— Эх ты, выюнош скоропалительный! Да она ж горбунья! В градусах да в снежной завирушке ты и не разглядел... Ручку? Ее ж потому одну домой доктор из театра отпустил, что все ее в городе знают... Кто ж на такую вилковатую березу окромя мухобойного залетного корнета и польстится?

Насупился корнет, губу щиплет. Досада!.. Да скорей за шестую рюмку. Зверобой конфуз осаживает, известно.

Поднял тут батальонный голову: ишь как в сенях ветер скворчит. Сквозь портьерку ему невдомек, что не в ветре тут суть, а энто Алешка, гнус, морду себе башлыком затыкает... Смех его разбирает — вот-вот по всем суставам взорвется...

## БЕСТЕЛЕСНАЯ КОМАНДА

Шел солдатик на станцию, с побывки на позицию возвращался. У опушки поселок вилами раздвоился: ни столба, ни надписи — мужичкам это без надобности. Куда, однако, направление держать? Вправо аль влево? Видит, под сосной избушка притулилась, сруб обомшелый, соломенный козырек набекрень, в оконце, словно бельмо, дерюга торчит. Ступил солдат на крыльцо, кольцом брякнул: ни человек не откликнулся, ни собака не взлаяла.

Наддал он плечом, взошел в горницу. Видит, на лавке старая старушка распространилась, коленки вздела, на полати смотрит, тяжело дышит. Из себя словно мурин, совсем почернела. В переднем углу вместо иконы сухая тыква висит, куриные лапки в одну шеренгу прибиты.

— Здравствуй, бабушка... Куда на станцию поворот держать — вправо аль влево?

— Ох, сынок... На обгорелый дуб целиной-лугом ступай. Пешему не заказано... Да не подашь ли мне, старой, водицы испить? Совсем, сынок, помираю!

Зачерпнул солдат ковшиком, сам все на передний угол посматривает.

— Что ж у тебя, бабушка, иконы-то не видать? Из татарок ты, что ли?

— Тьфу, тьфу, служивый!.. Русская я, орловской породы, мценского завода. Да знахарством все промышляла по слабости здоровья. Рукоделье такое: бес ухмыляется, ангел рукой закрывается. Стало быть, образ мне в избе держать несподручно. Всухомятку молюсь — на порог выйду, звездам поклонюсь, «Славу в вышних» пошепчу... Авось Господь Бог услышит.

— А по какой части, бабушка, ты орудуешь больше? По штатской аль по военной?

— По штатской, яхонт, по штатской. Остуду, скажем, между мужем-женой прекратить, альбо от зубной скорби заговорить... Деток кому подсудобить, ежели потребуется. Худого не делала. А по военной, что ж... В стародавние годы заговоры по ратному делу действовали, пули свинцовые отводили. А ныне, сынок, сказывают, кулеметы какие-то пошли. Так веером стальным и поливают. Управься-ка с машинкой этакой...

Вздохнул солдатик.

— Ну, бабушка, ничего. На себе поснесем да вас побережем. Кланяйся родителям, в случае чего... В прошлом году они скончавшись. Будь здорова, бабушка, помирай себе с Богом...

Только встал, обернулся — слышит, у ног тварь какая-то мяучит, о сапог мягкая шуба трется, а ничего не видит... Протер он обшлагом буркалы — что за бес... Пешка пустая у порога подпрыгнула, метла прочь сама откатилась, голос шершавый все пуще мяучит-надывается.

— Ох, — говорит, — бабка! Что ж это на наваждение? Душа кошачья у тебя по избе без лап, без хвоста бродит...

— А это, соколик, кот мой, Мишка. Плесни-ка ему молочка в плошку. Я сегодня по слабосильности и с лавки не вставала. Голоден он, чай.

— Да где кот-то, бабушка?

— Плесни, плесни. Экой ты, солдат, надоеда...

Налил солдат из крынки полную плошку. Глядит: молоко стрепенулось, кверху подпрыгивает, будто ложечкой кто сливки взбивает. Брызги во все стороны... Дрожит плошка, молоко убывает да убывает, глядь-поглядь — само в себя ушло, края подлизаны, даже до сухости...

Обалдел солдат, на бабушку уставился. Усмехается старушка.

— На войне был, а пустякам удивляешься. Настой-зелье я по своей секретной надобности сварила, остудить под лавку поставила. А он, дурак Мишка, сдуру лизнул — вот и бестелесным стал. Да пусть так бродит, мне все одно помирать. Авось в бестелесном виде промышлять ему способнее будет.

Загорелась солдатская душа до чужого ковша — по какой причине, и сам не знает...

— Ох, роденькая... Дай-ка мне состава энтого, умо-ра ведь какая... Солдатыкам на позиции тошно, тоска смертная. А тут этакая забава... Уж я за тебя в варшавском соборе рублевую свечу поставлю: окопный солдат вроде как святой — тебе это не без пользы будет.

Закашлялась старушка, зашла, поплевала в тряпочку, отдышалась и говорит:

— Экий ты младенец стоеросовый... Ну что ж, бери! Свои бросили, чужой пожалел, водой попоил. Только смотри, шути да откусывай... Ежели какую тварь либо человека в бестелесный вид приведешь, помни, орел: только водкой зелье мое и прополаскивается. Рюмку-другую вольешь, сразу предмет в тело свое войдет, натуральность свою обнаружит...

Солдат одной рукой за чашку, другой за баклажку. Перелил, бабушке в пояс поклонился и за дверь — целиной-лугом на обгорелый дуб, к своей станции. Зелье на боку в баклажке ульяет — аж селезенка у солдата с радости заиграла, до того забавная вещь.

\* \* \*

С этапа на этап — докатился солдат до своего места, в аккурат час в час в свою роту заявился. О ту пору полк ихний в ближний тыл на отдых-пополнение оттянули. Старослужащим вольготнее стало — винтовку почистил, шинель залатал и вались на свою койку, потолочные балки в бараке пересчитывай.

А свежих бородачей во дворе обламывают. Занятие идет, соломенное чучело колоть учат: штык по шейку всади да назад одним духом с умом выверни. Ходит ротный, присматривает, не очень и ему весело запасных вахлаков обтесывать. Зевнул в белую перчатку, фельдфебеля спрашивает:

— А что ж, Назарыч, Шарика нашего не видать?

— Не могу знать! Второй день в безвестной отлучке. Тоже тварь живая, амуры, надо быть, тыловые завелись.

Повернулся ротный на подковках, Назарычу занятия предоставил, в канцелярию ротную пошел приказы полковые перелистывать. Слышит, за перегородкой в углу кто-то посвистывает. Шарика кличет — в ответ собачка урчит, веселым голосом огрызается. Поглядел он в щелку: сидит это солдатик Каблуков, что наемни с отпуска вернулся, на сундучке. Одна нога в сапоге, другая в портянке. Свистит, пальцами прищелкивает, а перед ним — Господи, спаси-помилуй! — пустой сапог в воздухе носится, кверху носком взметывается.

Дрогнул ротный, а уж на что храбрый был, самому дьяволу не спустит. За столик рукой придержался. Дошел до порога, за косяк ухватился... Стрепенулся Каблуков, вскочил, вытянулся, а сапог округ него так вприсядку и задувает, уши по голенищам треплются, а из голенища будто из граммофонной дыры: «Ряв-ряв!» Да вдруг сапог прямо на ротного, будто к родному брату — но коленке его хлопает, в руку подметкой тычется...

Побелел ротный — на елку бы влез, да елки нетути...

— Ох, — говорит, — Каблуков, плохо мое дело... Прошлогодняя контузия, вот она когда себя оказывает. Беги за Назарычем, пусть меня скорей в лазарет свезет... А то, пожалуй, оборони Бог, кусаться начну.

Оробел Каблуков, к земле прирос. Однако кое-как губы расклеил:

— Не извольте, ваше высокородие, тревожиться. Сапог натуральный, интендантской кожи. А что он сам летает, будьте без сумленья, собачку я бестелесную учил поноску носить. Да тут вы сбоку взошли, не приметил я, напужал только ваше высокородие занапрасно.

Выпучил ротный глаза.

— Что ты... окстити!.. Какая такая бестелесная собачка?

— Да наш Шарик! Я его, ваше высокородие, наскрозь прозрачной настойкой для забавы обработал. Скажем, как стекло: виду нет, а в руку взять можно.

Ротный так на сундучок и опустился:

— Ну, Каблуков, придется, видно, нас двоих в тихое отделение на лазаретной линейке везти. Я телесные сапоги в воздухе ловить буду, а ты бестелесной собачкой забавляться. Видишь, что война из людей делает.

Однако Каблуков, хочь и подчиненный, поперек тут врезался, видит, чем дело пахнет. Обсказал все, как есть, про помирающую старушку да про кошкино молоко.

— Я ж, ваше высокородие, против присяги не пошел. Мог в лучшем виде сам себя смыть, стеклянным студнем по всей Рассей перекачываться... Поймай-ка у сокола на плече, у бабы под мышкой... Ан к окопной страде вернулся. Вы, ваше высокородие, извольте сундучок ослобонить, я вам чичас все наружу произведу — от своего начальника какие ж секреты.

Звякнул сундучок веселой пружиной. Каблуков одной рукой шкалик вытащил, другой невидимую собачку к себе притянул, бестелесную пасть ей раскрыл.

— Ишь ты, ртуть курчавая!.. Ротный армейский цуцик, а насчет водки отворачивается. За пальцы меня хватать? Своего отделенного начальника? Готово, ваше высокородие, извольте получить.

И действительно... Бабушке твоей Хны-Хны, преподабной Печерице! Сапог сам собой наземь швякнулся, а промеж пальцев у Каблукова мясная собачка Шарик вьется, пасть раззявила, нос морщит, лапой по языку мажет, винный дух соскребывает.

Ротный по сторонам глянул, воздуху глотнул, Каблукову в самое ухо выпалил:

— Никому не показывал?

— Никак нет! Я, ваше высокородие, всей роте сюрприз готовил. В балагане на ярмарке и за двугривенный такого сюжета не покажут. Пусть, думаю, узнают, кто есть таков Егор Каблуков...

— Эх ты, — говорит ротный, — телятина с косточкой... Смотри ж, чтобы мышь не прознала, чтоб муха не догадалась... Чтоб ветер не подсмотрел. Ох, Каблуков, чего это мы теперь с тобой разделаем... Наград в штабе не хватит!

И пошел к дверям, будто в мазурке поплыл — один глаз лукавый, другой задумчивый...

\* \* \*

Часы заведи, а ходить сами будут. К закату из полкового штаба вестовой в барак вкатывается: экстренно, мол, Каблукову явиться, да чтоб с ротной собачкой пожаловал. Фельдфебель удивляется, землячки рты порасстегнули, однако Каблуков ни гугу... Ноги шагают, а рука в затылке скребет: беспокойства-то сколько от старушки этой помирающей произошло.

Переступил он через штаб-крылечко, писаря за столами переглядываются, полковой адъютант, насупившись, ус тербит — почему, мол, такая секретность? Через него же первого всякие тайности проходили, а тут наось — серый солдат со сверхштатной собачкой, и хочь бы слово... Обидно.

Провели Каблукова в дальний закуток. Сам командир полка коридорную дверь на два поворота замкнул, вторую прикрыл. Ох, милый друг Егор Спиридонович, что-то будет?.. И ротный тут же: один глаз лукавый, другой и того лукавее.

Дернул командир плечом, щеки пламенем отливают. Дать бы ему, Каблукову, промеж глаз, а ротного налево-кругом на гауптвахту, суток на десять, пока не очухается... Ан сначала-то проверить надо.

— Ну что ж, показывай, голубь. А уж потом и я тебе по-ка-жу...

И зубом золотым скрипнул.

Подтянулся Каблуков. Он что ж, худого не замышлял. Схватил Шарика поперек живота, баклажку вынул да в пасть ему пропорцию и влил: сгинул Шарик, как дым разошелся.

Повеселел тут солдат совсем, а командира полка аж в малиновый румянец вдавило.

— Разрешите, ваше высокородие, фуражечку вашу?

Насмелился Каблуков, снял со стола да бестелесной собачке в зубы. И пошла, братцы мои, командирова фуражка козлом по всей горнице скакать, будто нечистая сила в нее из-под половиц поддувает...

Перекрестился командир мелкой шепотью.

— Тьфу, тьфу!.. Простая деревенская баба, кочерга ей под пятое ребро, а какую военную химию надумала!..

Глаз у него, конечно, по-иному заиграл: та же опара, да другой кисель. Потрепал Каблукова по защитному погону, ротного к грудям прижал.

— С Богом! Валите в мою голову! Только чтоб и воробей на телеграфной проволоке до поры-времени не услышал... Убью!

Обратил Каблуков Шарика в первобытное состояние, шкалик-то с собой прихватил и за ротным на вольный воздух выкатился.

А ротный так и кипит. Чичас через фельдфебеля десять отчаянных самохрабрейших охотников вызвал. В баню их собрал, потому к бане рощица примыкала, — очень это по диспозиции способно было. Выстроились молодцы, один к одному — хоть в Семеновский полк в первую роту, и то не подгадят. Разведчики рьяные — блоха за немецкой пазухой повернется, и то уследят.

Про помирающую старушку ротный им, само собой, обсказывать не стал. Зачем православных землячков в сумление вгонять — по нечистой линии сам Скобелев сдрейфит...

— Вот, — говорит, — львы, слышали небось — аэропланты теперь наши в краску-невидимку красить начали. Достигаем до точки. Разговор был, что и наушники такие к моторам приспособлять начали. Глушители то исть! Фыркнет он в небо, ни цвета, ни зуда, ни стрепета. Врагу каюк, нам чистая польза... Ан теперь в главном

штабе у нас новую вещь удумали... Состав такой безвредный один доктор химический сообразил. Хлебнешь рюмку, сразу тебя в бестелесность ударит — ни ногтей, ни пупка, будто столб воздушный на невидимых подметках. Поняли, львы?

— Так точно, поняли. А как же опосля, ваше высококородие, когда замирение произойдет? У нас у всех жены-дети. Неудобно по домашности...

Усмехнулся ротный.

— Ничего, не робей. Вернемся с разведки, всем по чарке поднесу. Водка вмиг состав этот створаживает, опять все в теплое тело войдем. Ужель стану я солдат своих самолучших портить? Да я ж с вами... Из приварочной экономии командир всем по десяти целковых обещал, окромя награды, — да и я от себя прибавлю... Подошвы войлоком все подшили?

— Так точно, подшили.

Повеселели львы. Да и Каблукова взмыло: ишь ты, с какой малости такое дело развернулось... А насчет доктора, может, ротный и правду сбрезнул: доктор этот в мирное время, может, в орловском земстве служил — старушка от него и позаимствовалась.

— Ну, Каблуков, — говорит ротный, — действуй... Только как же насчет обмундирования? Немцы ж по пустым штанам-гимнастеркам палить будут. Это нам, друг, не модель.

— Не извольте тревожиться! Обмундирование я, ваше высококородие, sprysnu! Уж насчет этого сам призадумывался — однако действует... На Шарике ж ошейника и видом не видать было. Винтовок, между прочим, брать не придется. Сталь-дерево нипочем не поддается. Старушка-то недоглядела...

Сверкнул ротный глазом.

— На юг ляд нам винтовки! Не в них в этом деле сила... Только, ребята, друг дружку на аршин дистанции бечевками связать надо, а то разбреемся, как туман в поле. Говорить-то только тихим шепотом придется. Господи, благослови! Действуй, Каблуков.

Выстроились десять охотников в ряд. Каждому Каблуков по деревянной ложке налил, ротному последнему.

Спрыснул всех, сам остатки хлебнул... Пронзительный состав!..

Скрипнула дверь. В рошце за баней кусты зашуршали, будто ветер зеленую дорожку надвое распахнул. А ветра, между прочим, и с детское дыхание не было: на лугу спокой-тишина, пушинку оброни, сама наземь падает и не дрогнет. Огни кое-где по окраинным халупам зажглись, туман вечерний у моста всколыхнулся — воздух сам с собой разговаривает:

— Эх, покурить бы теперь, ваше высокородие...

— Я тебе покурю. Попролам перерву, да еще надвое...

— Кто там с правого франта споткнулся?

— Ничего... Держалась кобыла за оглоблю, да упала.

Вали, землячки, дальше...

\* \* \*

Отмахали верст с десять. Притомились солдатики, потому хочь видимости в них не было, однако пятки горят, как у настоящих. По дороге, как через местечко шли, баба полька — из себя мед на рессорах — руками всплеснула, к фонарю отскочила, глаза выкатила... «Иезус-Мария! Плечо горит, будто медведь облапил. — а на улице никого!..» Затряслась, подол собрала — и ходу.

Зыкнул ротный, по голосу сразу признать можно:

— Какой там кобель на правом фланге озорует? Смотри, Востряков, как в тело войду, морду тебе за это самое набью окончательно. Зачем бабу обижаешь?

— Подвернулась она, ваше высокородие. Виноват. Эх, горе, на веревочке идем, а то занятно уж очень, как в этом самом виде ежели бы подкатиться к ней по-настоящему...

— Я тебе подкачусь... Обменяйся с ним, Козелков, местом. Разыгрался он что-то, как бугай в клевере.

У крайних домов на взгорье спохватился ротный:

— А ну-кась, Каблуков! Веревочку я тебе приспущу. Смотайся-ка в лавочку, колбасы возьми конец, а то, окромя хлеба, провианту с собой не прихватили.

— Да как, ваше высокородие, брать-то? Колбаса по воздуху поплывет, купец с перепуту крик подымет, лавку замкнет. Попаду я тогда, как козел в прорубь.

Двинул его ротный невидимым локтем в невидимую косточку.

— Порассуждай у меня! Ты, хлюст, думаешь, что ежели скрозь тебя фонарь видать, так ты и разговаривать можешь? Каблуки вместе! В походе кур-гусей слизываешь, ни одна бабка не встрепенется, — а тут учить тебя. Рупь смотри в кассу вбрось, не азиаты мы колбасу даром брать...

Слетал Каблуков тихо-благородно. Рупь за колбасу, конечно, многовато... Полтинник подкинул, семь гривен сдачи себе отсчитал.

Пошли дальше. Собачки к следам их принохиваются, воют. Растолкуй-ка им, в чем тут секрет... Камнями кое-как отогнали — неудобно ж команде по такому делу со свитой идти.

К самым, почитай, позициям нашим подошли. Темень кругом, не приведи Бог. Прожектор кой-где немецкий из-за речки светлым хоботом рыщет. Сползет, и совсем ослепнешь... Хоть ты телесный, хоть бестелесный, а ежели сам не видишь — куда пойдешь?

Свернул ротный командир в бор.

— Ложись, братцы! Пожужем малость, да и спать. Завтра чуть свет перейдем линию. Лопатки-то с собой прихватили?

— Так точно — как приказано. Под гимнастерки подоткнули.

— То-то! Первым делом под их пороховой погреб подкоп подведем. Верстах в двух он от ихнего расположения, это нам доподлинно известно. Бог поможет, и начальника их дивизии в лучшем виде скрадем — и не фукнет. Наделаем, львы, делов. Только смотри у меня — ни чихать, ни кашлять... К бабам ихним ни-ни, знаю я вас, бестелесных... Ежели у кого ненароком бечевка лопнет, помни: сигнал-пароль «Ах вы, сени мои, сени»... По свисту своих и найдешь... Из подвигов подвиг, Господи благослови!

К сосне притулился, шинельку подтянул — и готов. На войне заснуть — люльки не надо, проснуться и того легче.

\* \* \*

Только это серая мгла понизу по стволам пробилась, вскочил ротный, будто и не спал. Глянул округ себя, да так по невидимой фуражке себя и хлопнул. Вся его команда не то чтобы львы, будто коты мокрые стоят в одну шеренгу во всей своей натуральности... Даже смотреть тошно. Веревочка между ими обвисла, сами в землю потупились, а Каблуков всех кислее, чисто как конокрад подшибленный.

Дернул бестелесный ротный за веревочку — хрясь!.. — от команды отделился да как загремит... Хоть и не видеть, да слышно: липа перед ним так и всколыхнулась. С пять минут поливал, все пехотно-армейские слова, которые подходящие, из себя выдул. А как немного полегчало, хриплым голосом спрашивает:

— Да как же это, Каблуков, сталося?! Стало быть, состав твой только от зари до зари действует. Стало быть, старушка твоя...

И пошел опять старушку благословлять. Не удержишься, случай уж больно сурьезный.

Вскинул Каблуков глаза, кается-умоляет:

— Ваше высокородие! Без вины виноват! Хоть душу из меня на колочую проволоку намотайте, сам больше того казнюсь. Вчерась, как колбасу покупал, штоф коньяку заодно спроворил. Старушка-то помирающая, оглобля ей в рот, явственно ж сказала: только водкой политура эта бестелесная и сводится. А про коньяк ни слова. Выпили мы ночью без сумления по баночке. Ан вот грех какой вышел...

Что ротному делать? Не зверь ведь, человек понимающий. Ткнул легонько Каблукова в переносье.

— Эх ты, вареник с мочалкой... Что ж я теперь полковому командиру доложу? Зарезал ты меня!..

— Не извольте, ваше высокородие, огорчаться. Немцы, допустим, газовую атаку произвели — состав наш и разошелся. Так и доложите...

Голос за сосной ничего, добрее стал:

— Ишь ты, дипломат голландский! Ладно уж. Только смотри, ребята, никому ни полслова. Ну что ж, давай

и мне коньяку, надо и мне слюду бестелесную с себя смыть.

Смутился Каблуков, подал штоф, а там на дне капля за каплей гоняется. Опрокинул ротный, пососал, ан порции не хватило. Заголубел весь, будто лед талый, а в тело настоящее не вошел.

— Ах, ироды!.. Слетай, Каблуков, на перевязочный, спирту мне добудь хочь с чашечку. А то в этом виде как же ворочаться-то: начальник не начальник, студень не студень...

Благословил этак вполсердца Каблукова, в вереске под сосной схоронился и стал дожидаться.

## СОЛДАТ И РУСАЛКА

Послал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь раков за лагерем в речке половить — оченно фельдфебель раков под водочку обожал. Засветил солдат лучину, искры так и сигают, тухлое мясо на палке-кривуле в воду спустил, ждет-пождет добычи. Закопошились раки, из нор полезли, округ палки цапаются, мясом духовитым не кажную ночь полакомишься...

Только было солдат приноворился черных квартирантов сачком поддать, на вольный воздух выдрать — шасть, — кто-то его из воды за сапог уцепил. Тащит, стерва, из всей мочи, прямо напрочь ногу с корнем рвет. Уперся солдат растопыркой, иву-матушку за волосы ухапил — нога-то самому надобна... Мясо живое кое-как из сапога выпростал, а сапог, к теткиной матери, в воду рыбкой ушел...

Вскочил он полуобутый, глянул вниз. Видит, русалка, мурло лукавое, по мокрую грудь из воды выплеснулась, сапогом его дразнит, хохочет:

— Счастье твое, кавалер, что нога у тебя склизкая! А то б не ушел... Уж в воде я б с тобой в кошки-мышки наигралась.

— Да на кой я тебе ляд, дура зеленая? Играй с окуном, а я человек казенный.

— Пондравился ты мне очень! Морда у тебя в вес-

нушках, глаза синие. Любовь бы с тобой под водой крутила...

Рассердился солдат, босой ногой топнул:

— Отдай сапог! Рыбья кровь... Лысого беса я там под водой не видал — у тебя жабры, а я б, как пустая бутылка, водой залился. Да и какая с тобой, слизь речная, любовь? На хвост-то свой погляди.

Тут ее, милые вы мои, заело. Насчет хвоста-то... Отплыла напрочь, посередь речки на камень присела, сапогом себя, будто веером, от волнения обмахивает.

Солдат чуть не в плач:

— Отдай сапог, мырма! На кой он тебе, один-то? А мне, полуразутому, хочь и на глаза взводному не показывайся... Съест без соли.

Зареготала она, сапог на хвост вздела — и одного ей достаточно — да еще и помахивает. Тоже и у них, братцы, не без кокетства...

Что тут сделаешь? В воду прыгнешь — залоскочет, просить не упросишь — какое ж у нее, у русалки, сердце...

А она, с камешка повернувшись, кое-что и надумала:

— Давай, солдатик, наперегонки гнаться. Я в плывь по воде, а ты по берегу — вон до той ракиты. Кто первый достигнет, того и сапог. Идет?

Усмехнулся про себя солдат: вот фефела-то... Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехристь плавающую не одолеют?

— Идет. — говорит.

Подплыла она поближе, равнение по солдату сделала, а он второй сапог с ноги долой, да под куст и шваркнул. Чтобы бежать способнее было...

Свистнула русалка. Как припустит солдат — трава под ним надвое, в ушах ветер попискивает, сердце — колотушкой, медяки в кармане позвякивают... Уж и раки-та недалече — только впереди на воде, видит он, вода штопором забурлила и будто рыбья чешуя цыганским монистом на лунной дорожке блестит... Добежал — штык ей в спину! — плещется русалка супротив раки-ты, серебряным голоском измывается:

— Что ж вы, солдатик, запыхавшись? Серьгу бы из уха вынули, бежать бы легче было... Ну что ж, давай по-

вернем! Солдатское счастье, поди, с изнанки себя обнаруживает...

Повернулся солдат и отдышаться не успел, да как вдругорядь дернет: прямо из кожи рвется, локтем поддает, головой лозу буравит... Врешь, язви твою душу, — в первый раз недолет, во второй перелет — разницей подавишься!

Достиг до первоначального места, глянул в воду, так фуражку оземь и шмякнул. Распростерлась рыба девка под кручей, хвост в кольцо свивает, солдату зеленым зрачком подмигивает:

— С легким паром! Что ж ты серьгу так и не снял? Экой ты, изумруд мой, непонятливый. Камушек пососи, а то с натуги лопнешь.

Сидит солдат над кручею, грудь во все мехи дышит... Стало быть, казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для легкости разгона снял, — слышит, под портянкой хрустит чтой-то. Сунул он руку — ах, бес! Да это ж губная гармония — за голенищем она у солдата завсегда болталась... У конопатого венгерца, что мышеловки вразнос торгует, в городе купил.

Приложился с горя солдат к звонким скважинам,дохнул, слева-направо губами прошелся — русалка так и встрепенулась.

— Ах, солдатик! Что за штука такая?

— Не штука, дура, а музыка... Русскую песню играю.

— Дай мне. Ну-ка, дай!.. Я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду...

«Ишь, студень холодный, чего выдумала! Чтоб землякам на погибель солдат же ей и способ предоставил...» Однако без хитрости и козы не выdoiишь. Играет он, на тихие голоски песню выводит, а сам все обдумывает: как бы ее, скользкую бабу, вокруг пальца обвести.

— Сапог вернешь, тогда, может, и отдам...

Засмеялась русалка, аж по спине у него холодок ужом прополз.

— Сойди-ка, сахарный, поближе. Дай гармонь в руках подержать, авось обменяю.

Так он тебе и сошел... Добыл солдат из кармана леску — не без запаса ходил, — сквозь гармонь продел, издаля русалке бросил.

— На, поиграй... Я тебе — даром что чертовка — полное доверие оказываю. Дуй в мою голову...

Выхватила она из воды игрушку, в лунной ручке зажала, да к губам — глаза так светляками и загорелись. Ан вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармонии бегут. Само собой: инструмент намокши, да и она, шкура, понятия настоящего не имела... Зря в одно место дует — то в себя, то из себя слюнку тянет.

— В чем, солдат, дело? Почему у тебя ладно, стежок в стежок, а у меня — будто жаба на луну квохчет?

— А потому, красавя, что башка у тебя дырява... Соображения у тебя нет. Гармонь в воде набрякла, а я ее всегда для сухости в голенище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни — да на лунный камень поставь. Она и отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу, как инструмент-от подсохнет.

Подплыла она, дуреха сырая, к камешку, гармонь в сапог, в самый носок честно забила — к бережку вернулась, хвостом, будто пес, умиленно виляет:

— Так обучишь, солдатик?

— Обучу, рыбка. Козел у нас полковой дюже к музыке неспособный, а такую красавицу как не обучить... Только что мне за выучку будет?

— Хочешь, земчугу горстку я тебе со дна добуду?

— Что ж, вали. В солдатском хозяйстве и земчуг пригодится.

Мырнула она под кувшинки, круги так и пошли.

А солдат не дурак — леску-то неприметную в руках дернул. Стал он подтягивать — гармонь поперек в сапоге стала... Плюхнулся сапог в воду, да к солдату по леске тихим манером и подвалился.

Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблуком прихлопнул... Эх ты, выдра тебя загрызи!.. Ваша сестра хитра, а солдат еще подковыристее...

Обобрал заодно сачком раков, что вокруг мяса на палке кишмя кишели, да скорее в лозу, чтобы ножки обутые скрыть.

Вынырнула русалка, в ручку сплюнула — полон рот тины, в другой горсти земчуг белеет...

Бросил он ей фуражку, не самому ж подходить:

— Сыпь, милая... Да дуй полным ходом к камешку, гармонь в сапоге-то, чай, на лунном свете давно высохла.

Поплыла она наперерез, а солдат скорее за фуражку, земчуг в кисет всыпал — вот он и с прибылью...

Доплыла она, шлевдра полоротая, на камешек тюленем взлезла, да как завоет — будто чайка подбитая:

— Ох, ох! А сапог-то мой где? Водяник тебя задави-и!..

А солдат ей с пригорка фуражечкой машет:

— Сапог на мне, гармонь при мне, а за земчуг покорнейше благодарю. Танюша у нас сухопутная в городе имеется, как раз ей на ожерелко хватит... Счастливо оставаться, барышня! Раков, ваших подданных, тоже прихватил — фельдфебель за ваше здоровье полускает...

Сплеснула русалка лунными руками, хотела пронзительное слово загнать — да какая ж у нея супротив солдата словесность.

## АРМЕЙСКИЙ СПОТЫКАЧ

Осмотрели солдатика одного в комиссии, дали ему два месяца для легкой поправки: лети, сокол, в свое село... Бедро ему после ранения как следует залатали — однако ж настоящего ходу он не достиг, все на правую ногу припадал. Авось деревенский ветер окончательную разминку крови даст.

Попал он с лазаретной койки, можно сказать, как к куме за пазуху. На палочке ясеновой винтом кору снял — ходи себе барином да постукивай. Хочешь, на завалинке сиди, табачок покуривай, — полковница вдовая на распределительном пункте два картуза махорки ему пожертвовала. Хочешь, в коноплянике на рогоже валийся, легкие тучки считай да слушай, как кудрявый лист шипит... Окопы словно в темном сне снились — русский воздух, бадья у колодца звенит. Ручей за плет-

нем воркочет, петух домашний штаны клювом долбит — тоже, дурак, нашел себе власть.

Семейство у солдата было ничего — зажиточное. Картофельными лепешками его ублажали, молоко свое, немереное, в праздник — убойна, каждый день — чаек. Известно — воин. Он там за них, вахлаков, в глине сидючи, что ни день со смертью в дурачки играл, как такого не ублажить. Работы, почитай, никакой, нога ему не позволяла за настоящее приниматься. То ребятам на забаву сестру милосердную из редьки выкроит, то Георгиевский крест на табакерке вырежет — одно удовольствие.

А вокруг села, братцы мои, леса стеной стояли. Дубы кряжистые — лапы во все концы, глазом не окинешь. Понизу гущина: бересклет, да осинник, да лесная малина, — медведь заблудится. На селе светлый день, а в чащу нырнешь, солнце кой-где золотым жуком на прелый лист прыснет, да и сгинет, будто зеленым пологом его затянуло... Одним словом — дубрава.

Сидит так-то солдат под вечер на завалинке. Овцы с лужка через выгон серой волной к своим дворам катятся — которая овца на солдатское голенище устави́тся, которая ясеневую палочку понюхает. Забава...

Подсела тут старушка одна знакомая — черный шлык, глазки шильцем, язык мыльцем, голова толкачиком.

— Что ж, бабушка, — говорит солдат. — Внучки твои малинки лесной хочь бы кузовок принесли... С молоком — важная вещь. Уж я бы им пятак на косоплетки выложил. Да и грибов бы собрали. У вас тут этого земляного добра лопатой не оберешь. А я бы засушил да фельдфебелю нашему, с дачи на фронт вернувшись, в презент бы и поднес. Гриб очень солдатским снеткам соответствует.

Пожевала старушка конец платка, головой покачала.

— Эх, сынок, ясная кокарда! Стало быть, ты про беду нашу и не слышал? Какие тут грибы да малина, ежели в лес не то что дите — и сам кузнец шагу теперь не ступит...

— Вот так клюква! Медведи к вам, что ли, с западного фронта по случаю отступления на постой перешли?

— Эх, сказал. На медведей бы мы всем селом облавой пошли, нам же прибыль была б. В аптеке, сказывают, нынче за медвежье сало по полтиннику за фунт дают. Какие там медведи... И свои лохматые, какие были, из лесу невесть куда ушли. Не то что человек, зверь лесной, и тот не выдержал.

— Что ж, бабушка, за вещь такая? Лешие у вас тут, что ли, расплодились? Да они ж, милая, бессемейные — сам от себя не расплодишься...

— А ты говори да оглядывайся. Дело-то к ночи идет. И впрямь, дружок, лешие... Допрежь того спокон веку мы спокойно жили. В лесу хочь люльку поставь: дятел на сучок сядет, чуб набок да и прочь отлетит. Только и всего. Да, вишь ты, ненароком правду сказал: не иначе, как с прифронтовой полосы на нас накатило... Волостной писарь сказывал, будто германы газ такой в самоварах ихних кипятят — покойников неотпетых вываривают, на нашу сторону дух по ветру пушают. Рыба в реках пухнет, лист вянет, людей берестой сводит! Лошади ли, медведи, вся тварь живая до подземного, скажем, жука, вся как есть мрет. Стало быть, и нежить лесная — тоже и ей дышать надо — смраду этого не стерпела, вся начисто к нам и подалась. Вот и поди в лес теперь по малинку...

— Да видал ли их кто, бабушка? Может, попритчилось кому с полугару? На сапог сам себе наступил, через портки перескочил да и ходу.

Обиделась баба, локтем пыль взбила — натурально, старому человеку хрена в квас не клади.

— Воевать ты, сынок, воевал, а ум-то свой в лазарете под подушкой забыл. Сорока я, что ли, чтоб зря цокотать? Люди видали. Псаломщик, человек нечисти неприкосновенный — при церкви на должности состоит, — в лес по весне сунулся хворосту собрать, и того захороводили. Срежь бела дня лешие с ним в кошки-мышки играть затеяли. Он под куст, а лесовик его за штаны — он под другой, а там его невесть кто ореховым прутом по сахарнице. Гоняли-гоняли, как крысу по овину. Очумел он совсем, голосу лишился. Только на колокольный звон к вечеру на карачках продрался.

— А он бы им чего-нибудь на глас шестой спел, они бы и отстали...

— Тебя не спросился. Каки там гласы, когда его в цыганский пот ударило; как шкалик называется, только на третий день вспомнил...

— Контузия, бабушка, по-военному это будет.

— Что пузо, что брюхо — мясо-то одно. А кузнеца, свет мой, прикрутили к сосне, стали его на медные шипы подковывать. Да, спасибо, догадался: через левое плечо себя обсвистал да черным словом три раза навыворот выругался — только тем и отшиб... С неделю опосля того на пятку ступить не мог.

Передвинул солдат фуражку козырьком к стенке, призадумался.

— Что ж у вас, меры какие принимали?

Заахала тут старушка, раскудаhtалась:

— Примали. Знахарь наш, Ерофеич, один глаз кривой, другой косою, — чай, сам его знаешь — уж чего не делал... Первоначально тридцать три вороны поймал, черным воском им задки запечатал да на опушке в полнолуние их и вытряс. Крику-то что было! Опосля семи живым зайцам на хвост по жабьей косточке специально привязал — да от семи осин, что на Лысой Поляне растут, в разные стороны с наговором и спустил. Средства верное. Собрали мы ему на винцо, на пивцо, а он к лесному озеру, бесстрашный пес, пошел раков на закуску ловить. «Теперь, — говорит, — дело крепко припаяно, ни на полшища они мне беды не сделают!» Из дыма, вишь, веревку свил: лесовики пришлые — военный крючок им не по мерке пришелся... Только это Ерофеич на бережку под ивой переобуваться стал — глядь, сбоку самые матерые лешаки друг у дружки в шубе лесных клопов ищут. Икнул он тут с перепугу, а лешие к нему да за жабы: «Ага, сват, сто шипов тебе в зад, тебя-то нам и не хватало!» Сунули его головой в дупло да как в два пальца засвистят, так раки к ним со всего озера и выползли... «Эвона, — кричат, — вам закуска! Вон он, знахарь, вороний скоропечатник, ножницы раскорячив, из дупла торчит... Дня на три вам, поди, хватит!..» Так бы и источили. Однако и знахаря голой клешней за пуп не ухватишь. Вынул он из-за пазухи утоплого пьяницы

мозоль — на всякий случай завсегда при себе носил. Добыл серничек, чиркнул, мозоль подпалил: дупло пополам, будто бомбой его разодрало. Самого себя, как свиною, опалил, — однако случай такой: на мягкой карете не выедешь... Дополз домой, все село сбежалось, — по всему телу у него синие бобы, будто ситчик турецкий... Вот и сунься. Грибами теперь у нас, хочь сам архиерей прикати, не полакомишься.

«Неладно, — думает солдат, — выходит. По городам, по этапным дворам, по штабам-лазаретам и слухом о таких делах не слышать. Порядок твердый, все как есть одно к одному приспособлено. Будь ты хочь распрелеший, — в казенное место сунешься — шваброй тебя дневальный выметет, и не хрюкнешь. А тут коренное русское село, в тихую глухомань этакое непотребство вонзилось...»

— Ну а к батюшке, бабушка, обращались?

— Обращались, розан мой, обращались. Насчет лесной погани, говорит, это дело не мое. Один суевер ветку нагнул, другого по ушам хлестнуло, третий — караул кричит. Серая брехня. Да и как вы к Ерофеичу обращались, пушай вас тот лекарь и лечит, который пластырь варил. Обиделся, значит... Да, вишь, брехня брехней, однако ни попадья, ни ейные ребята тоже в лес и носу не кажут. А небось в былое время одной лесной малины в лето с куль засушивали... Стало быть, третий суевер караул кричит, а четвертый под поповской периной дрожит.

Видит солдат, что туго завинчено. Чей бы бычок ни скакал, а у девки дите... Посмотрел он, как за колодцем тонкая рябинка мертвым рукавом по темному небу махнет, тихим голосом спрашивает:

— А здесь, в селе не наблюдалось ли чего? Случаев каких-либо специальных?

— Наблюдалось, ох наблюдалось... Чай, им в лесу, оголтелым, скучно, озоруют и здесь. То коноплю кой-где серый дух, тьфу-тьфу, узлом завяжет, то поросеночка над избой в трубу сунет... То калитку с погоста повиальной бабке на крыльцо приволокут. А намедни у учительши курица петухом пела, срам-то какой. Чай,

тоже и у учительши амбиция своя есть... В стародавние времена леший кой-когда в лесу с девушки платок стащит, а таких подлостей не производили. Видно, и лешие нынче — откуль их нанесло — тоже осатанели. Чистые фулиганы!.. А вот еще случай был... Да ну тебя, сынок, к Богу — не путем спрашиваешь, не ко времени отвечаю. Проводи-ка ты меня до избы, а то борону у плетня увижу, невесть что померещится... А все из-за вашей войны, будь она неладна. По небушку летают, солдатские газы пуцают. Вот и дождались.

Доставил солдат божью старушку по принадлежности. К своему крыльцу зашкандыбал, палочкой гремит, старушкины слова так и этак переворачивает. Что ж, ежели всамделе с прифронтовой полосы купоросным газом сволоту эту лесную нагнало, надо обратное средство найти. Ужель свое село так нечисти болотной и предоставить?..

В пустую кадку постучи, пустота и отзовется — ан солдатская голова не без начинки, братцы... На заре, чуть ободняло, прокрался он задворками к бабке-доказчице. Брякнул в оконце. Выснула она свое печеное яблочко наружу, как мышь из-под лавки.

— Чего, друг, гремишь? Окном не обознался ли? Ничего у меня, старушки, про вас, солдат, не припасено.

— А ты, мать, поищи — найдется! Бочонок самогону, ведра в два, уважь, выкати. За мной не пропадет.

Всполошилась она, пискариком затряслась — один глаз на церкву, другой вдоль улицы шарит:

— Да что ты, герой, октись! Каки у меня самогоны? Окромя толокна да квасу, нет у меня и припасу.

Солдат нос свой в горстку зажал, ухмыляется:

— Ты, бабка, не рассусоливай. Не урядник я. Для об-чест-ва, не для себя стараюсь. Разговор-то наш вчерашний помнишь? Альбо сам пропаду, альбо лес наш по всей форме очищу... Да еще пакли дай, старая. Сруб у тебя новый ставили, авось осталось.

Засуетилась старушка, видит, дело всурьез пошло. Мырнула в подполье — бочоночек выволокла, — жилистая была, лахудра. Вдвинул солдат добро на тачку, сверху паклей да коноплей для прикрытия забросал. Попер тачку по-за плетнями, аж колесо запицало. Час

ранний, ни на кого не наскочишь... Правой ногой хромлет, однако ж ему наплевать: суставы-то у него еще во как действовали.

Докатил до опушки, одежду с себя долой. Сел под куст в чем мать родила, смазал себя по всем швам картофельным крахмалом да в пакле и вывалялся. Чисто как леший стал — свой ротный командир не признает. Бороду себе из мха веничком приспособил, личность пеплом затер. Одни глаза солдатские, да и те зеленью отливают, потому на голову заместо фуражки цельный куст вереску нахлобучил.

Вышиб он втулку, стал водку поядренее заправлять: махорки с полкартуза высыпал да мухоморов намял, туда ж запихал, да перцу горсть, да волчьих ягод надавил для вкуса. Чистая мадера!

Покатил он бочонок в чашу, палочкой подпихивает, козлом подпрыгивает, сам пьяную песню поет.

А кто там идет?  
Леший бородач.  
А что ен везет?  
Чертов спотыкач...

Слышит — по орешнику будто ползучая плесень шелестит, с дуба на дуб невесть кто сигаает, кудрявым дымом отсвечивает.

Докатил солдат выпивку свою до озера, остановился. Пот по морде ползет, глаза заливает — а утереться нельзя, потому все лесное обличье с себя смажешь. Снял он со спины черпачок, что у самогонной старушки прихватил, бочоночек на попа поставил, застучал в донышко — на весь лес дробь прокатилась.

С ветки на ветку, с ельника на можжевельник подобралась мутная нежить — животы в космах да в шишках, на хвостах репей, на голове шерсть колтуном. Кольцом вокруг солдата сели, языки под мышкой, глаза лунными светляками. Один из них, попузастее — старший, должно быть, потому у него светлая подкова на грудях висела, — хвост свой понюхал, словно табачком вытянулся, и спрашивает:

— Ты, милачок, откудава прибыл?

— Для собственного ремонта с западного фронта, из Беловежской Пущи... У вас здесь погуще.

— А в бочоночке у тебя что за узвар?

— Армейский спотыкач, ковшик выпил — дуешь вскачь. В гродненской корчме подцепил да сюда прикатил.

Леший рот и расстегнул, а на животе у него, глядь, — второй рот распахнулся, да оба враз и зачмокали.

«Ловко, — думает солдат, — энто у них приспособлено...»

— А почему от тебя, — спрашивает пузатый, — пехотным солдатом пахнет?

Лешие, конечно, не потеют — солдатский-то букет ему в нос и бросился.

— Да я по этапным дворам бродил, по ночам солдатские пятки брил. Вот, извините, и пропах... Да вы не скулите. Вона у пня дохлый крот, вы ноздри натрите — авось отшибет.

Подобрались лешие поближе, а солдат втулку открыл, нацедил пеннику с полчерпака, стоит поплескивает — так они кругом на хвостах и заелозили.

— Ну что ж, подноси, — говорит старший. — Чего дразнишь? А то мы тебя и в компанию свою не примем...

Как гаркнет солдат:

— Встань! Становись в затылок... Да чтоб по два раза не подходить, знаю я вас, сволочей одинаковых...

Потянулись они к бражке, как старушки к кашке: кто пасть подставляет, кто ухо, а кто и того похуже. Некогда солдату удивляться, знай льет — кому в рот, кому в живот, абы вошло.

И минуты не прошло, взошел им градус в нутро, забрало их, братцы, аж до кончика. Похотатывать стали, да с перекатцем, да с подвизгом, будто кошка на шомполе над костром надрывается... А потом играть стали: кто на бочке, брюхом навалившись, катается, кто старшего лешего по острому ушам черпаком бьет... Кто, в валежник морду сунувши, сам себе с корнем хвост вырывает. Мухомор с махоркой на фантазию, братцы, действует...

Назюзились они окончательно. В кучку сбились,





Саша Черный (А. М. Гликберг).  
1914 г. Варшава



Мария Ивановна Васильева,  
жена Саши Черного. С.-Петербург, 1902 г.



Саша Черный, 1915 г.  
Юный автор журнала «Новый сатирикон»



В. Фалилеев. Портрет Саши Черного, 1915 г.

Близкому и родному  
Аркадию Тимофеевичу  
Аверченко от любящего  
его больше, чем талант,  
Саша Черный.

САША ЧЕРНЫЙ. Саша Черный.

## САТИРЫ.

ИЗДАНИЕ М. Г. ВЕРИЖНИКОВА,  
С.-ПЕТЕРБУРГ.  
1910

Дарственная подпись А. Т. Аверченко от автора «Сатир»: «Близкому и родному Аркадию Тимофеевичу Аверченко от любящего больше его талант, чем характер. Саша Черный»



Рисунки художника М. Добужинского  
на шмуцтитулах книги «Сатиры»



САША ЧЕРНЫЙ

ДЕТСКИЙ  
ОСТРОВЪ



САСВ

Саша Черный Детский остров. —  
Берлин. Слово, 1921.  
Обложка художника Б. Григорьева

друг с дружкой, как раки, посцеплялись — шерсть-то у них дремучая, — покорежились раз, другой и аминь. Будто траву морскую черт бугром взбил, копыта об ее вытер да и прочь ушел.

«Запалить их, что ли? — думает солдат. — Спирт внутри, пакля наружу — здорово затрещит». Однако же не решился: ветер ключья огненные по всей дубраве разнесет — что от леса останется? Нашел он тут на березку старый невод, леших накрыл, со всех концов увел собрал, поволок в озеро. Груз не тяжелый, потому в них, лесных раскоряках, видимость одна, а настоящего неса нет. А там, братцы, в конце озера подземный проток был, куда вода волчком-штопором так и вбуравливалась.

Подбавил он в невод камней — для прочной загрузки — да всю артель веслом щербатым в самый водоворот и спихнул. Так и захлюпало! Прощай, землячки, — ниши с того света, почем там фунт цыганского мяса...

Обмыл с себя солдатик паклю да крахмальную слизь, морду папоротником вытер, пошел одеваться: нога похрамливает, душа вприсядку скачет... Ловко концы-то сошлись. На войне раненого полуротного из боя вынесешь, Георгия дают, а тут за этакий мирный подвиг и уголкой не разживешься. А ведь тоже риск: распознай сто лешие, по косточкам бы раздергали, кишки по кустикам, пальцы по вороньим гнездам... Добрел он до села, у колодца общественного стал, как загремит в звонкую бадью ясеновой палочкой:

Сходись, старый да малый! Бог радость послал: грибами-малиной теперь в лесу хочь облопайся...

Сбежался народ, кто с лепешкой, кто с ложкой, — только то в самый обед было. Сгрудились вокруг, удивлялись: солдат трезвый, а слова пьяные.

Однако, как он про свою победу-одоление рассказывал, так все и дрогнули. Солдат достоверный был, сроду он не брехал — не такого покроя.

Да как же ты их, легкая твоя душа, обошел-то? Ерофейчик, на что мастак, и тот, как колючей проволоки намотавшись, из лесу задом наперед еле выполз.

Смеется солдат, глаза, как у сытого кота, к ушам тянутся.

— Военный секрет, милые! Авось и в соседнем уезде пригодится. Тачку-то бабкину прихватите, когда из лесу вертаться будете, — в ней главная суть.

Тронулось тут все население беглым маршем в лес — и про обед забыли. Только платки да портки за бугром замелькали. Ребятки лукошки друг у дружки рвут, через головы кувыркаются. В лес нырнули, так эхо вокруг тонкими голосами и заплескалось.

\* \* \*

Сидит солдат на завалинке, прислушивается. Ишь гомон какой над дубами висит. Дорвались...

Покосился он тут вбок — Ерофеич по плетню к нему пробирается, тяжело дышит, будто старшину в гору на закорках везет... Добрался до завалинки, сел мешком, ласково этак спрашивает, а у самого морда такая, словно жабой подавился:

— Что ж ты, служивый, хлеб у меня перебиваешь?

— Да я, папаша, не для ради хлеба — ради удовольствия. Хлеба у нас и своего хватает...

— Как же ты их, милый человек, обчекрыжил? Умственности у тебя никакой нет... Правил ты настоящих не знаешь...

— Никак нет. Умственности действительно за собой я не замечал.

— Да как же ты все-таки распорядился? — спрашивает Ерофеич, а сам все придвигается, ушами шевелит: вот-вот солдату в рот вскочит.

— Очинно просто! Я, папаша, без правил действовал. Только они на меня в лесу оравой наскочили: «Кто такой да откуда?» — а я к стволу стал да так им бесстрашно и ляпнул: «Села Кривцова, младший подмастерье знахаря Ерофеича!» Перепугались они насмерть, имя-то твое услышавши, — да как припустят... Поди, верст за сорок теперь к западному фронту пятками траву чешут.

Насупился Ерофеич, глазом косым повел — нож в сердце!

— Н-да. Ну, как знаешь. Не плюй, брат, в колодезь, авось он и не высох. На фронт ты вернешься, а может, и б тебе слово какое наговорное против пули бы вражеской дал.

— Спасибо, папаша. Да мне оно ни к чему. Я там, в окопах сидючи, так приспособился, что германские пули голой рукой ловлю да им же обратно и посылаю...

Видит знахарь, что солдат ложку свою крепко держит. Голос он переменял, да этак жалостливо к солдату и подсыпается.

— Ну, да ладно... Натурально каждый свой секрет про себя держит. А не мог ли бы ты, друг, беде моей поспособить — уж я отслужу, будь покоен. Тело у меня после того случая все синими бобами пошло. Средства у тебя нет ли какого, оченно уж обидно!

Поиграл солдат сапогом, плечом передернул.

— Средства и без меня найдется. Слыхал я тут, что ты к солдатке одной не путем, сладкий старичок, подкапываешься. Так вот, как ейному мужу Бог приведет невредимо с фронта воротиться — отполосует он тебя, рябь кота, кнутом, — вот весь ты синий и станешь. И рожную, стало быть, краску войдешь.

Вскочил Ерофеич, горькую слюнку проглотил — аж портки у него затряслись. А солдату что ж? Чурбашку из пазухи вынул да и принялся из нее командира носки вырезать. Разве с таким сговоришься?

## МУРАВЬИНАЯ КУЧА

### 1

**М**ризывает король своего единственного сына.

— Что ж, Вася, девятнадцатый тебе год, а никаких твоих тушков от тебя не видно. Либо зайцев травишь, либо на золотой балалайке играешь. Ни с чем несообразно. Пробежался бы ты по чужеземным королевствам, посмотрел, как люди живут, где какие распорядки. Авось приодитесь... Я уж сутулиться стал, твое время подошло. Покажай в партикулярном виде, будто ты обыкновенный купеческий сын, по торговой части к делам

принюхиваешься. А то, если королевичем заявишься, прием известный: балы да охота, все та же позолота. Ничего настоящего и не увидишь... Слугу себе выбери из дворцовой стражи — там народ дошлый. А для направления ума дам тебе генерала. Есть у меня один на примете, до того умный, что и вакансии для него у меня в королевстве не нашлось. В штатской форме с тобой и поедет. Поди в баню, попарься перед дорогой, да и с Богом...

Королевич отцу не перечит. В караульное помещение побежал, на одной ноге повернулся, солдата, который для забавы котенка в подсумок запихивал, в сад поманил.

— Глаза у тебя, Левонтий, с искрой... Я веселых очень обожаю. Папаша меня в заморские страны в вояж спосылает. Хочешь со мной?

— Так точно, ваше королевское высочество. Как лист перед травой.

— Ты, — говорит королевич, — насчет листа брось. По службе передо мной не тянись, я тебе воспрещаю. Поедем мы в вольном платье, стало, и разговор промеж нас вольный должен быть. Я — будто купеческий сын, ты — слуга закадычный. И генерал при нас ученый будет состоять. Сбоку припеку для умственного намеку. Кислый черт, не приведи Бог, — один бы я с ним нипочем не поехал.

— Ничего, — отвечает солдат. — Они, как пожилые, по своей части орудовать будут. А мы свой интерес везде найдем, будьте покойны-с. В коляске поедем альбо верхом?

— Верхом, само собой, веселее. Да, кажись, по купечеству все больше в колясках ездят. Ты уж там собери, что надо, а я пойду в баню помыться. Приходи после меня, я тебе с полкотла оставлю...

Управились быстро. Смазал Левонтий колеса, чемоданы сзади прикрутил. Караульному начальству доложил: еду, мол, в командировку по казенной надобности, заморских воробьев считать. Счастливо оставаться.

Выехали они под вечер потаенно, чтобы лишней огласки не было. Левонтий на козлах сидит, тройкой правит, кнутом над головой свищет. «Эх вы, симпатичные!»

Да тишком от генерала собачью ножку из рукава потягивает.

Выкатились они за приграничный шлагбаум. Генерал мягкий вяземский пряник покусывает, королевичу мораль читает:

— Первым делом, ваше высочество, насчет напитков — ни-ни. Потому в пьяном виде человек главную суть проморгает, весь мир ему вроде питейного заведения представляется — с рюмкой спознаться, себя потерять. Напиться и в своем королевстве можно... Опять же и по женской части не очень озоруйте. Папаша вас для государственной выучки спосылает, а не то чтобы бибьи хвосты раздувать. Я уж давно с этой позиции отошедши, и ничего, ума прибавил, чего и вам желаю. Примечайте, что к чему надлежит: какое на войсках обмундирование, почем хлеб на базаре, какие ваши товары идут, какие зря по лавкам преют. Кажинный вечер в полевую книжку на постоялом дворе рапортчики свои заносите, я проверку сделаю. Опять же...

Прислушался генерал — храпит с правого боку королевич, аж кони шарахаются. Растолкал он его деликатно, замечание ему сделал:

— Я вам, ваше высочество, линию поведения разъясню, а вы, например, храпите. Хоть я и в штатском, однако ж неудобно.

Извиняется королевич:

— Дорога тряская, слова усыпительные. Как не идремнуть... Вином я, между прочим, не занимаюсь, бибями пока что не интересуюсь, млад еще, — что ж вы меня только зря растравляете...

Перемигнулся он тут с Левонтием:

Гони, Левонтий! Что ты там на козлах вожжи дощипь. Вишь, город чужеземный под горой показался... Но гьме ни лысого беса не увидим, что ж я тогда в полевую книжку запишу?

Загремели колеса. Генералу и крышка: на полном ходу не больно поговоришь — либо язык прикусишь, либо слюной подавишься. Нутренности свои на толчок придерживает, в угол притулился — вылетишь на огороде, ложками не соберешь.

Покрутились в одном городе, завернули в другой. Пиявит генерал королевича, смотреть тошно. То на площадь водит для наблюдения, как казенного вора березовой лапшой кормят, то кирпичи на постройке колу-пает: снаружи красота, а в середке песок трухлявый — «у нас не в пример чище». На парад из толпы глазели. Эка невидаль! Равнение держат, а смотреть скучно. Девушки тут некоторые на королевича в вольном платье засматриваться стали — генерал его плечом заслонил. В полевую книжку и записать нечего.

А Левонтий все при конях да при коляске. С лица посерел — ни уйти, ни напиться, — потому неизвестно, когда генерал с королевичем на постоянный двор с проходки вернутся. Вот тебе и заморские края — будто с за-вязанной мордой в театре сидишь...

В третье королевство переметнулись. Проснулся это генерал ни свет ни заря — двужильный пес был, — кликнул Левонтия: «Подавай кофий». А королевич из своего номера знак сделал — «затормозись на минутку».

Задержался Левонтий около койки, смотрит на королевича, а у того голубые невинные глаза в синий стальной цвет ударяют, до того у него сердце кипит.

— Что ж, Левонтий... Так с им тут и возжаться, кирпичи да парады, тетку его в негашеную известь! Придумай, брат, чего-нибудь, как бы нам хочь один день без него позаняться.

— Дело не хитрое, — отвечает солдат, — разрешите безвредный сонный порошок им в кофий бухнуть. В сон их ударит, хочь все бакенбарды по волоску выщипи, до самой полночи не прочухается. Будто судак летаргический!..

— Сыпь! Ты мне подчинен, я тебе приказываю. А то, ежели без передышки терпеть, как бы я его всурьез не ухлопал.

Раз-два, вваливается Левонтий к генералу, чашка на отлете, пар штопором.

Хлебнул тот, по лицу легкий туман прошел: «Горчит чтой-то...»

— Никак нет. Кофий самый генеральский, казанского размолу. Извольте выкушать.

Опростал генерал чашку, хотел было губу обшлагом утереть, да так на диван и запрокинулся. Хрюкнул — и готов. Хочь на блюдо клади...

Стрепенулся королевич:

— Куда же мы с тобой, Левонтий, закатимся?

— Перво-наперво в лес. Двустволки прихватим, пташек постреляем. В речке искупаемся, умственность-то эту надо вам с себя смыть. Да генеральскую фляжку дозвоьте в ягташ сунуть. Они хоть и пожилые, а насчет рому мастаки. Выпьем, закусим, а там — что Бог пошлет.

Прикрыли они генерала скатеркой, чтоб мухи его не заели, и ходу. Лесная глушь тут за постоянным двором и простиралась.

\* \* \*

Шли они, шли, зеленая мгла глаза застилает, дух ядреный. Ни пташки, ни зверя. Заместо зайцев друг за дружкой гоняли, кровь в них взыграла — из-под генеральской опеки на целый день ушли. Сполоснулись в ручье, выпили, закусили, тронулись дальше. В какую сторону ни сунутся, конца-краю лесу не видно. Стали они сумлеваться, откуль пришли, куда на постоянный двор направление держать? Плутали, плутали, ан тут и лес оборвался, вдалеке в два яруса голубые холмы маячат, по скату то ли туман белеет, то ли овцы пасутся. Глянул королевич в подзор-трубу: по углам, будто сахарные головы, башни стоят, промеж их стена в зубцах белой змеей вьется.

— Эва! Никак крепость, Левонтий! Авось там и дорожку укажут, и коней дадут... Чего зря кружить?.. Время не раннее. Айда!

Сказать просто, да не так-то и шагнешь. Кругом топь, на зеленый мох ступишь, так по брюхо в болото, как в простоквашу, и влипнешь. Выдрались они на пенек, пообсохли. Экая досада. Ни тропы, ни дорожки. Что ж за крепость такая без подходу?

Воззрился это Левонтий из-под ладони, наземь пал,

королевича к себе пригнул: «Нишкни! Вишь там, справа, лиса по кочкам сигает».

Только было королевич за двустволку схватился, чтобы с колена зверя срезать, а Левонтий рукой дуло отвел:

— Не извольте стрелять. Лиса в крепость продирается, должно, у ей там нора под горой... Валите за ее хвостом, ишь, так вымпелом и горит, авось и мы доберемся...

Стали они с кочки на кочку перепархивать, крепость все явственней обозначается. Только к башне подтянулись, на твердую землю ступили, шась — из ворот бабий взвод с ухватами наперевес налетел, локти незваным гостям прикрутил.

Резонов никаких не принимают, волоком волокут, упираться не упираться — здоровенные бабы были, чистые медведицы. Притащили их к парадной избе, сидит на крыльце строгая девушка — бровь шнурком, грудь ананасом, глаза — лед бирюзовый. Вроде как ихняя царица. Обсказала ей старшая взводная баба, в чем суть: «Заявились людишки, пол мужской, собой слабосильные. Бают, будто с дороги сбились, а как скрозь топь прошли, и сами не знают».

Усмехнулась царица, видит — враг неопасный. Приказала Левонтия — пока что — в баню посадить, караульную девушку к нему приставить. А королевича на крыльце против себя посадила мотать шерсть. Куда ж его, такого сахарного, сторожить, и сама управится. Сидит Левонтий в бане в полной прохладе, с отчаянной скуки палочку строгает, досада его грызет, аж в глазах рябит. Ишь ты, дело какое! В бабий полон попали, хочь никому и не сказывай.

Караульная девушка на пороге рукавицу вяжет, ухват к лавке прислонила. Из себя кубастенькая, личико просфоркой, плечики — одно беспокойство...

— Эй ты, караул почетный! Как тебя звать-то?

— Таней зовут. А тебе ни к чему. Сиди, коли посадили.

— Да что ж зря сидеть? Не цыплят высиживать! Где у вас, Таня, мужики-то? Грудных ребят кормят, что ли?.. Почему бабы в караул заступают?

— Отродясь у нас мужиков не было. Этого добра не держим. Бабье у нас царство. Сами собой управляемся.

— Ишь ты! А как же у вас, например, насчет пополнения населения?

— Штука какая! Старушки у нас специальные к этому приспособлены... В чужие земли их потаенно спосылаем, они нам малолеток, девочек-сироток приставляют...

— Ловко! Стало быть, чужими трудами подпитываетесь. А как же старушки через топь пробираются? На лягушках верхом, что ли?..

— Зачем через топь? Она непролазная. Подземный ход у нас тайный есть... Да тебе знать-то не полагается. Где вас поймет, зачем вы к нам препожаловали. Сиди и не вякай.

— Это точно. Государственный секрет прохожим выдавать не полагается. Ты, вижу, девушка натуральная... А как у вас, например, насчет пищи?

— Черники поешь. Вон полная плошка стоит.

— Шут с ей, с черникой... С нее только язык лубенест. В полон берете, а продовольствие воробьиное. Тоже, государство... Ватрушку бы хочь поднесла.

— Какие тебе ватрушки! Творогу да яиц у нас и в заводе нет. Потому мы ничего мужского, тьфу-тьфу, — ни быков, ни петухов не держим. А без них — куры не несутся, коровы пустые ходят... Овощами обходимся, ягоды у нас да мед, грибов не оберешься. Пожуй вот корочку. Ишь, гладкий какой, авось до утра не помрешь...

Встал Левонтий, палочку в угол швырнул, подошел к Тане, рядом на лавку сел.

— Ты ухвата-то не трожь, арестованному не дозволяется.

— Тоже оружие... Ведьмам пятки чесать. А ты, девушка, смотри: видишь, над баней гнездо — ласточка живет, птенцов воспитывает. Чай, не одна живет — с мужчиной. Без мужчины с этим делом не управишься.

— Мне-то что. Не я распорядки здешние заводила. Зато без командиров живем. Вот сменяюсь да пойду с бабими в чехарду играть... Тебя как звать-то? Что скучный сидишь?

Подсыпается солдат поближе.

— Левонтием зовут. Некоторые девушки, понимающие, и Лешей звали... Жук у вас, Танюша, между прочим, по плечу ползет. Дозвольте снять.

— Не замай, черт! И жука-то никакого нет, все врешь. Ишь, как от тебя мужчиной несет.

— Не козлом же пахнуть. Зря хаишь. Ром, Таня, не хотите ли?

— Что за ром такой?

— От бешеного бычка штоф молочка... Хлебните... Вишь, закашлялась, розан какой изумрудный. Да ты что ж отодвигаешься? Я тебе добра желаю.

— Не приставай, охальник! Еще кто мимо пройдет, ненароком в дверь заглянет.

А сама нет-нет да к Левонтию и приклонится. В новинку ей, стало быть.

— Да ты в уголок пересядь. Здесь, в тени, способнее. Эх, Таня, Танюша... Глазки у вас, можно сказать, знаменитые. По всем королевствам ездил, таких не видал. Натуральные глазки.

— Да ты все врешь...

— Лопни моя утроба. А ручки... Откуль что берется. Чисто лен бархатный. Ты когда с караула сменяешься?

— К закату. Рябая Алена заступит. Злая она, нос конопатый. Ты к ей, смотри, не подольщайся. О полночь мой черед. Зайца тебе принесу жареного.

— Зайцы у вас плодятся?

— Да они так, самотеком... Вроде ласточек. Мы к тому не причинны... Рубашку мне потом дашь, я тебе постираю... Вот бабы наши баяли, будто все вы, мужчины, хуже чертей. А ты ничего, приятный.

Ухмыляется Левонтий. А сам все жучка на круглом плечике шарит. И шут его знает, куда он, жук энтот, уполз...

\* \* \*

В прочих королевствах время колесом бежит, а тут застопорило: будто в подводном царстве на дне песок пересыпаешь.

Ослобонили Левонтия из банной кутузки — должно-

сти никакой. Хочешь — раков под раковой лови, хочешь — канву из девичьих узоров выдергивай... Пробовал было он баб ротному строю обучать, рукой махнул. Команды не слушают, регочут, кобылы, да и с ухватами какой же строй! Одна срамота. Скомандует «стрельба с колена», а они крутые бока почесывают да Левонтию милovidные намеки подают. С поста-то их давно на скоромное потянуло — держи ухо востро.

Однако он не интересуется. Не такой был солдат. Чего тут дождешься? Капустным комендантом назначат, косу отпусти да на девок покрикивай. Кабы не Татьяна, магнит румяный, да не королевич, давно бы он по лисьим кочкам домой подался: своя дверь как гусли скрипит, чужая — собакой рычит.

Опять же и с королевичем неладно. Пришила его к себе царица, ни на шаг не отпускает. В капоты свои парчовы рядит, кудри помадит. Совсем обабился, хочь на лукошко сажай. Что хорошего? Сам себя разжаловал, из парадных королевичей к бабьей царице в игрушки определился, блох ейных на перине кормить. При таком и состоять обидно.

Чистил как-то Левонтий около парадной избы двустолку, засвистал солдатский походный марш королевства... Услыхал королевич, по лицу словно облако прошло, задумался. Клынуло, стало быть, — вспомнил. Царица к нему с теплыми словами, плечом греет, глазами кипятит, а он ей досадный знак сделал, не мешай, мол, слушать... С той поры Левонтия и близко к крыльцу не подпускали. Определили его за две версты, в караульное помещение, дежурным бабам постные щи варить. Свисти, соловей, сколько хочешь...

Три дня варил, словом ни с кем не перекинулся. Бабим досадно, а ему наплевать. Все планы свои раскидывал — солдатская голова его сто поверток знает. Да все за кухонный порог с отчаянной скуки поглядывал, как дохлую галку муравьи обглаживали.

На четвертый день к вечеру вызывает он через Татьяну королевича на черно крыльцо, манит его в сад, в беседку. Брови принахмурил и страшные слова говорит:

— Беда, ваше высочество. Нынче утром я в бурьяне, под караульной башней, штаны латал, бабий разговор ненароком подслушал. Бунтуются они, идолицы, хотят вас на муравьиную кучу в натуральном виде посадить.

Испужался королевич, за поясок схватился: «Как так? За что про что?»

— За то про то, что вы ихнюю царицу из седла выбили, все ихние правила нарушили. У них устав твердый.

— Да разве ж я ее из седла выбивал?

— Ну, кто кого, где им разбирать. Муха ли к меду липнет, мед ли к мухе. А чтобы вам не обидно было, порешили и ее с вами, спинку к спинке привязавши, таким же манером остудить... Муравей у них крупный, в три дня и ногтей не останется.

— Вот так поднес! Как быть-то, Левонтий?

— Так и быть. Звание свое природное вспомните, и, между прочим, вы есть мужчина. Капот ноги путает... Знайте, сударь, честь: погрелись, да и вон. Подземельный выход мне через одну девушку известен, костюм ваш штатский я в ихнем чейхаузе выкрал. Надо нам непременно в ту же ночь и бежать.

— Неблагородно, Левонтий, выходит. Женщину я зря растревожил, а сам в кусты.

— Не извольте огорчаться, мед ваш мы с собой прихватим. Потолкуйте с царицей, что ей слаще: здесь без вас бело тело муравьям скормить либо с вами на воле на королевскую вакансию выйти... Генерал, поди, заждался, землю под собой роет. Папаша без вестей истосковался. Час сроку даю, обдумайте. Тоже и я не безногий, тони, кому охота, а мы на песочек...

Пала темная ночь, все в аккурат по Левонтьеву расписанию и вышло. Объявилась у подземельного хода царица, королевич за ей, в затылок. И Левонтий тут как тут, а сбоку девушка, личность закутана, с узелком.

Всмотрелась царица, всполошилась:

— Ты-то куда, Танюша?

Девушка, само собой, разъясняет:

— Чем я других хуже... Устав и я нарушила, Левонтий подтвердить может. Ужели мне одной за вас всех на муравьиной куче сидеть?

Засмеялась царица тихо-тихо, будто мелкий жемчуг

на серебряное блюдо просыпала. Раздвинула в горе куст ежевики, взяла королевича за теплую ручку. Таня огарок зажгла — и сгнули. Левонтий за ими вроде прикрытия тыл защищает.

Идет и все петли свои в голове плетет. Теперь, стало быть, королевич главную науку произошел — невесту себе выбрал, не станет, поди, по заморским краям больше трепаться. А генерал, что он супротив может? Его для умственности послали, а не то чтобы после кофия весь день до вечера на диване дрыхнуть. За этакое поведение король не похвалит...

Подтянулся он к Тане поближе, на ухо ей разъясняет: «Ты, Танюша, смотри. У нас тоже в королевстве устав строгий. Кто из вашей сестры с кем одним спознался, того и держись. А не то чичас на муравьиную кучу посадят. Поняла?»

Двинула она его локтем под пятое ребро, осерчала: «Отвяжись, леший. И так я, как в тебя, дурака, врезалась, дни-ночи не спала, аппетиту решилась. Ужель снова из-за вашего брата беспокойство такое принимать?..»

## МИРНАЯ ВОЙНА

**З**а синими, братцы, морями, за зелеными горами и стародавние времена лежали два махоньких королевства. Саженью вымерять — не более двух тамбовских угздов.

Население жило тихо-мирно. Которые пахали, которые торговали, старики-старушки на завалинках толкно хлебали.

Короли ихние между собой дружбу водили. Дел на шитак: парад на лужке принять, да кой-когда — министры ежели промеж собой повздорят — чубуком на них замихнуться. До того благополучно жилось, аж скучно корольям стало.

Был у них на самой границе павильон построен, чтоб далеко друг к дружке в гости не ходить. Одна половина в одном королевстве, другая в суседском.

Сидят они так-то, дело весной было, каждый на своей половине, в шашки играют, каждый на свою землю поплеывает.

Стража на полянке гурьбой собравшись — кто в рюхи играет, кто на поясках борется. Над приграничным столбом жучки вьются — какой из какого королевства, и сам не знает.

Вынул старший сивый король батист-платок, отвернулся, утер нос — затрубил протяжно, — спешить некуда. Глянул на шашечную доску, нахмурился.

— Неладно, ваше королевское величество, выходит. У меня тут с правого боку законная пешка стояла. А теперь гладко, как у бабы на пятке... Ась?

Младший русые усы расправил, пальцами поиграл.

— Я твоим шашкам не пастух. Гусь, может, мимо пролетающий, крылом сбил или сам проиграл... Гони дальше!..

— Гусь? А энто что?.. — и с полу из-под младшего короля табуретки шашку поднял. — Чин на тебе большой, королевский, а играешь, как каптенармус. Шашки рукавом слизывает.

— Я каптенармус?..

— Ты самый. Ставь шашку на место.

— Я каптенармус?! От каптенармуса слышу! — скотил младший король с табуретки и всю игру полой халата наземь смахнул.

Побагровел старик, за левый бок хватился, а там за место меча чубук за пояс заткнул. Жили прохладно, как там мечи!

Хлопнул он в ладоши:

— Эй, стража!

Русый тоже распетушился, кликнул своих.

Набежали, туда-сюда смотрят: нигде жуликов не видно. Да и бить нечем — бердышей, пицалей давно не носили, потому очень безопасная жизнь была.

Постояли друг против друга короли — глаза, как у котов в марте, — и пошли каждый к себе, подбоченься. Стража за ими, у кого синие штаны — за сивым королем, у кого желтые — за русым.

\* \* \*

Стучат-гремят по обеим сторонам кузнецы — пикируют, мечи правят. Старички из пушек воробьиные гнезда выпихивают, самоварной мазью медь начищают. Бабы из солдатских запасных штанов моль венчиком выбивают, мундиры штопают — слезы по ниткам так и бегут. Мужички на грядках ряды вздваивают, сами себе на лапти наступают.

Одним малым ребятам лафа. Кто на пике, заднюю губернию заголив, верхом скачет... Иные друг против дружки стеной идут, горохом из дудок пуляют. Кого в плен за волосья волокут, кому фельдшер прутом ногу пилит. Забава. Призадумались короли. Однако — по ночам не спят, ворочаются, — война больших денег стоит. А у них только на мирный обиход в обрест казны хватало. Да и время весеннее, боронить-сеять надо, а тут лошадей всех в кавалерию-артиллерию согнали, вдоль границы укрепления строят, ниток одних на амуницию катушек с сот пять потребовалось. А отступиться никак невозможно: амбицию свою поддержать каждому хочется.

Докладывает тем часом седому королю любимый его адъютант: так-то и так, ваше величество, солдатиска такой есть у нас завалищий в швальне, солдатские фуражки шьет. Молоканского толку, не пьет, не курит, от говяжьей порции отказывается. Добивается он тайный доклад вашему величеству сделать, как войну бескровно-безденежно провести. Никакого секрета не открывает. Как, мол, прикажете?

— Гони его сюда. Молокане, они умные бывают.

Пришел солдатик, смотреть не на что: из себя михрютка, голенища болтаются, фуражка вороньим гнездом, — даром что сам мастер. Однако бесстрашный: в тряпочку высморкался, во фронт стал, глаза, как у кролика, — ан смотрит весело, не сморгнет.

— Как звать-то тебя?

— Лукашкой, ваша милость. Трынчиком тоже в швальне прозывают, да это сверхштатная кличка. Я не обижаюсь.

— Фуражки шьешь?

— Так точно. Нескладно, да здорово. А в свободное время лечебницу для живой твари содержу.

— Какую еще лечебницу?

— Галчонок, скажем, из гнезда выпадет, ушибется. Я подлечу, подкормлю, а потом выпущу...

— Скажи, пожалуйста... Добрый какой!

— Так точно. Веселей жить, ежели боль вокруг себя утишаешь.

Повел король бровью.

— Ишь ты, Чудак Иванович! А каким манером, ты вот похвалялся, — бескровно и безденежно войну вести можно?

— Будьте благонадежны. Только дозвоьте до поры-времени секрет мне при себе содержать, а то все засмеют, ничего и не выйдет.

— Да как быть-то? Ядра льют, пуговицы пришивают... Чего ж ждать-то?

— Не извольте беспокоиться. Пошлите, ваша милость, суседскому королю с почтовым голубем эстафет: в знтот, мол, вторник в семь часов утречком пусть со всем войском к границе изволят прибыть. Оружия ни холодного, ни горячего чтоб только с собой не брали — наши, мол, тоже не возьмут... И королевскую большую печать для правильности слова приложите. Да на военный припас три рубля мне пожалуйста, только всего и расходов.

— Ладно! Однако смотри, Лукашка!.. Ежели на смех меня из-за тебя, галчонка, подымут — лучше бы тебе и на свет не родиться.

— Не извольте пужать, батюшка. Раз уж родился, об чем тут горевать...

С тем и вышел, голенища свои на ходу подтягивая.

\* \* \*

Стянулись к приграничной меже войска — кто пешой, кто конный. Оружия действительно, как условились, не взяли. Построились стеной, строй против строя. Шепот по рядам, как ветер, перекачивается. Не зубами ж друг друга грызть будут... Ждут, чего дальше будет.

Короли, насупившись, каждый на своем правом фланге на походном барабане сидит, в супротивную сторону и не взглянет.

Глядь, издалека на обозной двуколке Лукашка катит, под себя чего-то намостил, будто кот на бочке подпрыгивает.

Осадил коня промеж двух войск, скочил наземь и давай из тележки круг за кругом толстый корабельный канат выгружать. А вдоль каната на аршине дистанции узлы позакручены.

Стал Лукашка на пень, ладони ложечкой сложил и во все стороны звонким голосом разъяснение сделал:

— Вот, стало быть, братцы, посередке каната для заметки синий флажок завязан. Пуцай кажное войско на своей стороне, в затылок стамши, за канат берется. Флажок, значит, над самой границей придется. И с Богом, понатужьтесь, тяните на перетяжку... Чья сторона осилит, канат к себе перетянет, та, стало быть, и ододела. И амбицию свою соблюдем, и никакого кровопролития в золотой валюте. Скоро и чисто!.. Полей не перетопчем, детей не осиротим, хаты целы останутся. А уж какое королевство не одолеет, пуцай супротивникам на свой кошт полное угощение сделает. Всему то есть населению... Ежели господа короли согласны, нехай каждый со своей стороны батист-платочком взмахнет — и валяйте! А чтобы веселей было тянуть, пуцай полковые оркестры вальс «Дунайские волны» играют. Усе.

Ухмыльнулись короли, улыбнулись полковники, ослабились ротные, у солдат — рот до ушей. Пондравилось. Стали войска по ранжиру гуськом, белые платочки в воздух взвились. Пошла работа! Тужатся, до земли задами достигают, иные, сапогами в песок врывшись, как клюковка стали... А которые старшие, вдоль каната бегают, своих приободряют: «Не сдавай, ироды, наяривай! Еще наддай, родненькие, так вас перетак...»

Лукашка клячу свою отпрег, брюхом перевалился, вдоль каната разъезжает — чтобы обману нигде не было. Увидал, как на супротивной стороне канат было об березу закрутили, чичас же распорядился: «Отставить! Воюешь, так воюй по правилу!..»

Вспотели кавалеры, дух над шеренгой, будто портянки в воздухе поразвесили, — птички так в разные стороны и разлетелись. А народ в азарт вошел. Полковники которые, генералы, все к канату прицепились, старички некоторые, мирное население, из-за кустов повыскакивали, вонзились, каждый в свою сторону надает — тянет. Только и слышно, как штаны-ремешки с обоих фронтов потрескивают.

Короли и те не выдерживают. Повскакали с барабанов, каждый к своему концу бросился... Музыканты трубы покидали и туда же...

И вдруг, братцы мои, как лопнет канат на самой середине: так оба войска гуськом наземь и попадали. Пыль винтом. Отдышались, озираются... Как быть?

Кличет седой король Лукашку.

— Эй ты, Ерой Иванович! Как же теперь вышло? Кто победил-то?

А Лукашка громким голосом на всю окрестность, глазом не сморгнувши, объявляет:

— Ничья взяла. Полное, стало быть, замирение с обеих сторон. Каждый король суседское войско угощает. А назавтра, проспавшись, все, значит, по своим занятиям: кто пахать, кто торговать, кто толокно хлебать.

Ликование тут пошло, радость. Короли друг дружку за ручку трясут, целуются. По всей границе козлы расставили, столы ладят, обозных за вином-закусками погнали. А пока обернутся, тем часом короли в павильон за свои шашки сели, честно и благородно.

Не все, конечно, с земли встали-то. У иных, как канат лопнул, — шаровары-брюки по швам разошлись, как тут пировать будешь. Кое-как, рукой подтянувши, до кустов добрались, а там бабы, которые на сражение издали смотрели, швейную амбулаторию открыли. Известно, уж у каждой бабы в подоле нитка-иголка припасена.

Кликнули к себе короли в павильон Лукашку.

— Что ж, молодец, дело свое ты справил. Чем тебя наградить, говори, не бойся. На красавице женить альбо дом с точеным крыльцом построить?

Высморкался Лукашка в тряпочку, во фронт стал, отвечает:

— Дом у меня везде. Где я нужен, там и мой дом. Красавицы мне не надо, из себя я мизерный, ей будет обидно. Да и мне она, человеку кроткому, не с руки. Соболаговолите лучше, ваше здоровье, приказ отдать по обоим королевствам, чтобы ребята птичьих гнезд не разоряли. Боле ни о чем не прошу.

Ухмыльнулись короли, обещали, отпустили его с миром. Блаженного дурака и наградить нечем...

\* \* \*

Таким манером, землячки, сражение энто на пользу всем и пошло. У других от войны население изничтожается, а здесь прибавка немалая вышла. Потому, когда бабы по густым кустам-буеркам разбрелись — портки полопавшиеся на воинах пострадавших чинить, — мало ли чего бывает. Крестников у Лукашки завелось, можно сказать, несосветимое число...

## СКОРОПОСТИЖНЫЙ ПОМЕЩИК

Случай такой был на осенних вольных работах. Копали солдаты у помещика бураки. Вот, стало быть, в один распрекрасный вечер ворочался солдат Кучерявый на своем топчане в хозяйской риге. Невтерпеж ему стало, надышали солдаты густо, — цельная рота, нет никакой возможности. Дневальный, к нему спиной повернувшись, устав внутренней службы долбит. Ночничок копит. Чего ж зевать? Скочил он тихим манером с койки, шинельку в вещевой мешок прихватил, пошел искать себе покою. Ходил-бродил и забрался в людскую баню, что на задворках стояла. Соломки в угол подбросил, уместился кое-как, притих и дремлет. Блохи огнем колят, да что ж, ужели из-за такой сволоты не спать?

Однако слышит, кто-то в вещевом мешке копается, — мышь не мышь, будто пес лапами скубет. Лунный дым пол заливаает. Приклонил солдат голову, видит, лисрь вроде древесной обезьяны. Откуль такому в Волынской губернии взяться? Глянул в другой раз, аж

сердце зашло: сверху рожки, снизу копытца, на пупке зеленый глаз горит. Подтянулся Кучерявый — солдат не кошка, некогда ему пугаться. Левую ладонь мелким крестом закрестил, изловчился и хват за мохнатый за-грювок. Черт и есть, только мелкой масти, — надо полагать, из нестроевой чертовой роты самый лядащий.

— Ты чего, гад, в мешке шарил?

— Нитки, — говорит, — воценой искал. Прости, служивый, дьявола ради.

— Зачем тебе, псу, нитки?

— Мышей летучих наловил взводному бесу на уху. А нанизывать, дяденька, не на что.

— Вот я тебе чичас нанижу.

Выудил из кармана трынчик, сыромятный шинельный ремешок, и, ладони не снимая, скрутил бесу лапки, как петуху на базаре. Встрянул и сел сверху.

— Ндравится?

— Чему ндравиться? Дурак стоеросовый! Пользы своей не понимаешь.

И захныкал.

— Кака така польза? Чего врешь?

— Солдат врет, а черт как стеклышко. Ты б меня отпустил, я б тебе за это исполнение желания, как полагается, сделал.

— Надуешь, кишка тараканья.

— Ну, жди до свету. Может, я днем дымом растекусь, будешь, дурак, с прибылью. Чертово слово — как штык. Не гнется. Ты где ж слышал, чтобы наш брат обещанья не сполнял. Ась?.. А между прочим, зад у тебя, солдат, чижолый. Чтоб ты сдох.

И опять захныкал.

Задумался Кучерявый. Чего ж пожелать? Сыт, здоров, рожа, как репа. Однако машинка у него заиграла, а черт тем часом перемогся, дремать стал — глаз на пупке, как у курицы, пленкой завело.

— Ладно! Что дрыхнешь-то? Тыт тебе не спальный вагон. Сполняй желания: желаю быть здешним помещиком. Поживу власть, мозговых косточек пососу... Хоть на час, да вскачь. Делай!

Черт лапой пасть прикрыл: смешно ему, да обнаружить нельзя.

— Что ж, — говорит, — вали... Удалось картавому крякнуть. Это ты, солдат, здорово удумал.

— А куда ж ты настоящего помещика определишь?

— Не твоя забота месить чужое болото. Подземелье у нас за дубняком есть: там и переспит, очумевши. А когда тебе надоест...

— Что ж тогда делать-то?

— Волос у меня выдери да припрячь. Подпалишь его на свечке — помещик опять на своем отоман-диване зенки протрет, а ты прямо к вечерней поверке на свое место встрянешь. Понял?

— И козел поймет. Только как бы мне за самовольную отлучку не нагорело. Фельдфебель у нас, брат... шутник.

— Эх ты, мозоль армейский. В помещики лезет, а наказаний боится. Ну и сиди до утра, дави мои кости — хрен сухой и получишь.

Привстал Кучерявый, ладонь с загривка снял. Плюнул ему черт промеж ясных глаз. Слово такое волшебное завинтил — аж по углам зашипело: «Чур-чура, ни пуха ни пера... Солдатская ложка узка, таскает по три куска: распяль пошире — вытацит и четыре!» Зарегогал черт и сгинул.

И смыло солдата, как пар со щей, а куда — неизвестно.

\* \* \*

Наутро протирает тугие глаза — под ребрами диван-отоман, офицерским сукном крытый; на стене ковер — пастух пастушку деликатно уговаривает; в окне розовый куст торчит. Глянул он наискосок в зеркало: борода чернявая, волос на голове завитой, помещицкий, на грудях аграмантовая запонка. Вот тебе и бес! Аккуратный, хлюст, попался. Крякнул Кучерявый. Вошел малый, в дверях стал, замечание ему чичас сделал:

— Поздно, сударь, дрыхнуть изволите. Барыня кинит — третий кофий на столе перепревши.

— Ты же с кем, — отвечает солдат, — разговариваешь? Каблуки вместе, живот подбери.

— Некогда, — говорит, — мне с животами возжаться. Барыня сердает. Приказала вас сею минуту взбудить. Все дела проспали.

— Как барыню зовут-то?

Шарахнулся малый:

— Аграфеной Петровной. Шутить изволите?

— А тебя как кличут?

— Ильей пятый десяток величают. Каждая курица во дворе знает.

Спутался слуга. Помещик у них тихий, непьющий — барыня строгая, винного духу не допускала. С чего бы такое затмение?

Влез солдат в поддевку, плисовые шаровары подтянул, сам себе перед зеркалом рапортует:

— Честь имею явиться. Вас черти взяли, а меня на ваше место предоставили. Мурло только у вас не очень чтобы выдающее...

Умываться стал, Илья пуще глаз таращит. Где ж видано, чтобы благородный господин, в рот воды набравши, себе на руки прыскал и по роже размазывал. Однако стерпел. Видит, характер у помещика за ночь как быдто посерьезнее стал.

— Зубки изволите забыть почистить.

— Я тебе почищу, будешь доволен. Полуоборот направо! Показывай, хлюст, дорогу, забыл я чегой-то.

Одним словом, взошел он в столовую комнату. Помещение вроде полкового собрания, убранство, как следует: в углу плевательная миска, из кадки растение выпирает, к костылю мочалой прикручено, под потолком снегири насвистывают, помет лапками разгребают. Жисть!

За кофею грозная барыня сидит, по столу зорю выбивает. Насупилась. С собой красавица: у полкового командира мамка разве что чуть поплотнее...

— Заспался? Заместо кофею сухарь погрызешь песочный. Требуха ползучая. Забыл, что ли, какой ноне день?

— Не могу знать. День обнаковенный, воскресный. Дозвольте вас, Аграфена Петровна, в сахарное плечико... того-с...

Вскипела барыня, плечом в зубы ткнула, так пуле-

метным огнем и кроет... Откудова ж Кучерявому знать, что у них вечером парад-бал назначен, батальонный адъютант дочке предложение нацелился сделать. Упаци Господи, хоть из дому удирай, да некуда. А барыня дочку из бильярдной кличет, полюбуйся, мол, на папашу. Забыть изволил — «жи-рафле-монпасье»! Может, оно по-французски и хорошее что обозначает, а может, француз за такие слова чайный сервиз разбить должен...

Дочка ничего, из себя хлипкая, жимолость на цыплячьих ножках. Покрутила скорбно головой, солдата в темя чмокнула. Нашла тоже, дура, куда целовать.

Одним словом, отрядила барыня солдата перед крыльцом дорожки полоть, песком посыпать. Как ни артачился — еванное ли, бариново, дело в воскресный день белые ручки о лопух зеленить? — никаких резонов не принимает. Как в приказе: отдано — и баста. Слуги все в город за вяземскими пряниками уланы, Илья-холоу на полу сидит, медь-серебро красной помадой чистит. Полез было солдат в буфет травнику хватить, чтобы сердце утишить. Ан буфет на запоре, а ключи у барыни на крутом боку гремят. Сунься-ка.

Ползал он, ерзал до обеда, упирался, китайского шелка рубашка пятнами пошла. Домашний пес, медлянский пудель, за ним, стерва, следом ходит. Чуть Кучерявый присядет корешков покурить, тянет его за поддевку, рычит: работай, мол, солдатская кость, знаем мы, какой ты есть барин!

С пол-урока отмахал, дочка ему в форточку веером знак подает: папаша, обедать! Взыграл солдат — в брюхе-то, ползавши, аппетит нагуляешь. Взошел перышком. Смотрит, перед барыней гусь с яблоками, перед им — суп-сельдерей из мушиных костей, две крупки шшереди плывут, две сзади нагоняют.

— Почему, — говорит, — такое?

— Почки у тебя гнилые, мясного тебе нельзя. Супу не хочешь — моркови сырой погрызи, очень от почек это помогает.

Встал солдат из-за стола — будто на сонной картинке пирожок лизнул. В плевательную миску плюнул: «По-

корнейше благодарим». Поманил Илью глазом. Стоит, гад, чурбан чурбаном, с барыниной шеи мух сдувает. Сам небось потом все потроха-крылышки один стрескает. Пошел горький помещик с пустой ложкой на кухню. Котлы кипят, поросенок на сковороде скворчит, к бал-параду румянится. Фельдфебель, кот лысый, расстегнувши пояс, у окна сидит, студень с хреном хряпает, желвак на скуле так и ходит. Посматривает Кучерявый издали на фельдфебеля с опаской, переминается, а сам стряпуху в сени манит: «Выдь-ка, мать, разговор будет». Вышла она к нему, ничего. Женщина пожилая, почему и не выйти.

— Ужели, — говорит солдат, — для-ради своего барина и студня не найдется? Оголодал, мочи моей нет — кишка кишку грызет.

Не на такую, однако, наскочил.

— И не просите, ваше здоровье. Барыня меня пополам перервет, потому — почки у вас заблуждающие.

Послал он стряпуху, куда по армейскому расписанию полагается, с тем и ушел. Фельдфебельскую казенную горбушку на кадке нашел, сгрыз до крошки. А за окном солдаты, ротные дружки, в ригу гуськом спешат, котелки с щами несут, лавровый дух до самого сердца достигает, мясные порции на палочках несут. Промеял быка на комариную ляжку.

Вертается он мимо барыниной спальни. Слышит: спружины под барыней ходят, кряхтит барыня, гуска ее распирает. Поиграть, что ли? Остановился, в дверь мизинным пальцем деликатно брякнул.

— Дозвольте взойти? В акульку перекинуться либо так орешков погрызть? Очень тошно одному по дому слоны слонять. А вы, между прочим, из себя кисель с молоком, хоть серебряной ложкой хлебай. Душенька форменная...

— Пошел, — говорит, — прочь, моль дождевая! Чтоб я таких слов солдатских больше не слышала!

К дочке в стенку изумрудным кольцом тюкнула и опять слова свои по-французски: «Жирафле-монпассе...». Хрен их знает, что они обозначают.

Стащил Кучерявый с коридорного ларя лакейскую

гармонь. Обрадовался ей, словно ротному котлу. Пошел к себе в кабинет, на отомане устроился, ноги воздел и только было грянул любимую полковую:

Дело было за Дунаем  
В семьдесят шастом году, —

ан летят со всех ног Илья-холуй да стряпуха Фекла, руками машут, гармонь из рук выворачивают.

— Барыня взбеленившись, у них только послеобеденный сон в храп развернулся, а вы ее таким простонародным струментом сбудили. Приказала сей же час прекратить!

Загнул солдат некоторое солдатское присловье, Феклу так к стене и шатнуло. Однако подчинился. Видит — барыня в доме в полных генеральских чинах, а помещик вроде сверхштатного обозного козла, ротной собачке племянник. Задержал он в дверях Илью, спрашивает:

— Что ж это, друг, барыня у вас такая норовистая? До себя не допускает, никакой веселости ходу не дает. В чем причина?

Лакей форменно удивляется:

— Рази ж вам неизвестно, что имение на ихнее, барынино, имя записано. Характер у вас по этой причине подчиненный. Туфельки на бесшумной подошве надеть извольте-с. Барыня сердчает, почему скрип.

— Дал бы я твоей барышне леща промеж лопаток... Дивай туфлю-то, рабья душа.

Скидывает он с тихим шумом штиблетки на самаркандский ковер. Нагнулся — слышит, от Ильи умильный дух — перегаром несет.

— Что ж, Илья, этак не годится. Я ведь тоже вроде человек. Тащи сюда сладкой водочки да огурцов котелок. Ухнем в тишине, тетку твою за правую ногу.

— Никак нет, сударь! Барыня меня должности решит. Я потаенно, извините, вкушаю. А вам они нипочем не дозволяют. Капли свои почечные извольте припить.

Схватил солдат Илью за белоколенкоровые грудки, потряс и в коридор высадил. Пал на отоман, бородку

в горстку сгреб и до самой вечерней зари, как бугай, пластом пролежал. Авось, думает, на бал-параде отыграюсь...

\* \* \*

Вечеру снарядили солдата по всей форме. Сапожки лаковые по ранту, поддевка новая, царского сукна, кисть на рубашке алая, полтинник, не меньше стоит. Набрался он духу, сунулся было в дверях с ротного командира шинельку стаскивать. Однако барыня зашипела: «Ты что ж, денщик, что ли? Фамилию свою срамишь. С дам скидывай, а с господами офицерами и Илья управится». Ротный ему лапу сует, здоровкается, а солдат-дурак, руки по швам, глаза пучит, тянется. Кое-как обошлось. Идут в залу. Начальства этого самого, как в полковой праздник. К закускам табуном двинулись, графины один другого пузатее, разноцветным зельем отливают.

Насмелился солдат — в суете да с обиды и мышь храбра, — дернул рюмку-другую. С полковым батюшкой чокнулся, хоть он и на офицерской линии, однако вроде вольного человека. Хватил по третьей — барыне за адъютантской спиной подмигнул: сторонись, душа, оболью. Четвертую грибком осадил. От пятой еле его Илья отодрал — не жаль себя, да жаль водочки... Крутом народ исподтишка удивляется: ай да помещик, неужели барыня на его имя имение отписала? Ишь хлещет, будто винокуренный завод пропивает.

Однако укорот ему тут барыня сделала. Посадила с собой рядом за стол, по другую руку ротный. Прикрутила малого на короткую цепочку. Сама его в бок локтем, каблуком на мозоль давит, глаза зеленые, того и гляди пополам перекусит. Ротный его про здоровье спрашивает, насчет заблуждающейся почки, а он, словно за чуб его бес поднял, вскочил да гаркнул по-солдатски:

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!

Гости, известно, ухмыляются: разнесло, мол, помещика, рот нараспашку, язык на плече...

Осадила его барыня на задние ноги, аж шаровар

ный хлястик лопнул. Кругом пьют, едят, сосед соседке кренделяет. Один солдат как пес на аркане. Только во вкус вошел, робость монопольным винтом вышибать стало, ан тут и точка.

Между тем господин полуротный супротив сидел, догадался. «Воды, — говорит, — не угодно ли? Потому у нас в лице сердечная бледность».

Накапал ему с полстакана. Поднес Кучерявый к усам: хлебной слезой так в душу и шибануло! Опрокинул на лоб, корочку черную понюхал, сразу головой будто выше стал. Барыне сам на мозоль наступил, в бок ее локтем двинул... Песню играть стал, с присвистом ложками себе по тарелке подщелкивает:

На поляне блестит лужа,  
Воробьи купаются...  
Наша барыня от мужа  
В полдень запирается!

Катавасия тут пошла, грохот. Барыня авантажной ручкой до солдатской морды добирается: сконфузил, гунявый, при всех, да и дочке карьеру того и гляди перешибет. Ротный ее оттаскивает, полковой доктор каплями прыщет. Еле утомонилась. А тут дочка для перебоя на фортепьянной музыке танец вальц ударила, завертелись кто с кем. Солдат не зевает, полынной в суматохе в прохладном закоулке хватил — хмельной клин в голову себе вбил. Ротного матушку, полнокровную сырую старушку, обхватил и давай ее почем зря буреломом пертеть, как жернов вокруг пушки. Солдатские вальцы ломают пальцы... Насилу отодрали.

Разбушевался Кучерявый. По ломбардному карточному столику ляпнул — доска пополам.

— Кто здесь хозяин? Я! Построиться всем в одну шеренгу! На первый-второй рассчитайсь!.. Ряды вздвой! Желая всем приказание объявить...

Ну, тут некоторые военные насупились: простой помещик, вольная личность — офицерским составом командовать вздумал...

Собрались кольдом, дым ему в нос пускают, пофыркивают. А он как рявкнет:

- Желая, чтобы всю роту чичас же сюда предста-

вить! Всем солдатам полное угощение! И чтоб жена моя, барыня, при полном параде русскую перед ими сплясала. Живо!

Тут его окончательно и пришили. Справа и слева под ручки, как свинью на убой, поволокли. Елозит он ногами, упирается, а барыня сзади разливательной ложкой по ушам да по темени. Насилу полковой доктор уговорил, чтобы полегче стучала, потому при блудящей почке большой вред, ежели по ушам-темени бить.

Вдвинули его в кабинет, надали пару, так до самого дивана на собственных салазках прокатился. Вот тебе и помещик. И дверь на двойной поворот: дзынь. Здравствуй, стаканчик; прощай, винцо.

Отдышался он, вокруг себя проверку сделал: вверху пол, внизу — потолок. Правильно. В отдалении гости гудят, вальц доплясывают. Поддевка царского сукна под мышкой пасть раскрыла — продрали, дьяволы. Правильно. Сплюнул он на самаркандский ковер — кистота винная ему поперек глотки стала. Глянул в угол — икнул: на шканделябре черт, банный приятель, сидит и, щучий сын, ножки узлом завязывает-развязывает. Ах ты, отпоп драный, куда забрался.

— Что ж, господин помещик, весело погуляли, мозговых косточек пососавши?

— Не твое, гнус, дело. Слезай чичас с моей шканделябры.

— Слез один такой... Говори с дивана, я и отсюда слышу.

— Желанье мое второе сполнить можешь?

— Уговор об одном был. Разлакомился?

— Барыню мою сократи, сделай милость. Я тебе воцеленных ниток цельный моток у каптенармуса добуду.

— Ишь, сирота! За одну минуту кости давил, а теперь — моток! Шиш получишь, а второй тебе завтра барыня к обеду выставит. С мозговой косточкой...

Рванулся было Кучерявый с дивана, да хмель его назад навзничь бросил... На пустой желудок полынная, известно, хуже негашеной известки.

— Эфиоп тухлый! Сдерну вот пицаль с ковра, глаз тебе на пупке прострелю, как копеечку...

— Вали, вали! Пищаль, брат, с турецкой кампании не заряжена. Мишень-то готова.

Рыбьей спиной повернулся и хвост задрал.

— Пали, ваше благородие. Может, ручки подсобить вам поднять?

И серный дух по всему кабинету пустил. Прямо до невозможности.

Икнул солдат, язык пососал и голову набок.

\* \* \*

Прочухался солдат через некоторое время, в окне вечерняя заря польхает. Пошарил кругом, от помещицкого обмундирования одна пуговица на ковре валяется. Дверь на запоре. Под окном меделянский пудель, домашняя собачка, на цепу скачет, пленника стережет. Дожил Кучерявый. Ротный не сажал, а тут партикулярная баба строгим арестом наградила. Илья, поди, в замочную щель смотрит, в кулак, стервец, грегочет. Опохмелиться нечем... Слюнку проглоти да языком закуси. Потряс он дверь изо всех солдатских сил, барыня из бильярдной так и рывкнула:

— Цыц, гунявый! Не то и белье отберу. Жалобу губернатору подам, что ты меня тиранишь. Я евонная дильная тетка, он тебя, окаянного, в дисциплинарный монастырь сошлет...

Хлопнул себя солдат по исподним — попал, как блокнот в тесто. И пяток теперь не отдерешь. А за окном солдатики у колодца весело пофыркивают, белые личики умывают. Жисть!

Сунулся он было в кисет, дымом перегар перешибить. Ан в кисете пусто: только и всего — дратва не дратва, вроде свиной щетинки волосок свернувшись.

Вспомнил он, в чем суть, от радости на весь дом загнистал, аж в шканделябрах хрусталики закачались. Теперь можно. Шваркнул серничком о пол, запалил волосок — и смыло солдата, как пар со щей...

А переключка тем часом идет, до его фамилии добиваются.

— Кучерявый!

— Я!

— Ты где ж это, лягавый, бродил? Куда самовольно отлучался?

— Не могу знать, господин фельдфебель.

Не успел фельдфебель на него зыкнуть, распоряжение сделать, чтобы наутро солдата при полной выкладке под ружье у риги поставить, — ан в дверях Илья-холуй с ножки на ножку деликатно переступает.

Подошел фельдфебель, ручку ему потряс.

— Барыня прислали, нельзя ли к им завтра утречком солдатика прислать. По случаю бал-парада столик ломбардный пополам хряснул.

— Что ж, — говорит фельдфебель. — Кучерявый у нас столяр выдающий. Завтра утром и пойдешь. Барыня тебя за работу гуской покормит. Мозговых косточек пососешь...

У солдата аж в грудях засвербело. Не иначе как черт это его опять сосватал. Ишь, зеленый пупок в углу над бревном помигивает. Закрестил он себе мелким крестом ладонь, руку сжал, черту исподтишка кулак показывает.

И фельдфебель — точно его, лысого кота, ветер на оси в другую сторону завернул — задумался...

— Никак нет... Запомятовал. Завтра утром ротный приказал Кучерявого в город командировать. В полковой канцелярии шкаф рассохши...

Вдохнул Кучерявый. Будто сто пудов с плеч сбросил... Да, пожалуй, барыня не меньше того и весила.

## СУМБУР-ТРАВА

Лежит солдат Федор Лушников в выздоравливающей палате псковского военного госпиталя, штукатурку на стене колукает, думку свою думает. Ранение у него левое: пуля на излете зад ему с краю прошила — курица и та выживет. Подлатали ему шкурку аккуратно, через пять дней на выписку, этапным порядком в свою часть, окопный кисель месить. Гром победы, раздавайся, Федор Лушников, держись...

А у него, Лушникова, под самым Псковом — верст тридцать, не более, — семейство. Туда-сюда на ладье с

земляком, который на базар снеток поставляет, в три дня обернешься. Да без спросу не уедешь — военное дело не булка с маком. Не тем концом в рот сунешь, подавишься...

Подкатил он было на обходе к зауряд-подлекарю — человек свежий, личность у него была сожалеющая.

— Так и так, ваше благородие, тыл у меня теперь в полной справности, в другой раз немец умнее будет, авось с другого конца в самую голову цокнет... А пока жив, явите божескую милость, дозвоьте семейство свое повидать, по хозяйству гайки подвинтить. Ранение мое, сам знаю, не геройское, да я ж тому не причинен. По ходу сообщения с котелком шел, вижу, укроп дикий над фуражкой, как фазан, мотается. А нам суп энтот голый со снетком и в горло не шел. Как так, думаю, укропцем не попользоваться? Вылез на короткую минутку, только нацелился — цоп! Будто птичка в зад клюнула. Кровь я свою все ж таки, ваше благородие, пролил. Ужели русскому псковскому солдату на три дня списхождение не сделают?

Вздохнул подлекарь, глазки в очки спрятал. «Я, — говорит, — голубь, тебя б хочь до самого Рождества отпустил, сиди дома, пополняй население. Да власть у меня воробьиная. Упроси главного врача, он все военные указы произошел, авось смилуется и обходную статью для тебя найдет!» Добрая душа, известно, — на хромой лошадке да в кустики.

Сунулся Лушников к главному, ан кремень тихой просьбой не расколешь. Начальник был формальный, шведение свое содержал в чистоте и строгости: муха на стекло по своей надобности присядет, чичас же палатной сестре разнос по всей линии.

— Энто, — говорит, — пистолет, ты неладно придумал. У меня тут вас, псковичей, пол-лазарета. Все к своей губернии притулились. Ежели всех на бабий фронт к бабам отпускать, кто же воевать до победного конца будет? Я, что ли, со старшей сестрой в резерве? У меня, золотой мой, у самого в Питере жена-дети, тоже свое семейство, не купленное... Однако ж терплю, с должности спусой не сигаю, а и я ведь не на мякине замешен. Крош-

ки с халата бы лучше сдул, ишь, обсыпался, как цыган махоркой...

Утешил солдата, нечего сказать, — по ране и пластырь. Лежит Федор на койке, насупился, будто печень каленым железом проткнули. Сравнил тоже, тетерев шалфейный... Жена к нему из Питера туда-сюда в мягком вагоне мотается, сестрами милосердными по самое горло обложился, жалованье золотыми столбиками, харч офицерский. Будто и не война, а ангелы на перине по кисейному озеру волокут...

Сестрица тут остроглазая у койки затормозилась. Куриный пупок ему из слабосильной порции для утешения сунула да из ароматной трубки вокруг побрыскала. Брыскай не брыскай — ароматы от мук не избавят.

Вечер пал. Дневальный на стульчике у двери порядок поддерживает, храпит, аж пузырьки в угловом шкапчике трясутся. Сестра вольную шляпку вздела, в город на легких каблучках понеслась, петухов доить, что ли... Также и ей не мед солдатское мясо от зари до зари пеленать. Под зеленым колпачком лампочка могильной лампадой горит, вентиляция в форточке жужжит — солдатскую обиду вокруг себя наворачивает. Эх, штык им всем в душу, с правилами ихними... Хоть бы вполглаза посмотреть, что там дома... Сердце стучит, за тридцать верст, поди, слышно...

Отвел Лушников глаза с потолка, так бы зубами все койки и перегрыз. Видит, насупротив мордвин Бураков на койке щуплые ножки скрестил, на пальцы свои растопыренные смотрит, молитву лесную бормочет. Бородка, ровно пробочник ржавый. Как ему, пьявке, не молиться... Внутренность у него какая-то блуждающая обнаружилась — печень вокруг сердца бродит, — дали ему чистую отставку... Лежи на печи, мухоморную на стойку посасывай. И с блуждающей поживешь, абы дома... Ишь, какое гунявому счастье привалило!

Отмолился мордвин, грудь заскреб. Смотрит Лушников — на грудке у Буракова какой-то поросычий сушеный хвост на красной нитке болтается.

— Энто что ж у тебя, землячок, за снасть?

— Корешок, — говорит, — такой, сумбур-трава.

— А на какой он тебе ляд, что ты и на войну его прихватил? От шрапнели, что ли, помогает?

Осклабился Бураков. В ночной час в сонной палате и мордвину поговорить хочется. Пошарил он глазами по койкам — тишина. Солдатики мирно посапывают, хру да хру, — известно, палата выздоравливающая. Повернулся к Лушникову мочалкой и заскрипел:

— Сумбур-трава! На память взял, пензенским болотом пахнет. По домашнему первая вещь. Сосед какой тебе не по вкусу, хочешь ты ему настоящий вред сделать, чичас корешок водой зальешь и водой энтой самой избу в потаенный час и взбрызнешь. В тую же минуточку по всем лавкам-подлавкам черные тараканы зашуршат. Глаза выпьют, уши заклеют, хочь из избы вон беги. Аккуратный корешок!

Сел Лушников на койку. Не во сне ли с лешим разговаривает? Ан нет, мордвин самый настоящий — подштанники казенные, лазаретное клеймо сбоку, все честь честью.

— А выводной корешок-то у тебя есть?

— Какой выводной?.. Из воды его ж и вынешь — просуши да на черной свечке подпали — все и сгинут. Таракан не натуральный!

Взопрел даже Федор с радости, потому толковый солдат сразу определит, что к чему принадлежит. Умоляет, стало быть, Буракова: дай да отдай, зачем тебе, лисья голова, энтое снадобье? Ты, мол, домой вертись, у себя на болоте сколько хошь найдешь, а мне на войне, почем знать, во как пригодится.

Отпихивался мордвин, отпихивался, а потом и сдался.

— Ладно, Лушник. Ты человек добрый, пять ден за меня блевотное лекарство пил. Подарить не могу, давай меняться. Собачьей кожи браслетку с самосветящимися часами отдашь — корешок твой.

Принахмурился Лушников. Часики он у немца пленного на табак выменял: ночью проснешься, блоха тебя лазаретная взбудит, ан тебе впотьмах сразу известно, который час. А тут накость, сопливый редьке часы отдай!

— Да зачем тебе, лесовику безграмотному, часы? По петухам встаешь, по солнцу ложишься, сосновой шишкой причесываешься. Лучше рубль возьми — подавись! Серебряный рубль, чижолый.

Однако уперся мордвин. Грудку застегнул, корешок спрятал, морду халатом верблюжьим не по правилам лазаретным прикрыл.

Посидел-посидел Лушников, не выдержал. Что ж, часики дело наживное: авось и на другого пленного наскочит. Свое семейство ближе... Дернул мордвина за пятку, мало ногу с корнем не вырвал.

— На часы! Лопай! Матери своей на хвост нацепи, чтобы на метле ей летать способнее было. Давай корешок!

\* \* \*

Завертелась мельница с самого утра. Только это мордвина выписали, койку его освежили-оправили — шась-верть — влетает сестрица, носик вишенкой разгорелся, ручками всплескивает.

— Ужаси какие! В подвальной аптеке черные тараканы всю вазелинную смазь съели. По всем столам, чисто как чернослив, блестят... У нас госпиталь образцовый, откуль такая нечисть завелась, бес их знает. Господи помилуй. За смотрителем побежали...

Дежурный ординатор по коридору полевым галопом дует, шпорки цвякают, ремень перевернут, шашка куцая по голенищам ляскает.

— Смотритель где?.. Весь ночной диван в крупных тараканах, в чернильной банке кишмя кишат. Хочь дежурную комнату закрывай...

Только прогремел, глядь — дневальный санитар из офицерской палаты ласточкой вылетает да за дежурным ординатором вдогонку:

— Ваше скородие! Дозвольте доложить, господа офицеры перо-бумагу требуют, рапорт писать хотят... В подполковничьем молоке черный таракан захлебнувшись. Ругаются они до того густо, нет возможности вытерпеть...

И в канцелярии шум-грохот. Стенные часы стали,

сволочи, а почему — неизвестно. Полез письмоводитель на стол, в нутро им глянул, так со стола и шваркнулся: весь состав в густых тараканах, будто раки в сачке — покрут колес цапаются.

Из ревматической палаты толстая сестра на низком ходу выкатывается, фельдфебельским басом орет, аж царский портрет на стенке трясется:

— Да это что же? С какой такой стати в ночных шкапчиках тараканы?! Да этак они и за пазуху заползут... Я девушка деликатная, у меня дядя акцизный генерал, часу я тут не останусь.

Матушки мои... Лежит Федор Лушников на коечке своей, будто светлое дите, ручки из-под одеяла выпростал, пальчиками шевелит, словно до него все это не касающееся.

А тут главный врач из живорезной палаты в белокрахмальном халате выплескивается на шум-голдобню. Что такое? Немцы, что ли, госпиталь штурмом берут?..

Смотритель к нему на рысях подбегает, наливной живот на ходу придерживает, циферблат белый, будто головой тесто месил... Он за все отвечает, как не обробеть. К тому ж со дня на день ревизии они ожидали, писаря из штаб-фронта по знакомству шепнули, что, мол, главный санитарный генерал к ним собирается: госпиталь уж больно образцовый.

Первым делом бросился главный врач в офицерскую палату, голос умаслил, пронзительно умоляет. Да, может, таракана кто ненароком с позиции в чемодане швырнул, он сдуру в молоко и сунулся. Будьте покойны, листочка без спросу мимо их окна не пролетит. Что ж для образцовый госпиталь рапортом губить.

Шуршание тут пошло, чистка. Окна порасстегнули, койки на двор, тараканов по всем углам шпарят, денатуральным спиртом углы мажут, яичек ихних, однако, не видно... Хрен их знает, откуда они такие годовалые швырнулись сразу. А их все боле и боле: буру жрут, спирт пьют с полным удовольствием — хоть бы что!..

А из кухни кашевар с ложкой вскачь:

— Ваше скородие, весь лук в тараканах!.. Прямо чистить нет возможности, сами на нож лезут.

Обробел тут и главный, за голову схватился. Не переселение ли тараканье по случаю войны из губернии в губернию началось? Приказал пока что к офицерской палате дневального сверхштатного со шваброй поставить, чтобы какой таракан под дверную щелку не прополз. С остальными прочими время терпит.

Скребут-чистят. Кое-как пообедали, кажный солдат, прежде чем рот раззявить, в ложку себе смотрит: нет ли в каше изюмцу тараканьего. Так и день прошел в мороке и топотне. Только в выздоравливающей палате, как в графской квартире, — тараканьей пятки нигде не увидишь.

К закату расправил Федор Лушников русые усы, вышел за дверь по коридорному бульвару прогуляться. Видит, за книжным шкафом притулился к косяку смотритель, пуговку на грудях теребит, румянец на лице желтком обернулся. Подошел к нему на бесшумных подошвах, в рукав покашлял. Смотритель, конечно, без внимания, своя у него думка.

— Так и так, — докладывает Лушников, — не извольте, мол, ваше благородие, грустить. Бог дал, Бог и взял!

— Вприсядку мне, что ли, плясать, чудак-человек? Да мне теперь перед ревизией в самую пору буры этой тараканьей самому поесть, а там пусть уж без меня разбираются.

— Куды ж спешить. Бура от вашего благородия никуда не уйдет. А допрежь того я вам всех тараканов в одночасье выведу, за полверсты от госпиталя ни одного не найдете.

Кинулся к нему смотритель, как к родному племяннику, чуть с копыт не сбил. Да ах ты, да ох ты!.. Да не жестко ли ему, Лушникову, спать? Да не охоч ли он до приватной водочки?..

Лушников лисьи эти хвосты отвел, сразу к делу приступает. Угодно, мол, от тараканьей пехоты избавиться, сделайте снисхождение, на три дня увольте — хочь гласно, хочь негласно — семейство свое повидать.

— Да ты не надуешь ли, яхонт, насчет тараканов? Нахвал денег не стоит... Ослобони, а там и разговор будет.

Лушникову что ж... В каком, говорит, помещении у нас главный завод?

Повел его смотритель в продуктовый склад, дверь распахнул, а там — как майские жуки под тополями — так черная сила живым ключом и кипит. Смотреть даже смрадно. Солдат огарок черный, который ему мордвин в придачу дал, из рукава выудил, чиркнул спичкой, подымил корешком... Так враз все тараканы, будто сонное наваждение, и сгнули — мордвин не какой-нибудь оказался.

В такую же минуту у смотрителя на личности желток румянцем так и заиграл.

— Ах ты, орел! — говорит. — Выведи на скорую руку по всем этажам, а там вали на все три дня. На свой страх тебя увольняю. Глаза у тебя ясные, русские, не подведешь, вернешься.

Сует на радостях Лушникову сала да чаю. Тот, конечно, деликатно отказывается да в рукав халатный прячет. Призадумался, однако, смотритель:

— Ты, братец мой, вижу я, дока: обмозгуй уж, присосветуй, как бы этак отлучки твоей никто не приметил... А то в случае чего жилы из меня главный наш вымотает да на них же и удавит.

Усмехнулся Лушников.

— Зачем же этакое злодейство? Жилы каждому человеку нужны... Есть у меня в Острове, рукой подать, милovidный брат. У купца Калашникова по хлебной части служит. Близнецы мы с ним, как два полтинника одного года. Только он глухарь полный, потому в детстве пуговицу в ухо сунул, так по сию пору там и сидит — должно, предвидел, чтобы на войну не брали... Вы уж как знаете, его в Псков предоставьте — вместо меня в лучшем виде три дня рыбкой пролежит и не хухнет. Чистая работа...

Взвился смотритель. Пока солдат по ночным палатам в тайности корешком дымил, отрядил он помощника своего на интендантском грузовике в Остров. Вер-

сты кланяются, встречные кобылки на дыбки встают. Спешно, секретно, в собственные руки... Ночь знает, никому не скажет.

\* \* \*

Ходит главный врач журавлиным шагом по госпиталю, обход производит. Часовому у денежного ящика ремень подтянул, во все углы носком сапога достигает. Хоть бы один таракан для смеха попался: красота, чистота. Утренний свет на штукатурке поигрывает, на кухне котлы бурлят, кастрюли медью прыщут, хозяйственная сестра каклетки офицерские нюхает, белые полотенца на сквознячке лебедями раздуваются...

Взошел главный в выздоравливающую палату. Почему халат в ноги конвертом не сложен? Почему татарин у стенки рукавом нос утирает? С какой радости туфли под койкой носками врозь? Голос, однако ж, сдобный, строгости еще настоящей в себя не вобрал, шутка ли — от такой тараканьей язвы госпиталь избавился... Дошел до Лушникова, приостановился...

— Ты в какое место, сокол, ранен? Запомню я.

Лушников-близнец на койку сел, белыми ресницами хлопает:

— По хлебной, — говорит, — части...

— Что такое? Откудова дурак такой мухобойный объявился?

Сестрица остроглазая тут в разговор врезалась, удобрялась, как мачеха до пасынка:

— Не извольте, господин доктор, беспокоиться. Он с раннего утра все невпопад отвечает, заговаривается. Надо полагать, по семейству своему скучает.

— А, энто тот, что на три дня на побывку просился... Заговаривайся, друг, да не очень...

Глянул он тут в историю болезни, велит палатному надзирателю обернуть солдата дном кверху. Перевернули его, главный очки два раза протер, глазам не верит — ничего нет, прямо как яичко облупленное.

— Ловко, — говорит, — у меня в госпитале работают... Надо бы тебя, красавца, сею же минуту на выписку, да уж оставлю до ревизии. Пусть санитарный гене

рал сам поглядит, как чисто у нас в образцовом ранения залечивают.

Больше и смотреть не стал, с сестрой пошутил, веселой походкой из палаты вышел и пошел в канцелярию требования на крупу-соль подписывать.

Работа меж тем кипит. Смотритель с лица как подгорелый солод стал. В комнату новые медные чайники из цейгауза волокут, а то из жестяных заржавленных пили. Санитаров стригут, портрет верховного начальника санитарной части тряпкой протерли, рамку свежим лаком смазали — красота. На кухне блеск, сияние. Кашеварам утром и вечером ногти просматривают, чтобы чернозема этого не заводилось, дежурного репертят насчет пробы пищи, да как отвечать, да как положенце на отлете держать.

Три дня пролетело — нет санитарного генерала: не извозчик псковской — к любому часу не закажешь. Измаялись все: одну чистоту наведут, готовы вторую. Свежих больных-раненых подсыпят, опять скобли да вылизывай, — пустой котел блестит, полный — коптится.

Про Лушникова смотритель и не вспомнил, не такая линия. Однако ж он в обещанный срок, как лук из земли в вечерний час, перед смотрителем черным крыльцом нырнул. Личико довольное, бабьим коленкором так от него и несет. Вестовой доложил. Вызвали потаенно близнеца-брата, сменились они одеждой, поцеловались троекратно — каждый на свое место: глухой на вокзал, Федор на свою койку. Пирожки с луком исподтишка под подушку сунул, грызет — улыбается. Угрели его, стало быть, домашние по самое темя.

Только утром он из сонной мглы на белый свет вынырнул, слышит — парадные двери хлоп-хлоп. Махальный, сквозь дверь видать, знак подал. Дежурный ординатор с главным врачом шашками сцепились, чуть с мисом не вырвали. Один рапортует, другой сладким сахаром посыпает. Ведут... А в дальних покоях по всем углам сестры сосновым духом прыскают, чтобы лазаретный настой перешибить.

Обернулся генерал, выбрал себе точку, в выздоравливающую палату направление держит.

Ну, главный врач сообразил, конечно, ежели первый блин густо намазать, другие легче в горло пойдут. Подводит санитарного начальника к лушниковской койке, на два шага позади в позицию встал, докладывает:

— Случай, ваше превосходительство, необыкновенный... Солдат Лушников в сидячее место ранение имел, до того здорово у нас его залечили, что и швов не видеть. Будто кумпол гладкий, до того красиво вышло. Муха и та не усидит. Извольте взглянуть.

Генерал, само собой, интересуется. Перекувырнули Лушникову, оголили ему Нижний Новгород, главный врач так и ахнул. Не крой лаком, завтра строгать... Рубец пунцовый во всю полосу, будто сосиска, вздулся. Опасности никакой, а знак отличия полный, лучше не надо.

Вот тебе и намаслил... Нахохлился генерал, хмыкнул в перчатку и бессловесно в коридор вышел. Главный за ним — только кулак за спиной Лушникову показал. Сестрица валерьянную пробку нюхает... Подбелил солдат щи дегтем, нечего сказать!..

Что там дальше было — Лушникову неизвестно, а только через малое время крестный ход энтот назад потянулся: генерал кислый, шашку волочит, главный врач за ним халатную тесемку покусывает — сладка, надо быть. Смотритель в самом хвосте — будто два невидимых беса под мышки его в котел волокут...

Обедать, однако ж, надо — и святые закусывают. Только это выздоравливающие за перловый суп принялись, сестрица впархивает да прямо к Лушникову с сюрпризом:

— Собирайся, милый человек, на выписку. Главный врач распорядился перышко тебе немедленно вставить — нечего лодырей держать, которые начальство почем зря морочат!

Встряхнулся солдат, ему что ж. Рыбам море, птицам воздух, а солдату отчина — своя часть. Не в родильный дом приехал, чтобы на койке живот прохлаждать... Веселый такой, пирожок свой с луком — почитай, вострой — доел, крошки в горсть собрал, в рот бросил и на резвые ноги встал.

— Спасибо, сестрица, за хлеб за соль, за суп за фа

соль. Авось Бог не приведет в другой раз белое тело живопырным швом у вас зашивать... Слушок есть, что к Рождеству немцу капут, женщин у них уже будто малокровных в артиллерию брать стали. А с бабами много ли настреляешь...

Однако сестрица от койки не отходит, вертится. Очень ей по ученой части интересно, как солдат то гладкий был, то вдруг рубец у него наливным алым перцем с исподу опять засиял. Как, мол, такое, Лушников, могло произойти?

Ему что ж скрывать, не католик какой-нибудь.

— Ничего, — говорит, — денатурального, сестрица, в том нет. Третьего дня, как меня ваш главный обернул, и по деликатности воздух в себя весь вобрал, вся кровь в меня и втянулась, ни швов, ни рубцов. А сегодня запамятовал, вот ошибочка и вышла. Уж не взыщите, сестрица. Корова быка доила, да все пролила. Всякое на свете бывает...

## АНТОШИНА БЕДА

Нала ночь на город... Звезды не спят, ветер по кустам бродит, а солдатам в мирное время в ночную пору спать полагается. Спит весь полк, окромя тех, кто в казарме да по дневальству занят... Собрались солдатские Ангелы-Хранители в городском саду, за старым валом. Подначальные ихние, по койкам свернувшись, глаза занесли — не сидеть же до белой зари у изголовьев ихних... Ходят Ангелы по дорожкам, мирно беседуют — лунный свет сквозь них насквозь мреет, будто и нет никого. Только крыло, словно парус хрустальный, кой-где над кустом загорится — и опять в темных кустах погаснет.

Кажный Ангел со своим солдатом схож: который солдат в плечах широк, лицом ядрен — и Ангел у него браный; который замухрышка незадачливый — Ангел у него тихонький, уточкой переступает, виду у него настоящего нет... Однако все между собой в светлом солгании, в ладу — не по ранжиру же им, Ангелам, равняться, звание не такое.

Все боле поротно они собирались, кругами. Потому кажный своей частью интересуется, все солдаттики своей роты до доньшка им известны — беда ли какая, либо заминка, совместно обсудят, авось чего и придумают.

Шестой роты Ангелы коло пруда расположились. Ангела первовзводного командира обступили, ласково ему выговаривают: что-де твой воин-унтер разбушевался — спокойя от него нет, молодых солдат сверх пропорции жучит... Какой-де его овод укусил? Начальник был справедливый, а теперь — будто козел на бочку, так на всех дуром и наскакивает.

Смутился Ангел, поясок шелковый подергивает «Эх, братцы, и самому мне обидно. Письмо он с деревни получил — невеста евонная за волостного писаря замуж вышла — вот он с досады и озорует. Уж я его как-никак успокою... Свое горе, сам и перетерпи, на подчиненных не перекладывай...»

Про инспекторский смотр поговорили — кажись, в роте все исправно, без боя, без крика репертички идут... Сойдет гладко, солдатам облегчение.

Помолчали Ангелы, стали камушки в лунный пруд метать. С чего ж им печалиться: войны не предвидится, в роте штрафованных нет, кажный солдат себя соблюдает — кажись, у Ангелов-Хранителей и забот-то никаких нет.

Затянул было с правого фланга светлокрылый один любимую их, солдатскую:

Раным-рано на рассвете  
Господь солнышко послал,  
Чтоб на ротное ученье  
Солдат жаворонком встал...

Подхватили Ангелы бестелесными соловьиными голосами — от ясного дыхания рябь по пруду прошла. Прижались друг к дружке для угрева, покачиваются. Ан тут ктой-то из них и спрашивает:

— А что же это Антошиного голоса не слышать? Он всех знаменитей поет, куда ж он сподевался? Кажись, солдат его не в наряде...

Переглянулись они справа налево — нет Антоши. А

звали они так Ангела одного Хранителя — потому имена у них каждому по своему солдату идут.

Туда-сюда глянули, на легкие ножки встали: нет Ангела и следа, будто облако, растаял.

Бросились они по кустам, видят, поодаль, у самой воды, сидит под лозой их Антоша, плечики у него вздрагивают, крылами лицо прикрыл, навзрыд рыдает.

— Что с тобой, лебедь? Кажись, твой и здоров, и не на замечанье... С чего плачешь-то, ангельский лик свой туманишь?

— Ах, братцы, беда. Поди, сами знаете — мой-то в роте всех тише, всех безответнее. В иноки б ему, а не в солдаты... Портняжил он все между делом, по малости. То вольноопределяющему шинельку пригонит, то подпрапорщику шароварки сошьет... То да се — десять целковых и набежало... Хотел матери убогой к празднику послать. Старушка в слободе под Уманью живет, только тем и дышит, что от сына ей кой-когда перепадает. Ан вот сегодня и прилучилось: скрали у моего солдата всю выручку, и звания не осталось...

Всполошились тут Ангелы, кругом обступили, крылами, как ласточки в грозу, так и шелестят.

— Да кто ж у него мог скрасть, милая ты душа, когда он из роты-то и не отлучался? Что говоришь-то, подумай...

Отпустил Ангел еще ниже голову, тихо ответ подает:

— В роте и скрали. Простите на горьком слове — да что же и скрывать-то...

Насупились Хранители, друг на дружку и не взглянут. Кто же взять-то мог? Нет у них в роте такой темной души, чтобы у своего брата-солдата воровским манером последнее огребать.

Спрашивает тут первовзводного командира Ангел:

— Доложил твой, что ль, по начальству?

Антошин Ангел резонно ему докладывает:

— Не таковский мой, чтобы жалиться... Да еще перед самым смотром катавасию заводить. Что ж срамоту ни шест вывешивать. Шестая наша рота, как орешек, ужели мы же ее под каблук... Честь не десять целковых стоит, а ежели бы на кого мой солдатик подозрение и

имел, уши б себе заткнул, рот завязал. Я от вас со своим огорчением в сторонку деликатно ушел, а вы меня сами нашли да распатронули...

Ведь вот какой Ангел понимающий оказался.

Разошлись крылатые кто куда. Луна за облако скрылась, кусты вурдалаками принахмурились. Отличилась шестая рота, что и говорить...

Выступает тут из-за темного дуба чернявый Ангелок, из себя не ахти какой, щуплый да хмурый. Около Антоши наземь сел, к плечу его прикоснулся:

— Не кручинься, голубь. Узел крепко завязан, да авось я и развяжу. Деньги-то ведь мой скрал — Брудастый...

Антоша так на него крылами замахал:

— Что ты, что ты! Ветер слышал, ночь унесла... Снежок подпал и следок застлал. Чего же зря расковыриваешь?

Однако ж Ангелок свою нитку разматывает:

— Хочешь не хочешь, а я этого дела так не оставлю. Тебя мне и не надобно. Сраму и на воробьиный клев не будет... Только ты мне своего чистого покрепче усыпи, пока я дуботолка моего в смягчение приведу... Тоже и я препорученную мне черную душу выполаскивать-то должен.

Так строго сказал, что встал Антошин Ангел, низко чернявому поклонился и со смирением ручки скрестил.

— Делай что хочешь. А уж мой до зари камушком пролежит...

\* \* \*

Не спит Брудастый. На локоть облокотился, все на Антошу посматривает, что супротив на койке в носовую жилейку высвистывал, — в печени у него, Брудастого, так и саднит.

«Ишь дрыхнет — будто и не у него украли... Дите стонеросовое. А тут сдуру в чужой сундучок раскатился — благо открыт был. Вот теперь сам себя на вертеле и поворачивай. И зачем крал, бес его кривой знает! Не светило, не горело, да вдруг и припекло... Попросить у Антошки, как следует, — он тебе рубашку последнюю с

крестом отдаст, лампадная душа... Не пожалился ведь никому, Чистоплюй Иванович. Молчан-травку проглотил, только с лица побурел. Поди и не себя он теперь жалеет, а того, кто себя потерял, на убогое солдатское добро позарился. Ведь вот этакая-то вещь более всего и пронзает...»

Не спит Брудастый, поворачивается. А над ним будто темное крыло ходит, слова острые навевает:

— Что, солдат, сам себя накаливаешь? Кто тебе чехол на балалайку ко Дню Ангела сшил? Антошка. Кто на маневрах, как ты притомился, винтовку твою на себе пер? Антошка... А он ведь и сам, как лучинка... Кто за тебя, темного, письма домой пишет, обалдуй ты безграмотный? Кого ограбил?... Антошка простит — стерпит да тебе же еще штаны задарма залатает, — а что ж ты мамашу его хлеба к празднику лишил? Что ж я с тобой делать буду, ежовая твоя голова? Хоть бы откомандировали к другому — тошно мне с тобой, нет никакой возможности...

Скрипнул Брудастый зубом. И не спит будто — откуда ж голос такой занозистый.

— Вставай, вставай... Чего кряхтишь-то, как святой в бане... Умел в яму лезть, умей и выкарабкаться.

Не видно пылинки, а глаза выедает... Терпел он, терпел, однако ж не чугунный — долго ли вытерпишь. Видит, дневальный, к нему спиной повернувшись, сам с собой в шашки за столиком играет. Скочил солдат на пол, по-за койками в угол пробрался, десятку из-под половицы выудил да тихим манером, подобравшись к Антошиной койке, под подушку ему ее и сунул.

Сразу ему полегчало, будто чирий, братцы, вскрыл. Завел он глаза, одеяльце на макушку натянул. Только уснул — ан и во сне хвостик-то остался. «Деньги-то я, — думает, — отдал, а надо будет утром Антошке по всей форме спокаяться. Срам перед ним приму — он добрый, ничего... А то уж больно дешево отделался: украл — воробей не видел, назад сунул — будто наземь сплюнул...»

Только подумал, а перед ним будто его брат родной, только с крылами да в широкой одежде, как небесному воину полагается... Топнул он на Брудастого ножкой:

— И думать не смей!.. Оченно Антошке твое покаяние нужно. Только смутишь его, тихого, занапрасно... Я тебе форменно воспрещаю.

Оробел Брудастый, в струнку вытянулся.

— Да как же так?.. Хочь наказание какое на меня для легкости души наложите...

— А ты без покаяния походи, вот это тебе настоящее наказание и будет.

Задумался тут чернявый Ангелок и начальственно прибавляет:

— Да еще, ежели пострадать хочешь, — воспрещаю я тебе с энтого часа солдатскими словами ругаться. Понял?

Смутился тут Брудастый совсем, спрашивает своего Ангела:

— На время или окончательно воспрещаете?

— Окончательно. Ведь вот же Антоша не выражается. Стало быть, можно...

— Да ему ж без надобности... Вздохом из него всякая досада выходит. А обнакновенному солдату, посудите сами. Скажем, я винтовку чищу. Паклю на шомпол навертел, смазкой пропитал, в дуло сгоряча загнал — а назад шомпол-то и не лезет... Как тут, ваше светлородие, не загнуть? Дверь рывком дернешь — и то она рипит, а солдат...

— Это до меня не касаемо. Наворачивай паклю в пропорцию, вот и не заест... А будешь рассуждать, я тебя и курева лишу.

Вздохнул тут Брудастый, на голенища свои покопился.

— Ладно. Попробую... Только, в случае чего, ежели осечку дам, — уж вы того, не прогневайтесь.

Улыбнулся Ангел.

— Ничего, — говорит, — главное, чтобы прицел был правильный, а осечку Бог простит.

— Так-то оно, братцы, все и обошлось. Антошке — возврат имущества, Брудастому — епитимья, шестой роте — ни суда, ни позора, Ангелам-Хранителям — беспечный покой.

## «ЛЕБЕДИНАЯ ПРОХЛАДА»

Случай был такой: погорело помещение, в котором полковая музыкальная команда была расквартирована. Вот, стало быть, пока ремонт производился, полк снял под музыкантов у купеческой вдовы Семипаловой старый дом, что на задворках за ее хоромами на солнце лупился.

Дом крепкий, просторный. Прежде в нем сам купец с семейством квартировал, а как помер, вдова с отчаянной скуки себе новые хоромы взгромоздила, а старый дом так и стоял без надобности, паутинкой-пылью замшился — мышам раздолье.

Перевезли, значит, кавалеры свои сундучки на нестроевой двуколке, костылей в стены наколотили, трубы свои поразвешивали — живут. Воздух, конечно, затхлый, однако как махоркой его провентилировали — жилым духом пахнуло.

С утра до вечера целый день трубы курлычут, флейты попискивают. Потому команда помимо своей порции еще и в городском саду по вольной цене по праздникам играла. А тут еще и особый случай привалил: капельмейстер, прибалтийский судак, хочь человек вольнонаемный, однако по службе тянулся — вальс собственного сочинения ко дню именин полковой командирши разучивал. «Лебединая прохлада» — на одних тихих нотах, потому в закрытом помещении у командира нельзя ж во все трубы реветь...

А в том дому, братцы, еще с турецкой кампании домовик поселился, на чердаке себе место умял, стружек сосновых понатаскал — прямо перина. В новые хоромы не переехал — старый деревянный дом куда способнее, что ж камень своими боками обсушивать... Да и домовые — они вроде кошек — к своему стародавнему месту до того привычны, что и с кожей не оторвешь.

Харч был готовый — на помойке, за банькой, всегда либо мозговую кость, либо пирога испод подгорелый добудет. Дворовый барбос до этого лакомства не достигал, потому домовый еще с вечера помойку обшаривал, пока собачку с цепи не спушали.

В лунные вечера ему, красноглазому, раздолье: по пустым покоям похаживает, мутным баском рывкнет — стекла по всем концам так и отзовутся. Либо на рундучок в прихожей ляжет, патлы свесит и давай помышинному поцыкивать... Набежит мышей прорва, он им сладкий сухарик скормит да на две партии и распределит: которые мыши пешком — пехота, которые на крысах верхом — кавалерия. Хлопнет пяткой о притолоку, знак подает — пошла война. Грызутся, кувырком о пол шмякаются, а он, шершавый, и рад — по рундучку катается, сам себя лапами по пузу барабанит. Удовольствие.

Зато и мышиную свою команду уж он не выдавал, ни одного кота в дом нипочем не допустит. Чуть который мурло из-за ободранной доски покажет, чичас его домовой кочергой по усам, кот так и вскинется. Попал шар в лузу да и выскочил.

Да и на крыше ему, кудлатому, лафа... Зимой белые шмели над трубой попархивают, в ставне у купеческой вдовы красное сердечко мерцает. Тишина кругом до чрезвычайности. Дальний лес в мутном молоке дремлет... Дура ворона сбоку на крышу подсядет, слепит домовой снежок да в зад ей и пальнет — лети, милая, не загащивайся!.. И летом неплохо: звезды, Божьи глаза, над кровельным коньком играют. Сопрет домовой из колодца бутылку пива. Пьет, ногой по желобу стучит. Остатки дворовому псу на башку сплеснет: не смотри, обормот, на луну, не для тебя выплыла... В саду сторож у шалаша груши-опадки печет. Чуть глаза заведет, домовой свою порцию свистнет, с руки на руку перекинет и к себе на чердак. Знатно жил, что и говорить...

Особливо ж он весну обожал. Черемуха округ всей крыши кольцом цветет, миндальным мылом ноздри лоскочет. Соловьи над малинником гремят, звонкий раскат-пересвист из сада до того грустно наплывает, что не то что домовой — бревно разомлеет. Вытащит он из-за водосточной трубы своей работы жилейку да как начнет соловьев подбадривать, аж прачка Агашка на дворе на белых пальчиках лебедью закружится...

И вот тут неожиданно-негаданно загнули ему под самый, можно сказать, май месяц шип под ноготь. Пона-

перло этой музыкальной солдатни во все покои, прямо дом трясется. Днем не заснешь — а когда ж и заснуть домовому, как не днем... Почитай, с зари гундосят черные дудки, флейты до такой пронзительности достигают, аж в глазах режет, басы в подкладку мычат-раскачиваются. Хочь башку в стружки зарой, хочь паклей из-под бревна уши законопать, нипочем тишины не добьешься. Марши да польки — будто медные козлы через стеклянный забор скачут... Вальс «Лебединая прохлада», правда, на одном пьяном шепоте шел, да что толку, ежели капельмейстер через каждый такт музыку обрывал и такими прибалтийскими словами солдат камертонил, что домовый с тоски в трубу голову засовывал. Не любят они, домовые, когда кто по-русски неправильно ругается...

Да и ночью не легче было. Строевой солдат, когда он не дневалит да на посту с ружьем не стоит, ночью обязательно дрыхнет, а эти бессонные какие-то оказались. Чуть капельмейстер на свою фатеру через дорогу вонзится, чуть старший унтер-офицер, сверхсрочный старичок, мундирчик с шеvronами над койкой повесит, — сейчас кто куда. В саду шу-шу, шу-шу: мало ли беспризорных куфарок да мамок... Полковому музыканту после пожарного, можно сказать, первая вакансия. Из окон сигают, в кустах масло жмут — всех соловьев, самозабвенных пташек, к собачьей матери поразогнали... Сирень снопами рвут — на пятак попользуются, на рубль поломают. Ох, сволочи!

Нырнет домовый, как солнце сядет, под жимолость, к помойке своей серым катышком проберется, ан и тут обида: квартирант богоданный, музыкантская собачка Кларнет-Пистонь, все как есть приест — хоть мосол обглоданный после нее прохладным языком оближи... На чердак вернется — портки музыкальные на веревках удавленниками качаются, портянки, хочь и мытые, на лунном свете кадят-преют, никакая сирень не перебьет.

Даже мыши и те сгнули. Капельмейстер, чистоплюй, во все углы носом потыкал — приказал в мышинные щели толченого стекла насыпать. Тварь божия ему,

вишь, помешала. Ну и ушли все скопом в лабаз соседний, не по стеклу ж танцевать. Лапки свои — не казенные. Совсем домовому обидно стало, как своей последней компании он решился. Ишь, хлуп гусиный — на малое время до лагерного сбора с командой втиснулся, а распорядки заводит, будто он тут и помирать собрался.

Вылез как-то домовый в полночь на крышу, к трубе притулился, лунный дым сквозь решето стал сеять, а сам свою думку думает: как бы охальную команду с места сжить? Не самому ж со стародавнего гнезда снимать... Хоть дом сожги — в золе под порогом ямку выкопает, никуда не подается.

Кой-чего и придумал. Начал он тихо, вроде «Лебединой прохлады», а дальше все круче: поострей толченого стекла дело-то вышло.

\* \* \*

Утром, чуть ободняло, полез барабанщик на чердак, бельишко в охапку собрал — все как есть на месте. А чуть на свет вынес, так и заверещал:

— Ох ты, гусь с яблоками! Гляньте-ка, братцы... Никак черт на нашем белье трепака плясал.

Сбежались музыканты — вот так постирушка. По всем порткам, рубахам жирной сажей следки понатоптаны. Да и следки какие-то несуразные: то ли селезень с медвежонком саму на белье месили, то ли обезьяна заморская, из трубы вылезши, на передних лапках по белью краковьяк танцевала...

Подкатился тут старший унтер-офицер, подковками затоптал:

— Что ж энто, до-ре-ми-фа-соль вам в душу, за оказия?! Как так недоглядели? Почему такое?

Догляди-ка тут — не часовых же к подштанникам ставить... Капельмейстер на крик из своей фатеры поспешает. Сквозь очки глянул, чуть дневальному голову не отгрыз. А что ж с дневального в таком разе и спросишь — ведь этак его и за лунное затмение под винтовку ставить-то надо...

Ну, кой-как дело обмялось. Собралась команда в верхнем помещении. Впереди флейты, за ними кларне-

ты, у стен геликон-басы — самые пучеглазые да усатые кавалеры. Дал капельмейстер знак, чтобы, значит, «Марш-фантазию» спервоначалу для разгону музыки. Набрали солдатики полную порцию воздуха, понатужились, дунули в мундштуки — как прыснет из всех трубков керосин, — так всех с морды до подметок и окатило. А более всех капельмейстер попользовался, потому он завсегда перед командой палочкой своей выкомаривает...

Затрясся он, раскрыл было рот, чтобы всю команду в три тона обложить, ан слов-то не хватило... Выплюнул он с пол-ложки — с висков течет, мундирчик залоснился, с голенищ округ ног жирный прудок набегаёт. Залопотал он тут, как скворец, — и слов других не нашлось:

— Что значит?! Что значит?! Что значит?!

Ничего и не значит. Помет на полу, а птички и видом не видать.

Призадумались тут и музыканты, а уж на что народ дошлый. Флейтист один мокроротый, весь, как сорочье яйцо, веснушчатый, кинулся к керосиновой жестянке, что в углу стояла: пусто. А вчера полная ведь была — вот в чем суть!

Стали солдатики шарить, про капельмейстера и забыли — хочь и начальник, совсем он ошалел с перепуту, чихал в сенях да старшему унтер-офицеру бока свои мокрые под тряпочку подставлял. Стали шарить. Глядь-поглядь, такие же следки, как и на белье, только керосином смоченные, на чердак вели... Заскучали тут многие...

Однако ж опомнился кое-как прибалтийский судак энтот, приказание дал, чтобы чердак до последней балки обследовать. Музыканты, ежели присяга потребует, народ храбрый: в самый бой впереди всех с музыкой идут. Ан тут человек с пять охотников-то набралось. Фонарь зажгли, барабанщик наган свой против неизвестной нации неприятеля из кобуры вытянул, поперли на чердак. Тыкались, все закаблучья друг дружке оттоптали — хочь бы моль для смеха попалась. Только с дюжину пустых пивных бутылок у слухового окна на-

шли — как кегли были расставлены. Да вместо шара чугунная бомба, что к лампе подвешивают, рядом лежала. Ох ты, Господи! То-то вчера ночью над головами гудело-перекатывалось. Потоптались музыканты, никто и слова не сказал. Делать нечего — стали они задом с лестницы спускаться, а вдогонку им из-под дальней черной балки стерва какая-то подлым голосом огрызулась:

— Ку-ку! Шиш съели?..

Загремели солдатики вниз, аж лестница затряслась. Доложили капельмейстеру, бухнул он с досады в турецкий барабан колотушкой, чуть шкуру не прорвал.

— Чепуха на барабаньем масле! Голые потемки разве сами разговаривать могут? Промывайте инструменты, ну вас всех к подноготному дьяволу...

Обнаковенно немец — и выразиться по-настоящему не умел. Поманил он старшего:

— Займись тут пока с ними. А я пойду переоденусь, потому я весь фатогеном провонялся. Фитиль в меня вставить — и лампы не надо!..

\* \* \*

Отрепертились солдатики к вечеру, аж губы набрякли. Дело спешное: завтра утречком к полковой командирше в полном составе являться, сурпризный вальс играть. Проверили они инструменты да вместо верхнего помещения внизу их над койками поразвешали — при лампочке да при дневальном никакой сукин бес не накеросинит.

Сели в кружок — кто в картишки, кто ноты подшивает, кто из черного хлеба поросят лепит... И вдруг все враз к фортке головы повернули: из-за колодца, из садовой чащобы невесть на чем — не дудка, не окраина, невесть кто «Лебединую прохладу» высвистывает...

Да с такими загогулинами да перекатцами, что капельмейстеру хочь лицо закрыть. Он, минога, гладко сделал, будто наждачной бумагой отшлифовал, а тут стежок за стежком золотом завивается, сам из себя звонкие ростки дает... Кому ж играть? Все на местах. Экое ведь дело!

Пошущукались кавалеры. Расползлись по углам. В сад, конечно, ни один не сунулся — место неладное: взамен знакомой куфарки еще такое — тьфу, тьфу — об-лапишь, что и рот набок сведет... Тихо-мирно по кой-кам своим завалились, подводные жуки в ушах зашур-шали — уснула команда.

Один щеголек-флейтист у окна сидит, хозяйство свое налаживает. Утром в экстренной суматохе со всем не управишься... Поясок лакированный лампадным маслом протер, на вороненую бляху подышал, тряпоч-кой прошелся — так павлиньим глазком и прыснуло. Фуражечку встряхнул — не блин армейский, своя соб-ственная, — края пирожком загнул. Соколом на голове сидит... Полосатые оплечья слюной освежил.

— Эх, вы, Дашки-канашки, прилипай к рубашке...

Оплечья энти, братцы, у них, форсунов-музыкан-тов, как у селезней хохолок в хвосте. Так девушки пач-ками и дурют...

Музыканты, они, черти, фасонистые, писарям не уступят. Потому завсегда на людях: то в городском саду в сквозном павильоне над публикой гремят — кажный сапог на виду, — то на парадных балах мазурку расче-сывают. Михрютками в голенищах разинутых не выле-зшь, не тот табак. А ежели кой-что себе сверх формен-ной пригонки и позволяли — адъютант не подтягивал. Ему тоже, поди, лестно: такая команда, хочь в Париж посылай...

Обдернулся солдатик — кажись, все. А как шарова-ры свои просмотрел, видит, пуговики подтянуть надо, — нитка, сволочь, гнилая попалась: чуть молодецкую вы-правку развернешь, так пуговка канарейкой вбок и ле-гит...

Прихватил он все, как следоват, щука зубами не от-грызет. Подтяжечки новые примерил, в оконное стекло на себя засмотрелся: чисто генерал-фельдмаршал... музыканты, они ремешками не затягиваются — и форс не допускает, и для легкости воздуха в подтяжках спо-собнее: ежели брюхо поперек круто перетянешь, долго-го дыхания тебе, особливо на ходу, не хватит. Обяза-тельно себя в штанах, как в футляре, содержать надо,

чтобы правильная перегонка нот из грудей в подвздошную скважину шла.

Охорашивается флейтист в стекло, подтяжечками поигрывает, с сонной зевоты рыбкой потянулся — ан почудилось ему тут, будто с надворной стороны серый козел на дыбки подымается, в окно на него во все глаза смотрит.. Прикрыл солдат бровки ладонью, воззрился в темную ночь, так вдоль стены и метнулось чтой-то... Да еще и фыркнуло, шершавое зелье, — по всем кустам смешок глухой шорохом прокатился.

Не прачка ли Агашка? Голос у нее, однако, не толстый, кларнет с переливом, не то чтобы в басовую под-земность ударять. И бежать ей с чего же: ты ей гимнастерку поштопать, а она к тебе так всем арсеналом и подворачивается...

Кто ж, лярва, сквозь окно подсматривал?.. Вспомнил тут музыкантик, какие чудеса в команде разворачивались, сжался, как мышшь... Гардероб свой на табуретке конвертом сложил и в теплое гнездо под собственное одеяльце чижином безвинным забился. Ишь, как в трубе корова в пустую бутылку ухает, а ведь на дворе ветра и в полколебания нет... Спаси, Господи, помилуй флейтиста Данилу, сонным неводом затяни, на заре перышком встряхни!

Остался дневальный посередке за столиком одинокой кукушкой. Сидит, бодрится, жужелицу по нотам пальцем подталкивает, чтобы правильное направление держала. Чего ж бояться: лампочка в полную силу горит, вокруг земляки в носовые фаготы дуют. Не в лесу сидит — наплевать!

Сквозь фортку оркестр соловьиный достигает — вот поди ж, никто не учил, а без капельмейстера так и наяривают. Эх ты, жисть!

Притих он, прищипился, стал было носом дремливую рыбку удить — ан слышит, будто дверь скрипнула... А может, и не скрипнула — солдат во сне зубом заскрежетал? Серая мгла вдоль коек бродит-шарит, ножницы будто звякнули. Откуда тут в ночной час ножницам взяться? Таращит дневальный глаз, к земляку на койку присел — и жуть на него наплывает, и ночная муть по рукам-ногам пеленает. Вздремнул не вздремнул — бык

его знает. К ковшику подошел, в ладони себе прыснул, глаза освежил и стал для бодрости на столике крепкое слово вырезывать.

Сменился дневальный, другой заступил. Ан тут вскорости и солнце, словно подсолнечник золотой, из-за сада выкатилось.

\* \* \*

Не успел капельмейстер щеки себе поскоблить — слышит, насупотив в команде крик-шум, старший унтер-офицер истошным голосом орет. Побежал немец через дорогу, как был в мыле, в музыкантское помещение заскочил. Хоть и вольнонаемный начальник, командовал ему на встречу дневальный: «Встать, смирно!» Кто привстал, руками за брюхо держится, а кто так на койке турецким дураком сидит... Что такое?

Старший из угла шкандыбает, всей пятерней штаны на весу держит, лица на ем нет.

— Ох, ваше скородие... Пропали мы все с потрохами! Как к командише команду вести, ежели на всех музыкантских штанах пуговицы все до одной отрезаны?! Даже пряжки на хлястиках все начисто, можно сказать, слизаны. Либо в трубы дуть, либо штаны держать — совместить никак невозможно!..

Началась тут, братцы, завирушка... Ночной дневальный крестится, языка с перепугу лишился — знаками показывает, что ни сном ни духом он тому не причинен. Да и не до дневального в таком виде — через малое время в поход к полковому командиру на фатеру идтить. Как быть-то?

Послал капельмейстер утреннего дневального — на одном ем брюки в полной исправности были — к командиру нестроевой роты, чтобы распорядился из чихауза новый комплект спешно выдать. Припустил дневальный, а капельмейстер вдогонку дирижирует:

— Беги четвериком! По сторонам не смотри... На чужой кровать рот не раздевать. Марш, марш! Глухому попу два обеда на ужин...

Скрылся из глаз дневальный. А время идет. Обшарили на всякий случай все сундучки — на всю команду

пять запасных пуговиц набрали, — музыканты народ не запасливый. Пока что булавками подкололись, да это ж вещь ненадежная: духовой струмент крепких пуговиц требует, потому натуга большая.

Стучат часы, минутная стрелка капельмейстера прямо по сердцу чиркает... Слышат они — конский топот у ворот. Не двуколка ли с шароварами вскачь примчалась? Глядь, сам полковой адъютант на взмыленном коне во двор вкатывает — у него ж, братцы, музыкантская команда в непосредственном подчинении, — тут засуетишься!..

— Почему, — кричит, — Иван Распрокарлович, такое запоздание?! Все собрамшись, командир в басовом ключе выражается, с какой стати музыки нет?.. Почему у вас личность в мыле? Рапорт об отчислении подавайте, ежели служить не умеете...

Капельмейстера аж в фальцет вдарило:

— Ох, господин адъютант! За бритого двух небритых дают... Сначала казните, потом выслушайте!

И доложил ему, какие камуфлеты в команде происходят. Притих адъютант — видит, дело цинковое... А тут и двуколка со штанами подоспела. Оделась команда в два счета и марш маршем к командирской фатере.

Хочь и с запозданием, однако вальс «Лебединую прохладу» пронзительно сыграли — будто серебряные ложки в лоханке прополоскали. Разомлела командирша, капельмейстеру полпудовую ручку под усы сунула, музыкантов в беседку послала мундштуки промочить... Ежели нутро вспрыснешь, завсегда легче дух из себя в трубу гнать.

Командир полка между тем нет-нет да и насупится: моментальность любил, не приведи Бог, — а тут против расписания на двадцать минут оркестр согрешил.

Адъютант за парадным столом, что ж ему делать, все как есть и доложил: нечистую силу под арест не посадишь... И про портки со следками, и про керосин, и про пуговики... Заахали полковые дамы, господа офицеры осторожно удивляются, полковой батюшка в шелковый рукав покашливает.

А капельмейстер, судак прибалтийский, после шес

той рюмки усы пирожком вытер и с отчаянной храбростью заявляет:

— Или я, или черт... Официальный прошу панихидный молебен отслужить, а то я за занятия не отвечаю.

Ну, тут полковой батюшка его и причесал:

— Ни панихидных молебнов, ни молебственных панихид, Иван Карлыч, еще не существует. Может, вы сочините. А что касаемо черта, полагаю, что это не евонная повадка. Черт бы пуговки с мясом вырезал, чтобы казенное добро дотла изничтожить... А это домовик, не иначе. Вы его тихой жизни лишили, он и озорует... Уж вы и не супротивляйтесь — он вас доест. И молебен никакой не поможет... А если желаете доброго совета послушать, попросите вы через полкового командира городского голову, чтобы он вам, пока ремонт идет, другое помещение под команду приспособил. Барак какой-либо бесчердачный, потому домовые в бараках не обитают...

Городской голова тут же насупротив сидел. С канцелярмейстером чокнулся и говорит:

— Ладно, рижский бальзам... Барак я тебе приспособлю. Только дай мне, братец, прибалтийское слово, что в воскресенье в городском саду сверх комплекта ты мне «Лебединую прохладу» на громких нотах сыграешь... Тихая музыка меня не берет... А я уж по тебе, как помрешь, панихидный молебен по первому классу закажу. По рукам, что ли?

## БЕЗГЛАСНОЕ КОРОЛЕВСТВО

**В** прикарпатском царстве, в лесном государстве, — хочь с Ивана Великого в подозрную трубу смотри, от нас не увидишь, — соскучился какой-то молодой король. Кликнул свиту, на крутозадого аргмака сел, полетел в лес на охоту. Отмахали верст с пяток... Время жаркое — орешник на полянке, на что куст крепкий, и тот от лоя сомлел, ветви приклонил, лист будто каменный, никакого шевеления.

Привязала свита коней к орешнику, король широ-

кой походкой вперед идет, камыш раздвигает, ручья ищет. Ан был, да весь высох... Всмотрелся король в чащобу, видит: незнакомая малая хатка под дубом стоит, дым не дымит, пес не скулит, будто и нет никого. Махнул он перчаткой, свита да стража за им пошла. Видят — дверь в сенях раззявила, хочь свисти, хочь стучи, никто, девкин сын, не откликается.

Ну что ж, не в рюхи с хозяином играть: главное-то и без него в сенцах нашлось. Выкатили бочоночек на свет, втулку выбили — стоялый квас шибанул в глаз, все так и повеселели. Выпили они по липовому ковшику, от короля до королевского денщика, в затылок по чинам ставши. Хоть болотной бражкой и припахивает, однако ж около хвоста меду не ищут. В лесной глуши и на том спасибо...

Тут-то вот, милые мои, король дуба и дал: ему бы по званию своему империял-другой неведомому хозяину на лавке оставить надо — запас, вишь, весь вылакали. Однако ж он, по веселости лет, запоматовал, дежурный генерал не доложил, адъютант икнул, не подсказал, денщик не насмелился. Так и укатили.

Только трава улеглась, тихий шорох по-за кустами растаял, копыта вдали по корням вперебой захлопали — вылезает это из-за вереска дремучая борода, кудлатая голова, колючие глаза — лесной колдунок, который, значит, в хатке этой обосновался.

Приполз он к сеням — ножки-то у него были с младых лет сдрюченные — в материнской утробе не так повернулся, осечка и вышла... Принагнул кадушку, ан и ней одна нахальная муха пищит, которая за остатной каплей забралась. Благословил он незваных гостей на черно: квас-то был ядреный, в подполье моренный, на семи травах настоянный. Весь лес, почитай, задом обьелозил, пока до настоящего букета добрался. Вот тебе и запася... Пошарил он по лавке, по подлавочью — хочь бы алтын ему король за выпитое бросил. Чин королевский, а поступки цыганские...

Почервонел колдун, черной слюной харкнул. «Ладно, — думает, — квасок-то хорош, да как-то он еще отрыгнется...»

Ступил он на порог, кротовью костку из-под полови-

цы добыл, sprыснул ее из баночки папоротниковой, на жабьих глазах, настойкой, повернулся к востоку, где королевский город за лесом лежал, и стал над косточкой причитать:

— Кто мой квас пил, рыло омочил, всем им со сродственниками, соседями-подсоседями, со слугами-стражей, со всем приплодом, всему их роду на все королевство уста запечатываю... Бабам не галдеть, колесу не скрипеть, кишкам не бурчать, наяву не чихнуть... Ты взойди, тишина, как над озером луна! Одним птицам-сестрицам, косматым зверям да насекомой твари уста отмыкаю. Слово мое крепко, дело мое цепко — ни черту расколдовать, ни ангелу расковать. Тьфу, тьфу, ехал шиш в Уфу, голова в кустах, хвост на плечах, печать на устах!..

Отпономарил он все как следует, косым каблуком прихлопнул, заржал да и уполз в вереск семь трав для нового кваса собирать. Нельзя же ему, сволочи, без квасу-то.

\* \* \*

Летит король на аргамаче, стремена пружинит, плащ за спиной ласточкой. Чтой-то свиты не слышно — ни свиста, ни топота? Обернулся: все за ним веером скачут, только чудно как-то — галопом дуют, будто ветер по воде стелется, уздечка не звякнет, копыто не цокнет. Попридержал король коня, портсигар вынул, у дежурного генерала серничка хотел спросить, раскрыл жаркие уста — ан, окромя дыхания, ни полслова... Затормозило, значит. Наохлился король, безмолвной плетью лист с дуба сбил. Свита да стража кольцом обступила. Которые поближе, дали королю прикурить, а он папироску наземь — как рыба в садке, рот раскрыва-ет, приказание какое сделать хочет, что ли... Да как прикажешь, ежели в словесной машинке завод соскочивши?

Повернулись тут и прочие, друг к дружке с седла тянутся, спросить хотят, что с королем приключилось, — рты настезь, языки мельницей. Да что ж с одним языком сделаешь, ежели колокол черти унесли?

Смятение тут пошло, коней вальсом вертят, лесной воздух глотают, пальцами слова подпихивают — хочь бы хны... Пропала вся словесность как есть, даже и чертыхнуться нечем.

А тут и собачки подбавили. Натянула вся свора сыромятные ремешки, зады дрожат, глаза — свечками, да как заголосят:

— Что ж это за охота, сукины вы дети?! Вон там за кустом лис с огненным хвостом прочертил, а нас не спускают!

Шарахнулась тут свита, завертелись охотнички... Слыханное ли дело, чтобы добрым людям молчать, псам разговаривать? А псы так и надсаживаются. Лопнули ремешки, собачки по осиннику так и брызнули... Ан король ни с места! Лоб перчаткой утер да гневный знак доезжающему сделал: труби, мол, в рог, сзывай их, вислозадых, назад, — какая, мол, теперь охота...

Приложил охотничек гнутую завитушку кустам, надул щеки арбузом, ан из рога, как из карася, одна безгласная тишина кольцом вьется.

Испужался король, свита фуражки долой — лбы крепят да поводья почем зря туды-сюды дергают... Надоело коням в карусели вертеться, повернули к седокам головы, зубки оскалили да как заржут:

— И-го-го! Матерям вашим, кобылам, сто плетей в зад! Задергали нас совсем... Чего, дружки, на них, обалделых, смотреть — гони в королевские стойла... Видно, ныне дело — табак, завертят они нам головы окончательно!..

Прикусили мундштуки, задами друг на дружку нажали, выстроились по четверо в ряд да как дернут марш маршем к золотым королевским кровлям, что над холмом светлым маревом горели, — аж седоков к луку будто ветер пригнул. Ни топота, ни хруста: облака над лесной полянкой вперегонку плывут — поди-ка, услышь-ка...

Осадил бессловесный король коня у парадного крыльца — королева к нему, как подбитая лебедь, скачивается, белые руки ломает: беда во дворце стряслась, она доложить-то без слов и не может. Сынок королевский с нянькой в палисаднике играл, журчал, как ру-

чей, да вдруг с нянькой его и закупило — знаки подают, а разговора не слышно, одни пузырьки на губах играют... Кинулась королева к челяди, да и тут неладно: повар судомойку, лакей горничную за пуговку держат, белыми губами шевелят — хочь в рот к ним вскочи, не услышишь... В окно короля заприметила, с лестницы катышком скатилась, да сама и онемела.

Король королеву по круглой головке погладил, свите рукой махнул — расходись, мол, братцы, что ж нам карасями пучеглазыми друг на дружку смотреть-то... Королевича на руки подхватил, к широкой груди притулil — ни ответу, ни привету. Так втроем в опочивальню и ушли в тишину, как под лед нырнувши...

А в королевской резиденции и невесть что завертелось. Бабы у колодца судачили — первое их дело соседские кишки полоскать, — да вдруг как тихим громом их ударило... Тужатся, тужатся, ан выстрелить-то и нечем. До того им обидно стало, аж за ушми засвербело. А тут козел с вала по-над колодцем, потная шерсть, морду повернул да как фыркнет:

— Наговорились, гладкие... Будя! Дайте-кось теперь нашему брату словесного козла подоить...

Да как начал их отчитывать — почему в хлеву навоз горбом, почему козы недоены — чай, пастух давно их из-за яра пригнал; почему козлу ни одна баба черного хлебца с солью не поднесет, сами-то, шкурехи, небось булку трескают... Ишь, вымя-то как раздуло!

Освирепели тут бабочки, стали в него камнями пультать. До чего удивительно: который камень в самое пузо угодит — ни гула, ни треска, будто ангел крылом одуванчик сшиб. Однако ж больно, мать их в пуп боднуть, копытом прихлопнуть! Терпел козел, терпел да как стал их поперечными словами вентилировать — тоже и он кой-чему около королевских казарм научился. Перепужались бабы тут окончательно да так неслышным галлоном по домам и брызнули... Что ж за жизнь пошла, ежели все слова, чистые да нечистые, к козлу перешли, а бабам и огрызнуться-то нечем!..

Пьяненький тут один по забору пробирался — маскеровой алкогольного цеха. Только хайло расстегнул,

нацелился песню петь, ан из него один пьяный пар в голлом виде. Икнуть и то не может... С какой такой стати этакое беззаконие? Даже остановился он, ручкой сам себе щелкнул, а щелчка-то и не слышно. Вот так пробка! А мужи над ним столбом в винном чаду завились да зубы скалят... Обрадовались, сроду не говоривши:

— Ах, мухобой какой! Милые, гляньте-ка, как его от двух бортов качает... И кто ж это ему ноги передвигает? Чай, давно ему время с копыт-то слететь. Вали, дядя, лужа-то мягонькая!..

Шлепнулся мастеровой беззвучным тюфячком в канаву, ножки задрал — досада его калит: последняя тварь, муха, выражается, а он всего как есть разворота лишился. Дела...

Ребятенки тут поодаль в бабки играли. Меткий удар — легким словом подстегнуть первое дело... Ан и их зацепило: руками машут, голоса черт унес. Испужались они, вздумали было зареветь, да рева-то и нет... Прыснули они тихими воробьями по хатам к матерям. Какая уж тут, без крика, без визга, игра.

Мужик с бабой на завалинке супротив винной лавки сидели. Только было пристроились по случаю вечерней прохлады с бабой поругаться — словом занозистым зарядился, да порох-то и отсырел... Уж он и квасу глотнул, и табачку понюхал — на полслова силы не хватило... Двинул он с досады бабу в бок — так она и взвилась, чтобы раскатной дробью его осадить. Да заместо того только и смогла, что между глаз ему плюнула. Даже и драться не стали, до того им обидно стало. Что ж драться, ежели и взвинтить друг дружку нечем.

Кот ихний, Гришка, драная голова, с забора так и залился:

— Ну и камедь, мышь вам во щи!.. Сроду таких делов не видал. Мы, на что коты, и то спервоначалу пофырчим-пофырчим, а потом плюемся да цапаемся. А тут, слова не сказавши, он ее в бок, а она в него, обратной почтой — харкает.

Раскипятился мужик, хватил в кота поленом, да, спасибо, не попал. Пошел с бабой в избу, да, так и не ужиनावши, огня не вздувши, и взобрались на полати...

Спиной друг к дружке, двуглавым орлом сонные пузыри пускать.

Опять же кузнец за пустырем на отлете борону кле-пал. Свистал, свистал, что ж за работа без свиста, — ан свист-то с губ вдруг и сдуло... Подивился он было — что за пес, кто ж губы заклеил? Да и удивляться-то не успе-ешь: молотом по железу стучит — ни стука, ни гука... Поддувало не скрипит, огонь не трещит... Что за наваж-дение?.. Поскреб он в затылке, задом из кузницы выка-тился, сел на старую наковальню. Час не поздний, а ти-шина вокруг — будто город периной накрыли. Одни псы — спаси и помилуй! — на свалке кости грызут да друг дружку, как нищие на ярмарке, собачьими слова-ми облаивают.

«Пойди, сволочь, с моего места!» — «От сволочи слы-шу...» — «Да дайте ж ей, сукиной дочке, тяф, бычьим ребром по зубам — что ж она на мою падаль распро-стрилилась...»

Охнул кузнец, побежал к королевскому фельдшеру по соседству, авось тот ему какое разъяснение даст ли-бо пиявки к разговорной жиле поставит. Да и с фельд-шера-то взятки гладки: сидит на полу, телескопы выпу-чив, сам себя за язык тянет, а выдоить-то и нечего.

Словом, пошла тут жисть по всему королевству. Су-дья не судит, купец не зазывает, трактиры паутиной за-плелло, свадеб не играют, ребят не крестят, именин не справляют, в гости не ходят... В пустую молчанку толь-ко тараканов на стене бить интересно.

А скотину домашнюю да прочую живность, всю как есть, в лес прогнали — ну их к Анчутке, с разговорами ихними бесовскими. Умней людей хотят быть, пусть в лесу и подохнут. Не коровам баб доить, не коровам и разговаривать.

\* \* \*

Особливо военных подрезало — хочь все войско рас-пуская по задворкам в бессловесной одури подсолнухи грызть. Часовых у дворца и то сменить нельзя, пароля не передавши... Стой хочь до седой бороды, пока кваш-ней наземь не осядешь. Сам король караулы и похерил,

своей властью пищали у часовых поотобрал — расхотись, мол, по казармам слонов слонять, а немного короля тишина укараулит... Ученье начисто отменил. Без раскатной команды, без барабанного боя, без песен да марша одни лягушки по отделениям скачут, да и те квакают. Вздумали было спервоначалу батальонное учение по знакам производить, да воробьи засмеяли: «Первая рота пьяным серпом развернулась, вторая — себе на штаны наступает». Так и бросили. Заскучали тут генералы, распечь некого, — самовар, и тот громогласно бурлит, когда жар его проймет. Офицеры да фельдфебеля бесшумно орехи грызут, в дурачки, будто утопленники под водой, тихим манером дуются. Ни сока, ни сладости. Солдатики по углам хлеб да кашу жуют — что ж и собираться-то вместе, ежели за обедом ни шуточки спутить, ни легким словом перекинуться. Да и насчет прочего, скажем, с миловидным предметом в королевской роще прогуляться... Нельзя же девушку сразу за банты брать, разговор-то хоть махонький нужен.

А король и совсем скис. Приемы прекратил, не глазами ж друг дружку облизывать. Всех иноземных заезжих гостей отвадил, границу закрыл — срамота ведь, братцы: гость разговорчивый из другого правильного государства придет — ужели кобылу к нему для беседы рядом за королевский стол сажать? Мораль по всем странам пойдет...

Королева с сынком безгласым все в опочивальне сидит, безмолвные слезы глотает. По всему дворцу ребятенек, словно чиж, трещал, а тут до того измолчался, что на пальцах разговаривать стал. Сердце надорвешь, смотревши.

Сидит как-то король у окна, на закат смотрит, сладкий пирог вилкой расковыривает. Власть ему не власть, еда не в еду... Только видит — вдали пыль закурилась, народ ко дворцу волной валит, немой громадой накатывается. А впереди отставной солдат Федька, малый еще не старый, которого в запрошлом году громом-молоньей на часах оглушило, — с той поры он и онемел. Подошли поближе, король аж в окно перегнулся. Экая вещь: лопочет что-то Федька, руками размахивает, а вокруг его бессловесным стадом народ рты поразинул, слуши

ет не наслушается. Немой заговорил, языкатые онемели, видно, и впрямь деревья скоро корнями кверху расти начнут.

Взошел тут адъютант, на пальцах показал, что, мол, Федька к вашему величеству достигнуть желает, как, мол, прикажете?

Король и чин свой на подоконнике забыл, отстригнул чубуком адъютанта да вприпрыжку сам к крыльцу побежал.

Перекрестился Федька, поклон королю до самой пражки отдал да как заговорит, аж теплый ветер по толпе прошел, до того человечью речь слушать любо.

— Не тужи, ваше величество! Дело еще может на поправку пойти. А покуль что, разреши с глазу на глаз потаенный доклад сделать — вещь первой важности. Секрет при всех, как снег на базаре: по каблукам грязью разойдется...

Хватает его король ласково под локоть, ведет дорогого гостя в кабинет; дверь замкнул, во второй кабинет провел, опять замкнул. Посередь покоя стульчик ему придвинул, сам рядом сел, ухо приклонил. Чтобы не подслушивали, значит.

Федька-то тут и выпотрошился:

— Как я, ваше величество, после немоты своей заговорил, заодно с бессловесной тварью в обратную линию попавши, — тут собачка моя, милovidный Шарик, с разговором ко мне и прилетает. Однако ж она пес не нахальный, не возгордилась... Так и так, говорит, хозяйни... Я это дело обследовала. По следам королевской свиты в лес смахала. Меж кустов и трав на хатку эту под дубом я и напала. Вижу, сова — круглый глаз, на цепи на загнетке сидит, колдуна своего драгунскими словами ругает. «Почему, — спрашиваю, — дура, ругаешься?» — «А почему ж он, злыдень, ушел семь трав собирать, а мне хоть бы корочку оставил, на цепь замкнул»... Собачка моя, натурально, зверь башковатый, в лес смахла, зайчонка сове принесла — трескай, стерва, а как инешься, рассказывай дальше. Ну, сова косточку последнюю обглодала да Шарику все и выложила. Честный, дрянь, оказалась... Как, мол, король со свитой квас

выдули да как колдунок с отчаянной злости наговор на кротовьей костке сделал, все королевство речи лишил... Дал я Шарику за умственность молока похлебать да и надоумил его: сова к вечеру опять оголодает, стащи-ка ей куренка, да сразу не давай — подразни. Авось она, на цепи сидя, со злости на колдуна и проговорится, хохлатая шкура, насчет средстввия, как язык-то во всем королевстве опять разговорным концом обернуть... Как по-писаному, ваше величество, все и вышло. Сымайте с вашего королевского пальца кольцо с печатью, дайте мне его на малое время. Завтра к обеду авось все и загалдят, а пока более ни об чем докладывать не могу.

Обнял король Федьку, в небритую скулу его безмолвно чмокнул, кольцо с пальца снял, сам Федьке сладкий пирог на вилке подносит... Полное, стало быть, доверие оказал.

Ранним утром обскакал Шарик, обрыскал все королевство: «Сходись все на базарную площадь, хозяин Федька вас лечить будет». Слетелся народ, как мухи на патоку, — голова к голове, будто маковки. Король с семейством да первые чины за ним кольцом. А Федька старается: под котлом посередь базара костер развел, разварил кротовую костку. Потом огонь загасил, дал воде остынуть маленько, на бочку стал, печать показал да как гаркнет:

— Королевской властью приказываю, чтоб на короткий срок предоставили мне самую болтливую во всем королевстве допрежь беды бабу! Вреда ей не будет, одно удовольствие... Только правильно, голуби, выбирайте, чтоб ошибки не вышло.

Вскипел тут бесшумно народ, стали то одну, то другую выпихивать — бабы упираются, галки с крыш смеются, толку ни на грош. Взяли тут бабы дело в свои руки, пальцами туда-сюда потыкали, выхватили перекупку одну базарную, сырую бабеху в полтора колеса в обхвате... Подтащили к Федьке, головами показывают: честно, мол, выбирали — болтливей ее ни одной сороки не было...

— Ну, мать, — говорит Федька, — скидывай лишнее, лезь в котел. Да не бойся, не щи из тебя варить буду, только попарисься.

Перекупка туда-сюда метнулась, да не уйдешь. Подхватили ее бабы под рукоятки, тыквы у нее от волнения разболтались... Смехота!

— Да ладно уж, — смиловился Федька, — сорочку на ей оставьте, и в сорочке искупается. Что ж нам на ее вдовый балык любоваться...

Бухнули ее в теплый котел, аж до колокольни брызги долетели. Окунул ее Федька раза три, выудил, крикнул да на спине вон и выволок. Сушись, ласточка, навар в котле, подол на земле.

Размешал он варево, скомандовал всему населению — от короля до лохматого нищего — к котлу подходить да каждому по чарке бабьей настойки — на кротовой костке — и поднес... Морщились некоторые — скус-то не курочкой отдает, однако говорить хочешь — не откажешься.

И вот враз, чуть последнему грудному младенцу последнюю чарку хлебнуть дали — весь базар заголосил-загаддел, аж до неба докатилось. А из лесу скотина да прочая живность откликается — домой идут. Разговор-то у них, всех скотов, сразу и замкнулся: корова мычит, петух кукарекает, как по расписанию Божьему полагается.

Обступил тут народ Федьку кучей, король ему десятку сует, королева — поясок, с себя снявши, презентует. А Федька-то тут, братцы, и онемел, опять вровень с бессловесной тварью в свое состояние вернулся...

Королева заахала, народ соболезняет: всех спас, а сам назад подался... Спрашивают его — нет ли для него, Федьки, особого средства? А он, шут, только смеется да на знаках что-то показывает.

Тут-то молодой королевич и пригодился: на пальцах-то он очень хорошо понимать стал.

— Вещь в том, — говорит, — что ежели эта баба, которую он искупал, с первого новолунья ради него трое суток добровольно молчать согласится — тогда и к Федьке словесность навсегда вернется.

Подтащили тут мокрую перекупку, просят ее, умоляют, а она как раскатилась:

— Бабку его под пятое ребро!.. Чтоб я?! Да ради не-

го? Ради срамника-то этого, который меня, стародавнюю вдову, в натуральном виде при всех разбандеролил? Ни минуты не помолчу, ни полминуточки, ни вот на столечко...

И пошла кудахтать... Так весь базар и грохнул. Рассмеялся Федька, русой башкой тряхнул, через королевича объяснил: и без речи, мол, обойдусь, не привыкать стать. Королевское семейство да весь народ вызволил — на королевскую десятку с товарищами выпью... А баба эта пусть мою разговорную порцию себе берет... Авось не лопнет.

## ШТАБС-КАПИТАНСКАЯ СЛАСТЬ

Проживал в Полтавской губернии, в Роменском уезде, штабс-капитан Овчинников. Человек еще не старый, голосом целое поле покрывал, чин не генеральский — служить бы ему да служить. Однако ж пришлось ему в запас на покой податься, потому пил без всякой пропорции: одну неделю он ротой командует, другую — водка им командует.

В хутор свой, как в винный монастырь, забрался, чересполосицу монопольную бросил, каждый день стал прикладываться. Русская водочка дешевая, огурцы свои, дела не спешные — хочешь, умывайся, не хочешь, и так ходи. Утром в тужурку влезет, по зальцу походит — в одном углу столик с рябиновой, в другом — с полынной... Так в прослойку и пил, а уж как очень с лица побуреет, подойдет к окну да по стеклу зорю начнет выбивать, пока пальцы не вспухнут.

Компании себе никакой, однако, не составил. Батюшка по соседству трезвенный оказался; даже отворачивался, когда мимо проезжал, потому на всех подоконниках у господина Овчинникова наливки так и играли. Прочие тоже опасались — штабс-капитан пил беглым маршем, интервалы короткие. Который гость отстанет, догонять должен, а не то коленом в мягкость — поди подавай рапорт румынскому королю.

Сидит это он как-то летом один, скворца хромого пьяным хлебом кормит — оммакнет в рюмку да птичке

и поднесет. Все ж веселее, будто и не один пьешь. Скворец у него крепкий оказался: гусей пьяными вишнями спойл — облопались, в одночасье подошли... Собака благородной масти, Штопор по прозванию, сбежала. Каждый сбежит, не только благородный, ежели ему в глотку чистый спирт без закуски капать.

\* \* \*

Сидит это господин Овчинников, а время около полуночи было. Сам с собой в зеркале чокается: «Ведь здоров, сукин племянник! — Покорнейше благодарю!» и рюмку на лоб... Вгонит ее в нутро, будто карасином давится, а сам новую цедит. Уж и зорю по стеклу не выбивал, пальцы набрякли. Только нацелился по двенадцатой, а может, и по шестнадцатой пройти, глядь, из бутылки малиновая жилка ползет. Жилка за жилкой, сустав за суставом, все на свое место встали — целая погань на край горлышка села, на штабс-капитана смотрит, хвостом в носу ковыряет. Как есть бесенок, масть вот только неподходящая: обнаковенно они в черноту ударяют, а спиртная нечисть — в зелень.

Штабс-капитан ничего, не удивляется. Даже обрадовался, не с мухами же тихий разговор вести.

— Наконец, — говорит, — заявили. Давно вас заждался! Почему ж ты, однако, м-малиновый?

Соскочил бес поближе, на чернильницу сел, потягивается.

— Потому, — отвечает, — форму у нас переменили. Которые по купечеству приставлены, по запойной, значит, части, — обмундирование у них действительно старое оставлено, зеленое. А какие к военным прикомандированы, особливо к запасным, — те теперь малиновые.

Пондравилось штабс-капитану, что такое к военным внимание. Ус пожевал, рюмку об штанину вытер, наточил водки, гостю подвигает.

— Пей, адъютант. Экой ты мозгляк, однако... Поди, водка из тебя так в чистом виде с исподу и вытечет...

— Не извольте беспокоиться. Не пью-с.

Ну, господин Овчинников не таковский, чтоб в своем доме такие слова слышать.

— А я тебе приказываю. Пей, клоп малиновый! Не то туплей по головизне тюкну, и икнуть не успеешь.

Бес копытцем мух отогнал и дерзким голосом выражает:

— Не пью. Пять раз вам повторять. Службы не понимаете, а еще военный. Ежели бы бесы, которые к пьяницам приставлены, сами пить стали, что бы это было?

Обиделся штабс-капитан, пальцем с амбицией помахал:

— Обалдуй ты корявый, разницы не знаешь. Пьяницы — это из нижних чинов, а из офицерского звания — алкоголики.

— Хочь алкоголик, хочь католик — мне без надобности. Своего не упустим...

— А ты при мне бессменно, что ли?

— Само собой. Когда спите, я отдыхаю. Не взвод же к вам приставлять. Жирно будет.

— Давно при мне?

— Как вы еще в подпрапорщиках состояли, с той самой поры... Скучно мне с вами, господин Овчинников, не приведи черт!

— Какого ж хрена тебе от меня надо? Чтоб я вокруг дома со шваброй промеж ног ползал?

— Зачем же-с. При вашем чине неподходяще. Пьете вы скучно. Ни веселости, ни поступков. При кузнеце я раньше болтался, так тот хоть с фантазией был. Напьется, я ему в глаза с потолка плюну, а он лестницу возьмет да по ней задом наперед начнет лезть, пока в портках не запутается. Свалится, из носа клюква течет, а сам песни поет, собачка подтягивает... Интересно.

Фукнул штабс-капитан. Рюмку отставил, усы сапожной щеткой расчесал и говорит:

— Дурак ты сѣрый. Тебе повышение дали, ко мне назначили, а ты об кузнеце вспомнил. Плюнь-ка в меня, попробуй, я тебя, гниду, вместе с домом спалю!

— Зачем же мне в вас плевать-то? Тоже я разницу понимаю. А дом спалите, сами и сгорите. Преждевременно это, потому разворот вашей судьбы еще не определен.

— Какой такой разворот?

— Не могу знать. Это от водки да от старших чертей зависит.

— А ты-то сам из каких будешь? Какие там у вас старшие?

— Как же. Примерно как у вас, военных. Сатана вроде полного генерала. Дьяволы да обер-черти на манер полковника. Прочие черти, глядя по должности: однако все на офицерских вакансиях состоят. Ну а мы — легкие бесы, крупа на посылках. Наш чин — головой об тын...

Взъерепенился тут штабс-капитан, как индюк на лягушку. Как вскочит, как загремит, аж вьюшки задрезжали:

— Так ты, шпингалет, стало быть, вроде нижнего чина?! Да как же ты, глиста малиновая, при мне сидеть насмелился! Встать по форме, копыта вместе!..

И словами его натуральными покрыл вдоль и поперек до того круто, что стряпуха на кухне с перепуту с топчана свалилась.

Однако бес не оробел. Не то чтобы встать, лег на край стола, языком, будто жалом тонким, поиграл и господина Овчинникова с позиции так и срезал:

— Первое дело, как вы есть в запасе, не извольте и фасониться. Где гром, там и молния, а вы, можно сказать, при одном голом громе остались. Второе дело: не я вам, а вы мне, хоть я и рядового звания, подчинены... Счастливо оставаться, ваше высокородие, а ежели не сытно, дохлым тараканом закусите — здорово на зубах хрустит...

Да с этим напутствием под стол скользнул, будто уж в подполье.

Крякнул хозяин, бутылку-матушку, чтоб обиду запить, перевернул — ан в бутылке одно лунное сияние. В сухом виде предмет бесполезный.

\* \* \*

Чуть вторая полночь из сада сквозь окна глянула, бес тут как тут. А уж Овчинников испугался было, не обиделся ли нечистый, алкогольная моль, за вчерашнее.

Вылез бес из бутылки, над лампой малиновые лапки посушил, спирт так болотным языком и вспыхнул.

— Ну что ж, — спрашивает, — опять филимониться будете либо умственный разговор поведем честь честью?

— Черт с тобой! Трезвый я б тебе морду хреном натер, а в натуральном своем виде не могу без разговора. Зовут-то тебя как?

— Имени еще у меня нету. Очередь не дошла. Который черт у нас черные святцы составляет, седьмой год болен лежит — ведьма ему за прыткий характер хвост с корнем вырвала. А фамилия моя Овчинников.

— Как Овчинников?! Ах ты, козел беспаспортный! Да это ж моя прирожденная фамилия...

— Так точно. Ваша и есть — не ворона, не улетит. Мы завсегда по своим выпивающим для удобства фамилии носим. А ежели вам обидно, буду я рапорта Овчинниковым-младшим подмахивать...

— Рапорта подаешь?

— А как же. Да вы не тревожьтесь. Я честно. Вы вот счет путаете. А я рюмки лишней не прибавлю. Однако ж у вас послужной список подмок густо...

— Что так?

— Животных спаиваете. Да и не я вас подбивал — хоть и бес, а до такой азиатчины не дошел... Позавчера с невинной козе картофельную шелуху перцовкой вспрыгнули... А у нее дите. Нехорошо, сударь, поступаете. Лучше уже дохлых мух на табачке настаивать да в гитару с ложечки лить. Очень против пьяной одури развлекает.

Нахмурился штабс-капитан, засопел. Ишь ты, сволота, еще и нотации читает... Губернантка безмордая.

Видит бес, что разговор в землю уходит, а ему тоже скучно за зеркалом с пауком в прятки играть. Перевел он стрелку, невинным голосом выражается:

— Извините, господин, давно я спросить вас собирался. Что это за круглая снасть на главном подоконнике у вас стоит?

Штабс-капитан мутным глазом окно обшарил, перегар проглотил и обстоятельно бесу отвечает:

— Это, друг, не снасть, а «штабс-капитанская сласть». Когда, стало быть, арбуз дойдет, в руках хру-

стит и хвостик у него вялым стручком завьется — чичас я дырочку в нем проколупаю и скрозь спирта волюю, сколько влезет. Дырочку воском залеплю да глиной кругом арбуз густо и обмажу. Недели три его на солнышке на окне выдержу, спирт всю медовую мякоть съест, сахар в себя впитает... А потом, душечка ты моя, глину я оскробу, пробочку восковую — к черту и сок, стало быть, скрозь чистый носок процежу... Деликатная вещь — другая попадья хлебнет, так вся шиповником и зарозовеет. Однако ж я только на именины свои потреляю, потому меня это дамское пойло не берет... Я, брат, теперь на перцовку с полынной окончательно перешел, да и то слабо. Хочь на колючей проволоке настаивай...

Заинтересовался бес до чрезвычайности. Да как же он рукоделие энто овчинниковское проморгал? Пристал, как денщик к мамке, скулит-умоляет: дай ему хочь с полчашечки «штабс-капитанской сласти» попробовать. И про устав свой забыл, до того губы зачесались.

Ан хозяин уперся. Повеселел даже, глаза заиграли. Ишь, ржавчина, честной водки не пьет, подай ему сладенькую! Сложил четыре шиша, бесу поднес и для уверенности восковой свечой глину на арбузе крест-накрест со всех сторон закапал. Будто печать к денежному ящику приложил... Расколупай теперь. Гитарку взял: трень-брень, словно никакого беса и в глаза не видал.

— Угобзился, — говорит бес, — оченно вас за угощение благодарим. Уж когда вы, господин, на теплую фатеру в преисподнюю в особое отделение попадете, угощу и я вас тогда! Будьте благонадежны...

Удивился штабс-капитан, даже тужурку застегнул.

— А разве... там... для нас особое отделение есть?

— Как не быть. Ублаготворят вас по самые ушки...

Ну, тут уж хозяин взмолился: расскажи да расскажи, какое там обзаведение... Само собой интересно — душа своя, некупленная. Как ей там, голубушке, опомеляться придется. Однако и бес языком узелок завязал.

— Не скажу; лучше, господин, и не мыльтесь. Присягу через вас не нарушу... Давно ли у вас арбуз-то на окне стоит?

— Недели две с гаком. Поди, совсем настоялся. Да ты брось про арбуз-то.

— Зачем бросать, подымать некому... А вот ежели вы, господин, завтра о полночь печать с арбуза снимете, так и быть, тогда нонче душу из вас в сонном естестве выну и на часок ее туда контрабандой доставлю. Насчет этого присяги не принимал. По рукам, что ли?

А сам на арбуз косится, кишка в нем главная, наскрозь видно, так и играет...

— По рукам, — говорит штабс-капитан. — Погоди, последнюю для храбрости пропущу...

Минуты не прошло, отвалился Овчинников от бутылки, на пол сполз. Лампа погасла. Поковырялся бес около поднадзорного своего, в лапе чтой-то зажал — вроде паутинки голубенькой, — спиртом так от нее и шибануло... Вихрем на копытце закружился и скрозь пол утрем ушел. Только половицы заскрипели.

\* \* \*

Очужалась штабс-капитанная душа в алкогольном отделении в самом пекле, притулилась в угол, во все бестелесные глаза смотрит. В пару да в дыму ее не видать, народу прорва, словно блох в цыганской кибитке...

Грешник тут один навстречу попался: штопор каленый в него ввинчен был по самую ручку, из пупка кончик торчал.

— А что здесь, — спрашивает Овчинников, — и военный отдел есть либо все вперемешку?

— Ох, есть, — говорит грешник, — новичок вы, надо полагать. Сейчас вами займутся...

Испужался Овчинников, руками замахал.

— Да мне не к спеху! Не извольте беспокоиться.. А вы сами из каких будете?

— Акцизный чиновник. На земле в пьяном виде подрался, пробочник в меня собутыльник и всадил. Вот теперь он во мне наскрозь и пророс, мочи моей нет... Плюньте на кончик, остудите хочь малость, слюнка у вас еще свежая.

Плюнул Овчинников, зашипел штопор, грешник пот со лба вытер.

— Ох, спасибо! Ежели интересуетесь, пройдите вона туда за русскую печь, там военных мучат. Дела по горло, черти с копыт сбились, авось вас не скоро приметят.

— А нижние чины, извините, отдельно или с офицерским составом вместе?

— Ох, не могу знать... Матросы, кажись, есть. А солдаты не очень-то прикладывались, в казарме не загуляешь... Однако ж не ручаюсь... Ох, ирод мой ко мне направляется, мочи моей нет.

Так от него Овчинников и прыснул. Обогнул русскую печь, видит — бильярды понаставлены, черти за место шаров головы катают. Эва! Признал. Вон подполковник Сидоров, капитан Кончаловский... Страсти-то какие! Оба в запрошлую Масленицу в бильярдной скончались — на пари друг дружку перепивали...

Дальше — больше. Из водки пруд налит, берега шкаликовые — голые моряки руками в лодках гребут, языками до водки дотягиваются... А она от них, матушка, так и уходит, так и отшатывается... Мука-то какая!

За прудом в беседочке огромная бутылка стоит, ведр, поди, на сто, вся как есть спиртом налита... А в спирту знакомые кавалеристы настаиваются: которые ротмистры, которые чином повыше. Одни совсем готовы — ручки-ножки макаронами пораспустили, другие еще переворачиваются, пузыри пускают.

Потупил штабс-капитан глаза, дух перевел. Слышит — музыка гремит... Черти на армейских разгуляях верхом едут, за плечами, заместо винтовок, шпринцовки торчат. Шпорами раскаленными в бока грешников бьют, на дыбки подымают. Многих он тут признал, даром что без мундиров — в одних ремешках поперек брюха. С левой стороны покойный воинский начальник Мухобоев удила грызет, пена так мылом на пол и валит. Во второй колонне командир нестроевой роты, который по весне в бане горчишным спиртом опился, — черт его по ушам сороковкой бьет, а он задом, как кобыла на парад, так во все стороны и порскает... В хвосте полковой адъютант Востросаблин — тоже, стало быть, скапустился. А уж на что пить был горазд: бывало, в холодный самовар зубровки нальет, черешневый чубук опустит

да и сосет, как дитя. А теперь дослужился — ведьма на нем козлозадая сидит, дуршлагом под брюхо взбадривает — срам-то какой...

Гремит музыка, бесы на пригорке в пустые кости свистят, будто в гвардейские сопелки... Дьявол эскадронный команду подает:

— Слезай! Жеребцам морды открыты! Шпринцовки на руку! Вали!

Враз черти, кажный своему грешнику, в нутро полный шприц водки вогнали. Только, значит, те проглотили, облизнуться не успели, а черти назад по команде всю водку и выкачали... Мука-то, мука-то какая!

Бросился Овчинников промеж чертовых ног, чтобы не дай Бог нечистым на глаза не попасться. По темному коридорчику пробежал, пол весь толченым бутылочным стеклом посыпан — все подошвы как есть ободрал. Видит, в две шеренги грешники стоят, медную помпу качают. Пот по голым спинам бежит, черти сбоку похаживают, кого шомполом поперек лопаток огреют, кому копытом в зад жару поддадут.

Спрашивает штабс-капитан правофлангового:

— Для кого, милый, стараетесь? Куда спирт-то гоните?

Тот копоть с лица бакенбардой вытер, с осторожностью объясняет, пока надсмотрщик рогатый на другом фланге бушевал:

— Для себя, друг, стараемся. Мы все тут офицеры запаса, которые по пьяному делу службу побросали. Раз в неделю спирт себе под котлы накачиваем — военных чиновников на денатурате, а нас на чистом спирте кипятят... Кабы знать, за версту бы эту белую головку на земле обходил. Качай теперь да кипи, только тебе и удовольствия.

Отошел штабс-капитан по стенке. Головка у него вспухла, коленки подламываются, от винного букета глаза фонарями вздуло. Вот, стало быть, какая ему позиция предстоит, альбо еще градусом крепче.

За локоть его тут ктой-то перехватил, так он квашней и осел... Ужели и сейчас мучить начнут, законного срока не дождавшись...

Ан глянул вбок, весь просиял, будто своего полка ка-

пельмейстера увидел: бес это его малиновый за руку снизу тянет, подмигивает:

— Ну что ж, все обсмотрел?

— Так точно, — отвечает штабс-капитан, сам руки по швам держит. — Покорнейше благодарим.

— То-то. Ты, поди, думал — финиками-пряниками тут вас, спиртодуев, кормить будут... А самого главного небось не видал?

Затрясся Овчинников, не знает, об чем речь. И без главного сыт.

— Подполковника интендантского не видал, который живую тварь вином спаивал?

Посерел Овчинников, будто пеплом ему личность натерли...

— Никак нет... А разве за это особо полагается?

— А вот ты полюбуйся.

Видит штабс-капитан — сидит на карусели, на горячей терке, хлипкий припаянный старичок. А в середине, где механику крутят, — скворцы, гуси, собачки, всякая пьяная живность... Как налегли они на железную ось, да как стало старичка встряхивать, да качать, да подбрасывать, да вокруг себя в двойной пропорции вертеть — хочь и не смотри! Мутит его, корежит, кишки к горлу подступают, а слевать, между прочим, не может. Ну а зверье, конечно, радо: верещит, лает, гогочет — передышку на малый миг сделают, старичку на плешь монопольным сургучом покапают — и еще пуще завертят... Давится прямо подполковник, до того ему тошно, а облегчиться нельзя.

Закрыл тут штабс-капитан личико руками, на пол мешком опустился. Не выдержал, значит... Потер ему малиновый бес шершавым хвостом уши, кое-как в чувстве привел, через руку перекинул и потаенной шахтой наверх, в Роменский уезд Полтавской губернии, верхом на сквознячке и вознесся.

\* \* \*

Сидит штабс-капитан у окна хмурый, как филин, кислое молочко хлебает. На столик с полынной глянет — так к кадку и подкатит...

Полночь пробило. Слышит он — шуршит за зеркалом, сухой бессмертник качается — малиновое мурло на свет выползает.

— Здравствуйте, господин! Молочком закусьваете?

— Пшел вон, тухлоглазый! Я сегодня трезвый... Как кокну тебя подстаканником — слизи от тебя не останется. Зеркала вот только жалко.

Удивился бес. Голос действительно натуральный. Будто и другой кто разговаривает. Подбородок чисто побрит. Рубаха свежая... Пуговицы на тужурке, которые удавленниками висели, все крепкой ниткой подтянуты. Чудеса...

— А как же, — говорит, — насчет «штабс-капитанской сласти»? Я свое сполнил, а вы про подстаканник намекаете. Некоторые благородные слово свое держат...

Встал штабс-капитан. Расписки не давал, ан честь в трубу не сунешь... С арбуза печати сбил, глину обломал, на стол поставил. Сам отвернулся.

Прыгнул бес на арбуз, верхом сел да как припадет — и процеживать не стал.

— Ох, до чего, дяденька, скусно. За-зы-зы... До середки дошел... Пошли вам черт доброго здоровья.

Ушками шевелит, хвостик то в кольцо завьет, то стрелкой выпрямит... Хрюкает, ножками сучит — дорвался Игнашка до сладкой бражки.

Отвалился, обмяк, из малинового кирпичным стал. Повернулся к штабс-капитану, сам баланс на арбузе еле держит.

— А ты что ж? Вали! Я с твоей сласти добрый стал... Пей в мою голову, считать не буду. Потому я нынче сам в алкоголиках состою... Клюква-бабашка, сбирала Парашка, на базар носила, чертенят коррмила...

Снял господин Овчинников, слова не сказавши, со стены вишневый чубук, окно распахнул, подошел сзади к бесу да как дунет в него из чубука, так он, сквозная плесень, во тьму и вылетел, будто и не гостил.

С той поры и сгинул. Мужички только сказывали, будто у пьяных, которые из монополии по хатам расползались, стали сороковки из карманов пропадать. Да в лесу ктой-то мокрым голосом по ночам песни выл, осенний ветер перекрикивал... Человек не человек, пес

не пес — такой пронзительности отродясь никто и не слыживал.

А штабс-капитан окончательно на молоко перешел. Даже хромого скворца, который по старой памяти в руку клювом долбил, пьяного хлеба требовал, — от этого занятия отучил. Спасибо малиновому бесу...

Батюшка мимо проезжал, головой покрутил: на окнах у господина Овчинникова заместо наливков бумажные анделы на нитках красовались — случай в Роменском уезде необыкновенный.

Однако, как и допрежь того, гости овчинниковский хутор полным карьером объезжали. Постный чай да кислое молоко... Уж лучше к кадке в дождь подъехать да небесной жидкости в чистом виде напиться.

## КОМУ ЗА МАХОРОКой ИДТИ

*(Солдатские побрехушки)*

Послал в летнее время фельдфебель троих солдатиков учебную команду белить: «Захватите, ребята, хлеба да сала. До вечера, поди, не управитесь, так чтобы в лагерь зря не трепаться, там и заночуете. А к завтраму в обед и вернетесь».

Ну что ж! Спешить некуда: свистят, да белят, да сигарки крутят. К вечеру, почитай, всю работу справили, один потолок да сени на утреннюю закуску остались. Пошабашили они, лампочку засветили. Сенники в уголке разложили — прямо как на даче расположились. Начальства тебе никакого, звезда в окне горит, сало на зубах хрустит — полное удовольствие.

Подзакусили они, подзаправились. Спать не хочется — соловей над гимнастикой со двора так и заливаётся, прохлада из сеней волной прет. Порылись они в карманах, самое время закурить — ан табаку ни крошки...

Вот один солдатик и говорит:

— Что ж, голуби, обмишулились мы, соломки из тюфяка не покуришь... Без хлеба обойдешься, без таба-

ку — душа горит. Придется нам в город в лавку идти, час еще не поздний.

Второй ему свой резон выставляет:

— На кой ляд всем троим две версты туды-сюды драть. Мало ль мы на службе маршируем?.. Давайте на узелки тянуть — кому выйдет, тот и смотается.

А третий, рябой, свой план представляет:

— Время терпит. Узелки, братцы, вещь пустая. Давайте-ка лучше сказки врать. Кто с брехни собьется, на настоящую правду свернет, тому и идти...

На том и порешили.

\* \* \*

Умостились они на сенниках, сапоги сняли, ножки подвернули, первый солдатик и завел:

— В некотором полку, в некоторой роте служил солдат Пирожков, из себя бравый, глаз лукавый, румянец — малина со сливками. Служил справно — все приемы так и отхватывал, винтовка в руках пташкой, честь отдавал лихо — аж ротный кряхтел... Однако ж был у него стручок: чуть в город его уволят, так он к бабьей нации и лип, как шмель к патоке. Даже до чрезвычайности...

Не перебивайте-ка, братцы, спервоначалу будто и правда обозначается, ан сейчас чистая брехня и пойдет... Встретился Пирожков как-то на гулянке в городской роще с девицей одной завлекательной — поведения не то чтобы легкого, не то чтобы тяжелого, середка на половинке. Сели они на травке — цветок сбоку к земле клонится, девушка к цветку. Пирожков к девушке — под мышку ее зажал, аж в нутре у него хрустнуло. Однако ж не на ангела напал — вывернулась рыбкой да как двинет локтем под жабры — так Пирожков и екнул.

— Что ж, — говорит солдат, — ужели тебя, девушку, в невинном виде и поцеловать нельзя?

А она, известно, осерчавши, потому что блузка у нее от солдатского усердия лопнула, сатин по шесть гривен аршин.

— Тогда, — говорит, — меня поцелуешь, когда командир полка перед тобой во фронт станет!

Да с тем юбку в зубки, в кусты и улетела...

Вертается солдат в роту — даже его заело... То да се, занятия начались, дошло до отдавания чести, да как во фронт становиться... Новобранцев отдельно жучат — кто ногу не доносит, кто к козырьку лапу раскорякой тянет — одновременности темпа не достигают. А старослужащие ничего: хлоп-хлоп, один за другим так и щелкают.

Дошло до Пирожкова — экая срамота. Лихой солдат, а тут, как гусь, ногу везет, ладонь вразнобой заносит, дистанции до начальника не соблюдает, хочь брось. А потом и совсем стал — ни туда ни сюда, как свинья поперек обоза. Взводный рычит, фельдфебель гремит. Ротный на шум из канцелярии вышел: что такое? Понять ничего не может: был Пирожков, да скапустился. Хочь под ружье его ставь, хочь шварки из него топи — ничего не выходит. Прямо как мутный барбос...

Фельдфебель тут к ротному подскочил, на ухо докладывает:

— Образцовый солдат был, ваше высокородие... Чистая беда! Придется его, видно, в комиссию послать, видно, у него мозговая косточка заскочила...

Подумал ротный, в усы подышал:

— Повременить придется. Авось очухается... Ужель такого солдата лишаться? В город его только нипочем не пущать, а то он, во фронт становясь, начальника дивизии с ног собьет, всю роту испохабит.

Время бежит. Пирожков ничего, тянется, по всем статьям первый, окромя того, чтобы во фронт становиться. Как занятия — его уж насчет этого и обходили; что ж зря комедь ломать, дурака с ним валять.

Ан тут-то и вышло. Нежданно-негаданно завернул в роту полковой командир. Ногти солдатские обсмотрел, сборку-разборку винтовки проверил. А потом и отдавание чести. Стал сбоку монумент монументом, солдатики так один за другим перед ним и разворачиваются, знай только перстом знак подавай: «проходи который»... Видит полковник: все прошли, один бравый солдат по-за койкой столбом стоит.

— А это что за прынец такой? Пятки у него, что ли, стеклянные? А ну-кась, выходи, яхонт!

Подлетает тут ротный — так и так, да все насчет солдатской мозговой косточки и выложил. Как загремит командир полка, аж все голуби с каланчи супротив роты послетали:

— Какая там косточка! Показывать не умеете!.. Растяпа разине на ухо наступил! Я ему эту косточку в два счета вправлю. Эй, орел, поди-кась сюда! Стань на мое место! Вот я тебе сам покажу.

Отошел командир полка подальше да как стал шаг печатать, так по стеклам гулкий ропот и прошел... Ать-два! На положенной дистанции развернулся перед Пирожковым, каблук к каблуку, руку к козырьку. Красота!

— Понял? — спрашивает.

— Так точно, ваше высокородие!

— А ну-ка, сделай сам!

Ахнул тут и Пирожков: шаг в шаг, плечики в разворот, хлопнул во фронт перед командиром, да так отчетисто, чище и в гвардии не сделаешь...

— Ну вот! — говорит командир. — Видали? Показывать только надо как следует!..

Удобрился он тут до Пирожкова, как мачеха до пасынка, приказал его для разминки чувств в город до вечера отпустить. А тому только того и надо. Пришел скорым шагом в рощу, походил, побродил, разыскал свою крадю...

Далее что ж и говорить... Пришлось ей белый флаг выкинуть, на полную капитуляцию сдаться, потому условие он честно сполнил — бабьей их нации сто батогов в спину! Так-то вот, братцы, — а за табачком-то идти не мне...

\* \* \*

Крякнул второй солдат, начал свое плести:

— Жила у нас на селе бобылка, на носу красная жилка, ноги саблями, руки граблями, губа на губе, как гриб на грибе. Хатка у нее была на отлете, огород на болоте — чем ей, братцы, старенькой, пропитаться?.. Была у нее коровка, давала — не отказывалась — по ведру

в день, куда хошь, туда и день. Носила бабка по дачам молоко, жила ни узко ни широко — пятак да полушка, толокно да ватрушка.

Пошла как-то коровка в господские луга — на тихие берега, нажралась сырого клевера по горло, брюхо-то у ей, милые мои, и расперло... Завертелась бабка — без коровки-то зябко, кликнула кузнеца, черного молодца... Колол он корову шилом, кормил сырым мылом, лекарь был хоть куда, нашему полковому под кадрийль. Да коровка-то, дура, упрямая была — взяла да и померла.

Куды тут, братцы, деваться — чем ей старенькой пропитаться? Наложила она полное решето мышей, надоила с них пять полных ковшей, стала опять разживаться...

Ан тут, в самые маневры, зашли к ей лихие кавалеры, господа молодые офицеры.

— Нет ли у тебя, бабушка, молочка, заморить пехотного червячка? Пока полевая кухня подойдет, кишка кишку захлестнет...

Поскребла бабка загривок, дала им жбан мышинных сливок. Выпили, поплевали, в донышко постучали да и в сарае спать завалились. Только глаза завели, слышат — мышцы в головах заскребли, скулят-пищат, горестно голосят:

— Что ж это за манеры, господа офицеры? Бабка нас дочиста выдоила, молоком нашим вас напоила, а мышата наши голодом сидят, гнилую полову луцат... Благородиями называетесь, а поступаете неблагородно.

Приклонил тут старший офицер ухо к земле, поймал старшую мышь в золе, посадил на ладонь да и спрашивает:

— Что ж нам, пискуха, делать? Платили за коровье, выпили на здоровье, ан вышло — мышье. Мы тому не повинны...

Старшая мышь и говорит:

— А вы, ваши высокородья, пожалейте наше отродье. Деньги-то у вас военные — пролетные, люди вы молодые — беззаботные. Соберите в фуражку по рублю с головки, старушке на коровку...

Ну-к что ж... Офицеры — народ веселый, завернули полы, набросали в фуражку с полсотни бумажек, старушке поднесли да и прочь пошли.

С той поры, братцы, мышей в деревне развелось, хочь брось... Кто всех сочтет, тот за табаком и пойдет.

\* \* \*

Третий, рябой, принахмурился, соломинку из тюфяка перекусил и начал:

— Не с чего, так с бубен... Прикатил, стало быть, дагестанский принц в наш полк для парадного знакомства. Повезли его в тую ж минуту в офицерское собрание господ офицеров представлять. Глянул кругом полковой командир, брови нахохлил, полкового адъютанта потаенным басом спрашивает:

— С какой такой стати все младшие офицеры тут, а ротных командиров будто пьяный бык языком слизал?

Полковой адъютант с ножки на ножку переступил и вполголоса рапортует:

— Все, господин полковник, по неотложным делам отлучившись. Первой роты командир под винтовкой стоит — тетка его за разбитый графин поставила; второй роты — бабушку свою в Москву рожать повез; третьей роты — змея на крыше по случаю ясной погоды пускает; четвертой роты — криком кричит, голосом глосит, зубки у него прорезываются; пятой роты — на индюшечьих яйцах сидит, потому как индюшка у него околевши; шестой роты — отца дьякона колоть чучело учит; седьмой роты — грудное дите кормит, потому супруга его по случаю запоя забастовала...

— Стой! — закричали земляки. — Вот и проштрафовался...

— Как так проштрафовался?

— А разве ж ты, мордовая твоя голова, не знаешь, что завсегда, как седьмой роты командирова супруга в запой войдет, их высокородие свое дитя самолично из рожка кормит?.. Дуй скорей за махоркой, а то из-за брехни твоей и так припоздали...

## ПРАВДИВАЯ КОЛБАСА

Служил в учебной команде купеческий сын Петр Еремеев. Солдат ретивый, нечего сказать. Из роты откомандирован был, чтобы службу как следует произойти, к унтер-офицерскому званию подвдвинуться.

Рядовой солдат, ни одной лычки-нашивки, однако амбиция у него своя: у родителя первая скобяная торговля в Волхове в гостиных рядах была. Само собой, лестно унтер-офицерскому званию галун заслужить, папаше портрет при письме послать — не портянкой, мол, утираемся, присягу сполняю на отличку, над серостью воспарил, взводной вакансии достиг. И по Волхову расплывется: ай да Петрушка, жихарь! Давно ли он на базаре собакам репей на хвосты насаживал, в рюхи без опояски играл, а теперь на-ко, какой шпингалет! А уж Прасковья Даниловна, любимый предмет, — отчим ее по кожевенной части в Волхове же орудовал — розаном-мальвой расцветет. Вислозадый Петрушку все ребята на гулянках дразнили. Вот тебе и вислозадый: знак «За отличную стрельбу» выбил, а теперь и до галунов достигает. Воробей сидит на крыше, ан манит его и повыше!

Все бы ладно, да вишь ты... Ждучи лосины, поглотает осины. Невзлюбил Еремеева фельдфебель, хоть второй раз на свет родись. Сверхсрочный, образцового рижского батальона, язва, не приведи Бог. Из себя маленький кобелек, жилистый да вострый, на Светлый Христов Праздник и то вдоль коек гусиным шагом похаживает, кого бы за непорядок взгреть. Язык во щак ест — порцию ему особую выделяли, — уж на что сладкая пища. Трескает, а сам из-за перегородки по всей казарме, как волк в капкане, так и зыркает. Одним словом — ерыкала. К команде не снисходит. Во сне и то специальными словами обкладывал — знал себе цену. Только тогда зубки и скалил, когда на рысях к ротному подбегал, папиросу ему серничком зажигал.

А тут, вишь, купеческий сын завелся. Ручки, гад, реzedой-мылом мылит. Часы в три серебряные крышки с картинкой — мужик бабу моет, — у подпрапорщика та-

ких не водилось. Загнешь ему слово, сам тянется, не дрыгнет, а сквозь морду этакое ехидство пробивается: «Лайся, шкура, красная тебе цена до смертного часу четвертной билет в месяц, а я службу кончу, самого ротного на чай-сахар позову — придет...» С вольноопределяющимися за ручку здоровкался, финиками их, хлюст, угощал. Неразменный рубль и солдатскую шинельку посеребрит. В полковой церкви всех толще свечу ставил, даром что рядовой.

Начал фельдфебель Еремеева жучить. То без отлучки, то дневальным не в очередь, то с полной выкладкой под ружье поставит — стой на задворках у помойной ямы идиолом-верблюдом, проходящим гусям на смех. Все закаблучья ему оттоптал. А потом и сверхуставное наказание придумал. Накрыл как-то Еремеева, что он вместо портянок штатские носочки в воскресный день напялил. — вечером его лягушкой заставил прыгать. С прочими обломами, которые по строевой части отставали, в одну шеренгу, на корточках с баками над головой — от царского портрета до образа Николая Угодника... «Звание солдата почетно», — кто ж по уставу не долбил, а тут накось: прыгай, зад подобравши, будто жаба по кочкам. Кот, к примеру, и тот с амбицией, прыгать не стал бы. Да что поделаешь? Жалобу по команде подашь, тебя же потом фельдфебель в дверную щель зажмет, писку твоего родная мать не услышит... Не спит по ночам Еремеев, подушку грызет — амбиция вещь такая: другой ее накалит, а она тебя наскрозь прожигает. Еловая шишка укусом не сладка.

\* \* \*

Прослышал купеческий сын от соседской прачки, будто в слободе за учебной командой древний старичок проживает, по фамилии Хрущ, скорую помощь многим оказывает: бесплодных купчих петушиной шпорой окуривал — даже вдовам и то помогало, — от зубной скорби к пяткам пьетки под заговор ставил. Знахарь не знахарь, а пронзительность в нем была такая: за версту индюка скрадут, а ему уж известно, в чьем животе белое мясо урчит.

Улучил время Еремеев, с воскресной гулянки свернул к старичку. И точно — откуль такой в слободу свалился: сидит милка на одной жилке, глаза буравчиками, голова огурцом, борода будто мох конопатый... На стене зверобой пучками. По столу черный дрозд марширует, клювом в щели тюкает, тараканью казнь производит.

Воззрился Хрущ, слова ему солдат не успел сказать, бороду пожевал и явственно спрашивает:

— Заездил тебя рижский-то, образцовый? — Крякнул Еремеев, языком подавился.

А тот дальше:

— На море, на океяне, сидит бес на диване, малых собак грызет, большим честь отдает... Сел ты, друг, в ящик по самый хрящик. Ничего, вызволю! Как звать-то?

— Петр Еремеев, первого взводу учебной команды, второй гильдии купца сын.

— Экий ты, братец, вякало... Гильдия мне твоя нужна, как игуменье шпоры. Встань! Чего на дрозда уставился? Он этого не любит... Пособи, Господи, Петру Еремееву, первого взвода учебной команды, а прочим как знаешь... Скорое средство тебе дать либо с расстановкой?

Встрепенулся солдат, вскинулся:

— Да уж нельзя ли как-либо залпом? За нами не пропадет... Пристал он ко мне, как слепой к тесту. Почему, говорит, на казенную фуражку сатиновую подкладку подшил? Я, говорит, тебя рассатиню. Вырвал подкладку, харкнул в нее да меня же по личности...

— Скрипишь ты, солдат, будто старую бабу за пуп тянут. Не елозь, дай крючок вынуть! Колбасу с водкой фельдфебель твой трескает?

— Так точно!.. Ах ты ж Господи, как это вы в самую точку! Взводные с вольноопределяющимися им завсегда по праздникам в складчину бутылку с колбасой в шкапчик потаенно ставят. Будто сюрприз. Для укрощения звериного естества, чтобы они по воскресным дням меньше рычали-с.

— Вот и расчудесно! Дам я тебе, друг, своей колбаски. Особливой. Только ты ее в праздник ему не подсо-

вывай — действует она на короткий срок, пока она в человеке ворочается. А чуть выйдет внаружу — шабаш. Подсунь ее в будни, когда у вас занятия происходят. Понял?

Переступил Еремеев подковками, дрогнул.

— А они, то есть фельдфебель, от вашей колбасы, извините, не подохнут? Присягу я принимал, и вообще неудобно.

Хрущ глаза поднял, нацелился в купеческого второй гильдии сына, неловко тому стало. И дрозд тоже тараканов своих бросил, смотрит на солдата: каждый, мол, день чистые гости ходят, а такого обалдую еще не бывало. Пососал скоропомощный язык, сплюнул.

— В унтер-офицеры метишь, а сам, дурак, в чужой пазухе блох ищешь! Я, сынок, не убивец и тебе не советую. Потому за самую паршивую душу ответ держать придется. Ступай к свиньям собачьим, ничего тебе, хлява, не будет.

Взмолился Еремеев, еле упросил. Колбаску за рукав шинельный сунул, будто пакет казенный. Поднес знахарю трешницу, а тот рукой в ящик смахнул, даже и не удивился. Старичок был не интересующийся.

— Чего ж с этой колбасой ожидать-то?

Хрущ в оконце уставился, будто сам с собой разговор ведет:

— На море, на окияне сидит баран на аркане, никто его не отвяжет, пока дело себя не окажет... Ветер-ветерок, тонкий голосок. Подуй в хату, выдуй солдата — баба у меня там секретная еще в анбарчике дожидается.

Повернулся Еремеев на носках, подошвой хлопнул и через выгон — направление на дом с красной крышей — замаршировал в свою учебную команду.

Подивился фельдфебель. В будний день колбаса в шкапчике оказалась. Должно, вольноопределяющийся Лихачев посылку домашнюю не в очередь получил, с начальником поделился.

Стрыз он ее дочиста, до веревочки, скус как скус, чуть-чуть мышиным пометом припахивает. Да ведь даровая, не соловьиным же пахнуть! Вытер усы, в струнку их выправил, выходит, стало быть, на занятия. Рыгнул, как полагается. То да се — «подымание на носки и плав-

ное присядание». Не успел он руки на бедрах проверить, Еремеева за пояс потрясти, ан тут дневальный дверь настезь, кирпич на веревке кверху птичкой: начальник около шинели как моль вьется. Поздоровкался ротный, гаркнули солдаты, аж кот с окна слетел.

Стоит рота не шелохнется, а штабс-капитан Бородулин плечики поднял, сапожки в позицию поставил, глянул вбок на фельдфебеля и спрашивает:

— Ты чего ж это, Игнатыч, ухмыляешься? Попову кобылу во сне доил, что ли?

Пошутил, значит.

Фельдфебель ладонь ребром к козырьку, грудь корытом, воздуху забрал да как режет:

— Смешно уж больно, ваше высокоблагородие! В команде вы, можно сказать, Суворов, чисто лев персидский. А с бабой совладать не можете. Роба у вашего высокоблагородия поперек щеки вся поцарапана. Денщик сказывал, будто за картежную недоимку супруга вам вчерась здорово поднесла...

Отчетисто этак выговорил, будто его черт за язык дернул, а сам с перепугу телескопы выпучил, тянется — вот-вот пояс на брюхе лопнет.

До того опешил ротный, что и перебить не успел. Да как вскинется:

— Ты что ж, еж тебе в глотку, очумел? Каблуки вместе! Ты что это такое сказал?! Га!

Рота не дышит, прямо в пол взросла. Фельдфебель еще пуще тянется, дисциплина из него так и прет, а язык свое:

— Да почитай, всему городу, ваше высокоблагородие, известно, что супруга вашего высокоблагородия на вашем высокоблагородии верхом ездит.

Мать честная! Ну тут пошло, действительно...

— С кем разговариваешь?! Перед кем стоишь?! Да ты, пуп моржовый, ума решился? Под суд хочешь? С утра нализался?..

— Никак нет! Сроду пьян не был. С утра к мамзели вашего высокоблагородия, что за баней живет, ходил. Гитарку у них починал, для своего же начальника старался... Занапрасно обижать изволите...

А сам все тянется, аж посинел весь... Хоть язык вырви. Стоит купеческий сын Еремеев на правом фланге, зубами со страху лязгает — ишь чего колбаса-то делает...

Ну тут у ротного и слов не стало — случай уж больно непредвиденный. Потряс фельдфебеля за грудки, перчатку собачьей кожи в шматки порвал. Полуротный, само собой, подскочил, на голову показывает: спятил, мол, фельдфебель, в мозги вода попала. Как прикажете?

Нечего сказать — крутая каша, хоть топором руби. Махнул ротный рукой: «Убрать его, лахудру, пока что!» — и сам за ворота. Вся рота слышала, не потушить, надо дело по всей форме разворачивать.

А фельдфебель стоит осовевши, усы обвисли, пот по скуле змейкой. Взяли его взводные под вялые локти, поперли в канцелярию, посадили на койку. Сопит он, бормочет: «Морду-то хоть поперек рта башлыком мне обвяжите, а то и не того еще наговорю...» Обвязали — уж в такой крайности пушай носом дышит. Заступил на его место временно первого взвода старший унтер-офицер. Известно, коня куют, жаба лапы подставляет. Кое-как занятия до обеда дотянули.

\* \* \*

Не успели солдаты кашу доскрести, стучит-гремит полковая двуколка. Фершал фельдфебеля легкой рукой обнял, повез в госпиталь на испытание — достались Терешке черствые лепешки.

Доктор ему чичас трубку в сосок.

— Дыши, — говорит, — регулярно. Правый глаз закрой, посвисти ухом... Какой у нас теперича месяц-число?

— Месяц, — отвечает фельдфебель, а сам трясется, — апрель, число третье. Да вы б и сами, вашескородие, должны знать, потому у вас завсегда в апреле весенний запой начинается.

Затопал доктор ногами, плюнул, дальше и спрашивать не стал. Что с полуумного возьмешь?

Дежурный офицер из каморки вышел — поинтересовался:

— А, Игнатыч! Что это, братец, с тобой?.. Меня знаешь?

— Так точно. Подпоручик Рундуков, шестой роты. Вас, ваше благородие, по всей окрестности знают: квартирной хозяйке крестиками капот вышивали, все стряпухи смеются... Вам бы, ваше благородие, в кокошнике мамкином ходить, не то что с шашкой...

Обжегся подпоручик, крикнул, с тем и отъехал.

На другой день штабс-капитан Бородулин заявился в госпиталь, сел на койку к фельдфебелю, а у того уже колбасная начинка наскрозь прошла — лежит, мух на потолке мысленно в две шеренги строит, ничего понять не может. Привскочил было с койки, ан ротный его придержал:

— Лежи, лежи, Игнатыч! Что ж мне с тобой, друг сердечный, делать? Служил, служил, в жилку тянулся, и вдруг этакая осечка... Под суд тебя отдавать жалко. Да и по всему видать, накатило это на тебя с чего-то.

— Так точно, ваше высокоблагородие! Под усиленный арест посадите либо морду набейте, только чести не лишайте, дозвоьте в команду вернуться.

— Не могу, друг! Послезавтра комиссия, а там что Бог даст.

Привстал было штабс-капитан, а фельдфебель его по госпитальной вольности за кителек с почтением придержал, докладывает:

— Позвольте, ваше высокоблагородие, доложить, запаматовал. Рядовой Еремеев первого взвода, как в город последний раз отлучался, неформенный, лакированный пояс надел — не успел я его наказать. Уж вы его своей властью взгрейте, покорнейше прошу. Нечего ему, хахалю, с писарей пример брать...

Усмехнулся начальник команды: до чего, мол, фельдфебель старательный — в мозгах вода, а службы не забывает.

Доктор тут подкатился.

— Ничего, — говорит, — он сегодня вроде человека стал. По всей форме отвечает, как следует. Спал, должно быть, при открытом окне, лунный удар его хватил, что ли. В комиссии разберем...

Лежит фельдфебель на койке, халат верблюжий посасывает. Супчику поглотал. Будто кобылу — овсянкой, черти, кормят. Фершал, пес, совсем вроде псаломщика — доктор обход производит, а тот за ним не в ногу идет, еле пятки отдирает... Дали бы его Игнатычу в команду, сразу бы обе ножки поднял... Что-то там без него делается? Небось рады мыши — коты погребают. Ладно, думает. По картинке-то праздник мышам боком вышел... Соснул Игнатыч с горя и во сне Петра Еремеева за ржавчину на винтовке заставил ружейную смазку есть.

Тем часом, милые вы мои, купеческий сын, который этот кулеш заварил, сбегал к скоропомощному старичку в слободу. Как дальше-то быть?! И фельдфебеля жалко, а себя еще пуще. А вдруг тот, в казарму вернувшись, за свой срам всю команду без господ офицеров на вечерних источит. Поймал старичок таракана, лапки оборвал, отпустил — жалостливый был, гадюка.

— Забота не твоя. Пошли ему перед самой комиссией утречком вторую порцию, а там все, как на салазках, покатится.

И колбаску ему сует дополнительную. Поскреб Еремеев в затылке — один глаз злой, другой добрый.

— А может, не давать? Вишь его как с нея разворачивает...

— Эх ты, вякало! На море, на океяне стоит дурак на кургане — стоит не стоит, а сойти боится... Передумкой сделанного не воротишь. Письмо-то ты от папаши вчера получил? Ты колбасу письмом и осади. Ах да ох — на том речки не переехать. На половине, брат, одне старые бабы дело застопоривают.

Подивился Еремеев: откуда он, змей, про письмо дознался. Вдохнул, колбаску за обшлаг — и на улицу.

А перед самой комиссией принес фершал фельдфебелю пакетец — из учебной команды гостинец, мол, прислан. Схрюпал Игнатыч колбасу мало что не с кожей, госпитальное довольствие известно какое. За столом старший доктор сидит, да лекарь помоложе, да адъютант батальонный, да штабс-капитан Бородулин.

Поиграл доктор перстами, глянул в окно.

— А ну-кась, Игнатыч. Человек ты трезвый, вумст-

венный. Погляди-ка в палисадник. Какой это куст перед окном растет?

— Черная смородина, вашескородие. Вишь, на ней, почитай, все почки ошипаны, как не узнать. Вы ж за всегда по весне черносмородинную водку четвертями настаиваете.

Позеленел старший доктор. Комиссия ухмыляется, а батальонный адъютант свой вопрос задает:

— Два да пять сколько, к примеру, будет? Вопрос, можно сказать, самый безопасный.

— Ничего не будет, ваше благородие.

— Как так ничего?

— А очень просто. Потому как вы в приданое две брички да пять коней получили — ничего у вашего благородия и не осталось. Все промеж пальцев спустили.

Нахмурился адъютант:

— Ну и стерва ты, Игнатыч, даром что больной!

Тут, само собой, младший лекарь вступился:

— Испытаемых по закону ругать не дозволяется. Скажите, фельдфебель, сколько у меня на ногах пальцев?

— У настоящих господ десять, а у вашего благородия одиннадцать. Через баншиков всем известно — правая-то нога у вас шестипалая. Потому-то вам дочка протопоповская тыкву и поднесла, даром что рябая...

Сгорел прямо лекарь: правда глаз колет.

А уж штабс-капитан и вопросов никаких не задает: видит — опять лунный удар в фельдфебеле разыгрался, лучше уж его и не трогать.

То да се, порешили коротко. Наказанию не подвергать, потому человек не в себе, по нечетным дням будто белены объевшись. К военной службе не годен — сапоги под мышку, маршируй хоть до Питера.

Вертается на короткий час фельдфебель в учебную команду сундучок свой сложить-собрать. Солдаты по углам хоронятся, бубнят. Неловко и им: был начальник, кот и тот от его под койку удирал, а теперь вроде заштатной крысы, которой на голову керосином капнули.

Прибирает Игнатыч за перегородкой свое приданое, пинжачок вольный в гостиных рядах купил, глаза б

не глядели, — а тут купеческий сын Еремеев вкатывается.

По-старому каблучки вместе:

— Здравия желаю, господин фельдфебель!

— Тебя-то, помадная банка на цыпочках, за коим хреном сюда принесло?

Ничего, проглотил Еремеев, не подавился. Перешел на другую линию, повольнее.

— Да вы, Порфирий Игнатыч, занапрасно сердаете. Оченно об вас сожалеем, такого начальника, можно сказать, в днем в погребе не найдешь... В гвардию б вас, и то б не осрамили...

— Лиса, лиса. Мало я тебя еще причесывал.

— Действительно, маловато-с. Родную мамашу заменяли. Должен я, следовательно, о вас обдумать. Папаша вот письмо прислал. Старший наш приказчик помер, угрызение грыжи с ним приключилось, царство небесное. Человек был еж, младшим холуям не потакал, первая рука после родителей. Беспokoится папаша, кем бы заменить. Мово совету спрашивает. Человек вы еще жилистый, с перцем. Куда пойдете? На гарнизонное кладбище бурьян на могилах полоть? Не жалаете ли в Волхов на вакансию заступить старшим? Жалованье правильное, харч с наваром, власть во какая... Не то что лягушкой, кузнечиком прыгать заставите — не откажутся... Папаша одряклел, после службы я все дело в свои руки принимаю. Как вы об этом полагаете?

Скочил фельдфебель на резвые ноги, сообразил. А купеческий сын сел — аж сундучок под ним хрястнул... Солнце заходит, месяц всходит.

— Покорнейше благодарим, господин Еремеев. Я что ж, я послужу... Уж будьте благонадежны-с. На правом плечике мундирчик у вас замарамши, дозвольте почистить...

Еремеев, само собой, дозволяет.

— Почистить, почистить. Ты, Игнатыч, смотри дома при мне не ври. Насчет наказаньев, как ты меня под ружье к помойной яме ставил и прочее такое... Невеста там у меня, неудобно.

Фельдфебель аж ногами застучал:

— Да помилуйте, Петр Данилыч, — отчество даже,

хлюст, вспомнил. — Да что вы-с! Вы ж в каманде первейший солдат были, как такого можно наказывать. Да вам бы, ежели на офицерскую линию выйти, и цены б не было. Только что ж вам при капитале за такими пустяками гоняться...

— То-то.

Встал это Еремеев, полтора пальца фельдфебелю сунул и пошел к своей койке переобуваться: взамен портянок носки напяливать. Хоть и не видно, а все же деликатность и внутри оказывает...

Кряхтит, ногу, как клешню, выше головы задрал, сам про свое думает — правильно этот волшебный старичок насчет письма присоветовал. Ежели этих подчиненных, чертей-сволочей, на короткой цепочке не держать, голову они тебе отгрызут с косточкой... Доволен папаша будет: во всем Волхове такого громобоя, как Игнатыч, не сыскать. Подопрет — не свалишься.

## КАТИСЬ ГОРОШКОМ

Укатила барыня, командирова жена, на живолечебные воды, на Кавказ нутренность свою полоскать. Балыку в ей лишнего пуда полтора болталось. Остался муж ейный, эскадронный командир, в дому один. Человек уж не молодой, сивый, хоша и крепкий: спотыкачу в один раз рюмок до двадцати охватывал. Только расположил на полной свободе развернуться, от бабьего гомону передохнуть, глядь-поглядь — на двор барынина мамаша на пароконном извозчике вкатывает. Перья на шляпке лопухом, скрозь вуальку глазищами, словно вурдалак, так и лупает. Барыня ей, стало быть, секретный приказ послала: «Приезжай, последи за моим сахарным. А то без меня дисциплину забудет — либо обопьется, либо с арфянками загуляет. В дом наведет, из приданных моих чашек лакать будут». Отдохнул, значит.

Высадил он мамашу, грузную старушку. Ус прикрутил, глаза вбок отвел и под ручку ее на крыльцо поволок.

— Прошу покорно, заждались! Эй, Митька, тащи че-

модан, дорогая мамаша приехавши — крыса ей за па-зуху.

И хошь бы одна заявила: пса с собой привезла за-кадычного. Голландской работы по прозвищу мопс Куш-ка. Личность вроде как у ей самой, только помельче.

Отвели ей с псом самолучший покой. Расположи-лись, квохчут. Не поймешь, кто с кем разговаривает: ба-рыня ли с собачкой, собачка ли с барыней.

Ходит ротмистр округ стола, шпорами побрякивает, ус книзу тянет. Кипит. Денщика кликнул.

— Продышаться пойду... Какие мамашины прика-зания будут по буфетной части, сполняй. А ежели она начнет под меня подкоп домашний рыть, выпраши-вать — смотри у меня, Митрий!

— Слушаюсь, ваше высокородие. Промеж дверей пальцев не положу.

Денщик, что ж. Человек казенный. Самовар раздул, мягкие закуски для старой барыни на стол шваркнул. В чашку надышал, утиральником вытер, из варенья муху горсткой выудил, обсосал — дело свое знает.

Отдохнула старушка. В столовую вкатывается, ко-ленкор ейный гремит, будто кровельщик по крыше хо-дит. Сзади Кушка хрипит, по сторонам, падаль, озира-ется, собачью ревизию наводит.

Заварила она чаю, половину топлёных сливок себе в чашку ухнула, половину Кушке. Голландской работы собачка простого молока не трескает.

Денщик Митька стоит у окна, мух на стекле подав-ливает, ждет, чего дальше будет.

Старушка на блюдечко дует, невинную речь заво-дит:

— Что ж ты, друг ананасный, барином своим дово-лен?

— Так точно. Командир натуральный. Дай Бог каж-ному!

— Гости у вас часто бывают?

— Батюшка полковой заворачивает. Странники кое-когда, проходящие... Хозяин дома вчерась водопро-вод проверять приходил. Крантик у нас ослабемши...

— Так. Выпивает командир с ними, что ли?

— Не без того, выпивают-с. Клюквенный квас у нас отменный после барыни остался.

— Квас, говоришь?.. Ну а сам он куда отлучается, не примечал ли?

— Примечал, как же-с. В манеж ездят на занятия. В бане третьего дня парились. В парикмахерскую всегда ходят. Волос у них жесткий — дома не бреются...

— Так-так. На словах твоих хоть выспись... Ну а где ж он обедает без барыни? В собрание ходит?

— Никак нет. Я им кой-чегостряпаю. По средам-пятницам — рыбка. А так — либо каклеты, либо телитина под бесшинелью.

Вскинула барынина мамаша глазки: из блохи, мол, шубу кроишь, да мне не по мерке.

— Вечерами что ж твой барин делает?

— Псалтирь читают. Другие господа на биллиардах, а они все псалтирь... Либо по тюлю крестиками вышивают.

Харкнула старушка со злости. Ишь, охальник, — руки по швам, язык штопором.

— Кушку моего на променанд поведешь... Что слыны-то выпучил? Он уличное гуляние обожает... Через улицу смотри на руках переноси — извозчики у вас асшды. Ты мне за него головой отвечаешь.

— Слушаюсь, сударыня. Собачка первоклассная, отчего ж не ответить... Только для вас спокойнее, чтобы и со двора не отлучался.

— Патрет я с тебя писать буду, что ли?

— Никак нет. Не извольте беспокоиться... А только на прошлой неделе жулики тут у соседей шарили. Ваших примерно лет, невинной старушке в русской печке питки прижгли и ограбили. Вам в случае чего помирить — раз плюнуть, а мне и за вас, и за Кушку отвечать... Больно много наваливаете.

Испужалась она, завякала:

— Ах, страсти какие! Сиди уж лучше на кухне. Кушку я из окна на веревочке по двору вывожу... Матушки-батюшки, город-то у вас какой окаянный!

Денщик руками за спиной поиграл. Кто не слукавит, того баба задавит. Ишь ты, мымра, чего придума-

ла! Чтоб все встречные драгуны да горничные задразнили... «С повышеньцем вас, Митрий Иванович! В собачьи мамки изволили заделаться»...

\* \* \*

Заварила барынина мамаша кашу — ложка колом встанет. Куды командир, туды и она, самотеком. Новоселье ли у кого, орденки ли вспрыскивают, все ей нейдет. Не с тем, мол, приехала, чтобы пальцы на ногах пересчитывать... Мантильку свою черного стекляруса вскинет да так летучей мышью рядом и перепархивает с мостков на мостки. Резвость двужильную обнаружил, — злость кость движет, подол помелом развевает.

Сдаст ее командир в гостях хозяевам на руки, сам в дальнюю комнатку продерется — по графинам протиснуться, в банчок перекинуться либо дамочку встречную легким словом зарумянить, — ан старушка контрольная тут как тут. Карты из рук валяются, водка мимо рта льется. Шершавость у ей в глазах такая была непереносная. Прямо как скаженный он стал. А не брать нельзя, в чулан мамашу не спрячешь. Жалованье командирское известное: на табак да на щи. Способия она ему из пензенского имения высылала — то мундир обновить, то должок заплатить, то копченого-соленого с полвагона. Оттянешь ее за хвост — банку мухоморов пришлет, прощай, зятек, постучи о пенек...

И денщику тошно. Известно, барину туго — слуга в затылке скребет. Принесешь — криво, унесешь — косо. Хоть на карачках ходи. Да и Кушка-пес одолевать стал. Мебельные ножки с одинокой скуки грызть начал, гад курносый. Денщику взбучка, а пес в углу зубы скалит, смеется — на него и моль не сядет, собачка привилегированная. Ладно, думает Митрий. Попадется быстрая вошка на гребешок. Дай срок.

Поводил-покрутил командир мамашу, как кобылку на корде, невоготу ему стало. Стал дома рейтузы просяживать. Придет с манежа, чай пьет, бублик промеж пальцев на пол крошит, приказы прошлогодние с досады читает. А она супротив. Как ячмень на глазу. Лопочет, разливается. Разговорная машинка у нее лихо ра-

ботала. Хошь не отвечай, хошь на крыльцо выйди на луну сплунуть, она знай жернов о жернов точит. Почему попадья перестала в баню ходить, да сколько ветеринар лошадиного спирта незаконно вылакал, да к какой гувернантке корнет Пафнутьев на будущей неделе в окно лезть собирается... Командир аж побуреет. «Угу» да «угу» — только и ответов.

Дошло и до денщика. Раз барин дома сидеть стал, ей не страшно насчет жуликов, которые в печке невинных старушек жгут.

— Ступай, ступай, — говорит, — Митрий, Кушку моего по улицам выводи. Что ж ты его все по двору таскаешь. Этак ты его до водяного ожирения доведешь...

Насупился Митрий, стакан, который мыл, в руках у него хряснул. Ужели от срамоты этакой так и не отвергаться?

Пошел на кухню, покрутился там, вертается веселый с ремешком энтим кобельковым. «Пожалуйте на променаж, прошу вас покорно!» На сахарок Кушку в переднюю выманил... Однако слышат — рычит Кушка, упирается, аж дверь трясется. Что такое?

— Не хотят на улицу. Прямо морду ему чуть не оторвал. Изволят упираться...

Попробовала старушка: может, денщик-черт нарочно ожерелок потуже затянул? Грех клепать. Все как следовает. Потянула: за ней идет, похрюкивает, животом пол метет. За Митрием — ни с места! Лапы распрялит, бишкой мотает, будто его в прорубь водяному на закуску тащат.

Глянул ротмистр, задумался. Ведь вот денщику судьба послабление какое сделала. А мамаша-то пензенская сидит, как приклеенная. Не вырывается...

\* \* \*

Дальше да больше. Дарья-кухарка через забор жили, кой-когда к денщику забегала — часы в темном углу проверить, мало ли дел по соседству. Известно: стар хочет спать, а молодые играть. Уследила барынина мамаша, на дыбы стала. «Ступай, ступай, шлендра! Подол в дубки, крутом марш!.. Нечего чужие сени боками заса-

ливать»... И в сахарнице куски с той поры пересчитывать стала. Денщик только серьгой потряхивает, даже его забрало. Барин, бывало, придет из собрания через край хлебнувши, сам себя не видит. В карты ему случаем пофартит, червонцы из кармана на стол брякнет — не считано, не мерено. Никогда Митрий дырявой полушкой не попользовался. А тут накося — сахар!.. Присыпала перцу к солдатскому сердцу.

Ладно. Стала она по-иному со скуки выкомаривать, откуль что берется. Сидит она вечером, на блюдечко толстой губой дует, самовар попискивает. Ротмистр из спичек виселицу строит: кому — неизвестно.

— Чтой-то, — говорит старушка, — двери у нас скрипят нынче. К дождю это беспременно. Смажь, Митрий, маслом — мне завтра в гостиные ряды идти, ужель мокнуть.

Денщик человек казенный. Смазал. Язык бы ей смазать, авось бы тоже прояснило. А она наддает:

— Ты, Митрий, вчерась опять каклетки оставшиеся с буфета не убрал?

— Виноват. Тараканов на кухне морил, запамятовал.

— Виноват... А знаешь ты, что это означает? Ежели мышь неубранное после ужина поест, у хозяина зубы разболятся.

Ротмистр под столом шпорами: дзык.

— Чепуха это, мамаша. На нетовую нитку бабьи вздохи нанизаны.

Старушка указательной косточкой по столу постукала.

— Скаль зубки. Конечно, есть приметы сырые: нос чешется — в рюмку глядеть. Другие ротмистры и без этого выпивают... Наши пензенские приметы тонкие, со всех сторон обточены. Не соврут... Скажем, конь ржет, всякий дурак знает — к добру. А вот если вороной жеребец в полночь на конюшне заржет — беда! Пожара в этом доме в ту же ночь жди. Хоть в шубе-калошах спать ложись.

Денщик к стенке отвернулся, сухую ложку мокрым полотенцем трет, плечики у него так и ходят... Старушка серку в ухе поковыряла и опять свой варганчик завела.

— Либо поп дорогу перейдет — отплеваться завес

гда можно. А ежели он, мимо перешедши, остановится, да табачку из табакерки хватит, да, не приведи Бог, чертыхнется — уж тому черной оспы не миновать. Я баштошек знакомых, которые нюхающие, за полверсты завсегда обхожу... Опять же собака воет. Случай серый. В какую сторону воет, вот в чем аллегория. На север — неблагоприятные роды; на юг — потолок на тебя завалится, на восток — от грыжи помрешь, а коли на запад — молоко тебе в голову беспрременно бросится. Приметы без промаху.

Командир виселицу свою спичечную раскидал, встал из-за стола, ноги ножницами раззявил. Голос мягкий, и под ним так смола и пробивается.

— Вы бы, мамаша, Кушку своего отравили, что ли. Больно много от него, стервы, опасностей. Это ж все равно что на ручных гранатах польку плясать. Спокойной ночи. Пока молоко в голову не бросилось, пойду насыанц «Наполеонову могилу» перед сном разложу.

Смолчала старушка. Драгунский обычай известный: все смешки. Погоди, Изюм Марципанович, с судьбой шутить — не барьеры брать...

А Митрий — у буфета он все крутился — таким сладким кренделем подкатывается:

— Оно точно-с. Которые благородные, сумлевают-ся. Мужичкий пустобрех. А я верю-с. У нас тоже свои приметы имеются, орловские. Выдающие...

— Расскажи, дружок, расскажи. Пирожок, который оставши, можешь себе взять...

— Покорнейше благодарим, закусимши уже. Ежели, к примеру, пробка в графин не тем концом воткнута, значит, гость в доме загостился, пора ему, значит, на легком катере к себе собираться.

Глянула она на графин — поперхнулась, аж глаза побелели.

— Пошел вон, глуздырь! Скажу вот завтра командиру, чтоб тебя на хлеб на воду посадить за приметы твои дурацкие...

Пробку как следует перевернула, сахарницу в буфет замкнула и поплелась к себе с Кушкой на покой — в сонное царство, перинное государство.

\* \* \*

Ровно в полночь заржал на конюшне вороной жеребец. Прокинулась барынина мамаша, свет вздула да к командировым дверям:

— Вставай, зять. Пожар!

— Дед бабу рожал... В чем дело, мамаша?

— Жеребец твой ржет вороной. Слышишь?

— Не перекрашивать же из-за вас. Я во сне с городским головой пунш пил, а теперь он без меня все высет. Беспокойная вы старушка...

Денщик тут же стоит, свечку держит, будто ружье на караул. Какой там сон! Белая кофта по бокам вьется — чистый саван. Бумажки в волосьях рыбками прыгают. А жеребец так и заливается. Ужаси-то какие!

— Дом-то у тебя хоть застрахован?

Вздыхнул ротмистр: по ком этот вздох, тот бы в щепку иссох... И пошел к себе досыпать. Авось городской голова не все выпил.

А мамаша чулки-мантильку надела и до белой зари на сундучке подремала — либо в эту ночь, либо в будущую гореть непременно придется. До утра обошлось, ничего.

А утром еще злее беда накатила. Повела она Кушку на променаж — с денщиком нипочем не шел, — трах, у самой калитки батюшка в трех шагах поперек прошелестел. Становился, табачку из табакерки хватил да как чертыхнется: «Экий дьявольский ветер, половину табакерки выдул, бес его забодай!..»

Вернулась старушка, гайки у ее развинтились, по перильцам кое-как подтянулась. Взошла в столовую, шатается. Ротмистр к ручке, а она в кресло так студнем и осела.

— Что еще такое?!

— Ох, друг... Накликала на свою голову. Поперечный поп, табак нюхавши, чертыхнулся... Кушку моего тебе завещаю. Имение — дочке. Не подходи, не подходи лучше, я теперь вроде как в карантине. Черной воспы не миновать!

Подивился ротмистр. Жилка у нее на шее бьется, глаза мутные. Одурела, что ли, мамаша?.. Да и впрямь

чудно. Как по расписанию все выходит. Махнул перчаткой, шашку подтянул — «дзык-дзык», на коня сел и в манеж.

Денщик полоскательной чашкой постукивает, хрустальный стакан в руках пищит. Человек казенный, ему это все без надобности. Мало ли делов?.. Часы на стене — время на спине.

Не пила она, не ела целый день. Все пронзительную соль с пробки нюхала да капустные листья к головке прикладывала. Сахар-провизию, однако, пересчитала, что следует выдала — и на ключ.

Вечером сидит командир один: полстакана чаю — пол рома. Мушки перепархивают. Тишина кругом. Будто старушку огуречным рассолом залило. В задумчивости он пришел, вполсвиста походный марш высвистывает. Таракан через мизинный перстень рысью перебежал — что он по пензенским приметам означает: чирий на лопатке вскочит альбо денежное письмо получать? Ёфу, до чего мамаша голову задурила!

И вдруг, братцы мои милые, как взвояет Кушка в старушкиной спальне... Чисто гудок паровозный. Выскочила старушка в чем была, шерсть на ей дыбом, да к командиру:

— Куда окно-то мое выходит?!

— На север, мамаша...

Так она и присела:

— Да что же это за напасть такая. Неблагополучные роды? Это у меня-то? У вдовой старухи?!

— Что ж вы ко мне привязамшись? С Кушки вашего и спрашивайте.

Денщик в дверях стоит, мнется. Почесал в затылке — и за дверь.

Взвыл Кушка еще пуще. Кинулась она в спальню.

— На юг воеет!..

— Это что ж, мамаша, по вашему прискуранту выходит?

— Потолок завалится... Матушки!.. Выноси, Митрий, вещи, у меня уже с утра уложены. Часу здесь на останусь.

— Да что ж вы, мамаша, в своем ли уме? Потолок дубовый, хоть слонам по нему ходить. Бросили бы...

— Нет, зятек, я-то в своем уме, а вот ты попрыгай. Жеребец вороной ржал, поп чертыхался, да еще Кушка подбавил... Чичас к ночному поезду коляску подавай. Помирать, так уж на своих пуховиках...

— Я, мамаша, вашему комфорту не препятствую, — а только, может, приметы ваши пензенские в нашей губернии не действуют?

— Шутить вздумал? Молебен дома отслужу, авось рассосется. Эва, сколько на одну женщину наворочено. Митрий!

Денщик тут как тут. Человек казенный. На барина смотрит: как, мол, прикажете?

— Что ж, закладывай. Действительно, странно что-то одно к другому приторочено.

Митрий за вещи, старушка за Кушку — ротмистр на ходу ее в плечо чмокнул. Катись горошком!

\* \* \*

Гитары бренчат, стаканы звенят, полон дом гостей — праздник у ротмистра. За вороного жеребца пили, за ветер, который у скоропребывающего батюшки табак из табакерки выдул, за голландской работы собачку Кушку. Дивятся некоторые, руками разводят. Как все, мол, ладно вышло: сама себя пензенская мамаша легким одуванчиком вышибла. Головы ломают, случаи разные рассказывают, один другого мудренее.

У кого петух в усадьбе все головой тряс, пока воры кладовую не взломали. Тогда и прекратил. Цыганке одной мышь попала за пазуху — недели не прошло, струна на гитаре лопнула да ее по глазу. А у свояченицы городского головы родинка была мышастая на таком месте, что самой не видно, — к добру это... Вот она пятьдесят тысяч, как одну копеечку, и выиграла на свой внутренний билет. Поди ж ты...

Командир только головой вертит: бабьи побрехушки... Глянул он невзначай на денщика — стоит, стаканы вытирает, глаза щелками лучатся, рот так к ушам и тянется. Как есть лиса в драгунской форме.

— Поди-ка, Митька, сюда, поди! Ты что ж это в тряпочку пофыркиваешь! Уж не ты ли, хлюст, тут волшебствами этими жеребьячьими занимался?

Молчит Митрий, глаза пучит.

— Говори, черт, не бойся. Я сегодня добрый. Почему Кушка с тобой гулять не шел? Ась?

— Обидно уж больно, ваше высокоблагородие. Командир полка встренется, во фронт встать надо... А тут мопса у тебя на шпоре сидит. Опять же куфарки задразнят.

— Ты тут не таранти. Гни так, чтобы гнулось, а не так, чтобы лопнуло...

— Так точно. Каблуки я нашатырной водкой натер. Чуть энтого Кушку к каблуку на ремешке притянешь, так он на задок и садится, голосом голосит. Ни одна собачка не вытерпит.

— А жеребец почему ржал? Соли ты ему на хвост посыпал?

— Потому, ваше высокородие, забрало меня дюже. Командир в доме один, а тут оне, на нас верхом семши, сахарницу стали запирать...

— Ты про сахарницу брось. Говори да откусывай!

— Да как же ему не ржать, ежели в полночь вестовой корнета Пафнутьева по уговору кобылу их благородия к нашей конюшне к самой отдушине подвел.

— Шпингалет ты, я вижу... А батюшку ты как же ей подсунул?

— Никак нет. Дарья-куфарка отца дьякона подрясник с веревки сняла — проветривался он. Шляпу ихнюю нахлобучила, бороду, мы, извините, из вашей заячьей рукавицы приладили. И того... чертыхнулась Дарья... действительно. Голос у нее толстый.

Гости кольцом стянулись, смеются. Командир глазами поблескивает. Не нагорит, значит.

— А с собачкой чего проще. Я округ барыниной спальни над плинтусом внизу по стенкам балалаечную струнку приспособил, коробок от ваксы к ней повесил. За веревку дернешь — коробок тихим манером и дзыкаст, с которой стороны требуется. Цельный день Кушку на конюшне репертил, пока он выть не стал под этуку

музыку. Собачка музыкальная. Только, ваше скородие, прошу прощения — промашку я дал спервоначалу: на север, это точно, выть бы не следовало. Неудобно-с вышло.

Гости аж присядают, до того им понравилось. Налил командир полную стопку рома, поднес Митрию.

— Пей, бес! На этот раз прощаю. Вот только мамашу огорчил уж очень, сна ее надолго теперь лишил. Шутка ли сказать, приметы какие с ней прикручены...

— Никак нет! Не извольте беспокоиться: потолок и пожар при нас и останутся. А насчет черной воспы я им средство на вокзале дал: ежели они мозоль с Кушкиной пятки вырежут и в полночь его, в хлебный шарик закатавши, натошак съедят, никакая их воспа не возьмет.

Зареготали гости. Командир в ус ухмыльнулся:

— И что ж, поверила?

— Так точно! Полтинничек на чай дали-с. Уж ли нашему орловскому способу ихней пензенский приметы не перешибить?

# Рассказы, не собранные в книги

## ДРУГ

### I

*Н*ачалось до смешного просто.

В один из слякотных петербургских дней Василий Николаевич Попов вернулся с уроков домой и нашел на столе рядом с прибором письмо. Этаким галантный сиреневый конверт в крупную клетку, залихватский почерк, полностью выписанный и подчеркнутый титул:

*Его Высочайшего Императорского Величества  
Т-ну такому-то.*

а на обороте зеленая печать с коронкой и выкрутасами.

Перепиской Василий Николаевич себя не обременял, знакомых писарей не имел.

От кого бы? Штемпель был тамбовский, но мысль о Тамбове ничего, кроме смутных образов тамбовских окороков, не вызвала. Попов неторопливо распорол зубочисткой толстый конверт, прочел, удивленно хмыкнул и позвал сестру, которая возилась на кухне с жарким.

— Нина, поди-ка сюда!..

— Сейчас несу!..

— Да нет! Я про письмо.

Нина Николаевна простучала каблучками по коридору, внесла на сковородке еще ворчавшую свиную котлету, поставила ее перед братом и села напротив него, деловито облокотившись:

— Ну?

— Угадай, от кого.

— Прекрасный пол? — она подразнила, но видно было, что ни на секунду не верит тому, что сказала.

— Нет... Какое... От Петухова. Помнишь?

— От какого Петухова?

— Боже мой, товарищ по гимназии. Толстый такой, блондин...

— Не помню. Ну, так что же?

— Да вот. Переезжает в Петербург. По этому поводу вспомнил о моем существовании, выражает уверенность и прочее. На «ты». Все, как следует.

— Ты что же? Дружил с ним?

— Почти. Водку пил, банчок. Давал ему списывать. Да, дружил! — вдруг радостно вспомнил Василий Николаевич. — Рыбу ловили, как же, раков. За Катюшей Кривенко вместе ухаживали, только обоим был нос: Шильский-бродяга перебил, красивый был, мундир такой шикарный... Куда нам!.. Фу, как давно было — точно триста лет назад. (Василию Николаевичу шел тридцать первый год.)

Он мечтательно отправил в рот приставшую к краю тарелки картофелинку и вздохнул.

— Гм... Что ж ты, Васюк, с ним будешь делать? — озабоченно спросила Нина. — Он, пожалуй, так со всеми потрохами к нам и ввалится.

Она представила себе их три чистенькие комнатки и постороннего полного человека: непременно курит, все трогает руками, валяется целыми днями на новом диване и съедает один весь их обед.

— Нет, зачем же... — нерешительно протянул Василий Николаевич. — Он пишет, что в пятницу вечером будет у нас. Увидит сам, что здесь негде. Да и церемониться с ним нечего!

Нина Николаевна пожала плечами и пошла за киселем, а Василий Николаевич лениво поднялся с места, достал с комода альбом с полуотвалившимся жестяным рыцарем и после долгого перелистывания разыскал среди полувыцветших, похожих друг на друга коллег-восьмиклассников Петухова. Лицо как лицо, посмотришь — ни тепло, ни холодно, — отвернешься — забудешь. «Лапша», — подумал Василий Николаевич и, вытащив карточку, перевернул ее:

«Жизнь прожить — не поле перейти. Милому и дорогому другу В. Попову от любящего его друга Димитрия Петухова».

— Гениально! — усмехнулся Василий Николаевич. — Другу от друга. Как же! — Он вставил карточку на место, медленно разорвал письмо и принялся за кисель.

## II

Вечером в пятницу к Василию Николаевичу ввалился рыхлый, улыбающийся блондин в котелке, круглорожий, с жиденькими китайскими усами и почти без глаз, — наполнил всю квартиру наглым запахом дешевого шипра и вспотевшей лошади, сбросил с себя на сундук нелепое пальто с серыми бараньими обшлагами и воротником и шумно полез целоваться. Это и был Петухов.

Василий Николаевич поцеловался, тщательно подбирая губы (черт его знает, здоров ли?), познакомил его с выпорхнувшей из коридора сестрой и повел гостя к себе в кабинет к дивану. Сели. Василий Николаевич не знал, как начать — на «ты» или на «вы»? Но Петухов затараторил сам:

— А ну-ка, покажись, Базиль? Сколько лет сколько зим... Да ты, брат, молодцом, все такой же. Полысел только, хо-хо, здорово полысел. Как живешь? А? Ну, рассказывай, рассказывай!

«Болван!» — коротко разъяснила про себя Нина Николаевна нового знакомого, но вспомнила, что он пришел без чемоданов, и, приветливо рассматривая простенок, спросила:

— Чаю хотите?

— Не вредно! Не откажусь. Не откажусь...

Василий Николаевич остался наедине с гостем и, недоумевая, начал «рассказывать»:

— Да вот, существую. Холост. Живем с сестрой, работаем — я в коммерческом литературу преподаю, сестра в городском училище подвизается... Много читаю... Театр. — Он остановился и, слегка отклонившись от

слишком шумного дыхания друга, подумал: «Что я ему расскажу? Вот чудак!»

Но вспомнил испытанный рецепт и обрадовался:

— Что я?.. Ты лучше про себя расскажи, Димитрий... Петрович.

— Степанович... ха-ха... забыл?

Упрашивать не пришлось. О себе Петухов всегда охотно распространялся, а здесь, где никто его не знал, было особенно просторно. Он живописно откинулся к спинке дивана и, широко обнаружив все великолепие тонов своего уездного жилета, взял Василия Николаевича за цепочку.

— Всяко бывало. Был и на коне, был и под конем... Ты здесь в качестве невского аборигена и понятия не можешь иметь! Среда, конечно, того, — со всячинкой, но женщины, какие женщины! Только ради них со всем примиряешься. И не какое-нибудь курсье, — разговоры, морально и принципиально, с точки зрения вашего позволения, Вейнингеры и все такое... Тиль!.. Все по природе, — лови свой миг и благословляй судьбу.

— Ловил? — недоверчиво спросил Василий Николаевич, незаметно освобождая цепочку.

— А ты как полагаешь? Пальца, брат, в рот не клади. Ах, милый, представь себе ярко: вокруг хамье, с десяти до четырех торчишь в присутствии, «принимаешь во внимание» да «присовокупляешь при сем», мзда сто целковых в месяц, ни сантима доходов, вечером собрание, ночью рижский бальзам, преферанс и никаких гвоздей — и вдруг среди всей этой тундры пышные цветы любви, страсти и неги... И какие цветы! Ты, брат, не ухажер, не поймешь.

Петухов сжал потной, горячей рукой равнодушную ладонь Василия Николаевича, шумно вздохнул и, явно привирая, принялся рассказывать отдельные случаи из своей ухажерской практики.

Василий Николаевич сидел и слушал — губы улыбались сами по себе, в глазах сонно перебегали искры ленивой насмешливости, но недоумение все росло. Он не мог отрешиться от странного ощущения: ему казалось все время, что рядом с ним сидит не Петухов, тот самый Петухов, с которым он когда-то играл на гимназиче-

ском дворе в чехарду, — а какой-то средний пассажир русского трамвая, самое загадочное и постороннее существо на свете, и, торопясь, раскрывает перед ним свои самодовольные идиотские недра. Резал глаза нелепый большой университетский знак на сером пиджаке, удивляли давно забытые словесные фиоритурсы. Мало-помалу становилось скучно.

— Чай пить! — мрачно позвала Нина Николаевна из столовой.

За столом друг опять начал о себе, томно адресуясь главным образом к Нине Николаевне, на фигуру которой он облизнулся еще в передней.

— Как у вас уютно! Сразу чувствуешь женскую руку... Прекрасную женскую руку, одухотворяющую, так сказать, все, к чему она ни прикоснется. Н-да. Мы вот спорили с вашим братом о любви (Василий Николаевич удивленно поднял глаза)... Я убежден, Нина Николаевна, что вы будете на моей стороне. «Но нет любви, и дни ползут, как дым»... Не правда ли?

Петухов необыкновенно осторожно прикоснулся носком сапога к ботинку Нины Николаевны, но встретил в ответ такой изумленный и брезгливый взгляд, что поспешил убрать ноги под стул.

— Вам крепкий или средний?

— Кре... Средний. Мерси! Вы позволите?

Он щелкнул серебряным портсигаром, испещренным уменьшительными именами жертв своей неги и страсти, и закурил, не дожидаясь ответа.

— Что ж так сидеть? А, господа? Двинем куда-нибудь ознаменовать встречу... Какой здесь кабачек пошникарнее, Базиль?

— Право, не знаю. Да и не стоит. Я устал, а сестра не любит.

— Пуркуа? Можно вызвать автомобиль, заказать кабинет... Кутить так кутить. Ставлю на баллотировку! Только, чур, условие — я угощаю...

— Нет, брось. Спасибо... Ты зачем, собственно, в Петербург приехал? — перевел разговор Василий Николаевич, рассматривая с легкой тоской лоснящееся лицо

сидящего против него постороннего человека, тянувшего в себя со свистом чай.

— Зачем приехал? Друг мой!.. Я, как тебе отчасти известно, с пятого класса, т. е. слава Богу семнадцать лет, служу музам. И, увы, как тебе безусловно известно, меня за пределами Тамбова и его уезда ни одна собака не знает. Питер — центр: сто редакций, тысячи рецензентов, десять тысяч комбинаций. Ком-пренэ?

Петухов хитро подмигнул другу, погрузил свою ложечку в вазочку с вареньем и отправил ее к себе в рот.

— Ах, вот что? — улыбнулся Василий Николаевич. Он вспомнил, что, действительно, когда-то, бесконечно давно, Петухов писал сонеты, другой его друг, Ника Плющик, увеличивал *cartes postales*<sup>1</sup>, а сам Василий Николаевич очень художественно выпиливал рамки. — Служили музам...

— Ты, кажется, удивлен? — Лицо неожиданного Петрарки исполнилось снисходительной иронии. — Впрочем, кое-что со мной. — Он бережно прикоснулся пальцем к боковому карману, торопливо допил чай и привычным движением вывалил на стол грязную пачку завихрившихся газетных вырезок и листочков. — Вот.

Нина и брат переглянулись. Что ж? Пусть хоть балаган... Но балагана не было. Было просто невыносимо скучно и противно. Точно средняя овца, кое-как прожевавшая полфунта страниц из Апухтина, Надсона и Лохвицкой, обрела вдруг дар тусклого обесцвеченно-плоского слова и заблела на одной ноте:

На заре моей жизни уньлой  
Счастье вдруг посетило меня:  
Получил я блаженство от милой,  
Горячо полюбил я тебя...  
Не страшны мне страданье и горе,  
Не боюсь я людей клеветы,  
Так как счастья светлого море  
Подарила мне, милая, ты!

---

<sup>1</sup> Почтовые открытки (фр.).

Дальше шли: желанья-свиданья, грезы-розы, сидели-трели и т. д., до одурения...

Долго читал, одно за другим. Минут двадцать — не меньше. Но Василию Николаевичу показалось, что часа четыре, а Нине — что с прошлой пятницы.

Когда он наконец замолчал и победоносно насторожил уши, привыкшие к добродушным и увесистым уездным комплиментам, в комнате наступила неловкая тишина.

— Здорово! — сказал наконец Василий Николаевич, избегая взгляда сестры. — Ишь, сколько ты, брат, накалал...

Нина ничего не сказала. В упор уставилась на поэта и еще раз едко подумала: «Болван».

Она встала, не предложив второго стакана, ушла к себе в комнату и там, не зажигая огня, села в угол к окну. «Осел! Как он смел лезть своими ногами! Тоже поэт... Удивительно, как таких олухов печатают. Приехал в Петербург. Как же! Тут тебе покажут. Будьте покойны...»

Эта мысль ее несколько успокоила, но наглый табачный дым, потянувшийся из-под двери, и вновь заскрипевшее в ушах самодовольное бляение Петухова пробудили едва преодолимое желание распахнуть дверь и крикнуть: «Эй вы, животное, убирайтесь отсюда вон!» Нельзя... Она порывисто поднялась с места и, бессильно усмехаясь, ушла на кухню.

Василий Николаевич должен был страдать один. Человек из трамвая прочел еще дюжины две листочков — стихотворения в прозе, новеллы, баллады и все такое. Прочел две тщательно подклеенные на толстой бумаге рецензии о каких-то своих «Исках души»: «Приветствуя молодое дарование нашего даровитого местного поэта, горячо рекомендуем его вниманию наших читателей...» На часах пробило половину двенадцатого.

— Я тебя не стесню, Базиль, если переночую, а? А то далеко, брат, переть.

— Нет, нет, пожалуйста, — с тоскливым радушием пробормотал Базиль.

Другу постелили на диване, простыню Нина Нико-

лаевна дала самую старую, подушку самую жесткую, ящики комода выдвигала так, что стены тряслись. Но, увы, друг ничего не заметил.

Василий Николаевич сделал вид, что ложится рано, но эта невинная хитрость не помогла. Друг разделся, лег и, блестя во тьме непотухающей папиросой, перешел к анекдотам. Анекдоты были вроде фотографий парижского жанра — до тошноты циничные, нелепые и грубые. Надо было оборвать, но хозяин не решился и попросил только, чтобы потише, а то сестра услышит.

К двум часам Петухов заговорил о гимназии. Василий Николаевич несколько оживился и тоже вспомнил два-три выброшенных из памяти за ненадобностью случая. Около трех часов, после продолжительной паузы, друг наконец спросил:

— Слушай, Базиль... У тебя нет в Питере подходящих знакомств?

— Каких?

— Литературных... Ты ведь всюду вращаешься...

— Нет, — злорадно ответил Василий Николаевич, натягивая на глаза одеяло.

— А у Нины Николаевны?

— Нет.

— Гм... — гость вздохнул и потушил папиросу.

— А у твоих знакомых?

— Нет! — еще злораднее ответил Василий Николаевич.

— Тэкс... Ну, спокойной ночи.

— Приятных сновидений. — Василий Николаевич язвительно улыбнулся под одеялом и через минуту уснул.

### III

Прошло две недели. Брат и сестра сидели после обеда за столом и, с привычным уже для них сладострастием злобы, говорили о друге.

— Это дико, Васька! Мы проходим через сотню измов, спорим о судьбах мира, высоко смотрим на обывателя, считаем себя внутренне свободными, гордимся этим, верим только своему чувству выбора, уму и вкусу, и вдруг первый встречный хам делает из нас половик

для вытирания своих идиотских ног... Влезает с улицы в дом, невыносимо оскорбляет изо дня в день глаза, уши... обоняние. — Нина вспомнила ужасный шипр и окурки на всех столах, — и мы ничего не в состоянии сделать... Гадость!

— Но что же с ним делать? — раздраженно спросил Василий Николаевич.

— Выгнать!

— Ах, Нина... Не могу же я. Ведь это все-таки не кошка, забежавшая с черного хода.

— Хуже... Если ты не можешь, я могу.

— Как? — Василий Николаевич с тревожной надеждой посмотрел на сестру.

— Очень просто. Напишу письмо: милостивый государь, брат мой человек деликатный и рохля. У вас с ним решительно ничего общего нет, мне лично вы противны. Вы человек бездарный, навязчивый, некультурный, ничего не делающий и потому не щадящий чужого времени...

— Курящий... — подсказал Василий Николаевич.

— Ты вот смеешься, а я напишу. Ей-богу напишу!

— Не напишешь, Нина. Нельзя.

— Почему нельзя? Если этот болван сам не понимает, шляется каждый вечер, не замечает, что его едва выносят, читает все письма у тебя на столе, засыпает исплом твою работу, остается ночевать даже тогда, когда ты говоришь, что ты нездоров, — как с ним можно поступить иначе?

— И все-таки нельзя.

— Почему?! — Нина готова была заплакать от злости.

— Потому. Разве он виноват, что он такой? Зачем оскорблять напрасно человека...

— А я виновата, что он такой? Или ты виноват?.. А нас он не оскорбляет? Значит, любой прохожий со спинным затылком, случайно познакомившийся с тобой в бане, может прийти к тебе в дом? Придет, развалится в кресле, положит тебе ноги на плечи, начнет ругать всех талантливых людей бездарностями, а свою бездар-

ность навязывать как гениальность, — и ты — ничего?.. Ты — ничего?!

Василий Николаевич удивленно посмотрел на сестру и промолчал. Однако! Чтобы Нину превратить в тигрицу — это действительно надо того... Как быть? Жена швейцара, которая готовит им обед, в шесть часов уже уходит. Не отпирать совсем? Нельзя, — вдруг кто-нибудь интересный придет или по делу. Написать, что уехал в Финляндию? Не поможет. Справится у дворника и прилетит... Еще хуже. Вечером как раз должны были прийти несколько близких знакомых. Притащится Петухов, будет всем мешать, хлопать Василия Николаевича по плечу, плоско и бездарно врать, ругать петербургские литературные кружки (еще бы!), читать свои «новеллы»... Неловко. Черт его знает, как все это глупо! Василий Николаевич смахнул со стола крошки и беспомощно посмотрел на свою ладонь.

— Что с тобой, Нина? — спросил он, подняв глаза на сестру. Она необыкновенно лукаво улыбалась, точно захлебывалась в улыбке, и с глубоким удивлением радостно повторяла:

— Какая я дура! Ах, какая я дура!

— Да в чем дело?

— Нашла!

— Не может быть...

— Нашла!

— Не может быть...

— Нашла! Нашла! — Она вскочила с места и, как ветер, завертелась по комнате.

— Что нашла?

— Стоп! Я хорошенькая, Васька!

— Допустим.

— Не допустим, чучело ты этакое, а факт.

— Пусть факт, — улыбнулся, ничего не понимал, Василий Николаевич.

— Раз. Твой друг ухажер? Два. Я его слегка подогрею... Три!

— Ты? Его?

— Да, его. Противно, но что же делать? Он ничего не поймет и пересолит. Четыре! Я возмущаюсь. Пять! Жи

лююсь тебе — шесть! И мы его вы-ста-вляем... Семь! По-нял, а? Разве я не гениальная женщина?

— Гениальная, — удивленно улыбнулся Василий Николаевич, — только...

— Что только?

— Разве ты сумеешь?

Нина Николаевна повернулась на каблучках, снисходительно посмотрела на брата и расхохоталась...

#### IV

Хитрый план Нины Николаевны, который пришел ей в голову в минуту отчаяния, оказался совершенно ненужным. Все завершилось так же просто, как и началось. Можно сказать, классически просто.

В ту пятницу, когда к Василию Николаевичу собрались гости и он, как обреченный медленной пытке, весь вечер ждал друга, — друг не явился. Не явился он и в следующие три дня, а на четвертый пришло письмо — городское, в том же сиреневом конверте в клетку, с печатью, завитушками и пр.

Письмо было кратко: «Дружище Базиль! Очаровательный Питер в качестве столичного города полон соблазнов, я, признаться, пожуировал и профершпиллил-ся вдребезги. Жду из провинции подкрепления, а пока что, будь добр, пришли четвертную ассигнацию, которую не премину вернуть в ближайшем будущем. Между прочим, поздравь, — продал на четырнадцать рублей стихов... Журнальные сферы меня совершенно разочаровали, однако сдаваться не намерен и твердо держусь бессмертного девиза тургеневского воробья: «Мы еще повоюем!» Твой друг Димитрий».

Василий Николаевич оторвал чистую половинку от сиреневого в клетку листочка и, не давая себе остыть, не без иронии сейчас же ответил:

«Дружище Demetrius!

Двадцати пяти рублей тебе выслать не могу, так как собираюсь купить на выставке ангорского кота, на покупку которого отложил как раз эту сумму. Что касается до журнальных сфер, то ты прав — они у нас действи-

тельно того... Хотя в данном случае к ним следует быть снисходительнее. Твой друг Базиль».

Результаты решимости Василия Николаевича оказались превосходными: Нине Николаевне не пришлось брать на себя муку делать вид, что друг брата нравится ей больше, чем любой трамвайный контролер, — служитель муз исчез сразу и безвозвратно. Правда, был еще один аккорд: неделю спустя почтальон еще раз принес знакомый сиреневый конверт. Нина Николаевна вырвала письмо из рук брата и, пародируя «блеяние друга», задыхаясь от еле сдерживаемого смеха, прочла:

«Милостивый Государь, Василий Николаевич! Ежели в виде ничтожной дружеской услуги попросил у Вас жалкий четвертной билет и ежели бы Вы, не имея возможности исполнить просьбу, отказали — это было бы досадно, но понятно. Ваш же ответ свидетельствует о том, что Вы в затхлой и черстой петербургской атмосфере лишились даже чувства примитивной джентльменской этики и зазнались. Прошу Вас исключить меня из списка не только друзей Ваших, но и знакомых, и, кстати, напоминаю Вам одну старую французскую истину: «Rira bien, qui rira le dernier», что по-русски, как Вам известно, значит: «Придет коза до воза».

*Известный Вам Димитрий Петухов».*

1914

## РАКЕТА

*(Пасхальный рассказ)*

Господину Курдюмову в Париже определено повезло. На случайно застрявшие до войны в одном из лондонских банков фунты купил под Парижем за полцены запущенное имение: старый дом с фронтоном в каменных завитушках, фруктовый сад, окаймленный кирпичной выбеленной стеной, огород с парниками и водокачкой — словом, все, что для жизни надо.

Но жить не стал — жена решительно уперлась. Столько лет мыкались, ужели в дыру засесть, цесарок от-

кармливать и под артишоки землю удобрять? Ни за что! Да и молода она еще была — всего пятьдесят шестой год шел. Только что во вкус новых танцев вошла, лицо и живот подтянула, благо массажистка попалась хоть и дорогая, но искусница сверхъестественная. Бегемотов в Клеопатр переделывала — родная мать не узнает.

Именьице Курдюмов чуть-чуть почистил, декорацию дешевую навел и продал под санаторию для легкого флирта с барышом процентов в двести.

И в других делах не ошибся. Партию американских одеял, послевоенные остатки, за грош скупил, в штатские цвета перекрасил и сбыв в Ковно по хорошей цене. Что там в Ковно понимают! А потом развернулся: стал квартиры в новостроящихся ковчегах скупать и перепродавать с большой пользой для себя и с большим огорчением для нанимателей.

Гордый стал. В метро перестал ездить, перешел на такси и по прейскурантам стал для себя изысканный автомобиль присматривать. На эмигрантскую колонию поглядывал свысока: голь беженская, дел делать не умеет, только под ногами путается и аппетит портит. А на визитных карточках, чтобы окончательно от земляков отгородиться, стал писать, без всякого основания, не «Курдюмов», а «де Курдюмэн». Впрочем, на последнем настояла жена, потому что раз живут в доме с кариатидами, в великосветской части города, то надо же себя в глазах консьержки не уронить.

\* \* \*

Наступили ясные предпасхальные дни, веселая кулинарная суматоха. По богомольности своей супруги де Курдюмэн очень любили пышный пасхальный стол, чтобы по меньшей мере на бывлой буфет первого класса в Казатине походил. Капитал позволял, и новые знакомые все были с икрой: нельзя же как-нибудь.

Но где же дома возиться? Французская кухарка ничего в русских кулинарных делах не смыслила, все больше консоме да соуса, подбитые ветром. Дело наладили проще. Де Курдюмэн позвонил по телефону в лучший гастрономический «Дар-Валдай», — развелось их

по Парижу в двадцать пятом году не меньше, чем в Берлине в двадцатом году издательств.

Заказал молочного поросенка с кашей, запеченный окорок, индейку потяжелее, гору куличей, заварную пасху и прочее, что полагается, полный комплект.

Приехал расторопный человек с дипломатическим профилем, учтиво пробор набок склонил, как скворец, когда ему подсвистываешь, сдал хозяйке заказ и испарился.

Стол вышел на славу. «Фешемебельный» стол, по выражению знакомого негоцианта, понимающего толк в таких вещах. Между поросенком и индейкой зацвели тугие, словно подкрахмаленные, гиацинты. Де Курдюмэн «нильской лилией» в столовой попрыскал, сел в кожаное, обхватившее его, как футляр, кресло и прищурил глаза. Картина!

А супруга, высокая, книзу расширяющаяся китайской пагодой дама, надела на себя переливающееся цветной чешуей, стилия царя Навуходоносора, платье, напомнила мужу, чтобы он к концу пасхальной заутрени не опаздывал, и уехала к знакомым меховщикам. Обещала вместе с ними к крестному ходу приехать, их новый автомобиль обновить.

\* \* \*

Де Курдюмэн сложил на вздувшемся жилете белые ручки. Залюбовался на лиловеющие под люстрой гиацинты, на томившийся в графинах коньяк и зубровку, на улыбающегося, с кудрявой петрушкой в зубах, поросенка — и вздремнул.

Вздремнул и диву дался: плавно и бесшумно подкатил пасхальный стол к креслу. Поросенок заморгал на смешливо глазами, индейка уткнула в его халат, словно указательный палец, обрубленную лапу, гиацинты угрожающе и строго вытянулись, бутылки с вином скользнули с подставок, придвинулись к краю стола и повернулись к нему этикетками. И вдруг все — и поросенок, и индейка, и гиацинты, и бутылки хором прошипели внятно и выразительно:

— Свинья!

— Почему? — спросил изумленный Курдюмов.

— Ты!.. — запищал поросенок. — Ты, так много болтающий о родине, о любви к ней. — что ты сделал для бездомных, брошенных русских детей? Разве мало их в Париже?

— Ты! — зазвенели гиацинты. — Дал ли ты хоть грош несчастным русским инвалидам, ты, разбогатевший на военных поставках и послевоенных одеялах?

— Ты! — зашипела индейка. — Когда к тебе пришли от твоего землячества просить, чтобы ты от своих избытков помог немного твоим несчастным ближним, оставшимся в России... Помнишь, что ты ответил? «Ничего принципиально не поддерживаю!»

— Ты! — задребезжали бутылки. — Твой племянник в Марселе, выбываясь из сил, грузит уголь. Жена его больна и еле передвигает ноги. Почему ты, чудовище, не ответил на ее письмо?!

Неизвестно, что еще сказала бы подкатившаяся с другого конца стола пулярка, но в этот момент де Курдюмэн неловко повернулся. Ручка кресла двинула его под ребро, и он, удивленно вытаращив глаза, проснулся.

— Фу, какая чепуха! — Он посмотрел на часы и заторопился. Опять от жены будет взбучка.

\* \* \*

За церковной оградой, в тесной парижской улице, сдержанно гудела выходящая из храма толпа. Де Курдюмэн разыскал свою закутанную в обезьяний балахон супругу.

— Опоздал? — она блеснула великолепно подведенными пятидесятипятилетними глазами и, склонясь к его уху, тихо прибавила: «Свинья!»

Де Курдюмэн передернул плечами и съезжился. «Свинья!» — опять это слово. Сон словно наступил невзначай на его скрытую от всех душевную мозоль... Он обернулся: у выхода из ворот хилый, с землистыми впалыми щеками полковник, монотонно простуженным голосом выкрикивая название, словно упрасывая, продавал газеты. Переступал с ноги на ногу и все пытался тесней запахнуться в узкое, обношенное пальтишко.

На одну секунду в курдюмовской голове, как светлая ракета, взвилась к небу сумасшедшая мысль: а что, если наплевать на супругу и на мнение всех «фешембельных» знакомых и, заплатив за все номера нераспроданной газеты, отвезти этого полковника к себе разговляться, пригреть его, усталого милого русского человека, найти ему работу, ну хоть у себя в конторе...

Но ракета, взлетев до предельной высоты, рассыпалась и гаснущими искрами ниспадала к темной, солидной, не знающей жалости земле.

Де Курдюмэн повернулся к полковнику, взял у него номер эмигрантской газеты, сунул боком пять франков и буркнул: «Сдачи не надо!»...

Подхватил под руку свое законное, шелестящее шелком сокровище и пошел к лиловому автомобилю меховщиков христосоваться.

1925

## КЛЕЦ

Итальянское, в синьке настоенное небо, в садах хоровады канареечных мимоз, эвкалипты матовые ланцетные листья, словно зеленые макароны, вниз свесили. Пейзаж... А море — разве про него типографскими знаками расскажешь? Только сладкие местные тенора под тускло-серебряный перебой мандолин могут это море, как любимую девушку, воспеть...

В пансионе средней руки у Сакелари загостилась русская компания: дамы, которым во что бы то ни стало надо было похудеть, покорные мужья, которых, как дорожные чемоданы, за собой жены таскают, да два-три траченных молью холостяка — вялые любезники международного штампа, не то сверхштатные доценты без аудиторий, не то безработные коммивояжеры. Жили тихо, друг в друга не внедрялись. Все события: кого москиты в прошлом году искусили, кто прибавился в весе, кто убавился. К морю пойдут, на изъеденных камнях пофлиртуют без последствий, в Геную на Кампо-Санто съездят на трамвае. Только и развлечений. Да что зав-

тра на обед. Итальянец к русским блюдам приноровился, все их сюрпризами смешил — варениками с рыбой и борщом из вареного шпината.

Тише всех жил верхний одинокий жилец Шишмарев. В Париже по какому-то юрисконсультскому случаю на год жизни заработал и поехал в укромное Нерви поправляться. Кто с женой, а он с застарелым плевритом.

\* \* \*

Но жизнь — свинья. Так было, так есть, так будет...

Однажды утром прикатила из Генуи на скелетных дрожках новая жилища с солидным свиным чемоданом, последнюю комнату против Шишмарева захватила, и пошла прахом мирная шишмаревская жизнь.

Когда неожиданно вынырнувшая из необъятного лона человечества новоприезжая дама вышла к столу, облизнула перед зеркалом жирные губы и, вильнув хребтом, села рядом с Шишмаревым — стол замер. Дамы переглянулись и, обжигаясь супом, судорожно закашлялись, глотая улыбку. Попугай! Да еще самых ядовитых анилиновых красок. На голове крашеная рыжая мерлушка, щеки — дряблые томаты, нос сизым груздем, крохотные глаза цвета перестоявшегося студня фальшивой лаской переливаются. А уж платье, должно быть, разбогатевший свинопас выбирал: лилово-зеленое — лягушка в обмороке, — с вышитыми золотыми глистами... Голые руки — ляжки у пожилого немецкого борца, — желто-кирпичной прослойки с жилками.

Мужчины не все сразу разобрались. Черт теперь в дамских нарядах ногу с копытом сломает. Другая на себя абажур нацепит, в гриву летучую мышь воткнет, а может, так и надо...

Характер у приезжей Цецилии Сигизмундовны раскрылся сразу, под стать декорации, во всем попугайском блеске.

— Ах, суп с фрикадельками! Несносно... Во всех пансионах меня этим супом морят. Я еще с детства терпеть не могла фрикаделек... Месье Шишмарев, если не ошибаюсь? Передайте мне, пожалуйста, перец. Мег

Мерси, вы очень милы. Вы мне покажете после обеда Нерви? Правда?.. Я провела зиму на Капри. Упоительно! Жила в лучшем отеле, смешно же себе отказывать... Но стол... Разве эти шарманчики умеют есть?.. Какое вино вы пьете? Мускат? Фи, оно приторно. Я, впрочем, не пью никакого. Знаете, после тридцати лет (дамы переглянулись) вино действует на сердце. Ах, какая чудесная девочка! Это ваша дочка, madame? Вы не замужем? Простите, удивительное сходство... Здесь нет змей, месье Шишмарев? Я ужасно, ужасно боюсь змей! В детстве ко мне в постель заполз уж, я чуть с ума не сошла... Но ведь уж — это безвредно. Я когда-то очень интересовалась естественной историей. Передайте мне, прошу вас, горчицу.

О, как она говорила! Вначале это всех развлекало. Даже пожилой лакей с лицом сенатора остановился у дверей с пустым блюдом, покачал головой и улыбнулся: однако и голосок... точно Пульчинелла на ярмарке...

Но к десерту все изнемогли. И конечно, по освященной культурой и воспитанием привычке вежливо и торопливо отвечали: «совершенно верно», «благодарю вас», «очень приятно». А в головах складывались совершенно иные обороты. Одна пожилая дама такое про себя сказала о новой жиличке, что и напечатать невозможно.

Шишмарев съежился и, не подымая глаз, молча передавал соседке то перец, то горчицу, то соль. Ему было особенно тяжело. Она повела на него открыто при всех бесстыжую лобовую атаку. Закатывала зрачки, гарцевала на стуле, склоняла, поворачиваясь к нему, обсыпанную пудрой шею, встряхивала арбузным бюстом и вообще обращалась с ним как со сдавшейся без боя крепостью.

Ближние вообще безжалостны, а дамы вовсе. Вместо сочувствия — кривые, насмешливые улыбки. Он-то в чем виноват?! Археолог он, что ли? На что ему эта раздраконенная руина?.. Но вежливость смыкала уста, губы, кривясь от злости, покорно говорили «очень приятно», и только рука под столом безжалостно мяла салфетку.

Подали фрукты. Слава Богу, можно встать! Он ловким маневром поискал в кармане спички, сделал вид,

что не нашел их, — и вышел в коридор. Оттуда без шляпы через сад, заметая следы, нырнул в заросли кактусов и пустился к морю. Легче серны перемахнул с камня на камень, сел у самой воды с таким расчетом, чтобы его сверху не было видно, и успокоился. Сюда не доберется, желваки на ногах лопнут... Вот сколопендра! Нерви ей показывай!..

\* \* \*

Пансион глухо кипел. Поблекло итальянское небо, скисало вино, фрукты за обедом наливались горечью, — некуда было скрыться. Рыжая Цецилия влетала во все двери, присаживалась на все скамьи в саду и у моря, заполняла собой всю столовую и веранду. А за ней тлетворной струей носился запах ее духов «Мечта фараона», сквозь который пробивался ее собственный: невыносимый дух увядшего олеандра.

Ревнивому толстяку, жившему рядом с ее комнатой, она говорила: «Вы отпускаете Анну Петровну одну в Геную? О-го-го! Смо-три-те...»

Больной и некрасивой кроткой учительнице, гревшейся в саду на солнце, она показывала свою слоновью ногу выше подвязки и приставала:

— Нет, вы потрогайте! Один американец говорил мне на Капри, что он таких упругих женщин даже в Мексике не встречал... Да, душечка, я еще могу многим удовольствие доставить! А вы все сохнете? Женщина, мой друг, не должна выпускать оружия из рук! Да, кстати, я хотела вас предупредить: вы так дружны с этой Штерн... Дело не мое, но из участия к вам я вас предупреждаю — будьте осторожнее... А, простите, идет почтальон. Нигде на земном шаре я не могу укрыться от мужских писем.

Но больше всех, конечно, доставалось Шишмареву. Она разыскивала его верхним чутьем на самой укромной скамье у моря и влипала в скамью.

— Можно? Все читаете?.. Разве жизнь не лучше книг?.. Почему вы опускаете глаза?.. Ах, Бог мой, я и забыла: сегодня вечером я заказала Джованни для нас лодку. Видите, как я о вас забочусь.

И, если кто-либо из пансионских жильцов проходил в это время мимо, она нарочно обрывала свою болтовню и громким шепотом, облизывая глазами Шишмарева, многозначительно говорила:

— Я вам потом скажу...

Начали коситься и на Шишмарева. Хорош, в самом деле, гусь! Тихоня... Не станет же баба без всякого повода вязаться.

А однажды утром его приятельница, девчурка Надя, подседа к нему и ехидно спросила:

— Дядя Миша! Что значит «нет дыма без огня»?

Шишмарев побагровел:

— Почему ты меня об этом спрашиваешь?! Где ты про этот дым слыхала?

— Так. Слыхала.

В этот день он не вышел к обеду и уехал на поезде в Санта-Маргериту. Долго ходил по молу и свирепел. Кроткие люди накаляются медленно, но уж если накалятся...

Переменить пансион? Но — почему?! Из-за какой-то липкой жабы? Жизнь в Нерви у Сакелари так наладилась — недорого, тихо, — почему он должен бежать? Почему все должны ее выносить и отравляться?.. Старая история: пришла свинья, положила лапы на стол, и все вокруг опускают глаза и молчат... Культура? А лапы на стол — тоже культура?!

И вдруг — словно его солнцем ожгло. Он вспомнил одну далекую студенческую проделку и расхохотался. В самом деле! Почему бы и не попробовать.

Вечером Шишмарев вернулся. К ужину не вышел, вызвал в сад синьору Сакелари и убедительным шепотом сказал:

— Дорогая синьора! Вы меня знаете, плачу аккуратно и никому не мешаю. Хотите вы, чтобы эта... акула уехала?

Синьора поняла.

— О Мадонна! Еще бы... Но как, но как это сделать? Горничная клянется, что подбросит ей в постель живого омара, если она ей сделает хоть еще одно замечание, повар зеленеет, когда она приходит на кухню нюхать провизию... Жильцы того и гляди из-за нее разбегут-

ся... Я не понимаю вашего языка, но я вижу, какие у всех глаза. Но, синьор, у меня ведь нет настоящего повода.

— Не беспокойтесь. К дьяволу повод! Только прошу нас, что бы она вам обо мне ни говорила, не верьте ни одному слову. Ни одному! И ради Мадонны, не опровергайте ее... Хотя бы она вам сказала, что я по ночам у рыбаков кровь высасываю.

Толстая итальянка удивленно подняла брови.

— Хорошо... Только, пожалуйста, чтобы дело обошлось без полиции.

— О синьора, никакой полиции. Чисто и аккуратно.

Перед сном Шишмарев переговорил с пансионерами на ту же тему, с каждым особо. Все удивились, но обещали ему вести себя так, как он просил: ничему не верить и ничего не опровергать.

\* \* \*

Цецилия Сигизмундовна встала не в духе. Вчера за ужином никто ей толком не сказал, где Шишмарев и что с ним. Все таинственно отмалчивались и шушукались. Уехал? Но вон под верандой сохнет его купальный костюм.

Она наскоро мобилизовалась — подпудрила нос, щеки, декольте, мазнула краской по губам и понеслась к морю.

Ага! Он сидел под башней у воды и мрачно рассматривал опущенные кисти рук.

— Мило! Почему вы вчера исчезли? Почему не ужинали? Хотите бутерброд с салями? Сама приготовила. Видите, как я о вас забочусь. Вы ведь совсем, совсем младенец...

Цецилия придвинулась вплотную и нежно ударила бутербродом Шишмарева по руке.

— Не хотите? Что с вами? На вас лица нет... Больны?

— Хуже.

— Что хуже?! Михаил... Иванович, вы меня пугаете. Несчастье? Письмо какое-нибудь? Я видела, третьего дня почтальон вам принес сиреневый конверт. Разрыв?

Не надо, не надо, милый, отчаиваться! Разве нет других женщин? Ласковых, верных... самоотверженных.

Он отодвинулся и угрюмо посмотрел на густо напудренный нос.

— Хуже. Какой там разрыв... В сто раз хуже!

— Шишмарев, вы разрываете мне сердце. В чем дело?!

— Слушайте. Никто в пансионе не подозревает. Ни-ни. Но вы мой друг, вы должны все знать.

— О да!

— Недели две назад в день вашего приезда случилось нечто... на что я не обратил сначала внимания. Но вчера некоторые обстоятельства заставили меня принять меры... И я убедился, что все погибло!

Боже мой! Ее вдруг осенило: да ведь он, черт возьми, влюблен, конечно, конечно... И в нее — в кого же больше? Но какой робкий... О, она ему поможет!

— Михаил... Ми-ша! Дайте вашу руку, кролик мой. Почему у вас дрожат пальцы?

Он впился ногтями в ее потную ладонь, вскочил, опять сел и судорожным шепотом отчеканил:

— Вы ничего не понимаете... Меня укусила... бешеная собака...

— Ай! Господи! Он сошел с ума!

— Не сошел. Меня... в день вашего приезда... укусил на улице... пудель. Не обратил внимания. Ну, укусил, мало ли что. Вчера узнал, что пудель... был... бешеный. Поехал в Геную... сделал прививку. Сказали, что, может быть... поздно. Что вы так смотрите... я ведь еще не кушаюсь. Р-р-р!.. Дайте руку... не могу сам встать...

Но Цецилия Сигизмундовна, взвизгнув не хуже собаки, сама вдруг словно взбесилась. Рысью-рысью через камни, тряся всеми своими опухольями и полущариями, полетела к пансиону, в ужасе оборачиваясь: не бежит ли он, лязгая зубами и свесив покрытый пеной язык, за ней? Нет, не бежит...

В пансионе (дикие люди!) к потрясающей новости отнеслись как-то равнодушно.

Хозяйка озабоченно повернулась к фонтану... Странно, как похож порой плеск воды на человеческий смех! Повернулась и сказала:

— Что вы говорите? Укушен? Но, может быть, Бог даст, он и не взбесится. Прививка, хоть и поздно, сделана... Ничего. Не надо терять надежды.

В диапазоне Цецилии Сигизмундовны внезапно открылись скрытые до сих пор от всех базарные ноты:

— Как?! Вы решаетесь подвергать своих жильцов такой опасности? Вы обязаны, вы должны, я требую... Велите его связать и отправьте на грузовике... в Геную! Он на меня рычал! Он меня укусит... Меня, синьора Сакелари!.. Вы по-ни-ма-е-те?!

Синьора холодно посмотрела на солнечные часы.

— У меня сердце не из антрацита, как у некоторых. Камерьере, принесите даме стакан воды. Такой прекрасный синьор, так давно у меня живет... Нет! Я вызову врача, пусть больной пока полежит в своей комнате. У нас еще есть время... В прошлом году с одним сапожником произошел такой же случай, и он взбесился только через шесть недель... Вы согласны, господа, подождать? — спросила она окруживших ее жильцов.

— О, конечно! Вы, Цецилия Сигизмундовна, были до сих пор так благосклонны к господину Шишмареву, и вдруг... связать. Кто бесчеловечен и боится только за свою шкуру, тот может...

Ух, как хлопнула дверь в столовой! С кинематографической быстротой в комнате Цецилии полетели в чемодан и в картонки тряпки, шляпки и туалетная дребедень. С кинематографической быстротой был подан и судорожно оплачен счет.

Через семь минут дама сидела уже в экипаже со своим свиным чемоданом: фрески на щеках и под глазами были в самом разрушительном состоянии, бюст дамы и кузов экипажа дрожали... Через десять минут и стука колес уже не было слышно.

\* \* \*

Пожилой англичанин, живущий в соседней вилле, ничего понять не мог. Смотрел с балкона сквозь заросли глициний в бинокль и пожимал плечами.

В саду синьоры Сакелари вокруг вернувшегося с моря пансионера столпилось все население пансионата —

жильцы, дети, хозяйка, повар, горничная и судомойка... Хлопали в ладоши, схватывались за бока и хохотали так оглушительно, что все голуби с крыши слетели. Стоявший в кругу пансионер тоже хохотал, но вдруг остановился, оскалил пасть, щелкнул зубами и зарычал:

— Р-р-р! Гав-гав-гав!..

Что такое? Взбесились они все там, что ли?

Июль 1925

Париж

## МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

(Назидательный рассказ)

Почти каждый эмигрант-писатель пережил эту кинематографическую корь. И странно — прививают ее самые близкие люди: сестры, жены и испытанные приятели из «Союза журналистов и писателей»...

— Миша, — говорит сестра писателя, любовно стирая пыль с пишущей машинки, — напиши сценарий.

— Почему ты не предложишь мне написать обзорные для орангутангов?

— Михаил Павлович, — мягко отзывается с дивана приятель, — ты не прав. Обзорные для орангутангов никто не купит. Это очень свежая мысль, но для осуществления ее нужны меценатские средства. А возможности кинематографа беспредельны, как Млечный Путь... «Великий немой» завоевал весь мир! И если он до сих пор не поднялся над уровнем сентиментальных прачек и смешливых консьержек, то в этом виноваты все мы — уклоняющиеся. Конечно, надо начинать с трафарета. Не лезь сразу в Колумбы. А там — раз, и готово!

— Почему же ты сам не напишешь? — спрашивал писатель, нервно завинчивая и развинчивая стило.

— Потому что я биржевой обозреватель. Что я напишу? «Приключения французского франка на бразильской бирже»?

— Миша! — Сестра садится рядом. — Подумай об одном. Ты напишешь сценарий. Получишь состояние. Мы уедем в Пиренеи, на испанскую границу, и ты ся-

дешь за большую вещь. Разве ты доволен своими еженедельными кусочками? В одном месте напечатаеть голову, в другом — ноги, а середина так и валяется в черновиках в ящике комода... Разве Толстой написал бы «Войну и мир», если бы он не был обеспечен?

Женщины всегда склонны принимать часть за целое. Ведь вот Гомер (если вообще Гомер существовал) едва ли был «обеспечен»... И однако... Но микроб надежды («большая вещь!») уже проник под кожу. Михаил Павлович подымает голову:

— Хорошо. Допустим, что сценарий написан. Кто поручится, что он будет пристроен?

— Я, — спокойно отвечает сестра и смотрит брату прямо в глаза. Даже не покраснела.

— Об этом тебе, Михаил Павлович, беспокоиться не придется, — солидно отзывается с дивана биржевой обозреватель.

Плана у них еще никакого нет — это ясно. Но какой план был у Аттилы, когда он шел завоевывать Европу?

Писатель встает, обматывает шею довоенным кашне и отправляется в ближайшее кино изучать технику. Возвращается домой поздно, мрачный и подавленный, и на расспросы сестры отвечает коротко и четко: «Навоз».

Но женщины всегда дальновиднее: навоз? Тем лучше. Значит, у них нет настоящих сил.

\* \* \*

Многие полагают, что чудес, которыми в таком изобилии насыщена старая Библия, в нашей трамвайной жизни не бывает. Бывают. Надо только шире раскрыть глаза.

Через неделю Михаил Павлович получил от знакомого адвоката пневматичку: «Дорогой коллега! Я состою юрисконсультom во вновь открытом кинообществе «Усть-Сысольск-Париж-фильм». Слыхал, что вы пишете сценарий. Не зайдете ли переговорить. Жму руку. Третий этаж направо».

Разговор был короткий.

— У вас, Михаил Павлович, есть сценарий? — спро-

сил юрисконсульт, равнодушно покусывая золотой карандашик.

— Пять-шесть, — зевая, ответил Михаил Павлович. (Чего там, в самом деле, стесняться?)

«Эк ведь врет!» — подумал юрисконсульт и вежливо спросил:

— С собой?

— Зачем же с собой? Показать вам шесть — все равно пять забракуете. Уж я лучше по очереди. Выберу подходящий. Представлю конспект (в голове замелькали темы). А там...

— Чудесно. Только не откладывайте. У меня уже и так в портфеле 48 конспектов... Конечно, я не сомневаюсь, что ваш...

Еще бы он смел сомневаться!

На обратном пути в метро, между станциями Гренель и Пасси, бес ее знает откуда, голубой искрой влетела в мозг тема: «Разочарованный водолаз в сообществе с другими разочарованными водолазами устраивает вблизи Корсики подводную веселую колонию... Подводная рулетка, подводный дансинг... Купаясь в море, молодая леди нырнула в прозрачную глубину и вдруг, открыв глаза...» Плохая тема?

\* \* \*

Фильм-директор, маленький несгораемый шкаф без шеи, был изысканно любезен.

— Очень, очень приятно. «Детство Темы» — это ваше? Замечательная вещь. Серьезно, не ваше? Ну, я очень рад. До сих пор кинематограф было одно, а литература — другое. Теперь, надеюсь, будем идти в ногу. Конспект ваш точка в точку то, что надо. Из 68 проектов, имейте в виду, я подал голос именно за ваш... А обычно я бракую все 100 процентов. Понимаете?.. Вы курите?.. Об условиях переговорите с Юлием Цезаревичем. Наш юрисконсульт. Знакомы? Ну, хорошо. Он вас сейчас передаст нашему режиссеру... Если у вас есть лишнее «Детство Темы», пришлите, пожалуйста, с надписью, — мой мальчик очень любит с надписью. До свиданья.

В коридоре выяснилось, что никакими Пиренеями и не пахнет. Пиренеи превратились в скромный холмик, на котором можно было отдохнуть месяц-другой... А «большая вещь»... Ну что ж, хоть с места ее сдвинешь.

Режиссер принял автора «Разочарованного водолаза» в пропавшем пустотой и пылью кабинете. Поднял усталые, гениальные глаза — так ведь нелегко нести на плечах мировую известность — и лаконично отчеканил:

— Вы на верном пути. Знакомы с техникой?.. С выделением крупных планов и прочим? Я вам покажу. Вот тут, можете взять с собой, образцовая схема технического сценария... Что? У вас уже готов весь сценарий? Тем лучше. Зайдите через неделю в это время, мы поговорим.

Сдержанно-иронически улыбнулся и проводил автора до дверей.

\* \* \*

Дальше одна за другой закрубились «тайны Мадридского двора». Юрисконсульт категорически заявил, что в сценарии, по его юрисконсультскому мнению, план реальный превалирует над планом фантастическим, а это совершенно недопустимо. Главный бухгалтер держался противоположного мнения и, кроме того, находил, что расходы на подводную постановку превышают среднюю норму. Режиссер требовал перевода всех надписей в действие, а директор, напротив, настаивал на увеличении надписей и энергичной их юморизации.

Компаньон директора находил, что в сценарий надо ввести голландский бытовой элемент, выдержать сценарий до весны, а затем перепродать его в Амстердам...

Михаил Павлович переделал сценарий сначала в одном направлении, затем в другом. Сел было с душевной гошнотой переделывать в третий раз, но, к счастью, на вечеринке вологодского землячества познакомился у буфета с младшим помощником механика «Усть-Сысольск-Париж-фильм».

Младший помощник нежно взял его за локоть и зашептал в ухо:

— Между нами, да? Бросьте! Тетка директора хлопчет о своем зяте, который спекся в издательстве и теперь вроде как безработный. Он сейчас пополам со вторым режиссером «Отцов и детей» пересценаривает. С кораблекрушением в конце: Базаров тонет, а отец на корабельном сундуке спасается... Вообще — промышленность добывающая и обрабатывающая... А кроме того, Сильвия Нильская, как всемирная звезда обоих полушарий, очень обижена, что вы не через нее пробились, и вашу английскую водолазку играть не согласна. Ей же по сложению, между нами говоря, ниже ватерлинии в купальном костюме сниматься не к лицу... Разрешите, из уважения к печатному слову, чокнуться?

Михаил Павлович чокнулся и рассмеялся.

\* \* \*

Домой пришел веселый. Черновик сценария сжег в камине, руки вымыл, сестру в пробор поцеловал и кротко спросил:

— Больше не будешь?

— Не буду...

В дверь постучал приятель из «Союза журналистов и писателей».

— Михаил Павлович, новости! Пошли этих ослов к черту!.. Черновик у тебя сохранился?

— А что?

— Только что был в новом кинообществе «Соль-Вычегодск-Париж-фильм»... Очень просили тебя показать твой сценарий.

— «Возможности кинематографа безграничны, как Млечный Путь?»

— Ну, конечно... Чего же ты смеешься?

Но Михаил Павлович подошел к приятелю сзади и вместо ответа надел ему на голову футляр из-под пишущей машины.

— Что ты, с ума сошел?! — забубнил из-под футляра испуганный голос.

— Нет, наоборот. Выздоровел.

## ПТИЧКА

**В** быту нашем веселых историй и с воробьиный клюв не наберешь. Вот когда соберетесь как-нибудь в приятельской компании, попробуйте такой опыт сделать: пусть каждый попытается вспомнить и рассказать о чем-нибудь забавном и веселом, что он за все годы эмигрантских перелетов сам пережил или краем уха слышал. Один вспомнит, как ему добрый дядя из Риги свой старый английский костюм для перелицовки прислал. И как парижский портной из Кишинева, вздев на нос окуляры, честно осмотрел тройку во всех интимных подробностях, без всякой иронии краткий диагноз поставил: «Уже перелицовано». Другой расскажет, как он, родившись в Одессе, должен был в Вильно, при помощи двух бескорыстных лжесвидетелей, заново родиться в Ковно, иначе вместо нужной ему визы он получил бы некоторый символический предмет с маслом. Третий... третий позовет своего семилетнего Грегуара и для увеселения гостей спросит:

— А какую ты русскую песню знаешь?

И Грегуар, став в лезгинскую позу, с чистейшим медонско-боярским акцентом пропищит:

А мы просто сеяли-сеяли,  
А мы просто вытопчем-вытопчем...

Как видите, чрезвычайно веселые истории.

Если же в кои веки действительно с человеком какая-то забавная штука случится, то ближайшие родственники уж непременно ее в сюжет для театра Гиньоль обернут. И старая, не такая уж плохая пропорция — «бочка меду и ложка дегтю» — неизбежно в «бочку дегтя и ложку меда» превратится.

\* \* \*

Записываю стенографически точно. Глеб Ильич Немешаев жил с женой на окраине Парижа в одном из самых скромных и порядочных районов. По причине сердечных перебоев и дешевизны жил внизу, в ре-де-шоссе.

В центре квартиры торчал крохотный внутренний дворик — каменная шахта во все этажи, в которую верхняя прислуга по утрам выколачивала пыль из постельных ковриков.

Теперь о нравственных качествах Глеба Ильича: скромность его и застенчивость были известны не только в доме, но и всем окрестным привратницам и лавочницам. На рынок ходил он, кротко помахивая мешком, на распаренных прачек в витринах не засматривался, а в дурную погоду, когда легкомысленный ветер укорачивал и без того куцые платыца вылетающих из подъездов жилищ, он всегда смотрел сосредоточенно себе под ноги, подбирая в уме нерешенное слово утренней крестословицы.

Во втором этаже жила краснощекая бретонка-горничная. Тоже очень достойная и скромная девушка, — и в доме все это знали, и все соседние привратницы и привратники могли подтвердить. Только один Глеб Ильич о ней ничего не знал. Жил он в большом парижском доме, как в таинственном ковчеге: кто над головой живет — детоубийца или бухгалтер с серафимской душой, — его это не касалось. Но благодаря дворику горизонты Немешаева несколько шире стали.

Как-то сидел он у окна и покрывал лаком свои продажные табакерки с павлином в кокошнике. Задумался, засмотрелся на обои — обои тоже скромные были: мотыльки верхом на улитках к потолку подымались. В квартире затишье: моль на гитару в спальне сядет — и то слышно. Жена в американские отели ушла парчовые сумочки продавать, жильцы в бюро, на службе. Сверху, из дворика донеслась было бретонская песенка: «Вставайте в небе звезды, раскройте глаза, золотые, укажите путь кораблям...»

И вдруг все оборвалось. Воскликание, пауза и через минуту робкий звонок.

Либо благотворительная монахиня, либо агент-декламатор с пылесосом (за газ и электричество уже было заплачено). Глеб Ильич перевел глаза на соседнюю полосу обоев. Однако второй звонок был настойчивее...

Открыл. В дверях стояла взволнованная служанка-бретонка и что-то такое в неопределенном наклоне

нии лопотала. Еще подивился Глеб Ильич: с одной стороны француженка, а с другой — форменная Матрешка... Коренастая, фигура — кувалдой, на ногах толстые шерстяные чулки — вот только в передник не высморкалась. Пролопотала — господин стоит, ежится и только халат к груди прижимает. Всплеснула девушка нетерпеливо руками, нырнула у него под мышкой в коридор, а оттуда прямо во дворик. Бросилась в угол, руки растопырила и трепыхающийся комочек в пыльной нише ловить стала. Глеб Ильич облегченно вздохнул — понял: чистила она, должно быть, у окна клетку, дверцу распахнула, а комнатная пичужка воспользовалась, выпорхнула и вниз слетела. Оживился он, подобрал полы халата, раскрыл ладони лодочками и тоже помогать стал. «Пик-пик-пик! Да не бойся ты, дурында!..» А птичка в смертельном испуге (страус и тот испугается) промеж них в коридор. Он за ней. Она дальше. Глеб Ильич выключателем щелкнул, на халат уже внимания не обращает. Заметалась птичка и дальше — в спальню, прямо под кровать — от двух бортов в угол, как на бильярдном языке выражаются...

Всякое дело, большое или маленькое, нельзя на полдороге бросать. Бретонка втиснулась под кровать, только черные шерстяные чулки в лакированных копытцах наружу торчат, дергаются. Как кроличьи лапки из пасти удава. Обои скромные. На камине часы тикают. Записываю стенографически точно. Глеб Ильич, святая душа, распростерся на полу рядом — помочь ведь ближнему, хоть он и иностранный подданный, надо. Втянул плечи под край борта и карманным электрическим фонариком окрестности стал освещать. «Не там, не там. Гоните же на меня, силь ву пле! Тьфу, черт, в правый угол, мадемуазель!.. В правый». Охотничье чувство в нем проснулось — в Волхове он у себя когда-то не последним охотником считался. Ловят, стучаются лбами, чихают, под кроватью пыли еще с довоенного времени набралось. У несчастной пичужки от страха такое сердцебиение сделалось, что она клюв настежь, крылышки по паркету, того и гляди в птичий обморок упадет. Электрический прожектор глаза слепит и двадцать расто-

пыренных пальцев во все стороны шевелятся, смыкаются — вот-вот в горсть зажмут...

И вот, в самый разгар охоты, когда они так уютно на птичку облаву вели, — над головой шаги. Пауза — и резкая фиоритура с ударением на каждом слове: «Это что значит?!»

Жена, оказывается, вернулась, американским ключом дверь открыла. В коридоре свет, из спальни охотничьи возгласы доносятся, из-под кровати четыре ноги, как клешни, торчат: две знакомые, две незнакомые... Надо ведь в ее положение войти тоже.

А за женой сзади жилица, застарелый уксус в розовой шляпке — бюро у них по случаю порчи электричества раньше закрылось. Стоит, тонкие губы облизывает и на паркетный пейзаж в лорнет смотрит.

Служанка-бретонка в это мгновенье изловчилась, добралась до своей птички, в кулак ее зажала. Вылезла из-под кровати, сказала, как полагается, «мерси месье дам» и, пророкотав по коридору каблучками, хлопнула входной дверью.

А Глеб Ильич, смахивая с себя пыль и довоенную паутину, только было собрался весело и простосердечно рассказать о своей неожиданной охоте, — но жена, не сводя каменного взгляда с переносицы Глеба Ильича, острым шепотом повторила:

— Что же это значит?

— Птичка... — начал было жизнерадостно Глеб Ильич.

— Птичка? — отозвалась захлебнувшимся эхом жена. Сколько иногда можно накачать удушливого газа в одно маленькое, невинное слово, — ни один военный химик представить себе не может.

И вот ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, бедный Глеб Ильич стал багроветь... Как закатное перистое облако над заливом, как шиповник, облитый первыми лучами рассвета, как раздуваемая ветром бенгальская спичка, как хамелеон, свалившийся с ветки на красный ковер...

И жилица, с наслаждением впивая недобросовестными глазами эти розово-кораллово-ало-багровые переливы, покачиваясь на ехидных бедрах, у дверей.

вдруг свою начитанность обнаружила и прошелестела, ни к кому не обращаясь, как в пьесах пишут, «в сторону»:

— Да. Птичка. У Достоевского рассказ такой, между прочим, есть: «Чужая служанка и муж под кроватью».

Достоевского даже, ехидна, подтасовала. Рассказ ведь все-таки не совсем так называется.

\* \* \*

Расскажите про такой случай мужчине, он, конечно. Глебу Ильичу сразу полное доверие окажет. Мужчины народ прямой, доверчивый. Посмотрят главному действующему лицу в глаза, увидят — выражение ясное, детское — зачем же из птички слона делать. Но женщины... Вот об заклад побиться можно: девяносто пять процентов прочтут и ухмыльнутся. «Птичка... Расскажите, сударь, моей бабушке. А почему ваш Глеб Ильич ни с того ни с сего краснеть стал?»

Да невольню же покраснеешь, когда тебе с каменным прокурорским недоверием в невинные детские глаза смотрят.

1929

## КОФЕ ПО-ТУРЕЦКИ

**В** часе езды к северу от Парижа — глушь, провинция. Городок у перекрестка шоссежных дорог спит. Ставни плотно прильнули к окнам. На единственной улице, вьющейся вдоль шоссе, тьма и ветер. Только в окне колониальной лавки тускло золотится свет — толстяк-лавочник зевает и подсчитывает выручку.

Вбок за пустырем, поросшим увядшим бурьяном, тянется старая щербатая стена, отделяющая двухэтажное «шато» от глухой дороги и мокрых полей. Сквозь выгнутые копы ворот видна в глубине резная уютная дверь подъезда, над подъездом — балкон на двух витых колонках. Нижние окна освещены, за полупрозрачными шторками движутся силуэты, звенит женский смех. Русский раскатистый бас крикает, и высокая фигура —

на голову выше шторы — делает широкий пригласительный жест.

— Попросил бы садиться! Попарно, господа, попарно! Кто с кем пуговицу крутит?..

Владелец «шато» — попросту говоря, купленного по дешевке заброшенного барского особняка с огородом, — штабс-ротмистр Ломшаков справляет день рождения: сорок шесть лет — предзакатный возраст. Гости наехали из Парижа, все больше шоферы из эмигрантского офицерства, вон их три машины чернеют под фонарем в раскрытой пасти сарая. Со двора, впрочем, голоса гудят глухо, сквозь запотевшие стекла смутно мелькают за шторами, точно смытые рыжим ламповым светом, лица. Но внутри картина отчетливее, краски яркие, румянцы щек и свекла винегрета горят пожаром, и голоса, промытые первыми рюмками кальвадоса, звучат свежее и выразительнее.

\* \* \*

Ломшаков живописен. Сидит верхом на стуле, словно на своей эскадронной кобыле. Зад в такт жестам ходит вверх и вниз, бурые галифе подшиты замшей, левая рука на отлете расправляет бакенбарду, правая орудует графином.

— Ковальский, ихтиозавр, очередь пропустил! Счетчик, брат, смазан, нечего дурака валять... Ольга Платоновна, бриллиант, выберите для него огурец, который помужественнее... Заметано!

Символически чокался глазами с остальными, с остервенением глотал рюмку, будто серной кислотой давился, и закусывал бакенбардой: пожует кончик и вытолкнет языком.

— Господин капитан. Вот черт, анафема!.. Да оторвись ты от дамы, полип несчастный! За тобой в углу второй графин. Гони сюда! Заметано!..

Длинная волосатая рука подливала направо и налево, а волчьи зоркие глазки следили, чтобы все шло по чину, чтобы никто не отставал, полувысосанных рюмок на стол не ставил и на легкое виноградное не переходил. Дамы — дело другое, пусть хоть липовый цвет со-

сут, — емкость у них детская, чуть что головка виснет. Впрочем, иные не хуже мужей опрокидывали: дорога была дальняя, холодная, в автомобилях все дамские внутренности замерзли.

В тени под часами сидела над пустым бокалом Ломшакова — Мэри Георгиевна — сероглазая тусклая англичанка, похожая на органиста, который одной тапиокой питался. Серые локоны, будто вязаная бахрома из шерсти, чинно висели над ушами. Увядшее личико было подобрано и спокойно.

Какой мягкий и хороший этот русский язык!.. Слов она не понимала, но, должно быть, слова были все братские, задушевные: «чучело короховое», «Казерог Твердопупович», «мордальон»... Надо будет в словаре посмотреть. И как приветливо улыбались лица в ответ на эти слова. Дамы тоже были пресимпатичные. Чокались, правда, слишком часто и пробками в своих визави бросали. Но, может быть, это русский обычай и в дни рождения иначе нельзя?..

По-французски Мэри Георгиевна тоже не говорила, но к ней и без разговора сразу все привыкли — сидит, молчит, улыбается, и расчудесно. И ее же, хозяйку, угощали: «Сделать вам, родненькая, бутерброд с печенкой?» «А это балычок. Угодно?» А когда она кетовую икру за варенье приняла и хотела ее в чай бухнуть — сразу к ней десять рук потянулись: «Ради Бога!» Задушевные люди... Вот только кальвадоса не могли заставить ее выпить. Разве станет квакерша-англичанка грешный брендахлыст пить. Ни-ни!

Детскими сорокадвухлетними глазами смотрела она по сторонам, — шумят, едят, чокаются. В буром табачном дыму расплывались пестрые закуски, носы и подбородки. Плотный мистер Шаповаленко, перегнувшись через стол и весь побагровев, поцеловал Ольгу Платоновну в самое плечо, чтобы не сказать больше. Тоже, должно быть, русский обычай... Квакерша задумалась: как часто у них бывают дни рождения? Чуть только муж в Париж закатится — все у него чье-нибудь рождение. Потом именины, потом крестины. Два дня «преподобную Запеканку» праздновал — драгунский

будто праздник. А недавно новоселье справляли, когда она этот дом с огородом по случаю для мужа купила. «Вспрыскивали», как перевел ей муж... Тоже задушевный обычай! Только вот в столовой пятно на обоях осталось: из африканского лука в бутылку с мадерой стреляли, бутылка и разлетелась.

Мэри Георгиевна прижала узкие, шафранные ладошки к вискам — опять мигрень — и тихим призраком поднялась к себе в спальню. Пусть веселятся, — славный народ. Сверху еще приятнее прислушиваться: голоса гудят так глухо и дремотно, словно пчелы над цветущей липой. Ба-ла-лай-ка попискивает. И кильками не пахнет... И окурок из соуса провансаля перед глазами не торчит. Муж ее, Вольдемар, такой рассеянный: чуть рождение или новоселье, всегда окурки не туда кладет, куда надо...

Никто сначала и не заметил, что англичанка ушла. А потом, когда заметили, точно общий корсет на спине у всех расстегнули: свободно вздохнули — милый она человек, можно сказать, без пяти минут ангел... Но простым смертным, веселым и грешным, особенно когда они день рождения справляют, всегда ведь в присутствии ангела чуть-чуть стеснительно. Даму в плечо или куда-нибудь выше ватерлинии поцелуешь (а почему бы, черт возьми, не поцеловать?) — глазами с ангелом встретишься, и сразу точно тебе кнопкой ухо к стене пришпилили. И вообще...

\* \* \*

К двум часам ночи выдули все, что можно было выдуть. Только керосин и уксус на кухне остались. Но ничего, держались стойко. Никто к ножкам стола не сполз. Наоборот: части туловищ над столом держали себя особенно осанисто и прямо — вот, мол, выпито... а гусиную лапу в чужой рот не положу! Будьте покойны! Только в речах легкая заминка появилась. Выстрелит в середине слова икота, глаза удивленно вытаращатся, и вторая половина слова естественно с некоторой благородной оттяжкой выползет. Сам Ломшаков даже как будто трезвее стал. Упер руки в бока и, посасывая бакенбар-

ды, сосредоточенно думал: «Нет ли еще чего-нибудь жидкого в доме?..» Упорно думал. Полька-служанка, шустрый обрубок с красными локтями, уволокла на кухню обглоданный скелет гуся, покосилась на хозяина и так в гуся носом и фукнула. Смешливая была девчонка! Ломшаков только зыркнул ей вслед — и ноги в шлепанцах, запнувшись о порог, молниеносно нырнули в коридорную мглу.

Вспомнил! Да ведь там в гостиной, за инкубатором, полбутылки горчишного спирта стоит, жена им в сырую погоду пятки натирает. Вещь преполезная: спирт, горчица — не синильная же кислота! Встал, надул щеки, поборол отрыжку — уф! — и пошел за свечой в соседнюю комнату. На окне, кстати, и малиновый сироп стоял. Ротмистр смешал в бутылке обе специи, посмотрел на свет: Неаполитанский залив! — и, высоко подняв соковище, как на ходулях, ринулся к гостям.

— Смирно! Равнение на бутылку!.. Есть, черти! Венгерский ликер. «Дунайский шомпол»! Сорок... восьмого года! Непьющих попросил бы поднять руку. Единогласно!..

Но когда со всех сторон к «Дунайскому шомполу» потянулись липкие рюмки, дамы запротестовали: «Свинство! Все высосали, как пылесосы какие-нибудь. И ликер им же отдай... Нельзя же такую чудесную штуку с кильками пить. Кофе! Требуем кофе!»

Бутылку, пока кофе не будет подан, выхватили из цепких штабс-ротмистровых лап и сдали на хранение надежной Ольге Платоновне.

А ротмистр Шаповаленко, душа общества и испытанный гастроном, выдрался из своего просиженного кресла, снял для чего-то галстук и, помахивая мокрой салфеткой, пошел в кухню. Кофе, настоящий кофе по-турецки, только он один и умел готовить...

\* \* \*

Шаповаленко выставил любопытствующий элемент из кухни в два счета. Смешливую девчонку отправил в чулан спать: рабынь-помощниц в таком деле не

требуется. Достал из пыльной ниши в стене банку с молотым кофе. Понюхал — определенно кальвадосом пахнет. Впрочем, если бы он и чайную розу понюхал, результат был бы тот же... Цикорий кладут по-турецки или не по-ла-га-ется? Ведь вот дичь какая: забыл! Посмотрел вопросительно на банку с водой, но бочка ничего не ответила и ухмыльнулась. Ско-ти-на! Что ж, можно и с цикорием. Сунулся к жестянкам, но почему-то ни одна не открывалась... Ага! Не с той стороны открываются. В одной что-то похожее на цикорий темнело: гвоздичные головки. Шаповаленко, доверчивая душа, в подробности не входил, высыпал горсть гвоздик в кофе, ухнул туда же стакан сахарного песка. Снял с крючка пробочник, все перемешал. Залил водой и поставил кастрюлю на плиту.

Однако же плита чуть-чуть тепленькая. Плечо Ольги Платоновны раз в двадцать пять горячее было. Он присел на корточки и дунул: змейкой перебежали искры, пепел полетел в рот. Тьфу!

А может, это не плита? Нет, плита: направо сломанная фисгармония, налево шкафчик с посудой. Плита! Наковырял лопаткой угля, сломал на колене метлу для растопки. Свернул винтом газету и поджег. Ураганом взвился огонь, потрескал и... потух. Только одна жалкая щепочка стыдливо разгорелась, но разве на ней, подлой, вскипятишь кофе по-турецки?

Из столовой долетали каннибальские бурные крики: «Кофе! Ко-фе! Пять минут сроку! Долой Шаповаленко! Позор!!!» Он злобно пошарил глазами на кухне. Вот!.. В углу тускло блестела жестянка с керосином. Шаповаленко широко распахнул дверцу топки, налил в глиняную миску керосину — чего его жалеть, не мала-га! Выплеснул в плиту — бах! — и точно его в грудь огненной оглоблей двинули — отлетел на середину кухни и свалился на пол...

Вверху в трубе ахнуло, и рванулось бешеное пламя. В столовой гости и штабс-ротмистр повскакали с мест... С лестницы, волоча за собой полосатое одеяло, с чалмой из мокрого полотенца на голове, влетела в столо-

вую трехаршинная англичанка и, трясаясь от ужаса, всплеснула руками:

— Дом лопнул!

И ведь дьяволы какие. Чем успокоить даму, посочувствовать ей в таком несчастье, все так и покатались... Ведь нашла же русское слово, да еще какое: «лопнул» с мягким знаком закатила!.. Потом опомнились и гурьбой бросились в кухню.

Шаповаленко не было... Вместо него с пола встал, идиотски улыбаясь... негр. Провел ладонью по щекам — все цело. Глаза тоже на месте — очки, слава тебе, Господи, спасли. Показал на кастрюлю валявшуюся, на ржавшее, как пьяный жеребец, в плите пламя и светским плавным жестом плавно отвел ладонь:

— Кофе... Прошу покорно! По-ту-рец-ки!

— Да ты не обгорел ли? — бросился к нему Ломшаков. — Где провансальское масло? Морду тебе смажем...

— Не надо! Пламя же сразу в нутро и ушло. Вот только кастрюлю, сволочь, на пол сбросило. Вся стряпня пропала... А вы без меня, милые, ликер не выдули?

— Цел, цел! Да ты, пистолет, на себя в зеркало посмотри! Швабра ты африканская!

И поволокли душу общества в столовую «Дунайский шомпол» пить. Может, он еще вкуснее без кофе. Чем килька не закуска?

\* \* \*

Из двери чулана высунулась взъерошенная, оторопелая голова польской девчонки. Посмотрела на кастрюлю, на черное кофейное пятно на полу, на обломок метлы, на гудящую, накалившуюся плиту. Реветь или смеяться?

А квакерша, всеми забытая, зябко запахнувшись в свое одеяло, медленно подымалась в раздумье по лестнице. Живую картину они на кухне ставили? Или обычай у них такой вот так кофе варить... по-русски.

1930

Париж

## «ТИХОЕ КАБАРЕ»

Какие-то люди звонили.  
Какие-то люди входили...

**В** эмигрантской практике художника Братина это был приблизительно двадцать пятый случай. Если рассказывать обо всех, пришлось бы писать на эту тему полное собрание сочинений. Громоздкая и неблагодарная задача... Но, как выразился один виленский часовщик: для того чтобы проверить свои часы, нет надобности жениться на вдове часового фабриканта. Тем более что и один последний случай в достаточной мере освещает все изысканные качества тех размашистых натур, которые, высосав из своих пальцев все, что можно, дают их потом обсасывать своим ближним.

\* \* \*

Письмо было чрезвычайно благовоспитанное: вверху «милостивый государь», внизу «примите уверение» со всеми онёрами. Почерк — готический. Бумага с матовыми лилиями. Конверт на тигровой подкладке. Но, как в кулебяке, так и в деловом письме, самое главное — содержание. Неизвестный господин затевал новое «чрезвычайно продуктивное дело» и льстил себе надеждой, что художник Брагин войдет с ним в тесный контакт по декоративной части, — подробности при личном свидании.

Когда у человека безработный месяц (вернее — полугодие), скептическое направление его ума гаснет, и он становится доверчив, как ручная лань. Брагин ответил в то же утро, разложил в деловом беспорядке свои кисти и картоны и целый час рассматривал крепкие заостренные буквы письма: характер, несомненно, твердый, — торговаться будет, но и платить будет.

В назначенный час, секунда в секунду, — аккуратность — добродетель деловых людей — в мастерскую вошел, изысканно держа котелок в согнутой руке, джентльмен средних лет. В серых глазах сдержанное до хрупкости уважение к самому себе. Пепельные волосы

бобриком. Мерно покачивающийся стан. В левой руке сигарного тона перчатки. Галстук цвета загорелой девушки средних лет. Ничего не рассматривал. Никаких улыбок... Все очень благоприятные признаки.

Сел в кресло и приподнял, в предупреждение всяких вопросов, руку.

— Прежде всего, так как мы с вами не имели удовольствия встречаться, позвольте вам предъявить несколько документальных данных о себе...

Господин выудил из бокового кармана кожаный альбомчик и усталым от собственной известности жестом протянул его Брагину: вот.

Отзывы французских и немецких газет, фотографии, программки... Шрифт заметок был, большею частью, бисерный — петит, но все-таки по отзывам можно было несомненно установить, что директор кабаре «Задумчивый карась» был почти так же знаменит, как Шекспир, Шаляпин или Жозефина Бекер. Даже странным казалось, почему по ту сторону окна, на улице, не волновалась толпа, нетерпеливо поджидающая, когда эта мировая личность выйдет из подъезда дома, в котором жил никому не известный Брагин. Где его лимузин, в который с ревом впрягутся поклонницы? Должно быть, стоит за углом.

Фотографии были не менее ослепительные. Господин директор на эстраде в костюме гладиатора, окруженный бордюром из живых хризантем, протягивающих к нему трепетно-покорные руки. Господин директор в своем кабинете вдохновенно диктует своей дактило — не отзыв ли о самом себе? Господин директор под руку со своим сенбернаром, который держит в зубах плакат с надписью: «Задумчивый карась». Билеты все распроданы». Господин директор кормит голубей, господин директор играет на арфе...

Гвозди программок были более скромны: все больше варианты трижды подогретых дежурных блюд, чужие окурки, к которым каждый кабаретный изобретатель прищипливал свой ярлык и заявлял патент.

Брагин перелистал альбомчик и вежливо вернул его директору.

— Теперь вы знаете, с кем вы имеете дело. Но все это

чушь, гиль, детские игрушки (вероятно, таким же тоном Гете говорит в минуты усталости о второй части «Фауста»). Мир переутомлен, мир оглушен, мир зевает — я решил учесть это обстоятельство в деловом смысле. Если вы принципиально согласны со мной работать, я в немногих выпуклых словах — совершенно конфиденциально (он понизил голос), — нарисую вам свой план.

Брагин заглянул в пустую жестянку из-под сардин и утвердительно кивнул головой. «Принципиально» он даже с бешеной собакой готов был теперь работать.

Господин директор не обладал даром чтения чужих мыслей и поэтому с изысканной любезностью продолжал:

— Мне известны ваши работы. Сдержанность. Тихие краски. Переходы на тормозах. Топаз, опал, лунный камень... Корректно, как потухающий камин, и абсолютно спокойно. Поэтому я и решил к вам обратиться. Именно к вам. Подчеркиваю.

Художник без всякой надобности высморкался, посмотрел в платок и свернул его жгутом. Когда говорили о нем, он всегда по застенчивости употреблял не те жесты, к которым прибегают опытные деловые люди.

— Я решил взять быка за рога. Мир скрежещет. Нервы обнажены. Самоубийства растут. Акции падают. Вывод ясен: масла на волны! Теперь закройте глаза и представьте себе... В столице мира, на перекрестке гремящих бульваров, переливаются манящие слова из левых лампочек: «Ти-хо-е ка-ба-ре». Следуйте за мной... Бесшумная дверь. Ступени обиты блеклой змеиной кожей. Пневматические перила. Подвал. Ни одного звука сверху... У низких столиков крытые лебяжьим пухом тахты для возлежания. Пружины на подшипниках. На стенах и потолке тихие фрески: лунные хороводы, свадьба крабов, павильон тишины. Беззвучный вентилятор распыляет надушенные матовой резедой снежинки. Коктейли по особым рецептам: вызывающие тихое опьянение, понижающие голоса, обволакивающие эмоции скандалов матовым забытьем... Ножки столов и гарсонов излучают опаловые лучи. Сонно поющий фонтан орошает радужными брызгами мой туск-

ло-серебряный бюст. Меню?.. Шашлык из колибри, мороженое из одуванчиков... Безмолвие. Склоненные на руку головы. Флирт под сурдинку. Астральные поцелуи. На эстраде... Но это уже по моей части. Пока — железная тайна. До подписания контракта даже вам не могу доверить. Эти сволочи конкуренты сейчас же сопрут. — Брагин сочувственно хмыкнул. — Теперь о вашей роли лично. Какие возможности! К вашим услугам стены, воздух, ткани хитонов, потолок — творите, излучайтесь... Опал, хризопраз, лунный камень... Тихие краски переливаются в тихие звуки — в тихое меню — в тихие напитки. И какие коммерческие перспективы!

Он перевел дух, возбужденно облизнул губы и перешел к главному.

— Раз я ставлю на карту свое имя — никакой халтуры. Париж — не Жмеринка. Деньги обеспечены. С пустячками только колбасный ларек открывать можно. Мой лозунг: тишина и... ширина. Подвал так подвал, место так место. Смешно экономить на нитках. Обдумайте ваши требования. Мы будем работать, как душа и тело. Иду широко навстречу. Хотите выговорить в контракте какие-нибудь надбавки — не стесняйтесь. Раз человек заинтересован материально, он легче отдастся морально. Подумайте. Если у вас есть свои идеи — валите. От столкновения голов рождается истина. Через три дня зайду, а пока лечу... Миллион дел — помещение, анонсы, черт, дьявол... Честь имею кланяться.

Он встал, повернулся на бесшумных подошвах и, держа котелок на отлете, с бережным уважением к самому себе, направился матовыми шагами к дверям.

Ошеломленный художник долго сидел на табуретке и прикидывал: восемьсот франков в месяц? Дурак! Тысячу? Идиот!! Тысячу двести? Болван!!! Так и не остановился ни на чем.

\* \* \*

Три дня Брагин ломал себе голову. Не покрыть ли занавес закрытыми глазами, мерцающими сквозь лунные облака... Сделал набросок — порвал. Или шесть

нимф, кормящих грудью маленьких фавнов, и у каждого на спинке по одной букве: т-и-ш-и-н-а. Сделал набросок. Отложил. По ночам просыпался, хватался за блокнот и записывал: «Октябрьский танец кленовых листьев — тюль лимонный, апельсиновый и брусничный; по бокам два толстых ветра: костюм паши и костюм мандарина; все тона под сурдинку». Эстрадные номера его, собственно говоря, не касались, но что делать, если человек разошелся... «Расписные чаши для мыльных пузырей — бесшумная забава после коктейлей». «Просить тысячу четыреста».

Бедняга стал курить вдвое больше, никуда не выходил и даже перестал бриться. «Отдавался морально» — ничего не поделаешь.

Через три дня господин директор пришел опять, опоздав только на полчаса. Когда человек разворачивает гениальное дело — полчаса в счет не идут.

На этот раз он свел лирическую часть беседы до минимума, зато деловая сторона была разработана более обстоятельно и четко.

— Грабиловка ваш Париж. Вчера осматривал уже третий паршивый подвальный театрик. Место дрянь. Цены... Уши дыбом! Программы — концессия, вешалка — концессия, буфет — концессия! Что ж я на дармоедов работать буду? Вам наплевать — чем вы рискуете? А я ставлю на карту свое имя, — он щелкнул пальцем по альбомчику, — и свои кровные франки...

Брагин молчал и машинально рисовал на уголке картона опаловый кукиш. Пожалуй, чашу для мыльных пузырей придется теперь для себя расписывать. Знаменитый предприниматель должен был, собственно говоря, натянуть свои элегантные перчатки и уйти... «К псу под хвост», — как лаконически сформулировал про себя художник. Но из господина директора, очевидно, еще не вся пена вышла.

— Впрочем, это не значит, что я отступаю. Черта с два! Завтра я еще осмотрю подвал около Итали. Из-под склада соленых огурцов освобождается. Отделаю, как будуарчик. Бочки из-под рассола интимно расставить можно. По стенам — бумеранги. По случаю за грош предлагают. На бумажных салфетках — мои фотогра-

фии... Буфет в виде Эйфелевой башни: в одной ноге — пиво, в другой — зубровка... и так далее. Наплевать. Халтурить не собираюсь, тут тебе не Новоград-Волинский, но и каждый шаг провентилировать нужно. Крестон на обивку табуреток почему у вас в Париже, знаете? Самый собачий — пять франков за метр. Что-с? А сколько метров надо — вы знаете? Голова лопается. А краски, занавес, побелка. Ротшильд я вам, что ли? Раз вместе работаем, все вместе и провентилировать нужно. Мои деньги и имя — ваш труд. Для вас, собственно, тоже выгоднее на одних процентах работать... Жалованье! Я бы сам хотел, чтобы мне кто-нибудь платил жалованье.

У художника Брагина было такое чугунное выражение лица, что даже господин директор понял. Он встал, сдунул с рукава пушинку и с достоинством покосился на свои готические брюки.

— Я стреляный. Лондон горит, Нью-Йорк трещит, Берлин задыхается. Такое тебе «Тихое кабаре» пропишут, что в одних запонках останешься. Мой девиз: все для средней публики!.. О ней все забыли, а она, как пеликан, — всех кормит. Я упорный. Вот если за огуречный подвал уступят, тогда и поговорим детально. Честь имею. До субботы — тогда все и оформим. Бумеранги, как, по-вашему, лучше — позолотить или посеребрить?

Брагин прикрыл за господином директором дверь. Курил, дергал левой щекой и думал, как темна и извилиста душа неизвестного трамвайного пассажира, когда он вдруг, ворвавшись в комнату, сядет тебе на голову. А впрочем... Бес его знает. Ведь вот и фотографии у него, и наклейки, авось и в Париже как-нибудь развернется...

\* \* \*

Брагин не совсем был уверен, что дорогой гость придет и в субботу. Однако пришел. И сразу можно было понять по игривому покачиванию котелка в откинутой руке, по весело дергающимся в полотерном темпе гетрам, что все обстоит как нельзя лучше.

— Здравствуйте, здравствуйте... Поздравьте, дорогой мой, дело в шляпе. Даже, если смею так выразить-

ся, — в цилиндре. Получил весьма уютное предложение в Страсбург. Подвал при первоклассной пивной. Помещеньице — их, украшеньица — их, подъемные и прогонные... Нэк плюс ультра<sup>1</sup>. Комплект подобрал на ходу. «Дешевле гробов», — по выражению одного прибалтийского барона. Номера — битые. «Хор... сестер Зайцевых». «Оловянные матросики» & «Эмигрантская Катенька»... Класс. Ну, там еще кое-что, секрет изобретателя. Куплеты некоторые спешно заказал беженке одной перевести. Двадцать пять франков! Нож к горлу... Костюмы и декорации с прошлых поездок. Кое-что на месте, в Страсбурге, подмалюем, перевернем. Мах-мадера. Чего вы, дорогой, морщитесь? Мигрень? Женская, так сказать, болезнь. Я к вам, собственно, рикошетом, вот по какому миниатюрному делу. Нет ли у вас среди ненужных, брошенных рисуночков, в этюдах, что ли, в альбомчиках — отработанный, так сказать, пар — кое-каких сюжетов для программ? Буфет и вешалка — от пивной, программы — мои. Нет-с? Очень скорблю. Воздуху у вас в мастерской сколько. Опал, лунный камень... Когда-нибудь, Бог даст, еще что-нибудь соорудим вместе... Честь имею. Очень рад был познакомиться.

Он поднял плечи, перевернул вокруг пальца котелок и, как паршивая моль, сгинул из освещенного квадрата дверей во мгле лестницы. На этот раз, надо полагать, навсегда.

\* \* \*

Художник лежал, согнув колени, на продавленной тахте и сплевывал на валявшийся в углу картон с шестью нимфами. Лампочка свисала с потолка, освещала растрепанные волосы и колючие злые глаза. На груди медленно подымалась и опускалась Библия. В такие серно-кислые минуты старая мудрая книга не раз ему помогала. Он наугад раскрыл ее, провел пальцем по левой странице, остановился на левой полосе и прочел:

---

<sup>1</sup> Самый лучший, дальше некуда (лат.).

«Подобно пронесшемуся ветру, нечестивый не существует больше...»

— Аминь. — покорно сказал Брагин и отшвырнул ногой картон с нимфами в темный угол.

1930

Париж

## КОМАРИНЫЕ МОЩИ

Иван Петрович проводил глазами сверкнувший в зеркале острый профиль жены, посмотрел на ее стрекозиные ноги и вздохнул.

Дверь в передней хлопнула. Ушла...

Налил в стакан приехавшему из Нарвы земляку пива и ласково взял его за рукав.

Ему давно не хватало терпеливого слушателя, старомодного честного провинциала, который бы его до конца понял и посочувствовал.

Русские парижане, черти, обтрепались, — ты перед ними душу до самой печени обнажишь, а они тебе посоветуют нафталином самого себя пересыпать и в ломбард на хранение сдать...

Подметки последние донашивают, а туда же, перед модой до земли шапки снимают.

Самогипноз бараний...

\* \* \*

— Вот вы мою Наташу по Нарве еще помните... Цветок полевой, кровь с кефиром. Прохожие себе по улицам шеи сворачивали, до того у нее линии натуральные были.

Плечики, щечки и тому подобное. Виолончель...

Хоть садись да пиши с нее плакат для голландского какао.

От первозданной Евы до пушкинской, скажем, Ольги традиция эта крепко держалась: мужчина — Онегин ли, Демон, Печорин — весь в мускулах шел, потому что мужчина повелевать должен. А женщина благодарение Создателю, — плавный лебедь, воздушный пирог,

персик наливной, — не то, чтобы кость у нее из всех углов выпирала.

Рубенс, скажем, или наш Кустодиев, либо древнегреческий какой-нибудь нормальный скульптор — все это дело одинаково понимали. Венера так Венера, баба так баба, нечего ее в циркуль вытягивать, шербет на укус перегонять. Только для одной Дианы исключение и допускалось, потому что ей для охоты одни сухожилия требовались.

\* \* \*

— Или, допустим, как в русской песне «Круглолица-белолица», «яблочко наливное», «разлапушка». Слова-то какие круглые были.

Народный вкус здоровый: баба жнет, она же и рожает. Кошечев бессмертных в хозяйстве не требовалось.

И плясали тогда не хуже теперешних, вес не мешал.

Не то что медведицей, легче одуванчика иная выходку сделает.

«Перед мальчиками хожу пальчиками, перед старыми людьми хожу белыми грудьми»... Действительный статский советник и тот не выдержит.

\* \* \*

— Или, к примеру, возьмем здоровый старый турецкий вкус. В старых гаремах я не бывал, однако по открыткам и по Пьеру Лоти понятие себе составил. Усладу туда со всего света собирали, Туркам вина нельзя, поэтому они на пластику и набрасывались. Купола круглые, лунный серп круглый, ну и женщины соответственно тому. Зря им ходить не дозволялось, чтобы плавность не теряли. Рахат-лукум внутрь, розовое масло снаружи. Красота...

Разлягутся вокруг фонтана — волна к волне льнет, волной погоняет. Дежурный евнух только нашатырный спирт от волнения нюхает... Аллах тебя задави!

Опять и царь Соломон, человек вкуса отборного, в «Песне Песней» довольно явственно указывает: «Округления бедер твоих, как ожерелье, сделанное руками ху-

дожника». Стало быть, против пластики и он не ополчался. А уж на что мудрый был...

А теперь... Видали, что моя Наташа, на других глядя, над собой сделала? Начала гурией, кончила фурией...

— Для чего, — спрашиваю я ее, — ты себя так обточила? Смотреть даже неуютно. Трагические глаза в спинной хребет вставила — думаешь, мир удивись...

— А ты, — говорит, — пещерный человек, и не смотри. Поезжай в Лапландию, женись на тюленихе...

Ах ты Господи! Да есть все-таки приятная середина между комариными мощами и тюленихой. Крайности-то зачем?

И отвечать не хочет. Посмотрит мимо носа, будто ты и не муж, а плевательница облупленная, — и точка.

Подкатился я как-то к ней в добрую минуту: ну скажи. Ната, ниточка ты моя, для кого это ты себя в гвоздь заостряешь? Не для меня же, надеюсь. Вкусы мои тебе с детства известны. А ежели не дай Бог для других, — то где же такие козлы противоестественные, чтобы на твое плоскогорье любоваться стали?

Сузила она только глаза, как пантера перед прыжком... Два часа я потом у нее же, дурак, перед закрытой дверью в коридор прощенья просил. На Шаляпина сто франков дал — простила.

\* \* \*

— А сколько терпит?

Святой Себастьян не страдал столько. Аппетит у нее старинный, нарвский.

И что ж... Утром корочку поджаренную пососет, в обед два лимона выжмет, вечером простоквашей с болгарскими бациллами рот прополощет.

Ночью невзначай проснешься, выключателем щелкнешь: лежит она рядом, в потолок смотрит, губы дрожат, глаза сухие, голодные... Как у вурдалака.

Даже подвинешься к краю — как бы зубами не впилась.

А в чем дело? Хлеб толстит, картофель распирает, мясо разносит, молоко развозит...

Расписание у них на каждый продукт есть.

Да еще раз в неделю полную голодовку объявляет, для легкости походки. Ну, само собой, чуть голодный день — меня же и грызет с утра до ночи от раздражения.

А потом — то солнечное сплетение у нее под ложечку подкатывается, то симпатичный нерв перекрутится, то несварение желудка...

Будет он, дурак, варить, ежели ему, кроме лимонного сока да массажа, никакого удовольствия не доставляют. Опять же малокровие. Красные шарики с голодухи белые жрут, одна пресная сыворотка остается.

Головокружения пошли. Словом — полный прейскуррант. Паркет, говорит, под ней качается. Вполне логично: ежели женщина себя третий год в Тутанхамона превращает, не то что паркет, мостовая под тобой закачается.

\* \* \*

— Врачу говорю, который жену пользует: «Хоть бы вы, ангел мой, повлияли. Тает ведь женщина без всякой надобности, скоро один фитиль останется».

Пожал плечами, даром что приятель.

Станет он тебе влиять, ежели с этих несварений да головокружений ему в сберегательную кассу капает...

У самого небось жена из немок, круленькая, смотреть даже досадно. Рыбьим жиром ее, поди, откармливает. Жулик паршивый!

\* \* \*

— Дочка даже, тринадцатилетняя килька, туда же. Линию себе выравнивает... Всей провизии в ней на франк, какая там еще линия!

— Ты, — говорю, — чучело, растешь — тебе питаться во как надо. Я в твоём возрасте даже сырые вареники на кухне крал, до того жадный был.

Фыркнет, скажет что-нибудь французско-лицейское, чего ни в одном словаре нет, и отвернется.

— На кого, комариные мощи, фыркаешь? На отца?

Мать за нее: не вмешивайтесь, пожалуйста. Я свою дочь не в кормилицы готовлю...

Кулебякой обломовской меня обзовет, маникюрную коробку возьмет и к окну королевой сядет — под говядину ногти себе разделявать. Нос да ключица — весь силуэт...

\* \* \*

— На что уж тетка, почтенная, сырая женщина, против нас живет, паутинными дамскими принадлежностями вразнос торгует, — и та тоже за ними тянется.

Если уж наследственность располагающая и женщина в закатный возраст входит, само собой бока выпирают. В сейф их не сдашь. Природа.

А она — франков лишних на массажистку нет — сама себя рубцами резиновыми тиранил, в эластичные пояса до самого подбородка засупонила... Монна Ванна из Аккермана.

А вместо приличной пищи сырую морковную шелуху ест, хлебчики себе какие-то специальные в пекарской лавке покупает: без муки, без дрожжей, вроде облаток на лунном масле.

Только и слышишь: сантиметра три, слава Богу, за неделю спустила... Это трудовые-то сантиметры, которые в поте лица...

Складки-то у нее телесные без начинки вокруг шеи и обвисли, подбородок пустой, как у малороссийского вола, болтается, хоть не смотри... Для кого старается? Инвалид столетний и тот отвернется.

\* \* \*

— И все на весы.

Чуть всей компанией в метро ввалимся, тотчас же в автоматную дырку тетка монетку бросит — и хлоп на весы инвентарь свой проверять. За ней жена, за женой дочка.

На одно колебание стрелка меньше потянет, так от радости и завьются... Живого тела сбавили. Стоило ради этого границу переходить.

Через год, поди, у эписьерки на весах взвешиваться будут: кило в полтора останется на каждую — не больше.

\* \* \*

— А главный вопрос — я-то из-за чего страдаю? Доход у меня кое-какой есть — в Саль Друо Людовиков Двадцатых скупаю, перепродаю. Кручусь, кручусь, как козел на ярмарке.

Кулебяку-то я свою насущную заслужил?

Придешь домой, носом потянешь: прежде хоть обедом пахло, а теперь одной голой пудрой...

Ради их эгоизма и я, извольте видеть, в факира превращаться должен. Вредно, мол, мне. В моем, мол, возрасте одной магнизией питаться нужно. Устрица я, что ли? Да и какой мой возраст? В сорок восемь лет человек только в аппетит входит, вкус настоящий получает. Древние римляне во как в моем возрасте ели...

По ночам даже пельмени снятся, гуси с кашей мимо носа летают. Только одного за лапку поймаешь, ан тут и проснешься... Сунешься босой к буфету, а там только граммофонные пластинки да банка с магнизией, чтоб она сдохла!..

Конечно, я их голодающую женскую психологию понимаю: начни я в тесной квартире колбасу есть — от одного запаха проснутя, душа у них захлебнется.

Не тиран я, чтобы близких людей мучить.

Ну, конечно, днем между делом в русской лавочке пирожков холодных захватишь и на мокрой скамейке съешь, как незаконнорожденный. Горько.

Стал я в рестораны ходить. Порции воробьиные, ценны страусовые. Вместо домашнего уюта челюсти посторонние вокруг тебя жуют, торопятся, косточки прошлогодние обсасывают... Чокнуться даже не с кем, до того неприятные профили.

И на языке потом до самого вечера налет этакий жирный, будто ты лапландскую бабу вдоль спины лизал.

\* \* \*

— Да-с. Мода. Кто и когда ее распустил — спроси вдову неизвестного солдата... Я понимаю: ну сезон, ну два, но зачем же до бесконечности? На то она и мода, чтобы ее контрмодой перешибить... На длинные платья перешли, почему бы на полновесность не перекинуться?

И слышать не хочет. Никогда, мол, назад к першеронам возврата не будет. У женщин, говорят, только теперь крылья и выросли... Грации, говорят, своей быстрой мы теперь ни на какой рубенсовский балык не променяем...

А я так полагаю: ежели бы завтра шутники какие пропечатали, что модно шипцы для завивки в ноздре носить, — все дамы так оптом носы бы и продырявили. Уж мои-то первые, будьте покойны-с.

\* \* \*

— И опять: почему портные, дураки, ее не отменяют? Сговорились бы с фабрикантами, модный манифест опубликовали — и готово.

Ведь на полную даму и материи не в пример больше идет, и за шитье прикинуть можно: обтянуть кресло или диван — цена разная. Да и фермерам и лавочникам, посудите, какая прибыль, ежели полноселения, вся женская часть после голодухи на натуральные продукты набросится!..

Я уж и то прикидывал: не через женский ли этот недоед и весь мировой кризис колом встал? Как вы полагаете?

\* \* \*

— Вот и подумываю... А не перебраться ли мне со своим домашним табором на Нарву? Парижскую колбасную открою, либо эстонский рюстик в Париж экспортировать начну...

Авось хоть там, в глуши, по-человечески живут, по-старому распустя пояса. Дамы так дамы, на сантиметры себя не разменивают.

Ухмыляетесь? И до Нарвы, стало быть, докатилось? Нда-с...

Поди на Северном полюсе бабы-самоедки теперь сквозь обручальное кольцо туда и обратно пролезают. Мода. Ну, ладно...

Что же пива не пьете? Будьте здоровы! Как говорится — мертвому ямка, а живому мамка. Разбередил я себя только, лучше и не ковырять.

1931

### МЕЛКОЗЕМЕЛЬНЫЙ ГРИПП

Есть, конечно, помешательства неопасные. Собирает человек марки, какой тут риск. Купит в год франков на двадцать. — серию какую-нибудь юбилейную. Специально для таких фанатиков выпускают... А главная коммерция в обмене — с такими же блаженными. Да в знакомой конторе иностранные конверты Христа ради выпрашиваешь.

Сидит такой собиратель вечером за столом и, вместо пасьянса, сокровища свои раскладывает. В лупу зубчики проверяет, пинцетом запасные уники со страницы на страницу переволакивает... Гость у него под носом все бублики съест, в холодном чае муха за мухой ванну берет, а он и не замечает. Лицо у него такое вдохновенное, будто он продолжение «Египетских ночей» обдумывает.

Марки — это ничего. А я вот напоролся гуще...

\* \* \*

Приходит ко мне приятель, Сергей Дроздов, — хороший человек, чтоб он сторел без страховки. И конечно, с места в карьер интимный разговор.

— Что же, Василий Созонтович, ты все еще свое коптильное заведение держишь?

— Какое заведение?

— Небо, — говорит, — все еще коптишь?

Отвечаю ему логично:

— Если ты опять про давешнее, лучше уйди. Вот на метро франк пятнадцать сантимов — в первом классе поедешь...

Европейцу скажи — либо уйдет, либо пластинку переменит, ну а свой по тому же месту да той же нуждочной бумагой. Либо еще номером крупней возьмет.

— Удивляюсь, — говорит, — тебе, Вася. Чудом у тебя какие-то допотопные доллары сохранились, а ты их, как нищая тряпичница, в тюфяке просаливаешь.

Молчу. Человек воспитанный сразу бы по глазам понял, что я его мысленно свиньей обозвал, а этому хоть бы что.

— Странная у тебя, Вася, мания величия. Все население — ослы, а ты один Спиноза... А вдруг наоборот? Как бы тогда не прогадал.

Варенье я ему подвинул. Молчу. Средство старое: какой угодно фонтан заткнет.

Однако он выносливый.

— Ну, ладно. Только ты меня не перебивай... Вокруг Парижа на сто километров все клочки расхватаны. Фотографы, рабочие, астрономы, кокетки, блондины, брюнеты — все покупают. И только ты, Эльбрус какой, даже не почешешься. Не идиоты же все? С высшим образованием среди них есть некоторые... А в чем гвоздь? Земля пить-есть не просит, а цена растет да растет, как сало на кабане. Понял? Бриллианты падают, марганцевое кали за полцены даром отдают, а земля, брат, пухнет... Конечно, если ты на свои остатки в месопотамском банке полтора процента получаешь — ты либо дурак, либо самоубийца. Даже, скорее, первое. А потом — банки лопаются, а земля... наоборот. Не поливаешь, не удобряешь, глядь — у тебя через четыре года каждый франк золотым пухом оброс. Ты меня не перебивай, пожалуйста.

Придвинул я ему финики. Молчу, как марганцевое кали...

— Словом, ты, Василий Созонтович, не невинная белошвейка, и я тебя не соблазнию. Скажу в двух словах. Завтра утром заеду за тобой со знакомым шофером. Он там в одной дробительно-земельной компании

на процентах работает. Человек бескорыстный. Посмотрим на это просто, как на пикник. Свезут нас в оба конца даром, подышим воздухом, вид у тебя в самом деле одутловатый... Легким завтраком даже угощают! — и тоже ни сантима. Чудаки какие-то. Поедем, Вася. Я же тебя с третьего класса знаю. Другому бы и не предложил. В жизни-то даром только по шее бьют, а тут тебе и бензин, и завтрак, и букет полевой нарвем бесплатно...

Ну, тут жена за стеной услыхала. Полгубы не докрасила, стремительно в дверь вошла и сразу руль в свои руки взяла.

— Нашли с кем разговаривать... Он даже пока на мне женился, два года раскачивался. Раз даром — о чем говорить... У нас сын в Гренобле курс кончает. Внуки могут пойти, теперь это в два счета делается. Надо и об них подумать. А потом, за горло нас никто не берет, подышим воздухом, а там видно будет.

И сразу они с Сергеем Дроздовым сочувственные глаза друг другу сделали, а я так, между прочим, — вроде неодушевленной подробности... Молчал и финики передвигал. Ничего не помогло.

\* \* \*

Утром приезжает Дроздов со своим шоферским Мефистофелем. Глаза действительно бескорыстные. Об земле ни полслова, все больше на погоду напирает. Сели, покатали. Вынеслись за Порт-Версаль; пока до полей не дорвались, приятель индифферентный разговор вел. Все, мол, горит: рестораны горят, марганцевое кали за полцены даром...

А чуть зеленая пошла, аэропланый плац слева промелькнул — вытащил Сергей из-под себя проспекты, разложил на коленях. Чистая лирика. На обложке жимолость в цвету, уютные шале зеленью перевиты. В соломенном кресле у крыльца господин сидит, рожка довольная, дым колечками пускает. Купил, собачий сын, участок. А над головой птичка на ветке заливается. Ох уж, птичка эта... Думаю, что и она на процентах в компании этой работала, с чего же ей даром-то петь.

И текст соответствующий. Внес триста франков и посвистывай. Рассрочка на сто лет. Непрерывная вода, электричество, лесной озон, полевой кислород, тротуары с пяти сторон, грибы круглый год, поезда каждую минуту так вот и бегают. Вот только насчет ананасов ничего не было. Должно быть, по оплошности пропустили...

И план во всем размахе. Тут тебе и рынок, тут тебе и крематорий, тут тебе и обсерватория. Все в центре для удобства жителей. И улицы радиусами во все стороны, будто солнечные лучи на «Гадании Соломона». И все номерки, номерки, заштрихованные квадратики: расхватанные участки. Только десять белых... К завтрашнему утру и этих не останется, потому население так и рвется.

Вздохнул я, на жену посмотрел. Вижу — озон в ней заиграл, да и у меня сердце дрогнуло. Вся Франция валом валит, а я один эмигрантский консерватизм разводить буду? Женам и то изменяют при случае, а я к месопотамскому банку любовь до гроба сохранять должен? Сам себя в обратном направлении раскручивать стал: с дураками это часто бывает.

А главное Дроздов к концу приберег — на этом углу Попов купил, на другом Чебурыкин, у Садиленко три участка, артель казаков целых пять отхватила — шале в кубанском стиле с подрядов строить будут... Цены французские пособьют, в люди выйдут. Это тебе не марки собирать.

Летим дальше. Вокруг — благодать. Когда выбирать участок везут — всегда погода хорошая... С боков шоссе тополя почками машут: «Купи, купи! У тебя сын в Гренобле, да и сам еще во как поживешь...» Горизонт симпатичный, лучше и Айвазовский не нарисует. Кусты разные весенними листиками подмигивают. Из перелеска золотой фазан с супругой выскочил, хвост кометой — и вдоль межи побежал... Думаю, что и он в этой компании был на службе.

А Дроздов меня все в бок. Видишь, мол. Будто он всей постановкой заведовал и специально для меня го-

ризонт за лесом раскрыл. Шофер — ни гу-гу. Натасканный. Знай ревет да на нас искоса, как на карпов в садке, поглядывает.

\* \* \*

Приехали. Пейзаж действительно классический. Справа казенный лес, слева какого-то местного Канитферштана. Сосновой эссенцией так тебя всего и окуривает... Участки во все концы белыми лучами огорожены, будто клетки для жирафов. Кое-где березки да дубки на весеннем солнышке потягиваются. Два-три электрических столба действительно на земле лежат. Без обману. И вместо тротуара под ногами этак симпатично мокрый песок шипит: «Купи участок... Бриллианты падают, сахарный песок горит, а земля-матушка, она не выдаст...»

Контора на отлете: рекламный домик в помпейско-абажурном стиле. Дворик, заборик, часовая будка для домашних надобностей в стороне уютным плющом перевита... Птички вот только над крыльцом не оказалось. Должно быть, в перерыв между двадцатью и двумя, в лес отдыхать улетела. Завтрак тоже не предложили — поздно приехали. Да и не всех же угощать: другой и поест, и на чужом бензине воздухом на даровщину подышит — а участок не купит...

Пошли мы смотреть. Осатанели мы тут, признаться. Даже характер свой интеллигентный потеряли... Дроздов к угловому свободному участку бросился: «Это, — говорит, — мой».

— Почему твой? — Молчать при таком деле не приходилось. И без того намолчался. — Две березки, да три дубка, да фасад на юг — так и твой? А мне что же, обглодки твои брать?

Жена тоже лорнет вскинула, так он, Дроздов, и пришиллся.

— Почему же обглодки? Выбирай этот, через дорогу. Там две осины. И яма посередине, вот тебе и фундамент бесплатный.

— Спасибо за угощение. Приятеля в товарный ва-

гон, а сам в международный... Кушай сам свою осину, а яма еще неизвестно кому раньше пригодится.

Жена голову вбок повернула — есть у нее такая ма-нера классическая, как у Комиссаржевской, — и к авто-мобиле... Не о чем, мол, больше с таким господином и разговаривать.

Струсил Дроздов, побледнел.

На, на! Бери мой, есть о чем толковать. Если бы я первый с осиною выбрал, все равно бы ты и на мой ку-сок бросился. Ешь! Пусть моя чечевичная похлебка те-бе впрок пойдет...

А сам этак пристально посмотрел на березку и на мой галстук... Намек ясный. Да что же, когда человек в азарте, стоит ли обижаться.

Выбрали. А как стали другие свободные номера ос-матривать, совсем мы очумели. Жениться, право, лег-че, чем в таком деле выбор окончательный сделать. Там рынок чуть поближе, там каштан в полтора обхвата — поди-ка доживи, пока такой новый на лысом участке вырастет. А третий, голубчик, на две улицы выкатил-ся — угловой. Может, оно и хорошо на проходящих с балкона смотреть, а может, оно и плохо — свою интим-ную внутренность посторонним людям показывать...

Бились, бились, друг с друга глаз не спускали. У ме-ня, конечно, большинство: я с женой. Чуть Дроздов окончательно нацелится, мы его с двух сторон так под-метками сдували... Прямо в голове зеленые шары за-вертелись. Да и есть хочется. С азарта да с присосновой эссенции аппетит как каторжный разыгрывается.

А шофер этой минуты только и ждал. Солидно нас в два слова пристроил. Нашел два участка-близнеца ря-дом. В каждом по три дерева, в каждом по яме, оба на юг. Даже в каждом, помню, по вороне сидело. Вздохну-ли мы облегченно, полюбовались... Будто мы тут под кустами и родились, и до того нам эти кусточки родны-ми показались. Спросили еще насчет станции, шофер нас утешил — вон там, за лесом. Действительно, в отда-лении что-то такое пискнуло: не то паровоз, не то ля-гушка влюбленная...

На обратном пути все до тонкости обсудили. Риску

ни на грош. В случае чего в любой день перепродать с припеком можно: оторвут с руками... Хотя какой же олух такое золотое дно перепродавать станет? Пока до настоящей постройки дойдет, по временному павильону соорудить можно — он потом под кроликов либо под гостей отойдет. У Сережки под собой и прейскурант нашелся: железобетонные коробки, по фасаду розы кубарем вьются, на крыше для завершения дуля-рококо, на дуле все та же птичка...

Каждое воскресенье, чем в Париже унылыми уродами сидеть, можно будет тут в своих павильонах лесные шепоты слушать, запеканку брынзой закусывать, румянцы естественные нагуливать. Семена из Риги выпишем, пчел из Режицы, удобрения из Ревеля... Зажмурился я — так вокруг довоенным укропом и запахло...

И симпатичных знакомых — Лунева да Грымло-Опацких — непременно подбить надо рядом с нами осесть. А то какой-нибудь иностранный парикмахер вклеится, начнет через забор волосья чужие швырять — жизнь проклянешь...

Потряс я Сережке по-братски руку: «Ну вот, спасибо! Лежалый камень с места сдвинул». В пригородном бистро весенние слова друг другу говорили. С шофером чмокались. Только он равнодушный какой-то стал — часто ему, должно быть, с нашим братом дело иметь приходилось... Пить пил и все по столу пальцем барабанил. Жена моя — женщина, могу сказать, еще цветущая, даже плечиками, помнится, передернула.

\* \* \*

Раскачали и знакомых. Такого рода тихие помешательства всегда ведь кругами расходятся. Пожалуй, подсознательное такое чувство есть: уж если в лужу садишься, попутчиков ищешь, чтобы уютнее было. Дедка за бабу, внучка за Жучку и так далее... Вот только насчет репки слабо вышло.

Лунева я на себя взял, — огнеупорный человек был, вроде меня. Ну я его тем же методом и обработал: «Рестораны горят, марганцевое кали за полцены даром... Ужели все население ослы, а вы один Спиноза? Земля

пить-есть не просит...» и тому подобное. Ездил с ним, потел с ним, выбирал, в раж вошел. И опять, представьте себе, фазан выбегал на межу — все как по расписанию...

.....

И вот-с! Прошел год с лишним. Двенадцать месяцев по триста франков, как фанатик, вносил. Курить бросил, в насущном стакане себе отказал. Жена самоотверженно на компоте экономию загоняла, шляпки модной себя лишила — к варенику прошлогоднему новое ухо только пришила... И Лунев вносил, и Грымло-Опацкие. Не пили, не курили. По ночам меня, поди, который уж месяц проклинаят. Но что меня хоть отчасти в этой симпатичной истории утешает: ведь и Дроздов вносил. Вносил, дьявол, вносил, собака, — и вот только теперь, вместе со всеми, бросил...

Компания, конечно, себе руки потирает: законный процент ежегодных идиотов мы все-таки значительно повысили.

А теперь позвольте для пользы ближних перечень разочарований привести. Столбы телеграфные лежат на том же месте. Почему бы им и не лежать, если их никто не подымает... Тротуары, оказывается, каждый за свой счет вдоль своего места вести должен — идеалистов таких пока не нашлось. Трубы водопроводные в земле преют, а к своему участку проводи сам... Зачем же мне там, спрашивается, вода, если временного павильона строить не позволяют, а надо сразу приличное шато в общую линию гнать? Петергофские фонтаны на голой земле пусть меценаты устраивают...

Деревья по соседству все повырублены — французы лирикой не занимаются, — ему место для гаража нужно, да для куриных клеток, да чтобы было куда цветную капусту воткнуть. Беловежскую Пущу пускай русские эмигранты на своих четырехстах метрах консервируют...

Словом, стал у нас вокруг пейзаж вроде караимского кладбища. Да еще частный лес Канитферштана этого колючей проволокой заплели, чтобы дачники, мол,

не шлялись. Рынка и в помине нет. Какой рынок, если никто не строится, все на повышение квадратных метров играют... Станция действительно сбоку за лесом торчит, но поезда, все больше товарные, кое-когда проползают. А пассажирских дождись-ка в поле под голой платформой. Три раза «Войну и мир» прочтешь, пока состав подойдет...

Ах, Дроздов, Дроздов! Ведь вот судьба какая — не сидел бы я с ним на одной парте в третьем классе, может, ничего и не было. Знал бы заранее, в другую гимназию перевелся.

И сырость пошла. Первое-то время она кустами была задекорирована. А как повырубили да ям для фундаментов нарыли, а потом за отсутствием пороха так и бросили — она, матушка, и проступила...

У жены сквозной ревматизм, она сырость по беспроволочному телеграфу за пять километров воспринимает. А тут у себя, на своей земле, да за свои же деньги — сплошной супчик... Ну, конечно, отчего же не переуступить, да еще с наваром. «Оторвут с руками!» Оторвали, действительно.

Кому ни скажешь: либо у него кризис, либо в продуктовую лавку остатки вложил, либо просто человек умный. Посмотрит в лоб, усмехнется: «Если у вас точно такая Кашмирская долина, зачем же вы ее продаете? Выдержите еще лет с двадцать, авось у вас нефтяной источник забьет».

Уговорил одного, повез за собственный счет, жена даже пирожков домашних штук десять для поднятия пропаганды дала... В ноябре дело было. Посмотрел он вокруг, из такси не вылезая, — ботишков ведь теперь не носят... «Симпатичное, — говорит, — место. А вы бы попробовали здесь клюквенную плантацию развести. Я бы у вас весь урожай купил». С тем и вернулись. Голые тополя по дороге ветками машут: «Дурак, дурак!» Что им ответить?

И жена каждое утро по ложечке серной кислоты в кофе подливает. «Зачем три куска сахара кладешь? Тебе теперь совсем без сахара пить надо, пока взносы свои загубленные не покроешь. Помещик болотный!»

— Да ведь ты же сама выбирала...

— Я?! Ну, знаете...

Почему это, если мужчина густо соврет, всегда у него напряжение в лице, а у женщины одно святое сияние? Она не выбирала, она в это время в Мексиканском заливе с королевской селедкой в четыре руки маршфюнебр играла... Да-с!

Сахарницу в буфет замкнет и на кухню испанской королевой проследует. Поругаться даже не с кем.

Дроздов, конечно, и не показывается. Поди тоже на меня всех мелкоземельных собак вешает. Показался бы он... С третьего этажа на трамвайный провод — разговор короткий. Французский суд в таких случаях всегда снисхождение сделает.

\* \* \*

Сижу дома. Альбом свой старый с марками из комода вытащил. Каталог прошлогодний по случаю в русской парикмахерской купил. Перелистываю. Лупу платочком протираю, с пинцетов ржавчину соскоблил. Работая... Риск небольшой.

Вспомнил как-то, что у Лунева дубликаты интересные есть. К телефону подошел — не приедет ли со своими тетрабочками меняться? Что же вечером больше делать? И только за трубку взялся, горечь так к сердцу и подступила. Не приедет он к тебе, Василий Созонтович. Ау! Хоть всю серию Папской области ему в обмен предложи — не приедет... Потому что для Дроздова хоть оправдание есть: в третьем классе гимназии он с тобой на одной парте сидел. А Лунев человек посторонний. Его-то за что ты в эту рулетку болотную вкатил?..

Повесил я тихо трубку, лупу к сердцу прижал. Перед глазами господин в плетеном кресле около шале сидит, дым колечками иронически пускает. И птичка над ним заливается. Эх, милая... Выдать бы тебя замуж за Дроздова, хорошая бы из вас пара вышла.

## БУБА

Вот так, в метро, никому не расскажешь. Потому что свое, кровное. В своей семье посторонний третийский судья не требуется.

Но на первой зеленой подстилке, когда в воскресенье с приятелем, с закуской и зубровкой, занесет тебя весенний ветер в Медонский лес, — бес откровенности толкнет человека под ребро — и покатишься... Хоть без зубровки, конечно, никакой бес ничего не сделает.

И вообще, г. Глушков разговаривал как бы сам с собой. В своем случае разбирался и в таких же соседских. А кому он жаловался — приятелю ли, лежавшему рядом, очками кверху, с травинкой во рту, пожилому ли каштану, подымавшему над головой толстые почки, либо пустой бутылке из-под зубровки, блестящей у канавки, — г. Глушков об этом не думал. Подводил итог, а в паузах морщился, как бы сплевывая с языка душевную полынь.

\* \* \*

— Буба она называется, племянница моя. Хотя мы с женой, оба бесплодные смоковницы, имели все основания, взрастив сей парижско-русский продукт, считать ее своей дочкой... Буба... Почему она себе такую популярную кличку пришила, не могу понять. По метрике она Любовь. Люба, Любаша — сочное православное имя. Должно быть, для афиши. Когда она в балетные звезды выйдет, круче в нос ударит... Ну, уж назовись Лианой, Вервеной... Покудрявее. Нет-с, Буба. Игры фантазии на три копейки. Какой-нибудь португальский брандахлыст, что с ней фокстротные вензеля выводит, языком щелкнул: «Буба! Ком сэ жоли», — и кончено. А мнение дяди — коту под стол, да ножкой в угол, подальше...

\* \* \*

Лет до четырнадцати был у нее свой рисунок, даже лицей не перемолол. Русская пышка, ласковый зверек. Варенье обожала, дядю с теткой любила, все как по дет-

ской простоте полагается. Одевали мы ее чистенько. Перед зеркалом скорым петушком попрыгает, каждому бантику улыбнется. В облизанную стильность ее не бросало, что к личику, то и модно. Щечки в ямках, ногти в заусенцах, душа — розовый ситчик. Русская девочка, и больше ничего. А с пятнадцати лет пошло...

Проболтался я как-то месяца два по делам в Гренобле. Вернулся, так и присел: разменяло себя мое русское золото на конфетную бумажку. Темные волоски будто корова языком склеила, головка мертвым яичком, ямки черт унес, в глазах этакая манекенная стертость. И платьице новое с воображением — внизу тюльпан, сверху лысая рюмка. В кутюрных прейскурантах видали? Лицо, так сказать, второстепенная подробность к модному покрою... Мизинчики на отлете, поворот плеча в брезгливую покатость — то ли горничная, то ли герцогиня Дармштадтская, — все на один лад, как солдатики из картона... Это в пятнадцать-то лет по такому компасу равняться?

Бросился я к жене: как же это ты, слабохарактерная женщина, таким вещам потакаешь?

А что ж, говорит, делать. Девочки — обезьянки. Парижский воздух... Тут иная кашпошка в четыре года в Люксембургском саду таким дамским лилипутом выступает, что и сама не знаешь — ахать или плевать. А Любе в Европе жить, пусть уж мимикрию эту безболезненно себе прививает. Ей же потом легче будет.

Нашел я союзника, действительно.

\* \* \*

Вижу я, во внутреннем департаменте червоточина обнаружилась. «Записки охотника» в ванной в углу валяются. Еще слава Богу, что в ванной... Журнальчики, смотрю, у нее появились парижские: кинематографические Антиной на всех страницах зрчками вращают, мировых звезд к пиджакам прижимают. Проборы блестят, зубы переливаются, и опять же, как пожарные солдаты, все на один салтык. Только по подписи и узнаешь, кто какого пола. Духовная пища-с!

Развернул я как-то вечером «Соборян», стал ей вслух отрывок читать. Пять минут вытерпела, потом, вижу, стала зевки, как устрицы, глотать, ножкой о ножку бьет.

— Что ж, скучно тебе, Люба? Ты не стесняйся.

— Вы, — говорит, — дядя, дусик, не сердитесь. Мы сегодня всей своей компанией в синема идем. «Семьсот поцелуев в минуту» смотреть. А археологию эту я, так и быть, на досуге как-нибудь потом перелистаю.

— Спасибо за одолжение. Что ж, и Татьяна пушкинская тоже, по-твоему, археология?

— Нет, — говорит. — Большой дифферанс! Татьяна ваша сама мужчинам на шею вешалась и даже в письменной форме. А как у нее с премьером роман не вышел, она за старого богатого маршала замуж и выскочила. И еще неизвестно, как бы она в Париже развернулась, если бы к нам сюда в эмиграцию попала... Татьяну, — говорит, — вы уж лучше из козырей ваших выкиньте.

Так я и крикнул. Ведь этак, если все классические типы к эмиграции примерять, что ж это будет?.. С женой даже посоветоваться хотел. Да эта уж... Не поймет.

\* \* \*

А потом вот и пошло балетное это икроверчение. В студию какую-то раздевально-пластическую записалась. Науки забросила — по физике еле ползает. В которм, говорю, году Расин родился? А она мне еще и дерзит: посмотрите в «Ларуссе», если вам приспичило. Сам по-французски дальше молочной ни слова...

Мне, говорю, ни к чему, у меня своих русских мыслей в голове не уложишь. А ты-то как без образования на одних пуантах в свет выпрыгнешь?..

Хохочет... По-французски она, правда, здорово чешет — иной природный француз не поймет, что она с подругами лопочет... Но багаж-то духовный какой-нибудь нужен? Как же на одном голом трико без багажа?

Жена, разумеется, и тут поперек. За что Бубу, мол, мучишь?.. Теперь все девочки через балет в мировую

карьеру выходят. Ты что ж, ее в приходские учительницы готовишь? Опоздал, милый. В Европе жить, по-европейски и выть.

И вот-с еще и у себя в квартире терпеть должен. Мало ей студии. В пачки свои дома вырядится — совсем стрекоза в папиросных бумажках — и по всему паркету драже свое под граммофон выводит. Посмотришь из-за газеты, сердце так и закипит... Личико — марципан с вишней, интеллигентности ни на полсантима, одной ножкой над головой вертит, другой себя под мышкой подстегивает. Да еще меня, Господи помилуй, подставкой быть заставляет...

\* \* \*

Собираются у нее подружки всякие востроносенькие, кавалеры — полетки из полотеров. Пожалуйста. Милости просим! Пусть уж лучше дома флиртуют, чем по неизвестным ротондам зеленую слизь сквозь соломинку сосать...

Да и флирта-то никакого нет. Тысячелетиями занятие это держалось, а они вот прекратили. Раздеться не успеют, заведут граммофонного козла и трясутся. Оршаду попьют, отдышаться не успеют и опять под гобойный гнус плечиками трясут до упаду... Чистая маслобойка. И выражение у всех, будто воинскую повинность отбывают.

Присядешь к ним, когда уже совсем упарятся. Поговорить хочется, ведь не ихтиозавр же я, не зубр беложевский. Ни черта не выходит. То ли я к ним ключ потерял, то ли и ключа никакого нет. Лупят что-то свое французское, по глазам вижу — не разговор, а семечки. А Буба губы сожмет и все бровью на дверь показывает: ушли бы, мол, дядя, — и без вас мебели много...

Только тогда сердце и отогреешь, когда они, как дети, порой играть начнут: сядут все на пол, друг за дружкой... руками гребут и хохочут... Какие уж тут, думаю, «Соборяне», хоть искры-то детские в них, слава Богу, не погасли...

\* \* \*

А время летит. Не успели обои в столовой сменить, как ей шестнадцать стукнуло.

Говорю ей как-то в тихую минуту:

— Что ж, Люба, мечты наши старые? Уставать стал, как самовар несменяемый который год киплю. Мечтал с тобой, помнишь, ферму миниатюрную под Тулузой присмотреть... Переехали бы втроем с теткой — райские цветы разводить. Во Франции на цветы спрос, как на картошку. И лирика, и польза... Угомонилась бы ты, в зеленую жизнь бы вошла. А там какие-нибудь скорострельные агрономические курсы окончишь, хозяйство бы свое чудесно вела... Что ж, Люба, так уж точку и ставить ради прыжков твоих резиновых? Я ж понимаю, другие ради хлеба завтрашнего ноги себе выламывают, а тебе-то зачем?..

Встала она на носок, вокруг себя трижды спираль обернула, на пол воздушным шаром осела — головка, как факирская кобра, покачивается — и прошипела:

— Коров доить? Мне?! Бубе Птифру?.. Комик вы, дядя...

И журналчик какой-то паршивенький из-за пазушки вынула, мне протягивает. Сняли ее там, видите ли... На пензенском вечере за пластику она почетное звание получила: королевой пензенского землячества избрали. Шутка ли — карьера какая...

Ну, понял я окончательно: кто этого яда хлебнул, какая уж там ферма. Пусть сам бабельмандебский раджа белых слонов пришлет — и то не поедет.

С той поры и не заикаюсь. А то не дай Бог и жена за ней, в пачки нарядившись, начнет паркет натирать. Ничего. Придет мое время... Вот когда тебя балетная поденщина подшибет, когда из пензенских королев в сто двадцать девятый мюзикхолльный сорт попадешь, тогда о дяде и вспомнишь...

Басня-то «Стрекоза и Муравей» недаром написана. Только дядя-то, пожалуй, помягче муравья окажется, когда к нему взамен Бубы Птифру — родная племянница Люба Глушкова сообразоволит личико свое повернуть...

1937

## АКАЖУ

— Садитесь, пожалуйста. В этом ресторанчике так недурно кормят. Хотите печенки с луком? Или тушеной морковки? Я, знаете ли, летом предпочитаю морковку. Легко переваривается, абсолютно не тяжело — и всего три франка. Дешевле грибов.

Так вот, продолжаю. Вы не покупатель, пришли на марше-о-плюс, купите себе какую-нибудь персидского ореха рамку, хотя вам вставлять решительно нечего. Артист в душе, разве это надо на лбу писать?.. И вот, как со старым знакомым, не покупателем, могу с вами говорить нараспашку.

Объясните мне, пожалуйста, зачем эмигрантам стиль? Я продавец, я с этого свой хлеб кушаю, пусть покупают, дай им Бог всем выиграть на колониальный билет... Но меня интересует психология. Зачем им стиль? Разве в Одессе или, допустим, в Житомире мы все не сидели на венских стульях? Плохо было сидеть? Стул как стул, абсолютно прочный, и даже если дети на нем качались, дай Бог каждому так выдерживать.

Или, например, буфет... Дубовый, я не спорю. Большая важность в России дуб. И какая-нибудь резная собака на дверках. Или заяц, пусть себе заяц. Но при этом, заметьте, — ни малейшего стиля. Удобно, солидно, прочно — и непременно выдвижная доска, чтобы резать хлеб. В каком стиле вы здесь имеете такую доску? Не бросается в глаза, — но разве квартира — Лувр? Или буфет — это орган? Зато, когда, бывало, раскроешь дверку: варенье, наливка, повидло, хоть не ходи в лавку. А если ешь прямо из банки и капнешь не дай Бог на дуб — никакого несчастья: вытер пальцем, облизал, и ни малейших следов...

А вспомните спальню. Кровать так кровать. Никелированные столбики, бронзовые шишечки. Уютно, блестит, гигиенично. И если, между нами говоря, клопы — поставил каждую ножку в таз, выпарил кипятком и спи себе, как царь... Кровать для тебя или ты для кровати? Какой человеку ночью нужен стиль? Зато матрац — чистый волос, простыня хрустит, — лежишь, как на ро-

зах... А если ребенок когда-нибудь и отвертит шишечку, так что вы хотите, чтобы он с пулеметом играл?

Или передняя. Солидный желтый лак, вешалка на три семейства, и еще четвертое можно повесить. Кругом решетка, сбоку плевательница, внизу калоши... Я для вешалки или вешалка для меня?

А теперь им нужен стиль... Немножко человек поднялся, так он выглядит желтый, как дыня: откладывает на стол-директорию. Купит и потом ходит два дня кругом на цыпочках, пока привыкнет. И уже стакана с чаем он на него не поставит, потому что останется пятно. Газеты не положит, потому что прилипает шрифт. Пепельницу покупает стильную, потому что обыкновенное блюдо к директории не подходит. И подбирает себе всякие флакончики: тигровый глаз, кошачий глаз, собачий глаз... Мало у него болячек, так надо себе новые заводить.

Это, заметьте себе, только начало. Потом он приходит с женой, и оба бледнеют, и оба краснеют — и выбирают себе кресло. Людовик XIII. Такие крученые ножки, будто две колбасы переплелись, а середка чтоб с гарусной вышивкой и чтоб непременно вылинявшая — так что мы даже специально ставим на солнце, чтобы выгорало. И потом он целый день бегает кругом, и отгоняет моль, и не позволяет ребенку забираться с ногами, и сам садится только на пять минут, потому что в этих Людовиках пружины всегда, как дама в сорок пять лет: дрожат и не держат...

Вы думаете, это все? Каждое воскресенье он ходит ко мне с разбитым сердцем, как тихий помешанный, чтобы подобрать второе кресло. Подбираешь, лезешь из кожи — я же с этого свой хлеб кушаю. А после начинается: тумбочка к кровати. Тоже директория, сверху круглый мрамор, внизу акажу. Для такой практической вещи — известно, для чего такая тумбочка, — ему мавзолей нужен! Будто нельзя очки или зубы положить на табуретку...

Буфет? Так он все рюстики обнюхает. Справа — чтоб столик с пастушкой, слева — с монахом, посредине мифология, а сверху такая плоская холера для наружных тарелок... Прямо несчастье. Выберет, смотреть на

него жалко. Он же теперь полгода курить не будет, вина и не понюхает... На чем его жена экономит, я даже и не знаю, должно быть, на его аппетите. Дашь ему рассрочку, человек он сравнительно порядочный, и торговать же я должен... И что, вы думаете, у него, даже и при рассрочке, в таком стильном буфете может быть? Три пуговицы от жилетки и альбом с родственниками. И целый день ходи с тряпочкой и вытирай пастушке в ушах...

Вы думаете — все? Через месяц он приходит: достань ему ларь для передней. На вешалке гости его раздеваться не могут... Надо им раздеваться со стилем, чтобы непременно ларь... Чтобы половина пальто на крышке, а другая на полу. И тоже с мифологией, и с бархатным верхом. Конечно же, он весь проточенный, как ситечко, потому что всякий рюстик обязательно весь насквозь в дырках... Червячки у них такие есть французские. В России у нас, слава Богу, без них обходились. Шпатлевкой замажешь, воском затрешь — ничего. Но ведь совесть я все-таки имею, человека мне все-таки жалко...

Ну, подумайте сами, зачем эмигранту ларь? Для гроба он короткий, для сундука длинный... Поставь, наконец, два чемодана рядом, задрапируй пледом, вот тебе и ларь... Конечно же, я не самоубийца, этого я ему не говорю.

Так и это не все. В один прекрасный день приходит мадам — достань ей кушетку Рекамье. С лебедем. Иначе она не может... Мучаюсь, достаю. Но вы же понимаете, когда женщина уже вся как позавчерашний шпинат, зачем ей Рекамье? Зачем ей такая рамка, когда уже с картины вся краска лупится... Они никогда не понимают. И я не вмешиваюсь. Я хочу продать, а не получить протокол. За стиль я отвечаю, за дезинфекцию я тоже отвечаю, зачем же я еще за чужую глупость отвечать буду?

И опять — новое дело. Пришлешь все это более-менее чистенькое. Тусклый блеск... Что же вы хотите, чтобы Людовики блестели, как лакированные ботинки? Так они недовольны. И муж покупает какой-нибудь патентованный «Блеск для всех» и натирает, как идиот, все эти акажу, так что сердце болит смотреть. И конеч-

но, выходит вроде оспы. Они все думают, что играть на балалайке надо учиться, а полировать может каждый эмигрант, — оторвет рукав от фуфайки, посмотрит в самоучитель — и он уже краснодеревец. А потом прилетает ко мне, умоляет прислать ему интеллигентного мастера, который расстоянием не стесняется. Мастер действительно не стесняется и наводит такую политуру, что потом целый месяц они кушают одну редьку с голым арашидом...

Так вот, перехожу к психологии. Во-первых, они думают, что если покупают со стилем (и даже с паспортом), — так это самое верное помещение сбережений. Придется продать — какой-нибудь «пудрез» из птичьего глаза. Людовик пополам с Филиппом, — все так и прибегут! Станут в хвост и раскроют бумажники... Чепуха на подсолнечном масле! Я, как специалист, могу вам сказать: купить ларь или пудрез может каждый болван, а чтобы продать, надо быть по меньшей мере Спинозой. И при этом иметь и лавку, и опыт, и счастье, и я не знаю еще что... Во-вторых, на полный шик теперь никого не хватает, хотя эмигранту так же нужен шик, как генерал-губернатору мамка. Что же получается? Одни, самые умные, хорошо едят и не одеваются; другие одеваются и очень плохо едят; третьи, самые сумасшедшие, — покупают акажу, а чем они питаются, спросите мою бабушку...

Отчего вы не берете коржик с маком? Я таких даже в Житомире не ел... Вот — видите: один уже стоит и колукает нормандскую прялку. Надо идти. Будьте пока здоровы. Слыхали вы когда-нибудь в России, чтобы нормальный человек покупал себе прялку?..

1931

## У МОРЯ

На пляже, в залихватски-небрежных позах, лежат курортные наяды. Огромные попугайские зонты сливаются с полосатыми палатками; палатки — с шезлонгами; шезлонги — со штанами наяд...

Близорукий человек, попав в эту цветистую кашу, легко может сесть вместо кресла на свою жену или, Боже сохрани, на чужую... Но как-то все разбираются. Каждая душа находит свое место под своим зонтом. Сидят тесными кружками в тени, как песок струится легкая беседа, глаза обжигают глаза, блестят натертые кокосовым маслом руки и плечи.

Даже неблизорукий человек не разберет: кто тут авантюрист, кто святой, кто мулат, кто белый, кто Антиной, кто Венера... Зачем вдаваться на пляже в такие подробности? Флиртуют, болтают, разрезают волны сильными взмахами рук, — да будет легка им жизнь...

Между взрослыми ползают и барахтаются смуглые человеческие детеныши. Тащат в воду купаться упирающихся мохнатых собачек, — детеныши могут купаться сорок раз подряд, пока уши не станут зелеными, а губы лиловыми...

Мохнатые собачки знают, что это негигиенично, — но как от этого несчастья избавиться, когда маленький человек тащит тебя за компанию, головой книзу, в море? Кусаться запрещено, лаять под мышкой неудобно, а удрать из воды невозможно, потому что за каждую лапу тебя держат две детских руки.

Но, в общем, хорошо на пляже... Весь божий мир — огромный салон. Васильковый потолок отделан белоснежным карнизом облаков; ветер галантно обвеивает прохладным веером спины; посреди средиземной ванны сонно покачивается эшафот — плот для прыгунов-пловцов; по пляжу цвета чайной розы развозят на двуколке мороженое — райскую пищу для детей до шестидесятилетнего возраста...

Если ты маленький, можешь упросить маму, чтобы позволила тебе покататься на покорном ослике: так чудесно хлопать босыми пятками по гулким бокам, так вкусно скрипит красное кожаное седло... Если ты большой, иди в казино, роскошную коробку из полусантиметрового бетона, — дуй аперитив, рассматривай, повернувшись спиной к морю, наядам и солнцу, родимое пятно на собственном бедре и воображай себя Оскаром Уайльдом... Хорошо, в общем, на пляже...

А в дюнах за бугром — другой век. Может быть, бронзовый, может быть, железный, может быть, волосато-орангутангский. Перед походными скворещницами на колесах сидят кирпичные, тощие люди, обросшие бурым войлоком. Вместо костюмов — пояса стыдливости шириной в почтовую марку. Ветер раздувает на головах выцветшую паклю. Выцветшие глаза, выцветшие ресницы... Сидят и молча преют...

По временам то один, то другой вскакивает, проделывает какие-то эвритмическо-шаманские пассы — ноги циркулем, руки косыми граблями в воздухе, пальцы, как пляшущие фурии... И опять замирает. В котелке на треножнике клокочет какое-то вегетарианское варево: быть может, рагу из сосновых шишек, быть может, суп из водорослей. Ни смеха, ни улыбок, ни веселого слова. Преть надо молча, созерцательно, принципиально и по системе.

Одна из фигур — тощая коза, отдаленно похожая на вымоченную в уксусе старую деву, — подошла к морю. Зачерпнула ладонью воды, полила себе на затылок. Изогнула коричневую кисть вбок, повернула ее египетским жестом вокруг оси и отошла в дюны. Это она купалась. Выцветший дылдообразный блондин, весь состоящий из ключиц, лопаток и сухожилий, торжественно распростер девушку на песке, склонился над нею. Усыплять он ее будет, что ли, или скальпировать? Вытянул ей руку, промассировал мелкими щипками, потом другую руку... Потом стал перебирать ей пальцы на ногах, будто играл на арфе... И деловито отошел в сторону, как лунатик, исполнивший свой долг.

Над косогором сверху проходят люди — двадцатого века. Осторожно косятся сквозь сосновые лапы и с почтительным недоумением шепчут:

— Нудисты...

— Культ тела. Они переутомлены городом и возвращаются к природе...

— О, о! Скажите пожалуйста!

Какой, однако, тусклый «культ тела»... Почему эти коричневые макароны, принципиально высушенные и пересушенные на солнце, называются «культом тела»? Почему тряпочка-перемычка, скрывающая последнюю

наготу, объединяет этих скучных чудаков в какую-то нудную, скопческую секту? Что понимают в природе эти эвритмические Робинзоны, созерцающие муравьев на большом пальце собственной ноги?.. Почему нужно скопом проводить лето вместе вокруг котелка с кипящей овсянкой — без смеха, без песен, без вина, без беспечной радости легкого бродяги на легкой земле?..

Ветер насмешливо шуршит в вереске, веселые сороки стрекочут в дремучем можжевельнике, веселое море сквозит сквозь сосны... Белобрысый дылда растягивается на песке, вбирает в себя и без того вогнутый живот и медленно, с лицом пророка Исайи, массирует его грубой шерстяной перчаткой.

Мир праху твоему, волосатый бухгалтер, несущий миру новую двухсантимную бесштанную идею!

1931

## УЮТНОЕ СЕМЕЙСТВО

**В** житейской лотерейной серии «маленьких чудес» Пронину выпал счастливый номер. Приятель, взявший у него займы лет десять тому назад в Берлине 70 долларов — тогда еще у Пронина кое-какие подкожные деньги водились, — прислал ему свой долг.

К деньгам этим Пронин так и отнесся, точно нашел их на улице. Не только не положил их на книжку, даже из полезных вещей ничего себе не купил, деньги легкие, надо было их легко и спустить. И мудро решил пожить месяц барин не барином, а на полной воле. Пусть, черти, в пансионе за ним поухаживают, — будет сидеть на веранде, на осенних бабочек смотреть. Одна нога на камышовом кресле, другая... Впрочем, он так и не мог себе представить, какое роскошное положение будет занимать вторая нога.

Свое маленькое малярное дело оставил в Париже на компаньона и уехал в Сен-Клер. На обыкновенной географической карте даже и точки такой не разыщешь, — кто-то из знакомых назвал.

Оказалось, что такое место (на прошлой неделе Про-

нин и имени его не слышал) — не выдумка. Десяток вилл у Средиземного моря, одна другой домовитее и милее: словно в каждой давно-давно еще в детских снах жил. Группа пиний на бугре. Захолустный заливчик, окаймленный дюнами, — так к ним и потянуло — к простым песчаным буграм... И местные людишки, тихие провинциальные французы, копошащиеся около своих пансионных дел.

За домишками крутой стеной пустынные холмы. Занавес... Посмотришь из окна и спокоен: может быть, никакого прошлого и не было. Дьявол выдумал, ветер унес.

Первые дни благодные, небывало спокойная жизнь до того укачала гостя, что он даже растерялся. Можно встать утром и выпить кофе внизу. Можно у себя поваляться: подадут в номер. Можно лечь в дюнах и, превратившись в грудного младенца, сосать былинку... Или уйти в горы и на каждом повороте, через каждые десять шагов безмолвно ахать перед всей этой красотой, которая и без него, приезжего человека, вчера здесь сияла. А уедет Пронин в Париж, к своим малярным заказам, — горы, небо и пинии даже и не поморщатся. Одним муравьем меньше.

Гость отвык от природы, до природы ли эмигранту? А тут она вдруг навалилась на него во всей своей осенней чистоте и ясности. Безлюдье, — чайка сядет в двух шагах на волну, будто никакого Пронина и на свете нет. И выходило совершенно очевидно, что чайка эта со дня рождения ведет самую настоящую правильную жизнь, а приезжий гость в дураках оказался: учился, воевал, трепался из страны в страну, а теперь чужие комнаты обоями оклеивает.

Городской человек, если очутится лицом к голой природе, два дня поохает, потом задумываться начнет. Все, что дремало в городе под спудом, все главное, что ради «дел» ушло в душевный подвал, — выплывает и требует хоть какого-нибудь куцега ответа. А Пронин никаких ответов не знал. Не он сеял — жать ему... Что поделаешь.

Ночью, распахнувши окно на море и глядя на полный месяц, блаженно сиявший над чужим заливом,

приезжий понял, чего ему недостает. Вот сейчас, сию минуту. Русской беседы. Не эмигрантской, от тупика в тупик, от беды к беде, а так, в пространство, в неизвестном направлении, как на русских дачах когда-то разговаривали.

Как и у многих за последние годы, все больше крепла у него острая иллюзия, будто прежде, до обвала, даже самый захудалый Новгород-Волынский (из которого он когда-то очертя голову сбежал в Петербург) был переполнен необыкновенно — уютными людьми.

Кипящий самовар и вареники с вишнями перемешивались в памяти с обрывками чудесных дачных разговоров, с теплым сиянием добродушных глаз... И семени не осталось.

Ах, если бы, думал он и с враждебным недоумением всматривался в черные камни, окруженные бурлящей лунной водой, хоть кого-нибудь чудом встретить в том прежнем облике...

Прикрыв тихо ставни, сел на кресло, сжал крепко пальцы, — и показалось ему, что в этот лунный час несчастнее его во всем мире человека не было.

\* \* \*

На следующее утро Бог ему это чудо показал. На веранде сидел в допотопном чесучовом пиджаке и панаме плотный человек: бородка табачным венчиком, благодушные ленивые глаза. Пил чай из давно невиданного подстаканника — с собой привез, где же в Сен-Клере такую штуку достанешь. Рядом с ним вальяжная дама намазывала масло на хлеб — на каждой фотографической русской группе такие дамы в старину на первом плане полтора места занимали. Жесты медлительные, будто на виолончели играет, локти сахарные, вокруг головы толстая коса выборгским кренделем уложена... Дочка, курносенький худыш, крошила в чай бисквит, болтала одновременно ложечкой, языком и ногами да еще умудрялась непрерывно встряхивать челкой, над которой огромной бабочкой торчал гранатовый бант.

— Французский пансион! — недовольно фыркнула дама, словно свою прислугу распекала. — Порядочного

кофе подать не могут... Бурда. Надо было в такую дыру забираться. Хоть бы в Париже посидели подольше. Черт с ними, с дождями, на то и зонтик есть...

— Да ведь, Клавдия...

Господин с бородкой вяло развел руками, как он, должно быть, разводил уже сорок тысяч раз.

— Ты же знаешь, дружок, почему мы из Парижа выкатились. Еще ведь месяц отпуска, а мы того: на одну овсянку осталось. Здесь вполне сносно перебиться можно... Кофе плохой — пей шоколад. На это хватит.

— Чтоб меня воздушным шаром разнесло? Благодарю покорно. Еще рыбьего бы жиру предложили...

— Ну, чай пей. Надо же как-нибудь перебиться.

— Морская трава у них, а не чай. Не желаю я перебиваться. Не для этого во Францию приехали...

Господин поморщился. Муху из стакана выкинешь, а с женой — что делать...

— Об этом в Париже, матушка, думать надо было. Поменьше бы тряпок накупала...

— Ах, вы по-пре-ка-е-те!

И так чудесно пропела этот глагол, с такой неподражаемо переливающейся в презрение обидой, что на Пронина так Новгород-Волынским и пахнуло.

— При вашем положении чумичкой я, что ли, должна в Ковно возвращаться?

— Зачем же, мать моя, чумичкой. Сундук твой, слава тебе Господи, по швам трещит. Чего тебе здесь не хватает? Море, тишина. Виноград дешевый. Ты ж природе любишь...

— Природа... На хлеб я ее буду намазывать, вашу природу? Не пятнадцать мне лет — на голую природу любоваться.

Пронин, прикрывшись газетой, жадно слушал. Господи, какие давно забытые интонации... Кто такие? Что за ковенские ископаемые?

Дама все не могла успокоиться. Съела три бутерброда и опять:

— Общества никакого. Какие-то старосветские французские помещики, — она бесцеремонно кивнула в сторону старенькой четы, тихо сидевшей в стороне за столиком. — Сезон кончен. Прямо курам на смех...

Пронин усмехнулся. Сколько лет он про этих кур не слышал.

— Брось! Дай хоть чай допить. Что за манера с утра пилить человека... Слава Богу, что сезон кончен. В сезон у них цены кусаются, душечка. Проживем месяц, и дело с концом. А там у нас не очень-то разбираются, что Сен-Клер, что Сен-Рафаэль, — один бес. Ну, наври что-нибудь. Ведь вон тот в углу, в синем галстуке, — он показал глазами на Пронина, — человек солидный, живет же здесь и доволен...

Но барыня даже и «человека в синем галстуке» не оставила в покое.

— Комиссионер какой-нибудь голландский. Может, он лучше Сен-Клера и курорта никогда не видел. Конечно — будешь доволен.

Пронин улыбнулся во весь рот, привстал и вежливо объяснил:

— Простите, пожалуйста. Я не комиссионер и не голландец, а, как изволите видеть, девяносто шестой пробы русский. И если ничего не имеете против, позвольте представиться — Иван Ильич Пронин. Приехал сюда из Парижа отдохнуть и, как ваш супруг справедливо заметил, — действительно вполне доволен. Курортов перевидал немало, но лучше места для отдыха и не выдумаешь.

Дама спекла рака, даже ушки, даже великолепная ковенская шея покраснела, хотя надо было просто весело рассмеяться. Муж неуклюже раскланялся и пробормотал, что ему «очень приятно». Но дочка выручила:

— Русский, русский! Вот и чудесно. Я с вами гулять буду. А то они все ссорятся, мало они нассорились дома...

Дама так брандмайором и вскинулась:

— На-та-ша!!! Сейчас ступай в свою комнату... Два дня без третьего блюда. Сколько раз я тебе говорила — когда взрослые разговаривают, дети не должны вмешиваться. Марш!

И после повелительных слов по адресу дрянь-девочки сразу же, обернувшись к Пронину, растеклась малиновым сиропом:

— Бога ради, простите. Совсем как в водевиле, такое кви-про-кво вышло. Очень, очень рада. Сахновская. Виктор Иванович! Что же ты, друг мой, язык проглотил. В самом деле очень приятно в такой дыре с соотечественником встретиться.

Дочка стояла у входа на лестницу и, несмотря на предстоящие ей два дня без третьего блюда, улыбаясь, во все глаза смотрела на русского дядю.

— Что же ты торчишь там? Десять раз повторять надо? Ступай!

— А может быть, вы ее простите ради неожиданного нашего знакомства? — мягко вступился за девочку Пронин. — Ведь я был невольной причиной ее наказания... Пожалуйста. Мы больше не будем.

Но дама поджала пухлые губы, кисло улыбнулась и насупилась.

— Нет. Лучше и не просите. Не в моих принципах отменять наказания. Садитесь, пожалуйста.

А муж, взглядевшись в Пронина, откинулся к спинке стула и хлопнул себя по коленке:

— Сказала тоже... Да разве голландцы такие бывают?.. С биографией нашей вы по нашему разговору немного знакомы. А теперь надо и с вами познакомиться. Коньяк пьете? И расчудесно. Стало быть, и ваша биография нам теперь отчасти известна. Вот мы ее сейчас и спрыснем... Гарсон!

И ковенский гражданин, весьма довольный своей остротой, до того огулнительно расхохотался, что французские старички испуганно обернулись и еще тише между собой разговаривать стали.

\* \* \*

На следующий день, во время завтрака, Пронин получил еще большее удовольствие. За два месяца в вагонах да номерах супруги друг другу достаточно надоели... А тут свежий слушатель попался, да еще русский. В глухом Сен-Клере — прямо дар судьбы.

— Что же это вы, милостивый государь, уединяетесь? — крикнул, потирая руки, Сахновский. — Валите к нашему шалашу. Вместе почавкаем.

— Фи, Виктор, какие у тебя выражения! — поморщилась барыня.

— Ничего, душечка. Не по-испански же разговариваем... Водчонки? Флакон собственного изделия в чемодане завалился. Слеза! Эй, гарсон, еще одну рюмку! Ишь, как поворачивается. Гражданин вселенной. Одолжение мне, подлец, делает. Раз ты лакей, черт тебя задави, пол под тобой гореть должен! Разве так у нас на Литве служат... Собственный у меня служащий при конторе есть, вроде казачка. Чаю! Даже и не скажешь, палец только подынешь. Он тебе, ракалия, в момент сразу все и прет: чай, пончики, сливочки... Да какие, батенька, сливочки. Президент здешний таких не пьет.

— Ну, мы тут от казачков поотвыкали. Каждый сам себе и казачок, и нянька, и мамка, — добродушно заметил Пронин.

— Ужасно! — ковенская дама трагическим жестом поправила брошку с довоенным портретом мужа. — Я бы и трех дней не выдержала.

— А мы тут тринадцать лет выдерживаем. Экая беда! — сухо ответил Пронин. — И если кто-нибудь из эмигрантов еще казачков держит, это, знаете ли, седьмое чудо света.

— Мы не эмигранты, — гордо пояснила дама.

Пронин осекся. Вот так финик! Не из полпредских ли они ковенских кругов? Серп и молот на буржуазной подкладке?.. Нет, аллюры не те. И у девочки крестик гранатовый на шее, — это у них не в стиле.

— А кто же вы, простите за естественное любопытство?

— Литовские граждане, — с достоинством ответила новая знакомая. — Муж еще в 23-м году подданство принял. У него положение — это необходимо.

Дама так вкусно произнесла «положение», будто бутылку со старой малагой откупорила.

— У меня положение, — солидно подтвердил муж.

И вдруг так весь благодушно и засиял, точно пятки ему гусиным пером пощекотали.

— А это вы насчет седьмого чуда правильно заметили. Действительно, семейство наше за деньги показы-

вать можно... Войны не видали. В Европе по военным приказам с женой мотался, потом так и застряли. Большевизия мимо нас прошла, Бог миловал — до Ковно волна не докатилась. Единственный, сударь, русский город, который не захлестнуло. Здорово?

— Бывший русский, — поправила его жена.

— Ладно, матушка. Без тебя известно... В эмиграции тоже не мыкались, потому что еще с двадцатого года я на свою специальную полку попал.

Загибая похуже на морковки пальцы, он, вспоминая все, что его семью миновало, точно роды оружия перечислял: в артиллерии не служил, в кавалерии не служил, в пехоте не служил...

— А какая же ваша специальная полка? — любопытствовал Пронин.

— Водочным заводом управляю. Да-с. Чистенькое, сударь мой, дело... — Сахновский назвал место, которое он на земном шаре украшал: не то Лодыжки, не то Пропилишки.

— Аркадия у нас форменная. Как в довоенном раю живем. Сад у нас фруктовый в три десятины. Яблоки с мою голову... Горы. Свиньи не едят, хоть в пирамиды складывай. Индюшки свои. Сало свое. А я вот в отпуск сдуру поехал, жене Францию показывать... С жиру люди бесятся. А что здесь видели? Подтяжки да дамские рубашки. Да вот в Сен-Клере этом паршивеньком отсидиваемся теперь, экономию нагоняем.

Дама иронически передернула плечиками.

— Меньше бы по ресторанам слонялся, вот бы что-нибудь и увидел.

— Что же ты меня ресторанами коришь... На твои комбинезоны не меньше ушло. По ресторанам тоже понятие о стране составляешь. Был, между прочим, и в ваших эмигрантских заведениях. Кормят сносно, хотя куда же им до нас. Да из литовской курицы два ваших индюка выйдет! А закуски! Хо-хо! Мой Мишка вам такой дивертисмент соорудит, что язык проглотите. А вот служить у вас не умеют... Это уж извините.

— Как служить? — переспросил Пронин.

— Да гарсоны эти ваши эмигрантские. Разве так

служат? — Водочного управляющего, очевидно, этот вопрос особенно волновал. — Фамильярность какая-то. Улыбочки. Разговорчики... Каждый должен свое место знать. Принес — унес, раз-два, нечего дурака валять. Расстояние понимать должен. К судомойке пойдешь, ей и улыбайся!

Пронина передернуло. Но он сдержался и чрезвычайно вежливо отчеканил:

— Я в наших русских ресторанах не раз бывал. Служащие там образцовые. Большинство из них настолько воспитаны, что могли бы давать уроки вежливости даже иным господам с... «положением». И многие из них в прошлом... Впрочем, вы не эмигрант и многого не изволите знать или не желаете знать. Что же вам и объяснять. Чепуха.

Сахновский переглянулся с женой и посмотрел сбоку на Пронина: «Черт его знает, что за гусь» — и смолчал.

Уютный разговор подходил к концу. Благополучные ископаемые из Литвы жили, очевидно, на другой планете.

— А вы сами чем занимаетесь? — опасливо спросила дама.

Пронин чуть было не ляпнул: «Банщик, — в турецких банях квасом головы туркам мою»... Но удержался и, учтиво склонив пробор, доложил:

— Малярное дело у меня, сударыня.

— Собственное? — с благосклонным удивлением осведомился Сахновский.

— С компаньоном вместе держим. Сами директора и сами маляры.

— То есть как же это? — Дама нахмурилась, брошка с фотографией мужа так и заходила, словно на рессорах.

— Очень просто. Один раз я директор, а компаньон — маляр. Другой раз — наоборот. Когда спешная работа, третьего приглашаем. Вице-директором.

— Какая же, собственно говоря, разница? — оторопело спросил господин из Пропилишек.

— Разница в положении огромная. Директор обык-

новенно обои клеит, это много легче. А маляр потолок белит — голову задирать приходится, белила на лоб каплют... Потеешь больше. Вот мы и чередуемся.

Супруги опустили глаза. Оба густо побагровели, хотя на веранде совсем не было жарко.

Пронин поднял с пола котенка, посадил его к себе на плечо и встал.

— Что же вы... и на чай получаете? — складывая салфетку и глядя в сторону, ядовито процедила дама.

— Зачем же? Дело не такое... Сами консьержкам даем, когда работу через них получаем. Вот когда я... гарсоном служил, тогда и сам получал. А что? — спросил он в упор. — Почему это вас интересует?

Она промолчала. Но совершенно было ясно, что уж за Пронина, за выходящее из «их круга» знакомство с ним, супруг полную порцию в номере получит...

Но Пронина уютное семейство больше не занимало. Было и нет. Стоит ли из-за всякой пролетной моли печенку себе расстраивать.

— Рыбу пойдем ловить? — спросил он гарсона, вошедшего в углу с посудой.

— О, сударь, конечно! — весело ответил гарсон. — Вот только стаканы вытру...

И с осторожной лукавостью показал глазами на напыжившихся супругов, с грохотом отодвигающих стулья. Русского разговора за обедом Жозеф, конечно, не понял — но зато в интонациях разобрался отлично...

В это время дверь с лестницы на веранду хлопнула, и в столовую влетела запропастившаяся куда-то во время завтрака дочка Сахновских.

— Половина второго, мамочка! Я свою порцию в углу отстояла... Теперь до самого вечера шалить не буду.

— Молчать! — цыкнула на нее, словно прорвав предохранительный клапан, дама. — На кого ты похожа?! Посмотри на себя в зеркало! Судомойка ты, что ли, или моя дочь?

— Да я, мамочка...

— Сейчас же ступай к себе. Полчаса отдохнешь и опять на час в угол.

— Но, мамочка! Дядя Пронин обещал меня с собой на рыбную ловлю взять... Ну, я после постою...

— Сту-пай на-верх!

Голос главнокомандующего звучал так грозно, что девочку словно пылесосом выдуло.

Пронин поморщился. Ведь вот ей, мышонку бедному, два раза из-за него влетело. Что поделаешь...

Супруги выкатились. Он подошел к стеклу: вдали под метелками камыша проплывала парусная шхуна — ленивый Летучий голландец... Мимоза в воздухе чертила нежный узор, качалась, уводила глаза Бог весть куда. А над головой гудел потолок, перекатывалось кресло: должно быть, двухспальные дураки цапаются... Новоградовольнский аккомпанемент.

— Что же, Жозеф, скоро?

— Сейчас, сударь. А как вы полагаете, — он поднял глаза кверху, — карету «Скорой помощи» вызывать не придется?

1931

## СТРАШНЫЙ СОН

Жосподин Бубнов, один из кротких и симпатичных устроителей «Парижского бала прессы» 13-го января вернулся на рассвете домой с первым метро. Воротник у него размяк, усы, щеки и уши обвисли, но зато душа расцвела, как подсолнечник. Слава Богу, все было кончено: желтая бальная лихорадка прошла и опять можно было дышать, завтракать и браниться с домашними в нормальном темпе.

Не раздеваясь, если не считать сброшенного на пол левого башмака, бросился он на кровать, прикрыл голову «Последними новостями» и блаженно закрыл глаза.

И вдруг... те-ле-фон! С отвращением высунул он нос наружу и схватил лежавшую на ночном столике трубку.

— Алло? В чем дело? Меня нет дома...

— Иван Кузьмич? Здравствуйте, здравствуйте! Сколько для бала чайной колбасы надо?

— Для какого, к черту, бала?

— Для бала прессы... Странный вопрос!

— Что?! Да ведь я только что с бала прессы вернулся.

Голос в телефоне изумленно фыркнул:

— Здорово! Вам бы, Иван Кузьмич, голову под кран сунуть надо. Ведь бал прессы сегодня...

Бубнов вскочил. Посмотрел на календарь — тринадцатое... О Господи! Схватил записную книжку, перелистал:

«Срочно добыть двух первоклассных девиц для продажи цветов — и одну обыкновенную в резерв».

«Съездить в типографию за программой и намылить корректору голову за опечатки».

«Кнопки и клей для лотереи».

«Уломать певицу К., чтобы она отложила свой грипп на сутки и пела».

«Кто взял на себя сахар?»

«Попросить конферансье, чтоб он попросил публику, чтобы во время чтения разговаривали не все сразу...»

«Кто взял на себя кильки?»

«Написать экспромт и не забыть постричься».

«Оставить для господина (фамилию по телефону не разобрал) столик. Чтоб он сгорел!»

«Кто взял на себя пирожки?»

«Перетасовать певиц в обратном порядке».

«Пригласить в кабаре д'Аннунцио... Путевые расходы за его счет».

«Кто взял на себя котлеты?»

\* \* \*

Бубнов провел ладонью по глазам и отвернулся к стене... Пульс 140, давление 38...

Под дверью в парадной зашуршала почта.

«Коллега С. читать на балу не может: ячмень под мышкой. Желает успеха и прочее».

«Господин К. жертвует для лотереи детскую ванну и просит приехать за ней в Версаль. Свидетельствует свое почтение. Сейте разумное, доброе, вечное — и тому подобное...»

Чтоб он сдох!

«Скрипач Б., принципиально возмущенный тем, что

заметку о его выступлении набрали петитом, отказываются выступать...»

Бубнов широко раскрыл рот, заплакал... и не стал читать дальше. Быстро подошел к аптечному шкафчику, схватил склянку с нашатырным спиртом, залпом выпил... и, как всегда полагается в таких случаях, — проснулся. В окне серело кислое утро.

Дрожащей левой ногой нащупал Бубнов туфлю и пошел к консьержке.

— Простите, мадам... Какое сегодня число?

— 14-е, сударь. Да вы не волнуйтесь — платить за квартиру ведь только завтра...

«Квартира, — подумал Бубнов, весь просияв, как натертая мелом медная пуговица. — Нашла тоже предмет для огорчения... А вот заставить бы тебя, матушка, повозиться с балом для прессы — посмотрел бы я тогда на тебя, ячень тебе под мышку!»

1932

## ПАСХАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ

**А**люминиевые копи сегодня пусты. Если идти по верхнему краю, они, как в чашке, — по крутым бокам зигзагами вниз уходят жирные коричневые пласты; перевернутые тачки, ржавые вагонетки и воткнутые в землю лопаты, словно брошенные детские игрушки...

Словно дети без всякого плана исковеркали бока и дно оврага, вырыли ямы, провели игрушечные рельсы, прокопали узенький туннель, — надоело, бросили и ушли... У площадки, где обрывались рельсы, мертво желтел похожий на гигантскую опрокинутую песочницу приемник, откуда руду пересыпали в грузовики.

Бывшему агроному Павлу Пастухову весь этот голый, как ободранная корова, пейзаж давно осточертел, — на ладонях незаживающие пузыри, все тело с головы до пяток проедено красновато-бурой пылью руды. Но дорожка к лесу шла над копиями — и всегда по праздникам он останавливался на полпути и смотрел: так не-

привычен был безлюдный, празднозияющий кратер копей...

Конечно, это только временный и не особенно страшный ад, конечно, «настоящее» начнется, как только он выберется отсюда. Агроном же он, черт возьми — первая профессия в мире, — а не связка мускулов, двунный двигатель тачки. Голова свободна, руки и ноги сильные, — но вот шел уже третий год, все то же: мутный гул взрывов, кирка, лопата, тряска вагонетки да механическое, как у дрессированной собаки, втягивание головы в плечи, когда скрежещущий вагончик вкатывался в низенький туннель... Два с лишним года... Он посмотрел на дощатую клетушку-контору, — гнуснее всего то, что он, кажется, стал уже привыкать. Разрезать веревку нетрудно, но — куда пойдешь? Не знал Пастухов на всей земле ни одного адреса, где бы его ждали, улыбнулись навстречу и сказали: здесь.

Он поднес к лицу ладонь ребром, ниже глаз, — копии исчезли. Вдали серым ящиком с замшелой пирамидальной митрой вздымалась над местечком надоевшая колокольня. Скучными каменными бараками жались друг к другу старые дома... Клопы, ревматизм, сырость... Дальше, чуть опушенные свежей зеленью, вдоль дороги тянулись платаны. Грузно наплывающие крутые облака. Похожий на верблюда, бесконечно чужой, далекий холм... Пестрая гусеница поезда с рокошущим гулом весело всползает на мост, сорока плавной бесшумной стрелой летит черт ее знает куда, толстяк в забитом пылью автомобиле подпрыгивает на повороте и ныряет в лес... Один он, бывший агроном Павел Пастухов, как муха на липкой бумаге, — ни-ку-да...

Он зашагал к лесу и от скуки стал гадать: если до того камня четное число шагов — уедет в этом же году. Перед самым камнем стал фальшивить и подгонять шаги — но ничего не вышло. Метнул, как копье, острокопечную палку в груды песка: если вонзится... Но палка с грубым треском растянулась на кремнистой дорожке. К свиньям собачьим... Чепуха.

Вдоль опушки протянулись чахлые сосны с горшочками у стволов. Бурая смолистая кровь застыла бугор-

ками у зарубок, тощие лапы безжизненно сквозили в чаше. Взрывая толстыми подошвами вереск, дошел он, как всегда, до старого каменного столба — в выбеленной нише, в цветном ободке желтел католический крест из лучинок, — какая-то прохожая душа смастерила... И он вдруг вспомнил: да ведь сегодня русская Пасха. Шевырев просил к обеду не запаздывать — сегодня же пасхальный обед по раскладке.

С горы идти было веселее, — сердце стучало ровнее, в руке болталась светлая метелочка вербы, камушки, гулко журча, катились вниз... Что ж... Все-таки Пасха...

\* \* \*

Десяток дощатых стойлиц, цыганское жильё, — вытянулись в ряд. В трех крайних, почти у дороги, жили русские. Сквозь распахнутые двери сразу было видно, что жильцы-соседи мало были похожи друг на друга... На стене у Шевырева висели, притиснутые кнопками, генералы; над ними кавказский, в бурых облезлых ножах, кинжал и выцветший юнкерский погон с продетым сквозь петлю блеклым бессмертником. У Пастухова висели штатские: Пушкин, Гоголь, Толстой и, не по рангу рядом, грузный Апухтин; сбоку, на покоробленной доске, пестрела стопка книг. Провансальские мухи, впрочем, с одинаковым усердием, перелетая из двери в дверь, засиживали и военных, и штатских, наполняя клетушки несносным жужжанием... В третьей каморке мухам было мало радости: на стене из-под куцей простыни торчали разглаженные концы брюк — синих, коричневых, серых, — но над простыней свисали с потолка липкие спирали бумажек. Чагар-Туганов любил порядок, а романтику свою насыщал заботой о гардеробе, на что у него были свои особые, веские причины...

Соседние стойлицы были наглухо заколочены, — только в самом крайнем, против колодца, жил угрюмый итальянец, по целым часам в свободные дни строчивший у порога на мандолине то «Санта Лючию», то «Интернационал». Пробовал он, было, прислушавшись к русским голосам, разучить и «Коль славен» — но ничего

не вышло. Жил он в стороне, стряпал отдельно, с русскими хмуро здоровался по утрам, дергая мохнатой головой, словно осу сгонял с носа. И даже когда брился перед баракком, склонив к зеркальцу толстые, баклажанного цвета щеки, — он поворачивался всегда к соседям широкой, как шкаф, спиной. Равнодушие, впрочем, было обоюдное. Против «Санта Лючии» русские соседи ничего не имели, но «Интернационал» вызывал в памяти далеко не лирические воспоминания...

В это пасхальное воскресенье итальянца, слава Богу, не было дома и можно было расположиться на воздухе на полной свободе. Поставили под помолодевшим, шелестящим свежей листвой каштаном столик, покрыли его чистой шершавой простыней. Шевырев постарался: спрессованный с вечера творог, пересыпанный сахарной пудрой, сошел за сырную пасху; яйца окрасил лиловым анилиновым карандашом; кусок тугой ветчины, расставшийся, наконец, с витриной местечковой лавочки, вполне заменил окорок. И посредине — гордость стола — штоф кальвадоса, заправленный какими-то былинками, которые Шевырев разыскал за бугром и, упрямо обманывая самого себя, называл зубровой травой. У ног из ведра уютно торчали, словно жаворонки из гнезда, горлышки пивных бутылок. Ведь вот — и глушь, а почти полный парадный комплект соорудили. Не поросят же из Марселя выписывать...

Чинно уселись. Вся в коричневых подтеках рабочая рубашка отчаянно размахивала рукавами над забором — у людей, мол, праздник, а ее так и не отмyli... Но сидевшие за столом на рубашу и не смотрели, — белье и пиджачные пары на них были чистые, башмаки и туго приглаженные прически блестели, — только руки да ногти отливали навсегда въевшимися шоколадными полосами.

Шевырев быстро опытной рукой нацедил в горчичные стаканчики кальвадосу: себе доверху, сожителям по половинке. Наскоро чокнулся и, не дожидаясь попутчиков, ухнул в себя свирепую водку.

— Вполне! Ты что ж, Павел, нюхаешь? Пятьдесят пять по Реомюру. Можешь не сомневаться.

— Не люблю я этого скипидара, — задумчиво отозвался Пастухов. Отхлебнул глоток и поскорее зачихал в рот кусочек каучуковой ветчины.

— А я, душа моя, обожаю. Если при нашей биографии хоть раз в месяц, да еще в такой день, не наалюминиться, что ж это и будет? Пей, Туганов! Арум, бабай! Аллах простит, сегодня русская Пасха...

Татарин повернул круглую голову, аккуратно выпил свою порцию и перевернул стаканчик.

— И все. Какой Аллах? Сам себе запрещаю. Вот ты только начал, совсем красный стал. А что дальше будет? Кровь себе паскудишь, жилки у тебя на носу. Глаза, как у рака... Кто тебя любить будет?

Шевырев размазал на ладони оставшиеся в рюмке капли, жадно вдохнул носом — это ему вполне заменяло закуску — и опять потянулся к кальвадосу.

— Ва! Мулла какой нашелся. Кому ж тут любить, чучело крымское? Коза, что ли, проходящая на меня позарится? А что ж делать-то прикажешь — «Египетскими ночами» услаждаться?

Туганов не понял:

— Зачем наслаждаться. Ночью спать надо. Ну, выпей немножко, подыми сердце... А тебе б скорей, скорей, — черт у тебя в голове рыгать начнет, ты и доволен. Красиво пить надо. Чтоб как птица стать.

Шевырев хрипло захохотал и через стол хлопнул Туганова по плечу.

— А разве я не птица? А ты, Минарет Ахметович... Только ты вот как чижик пьешь, а я — как страус. Что ж, страус насекомое, по-твоему?.. Пастухов, ты чего на забор уставился? Созерцать изволите? Хочешь, я тебя для праздника на крышу посажу?

— Отстань, — рассеянно бросил агроном. — Экий ты, поручик, сегодня шумный.

— Да уж, какой есть. На одной льдине, душечка, плывем, надо нам друг к другу приноравливаться.

— Очень ты приноравливаешься, — добродушно улыбнулся Пастухов и вдруг, насторожившись, повернулся к дороге.

С поворота спускался легкий шарбанчик, — мул,

словно притворяясь породистым рысаком, жеманно подбирал толстые ноги. На передней скамейке сидел курносый, желтоволосый хлыщ в новом сиреновом костюме и с сознанием собственного достоинства подбирал вожжи.

Шевырев обернулся на скрип.

— А, помещику здравия желаю. Не соблаговолите ли по случаю праздника к нам? Финь-шампань у нас сегодня отменнейший... Семь звездочек, собственных погребов, разлива 1935 года. Что-с?

— Не могу, — вяло откликнулся с козел юноша. — Тороплюсь на станцию, посылку получать еду.

Шевырев привстал, изысканно расшаркался и буркнул, достаточно, впрочем, громко:

— В таком случае, ангел мой, псу под хвост. Воздушный поцелуй папаше-мамаше...

Ангел покраснел, стегнул мула, и шарбанчик, упуго подпрыгивая, нырнул в узенькую улочку местечка.

— Ты что ж хамишь? Трогал он тебя, что ли? — сердито наскочил на Шевырева агроном.

— Наплевать. Дармоед он свинячий. Папаша в Марселе с попутного ветра пену снимает... Дела-с. Да еще тут имение изволили завести, шато с марципаном. Прислал эту цацу, видите ли, для ознакомления с хозяйством. Да он козла от быка не отличит, глист курносый. В тачку бы его запрячь, небось бы поумнел...

Туганов отодвинул свою яичницу и внимательно посмотрел на поручика.

— Шайтан тебя разберет. Человек ты правый, генералы у тебя висят, а слова у тебя левые. Десятник у тебя — болван, управляющий — собака, хозяин с тебя полторы кожи дерет. Теперь вот к этому привязался: почему помещик? почему курносый? Левый ты или правый? Скажи мне окончательно.

Шевырев даже опешил, до того его эти слова ошарашили. Налил себе все того же пойла, влил под взъерошенные усы, пополоскал рот и с отвращением проглотил.

— Стану я тебе, арбузная голова, объяснять.

— Не станешь? Потому не станешь, что и сам не понимаешь.

Поручик перегнулся к Туганову, раскрыл было рот, но только хлопнул по спинке стула железной ладонью, повернулся и пошел к себе.

Он как раз дошел до такой точки, когда заваливался пластом на койку, сбивал ногой с колка балалайку и, злобно уставившись в угол, перебирал долго, не нажимая ладов, пискливые, вялые струны...

\* \* \*

Пастухов медленно обогнул пустынную площадь местечка. Солнце и тишина. Заваленная сосновыми пнями стена кооперативного склада. Рядом изъеденная дождями и ветром церковь — скудное барокко провансальских местечек... На паперти — одуревшая от скуки коза. У решетки памятника жертвам войны вяло играли дети — набивали жестянки из-под сардин пылью. По углам площади темнели кургузые шелковичные деревья. У занавешенного камышовыми висюльками входа в булочную, вся в черном, старуха вязала черный чулок, — не третий ли год все тот же бесконечный чулок...

Он спустился по узкой улочке к мосту, мимо жалкого кафе с дремавшими у липких столиков стариками. Гусь, вытянув шею, настойчиво стучал клювом в кран у перекрестка. Пастухов дернул рычаг и напоил умную птицу. Перед кузницей стоял поперек дороги мул в пестрой упряжи, мотал малиновыми кистями и фыркал: что же это о нем забыли?

Внизу за безмолвной облупленной школой весело клокотал ручей. Пастухов присел на парапет моста, вздохнул всей грудью. Во всем местечке только этот ручей под наметом каменных дубов был ему близок: вода шумела, взрывала сонную тишину забытого Богом городка, пенясь, летела по крутому ложу вдаль. — русские надежды и мысли так тесно переплетались с беспокойным рокотом и плеском, что и уходить отсюда не хотелось.

Вверху на дороге заскрипели торопливые шаги. Агроном поднял голову: Туганов. Что ж, все-таки свой... Куда это он так расскакался?

— А я к тебе, Павел Петрович. Сойдем вниз, пожалуйста. Тут народ ходит. Секрет у меня один есть, — без тебя ничего не выйдет.

Пастухов удивленно покосился на радостно-беспокойное лицо татарина — щеки мальвой, глаза, как у взыгравшего мула. Малый серьезный, крепкий, — какие еще у него тут секреты завелись?

Уселись под толстым слоновым стволом, у самой воды. Туганов прикоснулся смуглой маленькой рукой к колену соседа:

— Во-первых — подарок. Сегодня твоя Пасха. Я курить бросил, тебе пригодится...

Пастухов повертел в руке плоскую грушевую табакерку и улыбнулся.

— Чудак ты, Ахмет. Бросил, а потом опять начнешь. Как же ты без портсигара-то будешь?

— С какой стати начну? Экономию делаю. Слово себе дал, — татарское слово, как воробей в кармане... Бери. Сердцем тебя прошу.

— Да мне за что же?

— Как за что? Фотографию ты с меня снимал, за материал не брал. Французским словам учил... Если бы не экономия, серебряный бы тебе подарил. Ты для меня здесь как брат, — замечательный человек, а ты спрашиваешь за что?

— Ну, спасибо, Ахмет.

Пастухов вспомнил, что действительно Туганов у него всю эту весну все какие-то необыкновенные французские выражения выспрашивал. Как будет: «с любезным почтением желаем вам успеха». Как написать: «я человек первоклассный, не какой-нибудь жулик», «характер у меня справедливый, живу как святой, одной рукой три пуда поднять можем...» И требовал, чтобы Пастухов переводил точь-в-точь, без разбавки.

— А теперь смотри.

Татарин вытащил из-под куртки помятый номер французского охотничьего журнала и раскрыл его на последней странице:

— Видишь? Марьяжные объявления. Одна душа, например, под Греноблем вздыхает, другая — у Среди-

земного моря сохнет. Ты не смейся, пожалуйста, — вопрос серьезный. Как им познакомиться, если друг про друга даже во сне не слышали?.. А может, они один к другому, как ножны к кинжалу, подходят, только адреса не знали... Потому и печатают. Журнал помогает. Ты человек образованный, должен понять.

Агроном, ласково прикоснувшись к плечу Ахмета, добродушно усмехнулся.

— Ишь ты какой... Ну что ж, нашел ты свою душу?

— Приблизительно нашел. Конечно, объявления всякие бывают. Одной нужен солидный мужчина, предпочтительно жандарм. Я тут ни при чем. Другая рассчитывает, что ты прочный миллионер, будешь ее всю жизнь одной халвой кормить. Третья хочет на короткую любовь наняться, — она холостой, ты холостой, посредине голые деньги... Какой мне расчет? Пять раз туда-сюда писал. Кажется, теперь окончательно вышло.

Туганов порылся в бумажнике и протянул фотографию. Пастухов долго и внимательно рассматривал карточку: доброе, круглое лицо, провансальские теплые глаза, сдобные плечи в кружевной косынке, общий облик — хозяйственный и степенный, несмотря на зажатую в полной руке глупую бумажную розу...

— Одобряешь? Можешь не говорить, сам понимаю. Девушка. Кругом сирота. Земля у нее под самым Фрежюс, полтора гектара, домик — шесть комнат. Климат крымский. Ты понимаешь? Пишет, что ей максимально тридцать семь лет. Ну, допустим, тридцать восемь. Тоже мы не умрем от этого. Мне, конечно, тридцать четыре. Я молодой, красивый. Маленькую экономию сделал... Если вместе сложить, как раз полное счастье выйдет. Мул у нее, кажется, тоже есть... Вчера всю ночь в словарь смотрел, переводил. Почерк неразборчивый. Понравился я ей тоже... Карточку свою послал, пишет, что «тре жоли»... Проверь, пожалуйста.

Пастухов проверил: мул действительно был и на счет «тре жоли» тоже было верно.

— Ну что ж, Ахмет, поздравляю. Пожалуй, что ты в

самую цель попал. Скучно мне без тебя будет, да что ж, у каждого своя дорога...

— А ты подожди... — Туганов круто повернулся к агроному. — Может, скучно и не будет... Потому что теперь в тебе главный секрет и есть.

— Я тут при чем? Не на мне же ты, Ахмет, жениться собираешься!

— Не понимаешь? А еще образованный! Да мне же теперь ехать к ней надо, разговор окончательный вести. Со словарем поеду? С тобой поеду. Субботу-воскресенье, — за рабочий день тебе заплачу, разве я не понимаю. Во-вторых, полтора гектара... Ложкой я их есть буду? А ты — золотой человек, — агроном, языки знаешь. Курорт рядом, овощи продавать будем, кафе откроем. Ты думаешь, я дурак? Дай мне только лестницу, я тебе на самый верх залезу. И тебя вытащим. Плохо тебе будет?

Комнату тебе дам, процент настоящий дам, обедать, ужинать, как брат с братом, вместе будем... Разговаривать за меня будешь... Я без тебя как трехлетний... Серебряный портсигар тебе куплю. Почему молчишь? Такой человек разве здесь сидеть должен, на вагонетке тормоз вертеть, скрипкой гвозди заколачивать?.. Красивое письмо мне сегодня напишешь — предупредить надо. Дорога туда-сюда моя. Закуска тоже моя, — как принц поедешь...

Пастухов встряхнулся. Вот так история... А ведь, пожалуй, эта татарская голова игру свою до конца доведет. Он недоуменно пожал плечами и смущенно посмотрел на Ахмета, но тот и без слов понял:

— Поедешь. Верблюды дома сидят, орел дальше летит... Я, Павел Петрович, человек привязанный, очень к тебе привязался... Может, там у нее, в Фрежюсе, сестра для тебя подходящая найдется, — и тебя женим... Дела вместе такие начнем — ах! ах! — сам себя в зеркале не узнаешь. Только ты этому господину Шевыреву ни слова не говори. Он, дикий буйвол, смеяться начнет. Кто сам прилип, очень не любит, когда кто-нибудь окончательно вылезает... А я человек горячий, неприятность может выйти. Вморду могу дать, потому что дело серьезное. Сердцем тебя умоляю...

Ручей весело клокотал. Ветер переворачивал у ног страницы охотничьего журнала. — Пастухов вытащил из нового портсигара папиросу, закурил и потянулся. «А черт его знает... Одна татарская душа на алюминиевых копиях вздыхает, другая, провансальская, у Средиземного моря сохнет: авось и спойются. А третья душа по этому случаю на процентных основаниях будет артишоки сажать... Такое уж эмигрантское дело: только и выскочишь, если на фантастическую лошадку поставишь...»

Он встал, отряхнулся и просто и дружелюбно сказал Ахмету:

— Ну что ж... поиграть можно. Пойдем красивое письмо писать.

\* \* \*

Пастухов долго не мог уснуть. За стеной зверски храпел Шевырев, выдувал хмель скрежетом и свистом. Лунный ободок переливался в оконце, подмигивал: «Уедешь, душа моя?»

— Кто же его знает, — подумал агроном. — Фасад у Туганова приятный... Сорокалетней девушке, если до того дожгло, что в охотничий журнал сунулась, — не Ивана же Царевича дожидаться. А разговор весь от меня зависит. Как повернется. О Господи! В сваты попал — пожилую трепетную лань с меркантильным Адонисом сводить буду. Пес их знает — в жизни это не такая уж плохая комбинация. Кто на ком еще ездить будет...

Он сел на койку, потянулся к полке, вытащил томик Толстого, раскрыл наудачу и, поджав ноги, стал от скуки читать.

«Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, ежели бы не этот большой, стройный рост и могучая грудь и плечи и, главное, ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темной тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки...»

«Вот-вот, — рассмеялся он беззвучно. — В самую точку. Держись теперь, Ахмет, — сердцем тебя умоляю...»

В дверях зашлепали туфли. Влохмаченный, с расплюснутым лицом, Шевырев стоял быком на пороге...

— Читаешь? А я, брат, того. Переалюминился. Рому у тебя не осталось ли для поправки?

— Камфарный спирт есть.

— Бездарный ты человек, Павел. Да. Забыл тебе сказать: вчера без тебя учитель здешний приходил, звал нас в эту субботу к тетке своей — форель в речке ловить. Поедешь?

Пастухов смущенно перевернул в руках портсигар.

— Не могу, дружок. В эту субботу дело у меня одно наклеивается.

— Чудеса. Какие же тут дела? Все мы здесь, когда не на работе, — либо мух бьем, либо на забор зеваем...

— С Тугановым, видишь ли, дня на два по одному делу съездить надо...

Шевырев удивленно посмотрел на белую фигуру, сидевшую на койке, и прислонился плечом к косяку.

— Имение покупаете?.. Если, в случае чего, управляющий вам нужен, я к вашим услугам. Поручик Шевырев. Нспьющий и некурящий. Отличные рекомендации от агронома Пастухова.

— Да нет же, комик. Ахмет, ты же знаешь, давно... мотоциклетку хотел купить... Прочел объявление, что тут в городке одном по сходной цене продается. Вот и поеду с ним, — насчет языка он ведь того — как новорожденный.

— Подержанная?

— Не знаю. Кажется, еще ничего.

— Сколько сил?

— Четыре, что ли. На месте увидим...

— Заднее седло есть?

— А черт его знает. Как будто есть.

Очень трудно было Пастухову врать, да и вообще в мотоциклетке на расстоянии разве разберешься... К счастью, Шевырев оторвался от косяка и занес за порог унылую ногу.

— Ну, будь здоров, Спиноза. Заднее седло, смотри, чтобы крепкое было. Приятелей своих, поди, кой-когда Ахмет покатает... Он, собака, добрый.

Пастухов дунул в лампочку. — желтый мотылек погас. Достал из лунного шкапчика жестяную банку и, чтобы как-нибудь от всей этой чепухи отойти, стал, вздыхая и кряхтя, выскребывать со дна яблочное желе.

1932

### «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

Душок над стойкой стоял густой и сложный: нудно пахли в июльской духоте распластанные на тарелках кильки; рыжие пирожки излучали аромат прогорклого тюленьего жира; кислая капуста вплеталась в копченый колбасный душок; слоеные пирожные, по-русски крупные и густо засыпанные пудрой, приторно благоухали рядом с горкой котлет, щекотавших ноздри выпивающих и закусывающих гостей добротным запахом пережаренных сухарей. Но над всеми запахами царило алко-гольное амбре, словно чудом перенесенное в Париж из какого-нибудь старого извозчичьего петербургского трактира с Коломенской улицы... Лекарственное дыха-ние зубровки, крепкий с водочной кислинкой аромат «белой головки», шершавый запах перцовки, горькова-то-терпкий букет померанцевой, — и, как фундамент над всеми спиртуозами, теплый и тошнотворный, за-стоявшийся пивной чад.

Дарья Петровна за свои четыре ресторанных года ко всему притерпелась — к ночной работе, к излипаниям и возлияниям торчащих над стойкой разнокалиберных голов, даже к мигрени своей привыкать стала... А вот к этому сложному, сгущавшемуся к вечеру настою ни-как привыкнуть не могла, — только прижимала к нозд-рям смятый в тряпочку платочек да мученически пово-дила глазами. Хоть бы форточку по-русски в витрине завели, ироды! В кочегарках только адовой духотой да угольной пылью людей сушат, а тут летом похлеще ко-чегарки...

Работа только разворачивалась. Через садик — четыре ящика с буро-зеленой замученной паклей на прутьях — входили клиенты. Подкатывали перед ночным рейсом шоферы, чтобы подкрепить душу пирожком с вязигой, большой рюмкой водки и двумя-тремя милыми словами: сегодня Дарья Петровна дежурит. Приплелся знакомый конторщик, измолчавшаяся на службе беспокойная душа. — сейчас доест свои голубцы и начнет спорить с любым гостем направо, гостем налево, в любом направлении «туда и обратно». С каждой рюмкой зубровки все крепче будет чеканить каждое слово, — все трезвее и категоричнее рассуждать, — такая уж у него манера пьянеть. Рикошетом вкатились трое французских рабочих. С этими возни немного: свежепросольный огурец, перцовка и «здравствуйте-прощайте». Двое — постарше, усталые глаза, серые, точно цементом запыленные лица; безучастно смотрят на хозяйкин бюст — даже и такая чудовищная штука им не в диковинку, и только после второй рюмки перцовки удивленно взглянули друг на друга: серьезная водка! Третий рабочий, до чего забавно, — совсем как русский пригостишка — волосы светлым пушком, круглые детские глаза, — хотя лет ему, конечно, тридцать с гаком. Перцовкой чуть не подавился, куда ему такая... И все посматривает на Дарью Петровну; прицелился было заговорить — да не решился или не сумел. А ей наплевать — и своих прилипал достаточно, — «досыть», как говорил пан Дробышевский после пятнадцатой рюмки.

Перегнувшись над стойкой, она заткнула чью-то пристававшую к ней пасть пивом и пирожками и вспомнила о своей девочке. Сидит там в последней комнате и ждет. В отеле ни за что не хотела оставаться. Бедная мартышка, чужая она какая-то стала. Сидит в свободные часы на постели и все о своем Гавре рассказывает...

Уже два года, как Дарья Петровна переборола себя, — легче было бы руку отрезать... Отдала дочку знакомым еще по России французам в Гавре; цену берут божескую, учится она там, из сумрачного зверька превра-

тилась в безразлично-вежливую французскую девуцу. Теперь, перед отправкой в детский русский лагерь, несколько дней живет у матери... Сегодня, в дежурный день, притащилась сюда. Вот будто и отходит куда-то в сторону — теплые детские дни где-то там, в чужом городе, делают свое, — школа, подруги, ласковые к ней бездетные французы. «Дядя и тетя» вчерашнего числа, а ведь скоро и совсем родными ее дочке покажутся... Приехала в Париж, глаза чужие, все всматриваются. Тоже прокурор нашелся. Однако от матери ни на шаг... Вот и сюда, в распаренную обжорку увязалась...

Дарья Петровна встрепенулась, вспомнила о клиентах и во все стороны стала бросать:

— С мясом сейчас будут, с вязигой есть и с рисом...

— С вас — три водки, две котлеты, — рыжиками закусывали? Восемь с полтиной. Мерси.

— Иван Поликарпович, оставьте мой локоть в покое. Не для вашего носа.

— Закусывать, Петенька, надо. А то один такой пил, да не закусывал... Спирт в нем и загорелся...

\* \* \*

В последней комнате было уютнее и тише. Обои в лирах с бурыми розанами, точно в русском уездном номере: на стене «Дворец Дожей» и часы с гирей. Толстый кот, сонный брюнет Митька, вяло переходил от столика к столику и равнодушно отвертывался от подачек: тоже — еда... Отдельные поздние, мирные клиенты в тишине доедали перестоявшийся на кухне ужин, больше четвертинки ординарного вина не заказывали — иногда, мысленно подсчитав наличность, — была не была! — спрашивали стакан чаю и ягодное пирожное. Не у стойки ели, — на каждый день каждый франк рассчитан.

Подавала душка-ватрушка Тамара, не к имени масть — в пыльно-бурых, оберточной бумаги, кудряшках, по сложению «уютная крошка», губы алым пупочком, глаза — пьяный крыжовник. Томно заводила, подшлепывая себе ножкой, граммофон; потряхивала бюс-

тиком, подтанцовывала от кухонной двери к вешалке и безостановочно, видимо не в силах удержаться, стреляла глазами в кота Митьку, в Кис-Кис — дочку Дарьи Петровны, в каждого попавшегося по прямой линии клиента, даже в седого дикобраза — повара, высовывавшего, чтобы отдышаться, голову в дверное окошечко...

Кис-Кис — по-будничному называлась она просто Катюшей — сидела у стены, лепила из черного хлеба гаврских матросиков и терпеливо скучала. Третий пирожок не лез в горло, даже кот отворачивался. Посетители какие-то вялые, жуют — в тарелку только и смотрят, не то что во французских ресторанах. Тамара — какое смешное имя, — все к ней пристаёт: тискает, целует, а сама в это время на клиентов русалкой смотрит да меню себя, как веером, обмахивает. Куда ж ей до мамы — та гордая: стоит за стойкой, как премированная красавица, не то что эта канарейка с бюстиком. Вот только кот понравился девочке — ленивый, толстый, а шалит с нею, подлизывается: на задние лапки стал, передними о колени уперся, язычок показывает... Да повар-старичок симпатичный. Мама говорила, что он бывший нотариус. Должно быть, поваром выгоднее быть. Только почему он не пострижется, летом даже пуделей стригут, ведь жарко... Подошел к ней, по голове погладил, книжку с полки дал: картинки понятные, а напечатана по-русски... Хоть бы они латинским шрифтом печатали, легче было бы разобрать.

Кис-Кис встала. Ах, как долго ждать, пока мамино дежурство кончится. Она скользнула мимо вешалки в коридор, подобралась к портьерке, загнула в углу краешек и стала смотреть. Будто мама и будто не мама. Сколько у нее лиц: одному полслова, сунет что надо и отвернется, будто собаке кость; к другому наклонится, улыбнется — дерзкая такая улыбка. Зачем с чужими секретничать? — на ухо шепчет, по плечу его хлопает. И все курит. Четверть папироски высосет, на тарелку положит, забудет, а потом у того толстяка, с которым смеялась, свежую из портсигара тянет. Нехорошо. И зачем столько пьет... Ну, пила бы оранжад или сидр... Раз-

ве дамам можно русские кальвадосы пить? С толстяком выпила, с тихим шофером, что в уголке котлету ест. А потом сама себе, будто нечаянно, что-то темное налила, выпила, поморщилась. Глаза злые стали, гордые. На портьеру смотрит, Кис-Кис съежилась: «А может быть, она почувствовала, что я за ней подсматриваю? Грех...»

Толстуха-хозяйка из кассы зевнула, покрестила себе рот, а потом — точно вспомнила, вытащила зеркальце и стала красить губы. Тоже — чайная колбаса. Крась — не крась, ничего тебе не поможет... Девочке стало скучно, и, щелкая пальцами по скользкой стене, она опять поплелась в заднюю комнату. Села в сторонке, достала из сумочки свое сокровище — шоколадные картинки, и стала их сортировать. Конца этому дежурству не будет!

\* \* \*

На высоких табуретках над стойкой торчал полный комплект. Одни выпивали усидчиво, с разговором, чокались с присловьями и, поигрывая пальцами в воздухе, выбирали: чем бы закусить. Другие, не теряя времени на пустяки, опрокидывали в себя свирепую водку, пихали в рот, что под руку попадет, и скрывались за дверью, растворяясь в душной уличной мгле.

Звякнул колокольчик. Дарья Петровна покосилась и брезгливо поджала губы. Вошла знакомая, до тошноты неаппетитная личность: бабье, обрюзгшее, цвета сырой говядины личико никогда не просыхавшего милостивого государя; кислые, наглые глазки, поднятый воротник, обвязанные грязным шарфом одутловатые щеки, — и поверх всего этого идиотский соломенный лопух. Сейчас эта моль начнет вязаться...

И точно. Личность придвинула к себе бокал пива, счавкала три пирожка и, вытирая концом шарфа мокрый рот, подчеркнуто громко заскулила:

— Почему ж пиво теплое? Особа! Я вас спрашиваю.

И вы, как служащая, не имеете права нос воротить. Не удостаиваете? К свиньям собачьим. Почему пирожки?

— Франк.

— А сколько я съел?

— Три. — Дарья Петровна отвечала отрывисто в сторону, с каменным лицом, словно с плевательницей разговаривала.

— А не два?.. Насчитываете? Все вы тут сво... Впрочем, извиняюсь: «Илья Муромец» называется, а пиво, как конский пот, теплое... Не нравится вам? В институте воспитывались... Почему бутерброд... с так называемой колбасой.

— Франк.

Личность, обращаясь ко всем, развела грязными лапами:

— Ну вот... Разве ж не сво... А я еще извинялся. Рюмку водки, крупного калибра. Носик изволите пудрить? Клиент ждет, а они — носик... Мопассана, может, еще вам принести?

У Дарьи Петровны задергалась левая бровь. Нельзя, нельзя. Это подобие человека только того и хочет, чтобы она из себя вышла. Лучшая для него закуска.

Хозяйка сидела, как задумчивая тумба, и навивала на палец распустившуюся за ухом висюльку. Клиент паршивый, но все же таки клиент, надо же ему на свой франк поломаться. Гости насупились: что за свинья такая неуютная... Следовало бы, собственно говоря, дать ему по морде, — что же он, гнус, к Дарье Петровне пристал. Но никто этой щекотливой миссии на себя брать не хотел.

И вдруг никому не известный, тихонький заморыш, незаметно надравшийся в уголке у окна, приподнял опущенную на локти мутную голову, вслушался в наглый пустобрех личности, обвязанной шарфом, и встал. Твердо и вежливо подошел — не говоря ни слова, взял ломавшегося клиента за ворот, круто повернул, довел до дверей... И, словно в помойку разбитый горшок выбрасывал, молниеносно высадил его за дверь.

Все головы повернулись к витрине: личность за стеклом помахала для вида руками, раскрыла было рот... и уплыла, вихляя, как на роликах, из поля зрения.

Кажется, милостивый государь был даже таким финалом доволен: ведь платить за пирожки и пиво будет тот, выкативший его на свежий воздух.

Дарья Петровна удивленно и благодарно улыбнулась было неизвестному, но тот, уронив голову на руки, окаменел над стойкой. Откуда он, рыцарь такой, взялся.

А в другом конце стойки уже другой номер разыгрывался. Насосавшийся парикмахер, неизменный поклонник «Ильи Муромца», жукообразный человек без лба и с некоторым подобием глаз, тыкал пальцем в свою сидевшую рядом жену — кроткую, как божья коровка, замухрышку — и хрипло апеллировал ко всей, брезгливо-глухой к его словам, аудитории.

— Ну, скажите же на милость, как я на такой гниде мог жениться? Я! Выбрал, нечего сказать... Ты бы Бога должна за меня двадцать шесть часов в сутки молить, а ты морду свою неинтеллигентную воротить... Ну, скажите ж, господа, как я такую лахудру до себя допустить мог?

Неизвестный очнулся и стал было прислушиваться, но Дарья Петровна, мудрая и опытная укротительница зверей, крепко прихватила его за локоть.

— Нельзя! Пес с ним, бросьте. Постоянный клиент, чума бы его задавила. Сельтерской, может быть, хотите? Вредно вам пить, голубчик.

Но он сельтерской не хотел. Смущенно улыбнулся, провел ладонью по липкому лицу, словно смазал с себя хмель, молча и аккуратно расплатился и вытащил из-под себя распластанную в лепешку шляпу.

Дарья Петровна остановила знаком уходившую домой Тамару.

— Что Кис-Кис? Господи, Боже мой, — неужели все там одна сидит?

Но уходившая подруга — от усталости даже глазами она кое-как повертела — успокоила ее:

— Спит твоя Кис-Кис. На старых газетах в чулане ее уложила. Дивный ребенок! Обожаю.

Загадочно улыбнулась себе в стеклянную дверь и, вертя бюстиком, ушла.

\* \* \*

Настали те блаженные полчаса, которые для хозяйки и для персонала «Ильи Муромца» были единственным подобием ресторанного счастья. Полуприспустили над витриной и входной дверью железную штору. Собрались за столиком у ящика с никому не известным запыленным растением. Повар в пиджачке и мягкой шляпе, сразу ставший похожим на человека, накрошил в стакан горсть сушек и, отдуваясь, пил чай. Хозяйка, Агафья Тимофеевна, усадив на свои слоновьи колена кота, теребила его за ушами и сладко позевывала. Выручка за день была не плохая; в кадочках, в лавке все те же знакомые с детства грибки и огурцы, народ в ресторане болтался приблизительно такой же, как когда-то в Мценске. А что вокруг все эти там чужие улицы Парижем называются, не все ли равно... Париж ее не съест, поперхнет, пожалуй...

Дарья Петровна пила красное вино, терпкое, стягивающее язык пойло, и отдыхала всем телом — от ноющих пяток до подставленного ночной прохладе лба. Крепкая она была на вино, любому боцману не уступит. За день наглоталась немало, и из любезности и просто потому, чтобы перебить чад и гам... Зачем теперь пила, сама не знала. — просто бутылка рядом стояла.

Обхаживающий ее весь вечер русский мебельщик, похожий на репинского запорожца толстяк, молча курил рядом и досадливо побряхтывал. Чего ж она здесь вино это дует, — охота зря валандаться... Обещалась ведь на Монпарнас вместе ехать, к неграм в кабак. Чего ж тут прохлаждаться?

Кис-Кис сидела у ног хозяйки на тумбочке, крутила коту ушко и тоже ждала... Опять пьет. Вот повар чай из блюдца сосет, помощник его — квас, а она, дама, вино.

— Мамик, скоро? — спросила она, нетерпеливо поживаясь.

— Что, Кис?

— Домой пойдем...

Дарья Петровна нахмурилась. Посмотрела на толстяка, на дочку. Конечно, свинство, конечно, домой надо идти с ней — с Кис, — так долго ее девочка ждала.

Лечь рядом, гладить детские пушистые волосы, пока та, прижавшись к ней, не уснет. А потом и самой, рядом с ней, блаженно закрыть глаза. Но на нее еще с утра накатило, как часто бывает в дежурные дни. Недаром она столько сегодня пила... А главный разряд — ночью, с кем-нибудь из знакомых брандахлыстов: быстрый лет такси, ночной ветер в глаза... Чужой кабак, где ЕЙ подают, где она — барыня... Идиотская, укачивающая, гнусавая музыка, вихляющие перед глазами в модном танце фигуры, с подчеркнуто каменными лицами, напирющие друг на друга, солоновато-острый вкус коктейля с зеленой маслиной... Может быть, она бы и отравила толстого мебельщика ко всем чертям — и не таких свиней сплавляла, — но весь день она чувствовала на себе укоризненные глаза дочки и в сухой истерике накалилась: гувернанткой над матерью хочет быть? Нет, уж это — ах — оставьте.

Она отозвала Кис-Кис в сторону. Через минуту Агафья Тимофеевна услышала у крайнего столика сдержанный детский плач, стряхнула с колен кота и повернула голову:

— Чего это она, Даша?

— Да вот еще штуки какие. Не хочет одна спать идти. Я ж ее провожу. У меня на Монпарнасе деловая встреча, обязательно обещала приехать. Через час вернусь. Перестань плакать, слышишь?

Толстяк недовольно хрюкнул, встал и стал напяливать перчатки.

Агафья Тимофеевна, с трудом оторвав от скамейки грузное тело, подошла к девочке, взяла ее за плечико и повернула к себе.

— Брось, Катюша. Чего ж ты мамашу зря огорчаешь? А знаешь, что я тебе скажу, — пойдем-ка ко мне спать, я тут в уголке и живу, против мамашиной гостиницы. У меня кровать — взбитые сливки, кота в ногах положим. Канареек своих покажу, чай, давно уже спят. Пойдем, детка, пастилы с собой возьмем, — яблочную любишь или клюквенную?

И теплой мягкой рукой притянула к себе девочку, заслонив от нее отъезжающее такси.

\* \* \*

В углу перед темным суровым ликом сиял зеленый язычок лампадки. Кот урчал в ногах, толкал лапками, нежился. Кис-Кис, закинув худые локотки, вытянулась вдоль стенки и, недоверчиво сжав губы — совсем она на мать стала похожей, — вслушивалась в тихие слова Агафьи Тимофеевны.

— Ты, Катюша, еще несмышлениш. Где ж тебе понять... А осуждать мамашу грех, она тебя вспоила-вскормила. Может, у нее и взаправду на Монпарнасе дело есть. Скажем, к знакомому французскому ресторатору зайдет, спросит, где для «Ильи Муромца» по сходной цене лафит купить можно... Мы ж ему не конкуренты, версты за три торгуем, да не нужно ли ему каких русских продуктов, у нас же окромя ресторации — лавка. Мамаша свой процент получит, тебе ж в лагерь гостинца пришлет.

— Мне не надо.

— А ты не скворчи. Ишь, зубастая какая. От матери — и не надо...

— Разве она днем не могла к французскому ресторатору поехать?

— Когда ж днем? Видала, какая у нас карусель. Высморгаться, и то некогда.

Девочка вздохнула. Голос у Агафьи Тимофеевны солидный, убедительный, — зачем она врать будет.

— Могла бы и завтра поехать, со мной вместе.

— Стало быть, не могла. Зачем ей выходной день себе портить? С тобой его и проведет. Может, завтра и ресторатору некогда... Тоже они, французы, как блохи, — сегодня здесь, а завтра в своем шате редиску сажают? Дело ведь летнее.

— А этот толстый зачем с ней поехал?

— Толстый ли, худой, тебе-то что? Женщине на Монпарнасе ночью одной раскатывать неудобно. А он человек известный, мебель нам для ресторана делал. Почему ж ему симпатичную русскую дамочку не подвезти? Опять же мамаша туда-сюда зайдет, — она на всех языках строчит... Присмотрится, где какой обиход, может, нам и пригодится...

Кис-Кис прикоснулась к толстому, жаркому телу хозяйки и голой ступней пощекотала коту живот. Нет, не врет. Просто у мамы метье<sup>1</sup> такое скверное, никогда отдыха нет.

— А вы, Агафья Тимофеевна, по-французски говорите?

— Нужен он мне, как игуменье мотоциклетка. Персонал весь говорит, за то и деньги плачу. А я за кассой. Сдачу и французу дам, ежели понадобится. У нас, милая, в Мценске француз в семействе одном в гувернерах двадцать лет прожил. Окромя «водки» да «бифштекса» ни полслова по-русски не знал. Однако ж жил — не жаловался, дай Бог каждому.

Девочка засмотрелась на лампадку: если смотреть не мигая, зеленый язычок все ближе, ближе — прямо в глаза вонзается.

— А ваш кот пастилу ест?

— Зачем же ему, детка, пастила? Коты более на рыбное налегают. Да у нас его так раскормили — чистая попадья. От котлеток и то нос воротит... Чего ищешь? Ты за кровать руку-то сунь, там у меня завсегда тряпочка лежит, после пастилы руки вытирать.

Кис один за другим обтерла липкие пальцы, прижалась к горячей, как жаровня с каштанами, спине Агафьи Тимофеевны и прищурила щелочкой глаза, — лучик стал тоненький-тоненький. И пропал. Откуда-то с потолка пахнуло гаврским морским ветром. В окно медленно вплыл с протяжным ревом, высоко вздымая нос, океанский, цвета чайной колбасы, пароход и бросил якорь у самой спины Агафьи Тимофеевны. Столб брызг... Девочка пожевала во тьме губами и затихла.

Хозяйка «Ильи Муромца» осторожно выпрямила закинутые за голову руки Катюши, согнала кота с постели и боком покосилась на нежный детский профиль. История... Почти лет сорок с ребенком не спала, с той поры, как Ильюша ее маленьким был. А теперь у Ильюши — из Праги карточку прислал — борода с проседью.

---

<sup>1</sup> Ремесло (фр.).

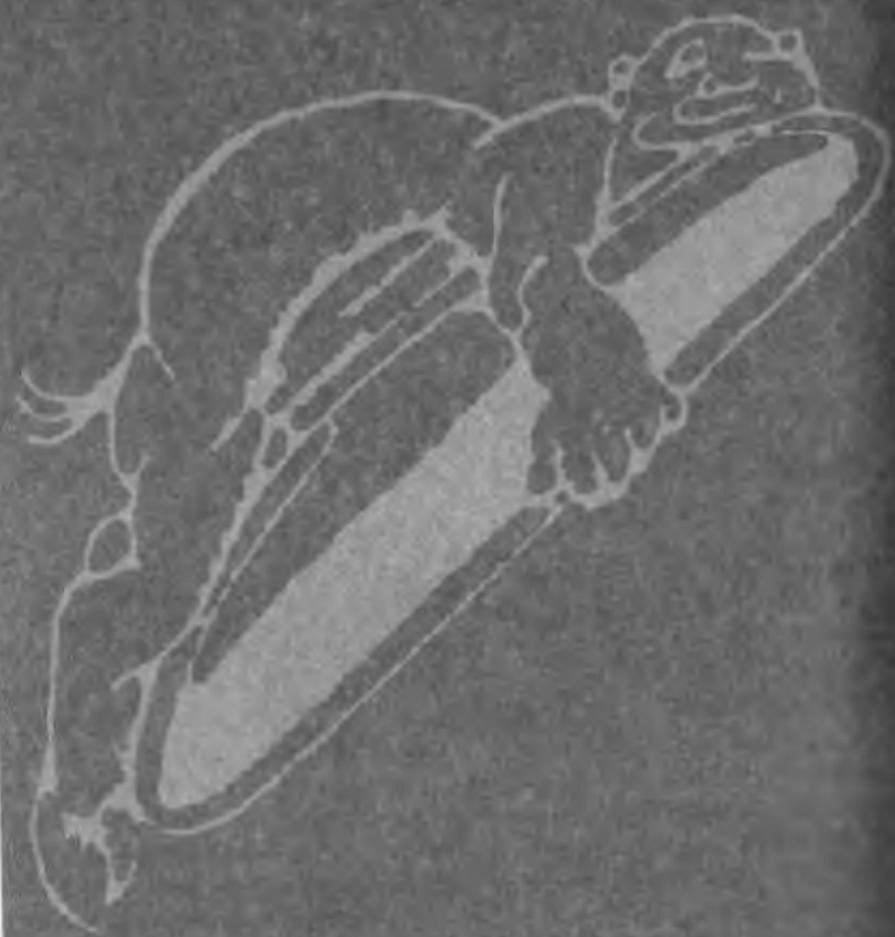
Врать на старости лет дитяти пришлось, мамашу выгораживать. А что ж скажешь? Не в горелки играть на Монпарнас ездят. Успокоила детское сердце, за грех не зачтется.

Подбила под поясницу подушку, прислонилась и стала в уме прикидывать, во что ей засол огурцов в этом году обойдется. Все равно ведь не скоро заснешь сегодня...

1932

Саша Чёрный —  
поэт





## Из книги «Сатиры»

### ЛАМЕНТАЦИИ

Хорошо при свете лампы  
Книжки милые читать,  
Пересматривать эстампы  
И по клавишам бренчать. —

Щекоча мозги и чувство  
Обаяньем красоты,  
Лить душистый мед искусства  
В бездну русской пустоты...

В книгах жизнь широким пиром  
Тешит всех своих гостей,  
Окружая их гарниром  
Из страданья и страстей:

Смех, борьба и перемены,  
С мясом вырван каждый клочок!  
А у нас... углы да стены  
И над ними потолок.

Но подчас, не веря мифам,  
Так событий личных ждешь!  
Заболеть бы, что ли, тифом,  
Учинить бы, что ль, дебош?

В книгах гений Соловьевых,  
Гейне, Гёте и Золя,  
А вокруг от Ивановых  
Содрогается земля.

На полотнах Магдалины,  
Сонм Мадонн, Венер и Фрин.

А вокруг — кривые спины  
Мутноглазых Акулин.

Где события нашей жизни,  
Кроме насморка и блох?  
Мы давно живем, как слизи,  
В нищете случайных крох.

Спим и хнычем. В виде спорта,  
Не волнуясь, не любя,  
Ищем Бога, ищем черта,  
Потеряв самих себя.

И с утра до поздней ночи  
Все, от крошек до старух,  
Углубив в страницы очи,  
Небывалым дразнят дух.

В звуках музыки — страданье,  
Боль любви и шепот грез,  
А вокруг одно мычанье,  
Стоны, храп и посвист лоз.

Отчего? Молчи и дохни.  
Рок — хозяин, ты — лишь раб.  
Плюнь, ослепни и оглохни,  
И ворочайся, как краб!

.....

Хорошо при свете лампы  
Книжки милые читать,  
Перелистывать эстампы  
И по клавишам бренчать.

1909

## ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ

**В**чера мой кот взглянул на календарь  
И хвост трубою поднял моментально,  
Потом подрал на лестницу, как встарь,  
И завопил тепло и вакханально:

«Весенний брак! Гражданский брак!  
Спешите. кошки. на чердак...»

И кактус мой — о, чудо из чудес! —  
Залитый чаем и кофейной гущей,  
Как новый Лазарь, взял да и воскрес  
И с каждым днем прет из земли все пуце.  
Зеленый шум... Я поражен:  
«Как много дум наводит он!»

Уже с панелей смерзшуюся грязь,  
Ругаясь, скалывают дворники лихие,  
Уже ко мне забрел сегодня «князь»,  
Взял теплый шарф и лыжи беговые...  
«Весна, весна! — пою, как бард. —  
Несите зимний хлам в ломбард».

Сияет солнышко. Ей-богу, ничего!  
Весенняя лазурь спугнула дым и копоть,  
Мороз уже не щиплет никого,  
Но многим нечего, как и зимою, лопать...  
Деревья ждут... Гниет вода.  
И пьяных больше, чем всегда.

Создатель мой! Спасибо за весну! —  
Я думал, что она не возвратится, —  
Но... дай сбежать в лесную тишину  
От злобы дня, холеры и столицы!  
Весенний ветер за дверьми...  
В кого б влюбиться, черт возьми?

1909

## АНАРХИСТ

*Ж*ил на свете анархист,  
Красил бороду и щеки,  
Ездил к немке в Териоки  
И при этом был садист.

Вдоль затылка жались складки  
На багровой полосе.  
Ел за двух, носил перчатки —  
Словом, делал то, что все.

Раз на вечере попович,  
Молодой идеалист,  
Обратился: «Петр Петрович,  
Отчего вы анархист?»

Петр Петрович поднял брови  
И, багровый, как бурак,  
Оборвал на полуслове:  
«Вы невежа и дурак!»

1910

## ПОШЛОСТЬ

*Пастель*

**Л**иловый лиф и желтый бант у бюста,  
Безглазые глаза — как два пупка.  
Чужие локоны к вискам прилипли густо  
И маслянисто свесились бока.

Сто слов, навитых в черепе на ролик, —  
Замусленную всеми ерунду, —  
Она, как четки набожный католик,  
Перебирает вечно на ходу.

В ее салонах — все, толпою смелой,  
Содравши шкуру с девственных идей,  
Хватают лапами бесчувственное тело  
И рьяно ржут, как стадо лошадей.

Там говорят, что вздорожали яйца  
И что комета стала над Невой, —  
Любуясь, как каминные китайцы  
Кивают в такт под граммофонный вой.

Сама мадам склонна к идеалам:  
Законную двуспальную кровать  
Под стеганым атласным одеялом  
Она всегда умела охранять.

Но, нос суя любовно и сурово  
В случайный хлам бесштетельных «грехов»,  
Она читает вечером Баркова  
И с кучером храпит до петухов.

Поет. Рисует акварелью розы.  
Следит, дрожа, за модой всех сортов,  
Копя остроты, слухи, фразы, позы  
И растлевающая музу и любовь.

На каждый шаг — расхожий катехизис,  
Прин-ци-пи-аль-но носит бандажи,  
Некстати поминает слово «кризис»  
И томно тяготееет к глупой лжи.

В тщеславном, нестерпимо остром зуде  
Всегда смешна, себе самой в ущерб,  
И даже на интимнейшей посуде  
Имеет родовой дворянский герб.

Она в родстве и дружбе неизменной  
С бездарностью, нахальством, пустяком.  
Знакома с лестью, пафосом, изменой  
И, кажется, в амурах с дураком...

Ее не знают, к счастью, только...  
Кто же? Конечно — дети, звери и народ.  
Одни — когда со взрослыми не схожи,  
А те — когда подальше от господ.

Портрет готов. Карандаши бросая,  
Прошу за грубость мне не делать сцен:  
Когда свинью рисуешь у сарая —  
На полотне не выйдет belle Hélène<sup>1</sup>.

1910

---

<sup>1</sup> Прекрасная Елена (фр.).

## ПОТОМКИ

*Н*аши предки лезли в клетки  
И шептались там не раз:  
«Туго, братцы... Видно, дети  
Будут жить вольготней нас».

Дети выросли. И эти  
Лезли в клетки в грозный час  
И вздыхали: «Наши дети  
Встретят солнце *после нас*».

Нынче так же, как вовеки,  
Утешение одно:  
Наши дети будут в Мекке,  
Если нам не суждено.

Даже сроки предсказали:  
Кто — лет двести, кто — пятьсот,  
А пока лежи в печали  
И мычи, как идиот.

Разукрашенные дули,  
Мир умыт, причесан, мил...  
Лет чрез двести? Черта в стуле!  
Разве я Мафусаил?

Я, как филин, на обломках  
Переломанных богов.  
В неродившихся потомках  
Нет мне братьев и врагов.

Я хочу немножко света  
*Для себя, пока я жив;*  
От портного до поэта —  
Всем понятен мой призыв...

А потомки... Пусть потомки,  
Исполняя жребий свой  
И кляня свои потемки,  
Лупят в стенку головой!

## КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА

Квартирант сидит на чемодане  
И задумчиво рассматривает пол.  
Те же стулья, и кровать, и стол,  
И такая же обивка на диване,  
И такой же бигус на обед, —  
Но на всем какой-то новый свет...

Блещут икры полной прачки Феклы.  
Перегнулся сильный стан во двор.  
Как нестройный, шаловливый хор,  
Верещат намыленные стекла,  
И заплаты голубых небес  
Обещают тысячи чудес.

Квартирант сидит на чемодане.  
Груды книжек покрывают пол.  
Злые стекла свищут: эй, осел!  
Квартирант копается в кармане,  
Вынимает стертый четвертак,  
Ключ, сургуч, копейку и пятак...

За окном стена в сырых узорах,  
Сотни ржавых труб вонзились в высоту,  
А в Крыму миндаль уже в цвету...  
Вешний ветер закрутился в шторах  
И не может выбраться никак.  
Квартирант пропьет свой четвертак!

Так пропьет, что небу станет жарко.  
Стекла вымыты. Опять тоска и тишь.  
Фекла, Фекла, что же ты молчишь?  
Будь хоть ты решительной и яркой:  
Подойди, возьми его за чуб  
И ожги огнем весенних губ...

Квартирант и Фекла на диване.  
О, какой торжественный момент!  
«Ты — народ, а я — интеллигент, —

Говорит он ей среди лобзаний. —  
Наконец-то, здесь, сейчас, вдвоем,  
Я тебя, а ты меня — пойдем...»

1909

## ОТЪЕЗД ПЕТЕРБУРЖЦА

Середина мая, и деревья голы...  
Словно Третья Дума делала весну!  
В зеркало смотрю я, злой и невеселый,  
Смазывая йодом щеку и десну.

Кожа облупилась, складочки и складки,  
Из зрачков сочится скука многих лет.  
Кто ты, худосочный, жиденский и гадкий?  
Я?! О нет, не надо, ради Бога, нет!

Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма  
И иду к корзинке складывать багаж:  
Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,  
Желтые ботинки, Брюсов и бандаж.

Пусть мои враги томятся в Петербурге!  
Еду, еду, еду — радостно и вдруг.  
Ведь не догадались думские Ликурги  
Запрещать на лето удирать на юг.

Синие кредитки вместо Синей Птицы  
Унесут туда, где солнце, степь и тишь.  
Слезы увлажняют редкие ресницы:  
Солнце... Степь и солнце вместо стен и крыш.

Был я богоборцем, был я мифотворцем  
(Не забыть панаму, плащ, спермин и «код»),  
Но сейчас мне ясно: только тошнотворцем,  
Только тошнотворцем был я целый год...

Надо подписаться завтра на газеты,  
Чтобы от культуры нашей не отстать,  
Заказать плацкарту, починить штiblеты  
(Сбегать к даме сердца можно нынче в пять).

К прачке и в ломбард, к дантисту-иноверцу,  
К доктору — и прочь от берегов Невы!  
В голове — надежды вспыхнувшего сердца,  
В сердце — скептицизм усталой головы.

1908

## ИСКАТЕЛЬ

(Из дневника современника)

Егоря я пошел к врачу.  
Врач пенсне напялил на нос:  
«Нервность. Слабость. Очень рано-с!  
Ну-с, так я вам закачу  
Гуनियाди-Янос».

Кровь ударила в виски:  
Гуनियाди?! От вопросов,  
От безверья, от тоски?!  
Врач сказал: «Я не философ.  
До свиданья».

Я к философу пришел:  
«Есть ли цель? Иль книги — ширмы?  
Правда «школ» — ведь правда фирмы?  
Я живу, как темный вол.  
Объясните!»

Заходил цветной халат  
Парой егеровских нижних:  
«Здесь бессилен сам Сократ!  
Вы — профан. Ищите ближних».  
— «Очень рад».

В переулке я поймал  
Человека с ясным взглядом.  
Я пошел тихонько рядом:  
«Здравствуй, ближний...» — «Вы нахал!»  
— «Извините...»

Я пришел домой в чаду,  
Переполненный раздумьем.  
Мысль играла в чехарду  
То с насмешкой, то с безумьем.  
Пропаду!

Тихо входит няня в дверь,  
Вот еще один философ:  
«Что сидишь, как дикий зверь?  
Плюнь да веруй — без вопросов...»  
— «В Гунияди?»

— «Гу-ни-я-ди? Кто такой?  
Не немецкий ли святой?  
Для спасения души —  
Все святые хороши...»  
Вышла.

1909

### ОПЯТЬ...

Опять опадают кусты и деревья,  
Бронхитное небо слезится опять,  
И дачники, бросив сырые кочевья,  
Бегут, ошалевшие, вспять.

Опять, перестроив и душу, и тело  
(Цветочки и летнее солнце — увь!),  
Творим городское, ненужное дело  
До новой весенней травы.

Начало сезона. Ни света, ни красок,  
Как призраки, носятся тени людей, —  
Опять одинаковость сереньких масок  
От гения до лошадей.

По улицам шляется смерть. Проклинает  
Безрадостный город и жизнь без надежд,  
С презреньем, зевая, на землю толкает  
Несчастных, случайных невежд.

А рядом духовная смерть свирепеет  
И сослепу косит, пьяна и сильна.  
Всё мало и мало — коса не тупеет,  
И даль безнадежно черна.

Что будет? Опять соберутся Гучковы  
И мелочи будут, скучая, жевать,  
А мелочи будут сплетаться в оковы,  
И их никому не порвать.

О, дом сумасшедших, огромный и грязный!  
К оконным глазницам припал человек:  
Он видит бесформенный мрак безобразный,  
И в страхе, что это навек,

В мучительной жажде надежды и красок  
Выходит на улицу, ищет людей...  
Как страшно найти одинаковость масок  
От гения до лошадей!

1908

## КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА

Утро. Мутные стекла как бельма,  
Самовар на столе замолчал.  
Прочел о визитах Вильгельма  
И сразу смертельно устал.

Шагал от дверей до окошка,  
Барабанил марш по стеклу  
И следил, как хозяйская кошка  
Ловила свой хвост на полу.

Свистал. Рассматривал тупо  
Комод, «Остров мертвых», кровать.  
Это было и скучно и глупо —  
И опять начинал я шагать.

Взял Маркса. Поставил на полку.  
Взял Гёте — и тоже назад.  
Зевая, подглядывал в щелку,  
Как соседка пила шоколад.

Напялил пиджак и пальтишко  
И вышел. Думал, курил...  
При мне какой-то мальчишка  
На мосту под трамвай угодил.

Сбежались. Я тоже сбежался.  
Кричали. Я тоже кричал,  
Махал рукой, возмущался  
И карточку приставу дал.

Пошел на выставку. Злился.  
Ругал бездарность и ложь.  
Обедал. Со скуки напился  
И качался, как спелая рожь.

Поплелся к приятелю в гости.  
Говорил о холере, добре,  
Гучкове, Урьеле д'Акосте —  
И домой пришел на заре.

Утро... Мутные стекла как бельма.  
Кипит самовар. Рядом «Русь»  
С речами того же Вильгельма.  
Встаю — и снова тружусь.

1908

## ЖЕЛТЫЙ ДОМ

Семья — ералаш, а знакомые — нытики,  
Смешной карнавал мелюзги,  
От службы, от дружбы, от прелой политики  
Безмерно устали мозги.  
Возьмешь ли книжку — муть и мразь:  
Один кота хоронит,  
Другой слюнит, разводит грязь  
И сладострастно стонет...

Петр Великий, Петр Великий!  
Ты один виновней всех:  
Для чего на север дикий  
Понесло тебя на грех?



Каждый день с утра он знает,  
С кем обедал Франц-Иосиф  
И какую глупость в Думе  
Толстый Бобринский сморозил...

Каждый день, впиваясь в строчки,  
Он глупеет и умнеет:  
Если автор глуп — глупеет,  
Если умница — умнеет.

Но порою друг-читатель  
Головой мотает злобно  
И ругает, как извозчик,  
Современные газеты.

«К черту! То ли дело Запад  
И испанские газеты...»  
(Кстати — он силен в испанском,  
Как испанская корова.)

Друг-читатель! Не ругайся,  
Вынь-ка зеркальце складное.  
Видишь — в нем зловеще меркнет  
Кто-то хмурый и безликий?

Кто-то хмурый и безликий,  
Не испанец, о, нисколько,  
Но скорее бык испанский,  
Обреченный на закланье.

Прочитай: в глазах-гляделках  
Много ль мыслей, смеха, сердца?  
Не брани же, друг-читатель,  
Современные газеты...

1908

## ИНТЕЛЛИГЕНТ

Новернувшись спиной к обманувшей надежде  
И беспомощно свесив усталый язык,  
Не раздевшись, он спит в европейской одежде  
И храпит, как больной паровик.

Истомила Идея бесплодем интрижек,  
По углам паутина ленивой тоски,  
На полу вороха неразрезанных книжек  
И разбитых скрижалей куски.

За окном непогода лютует и злится...  
Стены прочны, и мягок пружинный диван.  
Под осеннюю бурю так сладостно спится  
Всем, кто бледной усталостью пьян.

Дорогой мой, шепни мне сквозь сон по  
секрету.

Отчего ты так страшно и тупо устал?  
За несбыточным счастьем гонялся по свету  
Или, может быть, землю пахал?

Дрогнул рот. Разомкнулись тяжелые вежды,  
Монотонные звуки уныло текут:  
«Брат! Одну за другой хоронил я надежды.  
Брат! От этого больше всего устают.

Были яркие речи и смелые жесты  
И неполных желаний шальной хоровод.  
Я жених непришедшей прекрасной невесты,  
Я больной, утомленный урод».

Смолк. А буря всё громче стучалась в окошко.  
Билась мысль, разгораясь и снова таясь.  
И сказал я, краснея, тоскуя и злясь:  
«Брат! Подвинься немножко».

1908

## 1909

Родился карлик Новый Год,  
Горбатый, сморщенный урод,  
Тоскливый шут и скептик,  
Мудрец и эпилептик.

«Так вот он — милый Божий свет?  
А где же солнце? Солнца нет!  
А впрочем, я не первый,  
Не стоит портить нервы».

И люди людям в этот час  
Бросали: «С Новым Годом вас!»  
Кто честно заикаясь,  
Кто кисло ухмыляясь...

Ну как же тут не поздравлять?  
Двенадцать месяцев опять  
Мы будем спать и хныкать  
И пальцем в небо тыкать.

От мудрых, средних и ослов  
Родятся реки старых слов.  
Но кто еще, как прежде,  
Пойдет кутить к надежде?

Ах, милый, хилый Новый Год,  
Горбатый, сморщенный урод!  
Зажги среди тумана  
Цветной фонарь обмана.

Зажги! Мы ждали много лет —  
Быть может, солнца вовсе нет?  
Дай чуда! Ведь бывало  
Чудес в веках немало...

Какой ты старый, Новый Год!  
Ведь мы равно наоборот  
Считать могли бы годы,  
Не исказив природы.

Да... Много мудрого у нас...  
А впрочем, с Новым Годом вас!  
Давайте спать и хныкать  
И пальцем в небо тыкать.

1908

## НОВАЯ ЦИФРА

1910

Накрутить вам образов, почтеннейший?  
Нанизать вам слов кисло-сладких,  
Изысканно гадких  
На нити банальнейших строф?  
Вот опять неизменнейший  
Тощий младенец родился,  
А старый хрен провалился  
В эту... как ее?..  
В Лету.

Как трудно, как нудно поэту!..  
Словами свирепо-солдатскими  
Хочется долго и грубо ругаться,  
Цинично и долго смеяться, —  
Но вместо того — лирическо-штатскими  
Звуками нужно слагать поздравленье,  
Ломая ноги каждой строке  
И в гневно-бессильной руке  
Перо сжимая в волненье.

Итак: с Новою Цифрою, братья!  
С весельем... то бишь с проклятьем —  
Дешевым шампанским,  
Цимлянским  
Наполним утробы.  
Упьемся! И в хмеле, таком же дешевом,  
О счастье нашем грошовом  
Мольбу к Небу пошлем,  
К Небу, прямо в серые тучи:  
Счастья, здоровья, веселья,  
Котлет, пиджаков и любовниц,  
Пищеваренье и сон —  
Пошли нам, серое Небо!

Молодой снежок  
Вьется, как пух из еврейской перины.  
Голубой кружок  
(То есть луна) — такой смешной и невинный.

Фонари горят  
И мигают с усмешкою старых знакомых.  
Я чему-то рад  
И иду вперед беспечней насекомых.  
Мысли так свежи,  
Пальто на толстой подкладке ватной,  
И лучи-ужи  
Ползут от глаз к фонарям и обратно...

Братья! Сразу и навеки  
Перестроим этот мир.  
Братья! Верно, как в аптеке:  
Лишь любовь дарует мир.  
Так устроим же друг другу  
С Новой Цифры новый пир —  
Я согласен для начала  
Отказаться от сатир!

Пусть больше не будет ни глупых, ни злобных,  
Пусть больше не будет слепых и глухих,  
Ни жадных, ни стадных, ни низко-утробных —  
Одно лишь семейство святых...

.....  
Я полную чашу российского гною  
За Новую Цифру, смеясь, подымаю!  
Пригубьте, о братья! Бокал мой до краю  
Наполнен ведь вами — не мною.

1909

## ДИЕТА

Каждый месяц к сроку надо  
Подписаться на газеты.  
В них подробные ответы  
На любую немощ стада.

Боговздорец иль политик,  
Радикал иль черный рак,  
Гениальный иль дурак,  
Оптимист иль кислый нытик —

На газетной простыне  
Все найдут свое вполне.

Получая аккуратно  
Каждый день листы газет,  
Я с улыбкой благодатной,  
Бандероли не вскрывая,  
Аккуратно, не читая,  
Их бросаю за буфет.

Целый месяц эту пробу  
Я проделал. Оживаю!  
Потерял слепую злобу,  
Сам себя не истязую;  
Появился аппетит,  
Даже мысли появились...  
Снова щеки округлились, —  
И печенка не болит.

В безвозмездное владенье  
Отдаю я средство это  
Всем, кто чахнет без просвета  
Над унылым отраженьем  
Жизни мерзкой и гнилой,  
Дикой, глупой, скучной, злой...

Получая аккуратно  
Каждый день листы газет,  
Бандероли не вскрывая,  
Вы спокойно, не читая,  
Их бросайте за буфет.

1910

## МЯСО

(Шарж)

**Б**рандахлысты в белых брючках  
В лаун-теннисном азарте  
Носят жирные зады.

Вкрут площадки, в модных штучках,  
Крутобедрые Астарты,  
Как в торговые ряды,

Зазывают кавалеров  
И глазами, и боками,  
Обещая всё для всех.

И гирлянды офицеров,  
Томно дрыгая ногами,  
«Сладкий празднуют успех».

В лакированных копытах  
Ржут пажы и роют гравий,  
Изгибаясь, как лоза, —

На раскормленных досыта  
Содержанок, в модной славе,  
Щуря сальные глаза.

Щеки, шеи, подбородки,  
Водопадом в бюст свергаясь,  
Пропадают в животе,

Колыхаются, как лодки,  
И, шелками выпираясь,  
Вопиют о красоте.

Как ходячие шнель-клопсы,  
На коротких, пухлых ножках  
(Вот хозяек дубликат!)

Грандиознейшие мопсы  
Отдыхают на дорожках  
И с достоинством хрипят.

Шипр и пот, французский говор...  
Старый хрен в английском платье  
Гладит ляжку и мычит.

Дипломат, шпион иль повар?  
Но без формы люди — братья, —  
Кто их, к черту, различит?..

Как наполненные ведра,  
Растопыренные бюсты  
Проплывают без конца —

И опять зады и бедра...  
Но над ними — будь им пусто! —  
Ни единого лица!

Июль 1909  
Гунзбург

## ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОРЕ

*Всем добрым знакомым  
с отчаянием посвящаю*

**У**так — начинается утро.  
Чужой, как река Брахмапутра,  
В двенадцать влетает знакомый.  
«Вы дома?» К несчастью, я дома.  
В кармане послал ему фигу,  
Бросаю немецкую книгу  
И слушаю, вял и суров,  
Набор из ненужных мне слов.  
Вчера он торчал на концерте —  
Ему не терпелось до смерти  
Обрушить на нервы мои  
Дешевые чувства свои.

Обрушил! Ах, в два пополудни  
Мозги мои были как студни...  
Но, дверь запирая за ним  
И жаждой работы томим,  
Услышал я новый звонок:  
Пришел первокурсник-щенок.  
Несчастный влюбился в кого-то...  
С багровым лицом идиота  
Кричал он о «ней», о богине,  
А я ее толстой гусыней  
В душе называл беспощадно...  
Не слушал! С улыбкою стадной

Кивал головою сердечно  
И мямлил: «Конечно, конечно».

В четыре ушел он... В четыре!  
Как тигр я шагал по квартире,  
В пять ожил и, вытерев пот,  
За прерванный сел перевод.  
Звонок... С добродушием ведьмы  
Встречаю поэта в передней.  
Сегодня собрат именинник  
И просит дать взаймы полтинник.  
«С восторгом!» Но он... остается!  
В столовую томно плетется,  
Извлек из-за пазухи кипу  
И с хрипом, и сипом, и скрипом  
Читает, читает, читает...  
А бес меня в сердце толкает:  
Ударь его лампою в ухо!  
Всади кочергу ему в брюхо!

Квартира? Танцкласс ли? Харчевня?  
Прилезла рябая девица:  
Нечаянно «Месяц в деревне»  
Прочла и пришла «поделиться»...  
Зачем она замуж не вышла?  
Зачем (под лопатки ей дышло!),  
Ко мне направляясь, сначала  
Она под трамвай не попала?  
Звонок... Шаромыжник бродячий,  
Случайный знакомый по даче,  
Разделся, подсел к фортепьяно  
И лупит. Не правда ли, странно?  
Какие-то люди звонили.  
Какие-то люди входили.  
Боясь, что кого-нибудь плюхну,  
Я бегал тихонько на кухню  
И плакал за вьюшкою грязной  
Над жизнью своей безобразной.

## ОБСТАНОВКА

**Р**евет сынок. Побит за двойку с плюсом.  
Жена на локоны взяла последний рубль.  
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,  
Подсчитывает месячную убыль.

Кряхтят на счетах жалкие копейки:  
Покупка зонтика и дров пробила брешь,  
А розовый капот из бумазейки  
Бросает в пот склонившуюся плешь.

Над самой головой насвистывает чирик  
(Хоть птичка Божия не кушала с утра).  
На блюде киснет одинокий рыжик,  
Но водка выпита до капельки вчера.

Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,  
В наплыве счастья полуоткрывши рот,  
И кошка, мрачному предавшись пессимизму,  
Трагичным голосом взволнованно орет.

Безбровая сестра в облезшей кацавейке  
Насилует простуженный рояль,  
А за стеной жиличка-белошвейка  
Поет романс: «Пойми мою печаль!»

Как не понять?! В столовой тараканы,  
Оставя черствый хлеб, задумались слегка,  
В буфете дребезжат сочувственно стаканы,  
И сырость капает слезами с потолка.

1909

## СЛУЖБА СБОРОВ

**Н**ачальник Акцептации сердит:  
Нашел просчет в копейку у Орлова.  
Орлов уныло бровью шевелит  
И про себя бранится: «Ишь, бандит!»  
Но из себя не выпустит ни слова.

Вокруг сухой, костлявый, дробный треск —  
Как пальцы мертвецов, бряцают счеты.  
Начальнической плечи строгий блеск  
С бычачьим лбом сливается в гротеск. —  
Но у Орлова любоваться нет охоты.

Канторщик Кузькин бесконечно рад:  
Орлов на лестнице сказал его невесте,  
Что Кузькин как товарищ — хам и гад,  
А как мужчина — жаба и кастрат...  
Ах, может быть, Орлов лишится места!

В соседнем отделении содом:  
Три таксировщика, увлекшись чехардою,  
Бодают пол. Четвертый же, с трудом  
Соблазн преодолев, с досадой и стыдом  
Им укоризненно кивает бородою.

Но в коридоре тьма и тишина.  
Под вешалкой таинственная пара —  
Он руки растопырил, а она  
Щемящим голосом взывает: «Я жена...  
И муж не вынесет подобного удара!»

По лестницам красавицы спуют,  
Пышнее и вульгарнее гортензий.  
Их сослуживцы «фаворитками» зовут —  
Они не трудятся, не сеют — только жнут.  
Любимицы Начальника Претензий...

В буфете чавкают, жуют, сосут, мычат.  
Берут пирожные в надежде на прибавку.  
Капуста и табак смешались в едкий чад.  
Канторщицы ругают шоколад  
И бюст буфетчицы, дрожащий на прилавке...

Второй этаж. Дубовый кабинет.  
Гигантский стол. Начальник Службы Сборов,  
Поймав двух мух, покуда дела нет,  
Пытается определить на свет,  
Какого пола жертвы острых взоров.

Внизу в прихожей бывший гимназист  
Стоит перед швейцаром без фуражки.  
Швейцар откормлен, груб и неречист:  
«Ведь грамотный, поди, не трубочист!  
«Нет мест» — вон на стене висит бумажка».

1909

### ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН

**Н**ан-пьян! Красные яички.  
Пьян-пан! Красные носы.  
Били-бьют! Радостные личики.  
Бьют-били! Груды колбасы.

Дал-дам! Праздничные взятки.  
Дам-дал! И этим и тем.  
Пили-ели! Визиты в перчатках.  
Ели-пили! Водка и крем.

Пан-пьян! Наливки и студни.  
Пьян-пан! Боль в животе.  
Били-бьют! И снова будни.  
Бьют-били! Конец мечте.

1909

### ГОРОДСКАЯ СКАЗКА

**П**рофиль тоньше камен,  
Глаза как спелые сливы,  
Шея белее лилеи  
И стан как у леди Годивы.

Деву с душою бездонной,  
Как первая скрипка оркестра,  
Недаром прозвали мадонной  
Медички шестого семестра.

Пришел к мадонне филолог,  
Фаддей Симеонович Смяткин.  
Рассказ мой будет недолог:  
Филолог влюбился по пятки.

Влюбился жестоко и сразу  
В глаза ее, губы и уши,  
Цедил за фразою фразу,  
Томился, как рыба на суше.

Хотелось быть ее чашкой,  
Братом ее или теткой,  
Ее эмалевой пряжкой  
И даже зубной ее щеткой!..

«Устали, Варвара Петровна?  
О, как дрожат ваши ручки!» —  
Шепнул филолог любовно,  
А в сердце вонзились колочки.

«Устала. Вскрывала студента:  
Труп был жирный и дряблый.  
Холод... Сталь инструмента.  
Руки, конечно, иззябли.

Потом у Калинкина моста  
Смотрела своих венеричек.  
Устала: их было дó ста.  
Что с вами? Вы ищете спичек?

Спички лежат на окошке.  
Ну, вот. Вернулась обратно,  
Вынула почки у кошки  
И зашила ее аккуратно.

Затем мне с подругой достались  
Препараты гнилой пуповины.  
Потом... был скучный анализ:  
Выделенье в моче мочевины...

Ах, я! Прошу извиненья:  
Я роль хозяйки забыла, —  
Коллега! Возьмите варенья —  
Сама сегодня варила».

Фаддей Симеонович Смяткин  
Сказал беззвучно: «Спасибо!»  
А в горле ком кисло-сладкий  
Бился, как в неводе рыба.

Не хотелось быть ее чашкой,  
Ни братом ее и ни теткой,  
Ни ее эмалевой пряжкой,  
Ни зубной ее щеткой!

1909

## В ГОСТЯХ (Петербург)

Холостой стаканчик чаю  
(Хоть бы капля коньяку),  
На стене босой Толстой.  
Добросовестно скучаю  
И зеленую тоску  
Заедаю колбасой.

Адвокат ведет с коллегой  
Специальный разговор.  
Разорвись — а не поймешь!  
А хозяйка с томной негой,  
Устремив на лампу взор,  
Поправляет бюст и брошь.

«Прочитали Метерлинка?»  
— «Да. Спасибо, прочитал...»  
— «О, какая красота!»  
И хозяйкина ботинка  
Взволновалась, словно в шквал.  
Лжет ботинка, лгут уста...

У рояля дочь в реформе,  
Взяв рассеянно аккорд,  
Стилизованно молчит.

Старичок в военной форме  
Прежде всех побил рекорд —  
За экран залез и спит.

Толстый доктор по ошибке  
Жмет мне ногу под столом.  
Я страдаю и терплю.  
Инженер зудит на скрипке.  
Примирайсь и с этим злом,  
Я и бодрствую, и сплю.

Что бы вслух сказать такое?  
Ну-ка, опыт, выручай!  
« Попрошу... еще стакан... »  
Ем вчерашнее жаркое,  
Кротко пью холодный чай  
И молчу, как истукан.

1908

## ЕВРОПЕЕЦ

**В** трамвае, набитом битком,  
Средь двух гимназисток, бочком,  
Сижу в настроенье прекрасном.

Панама сползает на лоб.  
Я — адски пленительный сноб,  
В накидке и в галстуке красном.

Пассаж не спеша осмотрев,  
Вхожу к « Доминику », как лев,  
Пью портер, малагу и виски.

По карте, с достоинством ем  
Сосиски в томате и крем,  
Пулярдку и снова сосиски.

Раздуло утробу копной...  
Сановный швейцар предо мной  
Толкает бесшумные двери.

Умаявшись, сыт и сонлив,  
И руки в штаны заложив,  
Сижу в Александровском сквере.

Где б вечер сегодня убить?  
В «Аквариум», что ли, сходить?  
Иль, может быть, к Мери слетаю?

В раздумье на мамок смотрю,  
Вздыхаю, зеваю, курю  
И «Новое время» читаю...

Шварц, Персия, Турция... Чушь!  
Разносчик! Десяточек груш...  
Какие прекрасные грушки!

А завтра в двенадцать часов  
На службу явиться готов,  
Чертить на листах завитушки.

Однако: без четверти шесть.  
Пойду-ка к «Медведю» поесть,  
А после — за галстуком к Кнопу.

Ну как в Петербурге не жить?  
Ну как Петербург не любить  
Как русский намек на Европу?

1910

## МУХИ

На дачной скрипучей веранде  
Весь вечер царит оживленье.  
К глазастой художнице Ванде  
Случайно сползлись в воскресенье  
Провизор, курсистка, певица,  
Писатель, дантист и девица.

«Хотите вина иль печенья?» —  
Спросила писателя Ванда,  
Подумав в жестоком смущенье:  
«Налезла огромная банда!  
Пожалуй, на столько баранов  
Не хватит ножей и стаканов».

Курсистка упорно жевала.  
Косясь на остатки от торта.  
Решила спокойно и вяло:  
«Буржуйка последнего сорта».  
    Девушка с азартом макаки  
    Смотрела писателю в баки.

Писатель, за дверью на полке  
Не видя своих сочинений,  
Подумал привычно и колко:  
«Отсталость!» И стал в отдаленье,  
    Засунувши гордые руки  
    В трико́вые стильные брюки.

Провизор, влюбленный и потный,  
Исследовал шею хозяйки,  
Мечтая в истоме дремотной:  
«Ей-богу, совсем как из лайки!..  
    О, если б немножко потрогать!»  
    И вилокóю чистил свой ноготь.

Певица пускала рулады  
Всё реже, и реже, и реже.  
Потом, покраснев от досады,  
Замолкла: «Не просят! Невежи...  
    Мещане без вкуса и чувства!  
    Для них ли святое искусство?»

Наелись. Спустились с веранды  
К измученной пыльной сирени.  
В глазах умирающей Ванды  
Любезность, тоска и презренье:  
    «Свести их к пруду иль в беседку?  
    Спустить ли с веревки Валетку?»

Уселись под старой сосною.  
Писатель сказал: «Как в романе...»  
Девушка вильнула спиною,  
Провизор порылся в кармане  
    И чиркнул над кислой певичкой  
    Бенгальскою красною спичкой.

1910

## КУХНЯ

**Т**ихо тикают часы.  
На картонном циферблате —  
Вязь из розочек в томате  
И зеленые усы.

Возле раковины щель  
Вся набита прусаками,  
Под иконой ларь с дровами  
И двугорбая постель.

Над постелью бывший шах,  
Рамки в ракушках и бусах, —  
В рамках — чучела в бурнусах  
И солдаты при часах.

Чайник ноет и плюет.  
На окне обрывок книжки:  
«Фаршированные пышки»,  
«Шведский яблочный компот».

Пахнет мыльной водой,  
Старым салом и угаром.  
На полу пред самоваром  
Кот сидит как неживой.

Пусто в кухне. «Тик» да «так».  
А за дверью на площадке  
Кто-то пьяненький и сладкий  
Ноет: «Дарья, четвер-так!»

1922

## В РЕДАКЦИИ «ТОЛСТОГО» ЖУРНАЛА

**С**ерьезных лиц густая волосатость  
И двухпудовые, свинцовые слова:  
«Позитивизм», «идейная предвзятость»,  
«Спецификация», «реальные права»...

Жестикулируя, бурля и споря,  
Киты редакции не видят двух персон:  
Поэт принес «Ночную песню моря»,  
А беллетрист — «Последний детский сон».

Поэт присел на самый кончик стула  
И вверх ногами развернул журнал,  
А беллетрист покорно и сутуло  
У подоконника на чьи-то ноги стал.

Обносят чай... Поэт взял два стакана,  
А беллетрист не взял ни одного.  
В волнах серьезного табачного тумана  
Они уже не ищут ничего.

Вдруг беллетрист, как леопард, в поэта  
Метнул глаза: «Прозаик или нет?»  
Поэт и сам давно искал ответа:  
«Судя по галстуку, похоже, что поэт»...

Подходит некто в сером, но по моде,  
И говорит поэту: «...«Плач земли»?..»  
— «Нет, я вам дал три «Песни о восходе»  
И некто отвечает: «Не пошли!»

Поэт поник. Поэт исполнен горя:  
Он думал из «Восходов» сшить штаны!  
«Вот здесь еще... «Ночная песня моря»,  
А здесь — «Дыханье северной весны».

— «Не надо, — отвечает некто в сером. —  
У нас лежит сто весен и морей».  
Душа поэта затянулась флером,  
И розы превратились в сельдерей.

«Вам что?» И беллетрист скороговоркой:  
«Я год назад прислал «Ее любовь».  
Ответили, пошаривши в конторке:  
«Затеряна. Перепишите вновь».

— «А вот, не надо ль?.. — беллетрист залпнулся. —  
Здесь... семь листов — «Последний детский сон».  
Но некто в сером круто обернулся —  
В соседней комнате залаял телефон.

Чрез полчаса, придя от телефона,  
Он, разумеется, беднягу не узнал  
И, проходя, лишь буркнул раздраженно:  
«Не принято! Ведь я уже сказал!..»

На улице сморкался дождь слюнявый.  
Смеркалось... Ветер. Тусклый, дальний гул.  
Поэт с «Ночною песней» взял направо,  
А беллетрист налево повернул.

Счастливый случай скуп и черств, как Плюшкин.  
Два жемчуга — опять на мостовой...  
Ах, может быть, поэт был новый Пушкин,  
А беллетрист был новый Лев Толстой?!

Бей, ветер, их в лицо, дуй за сорочку —  
Надуй им жабу, тиф и дифтерит!  
Пускай не продают души в рассрочку,  
Пускай душа их без штанов парит...

1909

## СТИЛИЗОВАННЫЙ ОСЕЛ

(Ария для безголосых)

**С**лова моя — темный фонарь с перебитыми  
стеклами,

С четырех сторон открытый враждебным ветрам.  
По ночам я шатаюсь с распутными пьяными Феклами,  
По утрам я хожу к докторам.  
Тарарам.

Я волдырь на сиденье прекрасной российской  
словесности,  
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!  
Оголось и добьюсь скандалезно-всемирной известности,  
И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.

Я люблю апельсины и всё, что случайно рифмуется,  
У меня темперамент макаки и нервы как сталь.  
Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется  
И вопит: «Не поэзия — шваль!»

Врещь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии,  
Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,  
Прыщ с головкой белее несказанно жженой магнезии  
И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.

Ах, словесные тонкие-звонкие фокусы-покусы!  
Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.  
Кто не понял — невежда. К нечистому! Накося-выкуси.  
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу...

Попишу животом, и ноздрей, и ногами, и пятками,  
Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,  
Зарифмую всё это для стиля яичными смятками  
И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках...

1908

## НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Она была поэтесса,  
Поэтесса бальзаковских лет.  
А он был просто повеса,  
Курчавый и пылкий брюнет.

Повеса пришел к поэтессе.  
В полумраке дышали духи,  
На софе, как в торжественной мессе,  
Поэтесса гнула стихи:

«О, сумей огнедышащей лаской  
Вскольхнуть мою сонную страсть.  
К пене бедер за алой подвязкой  
Ты не бойся устами припасть!

Я свежа, как дыханье левкоя...  
О, сплетем же истомности тел!»  
Продолжение было такое,  
Что курчавый брюнет покраснел.

Покраснел, но оправился быстро  
И подумал: была не была!  
Здесь не думские речи министра,  
Не слова здесь нужны, а дела...

С несдержанной силой кентавра  
Поэтессу повеса привлек,  
Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!» —  
Охладило кипучий поток.

«Простите... — вскочил он. — Вы сами...»  
Но в глазах ее холод и честь:  
«Вы смели к порядочной даме,  
Как дворник, с объятьями лезть?!»

Вот чинная Мавра. И задом  
Уходит испуганный гость.  
В передней растерянным взглядом  
Он долго искал свою трость...

С лицом белее магнезии  
Шел с лестницы пылкий брюнет:  
Не понял он «новой поэзии»  
Поэтессы бальзаковских лет.

1909

## ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

*Посвящается исписавшимся  
«популярностям»*

**Я** похож на родильницу,  
Я готов скрежетать...  
Проклинаю чернильницу  
И чернильницы мать!

Патлы дыбом взлохмачены,  
Отупел, как овца, —  
Ах, все рифмы истрачены  
До конца, до конца!..

Мне, правда, нечего сказать сегодня, как всегда,  
Но этим не был я смущен, поверьте, никогда —  
Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал,  
И в жизнерадостных стихах, как жеребенок, ржал.

Паралич спинного мозга!  
Врешь, не сдамся! Пень-мигрень,  
Бебель-стебель, мозга-розга,  
Юбка-губка, тень-тюлень.

Рифму, рифму! Иссякаю —  
К рифме тему сам найду...  
Ногти в бешенстве кусаю  
И в бессильном трансе жду.

Иссяк. Что будет с моей популярностью?  
Иссяк. Что будет с моим кошельком?  
Назовет меня Пильский дешевой  
бездарностью,  
А Вакс Калошин — разбитым горшком...

Нет, не сдамся... Папа-мама,  
Дратва-жатва, кровь-любовь,  
Дама-рама-панорама,  
Бровь, свекровь, морковь... носки!

1908

### НЕТЕРПЕЛИВОМУ

*Н*е ной... Толпа тебя, как сводня,  
К успеху жирному толкнет,  
И в пасть рассчетливых тенет  
Ты залучишь свое «сегодня».

Но знай одно — успех не шутка:  
Сейчас же предъявляет счет.  
Не заплатил — как проститутка,  
Не доночает и уйдет.

1910

### НЕДЕРЖАНИЕ

*У* поэта умерла жена...  
Он ее любил сильнее гонорара!  
Скорбь его была безумна и страшна —  
Но поэт не умер от удара.

После похорон сел дома у окна,  
Весь охвачен новым впечатленьем —  
И спеша родил стихотворенье:  
«У поэта умерла жена».

1909

## СИРОПЧИК

*Дамам, чирикающим  
в детских журналах*

Дама, качаясь на ветке,  
Пикала: «Милые детки!  
Солнышко чмокнуло кустик...  
Птичка оправила бюстик  
И, обнимая ромашку,  
Кушает манную кашку...»

Дети, в оконные рамы  
Хмуро уставясь глазами,  
Полны недетской печали,  
Даме в молчанье внимали.  
Вдруг зазвенел голосочек:  
«Сколько напикала строчек?..»

1910

## ПАНУРГОВА МУЗА

Обезьяний стильный профиль,  
Щелевидные глаза,  
Губы — клещки, нос — картофель:  
Ни девица, ни коза.

Волоса — как хвост селедки,  
Бюста нет — сковорода,  
И растет на подбородке —  
Гнусно молвить — борода.

Жесты резки, ноги длинны,  
Руки выгнуты назад,  
Голос тоньше паутины  
И клыков подгнивших ряд.

Ах ты, душечка! Смеется, —  
Отворила ворота...  
Сногшибательно несется  
Кислый запах изо рта.

Щелки глаз пропали в коже,  
Брови лысые дугой.  
Для чего, великий Боже,  
Выводить ее нагой?!

1910

## ВЕШАЛКА ДУРАКОВ

### 1

**Р**аз двое третьего рассматривали в лупы  
И изрекли: «Он глуп». Весь ужас здесь был

В ТОМ,

Что тот, кого они признали дураком,  
Был умницей — они же были глупы.

### 2

«Кто этот, лущий так туманно,  
Неискренно, шаблонно и пространно?»  
— «Известный мистик N, большой чудака».  
— «Ах, мистик? Так... Я полагал — дурак».

### 3

Ослу образование дали.  
Он стал умней? Едва ли.  
Но раньше, как осел,  
Он просто чушь порол.



Саша Черный. Конец 1920-х — начало 1930-х гг.



Е. М. Куприна, Саша Черный, М. И. Васильева-Черная.  
Париж, 2-я половина 1920-х гг.



А. Черный. Солдатские сказки. Париж. Парабола, 1933.  
Обложка художника И. Билибина



В 1931 г. в Париже возобновляется выпуск журнала «Сатирикон», где наряду с Аверченко, Тэффи, Буниным, Куприным печатаются хлесткие сатиры Саши Черного

Круг добрых друзей и коллег Саши Черного  
в эмиграции. Париж, 1920 — 1930-е годы



А. Т. Аверченко



А. И. Куприн



А. Седых



Н. Тэффи



Владимир Набоков. Париж. 1930-е годы.  
Фотография из архива Р. Н. Гринберга



Саша Черный с фоксом Микки на веранде своего дома в Ла Фавьере. Слева в саду — Мария Ивановна. Франция, конец 1920-х — начало 1930-х гг.



Саша Черный и Микки на прогулке в окрестностях  
Ла Фавьера



Могила Саши Черного на кладбище в Лаванду (департамент Вар, Франция). Уничтожена в годы Второй мировой войны. Фотография 1933 г. (из собрания Э. М. Шнейдермана)

А нынче — ах злодей —  
Он, с важностью педанта,  
При каждой глупости своей  
Ссылается на Канта.

4

Дурак рассматривал картину:  
Лиловый бык лизал моржа.  
Дурак пригнулся, сделал мину  
И начал: «Живопись свежа...  
Идея слишком символична,  
Но стилизовано прилично»  
(Бедняк скрывал сильнее всего,  
Что он не понял ничего).

5

Умный слушал терпеливо  
Излиянья дурака:  
«Не затем ли жизнь тосклива,  
И бесцветна, и дика,  
Что вокруг, в конце концов,  
Слишком много дураков?»  
Но, скрывая желчный смех,  
Умный думал, свирепея:  
«Он считает только тех,  
Кто его еще глупее, —  
«Слишком много» для него...  
Ну а мне-то каково?»

6

Дурак и мудрецу порою кровный брат:  
Дурак вовек не поумнеет,  
Но если с ним заспорит хоть Сократ —  
С двух первых слов Сократ глупеет!

7

Пусть свистнет рак,  
Пусть рыба запоет,  
Пусть манна льет с небес, —  
Но пусть дурак  
Себя в себе найдет —  
Вот чудо из чудес!

1910

### БАЛЛАДА

(Из «*Sinngedichte*»<sup>1</sup> Людвиг Фульда)

**Б**ыл верный себе до кончины  
Почтенный и старый шаблон.  
Однажды, с насмешкой змеиной,  
Кинжалом он был умерщвлен.  
Когда с торжеством разделили  
Наследники царство и трон, —  
То новый шаблон, говорили,  
Похож был на старый шаблон.

1908

### ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ОДНОГО «ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕСТВА»

**М**ы культурны: чистим зубы,  
Рот и оба сапога.  
В письмах вежливы сугубо —  
«Ваш покорнейший слуга».

Отчего ж при всяком споре,  
Доведенном до конца,  
Вместо умного отпора  
Мы с бессилием глупца,

---

<sup>1</sup> «Эпиграммы» (нем.). — Ред.

Подражая папуасам,  
Бьем друг друга по мордасам?  
Бьем, конечно, языком,  
Но больней, чем кулаком...

1909

## ТРАГЕДИЯ

**Р**ожденный быть кассиром в тихой бане  
Иль агентом по заготовке шпал,  
Семен Бубнов сверх всяких ожиданий  
Игрой судьбы в редакторы попал.

Огромный стол. Перо и десть бумаги —  
Сидит Бубнов, задравши кнопку-нос...  
Не много нужно знаний и отваги,  
Чтоб ляпать всем: «Возьмем», «Не подошло-с!»

Кто в первый раз — скостит наполовину,  
Кто во второй — на четверть иль на треть...  
А в третий раз — пришли хоть требушину,  
Сейчас в набор, не станет и смотреть!

Так тридцать лет чернильным папуасом  
Четвертовал он слово, мысль и вкус,  
И наконец, опившись как-то квасом,  
Икнул и помер, вздувшись, словно флюс.

В некрóлогах, среди пышных восклицаний,  
Никто, конечно, вслух не произнес,  
Что он, служба кассиром в тихой бане,  
Наверно, больше б пользы всем принес.

1912

## ПЕСНЯ СОТРУДНИКОВ САТИРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА

Поэт

Погиб свободный смех,  
А мы живем...  
Тоска в глазах у всех.  
Что мы споем?

В с е

Убежав от мертвой злобы,  
Мы смеялись — ой-ли-ла!  
Открывалось дно трущобы,  
И чуть-чуть ясна мгла.

Но известные утробы  
Съели юмор — ой-ли-ла!  
И, исполнен хилой злобы,  
Юмор стонет, как пила.

Х у д о ж н и к

Голова горит от тем,  
Карандаш остер и тонок,  
Лишь художник тих и нем,  
Как спеленатый ребенок...

Ю м о р и с т

Врешь! Ребенок  
Из пеленок  
Буйно рвется и кричит,  
А художник,  
Как заложник,  
Слышит, видит... и молчит.

П о э т

Звени, мой стих, и плачь!  
Мне хуже всех —  
Я должен, как палач,  
Убить свой смех...

В с е

«Смеха не надо бояться»,  
В смехе последний оплот:  
Не над чем разве смеяться?  
Лучше без слов задыхаться  
Чадом родимых болот?

Ю м о р и с т

Вопрос гораздо проще —  
Они сказали: «Нет!»

Друзья, вернемся к теще —  
Невиннейший сюжет...

Все

Он прав — играть не стоит в прятки,  
Читатель дорогой!  
Подставь чувствительные пятки  
И знай брыкай ногой.

Поэт (запевает)

Зять с тещей, сидя на ольхе,  
Свершали смертный грех...  
Смешно? Хи-хи. Смешно? Хэ-хэ.  
Греми, свободный смех!

Все

Ноги кверху! Выше, выше...  
Счастлив только идиот.  
Пусть же яростней и лише  
Идиотский смех растет.

Превратим старушку лиру  
В балалайку. Жарь до слез!  
Благородную сатиру  
Ветер северный унес...

1908

## ПОСЛАНИЯ

### ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ

Семь дней валяюсь на траве  
Средь бледных незабудок,  
Уснули мысли в голове,  
И чуть ворчит желудок.

Песчаный пляж. Волна скулит,  
А чайки ловят рыбу.  
Вдали чиновный инвалид  
Ведет супругу-глыбу.

Друзья! Прошу вас написать —  
В развратном Петербурге  
Такой же рай и благодать,  
Как в тихом Гунгербурге?

Семь дней газет я не читал...  
Скажите, дорогие,  
Кто в Думе выкинул скандал,  
Спасая честь России?

Народу школа не дана ль  
За этот срок недельный?  
Какая в моде этуаль?  
И как вопрос земельный?

Ах, да — не вышли ль, наконец,  
Все левые из Думы?  
Не утомился ль Шварц-делец?  
А турки?.. Не в Батуме?

Лежу, как лошадь, на траве —  
Забыл о мире бренном,  
Но кто-то поет в голове:  
Будь злым и современным...

Пишите ж, милые, скорей!  
Условия суровы:  
Ведь правый думский брадобрей  
Скандал устроит новый...

Тогда, увы, и я и вы  
Не будем современны.  
Ах, горько мне вставать с травы  
Для злобы дня презренной!

1908  
Гунгербург

## ПОСЛАНИЕ ВТОРОЕ

Сорошо сидеть под черной смородиной,  
Дышать, как буйвол, полными легкими,  
Наслаждаться старой, истрепанной «Родиной»  
И следить за тучками легкомысленно-легкими.

Хорошо, обедаясь ледяной простоквашею,  
Смотреть с веранды глазами порочными,  
Как дворник Петер с кухаркой Агашею  
Угощают друг друга поцелуями сочными.

Хорошо быть Агашей и дворником Петером,  
Без драм, без принципов, без точек зрения,  
Начав с конца роман перед вечером,  
Окончить утром — дуэтом храпения.

Бросаю тарелку, томлюсь и завидую,  
Надеваю шляпу и галстук сиреневый  
И иду в курзал на свидание с Лидою,  
Худосочной курсисткой с кожей шагреновой.

Навстречу старухи, мордатые, злобные,  
Волочат в песке одеянья суконные,  
Отвратительно старые и отвисло-утробные,  
Ползут и ползут, словно оводы сонные.

Где благородство и мудрость их старости?  
Отжившее мясо в богатой материи  
Заводит сатиру в ущелие ярости  
И ведьм вызывает из тьмы суеверия...

А рядом юные, в прическах на валиках,  
В поддельных локонах, с собачьими лицами,  
Невинно шепчутся о местных скандаликах  
И друг на друга косятся тигрицами.

Курзальные барышни, и жены, и матери!  
Как вас нетрудно смешать с проститутками,  
Как мелко и тинисто в вашем фарватере,  
Набитом глупостью и предрассудками...

Фальшивит музыка. С кровавой обидою  
Катится солнце за море вечернее.  
Встречаюсь сумрачно с курсисткой Лидою —  
И власть уныния больней и безмернее...

Опять о Думе, о жизни и родине,  
Опять о принципах и точках зрения...  
А я вздыхаю по черной смородине  
И полон желчи, и полон презрения...

1908

Гунгербург

### ПОСЛАНИЕ ТРЕТЬЕ

**В**етерок набегающий  
Шаловлив, как влюбленный прелат.  
Адмирал отдыхающий  
Поливает из лейки салат.

За зеленой оградой,  
Растянувшись на пляже, как краб,  
Полицмейстер с отрадою  
Из песку лепит формочкой баб.

Средь столбов с перекладиной  
Педагог на скрипучей доске  
Кормит мопса говядиной,  
С назиданьем при каждом куске.

Бюрократ в отдалении  
Красит масляной краской балкон.  
Я смотрю в удивлении  
И не знаю: где правда, где сон?

Либеральную бороду  
В глубочайшем раздумье щиплю...  
Кто, приученный к городу,  
В этот миг не сказал бы: «Я сплю»?

Жгут сомненья унылые,  
Не дают развернуться мечте, —  
Эти дачники милые  
В городах совершенно не те!

Полицмейстер крамольников  
Лепит там из воды и песку.  
Вместо мопсов на школьников  
Педагог нагоняет тоску,

Бюрократ черной краскою  
Красит всю православную Русь...  
Но... знакомый с развязкою —  
За дальнейший рассказ не берусь.

1908

Гунзбург

## ПОСЛАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

**Н**одводя итоги летом  
Грустным промахам зимы,  
Часто тешимся обетом,  
Что другими будем мы.  
Дух изношен, тело тоже,  
В паутине меч и щит,  
И в душе сильней и строже  
Голос совести рычит.

Сколько дней ушло впустую...  
В сердце лежали скорбь и злость,  
Как в открытую пивную,  
Где любой прохожий — гость.  
В результате: жизнь ублюдка,  
Одиноких мыслей яд,  
Несварение желудка  
И потухший, темный взгляд.

Баста! Лето... В семь встаю я,  
В десять вечера ложусь,  
С ленью бешено воюя,  
Целый день, как вол, тружусь.  
Чищу сад, копаю грядки,  
Глажу старого кота  
(А вчера играл в лошадки  
И убил в лесу крота).

Водку пью перед едою  
(Иногда — по вечерам)  
И холодной водою  
Обтираюсь по утрам.  
Храбро зимние сомненья  
Неврастенъей назвал вдруг,  
А фундамент обновленья  
Всё не начат... Недосуг...

Планы множатся, как блохи  
(Май, июнь уже прошли).  
Соберу ль от них хоть крохи?  
Совесь, совесь, не скули!

Вам знакома повесть эта?  
После тусклых дней зимы  
Люди верят в силу лета  
Лишь до новой зимней тьмы...

Кто желает объясненья  
Этой странности земной,  
Пусть придет в воскресенье  
Побеседовать со мной.

1908  
Гунгербург

### ПОСЛАНИЕ ПЯТОЕ

**В**чера играло солнце  
И море голубело —  
И дух тянулся к солнцу,  
И радовалось тело.

И люди были лучше,  
И мысли были сладки —  
Вчера шальное солнце  
Пекло во все лопатки.

Сегодня дождь и сырость...  
Дрожат кусты от ветра,  
И дух мой вниз катится  
Быстрее баромэтра.

Сегодня люди — гады,  
Надежда спит сегодня —  
Усталая надежда,  
Накрашенная сводня.

Из веры, книг и жизни,  
Из мрака и сомненья  
Мы строим год за годом  
Свое мировоззренья...

Зачем вчера при солнце  
Я выгнал вон усталость,  
Заигрывал с надеждой  
И верил в небывалость?..

Горит закат сквозь тучи  
Чахоточным румянцем.  
Стою у злого моря  
Циничным оборванцем.

Всё тучи, тучи, тучи...  
Ругаться или плакать?  
О, если б чаще солнце?  
О, если б реже слякоть!

1908  
Гунгербург

### ПОСЛАНИЕ ШЕСТОЕ

**В** жаркий полдень влез, как белка,  
На смолистую сосну.  
Небо — синяя тарелка, —  
Клонит медленно ко сну.  
Впереди стальное море и далекий горизонт.  
На песчаном пляже дама распустила красный зонт.

Пляска шелковых оборок,  
Шляпа-дом, корсет, боа...  
А... купчиха! Глаз мой зорек —  
Здравствуй, матушка Москва!  
Тридцать градусов на солнце — даже мухи спят  
в тени, —  
Распусти корсет и юбки и под деревом усни...

И, обласкан теплым светом,  
В полудреме говорю:  
Хорошо б кольцо с браслетом  
Ей просунуть сквозь ноздрю...  
Свищут птицы, шепчут сосны, замер парус вдалеке.  
Засыпаю... до свиданья, засыпаю... на суке...

«Эй, мужчина! — дачный сторож  
Грубо сон мой вдруг прервал. —  
Слезьте с дерева, да скоро ж!  
Дамский час давно настал».

На столбе направо никнет в самом деле красный  
флаг.  
Злобно с дерева слезаю и ворчу — за шагом шаг.

Вон желтеет сквозь осины  
Груда дряблых женских тел —  
Я б смотреть на эти спины  
И за деньги не хотел...  
В лес пойду за земляникой... Там ведь дамских нет  
часов,  
Там никто меня мужчиной не облает из кустов.

1908

Гунзгербург

## БУЛЬВАРЫ

Праздник. Франты гимназисты  
Занимают все скамейки.  
Снова тополи душисты,  
Снова влюбчивы еврейки.

Пусть экзамены вернулись...  
На тенистые бульвары,  
Как и прежде, потянулись  
Пары, пары, пары, пары...

Господа семинаристы  
Голосисты и смешливы,  
Но бонтонны гимназисты  
И вдвойне красноречивы.

Назначают час свиданья,  
Просят «веточку сирени»,  
Давят руки на прощанье  
И вздыхают, как тюлени.

Адьютантик благовонный  
Увлечен усатой дамой.  
Слышен голос заглушенный:  
«Ах, не будьте столь упрямой!»

Обещает. О, конечно.  
Даже кошки и собачки  
Кое в чем небезупречны  
После долгой зимней спячки...

Три акцизника портнихе  
Отпускают комплименты.  
Та бежит и шепчет тихо:  
«А еще интеллигенты!»

Губернатор едет к тете.  
Нежны кремовые брюки.  
Присяжная на отлете  
Вытанцовывает штуки.

А в соседнем переулке  
Тишина, и лень, и дрема.  
Всё живое на прогулке,  
И одни старушки дома.

Садик. Домик чуть заметен.  
На скамье у старой елки  
В упоенье новых сплетен  
Две седые балаболки.

«Шмит к Серовой влез в окошко...  
А еще интеллигенты!  
Ночью, к девушке, как кошка...  
Современные... Студенты!»

1908

## СВЯЩЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Беседка теснее скворешни.  
Темны запыленные листья.  
Блестят наливные черешни...  
Приходит дородная Христя,  
Приносит бутылку наливки,  
Грибы, и малину, и сливки.

В поднос упираются дерзко  
Преступно-прекрасные формы.  
Смущенно, и робко, и мерзко  
Уперлись глазами в забор мы...  
Забыли грибы и бутылку,  
И кровь приливает к затылку.

«Садитесь, Христина Петровна!» —  
Потупясь, мы к ней обратились  
(Все трое в нее поголовно  
Давно уже насмерть влюбились),  
Но молча косится четвертый:  
Причины особого сорта...

Хозяин беседки и Христи,  
Наливки, и сливок, и сада  
Сжимает задумчиво кисти,  
А в сердце вползает досада:  
«Ах, ешьте грибы и малину  
И только оставьте Христину!»

1908

## НА СЛАВНОМ ПОСТУ

**Ф**ельетонист взъерошенный  
Засунул в рот перо.  
На нем халат изношенный  
И шляпа болеро...

Чем в следующем номере  
Заполнить сотню строк?  
Зимую жизнь в Житомире  
Сонлива, как сурок.

Живет перепечатками  
Газета-инвалид  
И только опечатками  
Порой развеселит.

Не трогай полицмейстера,  
Духовных и крестьян,  
Чиновников, брандмейстера,  
Торговцев и дворян,

Султана, предводителя,  
Толстого и Руссо,  
Адама-прародителя  
И даже Клемансо...

Ах, жизнь полна суровости,  
Заплачешь над судьбой:  
Единственные новости —  
Парад и мордобой!

Фельетонист взъерошенный  
Терзает болеро:  
Парад — сюжет изношенный,  
А мордобой — старо!

1908

### ПРИ ЛАМПЕ

*т*ри экстерна болтают руками,  
А студент-оппонент  
На диван завалился с ногами  
И, сверкая цветными носками,  
Говорит, говорит, говорит...

Первый видит спасенье в природе,  
Но второй, потрясая икрой,  
Уверяет, что только в народе.  
Третий — в книгах и в личной свободе,  
А студент возражает всем трем.

Лазарь Розенберг, рыжий и гибкий,  
В стороне на окне  
К Дине Блюм наклонился с улыбкой.  
В их сердцах ангел страсти на скрипке  
В первый раз вдохновенно играл.

В окна первые звезды мигали.  
Лез жасмин из куртин.  
Дина нежилась в маминой шали,  
А у Лазаря зубы стучали  
От любви, от великой любви!..

Звонко пробило четверть второго —  
И студент-оппонент  
Приступил, горячась до смешного,  
К разделению шара земного.  
Остальные устало молчали.

Дым табачный и свежесть ночная...  
В стороне, на окне,  
Разметалась забытая шаль, как больная,  
И служанка внесла, на ходу засыпая,  
Шестой самовар...

1908

## ШКАТУЛКА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО «CAVALERO»<sup>1</sup>

(Опись)

**Ш**поры, пачка зубочисток,  
Сорок писем от модисток,  
Шитых шелком две закладки,  
Три несвежие перчатки,  
Бинт и средство для усов,  
Пара сломанных часов,  
Штрипки, старая кокарда,  
Семь квитанций из ломбарда,  
Пистолет, *salol*<sup>2</sup> в облатках,  
Анекдоты в трех тетрадках,  
«Эсс-буке» и «Гонгруаз»,  
Два листка кадрильных фраз,  
Пять предметов из резинки,  
Фотография от Зинки,

---

<sup>1</sup> «Кавалера» (исп.). — Ред.

<sup>2</sup> Салол (лат.). — Ред.

Шесть «варшавских» cartes postales<sup>1</sup>,  
Хлястик, карты и вуаль,  
Красной ленточки клочок  
И потертый темлячок.

1908

## НА ГАЛЕРКЕ

(В опере)

Иредо мною чьи-то локти,  
Ароматный воздух густ,  
В бок вцепились чьи-то ногти,  
Сзади шепот чьих-то уст:  
«В этом месте бас сфальшивил!»  
«Тише... Bravo! Ш-а! Еще!!»  
Кто-то справа осчастливил —  
Робко сел мне на плечо.  
На лице моем несчастном  
Бьется чей-то жирный бюст,  
Сквозь него на сцене ясно  
Вижу будочку и куст.  
Кто-то дышит прямо в ухо.  
Бас ревет: «О, па-че-му?!»  
Я прислушиваюсь сухо  
И не верю ничему.

1908

## РАННИМ УТРОМ

Утро. В парке — песнь кукушкина.  
Заперт сельтерский киоск.  
Рядом — памятник Пушкина,  
У подножья — пьяный в лоск:

---

<sup>1</sup>Почтовые открытки (фр.). — Ред.

Поудобнее притулится,  
Посидит и упадет...  
За оградой вьется улица,  
А на улице народ:

Две дворянки, мама с дочкою,  
Ковыляют на базар;  
Водовоз, привстав над бочкою,  
Мчится словно на пожар;

Пристав с шашкою под мышкою,  
Две свиньи, ветеринар.  
Через час — «приготовишкою»  
Оживляется бульвар.

Сколько их, смешных и маленьких,  
И какой сановный вид!  
Вон толстяк в галошах-валенках  
Ест свой завтрак и сопит.

Два — друг дружку лупят ранцами,  
Третий книжки растерял,  
И за это «оборванцами»  
Встречный поп их обругал.

Солнце рдеет над березами.  
Воздух чист, как серебро.  
Тарахтит за водовозами  
Беспокойное ведро.

На кентаврах раскоряченных  
Прокатил архиерей,  
По ошибке, страхом схваченный,  
Низко шапку снял еврей.

С визгом пес пронесся мнительный —  
«Гицель» выехал на лов.  
Бочки. Запах подозрительный  
Объясняет всё без слов.

Жизнь всё ярче разгорается:  
Двух старушек в часть ведут,  
В парке кто-то надрывается —  
Вероятно, морду бьют.

Тьма, как будто в Полинезии...  
И отлично! Боже мой,  
Разве мало здесь поэзии,  
Самобытной и родной?!

1909

## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

А. И. Куприну

Из-за забора вылезла луна  
И нагло села на крутую крышу.  
С надеждой, верой и любовью слышу,  
Как запирают ставни у окна.  
Луна!

О, томный шорох темных тополей  
И спелых груш наивно-детский запах!  
Любовь сжимает сердце в цепких лапах,  
И яблони смеются вдоль аллей.  
Смелей!

Ты там, как мышь, притихла в тишине?  
Но взвизгнет дверь пустынного балкона,  
Белея и шумя волнами балахона,  
Ты проскользнешь, как бабочка, ко мне.  
В огне...

Да — дверь поет. Дождался наконец.  
А впрочем, хрип, и кашель, и сморканье,  
И толстых ног чужие очертанья —  
Всё говорит, что это твой отец.  
Конец.

О, носорог! Он смотрит на луну.  
Скребет бока, живот и поясницу  
И, придавив до плача половицу,  
Икотой нарушает тишину.  
Ну-ну...

Потом в туфлях спустился в сонный сад,  
В аллее яблоки опавшие собирает,

Их с чавканьем и хрустом пожирает  
И в тьму вперяет близорукий взгляд.  
Назад!

К стволу с отчаяньем и гневом я приник.  
Застыл. Молчу. А в сердце кастаньеты...  
Ты спишь, любимая? Конечно, нет ответа,  
И не уходит медленный старик —  
Привык!

Мечтает... Гад! Садится на скамью...  
Вокруг забор, а на заборе пики.  
Ужель застряну и в бессильном крике  
Свою любовь и злобу изолью?!  
Плюю...

Луна струит серебряную пыль.  
Светло. Прости!.. В тоске пе-ре-ле-за-ю,  
Твои глаза заочно ло-бы-за-ю  
И... с тррреском рву штанину о костыль.  
Рахиль!

Как мамонт бешеный, влачился я, хромой.  
На улицах луна и кружево каштанов...  
Будь проклята любовь вблизи  
отцов-тиранов!  
Кто уголит сегодня голод мой?  
Домой!..

1910

## НА МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИИ

Склонив хребет, галантный дирижер  
Талантливо гребет обеими руками —  
То сдержит оком бешеный напор,  
То вдруг в падучей изойдет толчками...

Кургузый добросовестный флейтист,  
Скосив глаза, поплеывает в дудку.  
Впиваясь в скрипку, тоненький, как глист,  
Визжит скрипач, прижав пюпитр к желудку.

Девушка-страус, сжав виолончель,  
Ключицами прилипла страстно к грифу  
И, бесконечную наявивая трель,  
Всё локтем ерзает по кремовому лифу.

За фисгармонией унылый господин  
Рычит, гудит и испускает вздохи,  
А пианистка вдруг, без видимых причин,  
Куда-то вверх полезла в суматохе.

Перед трюмо расселся местный лев,  
Сияя парфюмерною улыбкой, —  
Вокруг колье из драгоценных дев  
Шуршит волной, томительной и гибкой...

А рядом чья-то mère<sup>1</sup>, в избытке чувств  
Вдыхая, пудрит нос, горящий цветом мака:  
«Ах, музыка, искусство из искусств,  
Безумно помогает в смысле брака!..»

1921  
Вильна

## НА РЕКЕ

Господа волонтеры  
Катаются в лодке  
И горланят над сонной водою.  
На скамье помидоры,  
Посудина с водкой,  
Пиво, сыр и бумажка с халвою.  
Прямо к старой купальне  
На дамские ноги  
Правят нос, закрывая погоны.  
Но передний печально  
Вдруг свистнул: «О боги!  
Это ноги полковничьей бонны».

---

<sup>1</sup> Мать (фр.). — Ред.

И уходит бросками  
Скрипящая лодка.  
Задыхаясь, рвут весла и гонят.  
Упираясь носками,  
Хохочут: «Лебедка!  
Волонтер тебя пальцем не тронет!»

На челне два еврея  
Поют себе хором:  
«Закувала та сыза зозу-ля...»  
Рулевой, свирепея,  
Грозит помидором,  
А сосед показал им две дули.

«Караул! Что такое?!»  
Галдеж перебранки,  
Челн во все удирает лопатки.  
Тишина над рекою...  
На грузной лоханке  
Показался мороженщик с кадкой.

Навертел крокодилам  
Три полные чашки.  
Лодка пляшет и трется о лодку.  
В синьке неба — белила.  
Вспотели рубашки.  
Хороша ли с мороженым водка?

1910

## У МОРЯ

Облаков жемчужный поясок  
Полукругом вьется над заливом.  
На горячий палевый песок  
Мы легли в томлении ленивом.

Голый доктор, толстый и большой,  
Подставляет солнцу бок и спину.  
Принимаю вспыхнувшей душой  
Даже эту дикую картину.

Мы наги, как дети-дикари,  
Дикари, но в самом лучшем смысле.

Подымайся, солнце, и гори,  
Растопляй кочующие мысли!

По морскому хрену, возле глаз,  
Лезет желтенькая божия коровка.  
Наблюдаю трудный перелаз  
И невольно восхищаюсь: ловко!

В небе тают белые клочки.  
Покраснела грудь от ласки солнца.  
Голый доктор смотрит сквозь очки,  
И в очках смеются два червонца.

•Доктор, друг! А не забросить нам  
И белье, и платье в сине море?  
Будем спины подставлять лучам  
И дремать, как галки на заборе...

Доктор, друг... мне кажется, что я  
Никогда не нашивал одежды!»  
Но коварный доктор — о змея! —  
Разбивает все мои надежды:

•Фантазер! Уже в закатный час  
Будет холодно, и ветрено, и сыро.  
И притом фигуришки у нас:  
Вы — комар, а я — бочонок жира.

Но всего важнее, мой поэт,  
Что меня и вас посадят в каталажку».   
Я кивнул задумчиво в ответ  
И пошел напяливать рубашку.

Июль 1909  
Гунгербург

## ИЗ ФИНЛЯНДИИ

**Я** удрал из столицы на несколько дней  
В царство сосен, озер и камней.

На площадке вагона два раза видал,  
Как студент свою даму лобзал.

Эта старая сцена сказала мне вмиг  
Больше ста современной книг.

А в вагоне — соседка и мой vis-à-vis<sup>1</sup>  
Объяснялись тихонько в любви.

Чтоб свое одинокое сердце отвлечь,  
Из портпледа я вытащил «Речь».

Вверх ногами я эту газету держал:  
Там, в углу, юнкер барышню жал!

Был на Иматре. Так надо.  
Видел глупый водопад.  
Постоял у водопада  
И, озлясь, пошел назад.

Мне сказала в пляске шумной  
Сумасшедшая вода:  
«Если ты больной, но умный —  
Прыгай, миленький, сюда!»

Извините. Очень надо...  
Я приехал отдохнуть.  
А за мной из водопада  
Донеслось: «Когда-нибудь!»

Забыл на вокзале пенсне, сломал отельную лыжу.  
Купил финский нож — и вчера потерял.  
Брожу у лесов и вдвойне опять ненавижу  
Того, кто мое легкоеверие грубо украл.

Я в городе жаждал лесов, озер и покоя.  
Но в лесах снега глубоки, а галоши мелки.  
В отеле всё те же комнаты, слуги, жаркое,  
И в окнах — финского неба слепые белки.

Конечно, прекрасно молчание финнов и финок,  
И сосен, и финских лошадок, и неба, и скал,  
Но в городе я намолчался по горло, как инок,  
И здесь я бури и вольного ветра искал...

---

<sup>1</sup> Друг против друга (фр.). — Ред.

Над нетронутым компотом  
Я грущу за табльдотом:  
Все разъехались давно.

Что мне делать — я не знаю.  
Сплю, читаю, ем, гуляю —  
Здесь — иль город: всё равно.

*Декабрь 1909 или январь 1910*

## КАРНАВАЛ В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ

**Т**ород спятил. Людям надоели  
Платья серых будней — пиджаки.  
Люди тряпки пестрые надели,  
Люди все сегодня — дураки.

Умничать никто не хочет больше,  
Так приятно быть самим собой...  
Вот костюм кичливой старой Польши,  
Вот бродяги шествуют гурьбой.

Глупый Михель с пышною супругой  
Семенит и машет колпаком,  
Белый клоун надрывается белугой  
И грозит кому-то кулаком.

Ни проехать, ни пройти,  
Засыпают конфетти,  
Щиплют пухленьких жеманниц.

Нет манер, хоть прочь рубаху!  
Дамы бьют мужчин с размаху,  
День во власти шумных пьяниц.

Над толпою серпантин  
Сетью пестрых паутин  
Перевился и трепещет.

Треск хлопушек, свист и вой,  
Словно бешеный прибой,  
Рвется в воздухе и плещет.

Идут, обнявшись, смеясь и толкаясь,  
В открытые настезь пивные.  
Идут как братья, шутя и ругаясь,  
И все такие смешные...

Смех людей соединил,  
Каждый пел и каждый пил,  
Каждый делался ребенком.

Вон судья навеселе  
Пляшет джигу на столе,  
Вон купец пищит котенком.

Хор студентов свеж и волен, —  
Слава сильным голосам!  
Город счастлив и доволен,  
Льется пиво по столам...

Ходят кельнерши в нарядах —  
Та матросом, та пажом,  
Страсть и дерзость в томных взглядах:  
«Помани, и... обожжем!»

Пусть завтра опять наступают будни.  
Пусть люди наденут опять пиджаки,  
И будут спать еще непробудней, —  
Сегодня мы все — дураки!

Братья! Женщины не щепки —  
Губы жарки, ласки крепки,  
Как венгерское вино.

Пейте, лейте, прочь жеманство!  
Завтра трезвость, нынче пьянство...  
Руки вместе — и на дно!

# Из книги «Сатиры и лирика»

## В ПРОСТРАНСТВО

**В** литературном преискуранте  
Я занесен на скорбный лист:  
«Нельзя, мол, отказать в таланте,  
Но безнадежный пессимист».

Ярлык пришит. Как для дантиста  
Все рты полны гнилых зубов,  
Так для поэта-пессимиста  
Земля — коллекция гробов.

Конечно, это свойство взоров!  
Ужели мир так впал в разврат,  
Что нет природы для узоров  
Оптимистических кантат?

Вот редкий подвиг героизма,  
Вот редкий умный господин,  
Здесь — брак, исполненный лиризма,  
Там — мирный праздник именин...

Но почему-то темы эти  
У всех сатириков в тени,  
И все сатирики на свете  
Лишь ловят минусы одни.

Вновь с «безнадежным пессимизмом»  
Я задаю себе вопрос:  
Они ль страдали дальтонизмом  
Иль мир бурьяном зла зарос?

Ужель из дикого желанья  
Лежать ничком и землю грызть  
Я искажил все очертанья,  
Лишь в краску тьмы макая кисть?

Я в мир, как все, явился голый  
И шел за радостью, как все...  
Кто спеленал мой дух веселый —  
Я сам? Иль ведьма в колесе?

О Мефистофель, как обидно,  
Что нет статистики такой,  
Чтоб даже толстым стало видно,  
Как много ружляди людской!

Тогда, объяв века страданья,  
Не говорили бы порой,  
Что пессимизм как заиканье  
Иль как душевный геморрой...

1910 или 1911

## ЧЕЛОВЕК В БУМАЖНОМ ВОРОТНИЧКЕ

*Занимается письмоводством.*

*Отметка в паспорте*

**Н**озвольте представиться: Васин.  
Несложен и ясен, как дрозд.  
В России подобных орясин —  
Как в небе полуночном звезд.

С лица я не очень приятен:  
Нос толстый, усы — как порей,  
Большое количество пятен  
И также немало угрей...

Но если постричься, побриться  
И спрыснуться майским амбре —  
Любая не прочь бы влюбиться  
И вместе пойти в кабаре.

К политике я равнодушен.  
Кадеты, эсдеки — к чему-с?

Бухгалтеру буду послушен  
И к Пасхе прибавки добыюсь.

На службе у нас лотереи...  
Люблю, но, увы, не везет:  
Раз выиграл баночку клею,  
В другой — перебитый фагот.

Слежу иногда за культурой:  
Бальмонт, например, и Дюма,  
Андреев... с такой шевелюрой —  
Мужчины большого ума!..

Видали меня на Литейном?  
Пейзаж! Перед каждым стеклом  
Торчу по часам ротозейно:  
Манишечки, пряничный лом...

Тут мятный, там вяземский пряник,  
Здесь выпуски «Ужас таверн»,  
Там дивный фразе-подстаканник  
С русалкою в стиле модерн.

Зайдешь и возьмешь полендвичи  
И кетовой (четверть) икры,  
Привяжешься к толстой девице,  
Проводишь, предложишь дары.

Чаек. Заведешь на гитаре  
Чарующий вальс «На волнах»  
И глазом скользишь по Тамаре...  
Невредно-с! Удастся иль швах?

Частенько уходишь без толку:  
С идеями или глупа.  
На Невском бобры, треуголки,  
Чиновники, шубы... Толпа!

Нырнешь и потонешь бесследно.  
Ах, черт, сослуживец... «Балда!»  
— «Гуляешь?» — «Гуляю» — «Не вредно!»  
— «Со мною?» — «С тобою». — «Айда!»

## УТЕШЕНИЕ

**В** минуты,  
Когда, озираясь, беспомощно ждешь перемены,  
Невольно  
Скуратова образ всплывает, как призрак гангрены...  
О счастье,  
Что в мир мы явились позднее, чем предки!  
Всё лучше  
По Чехову жить, чем биться под пытками в клетке...  
Что муки  
Духовных застенков, смягченных привычной печалью,  
Пред адом  
Хрустящих костей и мяса под жадною сталью?  
У нас ведь  
Симфонии, книги, поездки в Европу... и Дума —  
При Грозном  
Так страшно и так бесконечно утрюмо...  
Умрем мы,  
И дети умрут, и другое придет поколение —  
В минуты  
Повышенных, новых и острых сомнений  
Вновь скажут  
Они, озираясь, с беспомощным смехом утрюмым:  
«О счастье,  
Что мы родились после той удивительной Думы!  
Всё лучше  
К исканиям новым идти, томясь и срываясь,  
Чем молча  
Позором своим любоваться, в плену задыхаясь».

1911

## ПРЯНИК

**К**ак-то, сидя у ворот,  
Я жевал пшеничный хлеб,  
А крестьянский мальчик Глеб  
Не дыша смотрел мне в рот.

Вдруг он буркнул, глядя вбок:  
«Дай-кась толичко и мне!»  
Я отрезал на бревне  
Основательный кусок.

Превосходный аппетит!  
Вмиг крестьянский мальчик Глеб,  
Как акула, съел свой хлеб  
И опять мне в рот глядит.

«Вкусно?» Мальчик просиял:  
«Быдто пряник! Дай ищю!»  
Я ответил: «Хорошо»,  
Робко сжался и завял...

Пряник?.. Этот белый хлеб  
Из пшеницы мужика —  
Нынче за два пятака  
Твой отец мне продал, Глеб.

1911

## РОЖДЕНИЕ ФУТУРИЗМА

Художник в парусиновых штанах,  
Однажды сев случайно на палитру,  
Вскочил и заметался влопыхах:  
«Где скипидар?! Давай — скорее вытру!»

Но, рассмотревши радужный каскад,  
Он в трансе творческой интуитивной дрожи  
Из парусины вырезал квадрат  
И... учредил салон «Ослиной кожи».

Весна 1912

## ТРАГЕДИЯ

Я пришел к художнику Миноге —  
Он лежал на низенькой тахте  
И, задравши вверх босые ноги,  
Что-то мазал кистью на холсте.

Испугавшись, я спросил смущенно:  
«Что с тобой, maestro<sup>1</sup>? Болен? Пьян?»  
Но Минога гаркнул раздраженно,  
Гениально сплюнув на диван:

«Обыватель с заячьей душою!  
Я открыл в искусстве новый путь, —  
Я теперь пишу босой ногою...  
Всё, что было, — пошлость, ложь и муть.

Футуризм стал ясен всем прохожим.  
Дальше было некуда леветь...  
Я нашел!» — и он, привстав над ложем,  
Носу с кистью опустил, как плеть.  
Подстеливши на пол покрывало,  
Я колено робко преклонил  
И, косясь на лоб микрокефала,  
Умиленным шепотом спросил:

«О Минога, друг мой, неужели? —  
Я себя ударил гулко в грудь. —  
Но, увы, чрез две иль три недели  
Не состарится ль опять твой новый путь?»

И Минога тоном погребальным  
Пробурчал, вздыхая, как медведь:  
«Н-да-с... Извольте быть тут гениальным...  
Как же, к черту, дальше мне леветь?!»

*Начало 1910-х*

\* \* \*

**Б**езглазые глаза надменных дураков,  
Куриный кодекс модных предрассудков,  
Рычание озлобленных ублюдков  
И наглый лягз очередных оков...  
А рядом, словно окна в синий мир,  
Сверкают факелы безумного Искусства:

---

<sup>1</sup>Учитель (шт.). — Ред.

Сияет правда, пламенеет чувство,  
И мысль справляет утонченный пир.

Любой пигмей, слепой, бескрылый крот,  
Вползает к Аполлону, как в пивную, —  
Нагнет, икая, голову тупую  
И сладостный нектар как пиво пьет.  
Изучен Дант до неоконченной строфы,  
Кишат концерты толпами прохожих,  
Бездарно и безрадостно похожих,  
Как несгораемые тусклые шкафы...

Вы, гении, живущие в веках,  
Чьи имена наборщик знает каждый,  
Заложники бессмертной вечной жажды,  
Скопившие всю боль в своих сердцах!  
Вы все — единой донкихотской расы,  
И ваши дерзкие, святые голоса  
Всё так же тщетно рвутся в небеса,  
И вновь, как встарь, вам рукоплещут  
папуасы...

1921

## РУССКОЕ

«Руси есть веселие пити».

Не умеют пить в России!  
Спиртом что-то разбудив,  
Тянут сильные витии  
Патетический мотив  
О мещанском духе шведа,  
О началах естества,  
О бездарности соседа  
И о целях божества.  
Пальцы тискают селедку...  
Водка капает с усов,  
И сосед соседям кротко  
Отпускает «подлецов».  
Те дают ему по морде

(Так как лиц у пьяных нет),  
И летят в одном аккорде  
Люди, рюмки и обед.  
Благородные лакеи  
(Помесь фрака с мужиком)  
Молча гнут хребты и шеи,  
Издеваясь шепотком...  
Под столом гудят рыдания,  
Кто-то пьет чужой ликер.  
Примиренные лобзанья,  
Брудершафты, спор и вздор...  
Анекдоты, словоблудье,  
Злая грязь циничных слов...  
Кто-то плачет о безлюдье,  
Кто-то врет: «Люблю жидов!»  
Откровенность гнойным бредом  
Густо хлещет из души...  
Людоеды ль за обедом  
Или просто апаший?  
Где хмельная мощь момента?  
В головах угарный шиш,  
Сутенера от доцента  
В этот миг не отличишь!

Не умеют пить в России!..  
Под приборой пустых минут,  
Как взлохмаченные Вии,  
Одиночки молча пьют.  
Усмехаясь, вызывают  
Все легенды прошлых лет  
И, глумясь, их растлевают,  
Словно тешась словом: «Нет!»  
В перехваченную глотку,  
Содрогаясь и давясь,  
Льют безрадостную водку  
И надежды топчут в грязь.  
Сатанеют равнодушно,  
Разговаривают с псом,  
А в душе пестро и скучно  
Черти ходят колесом.

Цель одна: скорей напиться...  
Чтоб смотреть угрюмо в пол  
И, качаясь, колотиться  
Головой о мокрый стол...

Не умеют пить в России!  
Ну а как же надо пить?  
Ах, влохмаченные Вии...  
Так же точно — как любить!

1911

### ТАК СЕБЕ

**Т**ридцать верст отшагав по квартире,  
От усталости плечи горбя,  
Бледный взрослый увидел себя  
Бесконечно затерянным в мире.  
    Перебрал всех знакомых, вздохнул  
    И поплелся, покорный как мул.

На углу покачался на месте  
И нырнул в темный ящик двора.  
Там жила та, с которой вместе  
Он не раз убивал вечера.  
    Даже дружба меж ними была —  
    Так знакомая близко жила.

Он застал ее снова не в духе.  
Свесив ноги, брезгливо-скучна,  
И крутя зубочисткою в ухе,  
В оттоманку вдавилась она.  
    И белели сквозь дымку зефира  
    Складки томно-ленивого жира.

Мировые проблемы решая,  
Заскулил он, шагая пред ней,  
А она потянулась, зевая,  
Так что бок обтянулся сильнее,  
    И, хребет выгибая дугой,  
    По ковру застучала ногой.

Сел. На плотные ноги сурово  
Покосился и гордо затих.  
Сколько раз он давал себе слово  
Не решать с ней проблем мировых!  
Отмахнул горьких дум вереницу  
И взглянул на ее поясницу.

Засмотрелся с тупым любопытством,  
Поперхнулся и жадно вздохнул,  
Вдруг зарделся и с буйным бесстыдством  
Всю ее, как дикарь, оглянул...  
В сердце вгрызлись голодные волки,  
По спине заплясали иголки.

Обернулась, зевая, сирена  
И невольно открыла зрачки:  
Любопытство и дерзость мгновенно  
Сплин и волю схватили в тиски,  
В сердце грызлись голодные жуки,  
И призывно раскинулись руки...

.....  
Воротник поправляя измятый,  
Содрогаясь, печален и тих,  
В дверь, потупясь, шмыгнул воровато  
Разрешитель проблем мировых.  
На диване, брезгливо-скучна,  
В потолок засмотрелась она.

1911

## СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ

### 1

Окруженный кучей бланков,  
Пожилой конторщик Банков  
Мрачно курит и косится  
На соседний страшный стол.

На занятиях вечерних  
Он вчера к девице Керних,

Как всегда, пошел за справкой  
О варшавских накладных

И, склонясь к ее затылку,  
Неожиданно и пылко  
Под лихие завитушки  
Вдруг ее поцеловал.

Комбинируя события,  
Дева Керних с вялой прытью  
Кое-как облобызала  
Галстук, баки и усы.

Не нашелся бедный Банков,  
Отошел к охапкам бланков  
И, куря, сводил балансы  
До ухода, как немой.

2

Ах, вчера не сладко было!  
Но сегодня как могила  
Мрачен Банков и косится  
На соседний страшный стол.

Но спокойна дева Керних:  
На занятиях вечерних  
Под лихие завитушки  
Не ее ль он целовал?

Подошла как по наитью  
И, муссируя событие,  
Села рядом и солидно  
Зашептала не спеша:

«Мой оклад полсотни в месяц,  
Ваш оклад полсотни в месяц, —  
На сто в месяц в Петербурге  
Можно очень мило жить.

Наградные и прибавки,  
Я считаю, на булавки,  
На Народный дом и пиво,  
На прислугу и табак».

Улыбнулся мрачный Банков —  
На одном из старых бланков  
Быстро свел бюджет их общий  
И невесту ущипнул.

Так Петр Банков с Кларой Керних  
На занятиях вечерних,  
Экономией прельстившись,  
Обручились в добрый час.

### 3

Проползло четыре года.  
Три у Банковых уroda  
Родилось за это время  
Неизвестно для чего.

Недоношенный четвертый  
Стал добычею аборта,  
Так как муж прибавки новой  
К Рождеству не получил.

Время шло. В углу гостиной  
Завелось уже пьянино  
И в большом недоуменье  
Мирно спало под ключом.

На стенах висел сам Банков,  
Достоевский и испанка.  
Две искусственные пальмы  
Скучно сохли по углам.

Сотни лиц различной масти  
Называли это счастьем...  
Сотни с завистью открытой  
Повторяли это вслух!

Это ново? Так же ново,  
Как фамилия Попова,  
Как холера и проказа,  
Как чума и плач детей.

Для чего же повесть эту  
Рассказал ты снова свету?  
Оттого лишь, что на свете  
Нет страшнее ничего...

1913

### КОЛЫБЕЛЬНАЯ

(Для мужского голоса)

**М**ать уехала в Париж...  
И не надо! Спи, мой чиж.  
А-а-а! Молчи, мой сын,  
Нет последствий без причин.

Черный, гладкий таракан  
Важно лезет под диван,  
От него жена в Париж  
Не сбежит, о нет, шалишь!

С нами скучно. Мать права.  
Новый гладок, как Бова,  
Новый гладок и богат.  
С ним не скучно... Так-то, брат!

А-а-а! Огонь горит,  
Добрый снег окно пушит.  
Спи, мой кролик, а-а-а!  
Всё на свете трын-трава...

Жили-были два крота...  
Вынь-ка ножку изо рта!  
Спи, мой зайчик, спи, мой чиж,  
Мать уехала в Париж.

Чей ты? Мой или его?  
Спи, мой мальчик, ничего!  
Не смотри в мои глаза...  
Жили козлик и коза...

Кот козу увез в Париж...  
Спи, мой котик, спи, мой чиж!  
Через... год... вернется... мать...  
Сына нового рожать...

1910

## В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ

На скамейке в Александровском саду  
Котелок склонился к шляпке с какаду:  
«Значит, в десять? Меблированные «Русь»...»  
Шляпка вздрогнула и пискнула:  
«Боюсь». — «Ничего, моя хорошая, не трись!  
Я ведь в случае чего-нибудь женюсь!»  
Засерели злые сумерки в саду —  
Шляпка вздрогнула и пискнула: «Приду!»  
Мимо шлялись пары пресных обезьян,  
И почти у каждой пары был роман...  
Падал дождь, мелькали сотни грязных ног,  
Выл мальчишка со шнурками для сапог.

1911

## ЛУКАВАЯ СЕРЕНАДА

О Розина!

Какая причина,  
Что сегодня весь день на окошке твоим жалюзи?  
Дело было совсем на мази —  
Ты конфеты мои принимала,  
Ты в ресницы меня целовала, —  
А теперь, под стеною, в грязи,  
Безнадежно влюбленный,  
Я стою, словно мул истомленный,  
С мандолиной в руках,  
Ах!

О Розина!

Ты чище жасмина...

Это знает весь дом как вполне установленный факт.

Но, забывши и клятвы и такт,

Почему ты с художником русским

В ресторане кутила французском?!

Пусть пошлет ему Бог катаракт!

Задущу в переулке повесу...

Закажу похоронную мессу

И залью шерри-бренди свой грех...

Эх!

О Розина!

Умираю от сплина...

Я сегодня по почте, мой друг, получил гонорар...

Нарядись в свое платье веселого цвета «омар», —

Поплывем мы к лазурному гроту,

Дам гребцам тридцать лир за работу,

В сердце алый зардеет пожар —

В складках нежного платья

Буду пальцы твои целовать я,

Заглушая мучительный вздох...

Ох!

О Розина!

Дрожит парусина. —

Быстрый глаз твой с балкона лукаво стрельнул

и пропал,

В небе — вечера нежный опал.

Ах, на лестнице тихо запели ступени,

Подгибаются сладко колени, —

О единственный в мире овал!

Если б мог, свое сердце к порогу,

Как ковер, под прекрасную ногу

Я б швырнул впопыхах...

Ах!

1912

Капри

## ЧЕЛОВЕК

**Ж**аден дух мой! Я рад, что родился  
И цвету на всемирном стволе.  
Может быть, на Марсе и лучше,  
Но ведь мы живем на Земле.

Каждый ясный — брат мой и друг мой,  
Мысль и воля — мой щит против «всех»,  
Лес и небо — как нежная правда,  
А от боли лекарство — смех.

Ведь могло быть гораздо хуже:  
Я бы мог родиться слепым,  
Или платным предателем лучших,  
Или просто камнем тупым...

Всё случайно. Приятно ль быть волком?  
О, какая глухая тоска  
Выть от вечного голода ночью  
Под дождем у опушки леска...

Или быть безобразной жабой,  
Глупо хлопать глазами без век  
И любить только смрад трясины...  
Я доволен, что я человек.

Лишь в одном я завидую жабе —  
Умирать ей, должно быть, легко:  
Бессознательно вытянет лапки,  
Побурчит и уснет глубоко.

1912

## НА ПОПРАВКЕ

Одолела слабость злая,  
Ни подняться, ни вздохнуть:  
Девятнадцатого мая  
На разведке ранен в грудь.

Целый день сижу на лавке  
У отцовского крыльца.  
Утки плещутся в канавке,  
За плетнем кричит овца.

Всё не верится, что дома...  
Каждый камень — словно друг.  
Ключ бежит тропой знакомой  
За овраг в зеленый луг.

Эй, Дуняша, королева,  
Глянь-ка, воду не пролей!  
Бедра вправо, ведра влево,  
Пятки сахара белей.

Подсобить? Пустое дело!..  
Не удержишь — поплыла,  
Поплыла, как лебедь белый,  
Вдоль широкого села.

Тишина. Поля глухие,  
За оврагом скрип колес...  
Эх, земля моя Россия,  
Да хранит тебя Христос!

## АИСТЫ

**В** воде декламирует жаба,  
Спят груши вдоль лона пруда.  
Над шапкой зеленого граба  
Топорщатся прутья гнезда.

Там аисты, милые птицы,  
Семейство серьезных жильцов...  
Торчат материнские спицы,  
И хохлятся спинки птенцов.

С крыльца деревенского дома  
Смотрю — и как сон для меня:  
И грохот далекого грома,  
И перьев пушистых возня.

И вот... От лугов у дороги,  
На фоне грозы, как гонец,  
Летит, распластав свои ноги,  
С лягушкой в клюве отец.

Дождь схлынул. Замолкли перуны.  
На листьях — расплавленный блеск.  
Семейство, настроивши струны,  
Заводит неслыханный треск.

Трещат про лягушек, про солнце,  
Про листья и серенький мох —  
Как будто в ведерное донце  
Бросают струею горох...

В тумане дороги и цели,  
Жестокие черные дни...  
Хотя бы, хотя бы неделю  
Пожить бы вот так, как они!

1919 или 1920

\* \* \*

**З**дравствуй, Муза! Хочешь финик?  
Или рюмку марсалы?  
Я сегодня именинник...  
Что глядишь во все углы?

Не сердись: давай ладошку,  
Я к глазам ее прижму...  
Современную крошку,  
Как и ты, я не пойму.

Одуванчик бесполезный,  
Факел нежной красоты!  
Грохот дьявола над бездной  
Надоел до тошноты...

Подари мне час беспечный!  
Будет время — все уснем.  
Пусть волною быстротечной  
Хлещет в сердце день за днем.

Перед меркнувшим камином  
Лирой вмиг спугнем тоску!  
Хочешь хлеба с маргарином?  
Хочешь рюмку коньяку?

И улыбка молодая  
Загорелась мне в ответ:  
«Голова твоя седая,  
А глазам — шестнадцать лет!»

1923

\* \* \*

**Н**рокуроров было слишком много!  
Кто грехов Твоих не осуждал?..  
А теперь, когда темна дорога  
И гудит-ревет девятый вал,  
О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —  
Это всё, что здесь мы сберегли...  
И встает бывшее светлым раем,  
Словно детство в солнечной пыли...

1923

## ВЕСНА НА КРЕСТОВСКОМ

А. И. Куприну

Сеть лиственниц выгнала алые точки.  
Белеет в саду флигелек.  
Кот томно обходит дорожки и кочки  
И нюхает каждый цветок.  
Так радостно бросить бумагу и книжки,  
Взять весла и хлеба в кульке,  
Коснуться холодной и ржавой задвижки  
И плавно спуститься к реке...  
Качается пристань на бледной Крестовке.  
Налево — Елагинский мост.  
Вдоль тусклой воды серебрятся подковки,  
А небо — как тихий погост.  
Черемуха пеной курчавой покрыта,  
На ветках мальчишки-жулье.  
Веселая прачка склонила корыто,  
Поет и полощет белье.  
Затекшие руки дорвались до гребли.  
Уключины стонут чуть-чуть.  
На веслах повисли какие-то стебли,  
Мальки за кормою как ртуть...  
Под мостиком гулким качается плесень.  
Копыта рокочут вверху.  
За сваями эхо чиновничьих песен,  
А ивы — в цыплячем пуху...  
Краснеют столбы на воде возле дачки,  
На ряби — цветная спираль.  
Гармонь изнывает в любовной горячке,  
И в каждом челне — пастораль.  
Вплываю в Неву. Острова — как корона:  
Волнисто-кудрявая грань...  
Летят рысаки сквозь зеленое лоно.  
На барках ленивая брань.  
Пестреет нарядами дальняя Стрелка.  
Вдоль мели — щетиной камыш.  
Всё шире вода — голубая тарелка,  
Всё глубже весенняя тишь...

Лишь катер порой пропыхтит торопливо,  
Горбом залоснится волна,  
Матрос — словно статуя, вымпел — как грива,  
Качнешься — и вновь тишина...  
О родине каждый из нас вспоминая,  
В тоскующем сердце унес  
Кто Волгу, кто мирные склоны Валдая,  
Кто заросли ялтинских роз...  
Под пеплом печали храню я ревниво  
Последний счастливый мой день:  
Крестовку, широкое лоно разлива  
И Стрелки зеленую сень.

1921

## ПОЛТАВСКИЙ РАЙ

Славный садик у Дмитро —  
Сероглазого мальчишки!  
Тесно, тихо, и пестро,  
И прохладно, как в кубышке...

На завалинке сидим,  
Пресерьезные, как турки.  
Тень от листьев словно дым.  
Пахнет известь штукатурки...

Пышут охрой ноготки —  
Деревенские цветочки.  
Всё на свете пустяки,  
Кроме... Писаревой дочки!

Черт ли нас разыщет здесь?  
Тихий остров без названья —  
И на нем густая смесь  
Тени, красок и жужжанья...

Цвет настурций ярче ран.  
Всё проходит, всё забвенно.  
В клуне хрюкает кабан  
Мелодично и блаженно.

Синий-синий сон небес.  
Облака свернулись в вату,  
И подсолнечников лес  
Обступил, как джунгли, хату.

1914

## РЕПЕТИТОР

*Т*ане Львовой захотелось в медицинский институт.  
Дядя нанял ей студента, долговязого как прут.  
Каждый день в пустой гостиной он,

крутя свой длинный ус,

Объяснял ей *imperfectum*<sup>1</sup> и причастия на «из».

Таня Львова, как детеныш, важно морщила свой нос

И, выпячивая губки, отвечала на вопрос.

Но порой, борясь с дремотой,

вдруг лукавый быстрый взгляд

Отвлекался от латыни за окно, в тенистый сад...

Там, в саду, так много яблок на дорожках и в траве:

Так и двинула б студента по латинской голове!

1923

---

<sup>1</sup> Прошедшее несовершенное время (*лат.*) — Ред.

# Стихотворения, не вошедшие в сборники

1905—1913

## БАЛБЕС

За дебоши, лень и тупость.  
За отчаянную глупость  
Из гимназии балбеса  
Попросили выйти вон...  
Рад-радешенек повеса,  
Но в семье и плач и стон...  
Что с ним делать, ради неба?  
Без занятий идиот  
За троих съедает хлеба,  
Сколько платья издерет!..  
Нет в мальчишке вовсе прока —  
В свинопасы разве сдать  
И для вящего урока  
Перед этим отодрать?  
Но решает мудрый дядя,  
Полный в будущее веры,  
На балбеса нежно глядя:  
«Отдавайте в... офицеры...  
Рост высокий, лоб покатый,  
Пусть оденется в мундир —  
Много кантов, много ваты,  
Будет бравый командир!»

Про подобные примеры  
Слышим чуть не каждый час.  
Оттого-то офицеры  
Есть прекрасные у нас...

Январь 1906

## КОМУ ЖИВЕТСЯ ВЕСЕЛО?

**Н**опу медоточивому,  
Развратному и лживому,  
С идеей монархической,  
С расправою физической...  
Начальнику гуманному,  
Банкиру иностранному,  
Любимцу иудейскому —  
Полковнику гвардейскому;  
Герою с аксельбантами,  
С «восточными» талантами;  
Любому губернатору,  
Манежному оратору,  
Правопорядку правому,  
Городовому бравому  
С огромными усищами  
И страшными глазищами;  
Сыскному отделению  
И Меньшикову-гению,  
Отшельнику Кронштадтскому,  
Фельдфебелю солдатскому,  
Известному предателю —  
Суворину-писателю,  
Премьеру — графу новому,  
Всегда на всё готовому, —  
Всем им живетса весело,  
Вольготно на Руси...  
*Январь 1906*

## ДО РЕАКЦИИ

*Пародия*

**Д**ух свободы... К перестройке  
Вся страна стремится,  
Полицейский в грязной Мойке  
Хочет утопиться.

Не топись, охранный воин, —  
Воля улыбнется!  
Полицейский! Будь покоен —  
Старый гнет вернется...

16 февраля 1906

## ЖАЛОБЫ ОБЫВАТЕЛЯ

*М*оя жена — наседка,  
Мой сын, увы, эсер,  
Моя сестра — кадетка,  
Мой дворник — старовер.

Кухарка — монархистка,  
Аристократ — свояк,  
Мамаша — анархистка,  
А я — я просто так...

Дочурка-гимназистка  
(Всего ей десять лет),  
И та социалистка, —  
Таков уж нынче свет!

От самого рассвета  
Сойдутся и визжат, —  
Но мне комедья эта,  
Поверьте, сущий ад.

Сестра кричит: «Поправим!»  
Сынок кричит: «Снесем!»  
Свояк вопит: «Найравим!»  
А дворник: «Донесем!»

А милая подруга,  
Иссохшая, как тень,  
Вздыхает, как белуга,  
И стонет: «Ах, мигрень!»

Молю тебя, Создатель  
(Совсем я не шучу),  
*Я русский обыватель —  
Я просто жить хочу!*

Уйми мою мамашу,  
Уйми родную мать —  
Не в силах эту кашу  
Один я расхлебать.

Она, как анархистка,  
Всегда сама начнет,  
За нею гимназистка  
И весь домашний скот.

Сестра кричит: «Устроим!»  
Свояк вопит: «Плевать!»  
Сынок шипит: «Накроем!»  
А я кричу: «Молчать!..»

Проклятья посылаю  
Родному очагу  
И втайне замышляю —  
В Америку сбегу!..

*Начало 1906*

\* \* \*

Четыре нравственных урода —  
Один шпион и три осла —  
Назвались ради ремесла  
«Союзом русского народа».

Громить и грабить — сесть в тюрьму,  
И конкуренция большая:  
Одних воров какая стая —  
Известно Богу одному.

А здесь идея и значки,  
Своя печать, свобода глотки,  
Любовь начальства, много водки,  
Патриотизм и пяточки...

*1908*

\* \* \*

**М**ы сжились с богами и сказками,  
Мы верим в красивые сны,  
Мы мир разукрасили красками  
И душу нашли у волны,  
И ветру мы дали страдание,  
И звездам немой разговор,  
Всё лучшее наше создание  
Еще с незапамятных пор.

Аскеты, слепцы ли, безбожники —  
Мы ищем иных берегов,  
Мы все фантазеры художники  
И верим в гармонию слов.

В них нежность тоски обаятельна,  
В них первого творчества дрожь...  
Но если отвлечься сознательно  
И вспомнить, что всё это ложь,

Что наша действительность хилая —  
Сырая, безглазая мгла,  
Где мечется глупость бескрылая  
В хаосе сторукого зла,

Что боги и яркие сказки  
И миф воскресенья Христа —  
Тончайшие, светлые краски,  
Где прячется наша мечта, —

Тогда б мы увидели ясно,  
Что дальше немислимо жить...  
Так будем же смело и страстно  
Прекрасные сказки творить!

1908

### «ПЬЯНЫЙ» ВОПРОС

**М**ужичок, оставьте водку,  
Пейте чай и шоколад.  
Дума сделала находку:  
Водка — гибель, водка — яд.

Мужичок, оставьте водку,  
Водка портит Божий лик,  
И уродует походку,  
И коверкает язык.

Мужичок, оставьте водку,  
Хлеба Боженька подаст  
После дождичка в субботу...  
Или «ближний» вам продаст.

Мужичок, оставьте водку,  
Может быть (хотя навряд),  
Дума сделает находку,  
Что и голод тоже яд.

А пройдут еще два года —  
Дума вспомнит: так и быть,  
Для спасения народа  
Надо тьму искоренить...

Засияет мир унылый —  
Будет хлеб и свет для всех!  
Мужичок, не смейся, милый,  
Скептицизм — великий грех.

Сам префект винокурении  
В Думе высказал: «Друзья,  
Без культурных насаждений  
С пьянством справиться нельзя...»

Значит... Что ж, однако, значит?  
Что-то сбились мы слегка, —  
Кто культуру в погреб прячет?  
Не народ же... А пока —

Мужичок, глушите водку,  
Как и все ее глушат,  
В Думе просто драло глотку  
Стадо правых жеребят.

Ах, я сделал сам находку:  
Вы культурней их во всем —  
Пусть вы пьете только водку,  
А они коньяк и ром.

*Начало 1908*

## ЮДОФОБЫ

Они совершают веселые рейсы  
По старым клоакам оплаченной лжи:  
«Жида и жидовки... Цибуля и пейсы...  
Спасайте Россию! Точите ножи!»

Надевши перчатки и нос зажимая  
(Блевотины их не выносит мой нос),  
Прошу мне ответить без брани и лая  
На мой бесполезный, но ясный вопрос:

Не так ли: вы чище январских сугробов  
И мудрость сочтется из ваших голов, —  
Тогда отчего же из ста юдофобов  
Полсотни мерзавцев, полсотни ослов?

1909

## СТРАННЫЙ ОБЫЧАЙ

Когда-то татары  
Во время закуски  
Бросали под доски  
Захваченных русских.

Престранный обычай!  
Иль эта расправа  
Для их аппетита  
Служила приправой?

Российскую прессу  
Не меньше пестуют:  
Сдавили под прессом  
И сверху пируют...

Но к русским татары  
Гуманнее были —  
Ведь те из-под досок  
Свободно вопили!

1909

## ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Наше время, подлое и злое,  
Ведь должно было создать нам наконец  
Своего любимого героя, —  
И дитя законнейшее строя  
Народилось... Вылитый отец!

Наш герой, конечно, не Печорин, —  
Тот был ангелом, а нам нужнее бес;  
Чичиков для нас не слишком черен,  
Устарел Буренин и Суворин,  
И теряет Меньшиков свой вес.

Пуришкевич был уже пределом,  
За который трудно перейти...  
Но пришел другой. И сразу нежно-белым  
Пуришкевич стал душой и телом —  
Даже хочется сказать: «Прости!»

Что Дубровин или Передонов?  
Слабый, чуть намеченный рельеф...  
Нет! Сильней и выше всех законов  
Победитель Натов Пинкертонов —  
Наш герой Азеф!

Февраль 1909

## ПОДШОФЕ

«Цело-ввек! Какого черта  
Притащил ты мне опять?»  
— «А-ля-аглицкого торта  
Приказали Вы подать».

— «Торта? Гм... К свиным собачьим...  
Ярославец?.. Са-та-на...  
Сядь-ка лучше. Посудачим...  
Хочешь белого вина?»

— «Не могу-с. Угодно торта?  
Я лакей, а вы барон...»

— «Человек, какого черта?  
Брось дурацкий этот тон!  
Удивил! У нас на службе  
Все лакеи, как один.  
Сядь, ну, сядь — прошу по дружбе».  
— «Неудобно-с, господин».

1910

## ГЕРОЙ

(Дурак без примеси)

На ватном бюсте пуговицы горят,  
Обтянут зад цветной диагональю,  
Усы как два хвоста у жеребят,  
И ляжки движутся развалистой спиралью.

Рукой небрежной упираясь в талью,  
Вперяет вдаль надменно-плоский взгляд  
И, всех иных считая мелкой швалью,  
Несложно пыжится от головы до пят.

Галантный дух помады и ремней...  
Под козырьком всего четыре слова:  
«Pardon!», «Mersil!», «Канашка!» и «Мерзавец!»

Грядет, грядет! По выступам камней  
Свирепо хляпает тяжелая подкова —  
Пар из ноздрей... Ура, ура! Красавец.

1910

## КНИГИ

Есть бездонный ящик мира —  
От Гомера вплоть до нас.  
Чтоб узнать хотя б Шекспира,  
Надо год для умных глаз.

Как осилить этот ящик? Лишних книг он не хранит.  
Но ведь мы сейчас читаем всех, кто будет позабыт.

Каждый день выходят книги:  
Драмы, повести, стихи —  
Напомаженные миги  
Из житейской чепухи.

Урываем на одежде, расстаемся с табаком  
И любимся на полке каждым новым корешком.

Пыль грязнит пуды бумаги.  
Книги жмутся и растут.  
Вот они, антропофаги  
Человеческих минут!

Заполняют коридоры, спальни, сени, чердаки,  
Подоконники, и стулья, и столы, и сундуки.

Из двухсот нужна одна лишь —  
Перероешь, не найдешь,  
И на полки грузно свалишь  
Драгоценное и ложь.

Мирно тлеющая каша фраз, заглавий и имен:  
Резонерство, смех и глупость, нудный случай,  
яркий стон.

Ах, от чтенья сих консервов  
Горе нашим головам!  
Не хватает бедных нервов,  
И чутье трещит по швам.

Переполненная память топит мысли в вихре слов...  
Даже критики устали разрубать пуды узлов.

Всю читательскую лигу  
Опросите: кто сейчас  
Перечитывает книгу,  
Как когда-то... много раз?

Перечтите, если сотни быстрой очереди ждут!  
Написали — значит, надо. Уважайте всякий труд!

Можно ль в тысячном гареме  
Всех красавиц полюбить?  
Нет, нельзя. Зато со всеми  
Можно мило пошалить.

Кто «Онегина» сегодня прочитает наизусть?  
Рукавишников торопит «том двадцатый». Смех  
и грусть!

Кто меня за эти строки  
Митрофаном назовет,  
Понял соль их так глубоко,  
Как хотя бы... кашалот.

Нам легко... Что будет дальше? Будут вместо городов  
Неразрезанною массой мокнуть штабели томов.

1910

## ДРУГ-ЧИТАТЕЛЬ

(Этюд)

Он проснулся, повернулся —  
Заскрипел матрас пружинный,  
Зачадил фитиль лампадки, день в окно стучаться стал,  
Он проснулся, потянулся  
И с презрительною миной  
Стал читать, очки надевши, сатирический журнал.

Роем жутких привидений  
По стенам блуждают тени,  
Ходит маятник и стуком заполняет тишину...  
За страницю страница —  
Рот улыбкою кривится,  
А уста невольно шепчут: «Ай да хлопцы! Ну и ну!...»

Вдруг он вздрогнул, полный гнева:  
Всемогущий Магадэва!  
Неужели?.. В самом деле!.. Полюбуйтесь!.. Вот скандал!  
В неприкрашенной натуре  
В листовой карикатуре  
На странице предпоследней сам себя он увидал.

(Нигилисты-журналисты,  
Хулиганы-портретисты!  
Вы, бросающие камни, разве вы не без греха?)

В теплом стеганом халате  
Безмятежно на кровати  
Сладко дремлет обыватель, обрастая шерстью мха.

В глубине его алькова  
Поясной портрет Баркова,  
Под рукой на этажерке пестрых книг солидный ряд:  
Сонник с ярмарки Ирбитской,  
Десять книг madame Вербицкой  
И великий, многоликий, неизменный сыщик Нат!..

Вновь скрипит матрас пружинный...  
И с усмешкою звериной  
Он с постели, возмущенный, огорченный, злобный встал  
И на корточках, у печки,  
На вонючей сальной свечке  
Жжет, томимый острой мезью, сатирический журнал!

1910

## ЗАСТОЛЬНАЯ

*(Отнюдь не для алкоголиков)*

**В** эту ночь оставим книги,  
Сдвинем стулья в крепкий круг;  
Пусть, звеня, проходят миги.  
Пусть беспечность вспыхнет вдруг!

Пусть хоть в шутку  
На минутку  
Каждый будет лучший друг.

Кто играет — вот гитара!  
Кто поет — очнись и пой!  
От безмолвного утара —  
Огорчительный запой.

Пой мажорно,  
Как валторна,  
Подвывайте все толпой.

Мы, ей-богу, не желали,  
Чтобы в этот волчий век

Нас в России нарожали  
Для прокладки лбом просек...  
    Выбьем пробки!  
    Кто не робкий,  
Пей, как голый древний грек!

Век и год забудем сразу,  
Будем пьяны вне времен,  
Гнев и горечь, как заразу,  
Отметим далёко вон.  
    Пойте, пейте,  
    Пламенейте,  
Хмурый — пададь для ворон!

Притупилась боль и жало,  
Спит в тумане Млечный Путь...  
Сердцу нашему, пожалуй,  
Тоже надо отдохнуть. —  
    Гимн веселью!  
    Пусть с похмелья  
Завтра жабы лезут в грудь...

Други, в пьяной карусели  
Исчезают верх и низ...  
Кто сейчас, сорвавшись с мели,  
Связно крикнет свой девиз?  
    В воду трезвых,  
    Бесполезных,  
Подрывающих акциз!

В Шуе в мае возле сваи  
Трезвый сыч с тоски подох,  
А другой пьет ром в Валдае  
И беспечно ловит блох.  
    Смысл сей притчи:  
    Пейте прытче  
Все, кто до смерти засох!

За окном под небосводом —  
Мертвый холод, свист и мгла...  
Вейтесь быстрым хороводом  
Вкруг философа-стола!

Будем пьяны!  
Вверх стаканы!  
С пьяных взятки как с козла...

1910

\* \* \*

Эпохе черной нашей нужен  
Не демон Лермонтова — нет,  
Он только б ею был сконфужен, —  
Ведь гордый демон был эстет.

Веселый немец Мефистофель,  
Попав в российские пески,  
Брезгливо сморщив умный профиль,  
Пожалуй, запил бы с тоски.

А бес-*moderne*<sup>1</sup>, вихляя задом,  
Повыл, как пьяный пономарь,  
И, зараженный трупным ядом,  
Уполз к Венгеру в словарь...

Нет, нет! Эпохе нашей жалкой  
Совсем особый нужен черт:  
Черт-геркулес с железной палкой,  
С душою жесткой, как ботфорт.

Чтоб руки, словно молотилки,  
Зажавши палку, ночь и день  
Глушили б темные затылки,  
Бросая в кучу пень на пень...

Но дьявол-скепсис, как гадалка,  
Смесь пророчит: «Пустяки!  
Быть может, выдержала б палка,  
Да черта разорвут в клочки».

1912

---

<sup>1</sup> Новейший, современный (*фр.*). — Ред.

## ВОРОБЬИНАЯ ЭЛЕГИЯ

У крыльца воробьи с наслаждением  
Кувыркаются в листьях гнилых...  
Я взираю на них с сожалением,  
И невольно мне страшно за них:

Как живете вы так, без правительства,  
Без участков и без податей?  
Есть у вас или нет право жительство?  
Как без метрик растите детей?

Как воюете без дипломатии,  
Без реляций, гранат и штыков,  
Вырывая у собственной братии  
Пух и перья из бойких хвостов?

Кто внедряет в вас всех просвещение  
И основы моралей родных?  
Кто за скверное вас поведение  
Исключает из списка живых?

Где у вас здесь простые, где знатные?  
Без одежд вы так пресно равны...  
Где мундиры торжественно-ватные?  
Где шитье под изгибом спины?

Нынче здесь вы, а завтра в Швейцарии, —  
Без прописки и без паспортов  
Распеваеете вольные арии  
Миллионом незамкнутых ртов...

Искрошил воробьям я с полбублика,  
Встал с крыльца и тревожно вздохнул:  
Это даже, увы, не республика,  
А анархии дикий разгул!

Улетайте... Лихими дворянами  
В корне зло решено ведь пресечь —  
Не сравнивали бы вас с хулиганами  
И не стали б безжалостно сечь!

1913

## ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

*Посвящается Министерству  
народного просвещения*

### 1

**Р**одитель при встрече с директором сына  
Обязан всегда становиться во фронт.  
Супруга ж родителя молча и чинно  
Берет «на краул» черный шелковый зонт.

### 2

Одежда родителей в будни простая:  
Суконное платье не в ярких тонах.  
По табелям — блузки из белого фая  
И черные фраки при черных штанах.

### 3

Небуйным родителям с весом и с чином  
Дозволен прием всех казенных питей.  
Курить разрешается только мужчинам,  
Но дома, притом запершись от детей.

### 4

За чтением книг наблюдает инспектор —  
За книгой приходит отец или мать.  
Газету всегда выбирает директор.  
На пьесах «с идеей» отнюдь не бывать.

### 5

О каждом рождении чада родитель  
Обязан в гимназию сам донести.  
Предельную норму блюдет попечитель:  
Не менее двух и не больше шести.

6

С детьми разговаривать можно, но редко...  
Нельзя возвращаться в ночные часы.  
Прическа у женщин должна быть под сеткой.  
Мужчинам же можно носить и усы.

7

В гостиной над печкой (отнюдь не в передней)  
Повесить портреты всех школьных властей.  
По праздникам слушать попарно обедни.  
Чтоб сим благотворно влиять на детей.

8

Раз в месяц всех дворников классный наставник  
Обходит, чтоб справки о всем навести:  
Кто вел себя плохо, тех местный исправник  
Сажает — от месяца до десяти.

9

У скромных родителей — скромные дети.  
А путь послушанья — путь к лучшей судьбе.  
Родители мудрые правила эти  
Должны постоянно носить при себе.

1913

1924—1932

\* \* \*

**К**онсьержке дай и почтальону тоже,  
Позвонит мусорщик и хмурый газовщик,  
И что ни дашь — у каждого на роже  
Меланхолически-презрительный ярлык.

А ведь у них — дела моих почище, —  
И верный труд, и прочная постель,  
Больница — даром, безработным — пища,  
И вообще — не жизнь, а карусель...

Как Маркс мирится с этой штукой мелкой?  
Как пролетгордость с этим совместить?  
Я ж не пойду к издателю с тарелкой:  
«Позвольте, дяденька, на чай с вас получить!»

Но Карла Маркс сложил иной сценарий:  
Мы все мещане, жабы без сердец,  
И лишь один всемирный пролетарий —  
Свободной этики сознательный творец.

Попробовать?.. Вот добрый гений дыма,  
Сэр трубочист просунул в дверь плечо.  
Как равный равному, не приложив сантима,  
Ему пожму я руку горячо...

Ах, Боже мой, — какой ответ свинячий  
Сверкнет в зрачках оторопелых глаз!  
Но почему ж?! Ведь он меня богаче,  
Ведь он меня богаче в двадцать раз...

Январь 1925

## «САТИРИКОН»

*Памяти Аркадия Аверченко*

*Н*ад Фонтанкой сизо-серой  
В старом добром Петербурге  
В низких комнатах уютных  
Расцвел «Сатирикон».  
За окном пестрели барки  
С белоствольными дровами,  
А напротив Двор Апраксин  
Подымал хоромы ввысь.

В низких комнатах уютных  
Было шумно и привольно...  
Сумасбродные рисунки  
Разлеглись по всем столам.

На окне сидел художник  
И калинкинское пиво,  
Запрокинув кверху гриву,  
С упоением сосал.

На диване два поэта,  
Как беспечные кентавры,  
Хохотали до упаду  
Над какой-то ерундой...  
Почтальон стоял у стойки  
И посматривал тревожно  
На огромные плакаты  
С толстым дьяволом внутри.

Тихий крохотный издатель  
Деликатного сложенья  
Пробегал из кабинета,  
Как испуганная мышь.  
Кто-то в ванной лаял басом,  
Кто-то резвыми ногами  
За издателем помчался,  
Чтоб аванс с него сорвать...

А в сторонке в кабинете  
Грузный медленный Аркадий,  
Наклонясь над грудой писем,  
Почту свежую вскрывал:  
Сотни диких графоманов  
Изо всех уездных щелей  
Насылали горы хлама —  
Хлама в прозе и в стихах.

Ну и чушь! В зрачках хохлацких  
Искры хитрые дрожали:  
В первом ящике почтовом  
Вздернет на кол — и аминь!  
Четким почерком кудрявым  
Плел он вязь, глаза прищурив,  
И сифон с водой шипучей,  
Чертыхаясь, осушал.

Ровно в полдень встанет. Баста!  
Сатирическая банда,  
Гулко топая ногами,

Вдоль Фонтанки шла за ним  
К Чернышеву переулку...  
Там в гостинице «Московской»  
Можно вдосталь съесть и выпить,  
Можно влать похотать.

Хвост прохожих возле сквера  
Оборачивался в страхе,  
Дети, бросив свой песочек,  
В рот пихали кулачки:  
Кто такие? Что за хохот?  
Что за странные манеры?  
Мексиканские ковбои?  
Укротители зверей?..

А под аркой министерства  
Околоточный знакомый,  
Добродушно ухмыляясь,  
К козырьку вносил ладонь:  
«Как, Аркадий Тимофеич,  
Драгоценное здоровье?»  
— «Ничего, живем — не тужим...  
До ста лет решил скрипеть!»

До ста лет, чудак, не дожил...  
Разве мог он знать и чують,  
Что за молодостью дерзкой,  
Словно бесы, налетят  
Годы красного разгула,  
Годы горького скитанья,  
Засыпающие пеплом  
Все веселые глаза...

1925

## ПАСХА В ГАТЧИНЕ

А. И. Куприну

Из мглы всплывает ярко  
Далекая весна:  
Тишь гатчинского парка  
И домик Куприна.

Пасхальная неделя —  
Беспечных дней кольцо,  
Зеленый пух апреля,  
Скрипучее крыльцо...  
Нас встретил дом уютом  
Веселых голосов  
И пушечным салютом  
Двух сенбернарских псов.  
Хозяин в тюбетейке,  
Приземистый как дуб,  
Подводит нас к индейке,  
Склонивши набок чуб...  
Он сам похож на гостя  
В своем жилье простом...  
Какой-то дядя Костя  
Бьет в клавиши перстом...  
Поют нескладным хором, —  
О ты, родной козел!  
Весенним разговором  
Жужжит просторный стол.  
На гиацинтах алых  
Морозно-хрупкий мат.  
В узорчатых бокалах  
Оранжевый мускат.  
Ковер узором блеклым  
Покрыл бугром тахту,  
В окне — прильни-ка к стеклам —  
Черемуха в цвету!

Вдруг пыль из подворотни,  
Скрип петель в тишине, —  
Казак уральской сотни  
Въезжает на коне.  
Ни на кого не глядя,  
У темного ствола  
Огромный черный дядя  
Слетел пером с седла.  
Хозяин дробным шагом  
С крыльца, пыхтя, спешит.  
Порывистым зигзагом

Взметнулась чернь копыт...  
Сухой и горбоносый,  
Хорош казачий конь!  
Зрачки чуть-чуть раскосы, —  
Не подходи! Не тронь!  
Чужак погладил темя,  
Пощекотал чело  
И вдруг, привстав на стремя,  
Упруго влип в седло...  
Всем телом навалился,  
Поводья в горсть собрал, —  
Конь буйным чертом взвился,  
Да, видно, опоздал!  
Не рысь, а сарабанда...  
А гости из окна  
Хвалили дружной бандой  
Посадку Куприна...

Вспотел и конь, и всадник.  
Мы сели вновь за стол...  
Махинище-урядник  
С хозяином вошел.  
Копна прически львиной,  
И бородище — вал.  
Перекрестился чинно,  
Хозяйке руку дал...  
Средь нас он был как дома,  
Спокоен, прост и мил.  
Стакан огромный рома  
Степенно осушил.  
Срок вышел. Дома краше...  
Через четыре дня  
Он уезжал к папаше  
И продавал коня.  
«Цена... ужо успеем».  
Погладил свой лампас,  
А чуб цыганский змеем  
Чернел до самых глаз.  
Два сенбернарских чада  
У шашки встали в ряд:  
Как будто к ним из сада

Пришел их старший брат...  
Хозяин, глянув зорко,  
Поглаживал кадык.  
Вдали из-за пригорка  
Вдруг пискнул паровик.  
Мы пели... Что? Не помню.  
Но так рычит утес,  
Когда в каменоломню  
Сорвется под откос...

Март 1926

Париж

## МОЙ РОМАН

**К**то любит прачку, кто любит маркизу,  
У каждого свой дурман, —  
А я люблю консьержкину Лизу,  
У нас — осенний роман.

Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, —  
Смешна любовь напоказ!  
Но всё ж тайком от матери строгой  
Она прибегает не раз.

Свою мандолину снимаю со стенки,  
Кручу залихватски ус..  
Я отдал ей всё: портрет Короленки  
И нитку зеленых бус.

Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу,  
Грызём солёный миндаль.  
Нам ветер играет ноябрьскую фугу,  
Нас греет русская шаль.

А Лизин кот, прокравшись за нею,  
Обходит и нюхает пол.  
И вдруг, насмешливо выгнувши шею,  
Садится пред нами на стол.

Каминный кактус к нам тянет колючки,  
И чайник ворчит, как шмель...

У Лизы чудесные теплые ручки  
И в каждом глазу — газель.

Для нас уже нет двадцатого века,  
И прошлого нам не жаль:  
Мы два Робинзона, мы два человека,  
Грызущие тихо миндаль.

Но вот в передней скрипят половицы,  
Раскрылась створка дверей...  
И Лиза уходит, потупив ресницы,  
За матерью строгой своей.

На старом столе перевернуты книги,  
Платочек лежит на полу.  
На шляпе валяются липкие фиги.  
И стул опрокинут в углу.

Для ясности, после ее ухода,  
Я все-таки должен сказать,  
Что Лизе — три с половиною года...  
Зачем нам правду скрывать?

1927

Париж

## РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПОДЪЕЗДА «ЛЮТЕЦИИ»

**К**уда тебя судьба ни сунет головою —  
На журналистский ли, на докторский ли бал, —  
Ты всюду чувствуешь с симпатией живою,  
Что ты опять в родной уезд попал.

Опять у вешалки, над тем же самым местом,  
Увидишь в зеркале знакомый поворот;  
Всё та же дама прошлогодним жестом  
Всё так же красит прошлогодний рот.

И те же самые у входа контролеры,  
В петлицах — бантики, беспомощность в зрачках,  
Всё те же смокинги, жилеты и проборы,  
Лишь седины прибавилось в висках...

Идешь по лестнице и с зоркостью поэта,  
Не вскинув глаз, доходишь до всего:  
Вот это ноги адвоката Дзета,  
А это ножки дочери его.

Вбегают лань всё в той же алой шали,  
За ней с одышкой всё тот же старый лев...  
Хирург знакомый томно пляшет в зале,  
Бородку ввысь мечтательно воздев.

Не прошлогодняя ль дрожит в буфете водка?  
Омолодились лишь индюшка и балык...  
О ты, которая так ласково и кротко  
Прикалываешь к курице ярлык!..

Пройдешься медленно вдоль пестрой лотереи:  
Опять автографы, два шарфа и этюд,  
В углу за кассой две бессменных Лорелеи,  
У всех простенков беспризорный люд...

Но под жилеткою так сладко ноют кости,  
Как будто невзначай под Рождество  
К соседям давнишним ты вдруг свалился в гости  
Иль на семейное ввалился торжество.

Опять поймаешь в коридорчике коллегу  
И, продолжая прошлогодний диалог,  
Как встарь, придешь к буфету и с разбегу  
Холодной рюмкой подчеркнешь итог...

Когда ж, к прискорбию, — о Господи, помилуй! —  
Тебе придется что-нибудь читать  
И под эстрадой с прошлогодней силой  
Цветник уездный расцветет опять, —

Любой в нем нос изучен в полной мере,  
Любой в нем лоб знаком, как апельсин,  
И снова кажется, что пред тобой в партере  
Сидит четыреста кузенов и кузин.

И так потянет, сбросив с плеч разлуку  
И предвкушая наш дальнейший путь,  
До восемнадцатого ряда всем им руку  
Сочувственно с эстрады протянуть...

1927  
Париж

## ЛЕГКИЕ СТИХИ

**В** погожий день,  
Когда читать и думать лень,  
Плетешься к Сене, как тюлень,  
С мозгами набекрень.

Куст бузины.  
Веревка: фартук и штаны...  
Сирень, лиловый сон весны,  
Томится у стены.

А за кустом —  
Цирюльник пёсий под мостом;  
На рундучке, вертя хвостом,  
Лежит барбос пластом.

Урчит вода,  
В гранитный бык летит слюда.  
Буксир орет: «Ку-да? Ку-да?!»  
И дым как борода.

Покой. Уют.  
Пустая пристань — мой приют.  
Взлетает галстук, словно жгут, —  
Весенний ветер лют.

Пора в поход...  
Подходит жаба-пароход,  
Смешной распластанный урод.  
На нем гурьбой народ.

И вот — сию...  
Винт роет белую межу.  
С безбрежной нежностью гляжу  
На каждую баржу.

Кусты, трава...  
Подъемных кранов рукава,  
Мосты — заводы — синева  
И кабаки... Са-ва!

А по бокам,  
Прильнув к галантным пиджакам,  
К цветным сорочкам и носкам,  
Воркует стая дам.

Но я — один.  
На то четырнадцать причин:  
Усталость, мудрость, возраст, сплин...  
Куда ни кинь, всё клин.

Поют гудки.  
Цветут холмы, мосты легки.  
Ты слышишь гулкий плеск реки?  
Вздыхаешь?.. Пустяки!

1928

## ПАРИЖСКИЕ ЧАСТУШКИ

**В**етерок с Бульвар-Мишеля  
Сладострастно дует в грудь...  
За квартиру он не платит, —  
Отчего ж ему не дуть.

У французского народа  
Чтой-то русское в крови:  
По-французски — запеканка,  
А по-русски — «о-де-ви».

Все такси летят как бомбы.  
Сторонись, честной народ!  
Я ажану строю глазки, —  
Может быть, переведет.

На писательском балу  
Я покуролесила:  
Потолкалась, съела кильку, —  
Очень было весело!

Эх ты, карт д'идантитэ,  
Либерте-фратернитэ!  
Где родился, где ты помер,  
Возраст бабушки и — номер...

Заказали мне, — pardon, —  
Вышивать комбинезон...  
Для чего ж там вышивать,  
Где узора не видать?

Вниз по матушке по Сене  
Пароход вихляется...  
Милый занял двадцать франков —  
Больше не является.

Сверху море, снизу море,  
Посередке Франция.  
С кем бы мне поцеловаться  
На подземной станции?

Мне мясник в кредит не верит —  
Чтой-то за суровости?  
Не пойти ли к консультанту  
В «Последние новости»?

Чем бы, чем бы мне развлечься?  
Нынче я с получкою.  
На Марше-о-плюс сметаюсь,  
Куплю швабру с ручкою.

На булонском на пруде  
Лебедь дрыхнет на воде,  
Надо б с энтих лебедей  
Драть налоги, как с людей...

Как над Эйфелевой башней  
В небе голубь катится...  
Я для пачпорта снималась —  
Вышла каракатица.

Над Латинским над кварталом  
Солнце разгорается...  
У консьержки три ребенка,  
А мне воспрещается.

Мой земляк в газете тиснул  
Объявленье в рамке:  
«Бывший опытный настройщик  
Ищет место мамки».

1930

## НОЧНЫЕ ЛАМЕНТАЦИИ

Ночь идет. Часы над полкой  
Миг за мигом гонят в вечность.  
За окном бормочет ветер,  
Безответственный дурак...  
Хоть бы дьявол из камина  
В этот час пустынный вылез,  
Чем гонять над Сеной тучи,  
Головой ныряя в мрак...  
Я б ему, бродяге злому,  
Звонко «Демона» прочел бы —  
И зрачки б его сверкали,  
Как зарницы, из-под век.  
Нет — так нет. Паркет да стены,  
Посреди коробки тесной,  
Словно ерш на сковородке,  
Обалделый человек...

Перед пестрой книжной полкой  
Всё качаешься и смотришь:  
Чью бы тень из склепа вызвать  
В этот поздний мутный час?  
Гейне — Герцена — Шекспира?  
Но они уж всё сказали  
И ни слова, ни полслова  
Не ответят мне сейчас.  
Что ж в чужой тоске купаться?  
И своя дошла до горла...  
Лучше взять кота под мышку  
И по комнате шагать.  
Счастлив ты, ворчун бездумный,  
Мир твой крохотный уютен:  
Ночью — джунгли коридора,  
Днем — пушистая кровать.  
Никогда у лукоморья  
Не кружись, толстяк, вокруг дуба, —  
Эти сказки и баллады  
До добра не доведут...

Вдруг очнешься: глушь и холод,  
Цепь на шее всё короче,  
И вокруг кольцом собаки...  
Чуть споткнешься — и капут.

Январь 1931

## ПАРИЖСКИЕ ЧАСТУШКИ

Эх ты, кризис, чертов кризис!  
Подвело совсем нутро...  
Пятый раз даю я Мишке  
На обратное метро.

Дождик прыщет, ветер свищет,  
Разогнал всех воробьев...  
Не пойти ли мне на лекцию  
«Любовь у муравьев»?

Разоделась я по моде,  
Получила первый приз:  
Сверху вырезала спину  
И пришила шлейфом вниз.

Сена рвется, как кобыла,  
Наводнение до перил...  
Не на то я борщ варила,  
Чтоб к соседке ты ходил!

Трудно, трудно над Монмартром  
В небе звезды сосчитать,  
А еще труднее утром  
По будильнику вставать!..

У меня ли под Парижем  
В восемь метров чернозем:  
Два под брюкву, два под клюкву,  
Два под садик, два под дом.

Мой сосед, как ландыш, скромн,  
Чтобы черт его побрал!  
Сколько раз мне брил затылок,  
Хоть бы раз поцеловал...

Продала тюфяк я нынче;  
Эх ты, голая кровать!  
На «Записках современных»  
Очень жестко будет спать.

Мне шофер в любви открылся —  
Трезвый, вежливый, не мот.  
Час катал меня вдоль Сены —  
За бензин представил счет.

Для чего позвали в гости  
В симпатичную семью?  
Сами, черти, сели в покер,  
А я чай холодный пью.

Я в газетах прочитала:  
Ищут мамку в Данию.  
Я б потрафила, пожалуй,  
Кабы знать заранее...

Посулил ты мне чулки —  
В ручки я захопала...  
А принес, подлец, носки,  
Чтоб я их заштопала.

В фильме месяц я играла —  
Лаяла собакою...  
А теперь мне повышенье:  
Лягушонком квакаю.

Ни гвоздей да ни ажанов,  
Плас Конкорд — как океан...  
Испужалась, села наземь,  
Аксидан так аксидан!

Нет ни снега, нет ни санок,  
Без зимы мне свет не мил.  
Хоть бы ты меня мороженым,  
Мой сокол, угостил...

Милый год живет в Париже —  
Понабрался лоску:  
Всегда вилку вытирает  
Об свою прическу.

На камине восемь килек —  
День рожденья, так сказать...  
Кто придет девятым в гости,  
Может спичку пососать...

Пароход ревет белугой.  
Башня Эйфеля в чаду...  
Кто меня бы мисс Калугой  
Выбрал в нынешнем году!

1931

## ЛЮБОВЬ

*Н*а перевернутый ящик  
Села худая, как спица,  
Дылда-девица,  
Рядом — плечистый приказчик.

Говорят, говорят...  
В глазах — пламень и яд, —  
Вот-вот  
Она в него зонтик воткнет,  
А он ее схватит за тощую ногу  
И, придя окончательно в раж,  
Забросит ее на гараж —  
Через дорогу...

Слава Богу!  
Все злые слова откипели, —  
Заструились тихие трели...  
Он ее взял,  
Как хрупкий бокал,  
Деловито за шею,  
Она повернула к злодею  
Свой щучий овал:

Три минуты ее он лобзал  
Так, что камни под ящиком томно  
хрустели...

Потом они яблоко ели:  
Он куснет, а после она, —  
Потому что весна.

1932

## В УГЛОВОМ БИСТРО

### 1

#### КАМЕНЩИКИ

Ноги грузные расставивши упрямо,  
Каменщики в угловом бистро сидят, —  
Локти широко уперлись в мрамор...  
Пьют, беседуют и медленно едят.

На щеках — насечкою известка,  
Отдыхают руки и бока.  
Трубку темную зажав в ладони жесткой,  
Крайний смотрит вдаль, на облака.

Из-за стойки розовая тетка  
С ними шутит, сдвинув вина в масть...  
Пес хозяйский подошел к ним кротко,  
Положил на столик волчью пасть.

Дремлют плечи, пальцы — на бокале.  
Усмехнулись, чокнулись втроем.  
Никогда мы так не отдыхали,  
Никогда мы так не отдохнем...

Словно житель Марса, наблюдаю  
С завистью беззлойной из угла:  
Нет пути нам к их простому раю,  
А ведь вот он — рядом, у стола...

### 2

#### ЧУТКАЯ ДУША

Сизо-дымчатый кот,  
Равнодушно-ленивый скот,  
Толстая муфта с глазами русалки,  
Чинно и валко

Обошел всех знакомых ему до ногтей  
Обычных гостей...  
Соблюдая старинный обычай  
Кошачьих приличий,  
Обнюхал все каблуки,  
Гетры, штаны и носки,  
Потерся о все знакомые ноги...  
И вдруг, свернувши с дороги,  
Клубком по стене —  
Спираль волнистых движений, —  
Повернулся ко мне  
И прыгнул ко мне на колени.

Я подумал в припадке амбиции:  
Конечно, по интуиции  
Животное это  
Во мне узнало поэта...  
Кот понял, что я одинок,  
Как кит в океане,  
Что я засел в уголок,  
Скрестив усталые длани,  
Потому что мне тяжело...  
Кот нежно ткнулся в рубашку —  
Хвост заходил, как лоза, —  
И взглянул мне с тоскою в глаза...  
«О друг мой! — склоняюсь над котом,  
Шепнул я, краснея. —  
Прости, что в душе я  
Тебя обругал равнодушным скотом»...  
Но кот, повернувши свой стан,  
Вдруг мордой толкнулся в карман:  
Там лежало полтавское сало в пакете.  
Нет больше иллюзий на свете!

«Детский остров»  
Саши Чёрного





# Веселые глазки

## В РАЮ

Но лиловым дорожкам гуляют газели  
И апостол Фома с бороδοю по грудь...  
Ангелята к апостолу вдруг подлетели:  
«Что ты, дедушка, бродишь? Расскажи  
что-нибудь!

Как шалил и играл ты, когда был ребенком?  
Расскажи... Мы тебе испечем пирожок...»  
Улыбнулся апостол. «Что ж, сядем в сторонке,  
Под тенистой смоковницей в тесный кружок.

Был я мальчик румяный, веселый, как чижик...  
По канавам спускал корабли из коры.  
Со стены ребятишки кричали мне: «Рыжик!»  
Я был рыжий — и бил их, и гнал их с горы.  
Прибегал я домой весь в грязи, босоножкой,  
Мать смеялась и терла мочалкой меня.  
Я пицал, а потом, угостившись лепешкой,  
Засыпал до румяного, нового дня».

«А потом?» — «А потом я учился там в школе, —  
Все качались и пели, — мне было смешно,  
И учитель, сердясь, прогонял меня в поле.  
Он мне слово, я — два, — и скорей за окно...  
В поле я у ручья забирался под мостик,  
Рыбок горстью ловил, сразу штук по семи.  
Ангелята спросили: «За хвостик?» — «За хвостик».  
Ангелята вздохнули: «Хорошо быть детьми».

## ПРИГОВОИШКА

Олиннохвостая шинель.

На щеках румянец.  
За щекою карамель,  
За спиною — ранец.

Он ученый человек.  
Знает, что ни спросим:  
Где стоит гора Казбек?  
Сколько трижды восемь?

В классе он сидит сычом  
И жует резинку.  
Головенка куличом,  
Уши, как у свинки.

А в карманах — целый склад:  
Мох, пирог с грибами,  
Перья, ножик, мармелад,  
Баночка с клопами.

В переменку он, как тигр,  
Бьется с целым классом.  
Он зачинщик всяких игр,  
Он клянется басом.

Возвращается домой:  
Набекрень фуражка,  
Гордый, красный, грудь кормой,  
В кляксах вся мордашка.

«Ну, что нового, Васюк?» —  
Выбежит сестренка.  
Он, надувшись, как индюк,  
Пробурчит: «Девчонка!..»

Схватит хлеба толстый ком,  
Сбросит пояс с блузы  
И раскроет милый том —  
Робинзона Крузе.

1979

## КОСТЕР

Эй, ребяташки,  
Валите в кучу  
Хворост колючий,  
Щепки и шишки,  
А на верхушку  
Листья и стружку...  
Спички, живей!  
Огонь, как змей,  
С ветки на ветку  
Кружит по клетке,  
Бежит и играет,  
Трещит и пылает...  
Шип! Крякс!

Давайте руки —  
И будем прыгать вокруг огня,  
Нет лучше штуки —  
Зажечь огонь средь бела дня.  
Огонь горит,  
И дым глаза ужасно ест.  
Костер трещит,  
Пока ему не надоест...

Осторожней, детвора,  
Дальше, дальше от костра —  
Можно загореться.  
Превосходная игра...  
Эй, пожарные, пора,  
Будет вам вертеться!  
Лейте воду на огонь.  
Сыпьте землю и песок, —

Но ногой углей не тронь,  
Загорится башмачок.  
Зашипели щепки, шишки,  
Лейте, лейте, ребяташки!  
Раз, раз, еще раз...  
Вот костер наш и погас.

## ТРУБОЧИСТ

Кто пришел? — Трубочист.  
Для чего? — Чистить трубы.  
Чернощекий, белозубый,  
А в руке — огромный хлыст.

Сбоку ложка, как для супа.  
Кто наврал, что он, злодей,  
В свой мешок кладет детей?  
Это очень даже глупо!

Разве мальчики — творог?  
Разве девочки — картошка?  
Видишь, милый, даже кошка  
У его мурлычет ног.

Он совсем, совсем не страшный:  
Сажу высыпал на жечь.  
Бублик вытащил вчерашний, —  
Будет есть.

Рано утром, на рассвете,  
Он встает и кофе пьет.  
Чистит пятна на жилете,  
Курит трубку и поет.

У него есть сын и дочка, —  
Оба беленькие, да.  
Утром спят они всегда  
На печи, как два комочка.

Выйдет в город трубочист —  
И скорей на крыши, к трубам,  
Где играет ветер с чубом,  
Где грохочет ржавый лист...

Чистит, чистит — целый день,  
А за ним коты гурьбою  
Мчатся жадною толпою,  
Исхудалые, как тень.

Рассказать тебе, зачем?  
Он на завтрак взял печенку,  
Угостил одну кошчонку,  
Ну — а та сболтнула всем...

Видишь, вот он взял уж шапку.  
Улыбнулся... Видишь, да?  
Дай ему скорее лапку, —  
Сажу смоешь — не беда.

1917

### ПЕРЕД УЖИНОМ

**З**а воротами на лавочке сидим —  
Петя, Ньюша, Поля, Сима, я и Клим.  
Я — большой, а остальные, как грибы.  
Всех нас бабушка прогнала из избы...  
Мы рябинками в избе стреляли в цель,  
Ну, а бабушка ощипывала хмель.  
Что ж... На улице еще нам веселей:  
Веет ветер, солнце в елках все алей,  
Из-за леса паровоз дудит в гудок,  
Под скамейкой ловит за ноги щенки...  
Воробьи уселись кучей на бревно.  
Отчего нам так сегодня все смешно?  
Червячок ли влезет Симе на ладонь,  
Иль напротив у забора фыркнет конь,  
Иль за выгоном заблеет вдруг овца, —  
Все хохочем, все хохочем без конца...

1914

### ПОЕЗД

**М**ретий звонок. Дон-дон-дон!  
Пассажиры, кошки и куклы, в вагон!  
До свиданья, пишите!  
Машите платками, машите!

Машинист, свисти!  
Паровоз, пыхти:  
Чах-тах.  
Поехали-поехали,  
Чах-тах-тах.  
Кочегар, не зевай!  
Чах-тах-тах-тах,  
Вот наши билеты —  
Чурки да шкурки,  
Бумажки от конфет!  
Под уклон, под уклон,  
Летим, как пуля!  
Первый вагон —  
Не качайся на стуле!  
Эй вы, куда?  
Кондуктор, сюда!  
Вон там сзади  
Взрослые дяди.  
Тра-та-та, тра-та-та,  
Они без билетов...  
Зайцы-китайцы, —  
Гони их долой!  
Чах-тах, тах-тах,  
Машинист, тормозите!  
Чах-тах-тах,  
Первый звонок!  
Чах-тах,  
Станция «Мартышка»...  
Чах-тах-тах,  
Надо вылезать.

1912

## ПРО КАТЮШУ

*Н*а дворе мороз.  
В поле плачут волки.  
Снег крыльцо занес,  
Выбелил все елки...

В комнате тепло,  
Печь горит алмазом,  
И луна в стекло  
Смотрит круглым глазом.

Катя-Катенька-Катюшка  
Уложила спать игрушки:  
Куклу безволосую,  
Собачку безносную,  
Лошадку безногую  
И коровку безрогую —  
Всех в комок,  
В старый мамин чулок  
С дыркой,  
Чтоб можно было дышать, —  
«Извольте спать!  
А я займусь стиркой...»

Ай, сколько пены!  
Забрызганы стены.  
Тазик пищит,  
Вода болтается,  
Катюша пыхтит,  
Табурет качается...  
Красные лапки  
Полощут тряпки,  
Над водою мыльной  
Выжимают сильно-пресильно, —  
И в воду снова!  
Готово!

От окна до самой печки,  
Словно белые овечки,  
На веревочках висят  
В ряд:  
Лошадкина жилетка,  
Мишкина салфетка,  
Собачья чулочки,  
Куклины сорочки,  
Пеленка  
Куклиного ребенка,

Коровьи штанишки  
И две бархатные мышки.

Покончила Катя со стиркой,  
Сидит на полу растопыркой:  
Что бы еще предпринять?  
К кошке залезть под кровать,  
Забросить за печку заслонку  
Или Мишку постричь под гребенку?..

1920

### НА ВЕРБЕ

Солнце брызжет, солнце греет.  
Небо — василек.  
Сквозь березки тихо веет  
Теплый ветерок.

А внизу всё будки, будки  
И людей, что мух.  
Каждый всунул в рот по дудке —  
Дуй во весь свой дух!

В будках куклы и баранки,  
Чижики, цветы...  
Золотые рыбки в банке  
Разевают рты.

Все звончее над шатрами  
Вьется писк и гам.  
Дети с пестрыми шарами  
Тянутся к ларькам.

«Верба! Верба!» В каждой лапке  
Бархатный пучок.  
Дед распродал все охапки —  
Ловкий старичок!

Шерстяные обезьянки  
Пляшут на щитках.  
«Ме-ри-кан-ский житель в склянке,  
Ходит на руках!..»

Пудель, страшно удивленный,  
Тявкает на всех.  
В небо шар взлетел зеленый,  
А вдогонку — смех...

Вот она какая Верба!  
А у входа в ряд —  
На прилавочке у серба  
Вафельки лежат.

1912

### БОБИНА ЛОШАДКА

*М*альчик Боб своей лошадке  
Дал кусочек шоколадки, —  
А она закрыла рот,  
Шоколадки не берет.

Как тут быть? Подпрыгнул Бобик,  
Сам себя вдруг хлопнул в лобик  
И с комода у дверей  
Тащит ножницы скорей.

Распорол брюшко лошадке,  
Всунул ломтик шоколадки  
И запел: «Не хочешь в рот,  
Положу тебе в живот!»

Боб ушел играть в пятнашки,  
А за полкой таракашки  
Подсмотрели и гуськом  
Вмиг к лошадке все бегом.

Подбежали к шоколадке  
И лизнули: «Очень сладко!»  
Пир горой — и в пять минут  
Шоколадке был капут.

Вот приходит Боб с прогулки.  
Таракашки шмыг к шкатулке, —  
Боб к лошадке: «Съела... ай!  
Завтра дам еще, — будь пай».

День за днем — так две недели  
Мальчик Боб, вскочив с постели,  
Клал в живот ей шоколад  
И потом шел прыгать в сад.

Лошадь кушала, старалась,  
Только кошка удивлялась:  
«Отчего все таракашки  
Растолстели, как барашки?»

1912

## ЛЕТОМ

**З**а селом на полной воле  
Веет ветер-самолет.  
Там картофельное поле  
Все лиловеньким цветет.

А за полем, где рябинка  
Вечно с ветром не в ладу,  
Сквозь дубняк бежит тропинка  
Вниз к студеному пруду.

Дружно выплыли утята.  
Впереди толстуха-мать.  
Облака плывут куда-то,  
Пахнет мятой. Благодать...

Пруд синее круглой чашкой.  
Ивы клонятся к воде...  
На плоту лежат рубашки,  
А мальчишки все в пруде.

Солнце брызнуло полоской.  
Тени вьются, словно дым.  
Эх, разденусь за березкой,  
Руки вытяну — и к ним!

1912

## ИММОРТЕЛИ

Ты не любишь иммортелей?  
 А видала ты у кочки  
 На полянке, возле елей,  
 Их веселые пучочки?  
 Каждый пышный круглый венчик  
 На мохнатой бледной ножке,  
 Словно желтый тихий птенчик, —  
 А над ним — жуки и мошки...  
 Мох синее сизой спинкой,  
 Муравьи бегут из щелей,  
 Тот с зерном, а тот с былинкой...  
 Ты не любишь иммортелей?  
 Солнцем — цвет им дан лимонный,  
 Елкой — смольный бодрый запах.  
 По бокам торчат влюбленно  
 Мухоморы в красных шляпах.  
 Розы — яркие цыганки,  
 Лучше, может быть, немного, —  
 Но и розы и поганки  
 Из садов того же Бога...  
 Подожди, увянут розы,  
 Снег засыплет садик тощий,  
 И окно заткут морозы  
 Светлой пальмовою рощей...  
 И склонившись к иммортелям,  
 Ты возьмешь их в горсть из вазы,  
 Вспомнишь солнце, вспомнишь ели,  
 Лес и летние проказы.

1920

## ЦИРК

Семейство мальчиков «Винь-Глаз»,  
 Известных в Амстердаме,  
 Даст представление сейчас  
 По Мишкиной программе.

Бум-бум! За вход по пять рублей,  
А с мамы — две копейки...  
Сейчас начнем! Оркестр, смелей!  
Галоп — для галерейки.

Вот перед вами Пупс-солист  
В маминой рубашке.  
Он храбро съест огромный лист  
Чернильной промокашки.  
Здесь нет волшебства, господа, —  
Не бойтесь! Пупс, понятно,  
Ее без всякого вреда  
Сам выплюнет обратно.

Алле! Известный Куки-фокс  
И кошка, мисс Морковка,  
Покажут вам английский бокс.  
Ужасно это ловко!  
Свирепый фокс не ел пять дней,  
А кошка — две недели.  
Все фоксы мира перед ней,  
Как кролики, робели!

А вот пред вами клоун Пик.  
Похрюкай, Пик, немножко...  
Сейчас издаст он адский крик  
И дрыгнет правой ножкой.  
Он может выть, как крокодил,  
И петь, как тетя Нэта,  
Король голландский подарил  
Ему часы за это.

Я сам, известный рыцарь Му,  
Вес — пуд семь фунтов в латах,  
Зубами с пола подыму  
Двоюродного брата.  
Он очень толстый и живой:  
Прошу вас убедиться, —

Он может двигать головой,  
Пиццать и шевелиться.

Вниманье! Девочка Тотó  
Пропляшет вальс бандита.  
Она хоть девочка, зато  
Ужасно знаменита.  
Тото, не бойся, не беда!  
Так надо по программе...  
Ведь в львиной клетке ты всегда  
Плясала в Амстердаме!

Вот дядя Гриша. Не визжать!  
Он ростом выше шкафа  
И очень любит представлять  
Алжирского жирафа.  
Гоп, дядя Гриша, на дыбы!  
Бей хвостиком по тальме!  
Он может кончиком губы  
Рвать финики на пальме...

Эй, там на сцене, все назад —  
От кресла до кровати.  
Смотрите! Это акробат  
«Вынь-Глаз — стальные пятки».  
Он хладнокровен, словно лед!  
Он гибче шведской шпаги!  
Он ходит задом наперед  
В корзинке для бумаги...

Конец! Артисты, вылезай —  
Морковка, Пупс и Куки.  
В четверг мы едем в порт Ай-Яй,  
Показывать там штуки...  
Бей, дядя Гриша, крепче в таз!  
Тото, не смей щипаться...  
Семейство мальчиков «Вынь-Глаз»  
Уходит раздеваться.

## ПРО ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ НАШЛА СВОЕГО МИШКУ

**М**ишка, Мишка, как не стыдно!  
Вылезай из-под комода...  
Ты меня не любишь, видно?  
Это что еще за мода?  
Как ты смел удрать без спроса?  
На кого ты стал похож?  
На несчастного барбоса,  
За которым гнался еж...  
Весь в пылинках, в паутинках,  
Со скорлупкой на носу...  
Так рисуют на картинках  
Только чертика в лесу.  
Целый день тебя искала:  
В детской, в кухне, в кладовой,  
Слезы локтем вытирала  
И качала головой...  
В коридоре полетела, —  
Вот — царапка на губе...  
Хочешь супу? Я не ела:  
Все оставила тебе.  
Мишка-Миш, мохнатый Мишка,  
Мой лохматенький малыш!  
Жили-были кот да мышка...  
Не шалили! Слышишь, Миш?  
Извинись. Скажи: не буду  
Под комода залезать.  
Я куплю тебе верблюда  
И зеленую кровать.  
Самый мой любимый бантик  
Повяжу тебе на грудь:  
Будешь милый, будешь франтик, —  
Только ты послушным будь...  
Что молчишь? Возьмем-ка щетку, —  
Надо все соринки снять,  
Чтоб скорей тебя, уродку,  
Я могла расцеловать.

1916

## ХРАБРЕЦЫ

У пруда по мягкой травке  
Ходит маленький Васюк.  
Ходит — смотрит: здесь паук,  
Там дерутся две козявки,  
Под скамейкой красный гриб,  
На мостках сидят лягушки,  
А в воде так много рыб  
Мельче самой мелкой мушки.  
Надо все пересмотреть,  
Перетрогать, повертеть...  
Ведь лягушки не кусают?  
Пусть попробуют... Узнают!

А лягушки на мостках  
Не спускают глаз с мальчишки:  
Страшный, толстый... Прут в руках,  
Ярко-красные штанишки...  
Из-под шапочки крючком  
Вьется, пляшет чубик рыжий...  
Сам к мосткам бочком, бочком,  
Подбирается все ближе.  
Ведь мальчишки не кусают?  
Пусть попробует... Узнает!

1912—1913

## СНЕЖНАЯ БАБА

Воробы в кустах дерутся.  
Светит солнце, снег, как пух.  
В васильковом небе вьются  
Хороводы снежных мух.  
Гриша — дома, у окошка.  
Скучно в комнате играть!  
Даже, вон, — лентяйка кошка  
С печки в сад ушла гулять.  
Мама гладит в кухне юбку...  
«Гриша, Гриша, — ты куда?»

Влез он в валенки и в шубку,  
Шапку в руки и айда!

Руки в теплых рукавичках,  
Под лопатой снег пищит...  
Снег на лбу и на ресничках,  
Снег щекочет, снег смешит...  
Вырос снег копной мохнатой,  
Гриша бегаёт кругом,  
То бока побьет лопатой,  
То, пыхтя, катает ком...  
Фу, устал. Еще немножко!  
Брови — два пучка овса,  
Глазки — угли, нос — картошка,  
А из елки — волоса.  
Вот так Баба! Восхищенье.  
Гриша пляшет. «Ай-да-да».  
Воробьи от удивленья  
Разлетелись кто куда.

В тихой детской так тепло.  
Стекла снегом замело.  
Синеглазая луна  
Вылезает из окна.  
Ветер прыгает по крыше...  
Отчего не спится Грише?

Встал с кровати босиком  
(Ай, как скользко на полу!)  
И по комнатам бегом  
Поскорей-скорей к стеклу  
За окном сосульки льду...  
Страшно холодно в саду!  
Баба, бедная, не спит,  
Посинела и дрожит...

Раз! Одеться Грише — миг:  
В угол шмыг,  
Взял в охапку  
Кофту, дедушкину шапку,  
Старый коврик с сундука,  
Два платка.

Чью-то юбку из фланели  
 (Что тут думать, в самом деле!)  
 И скорей-скорее в сад...  
 Через бревна и ухабы,  
 Через дворницкую Шавку,  
 Через скользкую канавку,  
 Добежал — и сел у Бабы:  
 «Вот! Принес тебе наряд...  
 Одевайся... Раз и раз!  
 Десять градусов сейчас».

Ветер смолк. В саду светло.  
 Гриша Бабу всю закутал,  
 Торопился — перепутал,  
 Все равно ведь ей тепло:  
 Будет юбка на груди  
 Или кофта позади...  
 «До свиданья! Спи теперь».  
 Гриша марш домой и в дверь,  
 Пробежал вдоль коридора,  
 Вмиг разделся, скоро-скоро,  
 И довольный — хлоп в кровать, —  
 Спать!

1916

## ПЛАКСА

Визг и слезы. По дорожке  
 Мчатся голенькие ножки,  
 Пляшут бантики на юбке,  
 Нос горит, раскрыты губки.  
 Вот блоха!

Уронила с маком пышку, —  
 Испугалась пе-ту-ха!..  
 То ли дело быть мальчишкой —  
 Ха-ха-ха!

1920

\* \* \*

**З**имою всего веселей  
Сесть к печке у красных углей,  
Лепешек горячих поесть,  
В сутроб с голенищами влезть,  
Весь пруд на коньках обежать  
И бухнуться сразу в кровать.

Весною всего веселей  
Кричать средь зеленых полей,  
С барбоской сидеть на холме  
И думать о белой зиме,  
Пушистые вербы ломать  
И в озеро камни бросать.

А летом всего веселей  
Вишневый обкусывать клей,  
Купаясь, всплывать на волну,  
Гнать белку с сосны на сосну,  
Костры разжигать у реки  
И в поле срывать васильки...

Но осень еще веселей!  
То сливы сбиваешь с ветвей,  
То рвешь в огороде горох,  
То взроешь рогатиной мох...  
Стучит молотилка вдали —  
И рожь на возах до земли...

1920

## ИМЯ

**К**ак назвать котенка?  
Тигром иль Мышонком?  
Пупсом или Маем?  
Или Дзинь-Ли-Дзянь?..  
Спрашивала кукол, —  
Говорят: «Не знаем!»  
Спрашивала дядю,  
Говорит: «Отстань!»

Целый день брожу я,  
Целый день шепчу я:  
Гришей или Мишей?  
Криксой иль Жучком?  
А ему всё шутки:  
Слезет с писком с крыши  
И бежит, как шарик,  
К блюдцу с молочком.

Погоди, плутишка,  
Развернем-ка книжку, —  
Что нам попадетсЯ,  
Так и назовем...  
Имя по капризу!  
Третья строчка снизу, —  
Раз, два, три, четыре —  
Что-то мы найдем?

Ха-ха-ха, коташка,  
Рыжая мордашка, —  
Будешь называться  
Ты По-но-ма-рем!..

1920

## ВОЛК

**В**ся деревня спит в снегу.  
Ни гу-гу.  
Месяц скрылся на ночлег.  
Вьется снег.

Ребятишки все на льду,  
На пруду.  
Дружно саночки визжат —  
Едем в ряд!

Кто — в запряжке, кто — седок.  
Ветер в бок.  
Растянулся наш обоз  
До берез.

Вдруг кричит передовой:  
«Черти, стой!»  
Стали санки, хохот смолк.  
«Братцы, волк!..»

Ух, как брызнули назад!  
Словно град.  
Врассыпную все с пруда —  
Кто куда.

Где же волк? Да это пес —  
Наш Барбос!  
Хохот, грохот, смех и толк:  
«Ай да волк!»

1920

### ПРИСТАВАЛКА

— Отчего у мамочки  
На щеках две ямочки?  
— Отчего у кошки  
Вместо ручек ножки?  
— Отчего шоколадки  
Не растут на кровати?  
— Отчего у няни  
Волоса в сметане?  
— Отчего у птичек  
Нет рукавичек?  
— Отчего лягушки  
Спят без подушки?..  
«Оттого, что у моего сыночка  
Рот без замочка».

1912

### НА КОНЬКАХ

*М*чусь, как ветер, на коньках  
Вдоль лесной опушки...  
Рукавицы на руках,  
Шапка на макушке...

Раз-два! Вот и поскользнулся...  
 Раз-и-два! Чуть не кувыркнулся.  
 Раз-два! Крепче на носках!

Захрустел, закричал лед,  
 Ветер дует справа.  
 Елки-волки! Полный ход, —  
 Из пруда в канаву...  
 Раз-два! По скользкой дорожке.  
 Раз-и-два! Веселые ножки...  
 Раз-два! Вперед и вперед...

1913

### ПЕРЕД СНОМ

**К**аждый вечер перед сном  
 Прячу голову в подушку:  
 Из подушки лезет гном  
 И везет на тачке хрюшку,  
 А за хрюшкою дракон,  
 Длинный, словно макарона...  
 За драконом красный слон,  
 На слоне сидит ворона,  
 На вороне стрекоза,  
 На стрекозке — тетя Даша...  
 Чуть прижму рукой глаза —  
 И сейчас же все запляшут!  
 Искры прыгают снопом,  
 Колесом летят ракеты,  
 Я смотрю, лежу ничком  
 И тихонько ем конфеты.  
 Сердцу жарко, нос горит.  
 По ногам бегут мурашки,  
 Тьма кругом, как страшный кит,  
 Подбирается к рубашке...  
 Тише мышки я тогда.  
 Зашуршишь — и будет баня:  
 Няня хитрая, беда,  
 Все подсматривает эта няня!

«Спи, вот встану, погоди!»  
Даст щелчка по одеялу. —  
А ослушаешься — жди  
И нашлапает, пожалуй!

1920

## В ОГОРОДЕ

**В** огороде целый день  
Мы сегодня полем грядки,  
А за нами, словно тень,  
Ходят пестрые цыплятки.

Полям сразу в восемь рук:  
Я и Петя, Фрол и Даша...  
Ишь, как чист усатый лук!  
Это все работа наша.

И морковка чище сот...  
Обожгло крапивой пятки.  
Ну, до свадьбы заживет!  
Эй, петух, долой-ка с грядки!

Свеклу кончили. Ура!  
Подвязать горох бы нужно.  
Поливайте, детвора:  
По порядку! Дружно, дружно!

Петя важно морщит лоб  
И с ведром шагает гусем.  
Руки вымоем и стоп:  
Хлеба с солью перекусим.

1920

## АРАПКИНА МОЛИТВА

*М*охнатый пес,  
Шершавый Арапка,  
Подыми нос,  
Сложи лапки.  
Стой!

Повторяй за мной:

Милый Бог! Хозяин людей и зверей!  
Ты всех добрей!  
Ты все понимаешь,  
Ты всех защищаешь...  
Прости меня, собаку,  
Вора и забияку.  
Прости, что я стянул у кухарки  
Поросячьи шкварки.  
Всего ложек шесть —  
Очень хотелось есть...  
Спешил и разбил посуду.  
Больше не буду!  
Прости меня, добрый Бог!  
Чтоб соседний не грыз меня дог,  
Чтоб блохи меня не кусали,  
Чтоб люди меня не толкали,  
Чтоб завтра утром с восхода  
Была хорошая погода...  
Чтоб собаки все были сыты  
И не были биты.  
Чтоб я нашел на помойке  
У старой постройки

Хорошую кость.  
Я тоже буду хороший,  
Буду слушаться только Антоши,  
Уйму свою злость,  
Не буду рычать  
И визжать —  
Пусть только в доме не воют на флейте,  
Бейте не бейте, —  
А я не могу — сам буду выть,  
Не могу выносить!  
И еще, если можно, пусти меня в рай  
Вместе с Антошей —  
Хоть в какой-нибудь старый сарай —  
Ты ведь хороший...  
Помилуй меня, не забудь, не покинь!  
Спокойной ночи! Аминь.

1920

## КРОКОДИЛ

**Я** угрюмый крокодил  
И живу в зверинце.  
У меня от сквозняка  
Ревматизм в мизинце.

Каждый день меня кладут  
В длинный бак из цинка,  
А под баком на полу  
Ставят керосинку.

Хоть немного отойдешь  
И попаришь кости...  
Плачу, плачу целый день  
И дрожу от злости...

На обед дают мне суп  
И четыре щуки:  
Две к проклятым сторожам  
Попадают в руки.

Ах, на нильском берегу  
 Жил я без печали!  
 Негры сцапали меня,  
 С мордой хвост связали.

Я попал на пароход...  
 Как меня тошнило!  
 У! Зачем я вылезал  
 Из родного Нила?..

Эй ты, мальчик, толстопуз, —  
 Ближе стань немножко...  
 Дай кусочек откусить  
 От румяной ножки!

1920

## ХРЮШКА

**Х**авронья Петровна! Как ваше здоровье?

— Одышка и малокровье...

— В самом деле?

А вы бы побольше ели...

— Хрю-хрю! Нет аппетита...

Еле доела шестое корыто:

Ведро помой,

Решето с шелухой,

Пуд вареной картошки,

Миску крошки,

Полсотни гнилых огурцов,

Остатки рубцов,

Горшок вчерашней каши

И жбан простокваши...

— Бедняжка!

Как вам, должно быть, тяжко...

Обратитесь к доктору Фан-дер-Флиту,

Чтоб прописал вам капли для аппетита.

1920

## ПРИКЛЮЧЕНИЕ

**В** самый зной пегашку Лизу  
Запрягли гурьбой в тележку.  
Сели плотно, как орешки, —  
Сзади, сбоку, сверху, снизу...  
Кто за вожжи, кто за кнут —  
И айда — купаться в пруд.

Злится Лиза... Что там с ней?  
Туча бешеных слепней  
Жалит в грудь, в бока и в брюхо,  
В ноздри, в спину, в лоб и в ухо...  
Лиза встала на дыбы —  
Все слетели, как грибы...

Просят Лизу: «Брось, поедем!»  
А она рычит медведем,  
Вмиг оглобли повернула,  
Задней ляжкой лягнула,  
В небеса задрала лоб  
И в конюшню марш в галоп.

Не угодно ли пешком?  
Поплелись к пруду шажком  
И вздыхают: «Ну и Лиза!  
Вот уж глупая каприза!..»  
А в конюшне Лиза ржет:  
«Ах, какой пустой народ!»

Кто тут прав, решите сами,  
А не то — пойдите к маме...

1920

## ЗАГАДКА

**Н**од яблоней гуси галдят и шипят,  
На яблоню смотрят сердито,  
Обходят дозором запущенный сад  
И клювами тычут в корыто...

Но ветер вдруг яблоню тихо качнул —  
 Бах! Яблоко хлопнулось с ветки:  
 И гуси, качаясь, примчались на гул,  
 За ними вприпрыжку наседки...

Утята вдоль грядок вразвалку спешат,  
 Бегут индюки от забора,  
 Под яблоней рыщут вперед и назад,  
 Кричат и дерутся. Умора!

Лежал на скамейке Илюша-пострел  
 И губы облизывал. Сладко!  
 Кто вкусное яблоко поднял и съел?  
 Загадка...

1921

## ВРАГИ

— *Т*ав, гав! Скверная кошка!  
 Извела мои нервы собачьи совсем...  
 Эй ты, слезай скорее с окошка,  
 Гав, гав! Я тебя съем!  
 Ключки полетят от кошачьей шубы!  
 Твой рыжий хвост разгрызу пополам!  
 Узнаешь ты, ведьма, собачьи зубы!  
 Гав, гав! Я тебе дам!

— Фыр, фыр! Попрыгай-ка, шавка!  
 Будешь сегодня без носа и глаз...  
 Глупая злюка! Невежа! Шершавка!  
 Ну-ка, попробуй — залай еще раз...  
 Брысь! Мои когти, как острая бритва...  
 Я тебя трогаю? Экий балбес!  
 Ляешь? Ну, ладно — битва так битва...  
 Только прицелюсь — взвизгнешь, как бес!

1920

## МЫШИНОЕ ГОРЕ

Ах, как вкусно пахло сало!  
В животе моем бурчало —  
Есть хотелось страсть.

Я ужасно волновалась  
И на цыпочках прокралась  
Мышеловке в пасть...

Только носом потянула,  
Языком чуть-чуть лизнула,  
Хлопс — и я в тюрьме!

Позабыла я про сало, —  
Волновалась и пищала,  
Плакала во тьме.

Бог с ним, с салом. Бог с ней, с пищей,  
Утром злой придет котище, —  
Не видать мне дня!

Чуть откроют только дверцу, —  
Он, жестокий, он, без сердца, —  
Гам — и съест меня...

Ах, несчастье! Ах, злодейство!  
Ах, любимое семейство,  
Шестерых мышат...

Я стою на задних лапках,  
Нос от прутьев весь в царапках —  
Нет пути назад!..

1920

\* \* \*

На заборе снег мохнатый толстой грядочкой лежит.  
Налетели вмиг галчата... Ух, какой серьезный вид!

Ходят боком вдоль забора, головенки изогнув,  
И друг дружку скоро-скоро клювом цапают за клюв.

Что вы ссоритесь, пичужки? Мало ль места вам крутом —  
На березовой макушке, на крыльце и под крыльцом.

Эх, когда б я сам был галкой, — через форточку б  
махнул

И веселою нырлялкой в синем небе потонул...

1920

## АИСТЫ

На вершине вяза,  
Над сухим гнездом,  
Аист долговязый  
Сторожит свой дом.

А в гнезде супруга  
С тройкою птенцов...  
Ветер дунул с луга:  
Не пора ль на лов?

Дрогнув красной ножкой,  
Аист поднял клюв:  
Слушает сторожко,  
Шею изогнув...

Шух! Вспорхнул с макушки  
И летит к лугам.  
В ужасе лягушки  
Прыгают к стогам.

Цап! Понес, как тряпку,  
В ясной синеве.  
Старшему даст лапку,  
Младшему даст две...

А под вечер разом,  
Только схлынет зной,  
Он с вершины вяза  
Затрещит с женой:

«Ночь идет. Тра-та-та,  
Спать! тра-та, та-тан!»

Словно два солдата  
Лупят в барабан.

А барбоска в будке  
Носом тычет в грудь:  
«P-p!.. Ни на минутку  
Не дадут заснуть!»

1920

### КАК КОТ СМЕТАНЫ ПОЕЛ

**Ж**или-были мышки,  
Серые пальтишки.  
Жил еще кот,  
Бархатный живот.  
Пошел кот к чулану  
Полизать сметану,  
Да чулан на задвижке,  
А в чулане мышки...  
Сидит кот перед дверцей,  
Колотится сердце, —  
Войти нельзя!

Вот запел кот,  
Бархатный живот,  
Тоненьким голосишкой  
Вроде мышки:  
«Эй вы, слышь!  
Я тоже мышь, —  
Больно хочется есть,  
Да под дверь не пролезть...  
У вас там много в стакане,  
Вымажьте лапки в сметане  
Да высуньте под дверку.  
Скорей, глухие тетерьки!  
Я полижу,  
Спасибо скажу...»

Поверили мышки  
Коту-плутишке,

Высунули лапки...  
 А кот цап!..  
 Со всех лап...  
 Вытащил за лапки,  
 Сгреб в охапку  
 И в рот!

1913

### ЧТО КОМУ НРАВИТСЯ

«Эй, смотри, смотри — у речки  
 Сняли кожу человечки!» —  
 Крикнул чижик молодой.  
 Подлетел и сел на вышке, —  
 Смотрит: голые детишки  
 С визгом плещутся водой.

Чижик клюв раскрыл в волненье,  
 Чижик полон удивленья:  
 — «Ай, какая детвора!  
 Ноги — длинные болталки,  
 Вместо крыльшек — две палки,  
 Нет ни пуха ни пера!»

Из-за ивы смотрит заяц  
 И качает, как китаец,  
 Удивленной головой:  
 — «Вот умора! Вот потеха!  
 Нет ни хвостика, ни меха...  
 Двадцать пальцев! Боже мой...»

А карась в осоке слышит,  
 Глазки выпучил и дышит:  
 «Глупый заяц, глупый чиж!..  
 Мех и пух, скажи пожалуй...  
 Вот чешуйку б не мешало!  
 Без чешуйки, брат, шалишь!»

1920

## ПРО ПЧЕЛ

Сладок мед, ужасно сладок!

Ложку всю оближешь вмиг...

Слаще дыни и помадок,

Слаще фиников и фиг!

Есть в саду пчелиный домик —

Ульем все его зовут.

— Кто живет в нем? Сладкий гномик?

— Пчелы, милый, в нем живут.

Там узорчатые соты,

В клетках — мед, пчелиный труд...

Тесно, жарко... Тьма работы:

Липнут лапки, крылья жмут...

Там пчелиная царица

Яйца белые кладет.

Перед ней всегда толпится

Умных нянек хоровод...

В суете неутомимой

Копшатся тут и там:

Накорми ее да вымой,

Сделай кашку червячкам.

Перед ульем на дощечке

Вечно стража на часах,

Чтобы шмель через крылечко

Не забрался впопыхах.

А вокруг ковром пушистым

Кольхаются цветы:

Лютик, клевер, тмин сквозистый,

Дождь куриной слепоты...

• Пчелы все их облетают —

Те годятся, эти — нет.

Быстро в чашечки ныряют

И с добычей вновь на свет...

Будет день, — придет старушка,

Тихо улей обойдет,

Подымит на пчел гнилушкой  
И прозрачный мед сберет...

Хватит всем — и нам и пчелам...  
Положи на язычок:  
Станешь вдруг, как чиж, веселым  
И здоровым, как бычок!

1920

## СЛОН

— **С**лоник-слоник, настоящий слон живой, —  
Отчего ты все качаешь головой?

— Оттого что, потому что, потому, —  
Все я думаю, дружок, и не пойму...

Не пойму, что человек, такой малыш —  
Посадил меня в клетушку, словно мышь...

Ох, как скучно головой весь день качать!  
Лучше бревна дали б, что ли, потаскать...

— Слоник-слоник, не качай ты головой!  
Дай мне лучше поскорее хобот свой...

Я принес тебе из бархата слона,  
Он хоть маленький, но милый. Хочешь? На!

Можешь мыть его, и нянчить, и лизать...  
Ты не будешь головой теперь качать?..

1920

## ДВА УТЕНКА

**Д**ва утенка подцепили дождевого червяка.  
Растянули, как резинку, — трах! и стало два куска...

Желтый вправо, черный влево вверх тормашками летит,  
А ворона смотрит с ветки и вороне говорит:

«Невозможные манеры! Посмотрите-ка, Софи...  
Воспитала мама-утка... Фи, какая жадность! Фи!..»

Из окна вдруг тетя Даша корку выбросила в сад.  
Вмиг сцепились две вороны — только перышки летят.

А утята страшно рады: «Посмотрите-ка, Софи!..  
Кто воспитывал? Барбоска? Фи! И очень даже фи!..»

1920

## ВОРОБЕЙ

Воробей мой, воробьишка!  
Серый, юркий, словно мышка.  
Глазки — бисер, лапки — врозь,  
Лапки — боком, лапки — вкось...

Прыгай, прыгай, я не трону —  
Видишь, хлебца накрошил...  
Двинь-ка клювом в бок ворону,  
Кто ее сюда просил?

Прыгни ближе, ну-ка, ну-ка,  
Так, вот так, еще чуть-чуть...  
Ветер сыплет снегом, злюка,  
И на спинку, и на грудь.

Подружись со мной, пичужка,  
Будем вместе в доме жить,  
Сядем рядышком под вьюшкой,  
Будем азбуку учить...

Ближе, ну еще немножко...  
Фурх! Удрал... Какой нахал!  
Съел все зерна, съел все крошки —  
И спасибо не сказал.

1920

## ПРО КОТА

Раньше всех проснулся кот,  
Поднял рыжий хвост столбом,  
Спинку выпятил горбом  
И во весь кошачий рот  
Как зевнет!

«Мур! Умыться бы не грех...»  
Вместо мыла — язычок,  
Кот свернулся на бочок  
И давай лизать свой мех!  
Просто смех!

А умывшись, в кухню — шмыг.  
Скажет «Здравствуйте» метле  
И пошарит на столе:  
Где вчерашний жирный сиг?  
Съел бы вмиг!

В доме встали. Кот к окну:  
«Мур! На ветке шесть ворон!»  
Хвост забился, когти вон,  
Смотрит кот наш в вышину  
На сосну.

Насмотрелся, да во двор —  
Зашипел на индюка,  
Пролетел вдоль чердака  
И, разрыв в помойке сор,  
На забор!..

Убежал, разинув рот...  
Только к вечеру домой  
Весь в царапках, злой, хромой.  
Долго точит когти кот  
О комод...

Ночь. Кот тронет лапкой дверь,  
Проберется в коридор  
И сидит в углу, как вор.  
Тише, мыши! Здесь теперь  
Страшный зверь!

Нет мышей... Кот сел на стул  
И зевает: «Где б прилечь?»  
Тихо прыгнул он на печь,  
Затянул «мурлы», вздохнул  
И заснул.

1913

## МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

*Ж*а балконе под столиком  
Сидят белые кролики  
И грызут карниз.  
Чистые,  
Пушистые,  
Одно ухо вниз,  
А другое — в небо.  
Дай им хлеба!  
Подберут до крошки,  
Понюхают быстро ладошку  
И вон!  
Хлоп — задними лапами в пол,  
Скорее под стол,  
За старый вазон...  
Сядут в ряд,  
Высунут усики  
И дрожат.  
Эх вы, трусики!..

1920

## УГОВОР

*Е*ж забрался в дом из леса!  
Утром мы его нашли —  
Он сидел в углу за печкой  
И чихал в густой пыли.  
  
Подошли мы, — он свернулся.  
Ишь, как иглами оброс!  
Через пять минут очнулся,  
Лапки высунул и нос.

Почему ты к нам забрался, —  
 Мы не спросим, ты пойми:  
 Со своими ли подрался,  
 Захотел ли жить с людьми...

Поживи... У нас неплохо.  
 Только раньше уговор:  
 Будешь ты Чертополохом  
 Называться с этих пор!

Ты не должен драться с кошкой  
 И влезать к нам на кровать,  
 Потому что ты колючий,  
 Можешь кожу ободрать...

За день будешь получать ты  
 По три блюдца молока,  
 А по праздникам — ватрушку  
 И четыре червяка.

Днем играть ты должен с нами,  
 По ночам — ловить мышей.  
 Заболеешь — скажем маме, —  
 Смажем йодом до ушей.

Вот и все. Теперь подумай.  
 Целый день ведь впереди...  
 Если хочешь, оставайся.  
 А не хочешь — уходи!

1920

## В ХЛЕВУ

**Н**ахнет сеном и теплом.  
 Кто там ходит? Кто там дышит?  
 Вьюга пляшет за селом.  
 Ветер веет снег на крыше.

Фыркнул добрый старый конь —  
 К сену тянется губами.  
 Смотрит вниз, в глазу — огонь...  
 Кто там бродит под столбами?

Поросенок! Хрю-хрю-хрю...  
Рыльцем в стружках взрыл горбинку  
И рысцой бежит к ларю  
Почесать об угол спинку.

Две коровы поперебой  
Все жуют, вздыхая, жвачку.  
А теленочек рябой  
В уголке бодает тачку.

Мышь гуляет по стене.  
Гуси крикнули в клетушке...  
Что приснилось им во сне?  
Май? Зеленые опушки?

Ветер чуть скрипит крючком.  
Тишь и тьма. Шуршит солома.  
Пахнет теплым молоком.  
Хорошо тому, кто дома!

1920

\* \* \*

Что ты тискаешь утенка?  
Он малыш, а ты — большой.  
Ишь, задравши головенку,  
Рвется прочь он всей душой...

Ты представь такую штуку, —  
Если б толстый бегемот  
Захотел с тобой от скуки  
Поиграть бы в свой черед?

Взял тебя бы крепко в лапу,  
Языком бы стал лизать.  
Ух, как стал бы звать ты папу  
И брыкаться и кричать!..

Ты снеси утенка к утке,  
Пусть идет купаться в пруд.  
Лапы мальчика не шутки,  
Чуть притиснешь — и капут.

1920

## ИНДЮК ВАЖНИЧАЕТ

**Ф**-фух!  
 Я индейский петух!..  
 Самый важный!  
 Нос трехэтажный...  
 Грудь кораблем,  
 Хвост решетом...  
 Ф-фух!

Ты балда-разбалда, оболтус-мальчишка.  
 Ты балда, ты болтун, ты буян, ты  
 глупышка!..

Ф-фух!  
 Ты что меня дразнишь?

Я индейский петух!  
 Ф-фух!  
 Самый важный...  
 Нос трехэтажный,  
 Под носом — сережки  
 И сизые брошки.  
 Грудь кораблем,  
 Хвост решетом,  
 Персидские ноги. —  
 Прочь с дороги!..  
 Ф-фух!

1920

## ЖЕРЕБЕНОК

**Х**вост — косичкой;  
 Ножки — спички,  
 Оттопырил вниз губу...  
 Весь пушистый,  
 Золотистый,  
 С белой звездочкой во лбу.  
 Юбку, палку,  
 Клок мочалки —

Что ни видит — все сосет.  
Ходит сзади  
Тети Нади,  
Жучку дразнит у ворот.  
Выйдет в поле —  
Вот раздолье!  
Долго смотрит вдаль — и вдруг  
Взвизгнет свинкой,  
Вскинет спинкой,  
И галопом — к маме в луг.

1920

### МАРТЫШКА

— Отчего ты, мартышка, грустна  
И прижала к решетке головку?  
Может быть, ты больна?  
Хочешь сладкую скушать морковку?..

— Я грустна оттого,  
Что сижу я, как пленница, в клетке,  
Ни подруг, ни родных — никого,  
Ни зеленой развесистой ветки...  
В африканских лесах я жила,  
В теплых, солнечных странах;  
Целый день, как юла,  
Я качалась на гибких лианах...  
И подруги мои —  
Стаи вечно веселых мартышек —  
Коротали беспечные дни  
Средь раскидистых пальмовых вышек.  
Каждый камень мне был там знаком.  
Мы ходили гурьбой к водоюю,  
В бегемотов бросали песком  
И слонов обливали водою...  
Здесь и холод, и грязь,  
Злые люди и крепкие дверцы...

Целый день, и тоскуя и злясь,  
 Свой тюфяк прижимаю я к сердцу.  
 Люди в ноздри пускают мне дым,  
 Тычут палкой, хохочут нахально...  
 Что я сделала им?  
 Я — кротка и печальна.  
 Ты добрей их, ты дал мне морковь,  
 Дал мне свежую воду, —  
 Отодвинь у решетки засов,  
 Отпусти на свободу!..

— Бедный зверь мой, куда ты уйдешь?  
 Там на улице ветер и вьюга.  
 В переулке в сугробе заснешь,  
 Не увидев горячего юга...  
 Потерпи до весны лишь, — я сам  
 Выкуп дам за тебя, и уедем  
 К африканским веселым лесам,  
 К чернокожим соседям.

.....  
 А пока ты укройся теплей  
 И усни. Пусть во сне хоть приснится  
 Ширь родных кукурузных полей  
 И мартышек веселые лица.

1920

## ПОПКА

— *У* кого ты заказывал, попочка, фрак?  
 — Ду-рак!  
 — А кто тебе красил колпак?  
 — Ду-ррак!  
 — Фу, какой ты чужак!  
 — Ду-рррак!

Скучно попочке в клетке, круглой беседке.  
 Высунул толстенький черный язык,  
 Словно клык...

Щелкнул,  
Зацепился когтями за прутья,  
Изорвал бумажку в лоскутья,  
И повис — вниз головой.  
Вот он какой!

1920

### ТЕЛЕНОК СОСЕТ

Пришла во двор корова:  
«Му! Я здорова,  
Раздуты бока, —  
Кому молока?»  
Прибежал теленок,  
Совсем ребенок:  
Лбом вперед,  
Мордой в живот,  
Ножками пляшет,  
Хвостиком машет...  
Сосет!  
То мимо, то в рот.  
Недовольна корова,  
Обернулась к нему  
И смотрит сурово:  
«Му-у!  
Куда ты спешишь?  
Глупыш...»

1920

### КТО?

Ну-ка, дети! —  
Кто храбрее всех на свете?  
Так и знал — в ответ все хором нараспев:  
Лев!

Лев? Ха-ха... Легко быть храбрым,  
Если лапы шире швабры.

Нет, не лев, не слон... Храбрее всех  
мальш —  
Мышь!

Сам вчера я видел чудо,  
Как мышонок влез на блюдо  
И у носа спящей кошки,  
Не спеша, поел все крошки.  
Что?

1920

## ВЕЧЕРНИЙ ХОРОВОД

Добрый вечер, сад-сад!  
 Все березки спят-спят,  
 И мы скоро спать пойдем,  
 Только песенку споем.

Толстый серый слон-слон,  
 Видел страшный сон-сон,  
 Как мышонок у реки  
 Разорвал его в клочки...

А девочкам, дин-дон,  
 Пусть приснится сон-сон,  
 Полный красненьких цветков  
 И зелененьких жучков!

До свиданья, сад-сад!  
 Все березки спят-спят...  
 Детям тоже спать пора —  
 До утра!

1913

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ

(Для куклы)

Баю, кукла, баю, бай —  
 Спи, а то придет Бабай!

Мячик спит, и утка спит,  
 Ослик в сумочке храпит.

Если крепко будешь спать,  
Дам конфетку полизать.

Встанешь, сказочку скажу —  
Про слона... и про Жужу.

Интересно — ай-яй-яй!  
Только раньше надо бай.

1912

### ДЕВОЧКА ПОЕТ

**В**ам! Солнце блещет.  
Вам! Море плещет,  
Лижет-лижет-лижет бережок.  
Из песка морского,  
Светло-золотого  
Я слепила толстый-толстый пирожок.

Божия коровка,  
Черная головка,  
Красный-красный-красненький наряд..  
Ты постой, послушай,  
Сядь-ка и покушай —  
Улетела к мужу-мужу-мужу в сад!

Сделала семь бабок.  
Все свалились набок...  
Чайка-чайка-чайка села вдруг на шест!  
Клинг! Посмотрела.  
Кланг! Улетела...  
Может быть, ворона-рона-рона съест?

1920

### МАМИНА ПЕСНЯ

**С**иний-синий василек,  
Ты любимый мой цветок!  
У шумящей желтой ржи

Ты смеешься у межи,  
И букашки над тобой  
Пляшут радостной гурьбой.

Кто синее василька?  
Задремавшая река?  
Глубь небесной бирюзы?  
Или спинка стрекозы?  
Нет, о нет же... Всех синей  
Глазки девочки моей.

Смотрит в небо по часам.  
Убегает к василькам.  
Пропадает у реки,  
Где стрекозы так легки —  
И глаза ее, ей-ей,  
С каждым годом все синей.

1920

### ДОКТОР АЙ

Где живет злой доктор Ай?  
Это знают все детишки.  
Ну-ка, первого хватай  
За густые волосишки...  
Ух как взвизгнул: «Ай-яй-яй!»  
«Доктор дома. Что угодно?» —  
«Дайте фунт воды холодной  
Для примочки «не зевай!».

1920

### НЕГРИТЯНСКАЯ ПЕСНЯ

На песке-песке горячем я под пальмою лежу...  
Сладкий финик сунул в зубы и сквозь листья  
вверх гляжу.

Небо, как синька, тучка, как пирог,  
Пальма, как зонтик, негр, как сапог...

Бум! Бум! Меня зовут Джон.  
Мой папа был черный, как сорок ворон.

Вон вдали идет-шагает длинный черт —  
горбун-верблюд.  
Ах, в жару возить араба — самый-самый страшный  
труд!

Желтый верблюд, белый араб,  
Горб с хвостом, две пары лап...  
Бум! Бум! Что он везет —  
Финики, фиги и сухой компот...

Мой живот блестит на солнце, как галоша  
под дождем...  
Я теперь простой носильщик, а когда-то был  
вождем...

Я носил на шее пряжку,  
Плащ и желтую подтяжку...  
Бум! Бум! А теперь на мне  
Красная ниточка на правой ступне.

Жар спадет, пойду купаться — за холмом бежит река.  
Жиром голову намажу и нырну у тростника...  
Негр под водой, пузыри летят,  
Крокодил проснулся, негр плывет назад...  
Бум! Бум! Хорошо на свете...  
Счастливы только негры и дети!

1920

## ЧИЖИК

— Чижик, чижик, где ты был?  
— У Катюши кофе пил,  
С булкой, с маслом, с молоком  
И с копченым языком.

А потом мы на шкапу  
С ней плясали «ки-ка-пу»...  
Ножки этак, так и сяк,  
А животики — вот так.

А потом я на окне  
Спел ей песню о весне:  
Кот мурлыкал, пес ворчал,  
Ветер шторку колыхал.

А потом, потом, потом  
Дал коту я в глаз хвостом,  
Поднял крылья, клюнул пса  
И умчался в небеса!

1920

### КОЛЫБЕЛЬНАЯ

*(Для маленького брата)*

**Б**аю-бай! Васик — бай!  
Ты, собака, не лай!  
Ты, бычок, не мычи!  
Ты, медведь, не рычи...  
Волк, миленький, не вой,  
Петушок, дружок, не пой!  
Все должны теперь молчать:  
Васик хочет спать...

Баю-бай! Васик — бай!  
Ножками не болтай,  
Глазками не моргай,  
Смеяться не надо,  
Ладушка-ладо!  
Спи, толстый мой голыш...  
Мухи — кыш! Мухи — кыш!  
Не смей его кусать —  
Васик хочет спать...

Баю-бай! Васик — бай!  
Жил в зверинце попугай.  
Зеленый и гладкий,  
На желтой подкладке.  
Все кричал он и кричал,  
Все не спал он и не спал.  
Прибежал вдруг котик,

Прыгнул на животик,  
 Баю-баю-баю —  
 И съел попугая...  
 Раз-два-три-четыре-пять,  
 Пузырей не пускать!  
 Спать!..  
 А не то нашлепаю!

1920

### КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

*Н*ачинается постройка!  
 Не смеяться, не дышать...  
 Двери — двойки, сени — тройки...  
 Стоп! Упал, так строй опять.  
 В уголке швейцар на койке —  
 На семерке — будет спать.

Милый, славный... Не вались!  
 В первой комнате валеты,  
 Фу-ты, ну-ты, как одеты!  
 Шляпа вверх и шляпа вниз,  
 Вдоль по стеночкам карниз  
 Из четверок и пятерок.  
 Не шататься! Я вам дам!  
 Дальше — ширмы для шестерок:  
 Это ванная для дам.

Короли пусть спят в столовой.  
 Больше негде — только тут.  
 Дама пик и туз бубновый  
 На веранде кофе пьют.  
 Дети? Нет у них детей,  
 Ни детей, ни птиц, ни кошек...  
 Это — дырки для окошек,  
 Это — спальня для гостей.

С новосельем! Бим и бом!..  
 Дом готов. Еще на крыше  
 Надо две трубы повыше.

Не дрожи, голубчик дом!  
Не качайся, ради Бога...  
Ни, ни, ни!.. Еще немного...  
Ах!  
Зашатался на углах,  
Перегнулся, пошатнулся,  
И на скатерть кувырком, —  
Вот так дом...

1920

### КОШКИ-МЫШКИ

**К**ошка — злюка в серой шубке!  
Кошка — страшный хищный зверь.  
Растопыривайте юбки,  
Пропускайте мышку в дверь!

Пропускайте мышь-трусюшку,  
Кошка здесь, и там, и тут...  
Мышка, мышь, ныряй под мышку,  
А не то — тебе капут.

Оближи-ка, кошка, губки:  
Мышку ветер подковал...  
Ты возьми-ка хвост свой в зубки,  
Чтобы бегать не мешал!

Кошка-киска, зверь лукавый,  
Кошка — злюка, кошка — брысь!  
Вправо-влево, влево-вправо, —  
Мышка, мышка, берегись!

Ай, как страшно бьется сердце!  
Наш мышонок чуть живой:  
Разбежался в круг сквозь дверцы,  
Бац — и в кошку головой...

1920

## ЗАСТЕНЧИВЫЙ ТАРАКАН

На столике банка,  
 Под банкой стакан,  
 Под стаканом склянка,  
 В склянке таракан...  
 Ах, как ему стыдно!  
 Не мил ему свет...  
 Все насквозь ведь видно,  
 А он — не одет...

1920

## ЧЕЛОВЕЧЕК В ЧАСАХ

Кошка спит. Погасла свечка.  
 Ветер дергает засов...  
 Надо вызвать человечка  
 Из больших стенных часов.  
 Тик-и-так! Седая шерстка,  
 Вылезай-ка! В доме — тишь...  
 Выпьешь чаю из наперстка,  
 На пружинках подружишь...  
 Сядем рядом на скамейке,  
 Взвизгнем так, что вздрогнет дом!  
 Ты направо склонишь шейку,  
 Я — налево, — и замрем...  
 И в ответ — в домах у речки,  
 Где огней мигает ряд,  
 Из часов все человечки,  
 Словно черти, завизжат!

1920

## ПОЛЬКА

В среду были именины  
 Молодого паука.  
 Он смотрел из паутины  
 И поглаживал бока.

Рим-тим-тим!  
Слез по шторе.  
Гости в сборе?  
Начинай!

Таракан играл на скрипке,  
А сверчок на контрабасе.  
Две блохи, надевши штрипки,  
Танцевали на матрасе.  
Рим-тим-тим!  
Вот так штука...  
Ну-ка, ну-ка,  
Жарь всюю!

Мышь светила им огарком,  
Муха чистила свой рот.  
Было очень-очень жарко,  
Так что с блох катился пот.  
Рим-тим-тим!  
Па — направо,  
Браво-браво,  
Браво-бис!..

Угощались жирной костью  
За печуркою в трубе,  
А паук съел муху-гостью  
И опять полез к себе.  
Рим-тим-тим!  
Гости плачут,  
Блохи скачут, —  
Наплевать!

1920

## ГОРЬКОЕ ЛЕКАРСТВО

Утром розовая зорька  
Шла тихонько сквозь лесок...  
Отчего лекарство горько?  
Я не знаю, мой дружок.



— Эй, проснись, лентяй-мальчишка...  
Встали утки, встала мышка,  
Кошка моется в углу.

Спит! Храпуша... Нос распухнет...  
Самовар ворчит на кухне.  
Ждет парное молоко.

Золотится лес и крыша.  
Мчится в лес теленок Миша,  
Хвост задравши высоко.

Встань, вставай... Вода в кадучке  
Холодней брюшка лягушки, —  
Брызни горсточкой в глаза.

День сияет, сад сверкает,  
Перед дверью Жучка лает, —  
Ну, вставай же, егоза!

1920

## РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

**З**еленая елка, где твой дом?  
— На опушке леса, над тихим холмом.

Зеленая елка, как ты жила?  
— Летом зеленела, а зимой спала.

Зеленая елка, кто тебя срубил?  
— Маленький, старенький дедушка  
Памфил.

Зеленая елка, а где он теперь?  
— Курит дома трубку и смотрит на дверь.

Зеленая елка, скажи — отчего?  
— У него, у дедушки, нету никого.

Зеленая елка, а где его дом?  
— На каждой улице, за любым углом...

Зеленая елка, а как его позвать?  
— Спросите-ка бабушку, бабушку и мать...

1920

## ПЕСНЯ МУХИ

Зу-зу-зу —  
 Пол внизу...  
 Я ползу по потолку  
 В гости к черному крючку...  
 Зы, как жарко, зу-зу-зу,  
 Ах, как чешется в глазу!

На клеенке на столе  
 Капля сладкого желе...  
 Зы-зы, мальчик, это что?  
 Взял слизал, а мне-то что!..

Зынь-дзынь!  
 Полечу скорей в окошко.  
 Там за елкой на дорожке  
 Много корочек от дынь.  
 Дзынь!

1920

## СКРУТ

— Кто живет под потолком?  
 — Гном.  
 — У него есть борода?  
 — Да.  
 — И манишка, и жилет?  
 — Нет...  
 — Как встает он по утрам?  
 — Сам.  
 — Кто с ним утром кофе пьет?  
 — Кот.  
 — И давно он там живет?  
 — Год.  
 — Кто с ним бегаёт вдоль крыш?  
 — Мышь.  
 — Ну, а как его зовут?

- Скрут.  
— Он капризничает, да?  
— Ни-ког-да!..

1920

## ПЕСНЯ ВЕТРА

**В** небе белые овечки...  
Ту! Я дунул и прогнал.  
Разболтал волну на речке,  
Ветку с липы оборвал...  
Покачался на осинке —  
Засвистал и марш вперед.  
Наклоняй-ка, лес, вершинки —  
Еду в город — на восход!  
Вею-рею,  
Вверх, за тучу, вбок и вниз...  
Дую-вею,  
Вот и город. Эй, очнись!

Дал старушке под коленку,  
С визгом дунул через мост,  
Грохнул вывеской о стенку,  
Завернул собаке хвост.  
Эй, горбун, держи-ка шляпу...  
Понеслась вдоль лавок в грязь!..  
Вон, вытягивая лапу,  
Он бежит за ней, бранясь.  
Вею-рею!  
Раскачал все фонари...  
Дую-вею!  
Кто за мною? Раз-два-три!

Здравствуй, Катя! Ты из школы?  
Две косички, кнопкой нос.  
Я приятель твой веселый...  
Сдернуть шапочку с волос?  
Взвею фартучек твой трубкой,  
Закручу тебя волчком!

Рассмеялась... Ну и зубки.  
 Погрозила кулачком..  
 Вею-рею!  
 До свиданья. Надо в лес.  
 Дую-вею!  
 Через крыши, вверх все выше,  
 Вверх все выше, до небес!

1920

### КОГДА НИКОГО НЕТ ДОМА

**В** стекла смотрит месяц красный.  
 Все ушли — и я один.  
 И отлично! И прекрасно!  
 Очень ясно:  
 Я храбрее всех мужчин.

С кошкой Мур, на месяц глядя,  
 Мы взобрались на кровать:  
 Месяц — брат наш, ветер — дядя,  
 Вот так дядя!  
 Звезды — сестры, небо — мать...

Буду петь я громко-громко!  
 Буду громко-громко петь,  
 Чтоб из печки сквозь потемки  
 На тесемке  
 Не спустился к нам медведь...

Не боюсь ни крыс, ни Буки, —  
 Кочергою в нос его!  
 Ни хромого черта Клуки,  
 Ни гадюки, —  
 Никого и ничего!

В небе тучка, как ягненок,  
 В завитушках, в завитках.  
 Я — не мальчик, я — слоненок,  
 Я — тигренок,  
 Задремавший в камышах...  
 Жду и жду я, жду напрасно —

Колокольчик онемел...  
Месяц, брат мой, месяц красный,  
Месяц ясный,  
Отчего ты побледнел?

1920

## ЗИМОЙ

**С**нежинки-снежинки,  
Седые пушинки,  
Летят и летят!  
И дворик и сад  
Белее сметаны,  
Под крышей висят  
Прозрачные льдинки...  
Дымятся лужайки, кусты и тропинки,  
За садом молочные страны  
Сквозят.

Лохматые тучи  
Нахмурили лоб,  
А ветер колючий  
Сгребает сугроб, —  
Бросает снежками...  
Над пухлым забором  
Несется прыжками,  
И белым узором  
Заносит мохнатые окна и дверь,  
И воет, как зверь!

Вороны прозябли,  
Кусты, словно грабли...  
Кусает мороз, —  
А ветви берез,  
Как белые сабли...  
То вправо, то влево  
Кружусь, как волчок.  
Эй, Снежная Дева!  
Возьми, подыми на сквозном дирижабле  
И в стае снежинок умчи за лесок!

1920

## СВЕРЧОК

Что поет сверчок за печкой?  
 «Тири-тири, надо спать!»  
 Месяц выбелил крылечко.  
 Сон взобрался на кровать...  
 Он в лицо Катюше дышит:  
 «Ты, коза, — закрой глаза!»  
 Катя слышит и не слышит.  
 За окном шуршит лоза.  
 Кто там бродит возле дома?  
 Мишка с липовой ногой.  
 Дочка сна, колдунья-дрема?  
 Черт ли с Бабою Ягой?  
 Ветер просит за трубою:  
 «Пи! Мне холодно! Пусти!...»  
 Это что еще такое?  
 В лес, на мельницу лети...  
 Катя ждет, поджав коленки.  
 Тишина... И вот опять  
 Друг-сверчок запел со стенки:  
 «Тири-тири... надо спать!»

1920

## КОНЦЕРТ

Мы — лягушки-кваксы.  
 Ночь чернее ваксы...  
 Шелестит трава.  
 Ква!  
 Разевайте пасти, —  
 Больше, больше страсти!  
 Громче! Раз и два!  
 Ква!  
 Красным помидором  
 Месяц встал над бором.

Гукает сова...  
Ква!

Под ногами — кочки.  
У пруда — цветочки.  
В небе — синева.  
Ква!

Месяц лезет выше  
Тише-тише-тише,  
Чуть-чуть-чуть-едва:  
Ква!..

1920

### ЗЕЛЕННЫЕ СТИХИ

**З**еленеют все опушки.  
Зеленеет пруд.  
А зеленые лягушки  
Песенку поют.

Елка — сноп зеленых свечек,  
Мох — зеленый пол.  
И зелененький кузнечик  
Песенку завел...

Над зеленой крышей дома  
Спит зеленый дуб.  
Два зелененькие гнома  
Сели между труб.

И, сорвав зеленый листик,  
Шепчет младший гном:  
«Видишь? Рыжий гимназистик  
Ходит под окном.

Отчего он не зеленый?  
Май теперь ведь... Май!»  
Старший гном зевает сонно:  
«Цыц! Не приставай».

1920

\* \* \*

**А**х, сколько на свете детей!  
Как звезд на небесном челе...  
По всей необъятной земле  
Кружатся, как стаи чижей...

Япончата,  
Китайчата,  
Англичане и французы,  
Узкоглазые тунгузы,  
Итальянцы,  
И испанцы,  
Арапчата,  
Негритята,  
Португальцы, —  
Перебрали все мы пальцы,  
На ногах еще ведь есть,  
Да не стоит — всех не счесть!

Все любят сласти, игры и сказки,  
Все лепят и строят, — подумай, дружок!  
У каждого ясные, детские глазки  
И каждый смеется и свищет в свисток...

Ах, когда б собрать всех вместе —  
Верст на двести  
Растянулся б хоровод.

Завертеться б, закружиться,  
Сразу всем остановиться,  
Отдышаться всем на миг —  
И поднять веселый крик!

Птицы б с веток все слетели,  
Солнце б вздрогнуло вверху,  
Муравьи б удрали в щели,  
Ветер спрятался б во мху!..

# Дневник фокса Микки

## О ЗИНЕ, О ЕДЕ, О КОРОВЕ И Т.П.

**М**оя хозяйка Зина больше похожа

на фокса, чем на девочку: визжит, прыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет) и грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю — нет ли у нее хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попонках; а в ванную комнату меня не пускает, — уж я бы подсмотрел.

Вчера она расхвасталась: видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика — диктовка — сочинения... А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь.

Гав! Я умею думать — и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или говорящий попугай? Ага!

Читать я немножко умею: детские книжки с самыми крупными буквами.

Писать... Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда люди смеются)! — писать я тоже научился.

Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ерзала, — и пишу.

Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки.

\* \* \*

Ставлю три звездочки. Я видал в детских книжках, — когда человек делает прыжок к новой мысли — он ставит три звездочки...

Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться! У нас полон дом людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются, — а потом садятся есть. Едят утром, едят в полдень, едят вечером. А Зина ест даже ночью: прячет под подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает

Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они едят. И говорят еще, что я обжора...

Сунут косточку от телячьей котлетки (котлетку сами съедят!), нальют полблюдца молока — и все.

Разве я пристаю, разве я прошу еще, как Зина и другие дети? Разве я ем сладкое — клейстер, который называется киселем, или жидкую гадость из чернослива и изюма, или холодный ужас, который они называют мороженым? Я деликатнее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку, съем, осторожно взяв из рук Зины, бисквит, и все.

Но они... Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода? Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие гадости, которыми они портят жаркое?

Зачем вообще варить и жарить?

Я недавно попробовал кусочек сырого мяса (упал на кухне на пол, — я имел полное право его съесть!)... Уверю вас, оно было гораздо вкусней всех этих шипящих на сковороде котлет...

И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили! Не было бы кухарок, — они совсем не умеют обращаться с порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды, — мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом, среди чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как весело!..

Или еще лучше: ели бы на траве перед домом. Каждому по сырой котлетке. А после обеда все бы барахтались и визжали, как Зина со мной... Гав-гав!

Меня называют обжорой (выпил глоток молока из кошкиного блюдца, подумаешь)...

А сами... После супа, после жаркого, после компота, после сыра — они еще пьют разноцветные штуки: красную — вино, желтую — пиво, черную — кофе... Зачем? Я зеваю под столом до слез, привык около людей околачиваться, а они все сидят, сидят, сидят... Гав! И все говорят, говорят, говорят, точно у каждого граммофон в животе завели.

\* \* \*

Три звездочки.

Новая мысль. Наша корова — дура. Почему она дает столько молока? У нее один сын — теленок, а она кормит весь дом. И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не дает столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится?

Разве говорящему попугаю придет в голову такая мысль?

И еще. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда они не веселятся, ходят, как сонные мухи, летать совсем разучились, не поют, как другие птицы... Это все из-за этих несчастных яиц.

Я яиц не терплю. Зина — тоже. Если бы я мог объяснить с курами, я бы им отсоветовал нести столько яиц.

Хорошо все-таки быть фоксом: не ем супа, не играю на этой проклятой музыке, по которой Зина бегаёт пальцами, не даю молока и «тому подобное», как говорит Зинин папа.

Трах! Карандаш надломился. Надо писать осторожнее — кабинет на замке, а там все карандаши.

В следующий раз сочиню собачьи стихи, — очень это меня интересует.

Фокс Микки,  
первая собака, умеющая писать

## СТИХИ, КОТЯТА И БЛОХИ

Взрослые всегда читают про себя. Скучные люди эти взрослые — вроде старых собак. А Зина — читает вслух, нараспев и все время вертится, хлопает себя по коленке и показывает мне язык. Конечно, так веселей. Я лежу на коврикe, слушаю и ловлю блох. Очень это во время чтения приятно.

И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина совсем по-особому читает: точно котлетки рубит. Сделает передышку, языком прищелкнет и опять затахтит. А на конце каждой строчки — ухо у меня тонкое, — похожие друг на друга кусочки звучат: «дети — отца, сети — мертвеца»... Вот это и есть стихи.

Вчера весь день пролежал под диваном, даже похудел. Все хотел одну такую штучку сочинить. Придумал — и ужасно горжусь.

По веранде ветер дикий  
Гонит листья все быстреей.  
Я веселый фоксик Микки,  
Самый умный из зверей!

Замечательно! Сочинил и так волновался, что даже не мог обедать. Подумайте! Это первые в мире собачьи стихи, а ведь я не учился ни в гимназии, ни в «цехе поэтов»... Разве наша кухарка сочинит такие стихи? А ведь ей сорок три года, а мне только два. Гав! Эта кубышка Зина и не подозревает, кто у нее живет в доме... Запеленала меня в салфетку, уткнула в колени и делает мне замшевой притиралкой маникюр. Молчу и вздыхаю. Разве девочка что-нибудь путное придумает?

И вот, лежа, пробовал прочесть про себя свои стихи наоборот. Тяв! Может быть, так еще звончей будет?..

Дикий ветер веранде по  
Быстреей все листья гонит...  
Микки фоксик веселый я,  
Зверей из умный самый...

Ай-яй-яй! Что же это такое?

Котята! Скажите, пожалуйста!.. Их мать, хитрая тварь, исчезает в парке на весь день: шмыг — и нету,

как комар в елке. А я должен играть с ее детьми... Один лижет меня в нос. Я тоже его лизнул, хотя зубы у меня почему-то вдруг щелкнули... Другой сосет мое ухо. Мама я ему, что ли? Третий лезет ко мне на спину и так царапается, словно меня теркой скребут. Р-р-р-р! Тише, Микки, тише... Зина хохочет и захлебывается, ты, говорит, их двоюродный папа.

Я не сержусь: надо же им кого-нибудь лизать, сосать и царапать... Но зачем же эта девчонка смеется?

Ах, как странно, как странно! Сегодня бессовестная кошка вернулась наконец к своим детям. И, знаете, — когда они бросили меня и полезли все под свою маму — я посмотрел из-под скатерти, задрожал всей шкурой от зависти и нервно всхлипнул. Непременно напишу об этом стишок.

Ушел в аллею. Не хочу больше играть с котятками! Они не оценили моего сердца. Не хочу больше играть с Зиной! Она вымазала мне нос губной помадой...

Сделаюсь диким фоксом, буду жить на каштане и ловить голубей. У-у-у!

\* \* \*

Видел на граммофонной пластинке нацарапанную картинку: фокс сидит перед трубой, склонил голову набок, свесил ухо и слушает. Че-пу-ха! Ни один порядочный фокс не будет слушать эту хрипящую, сумасшедшую машину. Если бы я был Зинин папа, уж я бы лучше держал в гостиной корову. Она ведь тоже мычит и ревет, да и доить ее удобней дома, чем бегать к ней в сарай. Странные люди...

С Зиной помирился: она катала по паркету игрушечный кегельный шар, а я его со всех ног ловил. Ах, как я люблю все круглое, все, что катится, все, что можно ловить!..

Но девочка... всегда останется девочкой. Села на пол и зевает. «Как тебе, Микки, не надоест сто раз делать одно и то же?»

Да? У нее есть кукла, и книжки, и подружки, папа ее курит, играет в какие-то дурацкие карты и читает газеты, мама ее все время одевается и раздевается... А у меня только мой шар, — и меня еще попрекают!

Ненавижу блох. Не-на-ви-жу. Могли бы, кажется, кусать кухарку (Зину мне жалко), так нет: целый день грызут меня, точно я сахарный... Даже с котят все на меня перескочили. Ладно! Пойду в переднюю, лягу на шершавый коврик спиной книзу и так их разотру, что они в обморок попадают. Гав-гав-гав!

Затопили камин. Смотрю на огонь. А что такое огонь — никому не известно.

*Фокс Микки, Собака-поэт,  
Умнее которой в мире нет...*

## РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ, МОЙ СОН И МОИ СОБАЧЬИ МЫСЛИ

**В**опросом называется такая строчка, в конце которой стоит рыболовный крючок: вопросительный знак.

Меня мучают пять вопросов:

Почему Зинин папа сказал, что у него «глаза на лоб полезли»? Никуда они не полезли, я сам видел. Зачем же он говорит глупости? Я прокрался к шкафу, сел перед зеркалом и изо всех сил закатил кверху глаза. Чушь! Лоб вверх, и глаза на своем месте.

Живут ли на Луне фоксы, что они едят и воют ли на Землю, как я иногда на Луну? И куда они деваются, когда лунная тарелка вдруг исчезает на много дней неизвестно куда?.. Микки, Микки, ты когда-нибудь сойдешь с ума!

Зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется вершей? Раз не умеешь жить над водой, так и сиди себе тихо в пруде. Очень мне их жалко! Утром плавали и пускали пузыри, а вечером перевариваются в темном и тесном человеческом желудке. Да еще гнусная кошка все кишочки по саду растаскала...

Почему Зинина бонна все была брюнеткой, а сегодня у нее волосы, как соломенный сноп? Зина хихикнула, а я испугался и подумал: хорошо, Микки, что ты собака... Женили бы тебя на такой попугайке, — во вторник она черная, в среду — оранжевая, а в четверг —

голубая с зелеными полосками... Фу! Даже температура поднялась.

Почему, когда я себя веду дурно, на меня надевают намордник, а садовник два раза в неделю напивается, буянит, как бешеный бык, — и хоть бы что?! Зинин дядя говорит, что садовник был контужен и поэтому надо к нему относиться снисходительно. Непременно узнаю, что такое «контужен», и тоже контужусь. Пусть ко мне относятся снисходительно.

Пойду догрызу косточку (я спрятал ее... где?.. а вот не скажу!). Потом опять напишу.

\* \* \*

Ах, что я видел во сне! Будто я директор собачьей гимназии. Собаки сидят по классам и учат «историю знаменитых собак», «правила хорошего собачьего поведения», «как надо есть мозговую кость» и прочие подходящие для них штуки.

Я вошел в младший класс и сказал: «Здравствуйте, цуцки!» — «Тяв, тяв, тяв, господин директор!» — «Довольны вы ими, мистер Мопс?» Мистер Мопс, учитель мелодекламации, сделал реверанс и буркнул: «Пожаловаться не могу. Стараются». — «Ну, ладно. Приказываю моим именем распустить их на полчаса».

Боже мой, что тут поднялось! Малыши бросились на меня всей ватагой. Повалили на пол... Один вылил на меня чернильницу, другой уколол меня пером в кончик хвоста, — ай! Третий стал тянуть мое ухо вбок, точно я резиновый... Я завизжал, как паровоз, — и проснулся. Луна. На полу сидит таракан и подъедает брошенный Зиной бисквит. За окном хлопает ставня. Уй-юй-юй!..

Зинина комната на запоре. Я прокрался в закоулок за кухней и свернулся на коврике у кухаркиной кровати. Конечно, я ее не люблю, конечно, она храпит так, что банки дребезжат на полке, конечно, она высунула из-под одеяла свою толстую ногу и шевелит во сне пальцами... Но что же делать?

Окно побелело, а я все лежал и думал: что означает мой сон? У кухарки есть затрепанная книга — «сонник». Она часто перелистывает ее пухлыми пальцами и все

вычитывает по складам про какого-то жениха. Подумаешь, кто на такой сковородке женится?..

Но что мне «сонник»? Собачьих снов в нем все равно нету... А может быть, сон был мне в руку? То есть в лапу.

\* \* \*

Мысли:

Вода замерзает зимой, а я каждое утро. Самое гнусное человеческое изобретение — ошейники, обтянутые собачьей кожей. Зачем наш сосед пашет землю и сеет хлеб, когда рядом с его усадьбой есть булочная? Когда щенок устроит совсем-совсем маленькую лужицу на полу — его тычут в нее носом; когда же то же самое сделает Зинин младший братишка, пеленку вешают на веревочку, а его целуют в пятку... Тыкать, так всех! Дрался с ежом, но он нечестный: спрятал голову и со всех сторон у него колючий зад. Р-р-р! Это что ж за драка?.. Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную веревочку. Неужели у меня будет аппендицит?!

Зина пахнет миндальным молоком, мама ее — теплой булкой, папа — старым портфелем, а кухарка... многоочие...

Больше мыслей нету. Взы! Почему никто не догадается дать мне кусочек сахару?

Фокс Микки,  
которому по-настоящему  
следовало бы быть профессором

## ОСЕННИЙ КАВАРДАК

Осень. Хлопает дождик. Как ему не надоест целый день хлопать? Желтые листья все падают, и скоро деревья будут совсем лысые. А потом пойдут туманы, — большая собака заберется в будку и будет храпеть с утра до вечера. Я иногда хожу к ней в гости. Но она глупая и необразованная: когда я с ней играю и осторожно цапаю ее за хвост, она бьет меня лапой по голове и хватает зубами поперек живота. Деревенщина!

Туманы — туманы — туманы. Грязь — грязь — грязь. И вдруг потянет теплом. Налетят со всех сторон сумасшедшие птицы. Небо станет, как вымытая Зинина голубая юбка, и на черных палках покажутся зеленые комочки. Потом они лопнут, развернутся, зацветут... Ох, хорошо! Это называется — весна.

Деревья, вот даже старые, молодеют каждую весну. А люди и взрослые собаки — никогда. Отчего? Вот Зинин дядя совсем лысый, вся шерсть с головы облезла, точь-в-точь — бильярдный шар. А вдруг бы у него весной на черепе зеленая травка выросла? И цветочки?

Или чтоб у каждой собаки в апреле на кончике хвоста бутон распускался?..

Все бы я на свете переделал. Но что же может маленький фокс?

А в доме — кавардак. Снимают ковры, пересыпают каким-то на-фта-ли-ном. Ух, как от него чихаешь! Я уж в комнаты и не хожу. Лежу на веранде и лапой тру нос. Ведь я же всегда хожу босиком, к лапам и пристаёт. Прямо несчастье!

\* \* \*

Зина собирает свои книжки и мяучит. Братец ее лежит в своей колясочке перед клумбой и визжит, как щенок. И только я, фокс Микки, кашляю, как человек, скромно и вежливо: у меня бронхит.

Пусть, пусть собирается. Ни за что я в Париж не поеду. Спрячусь у коровы в соломе — не разыщут.

Ну, что там в Париже, подумайте? Был один раз, возили к собачьему доктору. Улиц — миллион, а миллион — это больше, чем десять. Куда ни посмотришь — ноги, ноги и ноги. Автомобили, как пьяные носороги, летят, хрипят — и все на меня!.. Я уж Зининой юбки из зубов не выпускал. Цепочка — тянет, намордник жмет. Как они могут жить в таком карусельном городе!..

Ни за что! Чтоб я сидел у окна и смотрел на вывеску с дамской ногой? Чтоб меня консьержка называла «поросеночком»? Чтоб меня гоняли с кресел и с дивана?! Чтоб меня попрекали, что я развожу в доме блох?! Я ж их не фабрикую — они сами разводятся!..

И какие там гнусные собаки! Бульдоги с растопыренными лапами, вывороченной мордой и закусенными языками; полосатые доги, похожие на мясников; мопсы вроде жаб, зашитых в собачью шкуру; болоночки — волосатые насекомые с висячими ушами и мокрыми глазами... Фу! Гав-гав! Фу! Отчего это собаки такие разные, а кошки все на один фасон? И, знаете — это, впрочем, Зина сказала, — они все похожи друг на друга: хозяева на своих собак, и собаки на своих хозяев. А Микки и Зина? Что ж, и мы похожи: только бантики у нас разные — у нее зеленый, а у меня желтый.

Ах, как из дверей дует! Пальто на диване, а укрыться не умею. Нет, что ни говори — руки иногда вещь полезная.

\* \* \*

Грузовик забрал вещи. В столовой — бумаги и сор. Зачем это люди переезжают с места на место? Дела, уроки, квартира... «Собачья жизнь!» — говорит Зинин папа. Нет уж, собачья лучше, это позвольте мне знать.

Меня оставляют. Подружусь с дворовой собакой, ничего не поделаешь. Зина говорит, чтоб я не плакал, обещает раз в неделю приезжать, если я буду себя хорошо вести. Буду! Очень я ее люблю: я ее сегодня лизнул в глаз, а она меня в нос. Чудесная девочка!

Садовнику приказали меня кормить. Пусть попробует не кормить — я у него все бутылки перебью! Да и мясник меня любит: каждый раз, когда приезжает, что-нибудь даст. Котята выросли, быстро это у них делается... Совсем меня забыли и носятся по парку, как оглашенные (что это такое «оглашенные»? ). Придется и с ними подружиться...

Но самое обидное: кончается мой последний карандашный огрызок. А с письменного стола все убрали. Ах, зачем я не догадался взять про запас! Прощай, мой дневник... Я уж Зину так умолял, так умолял, — за платье дергал, перед письменным столом служил, но она не понимает и все мне шоколадки в рот сует. Вот горе! Без рук тяжело, а без языка — из лап вон плохо!..

Моя золотая-серебряная-бриллиантовая тетрадка. Суну тебя под шкаф, лежи там до будущей весны...

Ай-яй! Гав! Зина заметила, что я пишу... Идет ко мне. Отнима...

## Я ОДИН

**В** доме никого нет. Во все щели дует собачий ветер (почему собачий?). Вообще, ветер дурак: дует в голом парке, а там и сорвать нечего. На дворе еще кое-как с ним справляюсь: стану спиной к ветру, голову вниз, ноги расставлю — и «наплевать», как говорит садовник.

А в комнате никуда от этого бандита не спрячешься. Врывается из-под двери, сквозь оконные щелочки, сквозь каминную дыру, и так пищит, и так скулит, и так подвывает, точно его мама была собакой. Ни морды, ни глотки, ни живота, ни зада у него нет. Чем он дует — понять не могу...

Забираюсь под диванную подушку, закрываю глаза и стараюсь не слушать.

Отдал бы полную чашку с овсянкой (ужасная гадость!), если бы мне кто-нибудь объяснил, зачем осень, зачем зима? В аллее такая непроходимая грязь, какую я видал только под носорогом в зоологическом саду. Мокро. Голые ветки хлопают друг о друга и чихают. Ворона, облезшее чучело, дразнится: «Кра, — почему тебя не взяли в город?»

Потому что сам не захотел! А теперь жалко, но держусь молодцом. Вчера только поплакал у камина, очень уж гадко в темноте и сырости. Свечку нашел, а зажечь не умею. У-у-у!

К садовнику не хожу. Он сердится, почему у меня лапы всегда в грязи? В сабо мне ходить, что ли?

Ах, ах... Одна только радость — разыскал в шкафу позабытую сигарную коробку с карандашами, стянул в буфетной приходно-расходную книжку — и вот опять веду свой дневник.

Если бы я был человеком, непременно издавал бы журнал для собак!

\* \* \*

Скребутся мыши. Хотя фоксам это не полагается, но я очень люблю мышей. Чем они виноваты, что они такие маленькие и всегда хотят есть?

Вчера один мышонок вылез и стал катать по полу прошлогодний орех. Я ведь тоже люблю катать все круглое. Очень хотел поиграть с ним, но удержался: лежи, дурак, смирно! Ты ведь большой, как слон: напугаешь малыша, и он больше не придет. Разве я не умница?

Сегодня другой до того осмелел, что взобрался на диван и понюхал мою лапу. Я прикусил язык и вздрогнул. Тяф! Как я его люблю!

Вот только как их отличать одного от другого?..

Если кошка посмеет их тронуть, я ее загоню на самую высокую елку и целый день сторожить буду... Гав! Дрянь! Ненавижу!..

Почему елки всю зиму зеленые? Думаю, потому, что у них иголки. Ветру листья оборвать не штука, а иголки — попробуй! Они тоненькие — ветер сквозь них и проходит, как сквозь решето...

\* \* \*

До чего я исхудал, если бы вы знали. Зинина тетя была бы очень довольна, если бы была теперь похожа на меня. Она ведь все похудеть хочет. А сама целый день все лопает и затягивается.

Проклятый садовник и консьерж сговорились: съедают всю провизию сами, а мне готовят только эту ужасную овсянку. Дворовому псу дают большие кости и суп с черствым хлебом. Он со мной делится, но где ж мне разгрызть такую кость, когда она тверже утюга? А суп... Таким супом в бистро тарелки моют!

Даже молока жалеют, жадины! Молоко ведь дает корова, а не они. Уж я бы ее сам подоил: мы с ней дружны, и она мне всегда в глаза дышит, когда я прибегаю в сарай. Но как я ее буду доить моими несчастными лапами?..

Придумал штуку. Стыдно очень, но что ж делать, — есть надо. Когда дождь утихнет, бегаю иногда в соседнее местечко к знакомому бистровщику. У него по вечерам под граммофон танцы. Пляшут фокстрот. Должно быть, собачий танец.

Я на задние лапки встану, живот подтяну, верчусь и головой киваю.

Все пары и танцевать бросят... В кружок соберутся и хохочут так, что граммофона не слышно.

И уж такую порцию мяса мне закажут, что я еле домой добираюсь. Да еще телячью косточку в зубах принесу на завтрак...

Вот до чего ради голода унижаться приходится!

Жаль только, что нет другой маленькой собачки. Мы бы с ней танцевали вдвоем и всегда были сыты.

\* \* \*

Надо записать все свои огорчения, а то потом забуду.

Петух ни с того ни с сего кинул меня в нос. Я только подошел поздороваться... Зачем же драться, нахал горластый?! Плакал, плакал, сунул нос в корытце с дождевой водой и до вечера не мог успокоиться...

Зина меня забыла!

В мою чашку с овсянкой забрался черный таракан, задохся и утонул. Какая мерзость! Птицы, кроме петухов, туда-сюда; кошки — гадость, но все-таки звери. Но кому нужны черные тараканы?!

На шоссе чуть не попал под автомобиль. Почему он не гудел на повороте?! Почему обрызгал меня грязью?! Кто меня отмоет? Ненавижу автомобили! И не по-ни-ма-ю...

Зина меня забыла!

Спугнул в огороде дикого кролика и налетел на колючую проволоку. Уй-ю-юй, как больно! Зина говорила, что, если порежешься ржавым железом, надо сейчас же смазаться йодом. Где я возьму йод? И йод ведь щиплет — я знаю...

Мыши проели в моем дневнике дырку. Никогда больше не буду любить мышей!

Зина меня забыла...

Сегодня нашел в бильярдной кусочек старого шоколада и съел. Это, правда, не огорчение, а радость. Но радостей так мало, что не могу же я для них отдельную страницу отводить.

*Одинокий, несчастный,  
холодный и голодный фокс Микки*

## ПЕРЕЕЗД В ПАРИЖ

**В**ы любите чердаки? Я — очень. Люди складывают на чердаках самые интересные вещи, а по комнатам расставляют скучные столы и дурацкие комоды.

«Когда сердце мое разрывается от тоски», как говорит Зинина тетя, — я прибегаю из голого парка, вытираю о диван лапы и бегу на чердак.

Над стеклом в потолке пролетают воробьи: они вроде мышей, только с крылышками. «Чик-чивик!» — «Доброе утро, силь ву плэ!»

Потом здороваюсь со старой Зининой куклой. У нее чахотка, и она лежит в пыльной дырявой ванне, задрав кверху пятки. Я ее перевернул, чтобы все было прилично... Поговорил с ней о Зине.

Да, конечно, сердце девочки — одуванчик. Забыла куклу, забыла Микки. А потом у нее появится дочка, и все начнется сначала... новая дочка, новая кукла, новая собачка. Апчи! Как здесь пыльно!

Обнюхал разбитую люстру, лизнул резиновую собачку — у нее, бедной, в животе дыра... разорвал в клочки собачью плетку...

«И скучно, и грустно, и некому лапу пожать!»...

Если бы я был сильнее, я бы отодвинул старую ванну и устроил себе на чердаке комнату. Под раненый диван подставил бы попугайскую клетку: это моя спальня. На китайском бильярде устроил бы себе письменный стол. Он покатый — очень удобно писать!

Уборную устрою на крыше. Это и «гигиенично» и приятно. Буду лазить, как матрос, по лестничке в слуховое окошко.

А намордник свой заброшу в дымовую трубу!! Апчи!.. Чихнул — значит, так и будет.

Ай! На шоссе экипаж... Чей? Чей? Чей? И-и-и! Зина приеха...

\* \* \*

Третью неделю живу в Париже — 16, рю д'Ассомпсион, телефон Отей 12-37. Третий этаж направо. Кордон, силь ву плэ!

Вы бы меня и не узнали: лежу у камина на подушечке, как фарфоровая кошка. Пахнет от меня сиреневым мылом, сбоку зеленый галстук. На ошейнике серебряная визитная карточка с адресом... Если бы я умел говорить, украл бы франк и купил себе манжетки.

Зина в школе... На соседнем балконе сидит преотвратительная собачонка. В ушах пакля, в глазах пакля, на губах пакля. Вообще, какая-то слезливая муфта, мусорная тряпка, собачья слепая кишка, пискливая дрянь! И знаете, как ее зовут? Джио-ко-нда... Морда ты, морда тухлая!

Когда никого нет на балконе, я ее дразню. Ух, как приятно! Становлюсь к ней задом и начинаю дергать задней ногой: пять минут дергаю.

Ах, какую она истерику закатывает! Как кот под автомобилем...

— Яй-яй-яй-и! Уй-уй-у-й-о! Ай-ай-ай-э!..

Катышком прибегает ее хозяйка, такая же коротенькая, лохматенькая, пузатенькая, живот на ходу застегивает и, Боже мой, чего она не наговорит:

— Деточка моя, пупупусичка! Кто тебя оби-би-би-дел? Бедные мои глазочки! Чудные мои лапочки! Золотой, дорогой хвостичек!..

А я в комнату со своего балкона спрячусь, точно меня и на свете нет, по ковру катаюсь и лапами себя по носу бью. Это я так смеюсь.

Внизу, вверху, справа и слева играют на пианино. Я бы им всем на лапы намордники надел! Зина в школе. И зачем девочке так много учиться? Все равно вырастет, острижет волосы и будет на кушетке по целым дням валяться. Уж я эту породу знаю.

Вчера из усадьбы приезжал садовник. Привез яблоки и яйца. Лучшие отобрал для кухарки (знаем, знаем!), а худшие — для Зининых родителей. Поймите людей: носят очки, носят пенсне, а ничего у себя под носом не видят...

Прокрался в переднюю, встал на стул и положил ему в карман пальто рыбьих кишочек... Пусть знает!

\* \* \*

Был с Зиной в синема. Очень взволнован. Как это, как это может быть, чтобы люди, автомобили, дети и полицейские бегали по полотну?! И почему все серые, черные и белые? Куда же девались краски? И почему все шевелят губами, а слов не слышно?.. Я видел на чердаке в коробочке засушенных бабочек, но, во-первых, они не двигались, а, во-вторых, они были разноцветные...

Вот, Микки, ты и дурак, а еще думал, что ты все понимаешь!

Представление было очень глупое: он влюбился в нее и поехал на автомобиле в банк. Она тоже влюбилась в него, но вышла замуж за его друга. И поехала на автомобиле к морю с третьим. Потом был пожар и землетрясение в ванной комнате. И качка на пароходе. И негр пробрался к ним в каюту. А потом все помирились...

Нет, собачья любовь умнее и выше!

Неприменно надо изобрести синема для собак. Это же бессовестно — все для людей: и газеты, и скачки, и карты. И ничего для собак.

Пусть водят нас хоть раз в неделю, а мы, сложив лапки, будем культурно наслаждаться.

«Чужая кость»... «Похороны одинокого мопса»... «Пудель Боб надул мясника» (для щенков обоего пола)... «Сны старого дога»... «Сенбернар спасает замерзшую девочку» (для пожилых болонок)... «Полицейская собака Фукс посрамляет Пинкертон» (для детей и для собак).

Ах, сколько тем, Микки!.. Ты бы писал собачьи сценарии и ни в ком не нуждался.

.....

Новый стишок:

На каштанах надулись почки, —  
Значит, скоро весна.  
У Зининой мамы болят почки,  
Поэтому она грустна...

Главный собачий фильм-директор  
Фокс Микки

## НА ПЛЯЖЕ

Ах, как переменялась моя жизнь! Зина влетела в комнату, хлопс — сделала колесом реверанс, ручки — птичками, глазки вниз и лягнула:

— Микки! Мой обожаемый принц... мы едем к морю. — Я сейчас же полетел вниз, к консержкиной болонке. Она родилась у моря и очень симпатично ко мне относится.

— Кики, муфточка... меня везут к морю. Что это такое?

— О! Это много-много воды. В десять раз больше, чем в люксембургском фонтане. И везде сквозняк. Моей хозяйке было хорошо, она могла затыкать уши ватой... Море то рычит, то шипит, то молчит. Никакого порядка! За столом очень много рыбы. Дети копаются в песке и наступают собакам на лапы. Но ты фокс: тебе будут бросать в воду палки, и ты их будешь вытаскивать...

— Чудесно!

— А когда ты устанешь, всегда возле моря на горке есть лес. Будешь разрывать кротовые норки и кататься по вереску.

— Это что за штука?

— Травка такая курчавенькая. Вроде бороды. Лиленькие цветочки, и пахнет скипидарчиком.

— Ну, спасибо! Дай лапку. Что тебе привезти с моря?

— Утащи у какой-нибудь девчонки тепленький шарфик. Мой уже износился.

— Кики, я честный! Я не могу. Но сегодня у нас гости, я стащу для тебя шоколадного зайца.

— Мерси. Прощай, Миккочка...

Она ушла в угол и вытерла глаза о портьеру. Кажется, она в меня влюблена.

\* \* \*

«В десять раз больше люксембургского фонтана...» У этих болонок нет никакого глазомера. В двадцать раз больше! До самого неба вода и больше ничего. И соленая, как селедка... Почему соленая? Дождик ведь пресный, и ручеек в лесу, который все время подливает в море воду, тоже пресный. А?

Люди ходят голые, в полосатых и черных попонках. В дырки снизу вставляют ноги. Пуговицы на плече. Вообще — глупо. Я, слава Богу, купаюсь без костюма. Ах, что мы с Зиной выделяем в воде! Я лаю на прибор, а она бросает в меня мячик... Но он большой и скользкий, а рот у меня маленький. И никак его, черта, не прокусишь! Гав!

Подружился со всеми детьми. Есть такие маленькие, что даже не могут сказать «Микки» и зовут меня: «Ми!» Сидят голенькие на песке и пускают пузыри. А один все старается себе ногу в рот засунуть. Зачем?..

Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики, прыгаю через их песочные постройки, гоняюсь вперегонки с пуделем Джеком, и весь берег меня знает. Какой чудный фокс! Чей это фокс? Зинин? Замечательный фокс!..

Вчера подсмотрел. У детей никаких хвостиков нет. Напрасно я сомневался...

\* \* \*

Теперь про взрослых. Мужчины ходят в белых костюмчиках. Полдня курят. Полдня читают газеты. Полдня купаются. Полдня снимаются. Плавают хорошо, но очень далеко заплывают. Я слежу с купальной лестницы и все волнуюсь: а вдруг утонет... Что я тогда должен делать?

Очень хорошо прыгают в воду с мостика. Руки по швам, голову вперед — и бум! Перевернется в воздухе рыбкой, руки вниз и прямо в воду... Пена... Никого нет... И выплывет совсем в другом месте.

Я тоже взобрался на мостик и страшно-страшно хотел прыгнуть. Но так высоко! И так глубоко! Задрожал и тихонько спустился вниз. Вот тебе и Микки..

Дамы все переодеваются и переодеваются. Потом раздеваются, потом опять переодеваются. Купаться не очень любят. Попробует большим пальцем правой ноги воду, присядет, побрызгает на себя водой и лежит на берегу, как индюшка в гастрономической витрине.

Конечно, есть и такие, которые плавают. Но они больше похожи на мальчиков. Вообще, я ничего не понимаю.

Сниматься они тоже любят. Я сам видал. Одни лежали на песке. Над ними стояли на коленках другие. А еще над ними третьи стояли в лодке. Называется: группа... Внизу фотограф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта. И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила, передвинула ее тихонько к другой даме, чтобы ее заслонить, а себя открыть... А та передвинула назад. А первая — опять к ней. Ух, какие у них были злющие глаза!

Стишок:

Когда дамы снимаются  
И заслоняются,  
Они готовы одна другой  
Дать в глаз ногой!..

Да! Что я узнал!.. Море иногда сходит с ума и уходит. Курорт ему надоедает или что, я не знаю. И на песке всякие ракушки и креветки и слизняки... Зина говорит, что это все морские глисты. А потом море соскучится и приходит назад. Называется «прилив — отлив».

Здесьнее море люди почему-то называют океаном.

Я было как-то погнался за морем, когда оно уходило, но Зина привязала меня чулком к скамейке. Нелюбопытная девочка!

Вчера познакомился в соседнем русском пансионе с кухаркой Дарьей Галактионовной. Руки у нее толстые, как итальянская колбаса, но, в общем, она миленькая. Называет меня «Микитой» и все ворчит, что я с пляжа в кухню ей песок на лапах таскаю.

Песок вымести можно! Экая важность...

\* \* \*

Еда так себе. Хотя я не интересуюсь: дети меня кормят шоколадом, котлетками и чем только хотите. Зина все просит, чтобы я так много не ел, а то у меня сделается ожирение сердца и меня придется везти в Мариенбад. А что, если бы был курорт для фоксов? Фоксенбад! Вот бы там открыть собачий кинематограф... Собачьи скачки, собачью рулетку, собачью санаторию для по-

дагрических бульдогов... Умираю от злости! Почему, почему, почему для нас ничего не делают?

Кошек здесь нет. Ни одной кошки. Ни полкошки. Ни четвертькошки... Неужели они все пошли на котлетки? Брр! Нет, нет, я бегал на кухню, смотрел: куры, телячье мясо, баранина... А то бы я из курорта куда глаза глядят убежал!

Зина вчера мне устроила лунное затмение. Луна была такая круглая, огромная, бледная... Совсем как живот у нашего хозяина пансиона. Я задумался, загрустил и чуть-чуть-чуть подвыл. Только две-три нотки... А Зина взяла и надела мне на голову купальные штаны.

— Ты, — говорит, — не имеешь права после десяти часов выть!..

Но, во-первых, у меня нет часов, и даже кармана для них нет... А, во-вторых... настроение от часов не зависит.

Хотел послать Кики открытку с приветом... Но консержка ревнивая — не передаст.

*Чудный и замечательный  
фокс Микки*

## В ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ

**У** Зининого папы всегда «дела». У людей так уж заведено: за все нужно платить. За виллу, за зонтик, за мясо, за булки, за ошейник... и даже, говорят, скоро на фоксов двойной налог будет.

А чтоб платить — нужны деньги. Деньги бывают круглые, металлические, с дырочками — это «су». Круглые без дырочек — это франки. И потом разные — бумажные. Бумажные почему-то дороже и начинаются с пяти франков. Деньги эти как-то «падают», «поднимаются», — совершенно глупая история, но я не человек, и меня это не касается.

Так вот, чтоб иметь деньги, надо делать «дела». Поняли? И Зинин папа поехал на неделю в Париж, взял с собою Зину, а Зина — меня.

И пока ее папа «бегал» по делам (он почему-то по делам всегда бегаёт, никогда не ходит), Зина взяла меня на цепочку, села в такси (почему оно так скверно пахнет?) и поехала в Зоологический сад.

Сад! Совсем не сад, а просто тюрьма для несчастных животных. Подождите минуточку: у меня на спине сидит блоха... поймаю и расскажу все по порядку.

\* \* \*

Когда я был совсем куцым щенком, Зина мне про этот сад рассказывала: «Какой там носорог! И какая под ним грязь! А ты, Микки, не хочешь умыться... стыдно!»

И все неправда. Носорога нет. Или подох со скуки, или убежал в город и скрывается в метро, пока его не раздавят...

Но зато видел верблюда. Он похож на нашу консьержку, только губа больше и со всех сторон шерсть. Мало ему горба на спине, так у него даже колени горбатые! Питается колючками и, кажется, уксусом. Я бы ему грамофонных иголок дал! Он, негодяй, когда Зина дала ему булочку, — фыркнул, булку слопал и плюнул ей на бант! Был бы ты на свободе, я бы тебе показал...

Белая медведица очень миленькая. Сидит в ре-дешоссе в каменной ванне и вздыхает. Свиньи какие! Хотя бы ее на лед посадили или на мороженое, ведь ей жарко!

Маленький мальчик бросил ей бисквит. Она вылезла, отряхнулась, вежливо приложила лапку ко лбу и съела. Будет она сыта, как же! И мальчик второй бисквит ей на мелкие кусочки крошил: боялся, видно, чтобы она не подавилась. Воробьи все и склевали. Ну за что — за что ее держат в тюрьме? У Зины есть старый плюшевый мишка. Непременно завтра притащу и брошу медведице: пусть будет ей вместо сына...

\* \* \*

Обезьян совсем, совсем не жалко! Они страшные морды, и я их вовсе не трогал. Подошел и только немножко отвернулся вбок: ужасно скверно они пахнут... Кислой резинкой, тухлой килькой и еще каким-то маринованным поросячьим навозом.

Одна посмотрела на меня и говорит другой: «Смотри, какой собачий урод...»

Я? Гав, идиотка! Я... урод?! А ты-то что же?..

Побегу в Зинин шкафчик, понюхаю валерьяновую пробку. Как у меня колотится сердце!..

Тигр — противный. Большая кошка и больше ничего. Воображаю, если его пустить в молочную. Целую ванну сливок выпьет, не меньше. А потом съест молочницу и пойдет в Булонский лес отдыхать.

Лев — славенький... Один совсем старичок. Под кожей складки, лысый и даже хвостом не дрыгает. Зина читала как-то, что лев очень любит, если к нему в клетку посадить собачку. Пять разорвет, а с шестой подружится. Я думаю, что лучше быть... седьмой — и гулять на свободе.

Есть еще какие-то зубры. Мохнатый, рогатый, голова копной. Зачем такие водятся? Ни играть с ним, ни носить его на руках нельзя... Вообще на свете много лишнего.

Дикобраз, например. Ну, куда он годится? Камин им чистить, что ли? Или кенгуру... На животе у нее портмоне, а в портмоне кенгуренок. А шкура у нее, кажется, застегивается на спине, как Зинин лифчик. Ерунда!

Слава Богу, что я фокс! Собак в клетки не сажают. Хотя бы некоторых следовало: бульдогов и разных других догов. Очень несимпатичные собаки! И почти дикие. У нас напротив живет бульдог Цезарь, так он непременно норовит перед нашей дверью сделать пакость. Надо будет ему отомстить. Как?.. Очень просто. У них ведь тоже есть дверь...

Людей в клетках не видал. А уж нашего садовника не мешало бы посадить! С кухаркой — вместе. Написать: «Собачьи враги». И давать им в день по кочану капусты и по две морковки — больше ни-ни. Почему они меня не кормили? Почему сами крали и яйца, и сливки, и коньяк, а меня за каждую несчастную косточку ногой шпыняли?

Видал змей. Одна, большая и длинная, как пожарная кишка, посмотрела на меня и прошипела: «Этого, пожалуй, не проглотишь!» Скотина... Так тебе и позволили живых фоксов глотать!

У слона два хвоста — спереди и сзади, и рога во рту... И пусть меня сто раз уверяют, что это «хобот» и «клыки», я говорю: *хвост и рога!* Зина решила, что если посмотреть на мышь в телескоп, то получится слон. А что такое телескоп, пес его знает!

Да... Птицы, оказывается, бывают ростом с буфет. Страусы!.. И на хвосте у них такие же перья, как в альбоме у Зининой бабушки на шляпе. Перьев этих теперь больше не носят, молока страусы не дают, значит, надо их просто зажарить, начинить каштанами и съесть! Ты бы, Микки, хотел страусовую лапку погрызть? Что ж, я любопытный...

Поздно. Надо идти спать. А в голове карусель: обезьяньи зады, верблюжьи горбы, слоновые перья и страусовые хоботы...

Пойду еще понюхаю валерьяновую пробочку. Сердце так и стучит... Как мотоциклет...

Тошнит! Ик... Где кухаркина умывательная чашка?!

Мокс Фикки

## КАК Я ЗАБЛУДИЛСЯ

**К**арандаш дрожит в моих зубах... Ах, что случилось! В кинематографе это называется «трагедия», а, по-моему, еще хуже.

Мы вернулись из Парижа на пляж, и я немножко одурел. Носился мимо всех кабинок, прыгал через отдыхающих дам, обнюхивал знакомых детей — душечки! — и радостно лаял. К черту Зоологический сад, да здравствует собачья свобода!

И вот... допрыгался. Повернул к парку, нырнул в какой-то зеленый переулок, попал в чужой огород — растерзал старую туфлю, оттуда в поле, оттуда на шоссе — и все погигло! Я заблудился... Сел на камень, задрожал и потерял «присутствие духа». До сих пор я не знал, что такое это «присутствие»...

Обнюхал шоссе: чужие подметки, пыль, резина и автомобильное масло... Где моя вилла? Домики вдруг стали все одинаковые, дети у калиток, словно мыши,

сделались похожи друг на друга. Вылетел к морю: другое море! И небо не то, и берег пустой и шершавый... Старички и дети обдирали со скалы устриц, никто на меня и не взглянул. Ну, конечно, идиотские устрицы интереснее бездомного фокса!

Песок летит в глаза. Тростник лопочет какой-то вздор. Ему, дураку, хорошо, — прирос к месту, не заблудится... Слезы горохом покатались по морде. И ужаснее всего: я голый! Ошейник остался дома, а на ошейнике мой адрес. Любая девчонка (уж я бы устроил!) прочла бы его и отвела меня домой. Ух! Если бы не отлив, я бы, пожалуй, утопился... Примечание: и был бы большой дурак, потому что я все-таки отыскался.

\* \* \*

Перед желтым забором у палисадничка прислонился к телеграфному столбу и опустил голову. Я видел на картинке в такой позе заблудившуюся собачку, и поза эта мне очень понравилась.

Что ж, я не ошибся. В калитке показалось розовое пятно. Вышла девочка (они всегда добрее мальчиков) и присела передо мной на дорожке.

— Что с тобой, собачка?

Я всхлипнул и поднял правую лапку. Понятно и без слов.

— Заблудилась? Хочешь ко мне? Может быть, тебя еще и найдут... Мама у меня добрая, а с папой справимся.

Что делать? Ночевать в лесу... Разве я дикий верблюд? В животе пусто. Я пошел за девочкой и благодарно лизнул ее в коленку. Если она когда-нибудь заблудится, непременно отведу ее домой...

— Мама! — запищала она. — Мамочка! Я привела Фифи, она заблудилась. Можно ее пока оставить у нас?

О! Почему «Фифи»?! Я Микки, Микки! Но я, у которого такие прекрасные мысли, не могу ведь и полслова сказать на их человеческом языке... Пусть. Кто сам себе яму копает, тот в нее и попадает...

Мама надела пенсне (будто и без пенсне не видно, что я заблудился!) и улынулась:

— Какая хорошенькая! Дай ей, дружок, молока с булкой. У нее очень порядочный вид... А там посмотрим.

«У нее»... «У него», а не у нее! Я же ведь мальчик. Но ужасно хотелось есть, надо было покориться.

Ел я не торопясь, будто одолжение им делал. Вы угощаете? Спасибо, я съем. Но, пожалуйста, не подумайте, что я какой-нибудь голодный бродячий пес.

Потом пришел папа. Почему эти папы всюду суют свой нос, не знаю...

— Что это за собака? Что у тебя, Лили, за манера тащить всех зверей к нам на виллу? Может быть, она чахоточная... Пойди, пойди прочь отсюда! Ну!

Я? Чахоточная?

Девочка расхныкалась. Я с достоинством сделал шаг к калитке. Но мама строго посмотрела на папу. Он был дрессированный: фукнул, пожал плечами и пошел на веранду читать свою газету. Съел?

А я встал перед мамой на задние лапки, сделал три па и перепрыгнул через скамеечку. Гоп! Вперед, тур вокрут комнаты и назад...

— Мамочка, какой он умница!

Еще бы. Если бы я был человеком, давно бы уже профессором был.

\* \* \*

Новый папа делает вид, что меня не замечает. Я его — тоже... Во сне видел Зину и залаял от радости: она кормила меня с ложечки гоголь-моголем и говорила: «Ты мое сокровище... если ты еще раз заблудишься, я никогда не выйду замуж».

Лили проснулась — в окне белел рассвет, — и свесила голову с кровати.

— Фифи! Ты чего?

Ничего. Страдаю. Кошке все равно: сегодня Зина, завтра Лили. А я честная, привязчивая собака...

Второй день без Зины. К новой девочке пришел в гости толстый мальчик — кузен. У собак, слава Богу, кузенов нет... Садился на меня верхом, чуть не раздавил. Потом запряг меня в автомобиль — а я уперся! Собаку? В автомобиль?! Тыкал моими лапами в пианино. Я все снес и из вежливости даже не укусил его...

Лилина мама меня оценила и, когда девочка опрокинула тарелку с супом, — показала на меня:

— Бери пример с Фифи! Видишь, как она осторожно ест...

Опять Фифи! Когда что-нибудь не нравится, говорят: «фи!» Фи-фи, значит, когда совсем не нравится? Придумают же такое цыплячье имя... Я нашел под шкапом кубики с буквами и сложил: «Микки». Потянул девочку за юбку — читай! Кажется, ясно. А она ничего не поняла и кричит:

— Мама! Фифи умеет показывать фокусы!

— Хорошо. Дай ему шоколаду.

Ах, когда же, когда же меня найдут? Побежал даже в мэрию. Быть может, Зина заявила туда, что я потерялся. Ничего подобного. На пороге лежала лохматая дворняжка и зарычала:

— Р-рав! Ты куда, бродяга, суешься?

Я?! Бродяга?! Мужик ты несчастный!..

Счастье твое, что я так воспитан, что с дворнягами в драку не лезу...

\* \* \*

«Гора с плеч свалилась»... Куда она свалилась, не знаю, но словом.. я нашелся!

Лили вышла со мной на пляж. И вдруг вдали лиловое с белым платьице, полосатый мяч и светлые кудряшки. Зина!!

Как мы целовались, как мы визжали, как мы плакали!

Лили тихонько подошла и спросила:

— Это ваша Фифи?

— Да! Только это не Фифи, а Микки...

— Ах, Микки! Извините, я не знала. Позвольте вам ее передать. Она заблудилась, и я ее приютила.

А у самой в глазах «трагедия».

Но Зина ее утешила. Поблагодарила «очень-очень-очень» и обещала приходить со мной в гости. Они подружатся, уж я это по глазам заметил.

Я, разумеется, послужил перед Лили и передние лапки накрест сложил: Mers!! Очень-очень-очень...

И пошел сконфуженный за Зиной, ни на шаг не отходя от ее милых смуглых ножек.

Микки

## В ЦИРКЕ

У нашего вокзала появились длинные дома на колесах. Не то фургоны, не то вагоны. Красные, с зелеными ставеньками, над крышей труба, из трубы дым. На откидной ступеньке одного дома сидел карлик с огромной головой и красными глазами и мрачно курил трубку. А в глубине двора тоже вагоны-дома, но с решетками, и пахло от них густо-прегусто зоологическим садом.

На афишах чудеса... Три льва прыгают через укротительницу, а потом играют с ней в жмурки. Морж жонглирует горячей лампой и бильярдными шарами. Морж — такой неповоротливый дурак... кто бы подумал! Знаменитый пудель Флакс решает задачи на сложение и вычитание... Важность какая... Я и делить и умножать умею... Однако в знаменитости не лезу. Мисс Каравелла исполнит на неоседланном жеребце джигу — матросский танец. Негр Буль-Пуль.. Стоп! Не надо забегать вперед, Микки, а то совсем спутаешься — что это за собачья привычка такая!

\* \* \*

Зинин папа взял нам ложу: мне и Зине. Ложа — это такая будка, вроде собачьей, но без крыши. Обита красным вонючим коленкором. Стулья складные и жесткие, потому что цирк походный.

Оркестр ужасный! Я вообще музыки не выношу, особенно граммофона. Но когда один скелет плюет в флейту, а другой, толстяк, стоймя поставил огромную скрипку и ерзает по ней какой-то линейкой, а третий лупит палками по барабану, локтями о медные линейки и ногами в большой пузатый бубен, а четвертая, лиловая курица, разъезжает взад и вперед по пианино и подпрыгивает... О! «Слуга покорный», — как говорит Зинин холостяк-дядя, когда ему предлагают жениться.

Клоуны — просто раскрашенные идиоты. Я думаю, что они напрасно притворяются, будто они нарочно идиоты, наверно, такие и есть. Разве станет умный человек подставлять морду под пощечину, кататься по

грязным опилкам и мешать служителям убирать ковер? Совсем не смешно. Одно мне понравилось: у того клоуна, у которого сзади было нарисовано на широких штанах солнце, чуб на голове вставал и опускался... Еще ухо, я понимаю, но чуб! Очень интересный номер!

Жеребец — толстяк, а что он неоседлан, совсем не важно. У него такая широкая спина, даже с выемкой, что пляши на ней, как на хозяйской постели, сколько хочешь. Прыгал он лениво. Словно вальсирующая корова... А мисс Каравелла все косилась трусливо на барьер и делала вид, что она первая наездница в мире. Костюм славненький: вверху ничего, а посередине зеленый и желтый бисер. И зачем она так долго ездилась? Жеребец под конец так вспотел, что я расчихался. Неинтересно.

Потом поставили круглую решетку, подкатили к дверям клетку, и вышли львы. Вышли... и зевают. Хорошие дикие звери! Зина немножко испугалась (девчонка!), но ведь я сидел рядом. Чего же бояться? Львы долго не хотели через укротительницу прыгать: уж она их упрасивала, и под шейкой щекотала, и на ухо что-то шептала, и бичом под брюхо толкала. Согласились — и перепрыгнули. А потом завязала им глаза белыми лентами, взяла в руки колокольчик и стала играть с ними в жмурки. Один лев сделал три шага и лег. Другой понюхал и пошел за ней... Обман! Я сам видел — у нее в руке был маленький кусочек мяса... Неинтересно!

Выходило еще голландское семейство эквилибристов. Папа катался на переднем колесе велосипеда (отдельно!), мама на другом колесе (тоже отдельно!), сын скакал верхом на большом мяче, а дочка каталась на широком обруче задом наперед... Вот это здорово!

Потом летали тарелки, ножи, лампы, зонтики, мальчики и девочки. Ух! Я даже залаял от радости. А под конец все семейство устроило пирамиду. Внизу папа и мама, на плечах две дочки, у них на плечах мальчик, у него на плечах собачка, у собачки на плечах... котенок, а у котенка на плечах... воробей! Трах! и все рассыпалось, закувыркалось по ковру и убежало за занавеску... Bravo! Бис! Гав-гав-гав!

\* \* \*

В антракте было еще веселей. Антракт — это когда одно кончилось, а другое еще не началось. И вот взрослые с детьми постарше пошли за занавеску смотреть лошадей и прочих млекопитающихся, а самые крошечные дети вылезли из всех лож и углов на арену и устроили свой собственный цирк.

Девочка с зеленым бантом изображала дрессированную лошадь и на четвереньках гарцевала по барьеру: голова набок, а сама все правой ножкой брыкала. Мальчишки, конечно, были львами и, пожалуй, свирепее настоящих — рычали, плевались, кусались и бросали друг в дружку опилками. Двое даже подрались — один другого шлепнул — шлепают же клоунов, — а тот ему сдачи... И оба заревели, совсем уж не по-клоунски... А я носился по всей арене и хватал их всех (шутя, конечно!) за коленки.

Вышел карлик в сиреновом сюртучке с медными пуговицами и зазвонил в колокольчик. Дзинь-дзинь! Долой с арены — представление продолжается! Один из «львов», совсем еще маленький мальчик, ни за что не хотел уходить. И пришла его мама из ложи, взяла льва на руки, шлепнула и унесла на место. Вот тебе и лев!

\* \* \*

Морж — молодец. Вернусь на нашу виллу и непременно попробую жонглировать горячей лампой. У меня, правда, не такой широкий нос... Ну, что ж, возьму маленькую лампочку...

Я побежал за занавеску: оказывается, у моржа в загородке есть цинковая ванна, а после представления ему дают живую рыбу, бутерброд с рыбьим жиром и рюмку водки. Здорово!

Да, что я еще заметил! Под края циркового шатра подлезают бесплатные мальчишки и смотрят на представление... А карлик бегает кругом и хлопает их прутом по пяткам.

Негр Буль-Пуль вроде сумасшедшего. Играл на метле «марш пьяных крокодилов», аккомпанировал себе на

собственном животе, а ногами выделявал такие штуки, точно у него было четыре пары лап... И пахло от него корицей и жженой пробкой. Фи!

Потом вышел факир. Факир — это человек, который сам себя режет, а ему даже приятно и кровь не идет. Он себя, должно быть, замораживает перед представлением. Проткнул себе губы вязальной спицей, под мышку вбил гвоздь... Я даже отвернулся. Нервы не выдержали... А самое ужасное: он взял у толстого солдата из публики никелевые часы, проглотил их, только кончик цепочки изо рта болтался, — и попросил публику послушать, как у него в груди часы тикают. Ужас! Кожа по морозу подирается!

Кажется, все. На закуску вылетела на арену крохотная мохнатая лошадка с красной метелкой над головой и с колокольчиками. Я и не знал, что есть такая порода лошадиных болонок! Она так чудесно прыгала сквозь обруч, становилась на задние лапки и брыкалась, что Зина пришла в восторг. Я тоже.

Удивляюсь, почему Зинин папа не купит ей такую лошадку... Запрягли б мы ее в шарабанчик и катались по пляжу. Это тебе не на осле черепашьим шагом топтаться!.. И все бы очень удивлялись, и я бы получал много сахару...

«Кто едет?» — «Микки с Зиной!»

«Чья лошадка?» — «Миккина с Зиной!» Чудесно!

Устал. Больше не могу... Вот сейчас только подпишусь и побегу на пляж играть в цирк. Бум-бум!

*Знаменитый укротитель догов и бульдогов,  
эквилибрист и наездник  
фокс Микки*

## ПРОКЛЯТЫЙ ПАРОХОД

**У** курортной пристани качался белый дом-пароход. Труба, балкончик для капитана, внизу круглые окошечки, чтобы рыбы могли заглядывать в каюты. Спере-

ди нос острый, сзади — тупой... Вода подшлепывает снизу, веревка скрипит, из паровой печки — дым.

«Гу-гу!» Фу, как труба противно лает. Все затыкают уши, а я не могу... Зина берет меня на ручки — я дрожу, доски под нами тоже дрожат — и несет меня на эту противную штуку. Сзади — папа.

Прогулка! Мало им места на земле... Я хоть плавать умею, а они что будут делать в своих ботинках и чулках, если дом перевернется?

Люди шли — шли — шли. Чистые костюмчики, из карманов — платочки (зубных щеток в петличках, слава Богу, еще не носят!) — и все толкаются, и все извиняются. Пардон! А ты не толкайся, и пардона твоего не нужно, а то все лапы отдавили...

Сели на скамейки по бокам, и вверху, и внизу, как воробьи на телеграфных проволоках... Небо качается, улица качается, и наш пол качается. И я совсем потерял центр тяжести, присел на пол и распластался, как лягушка на льду.

Так мучить сухопутного фокса! За что?!

«Гу-гу-гу!» Поехали. Все машут лапами, посылают безвоздушные поцелуи. Подумаешь... На три часа уезжаем, и такое лицемерие. Подкрался к загородке посреди парохода и посмотрел вниз: железные лапы ходят, чмокают и переворачиваются, а главная нога, вся в масле, вокруг себя пляшет... Машина. «Чики-фуки, фуки-чики, пики-Микки, Микки-пики...» Да остановись ты хоть на минутку!!

\* \* \*

Пока шли проливчиком — ничего. А потом заливчик, а потом... ух! Там море, тут море, небо с водой кругом сошлось, горизонты какие-то со всех сторон появились... Разве так можно? А земля где? За паровым котлом — белый кипяток, чайки вперегонку за нами летят и кричат, как голодные котята... Столько рыбы в море, целый день обедать можно, чего им еще надо?

Ну, что ж, раз прогулка, нечего под скамейкой пресмыкаться. Пошел по ногам, ноги вежливо раздвигают

ются. Пардон, силь ву пле. (Извините, если вам нравится!)

У матросов деревянные башмаки — корабликами, у пассажиров обыкновенные, белые и желтые туфли. Практично и симпатично. А у дам, что ни ноги, то другой фасон: с бантиками, с пряжечками, с красной решеткой, с зелеными каблучками... Кто им эти фасоны выдумывает?..

Был у капитана на балкончике. Старенький, толстенький, борода, как у рождественского деда, глазки голубенькие. Расставил ноги и забавляется: повернет колесо с палками в одну сторону, потом в другую, потом в третью, а сам в трубку рычит: «Доброе утро! — полдоброе утро! четверть доброго утра!» А может быть, я и напутал.

Нашел кухню. Пол себе качайся, а она свое дело делает. Варит. Повар сунул мне в нос омара... но я на него так посмотрел, что ему стыдно стало и он высморкался (повар).

А пол все подымается, волны, как бульдоги, со всех сторон морды в пене, и все на меня кивают. Ай! Подымается, опускается. Смейся! Посади-ка краба на сушу, небось ему тоже будет несладко. Ветер свистит и выворачивает уши наизнанку. Ай!..

У нашего соседа слетела в воду шляпа. «Свежеет!» — успокоил его Зинин папа. Дуреет, а не свежеет... Ба-бах! Ба-ба-бах!

Я прижался к ногам незнакомой старухи, закрыл глаза и тихонько-тихонько визжал: море! Золотое мое море... Ну, перестань, ну, успокойся! Я никогда больше не поеду. Я маленький фокс, ничтожная собачка, за что ты на меня сердиться? Я никогда тебя не трогал, никогда на тебя не лаял (ух, как я врал!)..

Да, так оно тебе и перестанет. И вот я вышел из себя. Вспрыгнул на скамейку, повернулся к морю спиной и наступил лапой на спасательный круг. На всякий случай, если бы пришлось спасать Зину, ее папу и капитана. Повар пусть тонет... Злой фокс. Зачем я пишу такие гадости? Спас бы и повара, пес с ним...

\* \* \*

Все? Нет, не все! Жадные сухопутные люди не знают уже, что и придумать. Мало им берега, леса, поля, шоссе. Летать им надо! Сели на бензинную этажерку... и полетели. Даже смотреть страшно. Но ведь летают отдельные сумасшедшие, у них, верно, нет родителей, и некому их остановить. А по морю катаются все: дети, мамы, папы, дедушки и даже грудные младенцы. Вот судьба («судьба» — это вроде большой, злой летучей мыши) их и наказывает...

Качались и докачались. Собаки, говорят, себя нехорошо ведут. Ага! Собаки... Посмотрели бы вы, как ведут себя на пароходе люди в новых костюмчиках, с новыми платочками в карманах, когда начинается качка!

Я закрывал глаза, старался не дышать, нюхал лимонную корочку... Бррр!

Но Зина — молодец. И ее папа — молодец. И капитан — молодец... А я... лучше не спрашивайте.

\* \* \*

Когда показалась земля, миленькая зеленая земля, твердая земля с домиками, собачками, мясными лавками и купальными будками, я завизжал так пронзительно, что перекричал даже пароходный гудок.

Клянусь и даю честное собачье слово, что лапа моя никогда на пароходе больше не будет! Почему меня всюду за собой таскают?.. Завтра Зинин папа затеет прогулку на облаках, так я с ними летать должен?! Пardon! Силь ву пле! (Извините, если вам нравится!)..

Ага! Так и знал. Этот невозможный папа подцепил рыбака и заказывает ему на завтрашнюю ночь барку с лунной и рыбной ловлей...

На луну я и с берега посмотрю, а рыбу — кушайте сами...

Море сегодня, правда, тихое, — знаем мы эту тишину. Но в комнате еще тише. Пол не качается, потолок не опрокидывается, пена не лезет в окошко, и люди вокруг не зеленеют и не желтеют. Брр!..

*Старый морской волк — фокс Микки*

## ВОЗВРАЩАЮСЬ В ПАРИЖ И СТАВЛЮ БОЛЬШУЮ ТОЧКУ

На веранде стояли чемоданы: свиной кожи, крокодиловой кожи и один маленький... брр!.. кажется, собачьей. В палисаднике желтые листья плясали фокс — трот.

Я побежал к океану: прощай!.. — «Бумс!» Фи, какой невежливый. С ним прощаются, а он водой в морду...

От полотняных купальных будок одни ребра остались. Небо цвета грязной собаки. Астры висят головами вниз: скучают. Прощайте, до свидания! Хотя вы и без запаха, но я вас никогда, никогда не забуду...

Простился с лесом. Он, верно, ничего не понял: зашумел, залопотал... Что ему маленький, живой Микки?

Простился с лавочницей. Она тоже скучная. Сезон кончился, а тухлые кильки так и не распроданы.

Чемоданы всю дорогу толкались и мешали мне думать. Зина серьезная, как наказанный попугай. Выросла, загорела. В голове уроки, подруги и переводные картинки, — на меня ни разу не взглянула...

И не надо! Что это за любовь такая по сезонам? Подружусь вот в Париже с каким-нибудь порядочным фоксом — и «никаких испанцев» (очень я люблю глупые человеческие слова повторять!)...

\* \* \*

Приехали. Риехали. Иехали. Ехали. Хали. Али. Ли. И... Это я так нарочно пишу, а то лапа совсем затекла.

Консьержкина собачонка посмотрела на меня с порога и отвернулась. Герцогиня какая! Ладно... Я тоже умею важничать. Вот повезут меня на собачью выставку, получу первую золотую медаль, а ты лопайся от зависти в консьержкиной берлоге.

Совсем отвык от мебели. Тут буфет, там полубуфет, кровати шире парохода — хоть бы лестнички к ним приставили... Гадость какая! А они еще хотят внизу у мебельщика старую шифоньерку купить! Красного дерева. Пусть хоть лилового, грош ей цена.

Ах, как тесно в квартире! Горизонт перед носом, лес в трех вазонах, перескочить можно. И попрыгать не с кем. Зина в школе, тропики какие-то изучает. Кухарка сердитая и все губы мажет. Вот возьму и съем твою помаду, будешь с белыми губами ходить!

На балконе коричневые листики корчатся и шуршат. Воробей один к нам повадился прилетать. Я ему булочку накрошил, а он вокруг моего носа прыгает и клюет.

Вчера от скуки мы с ним поболтали.

— Ты где живешь, птичка?

— А везде.

— Ну, как везде?.. Мама и папа у тебя есть?

— Мама в другом аррондисмане, а папа в Сен-Клу улетел...

— Что же ты одна делаешь?

— Прыгаю. Над сквериком летаю, на веточке посижу. Вот ты у меня завелся: крошками кормишь. Хорошо!

— Не холодно тебе? Ведь осень...

— Чудак, да я ж вся на пуху. Чивик! Воробьи на углу дерутся... Эй-эй, подождите! Я тоже подраться хочу...

Фурх — и улетел. Боже мой, Боже мой, почему у меня нет крыльев?..

\* \* \*

Дрожу, дрожу, а толку мало. Центральное отопление вчера зашипело, я только спинку погрел, а оно остановилось. Проба была. Через две недели только его заведут на всю зиму. А я что ж, две недели дрожать должен?!

Спать хочется ужасно. Днем сплю, вечером сплю, ночью... тоже сплю.

Зина говорит, что у меня сонная болезнь. Мама говорит, что у меня собачья старость. Музыкальная учительница говорит, что у меня чума... Гав! На одну собаку столько болезней?!

А у меня просто тоска. Очень мне нужна ваша осень и зима в квартире с шифоньерками!

И тетрадка моя кончается. И писать больше не о чем...

У-у! Был бы я медведь, пошел бы в лес, лег в берлогу, вымазал лапу медом и сосал бы ее до самой весны...

Сегодня на балкон попал кусочек солнца: я на него улегся, а оно из-под меня ушло... Ах, Боже мой!

Пока не забыл, надо записать вчерашний сон: будто все мы, я и остальное семейство, едем на юг, в Канн. Бог с ним, с зимним Парижем! И будто Зина с мамой ушли в закусочный вагон завтракать... Папа заснул (он всегда в поезде спит), и так горько мне стало!.. Почему меня не взяли с собой? А из саквояжа будто кто-то противным кошачьим голосом мяукнул:

«Потому что собак в вагон-ресторан не пускают. Кошек всюду пускают, а собак, ах, оставьте!»

И я рассвирепел, в саквояж зубами вцепился и проснулся.

\* \* \*

Перелистывал свои странички. А вдруг бы их кто-нибудь напечатал?! С моим портретом и ав-то-гра-фом?!

Попала бы моя книжка в лапки какой-нибудь девочке в зеленом платье... Села бы она у камина с моим сочинением, читала бы, перелистывала бы и улыбалась. И в каждом доме, где только есть маленькие ножки с бантиками и без бантиков, знали бы мое имя: Микки!

Зина спит, часы тикают. Консьержка храпит — о! — я и через пол слышу...

До свидания, тетрадка, до свидания, лето; до свидания, дети — мальчики и девочки, папы и мамы, дедушки и бабушки... Хотел заплакать, а вместо того чихнул.

Ставлю большую, большую точку. Гав! Опять меня блоха укусила!.. В такую трогательную минуту...

Кровопийца собачья!..

*Всеобщий детский друг,  
скромный и сонный фокс Микки*

## ОТЧЕГО МОИСЕЙ НЕ УЛЫБАЛСЯ, КОГДА БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ

Помнишь, как это было?

Маленький Моисей (фунтов десять он тогда весил, не больше) плыл по реке в корзинке, так хорошо пропитанной смолой, что ни одна любопытная капля воды не могла проскользнуть сквозь крепкое плетенье.

Внизу болтали между собой быстрые, веселые струи — сверху улыбалось серебряное облако с золотой каймой, похожее на белого задремавшего кролика. Стрекозы перегоняли друг друга и, пролетая над корзиной, удивленно звенели: «Зык! Зы-зык! Когда же это было видано, чтобы маленький мальчик плыл один по реке в корзинке?»

А маленький Моисей лежал, смотрел круглыми глазками в небо и разговаривал сам с собой: «Бля, вя, гля...» Разговаривал на том самом языке, на котором говорил и ты, когда лежал в люльке, задрвавверху круглые ножки, пуская пузыри и рассматривая собственный круглый пальчик. Не помнишь?

Вдали за кустами стояла сестра маленького Моисея, смотрела, раздвинув тростник, на колыхающуюся вдаль плетеную колыбель, и слезы медленно капали одна за другой в веселую воду...

— Черный лебедь! — шепнула служанка дочери фараона, с которой она купалась в реке.

Но дочь фараона поднесла ладонь к глазам и звонко рассмеялась: «Черный лебедь!.. А может быть, это бегемот приплыл с твоей родины, из верховьев Нила, чтобы тебя проведать... Разве не видишь? Это корзинка!..»

Корзинка задела за черную корягу, торчавшую из воды, закачалась на месте и медленно подплыла к берегу.

Ты думаешь, маленький Моисей стал плакать и вырываться — как это сделали бы мы с тобой, — когда увидел склоненное над собой черное лицо эфиопки-служанки с толстыми, красными, как стручковый перец, губами и зубами, похожими на две полоски кокосового ореха? Совсем нет. Сразу пошел он к ней на руки, от нее к другой, от другой к третьей (всем было интересно его поддержать), пока не дошел до ожидавшей на берегу дочери фараона, ласково прижавшейся к теплому детскому телу.

— Ах ты, малышка! Да как тебя крокодил не съел? Тут за отмелью их целое семейство живет... Ну, теперь ты мой!

Быстро оделась дочь фараона и, осторожно прижимая мальчика к груди, стала, улыбаясь, его укачивать.

Сестра Моисея, притаившаяся за тростниками, видела все это и, радостно вздохнув, пошла домой, благословляя добрые руки веселой царевны.

А потом? Что было делать дочери фараона с таким младенцем? Она велела найти ему кормилицу. И знаешь, кому отдали его кормить? Матери! — так уж устроил Бог, потому что жалел мать и любил Моисея.

А потом вот что рассказывает об этом толстая книга, которую часто читает твой дедушка, надвинув на нос круглые очки в черепаховой оправе: «Вырос младенец, и привела его мать к дочери фараона: и он был у нее вместо сына, и назвала она его Моисей, потому что, говорила она, я вынула его из воды». Так написано в толстой книге...

.....

Было ему тогда лет пять. Ни днем ни ночью не расставалась с ним дочь фараона. Каталась с ним в лодке при луне под светлым колыхающим балдахином, пела ему веселые песни, хлопала в ладоши и звонко хохотала, — но Моисей не смеялся, печально и молча смотрел на серебряную воду и тихо гладил пушистую обезьяну, которую подарила ему царевна. Большая обезьяна?

Нет, маленькая, рыжая, в узком колпачке с золотой

кисточкой. Днем собирала царевна детей, быстроглазых и юрких. Кувыркались они на пестром ковре и, дразня друг друга, прятались в его широкие складки — показывая, как ходит страус, и как ложится верблюд, — и все служанки и царевна смеялись так, что колыхались широкие опахала, прислоненные к стене, — но Моисей печально и молча смотрел...

И когда дети уставали и садились вокруг него полукругом отдыхать, он молча вставал, оделял их вкусными финиками и бананами (ух, как дети их быстро глотали!) и раздавал им нередко все свои игрушки. Сколько бы ему ни дарила царевна, все раздавал: и ярко раскрашенных каменных жуков, и маленьких ручных черепах, покрытых бронзовой краской, и выдолбленные из дерева лодки с перламутровыми парусами...

Как-то пастухи поймали в поле и принесли во дворец в банке двух тарантулов. Большие такие пауки, с желтым брюшком и волосатыми лапами...

Никогда не видал? Слава Богу, что не видал! Вылезли они из своих ямок на горячий песок на солнце погреться, а пастушонок быстро накрыл их глиняной миской, потом снизу пальмовый лист подсунул, миску перевернул и готово. Так и поймал.

Принесли тарантулов. Собрались дети вокруг. Один сквозь пузырь в банку прутик сунул, стал пауков дразнить, а те, глупые, друг в дружку вцепились и давай драться.

Челюсти страшные, как ножницы, так и хватают, так и насакивают. Как петухи!

Хохочут дети, по ковру катаются. Дочь фараона легла сбоку, в банку дует из всех сил, пауков дразнит, а сама так и заливается. Весело!..

И опять, как всегда, только маленький Моисей не смеялся.

Молча подошел, сунул руку на дно банки, расцепил ядовитых тарантулов, понес их к колючим агавам, что росли у ограды сада, и посадил осторожно на песок. И ядовитые пауки не причинили ему зла, не укусили его, расправили лапы и быстро уползли в поле, на свободу... Все видели.

Отпустила дочь фараона детей, отослала служанок,

села на ковер к Моисею и долго его гладила по круглой головке.

Долго гладила, и нежно прижала к себе, и тихо спросила:

— Моисей, мальчик мой! Отчего ты такой?

— Какой? — спросил мальчик и низко опустил голову к коврику.

— Отчего ты никогда не смеешься с нами? Смотри: даже солнце улыбается, птицы звенят и радостно перекликаются в пышных кустах жасмина, рыбы в фонтанах весело гоняются друг за другом... Один ты...

— Ты хочешь знать, отчего я не смеюсь? — Моисей быстро встал на ноги и, крепко взяв за руку дочь фараона, потянул ее за собой: — Пойдем!

Тихонько вдоль стены довел он ее до пышно-затканной портьеры на кольцах и быстро раздвинул портьеру...

За портьерой зашуршала одежда, раздался легкий вскрик, и дочь фараона увидела, как, склонив голову, быстро отошла к стене какая-то чужая, бедно одетая женщина.

— Кто это?

— Моя мать.

— Что она здесь делала?

— Она приходит, чтобы тайком посмотреть на меня... когда я играю, — тихо ответил Моисей и, подняв низко опущенную голову, посмотрел на дочь фараона.

И не выдержала она печали ясных и глубоких детских глаз и, закрыв лицо руками, быстро вышла из покоя.

1920, 1927

## СКАЗКА О ЛЫСОМ ПРОРОКЕ ЕЛИСЕЕ, О ЕГО МЕДВЕДИЦЕ И О ДЕТЯХ

Когда пророк Елисей шел дорогою, малые дети вышли из города и насмеялись над ним: идет плешивый. Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка.

Так говорит Библия.

А я думаю, что дело было не так. Не может быть, чтобы такой славный старик, как Елисей, из-за таких пустяков (ну, подразнили — эка важность) стал проклинать детей. И уж ни за что на свете не поверю, чтобы медведицы так жестоко расправлялись с детьми. Не их подразнили — им-то что. Да еще будто они переловили столько ребятишек... Одного бы поймали, ну двух, — а остальные, как воробьи, рассыпались бы в разные стороны. Догони-ка.

Если ты будешь сидеть тихо, и вынешь изо рта чернильный карандаш, и перестанешь дергать кошку за усы, я расскажу тебе, как это было.

Шел пророк Елисей опушкой леса по делам в город Вефиль. Жарко было, как в желудке у верблюда. Ящерицы, широко раскрыв рты, скрывались под прохладными камнями, птицы сонно покачивались на ветках и дремали — одни мухи не спали.

Так уж их Бог устроил: чем жарче, тем им веселей. И нельзя было от них укрыться нигде. Шляп тогда не носили, — Елисей и веткой отмахивался, и ладонью прикрывался, и головой дергал, и стыдить их пробовал — ничего не помогало. Лезут гурьбой на лысину, жужжат и щекочут, точно им и места другого на земле нет, кроме его лысины.

Пророк Елисей был очень добрый старик: все звери, и птицы, и букашки его обожали, и он всех любил. Но и самому доброму надоест, когда надо сто, двести, триста раз кричать «кыш» и махать руками.

А тут еще из-за пригорка целая ватага детей высыпала... Разогрелись, расшалились, и вдруг такое удовольствие: лысый старик идет.

Самый маленький даже рот раскрыл от радости и запел:

— Вон и-дет пле-ши-вый... — и пошло.

Но вот тут, когда мухи кусают в плешь, а пятьдесят ребятишек вокруг тебя приплясывают и сто-двести-триста раз кричат в уши: «Вон идет пле-ши-вый...» — даже божья коровка рассердится.

Покраснел Елисей, как помидор, топнул ногой и крикнул так, что все ящерицы под камнями вздрогнули:

— Молчать. Да я вас всех. Цыц...

А детям только этого и надо: лысый старик рассердился. И еще пуще все в один голос:

— Вон и-дет пле-ши-вый.

Сунул Елисей два пальца в рот, свистнул. Прибежала из леса его любимая медведица, бурая, с черным блестящим носом, с черными блестящими глазками, и ткнула головой Елисея в плечо: «Чего тебе». И шепнул ей Елисей на ухо:

— Пристают... Пугни их, да не очень...

Ну, медведица — дура, зверь большой, — где ей на цыпочках ходить. Стала на задние лапы, передними замахала, как ветряная мельница, и галопом на детей. Ух, что тут поднялось.

Один через другого, с визгом, с плачем, с криком, с воем, с писком, с ревом — пустились наутек, — и бежали, не переводя дух, через луга и поля, пока не домчались до материнских коленей, — только там и отдышались. А самый маленький споткнулся о пень, полетел носом наземь, и глупая медведица не опомнилась, как с размаху на детской рубашонке большую прореху провала. Только и всего.

Вернулся к закату пророк Елисей из Вефиля. Жар спал. Мухи забились под листья, кто куда, хоботками чуть-чуть шевелят — и не слышно их.

Проходит пророк мимо той же опушки и палкой весело размахивает. Нет детей... Точно их дождем смыло. Только из-за пригорка слышно, как все тот же мальчик, который всю кашу заварил, пищит:

— Прячьтесь. Скорей прячьтесь. Лысый старик идет.

Скучно стало Елисею. Любил он зверей, и птиц, и букашек, а больше всего детей, дружбу с ними водил, сказки им в лесу рассказывал, — и вдруг такая история: дети его боятся... И совестно как-то. Ну, покричали, подразнили... Зачем же их таким страшным лесным зверем пугать?

Позвал Елисей — никто не откликается. Постоял на месте, вздохнул и пошел к себе в пещеру спать.

Назавтра то же самое, — и день, и два, и три прошло, прячутся дети от Елисея, точно от медведицы. Чуть его

завидят, словно сквозь землю проваливаются, — только и слышит за камнями то справа, то слева:

— Удирай. Удирай. Лысый старик идет.

Пустился Елисей на хитрости, знал детское сердце Смастерил из белых щепок мельницу-вертушку, укрепил на палке и привязал на опушке к толстой сосне. Далеко видно. А ветер подкрался из-за пригорка — дунул, закружил легкое колесо, завертел, — чудесная штука.

Стал Елисей за сосну, плешь бородой от мух прикрыл, догадался, — и ждет. И вот слышит: один подбирается, за ним другой, еще и еще, точно тихие червячки. Ближе, и ближе, и ближе, пока до самой сосны не дошли.

Выскочил пророк Елисей и только рот раскрыл, чтобы ласковое слово сказать, да куда там. Брызнули, как зайцы, назад, и мельницы не надо. Но старик другого и не ждал. Побежал наперерез к самому маленькому (который первый дразнился), давно он его высматривал, руками взмахнул, да так его в охапку и поймал, как жаворонка.

— Пусти...

— Не пуцу... — пыхтит Елисей, а сам только смотрит, чтобы мальчишка его ногами по носу не задел.

— Пусти, тебе говорят.

Но старик догадался: вынул румяное яблоко, дал мальчику, а сам его по голове шершавой рукой гладит:

— Ешь. Ну, чего ты от меня бежал. Разве я страшный?

Видит мальчик, что ничего — яблоко дал, медведицы нет, — откусил половину, сам вбок смотрит, сердитый такой мальчишка, глаза блестят, — и говорит:

— Ничуть не страшный. Злой, а не страшный.

— Почему же я злой, — усмехнулся Елисей, а сам второе яблоко показывает.

— А зачем ты на нас большую собаку выпустил?

— Медведицу... А зачем вы меня дразнили?

— А зачем ты лысый?

Рассмеялся пророк. В самом деле, зачем он лысый? Дети не виноваты.

Съел малыш яблоко и вздохнул.

— Дедушка, слушай!

— Что, милый?

— Ты маленьким был?

— Был.

— Ага, был!.. И никогда не дразнился? Ни ра-зу, ты только правду говори, ни ра-зу не дразнился?

Подумал Елисей и еще веселей улыбнулся:

— Дразнился! Ишь ты какая хитрая мартышка. Ну, давай мириться. Зови остальных... — а сам целый ворох яблочек из-за пазухи высыпал.

— Идите сюда! — запищал самый маленький. — Он не тронет, он добрый! У него яблоки есть!

Сошлись дети под сосной. Медведица из лесу пришла, в землю носом ткнулась (ей тоже совестно было) и дикого меду целый сот принесла. Вкусно с яблоками! А добрый пророк Елисей разгладил бороду, посадил своего приятеля, самого маленького мальчика, к себе на колени и начал рассказывать сказку.

Какую сказку? Такую сказку, что лучше и на свете нет...

1920

## ПРАВЕДНИК ИОНА

**П**раведника Иону посетил во сне Господь. «Пойди в Ниневею, нет моего терпения! Живут хуже скотов, злодей на злодее.. Образумь их, Иона, а не то...» И загремел гром в небе.

Проснулся Иона, сел на ложе и задумался. Да разве они послушаются? Камнями побьют, а сами еще пуще прежнего нагрешат. Слишком уж милосерден Господь... Нянька им Иона, что ли? С ним ведь никто не возится, а вот праведник. Не хотят по-человечески жить, пусть дождутся, пока Господь им на выю наступит. Чего бурьян жалеть?.. Только добрый посев портить.

И задумал Иона худое дело, словно затмение на него нашло. Сел тайком на корабль и поплыл в город Фарсис будто по делам, авось и без него все обойдется. В Фарсисе решил заодно родных повидать, внучку на колени покачать, — давно не видал.

Но разве от Господа скроешься? Задул во все щеки

ветер, море на дыбы встало, паруса все бечевы порвали и залопотали вверх углами. Закружился корабль, как юла под бичом, — заметались корабельщики.

Стали товар в море бросать: рожки, фиги, смолу-канифоль, только тюки в воздухе мелькают. Все барыши на дно пошли, а толку мало: корабль все пуще носом в волну зарывается, двух гребцов водой слизнуло, — кое-как успели за бортом за канат уцепиться. Попадали корабельщики на коленки, каждый своему богу молиться стал: «Кто из нас так грешен, что такую бурю средь ясного неба на корабль навел?»

Схитрил Иона, точно и не его ответ: пролез ползком в трюм и на козий мех спать завалился.

Что ж делать, решили жребий бросать. Пересчитали всех: а где Иона? — в трюме.

— Не время спать, беда над головой...

Привел кормчий Иону, стыдно праведнику стало — бросайте, говорит, жребий, все равно на меня падет. Не исполнил воли Божьей — да вон не по-моему вышло.

Пал жребий на Иону, и стал он просить корабельщиков, чтобы его в воду бросили и тем корабль спасли.

Жалко стало им старика, налегли было на весла, хотели выгрести, да куда там... Ветер у кого весло переломил, у кого из рук вырвал. Как конь дикий!

Делать нечего, взяли старика под руки — а он и глаза зажмурил, — вот тебе и Фарсис, повидался с внучкой, — и бросили его промеж двух огромных зеленых волн. Сомкнулись — и нет Ионы.

И сразу будто кто море в колыбели усыпил, гладкое стало пруд прудом, а ветер к облакам улетел, на самое мягкое лег и заснул...

\* \* \*

Топить праведника Господу было ни к чему. Много ли праведников на земле?.. Наплыл на Иону несуразный морской зверь левиафан-кит, глотнул раз и втянул старика с головой и ногами в темные недра. И не то чудо, что вовремя кит подоспел — волны его по наущению Божьему на Иону нанесли, — а чуднее того, как он чело-

века проглотить сумел? Горло с кулак, старик был в плечах широкий, и вот поди ж ты — прошел, как кефаль в невод.

Улегся Иона в смрадном чреве, под себя козий мех подложил (как в воду бросили, так он со страху его в кулаке зажал) — и думать стал. Что ж больше делать во чреве китовом?

Горько! Жил праведно, во все свои дни цветка не растоптал. За что Господь на него ополчился? Не он ли себя смирял всю жизнь: и дух и плоть, ни разу не оступись, и вот на старости такой грех. Стоило ли праведным быть? Вон эти там в Ниневеи: друг с другом как псы, о Боге и думать забыли, — и о них же Господь печется, словно орел о птенцах... А его, чистого, света лишил, загнал в чрево кита, как змея в пещеру, и вход заградил... навеки.

И вспомнил он зеленую землю, розовое солнце на камнях своего порога по утрам, синее дыхание неба, вырезные листья смоковницы над низкой оградой, ящериц, укрывшихся от зноя в его плаще... Господи, не знал он раньше, до чего жизнь хороша!

За толстыми боками морского зверя тяжело переваливались валы. Ночь ли там над морской пустыней, сияние звезд и лунная дорога или синий день, хоровод облаков и любимый берег вдали?..

Закачала тьма Иону. Сна нет, смрад к душе подступает. Лучше уж в могиле, хоть печаль не сосет! Пал он в уголке на лицо и стал молиться — не славословил, не благодарил, — а горько жаловался первый раз в жизни:

— Каюсь, Господи, согрешил! Трудно мне со злыми, истомился. Уходил от них — а Ты не велишь. Тебе одному служил, а Ты отвернулся. Разве серне укротить гиен? Не люблю я их, прости меня старого. Кротких люблю, чтущих Тебя люблю, искал их на всех путях (мало их, Господи!) и где только находил, разве не делил я с ними и беду и светлые дни? А Ты вот все о разбойниках печешься... Грешен, обманул Тебя: думал, что серный дождь для них лучший учитель, чем я... Что ж — Тебе виднее. Каюсь, Господи, пусть будет по-твоему. Пойду!

Освободи только из смрадной тьмы, дай ступить на зеленую землю, — пойду и исполню...

Спрятал Иона голову в душную козью шерсть и заплакал беззвучно и кротко.

Гул прокатился над заалевшим утренним морем. Гулко в испуге ударил левиафан плоским хвостом. Ударил хвостом и понесся, сам не зная куда и зачем, фыркающая и играя, к тихому берегу. С разбегу выкатил скользкую голову темной глыбой на песок, раскрыл жирную пасть и выбросил Иону головой вперед как раз за тем мысом, откуда корабль отчаливал.

Оглянулся Иона: солнце! Левиафана нет, только белые стружки вдали по воде закружились. Три дня и три ночи протомился в темном зверином чреве, но показалось ему, что долгие годы протекли. Быть может, и Ниневей уже нет, и уйдет он опять к потокам и скалам доживать свои старые дни?..

Шел Иона, отдыхал и снова шел, и вот на исходе третьего дня показались вдали пыльные сады и плоские кровли Ниневей.

\* \* \*

Тою же дорогой вернулся из Ниневей Иона. Спускался к морю скалистой тропой на ночлег и сердито ворчал: усмирил! Уж они его попомнят: гремел, как лев в пустыне, струпьями проказы грозил источить все живое, иссушающий ветер звал на их сады и источники, гром — на их кровли, мор — на их скот, саранчу — на их поля... Покаялись. Только бичом страха и можно их к Господу пригнать. Надолго ли? И зачем? На что Ему такие — только сердце об них иступишь, на веревке к добру притащишь, а там, гляди, веревку перегрызут — и опять начинай сначала.

Шел Иона, утрюмо смотрел на свои пыльные ноги, — трудно ему было понять своих злых братьев, и не радовал его тяжелый подвиг, который выполнил он по Божьему слову... А вечерняя тишина, и морская свежесть, и двурогая луна над головой делали свое: замедлял шаги Иона, смотрел и не мог насмотреться и уте-

шался, что вот он снова один и никуда ему идти больше не надо.

И вдруг за выступом скалы остановился: лежит на земле ястребенок, из гнезда выпал, пищит, клюв разевает и слабые крылья топорщит. Улыбнулся Иона, взял птенца на ладонь, поднял к глазам: цел! Полез вверх по шатким камням, по писку нашел гнездо, уложил ястребенка среди двух таких же писклявых и, довольный, той же дорогой спустился к подножию. Расстелил плащ под скалой, вытянул усталые ноги и уснул.

И опять посетил его во сне Господь:

— Ну что, Иона, сетуешь?

— Сетую, Господи, прости уж...

— А ты бы, Иона, не пощадил?

— Не пощадил бы, Господи!.. Уж Ты который раз их пугаешь. Покаются — а потом еще пуще грешат.

— Вот ты какой строгий. Что ж ты ястребенка-то пожалел? Разве он добрый? Подрастет — станет других птиц бить, кровь проливать. А, Иона?

Обиделся Иона: «Да ведь Ты же его сам создал, Господи!» Но разве кто из праведников Господа переспорил?

— Создал... Щедрой рукой чего не создашь.. А подумал ли ты, что в Ниневеи сто двадцать тысяч живых душ? Не все же псы. Из ястребенка — только ястреб и вырастет, а человек — то змей, то голубь, — как повернуть. А ось уймутся... И дети там растут — как же им без матерей и отцов подняться? Истребить легко, да тогда и создавать не стоило.

— Что ж, может, и не стоило, — печально вздохнул Иона.

— Ну это уж не твоего ума дело. Это мне знать, а не тебе. А ты, Иона, не сетуй, а люби. Так ли?

— Так, Господи... — смутился Иона и проснулся, и до светлого утра размышлял.

А как первый свет брызнул в глаза, понял он, что мудрость жалости порой глубже мудрости гнева. Встал, взял посох и пошел к шумящему морю.

Обогнул мыс Иона, смотрит, — вот чудо. Тот корабль, на котором он бежать хотел, у берега новым то-

варом грузится, да и корабельщики те же. Увидали его, глазам не верят: «Смотри, старик-то жив!»

— Жив, жив, — рассмеялся Иона, — и еще лет сто проживу! Что ж, опять с вами поеду. Возьмете, что ли?

Смутились корабельщики, шептаться стали:

— Как бы опять чего не вышло? Вишь из-за него сколько хлопот. Ему-то ничего, опять выплывет, а нам снова товар в море бросать — одни убытки.

— Берите, не опасайтесь, — успокоил их праведник. — И убытки вернете и барыши будут, а буря вас и концом крыла не заденет.

Как не поверить: старик ясный, — говорит, а сам словно светится. Да и не взять нельзя, рассердится, так и с берега беду накличет.

— А тебе зачем в Фарсис?

— Внучка там у меня, — улыбнулся Иона и тихо повторил: — внучка... Давно не видал.

— Ну, что ж, садись, — сказал кормчий и прикрыл ладонью глаза: солнце поднималось над морем.

1922, 1926

## ДАНИИЛ ВО ЛЬВИНОМ РВУ

Персидские вельможи невзлюбили пророка Даниила: был он любимцем царя Дария и приближен к нему больше всех.

Как осудить пророка? Был он добр, мудр и справедлив, и ни в чем нельзя было его обвинить. Решились они известить его хитростью.

Уговорили царя Дария вельможи-сатрапы издать указ, чтобы никто не смел в течение тридцати дней никому, кроме царя Дария, поклоняться.

Подписал царь указ. А пророк, как всегда, встал вечером у окна, поднял глаза к звездному небу и стал молиться Богу.

Вельможам только этого и надо было. Пришли к царю и сказали: «Вот твой любимец пророк Даниил нару-

шил указ. Поклонился не тебе, а своему Богу. Осуди его, царь, — мы все свидетельствуем против него».

Не легко было Дарию выдать завистливым вельможам Даниила, тянул-оттягивал, но скрепя сердце должен был своему же указу подчиниться.

И отвели пророка ко львиному рву, втолкнули его к голодным хищным зверям, а к выходу привалили камень, и сам царь тот камень своей печатью опечатал.

\* \* \*

Старый лев забил упругим хвостом по бедрам, вскочил и поднял голову. За ним гурьбой потянулись львы и львицы. Львята бросили свои игры и широко открыли изумрудные детские глаза. На камне у входа бесстрашно стоял человек, юный и стройный, и улыбался.

— Не боишься? — проворчал старый лев и мохнатой головой коснулся подножия камня, на котором стоял пророк.

— Нет.

— Ты тот, кого люди называют пророком Даниилом? Я тебя сразу узнал: у тебя бесстрашное сердце и львиная поступь.

— Мы его будем есть? — спросил годовалый львенок у матери, но львица лапой отбросила львенка на песок:

— Поди прочь, шакал! Его нельзя трогать... Он не такой, как все. Орел нам вчера сказал, что Даниил на охоте не пронзил копьём ни одного льва. Всегда мимо бросает... А кто нам со стены рва кидал не раз кости и мясо с царской кухни? Ты не узнал?.. Он добр ко всем, даже к паукам.

Львенок удивленно замурлыкал и, сев на задние лапы, стал рассматривать Даниила: ишь какой — ничуть не боится...

Даниил легко соскочил с камня — расступились звери, — подошел к львенку, склонился и положил ему руку на темя. Впервые пальцы человека коснулись головы львенка, и показалось ему, что не человек пощекотал его за ухом, а язык матери, теплый и ласковый.

— Ну, что же, будешь меня есть? — улыбнулся Даниил.

— Нет, не буду. Ты разве понимаешь нашу речь? — удивился львенок.

— Да. Бог добр ко мне: я понимаю, о чем шумит вода, о чем шепчутся деревья, что говорят, перекликаясь в саду, птицы, и ваш язык мне знаком.

К Даниилу подобрался, осторожно нюхая воздух, другой львенок, — совсем крохотный, не больше кошки, потерялся о его ноги и заурчал.

— Погладь и меня... Он ведь большой, а я маленький.

Рассмеялся Даниил, сел наземь, взял второго львенка на руки, а за ним и другие львята на колени к нему полезли.

Довольные львицы облизнулись: сразу видно, этот умеет с малышами обходиться. А львы разлеглись кругом у скал в тени, прищурили зрачки и, не мигая, стали смотреть. Не каждый день такую штуку увидишь.

— Бороться хотите? — спросил Даниил, встал на ноги, слегка их расставил и уперся руками в сильные бока.

Дремавший орел испуганно встрепенулся на скале: вот визжат. Что это они там затеяли?

А львята пушистой гурьбой набросились на Даниила. Но разве такого повалишь. Лезли, вставали на задние лапы, упирались мордами в упругие колени, но человек ни с места. И вдруг отскочил в сторону — так и повалились зверята на горячий песок... Вот ведь хитрый какой.

Потом бегали вперегонки. У человека две ноги, а у львят по четыре, но куда там. Никто Даниила не обогнал, только утомонились, высунули языки, разлеглись под скалой рядом с Даниилом, бока, как кузнечные меха, ходят.

Львица, мать самого маленького львенка, лапу ему в расщелину камня сунула, вытащила полуобглоданную кость, принесла и перед Даниилом положила: ешь...

Но он только головой покачал и рассмеялся.

Цикады над головой затрещали. Жарко и тихо.

— А ты рычать умеешь? — спросил Даниила маленький львенок.

— Нет.

— Я тоже не умею.

— Вырастешь, научишься... — Даниил задумался и посмотрел зверенку прямо в зрачки. Львенок отвернул глаза. Рассердился, фыркнул и опять упрямо посмотрел в глаза Даниилу. И опять не выдержал взгляда человека.

— Отчего это? — спросил львенок.

— Что «отчего»?

— Матери я смотрю в глаза и даже большим сердитым львам, а тебе не могу.

— Ну, ты еще малыш. Не поймешь... Сиди тихо и не мешай мне думать.

— Что такое «думать»?

Даниил ничего не ответил, прислонился к теплой скале и положил львенку на спинку ладонь: потянулся звереныш, зевнул — всю пасть открыл, — затих и завел свою сонную кошачью музыку. А цикады все громче трещат.

Подошел незаметно вечер. Пала прохлада. Звери по всем углам расшагались, старый лев на луну морду поднял и заревел: очень уж есть захотелось. А Даниил руки за голову закинул и пролежал недвижимо до рассвета, глядя на светлые звезды и поглаживая жавшихся к нему от ночного холода львят.

\* \* \*

Царь Дарий всю ночь не спал и к пище не прикоснулся. Жалко ему было юного Даниила, своего советника и любимца. Голодные львы — не шутка, небось и костей от Даниила не осталось... А вдруг жив? Не сохранил ли его Бог, которому он поклонялся?.. Так ведь спокоен был Даниил, когда его вели в львиный ров, и так светел, точно ничего злого себе от хищных зверей не ждал.

Чуть свет, едва первые птицы в кустах встрепенулись, кликнул царь Дарий воинов и пошел торопливо к львиному рву.

Стал у опечатанного камня и тревожно окликнул:

— Жив ли ты, Даниил?

И из-за камня бодро и радостно отозвался знакомый голос:

— Жив! И ты, царь, живи вовеки...

Отвалили камень. Вышел невредимый Даниил. Дарий в радости глазам не верит.

А злые, лукавые вельможи сзади столпились, хмурятся и глаза в землю потупили.

Обернулся Дарий — и, как его ни просил Даниил простить их, не послушался и махнул воинам рукой:

— Бросьте их львам!

1925

Вспоминная  
Сашу Чёрного





## Николай Станюкович

### **«Саше Черному не было места в стране, населенной персонажами Зоценко»**

Возблагодарим судьбу за то, что, кроме писателей, бесстрашно углублявшихся в пучины подсознательно-го и предрасполагавших нас к «великим падениям», своего рода трамплинам для свойственных только нам (?) «вознесений духа», — «на ниве российской словесности» произрастали и менее ядовитые злаки.

Порадуемся тому, что, кроме обличительного хохота, обезображенного конвульсией страдания, над русской землей раздавался и добродушный смех — излечивающий раны и возвращающий нам необходимую для душевного здоровья способность смеяться до слез, а не только «сквозь слезы»...

К сожалению, страсть к самоистязанию, в особенности присущая глубокомысленным критикам, которые и слова в простоте не скажут, всегда выдвигала вперед смех-обличение и брезгливо проходила мимо искрящегося и, как хлебный квас, шибящего в нос веселого смеха писателей — певцов народного быта, преисполненного и по сей день неистребимой бодрости. А между тем иной коротенький анекдот, бесхитростно, но верно переданный, заключает в себе такой заряд веры в то, что нас — русских — «Бог не выдаст, свинья не съест!», такое спокойное самоутверждение и самоуважение, которых мы не найдем в велеречивых высказываниях многих писателей, чьи имена почтительно сопровождают титулами «наш известный», «общепризнанный» и т. п.

Это не значит, что писателей-юмористов не читают, но их популярность кратковременна и их книги редко переживают их авторов.

К числу таких несправедливо забытых принадлежит и наш современник — Саша (Александр Михайлович) Черный. Но все, кто имел счастье знать его лично, что выпало и на мою долю, никогда не забудут этого преисполненного любви к нашей старой России, наблюдательного, тонкого и умного человека.

За год до его смерти я, тогда еще совсем молодой человек, на летних каникулах в достопамятном русской эмиграции «Ла Фавьере», на Средиземноморском побережье, любил сумерничать в его обществе, наслаждаясь его богатыми воспоминаниями.

В те времена мечта о скором возвращении в освободившуюся Россию жила еще во многих сердцах, и мне запомнился один прекрасный летний вечер, над тихо плещущим морем, когда, наслушавшись Александра Михайловича, я перебил его попыткой перевести беседу с прошлого на будущее — наше русское будущее.

Саша, со светлой и грустной улыбкой, остановил мои восторженные бредни.

— Нет! — сказал он. — Что бы ни случилось, я не вернусь обратно, потому что моей России более нет и никогда не будет!!

И, может быть, только теперь, в старости, перечитывая его «Солдатские сказки», я до конца понял, что милому, кроткому, лукаво-улыбчатому насмешнику Саше Черному не было места в стране, населенной персонажами Зоценко. Как не похожи его простые, смекалистые, защищенные от уныния крепким словом и лукавым смешком русские солдаты на придурковатых, забитых «советских граждан» Зоценко, как несхож беззлобный смех над невозможными положениями, создаваемыми жизнью, с жестокой насмешкой над человеком, у которого отнято право на свою мысль, свою веру и даже на свое русское имя...

Писателей-юмористов немного. Дар подмечать смешные стороны жизни, способность заразительного смеха, не переходящего в досужее зуббскальство (зачастую выдаваемое за юмор), — драгоценнейшее качество, а когда оно усилено доброжелательством, любовью к миру — человеку, ребенку, животному — и освещено ясным разумом, то между писателем и читателем друже-

ственная близость и понимание возникают, как говорится, «с полуслова».

Всем этим Саша Черный обладал преизбыточно, и его любили, а «Солдатские сказки», надо надеяться, оживят это чувство и многим помогут снова пережить свою молодость и воскресить образ ее верного спутника — русского солдата.

Может быть, кое-что в этих «сказках» и присочинено, но основное в них — подлинно народное творчество в верной передаче писателя.

Во время Первой мировой войны Александр Михайлович был прикомандирован к большому военному лазарету. Он должен был вести списки раненых, писать для них письма в деревню и... извещать семьи о смертях.

Таким образом, ему пришлось близко соприкоснуться с русским солдатом, притом с солдатом страдающим, одиноким на своей койке, жаждущим раскрыть душу, а иногда, накануне смерти, и высказать себя до конца; а если выздоравливает, то и покалякать в вечерний час: рассказать ласковому лазаретному чиновнику были и небылицы, эпизоды военной жизни, приправленные фантазией.

И русский солдат не мог бы найти лучшего, более внимательно-благожелательного слушателя, а подчас забавника — несравненного мастера анекдота, чем Саша Черный.

Став его душеприказчиком — хранителем частицы отлетевшей души, запечатленной в лежащей передо мною книге, — Саша Черный воплотил в своих сказках образ русского солдата, его лукавую хитринку, находчивость, верность, его своеобразное понятие о должном и недолжном — словом, все то, что было неписанным «кодексом чести» русского простолюдина. Сказки написаны удивительно сочным, выразительным языком, который, вследствие общения рядового со старослуживым унтером, с вольноопределяющимся, наконец, с офицером, далеко ушел от говора глухой деревенщины и, наряду с местными словечками, пестрел городскими выражениями, а иногда и перлами писарской солдат-

ской аристократии. Это подлинная живая речь, чуждая лженародной орнаментировки в стиле «Ах ты гой еси, добрый молодец!», к которой прибегает большинство писателей, пытающихся вывести героя «из народа», но неспособных говорить его языком.

Во всех шестнадцати рассказах книги элемент сказочности, фантастики естественно выходит из самых простых бытовых положений, и потусторонняя сила представлена не генералом преисподней — дьяволом, и не ее офицерами — чертями, а «нижними чинами — «колдунками», домовыми и, конечно, русалками — сильно смахивающими на швеек и горничных — «просто мед на рессорах!» .

Появление этих насельников наших водяных мельниц, чердаков и приусадебных прудов ничуть не удивляет русского солдата — старые соседи, — и он умудряется обдурить эту захудалую нечисть и с ее помощью обделать свои делишки.

Саша Черный был одним из талантливейших сотрудников незабвенного «Сатирикона» и, конечно, говоря устаревшим, но до сих пор общепринятым языком, принадлежал к «левому» лагерю, но его сатира никогда не переходила в злостное издевательство, ему всегда было свойственно чувство меры и пределов морально дозволенного. Это и выделяло его из группы обличителей, вместо краски мазавших дегтем ворота отчего дома.

Но мало того, война раскрыла Саше Черному глаза на подлинную Россию и навсегда излечила от безответственного критиканства. Его доброе сердце и светлый ум обнаружили добротность и красоту ткани народной жизни. Он понял великую ценность бытового уклада нашего народа и сумел в «Солдатских сказках», избегнув слащавости и фальши, показать подлинные отношения между солдатом и офицером, ту жизненную спайку, которой держалось наше Отечество, и тем самым разоблачить предательство бессовестных агентов революции.

Теперь, когда свидетели русской дореволюционной жизни, один за другим, уходят со сцены и живая память уже не говорит новым поколениям о подлинной России,

книга Саша Черного служит великолепным свидетельством здоровья, бодрости и задорной самоуверенности, одушевлявшей русский народ еще накануне катастрофы.

В этой книге писатель-юморист вырастает в обладающего юмором бытописателя.

Разница существенна: рассказы ведутся в спокойном повествовательном тоне, в них рассыпаны, мимоходом, целые сокровища бытовых подробностей, позволяющих почувствовать вкус, запах, цвет ушедшей жизни, — и вдруг, как в фокусе, в одной фразе, даже слове, повествование взрывается смехом.

Это свойство Александра Михайловича, который и в жизни не походил на «присяжных остряков», людей угрюмых и истощенных своим смехотворчеством, живо припоминается пишущему эти строки и воскрешает старые годы: Фавьер и удивительную публику, в нем собиравшуюся.

В 1929 году мне впервые удалось вырваться из парижских рабочих будней и провести счастливый месяц в Ментоне. В те времена там осело немало русских, и мы с женой получили сдававшуюся на сезон квартиру русской дамы, носившей, впрочем, громкую иностранную фамилию. Владелица квартиры с замужней дочерью перебирались на это время в окрестности — в балаганчик при курятнике, а муж молодой аристократки, служивший механиком, проводил ночи в одной из чинящихся машин. В Ментоне дамы появлялись редко и то по особому случаю.

Помнится, пригласили их на свадьбу, и они ворвались к нам в страшной спешке — необходимо было найти для торжества брачный наряд дочери. Взволнованно картавя и, без видимых причин, лобызая в суматохе мою жену, они принялись за поиски.

С героическим усилием был вскрыт монументальный платяной шкаф, и тогда, от притока свежего воздуха, на пол низверглась мумия кружевного чуда швейного искусства. Когда же густая туча моли рассеялась, выяснилось, что от драгоценного наряда уцелело одно декольте.

Удивились только мы.

— Постой! — воскликнула мать. — А прелестное платьице, которое ты только раз надевала на крестинах Коко? Еще покойный папа устроил мне ужасную сцену — будто мы растратчицы!

— Да, кажется... Но постой, где же оно?

— Оно, оно... Да, конечно же, под шкафом! Я куда-то спешила, а этот ужасный шкаф никогда не раскрывается...

И действительно, «растратчицы» наряд из лучшего мезона извлекли, но... нужно ли договаривать?

А время шло, и заменить призраки былой пышности не было возможным... Делать нечего, расстроенная дочь с легким стоном склонилась в мои, поневоле раскрывшиеся, объятия, но сейчас же оправилась и бросилась через улицу в гараж предупредить мужа.

Бывший лейтенант российского флота, плотный, медлительный и невозмутимый, как раз успевший выбрить, перед автомобильным зеркальцем, правую щеку, узнав, что на свадьбу ехать не придется, вздохнул с явственным облегчением, утер напрасно взмыленную левую щеку механической тряпкой и нырнул под машину...

Великосветская свадьба состоялась в ущербленном составе.

С грустью оставив лучшее общество Ментоны, где на главной площади красуются великолепные конные статуи русского скульптора Лансере, изображающие соколиную охоту, а над городом, на старинном кладбище, целые аллеи наших восьмиконечных крестов осеняют вечный сон старой знати, — в свое время туберкулезных больных отправляли к морю и солнцу, где они угасали, — мы возвращались в Париж.

В окнах вагона промелькнули яркие, будто перекрашенные щедрым художником виды французской Ривьеры.

Вот Тулон; яхты — нарядные игрушки, утюги-дредноуты и пузатые корыта рыбацких барок. На вокзале веселые группы отпускников-матросов со смехом, с шутками втискиваются в вагоны. Минуя наше купе, топчача по коридору и без нужды стучая о стены своими

металлическими сундучками, они оседают в соседнем, почти пустом.

Поезд трогается, но еще долго слышится возня, чмокание откупориваемых бутылок, и ветерок — все окна и двери открыты настежь — доносит кисловатый запах «пинара»...

Жена выходит в коридор, чтобы еще раз насладиться то появляющимся, то исчезающим морским простором.

— Ты знаешь, — говорит она, вернувшись, в радостном волнении, — в матросском купе, в уголке сидит, совсем задавленный, Саша Черный. Зови его сюда, на свободное место.

Знакомы мы не были, только раз в давке у буфета, на каком-то литературном вечере, нам его указали, но жена не сомневалась нисколько.

У матросов дым стоял коромыслом, накурено до синевы, бутылки то и дело закидывались над развеселыми головами, а воспоминания о покинутых «дамах» и предвкушение атаки парижанок могли бы заполнить не одну главу специальных «романов»...

Единственный, несколько ошеломленный свидетель этого коллективного творчества, в молодых и необыкновенно живых глазах которого светилась и подавляемая досада, и явная насмешка над своим незавидным положением, а на губах играла улыбка — «попался, брат! и так до самого Парижа!!» — был, ну, конечно же, Саша Черный. Какие могли быть сомнения? Такие лица бывают только у русских интеллигентов, и в особенности у наших питерских...

Что-то необыкновенно милое, чистое было в этом сохранившем молодость лице, увенчанном облаком легких, курчавившихся, совершенно седых волос, еще резче выделявших черноту бровей и короткой ниточки усов.

— Вы — Саша Черный?

— Да.

— Пойдемте, у нас есть место.

Со вздохом облегчения, но без всякого удивления Саша Черный, захватив свой небольшой, поношенный,

но добротный чемоданчик русской работы, последовал за мною.

В Париж мы приехали уже друзьями и в немногие оставшиеся ему годы проводили каникулы вместе, в благословенном Фавьере, обратившемся после войны в шумный курортный поселок, а тогда состоявшем из многих русских дачек под соснами у моря, на великолепном песчаном пляже которого собирались и разбредались вдоль берега десятка два-три русских фигур — подлинное раздолье!

Саша и Маша Черные, с длинношерстым фоксом Микой (Саша любил, держа его за задние лапки, перекинуть через плечо и бродить с ним под соснами, приговаривая: «Мушка, Мушка...»), проживали вначале вместе с Билибиными и нами на даче Милюкова.

Куприн ютился в сарайчике для рыбацких лодок на самом берегу. Тут же поблизости проживал милый старик Соломон Крым, бывший председатель Крымского правительства, автор книжки сказок, вдохновленных татарским эпосом, а в эти времена обратившийся в официального «дегустатора» вин, великим знатоком которых он — крымский винодел — почитался издавна.

С многочисленной и пестрой семьей, в своей дачке, отдыхал здесь и крупный ученый, а вместе с тем и взрослый ребенок, добрейший проф. Метальников. Рядом прилепилась на склоне приземистая дачка полковника Белокопытова, когда-то владельца великолепного имения на Украине с домом-дворцом, сказочным парком, фотографии которых у него чудом сохранились. Этот стройный величественный старик, брат чудесной старушки художницы — вдовы Мечникова, имел обыкновение при приезде любимых им дачников, к которым я имел честь принадлежать, подымать над домом, на высоком шесте, русский флаг, и когда, перевалив холм, отделяющий бухту Фавьера от низменности Лаванду, я охватывал взором русские дачки и трепещущий над ними трехцветный флаг, мне казалось, что я вернулся домой...

Интересно, что французские власти, желая придать свободной русской колонии привычные им формы, официально почитали полковника Белокопытова нашим

мэром и направляли на его имя все официальные бумаги общего значения.

В Ла Фавьер наезжали и поэты: Борис Поплавский, который предавался на пляже атлетическим упражнениям с гириями, вернее, с одной гирей, заменяя недостающую консервной банкой, наполненной песком, Вадим Андреев и Антонин Ладинский, бывали и другие, художники, ученые — всех не перечислишь. Одним из пионеров этого обретенного рая и подлинной душой нашего общества был Саша Черный.

Его очаровательная простота, его понимание того, как нужен всем этот отдых, и умение помочь людям забыть тяготы жизни за веселой беседой, за стаканом вина, умение попотчевать неисчерпаемым запасом анекдотов и заставить посмеяться даже тех, кто отвык улыбаться, — все это побуждало «фавьерцев» искать его общества и... почувствовать, как личное горе, его неожиданную и преждевременную кончину — Александру Михайловичу едва перевалило за пятьдесят лет.

Сашу Черного поразил солнечный удар на лесном пожаре, куда он, конечно, прибежал одним из первых. Надо сказать, что летом он всегда носил старинное канотье, в котором даже и купался, а тут впопыхах тушил пожар с обнаженной головой. Возвращаясь домой, почувствовал себя дурно, на час-другой благодаря любовному и опытному уходу Маши — русской сестры милосердия, как будто оправился, но удар повторился.

Нести его гроб надо было далеко, по крутым склонам до дороги, где стояла черная колесница, запряженная одной древней клячей.

Несли князь Лев Оболенский, Ладинский, Билибин, пишущий эти строки, сменяясь с другими. Священника ко дню похорон выписать не удалось, но у нас составил хороший хор, сопровождавший шествие до самой могилы; на кладбище Лаванду прах Саши Черного опустили в землю под панихидные песнопения... Он был похоронен с русской истовостью, за его гробом не шло ни одного равнодушного, мечтающего об окончании «церемонии».

Дай Бог каждому из нас к концу жизни заслужить такую любовь.

Саша Черный обладал удивительным душевным равновесием. Его не сломили ни сознание невозвратимости его России, ни изгнание, но живая память о родине, сознание нашей общей перед нею вины его никогда не оставляли, и мы закончим его же стихами — стихами о России:

Прокуроров было слишком много!  
Кто грехов Твоих не осуждал?  
А теперь, когда темна дорога,  
И гудит — ревет девятый вал,  
О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —  
Это все, что здесь мы сберегли...  
И встает бывшее светлым раем.  
Словно детство в солнечной пыли...

## Ему было всего 52 года...

В стихах Дон Аминадо был лиричен. Его проза напоминала удары рапиры. У Сашы Черного никогда не было этой заостренности фразы. В нем поэт всегда перебивал сатирика и юмориста, в особенности в последний, парижский период его жизни.

Из России Саша Черный приехал в Париж уже знаменитым «сатириконцем». Кто еще до революции не знал и не декламировал его очаровательных, остроумных стихов:

Мать уехала в Париж...  
И не надо! Спи, мой чиж.  
А-а-а! Молчи, мой сын,  
Нет последствий без причин.  
Черный гладкий таракан  
Важно лезет под диван.  
От него жена в Париж  
Не сбежит, о нет, шалишь!

Множество веселых и сатирических стихов было им написано в России. А в Париже Саша Черный как-то изменился, стал глубже и все больше начал уходить от сатиры и юмора в область чистой лирики. Был он Поэт с большой буквы, но в романтический плащ не драпировался, поэтических поз не принимал, и если писал о Пегасе, то его Пегас был симпатичным лохматым коньком, очень приятным, своим, близким.

Познакомились мы в Париже. С Александром Михайловичем было всегда уютно, но очень быстро я почувствовал в нем два противоречивых начала — периоды грусти сменялись веселым, благодушным настроением, и он по праву мог о себе писать:

Солнце светит — оптимист.

Солнце скрылось — пессимист.

Он часто приходил в редакцию «Последних Новостей». Устраивался где-нибудь в уголке, застенчивый, скромный, и молча наблюдал. Если ему говорили комплименты, он смущался, словно в чем-то был виноват, скорее переводил разговор на другую тему. И наружность у Саши Черного была располагающая. Ничего резкого, мягкие черты лица, румянец на щеках, блестящие, черные, всегда внимательные глаза и седые как лунь волосы. Однажды он сказал мне, еще молодому, с большой шапкой черных волос:

— Как странно: вот вы — Седых, а черный. А я — Черный и совсем седой.

Мы потом много смеялись, вспоминая эту остроту. Он вообще любил смеяться, не только для читателя, но и для себя и для своих друзей. Без улыбки не мог рассказывать о похождениях своего верного друга фокса Микки. Фокс был презабавный — половина головы черная, половина белая, и он был умница — понимал каждое слово своего хозяина. Были у Микки свои обязанности. Каждое утро, в половине восьмого, он садился в передней у двери и не сводил глаз со щелки у пола. Проходили минуты, Микки не двигался и только постепенно от нетерпения и внутреннего волнения начинал дрожать всем телом... Наконец, часов в восемь, консьержка, разносившая почту, начинала просовывать в щелку номер «Последних Новостей». Сначала показывался кончик сложенной газеты, потом больше... Наконец наступал блаженный момент: Микки хватал газету зубами и стрелой летел в спальню, прыгал на постель Александра Михайловича и с торжеством подавал ему номер. В конце концов песик дождался и литературной известности. Саша Черный начал печатать «Дневник фокса Микки». Оказалось, что Микки прекрасно разбирается в политических вопросах и может давать недурные советы людям. Мы были знакомы еще в тот период, когда он подписывался «Саша Черный». А потом вдруг что-то случилось и он стал подписываться «А. Черный». Я спросил почему, и он насмешливо ответил:

— Какой же я теперь Саша? Уже подросток... И так всякий олух при встрече мне говорит: здравствуйте, Саша! Буду называться Александром Черным.

Так и осталось. Все, что писал А. М. Черный, было свое, оригинальное, ни на кого не похожее, но жить было трудно, — из «очарованного странника» поэзии он вдруг превратился в странника настоящего, в эмигрантского писателя, морально растерянного, материально необеспеченного.

— Неправильная у вас биография, — сказал ему однажды Дон Аминадо. — Непростительная это ошибка — не иметь ни родины, ни квартиры, ни портрета Алексея Максимовича Горького с собственноручной надписью.

Но все же, с годами, некое подобие прочной жизни наладилось. Саша Черный много работал и лелеял мечту:

Жить на вершине голой,  
Писать простые сонеты  
И брать от людей из дола  
Хлеб, вино и котлеты...

И вот эту свою скромную мечту он наконец осуществил. На юге Франции, в местечке Фавьер, среди виноградников и зеленых холмов Прованса, он купил себе скромный домик — последнее свое пристанище. Посадил вокруг десяток деревьев, собственноручно сколотил две скамейки — а вдруг сюда вечером придут влюбленные и захотят посидеть в тишине и одиночестве?.. Отсюда, с вершины холма, открывался вид на море, на зеленые виноградники Прованса, на обожженный солнцем Эстерель.

Здесь он гулял со своим Микки жарким, солнечным днем 5 августа, когда вдруг раздались крики «Пожар!». На соседнем участке загорелся лес... Страшные лесные пожары случаются в этих местах. Эстерель горит каждое лето. Паровозная искра или брошенная на землю папироса уничтожает тысячи гектаров леса. Мгновенно вспыхивает сухой вереск, с треском загораются смолистые сосны, и начинает бушевать всеуничтожающий огонь, оставляя позади себя только обездоленную чер-

ную землю, покрытую золой, да обугленные пни деревьев... Александр Михайлович бросился тушить, и, к счастью, огонь быстро удалось забросать землей.

Вернулся он домой усталый, прилег отдохнуть, и у него случился сердечный приступ, а через полчаса Саша Черный умер.

Ему было всего 52 года.

Через сорок пять лет после смерти Саши Черного обнаружили, что могилы поэта на кладбище Лаванду, где он был похоронен, больше не существует. Концессия на могилу не была вовремя продлена, и администрация перепродала место на кладбище... Нашлась добрая душа — Валентина Волгина, собрала нужные средства, и в центре кладбища установили памятную мраморную плиту, на которой выгравировано:

Поэту и писателю  
САШЕ ЧЕРНОМУ  
1880 — 1932  
с любовью  
русские во Франции

# Александр Бахрах

## По памяти, по записям...

Может быть, психологи смогли бы ответить на вопрос, почему писатели и поэты-юмористы сплошь да рядом оказываются людьми сумрачными, нелюдимыми, завзятыми неврастениками? В этом отношении только подтверждал правило прославленный когда-то сатирик Саша Черный. Его стихи в свое время знала наизусть чуть ли не вся читающая Россия; в своих речах их цитировали думские депутаты и в защитительных речах передовые присяжные поверенные, хотевшие огорошить присяжных своей «близостью» к современной литературе. А Маяковский, хоть и казавшийся ему чуждым, но многое от него позаимствовавший, в своей лаконической автобиографии обмолвился: «Поэт почитаемый — Саша Черный». По свидетельству близких, Маяковский способен был подолгу на память декламировать сатиры Черного.

Но времена меняются... Когда я с ним познакомился, волосы его уже были обведены серебряной краской, от его былой ядовитости не оставалось и следа, а глаза его точно источали грусть. Всем его неприхотливым обиходом — распорядком его дня, его хозяйством, да если судить по кое-каким беглым впечатлениям, им самим и его музой по-диктаторски заправляла его жена — пресловутая Марья Ивановна, которую все втихомолку именовали «Машей Черной», а люди более почтительные «Марьей Ивановной — Сашей Черной».

Она без усталости и без передышки сновала по Парижу, давала уроки, выполняла чьи-то деловые поручения, продавала книги своего мужа, выискивала для них издателей. А было это дело нелегким... Она подлинно опекала мужа — стряпала для него, одевала его и обува-

ла, ходила за ним как нянька и каким-то почти чудодейственным образом, только благодаря своей природной настойчивости и энергии, сколотила кое-какие деньжата, позволившие ей приобрести домишко «на курьих ножках» в одном из поселков средиземноморского побережья, облюбованном и почти колонизированном русскими парижанами.

В эти годы сам поэт, почувствовавший, что продолжать именоваться Сашей уже не вполне приличествует его возрасту, окраске его поредевшей шевелюры и его репутации, решил видоизменить свой псевдоним, из которого, казалось ему, он «вырос», как из коротких штанов. «Сашу» он решил заменить «Александром». Но измена уменьшительному имени не принесла ему удачи. «А. Черный» не звучало — и потому, собственно, не привилось.

Когда-то я спросил его: «Александр Михайлович, почему вы в свое время окрестили себя «Сашей»?» Он кисло улыбнулся (улыбка его всегда была кисловатой) и пояснил: «Почему я так придумал, сам не знаю. Это было в сумасшедшем 905-м году. В недолговечном журнальчике «Зритель» я опубликовал стихотворение, названное мной «Чепуха». Подпись «Саша» была под ним как нельзя кстати, а стихотворение имело громкий успех. Так и пошло. Но знаете, этот «Саша» мне много горя доставил: еще в Петербурге каждый встречный-поперечный фамильярно окликал меня «Саша», да и тут — столько времени прошло — каждый недоросль пристаёт с этим «Сашей». А менять имя трудно и, главное, хлопотно. Между тем, хоть я про себя и написал, что «я привлекнее пчелки и ленивее совы», но правильно только то, что относится к сове!»

Не привилась перемена псевдонима, может быть, еще потому, что к этому времени Черный стал заметно сереть, писал мало и вяло, печатался еще того меньше, редко где появлялся, предавался «мерехлюндии» и общался, кажется, с одним только Куприным, старинным своим другом. Впрочем, и Куприн в те годы был малообщителен и едва разговорчив, и вспоминать сообща те битвы, «где вместе рубились они», им едва ли было весе-

ло, тем более что Черный всегда и везде был словно на отлете.

Кое-когда появлялся он на традиционных новогодних писательских балах, всегда в том же бесцветном, непроутюженном костюме. Молчаливый, безрадостный, он приходил словно по принуждению и сидел, не двигаясь, в каком-нибудь углу, позади буфетной стойки, за которой суежилась его супруга, продававшая всяческие снеди. Видно было, что ему тяжело и он точно «мокрой ваты наелся», с нетерпением поджидая момент, когда прилично будет улизнуть.

Дело было не только в том, что ему было неуютно среди веселящейся толпы. Его вообще стала тяготить и подавлять атмосфера большого города, и я вспоминаю, как однажды посетив его, когда он жил где-то в окрестностях Парижа, я едва узнал его: это был другой человек. На лоне природы, даже если это «лоно» было весьма относительным, это был уже не тот, о котором он сам когда-то сказал: «Как молью изъеден я сплином / Посыпьте меня нафталином...» Нафталин там больше не был необходим, и недаром, едва только представилась возможность, Черные покинули Париж и перебрались под приморские сосны теплого берега Франции.

В этом «самоизгнании» был, конечно, и трагический момент. Ведь теоретически Саша Черный ценил Париж с его сутолокой, любил прогулки по Булонскому лесу, нашел общий язык с французской детворой, но все дело было в том, что он потерял самого себя, не находил себе точки применения. Все его бывшее творчество, все, что создало ему имя, — сводилось к жалящим бытовым зарисовкам, обличающим пошлость, обывательщину, мещанство, косвенно проповедовавшим антиэстетизм. Все это было больше не к месту и перестало быть злободневным. Отчасти из-за этого его поэзия и зашла в тупик. Для гротеска не было больше материала, и усталый поэт потерял способность быть ядовитым сатириком, как не научился выступать в роли присяжного юмориста. «Пародией бесчестить Алигьери» было не в его духе, было ему не под силу.

Он переиздал, значительно их переправив, две ста-

рые книги своих сатир, выпустил третий сборник — «Жажду» с характерным для него циклом «Чужое солнце», в котором попадаются такие посвященные неизвестному другу строки:

Мы с тобой два знатных иностранца:  
В серых куртках, в стоптанных туфлях.  
Карусель кружится в ритме танца,  
И девчонки ввысь летят в ладьях...  
Вдосталь хлеба, смеха и румянца,  
Только мы — полынь в чужих полях...

«Полынь в чужих полях...» Это было именно то ощущение, которое этот бескомпромиссный человек изжить не сумел, а вероятнее всего, изживать не хотел. Ему казалось, что он отныне всюду и везде — прибегаю к его собственной формуле — «чужой как Брахмапутра». Вероятно, поэтому его так притягивала детская тематика, и его «Детский остров» несомненно самое ценное, что появилось за его подписью за рубежом. Эта подлинно ласковая, безыскусная книга для детей, не подделывающаяся под детский язык, может порадовать и взрослых. А под занавес Черный окончательно перешел на прозу и выпустил «Солдатские сказки», написанные бойкой, в меру арготической солдатской речью, которую он запомнил надолго. Ведь — кто бы мог подумать, глядя на него, — этот тщедушный и узкоплечий человек делал записи еще в 914-м году, проведя годы Первой мировой войны добровольцем на фронте.

А когда заветная мечта Саши Черного покинуть давивший на него город и осесть на собственном клочке земли, наконец, осуществилась и он перебрался на притягивавший его юг, «не получилось» у него и там. Жизнь его вскоре оборвалась. Возвращаясь домой с рыбалки, он услышал крики «Пожар» и ринулся к своему загоревшемуся домику. Пожар почти сразу потушили, собственно, тревога была ложной, но пережитое им волнение оказалось слишком сильным. В результате сердечного припадка он, не приходя в сознание, через несколько часов скончался и был похоронен на местном кладбище. Но и там его преследовала неудача: во время окку-

пации немцы вздумали воздвигать какие-то прибрежные укрепления, и могила Саши Черного была скрыта.

Только совсем недавно друзья и поклонники поэта водрузили памятную доску на том месте, на котором он предположительно был похоронен. Таким образом память о нем сохранится в его излюбленном Фавьере, в департаменте Вар.

# Владимир Набоков

## Памяти А. М. Черного

Кажется, нет у него такого стихотворения, где бы не отыскался хоть один зоологический эпитет, — так, в гостиной или в кабинете можно иногда найти под креслом плюшевую игрушку, и это признак того, что в доме есть дети. Маленькое животное в углу стихотворения — марка Саши Черного, столь же определенная, как слон на резинке. Но сейчас я вспоминаю не книги его.

Как ни противны мне всякие «личные выступления» (и жеманство виноватых кавычек), однако считаю неременным своим долгом сказать о той помощи, которую мне оказал А. М. лет одиннадцать-двенадцать тому назад. Один из лучших наших поэтов не так давно писал о глухонемом невнимании признанных к начинающим. Есть два рода помощи: есть похвала, подписанная громким именем, и есть помощь в прямом смысле: советы старшего, его пометки на рукописи новичка — волнистая черта недоумения, осторожно исправленная безграмотность, — его прекрасное сдержанное поощрение и уже ничем не сдерживаемое содействие. Вот этот второй — важнейший — род помощи я получил от А. М. Он был тогда вдвое старше меня, был знаменит — слух о нем прошел «от Белых вод до Черных» (на берегах последних возникали даже лица, выдававшие себя за него). Он жил в Шарлоттенбурге, в 60, кажется, номере от Вальштрассе; против его окошка высилась кирпичная стена, в комнате было темновато; я приносил ему стихи, о которых вспоминаю сейчас без всякого стыда, но и без всякого удовольствия. С его помощью я печатался в «Жар-Птице», в «Гранях», еще где-то.

Он не только устроил мне издание книжки моих юношеских стихов, но стихи эти разместил, придумал

сборнику название и правил корректуру. Вместе с тем я не скрываю от себя, что он, конечно, не так высоко их ценил, как мне тогда представлялось (вкус у А. М. был отличный), — но он делал доброе дело, и делал его основательно. Мне неприятно, повторяю, соваться со своей автобиографией, да и кажется, не я один могу вспомнить его помощь, — мне только хотелось как-нибудь выразить запоздалую благодарность, теперь, когда я уже не могу послать ему письма, писание которого почему-то откладывал, теперь, когда все кончено, теперь, когда от него осталось только несколько книг и тихая, прелестная тень.

*13 августа 1932 г.*

# Библиографический комментарий

Литературный дебют Саша Черного состоялся в житомирской газете «Волынский вестник» в июне 1904 года. Газета просуществовала всего полтора месяца. За это время Саша Черный успел выступить как автор статей, заметок и стихотворений. Переехав в 1905 г. в Петербург, Саша Черный уже в 1906 г. выпустил первый стихотворный сборник «Разные мотивы». Однако славу он обрел после выхода в марте 1910 г. в издательстве М. Г. Корнфельда книги «Сатиры», которая при жизни автора выдержала шесть изданий.

За ней последовала в конце 1911 г. книга «Сатиры и лирика» (изд. «Шиповник») (четырежды переиздавалась при жизни автора).

Следующая поэтическая книга «Жажда» вышла уже за рубежом в 1923 году в издании автора.

В настоящем сборнике публикуются стихотворения из книг «Сатиры», «Сатиры и лирика», «Жажда», а также стихотворения, печатавшиеся лишь в периодической печати, по изданию: Саша Черный. Стихотворения / Вступ. статья К. И. Чуковского, биогр. справка, сост., подготовка текста и примеч. Э. М. Шнейдермана. СПб.: Петерб. писатель, 1996 (Б-ка поэта. Большая серия).

За рубежом в конце 1920 г. в Берлине в издательстве «Слово» (в выходных данных указано: Данциг, 1921) была напечатана книга стихов для детей «Детский остров». В нее вошло наряду со стихами, написанными и опубликованными еще в России, множество новых стихотворений.

В настоящем сборнике «Детский остров» воспроизводится по изданию: Саша Черный. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 5: Детский остров / Сост., подг. текста и коммент. А. С. Иванова. М.: Эллис Лак, 1996.

Обратившись к прозе еще в дореволюционные годы, Саша Черный до эмиграции публиковал свои рассказы лишь в журналах. За рубежом он выпустил несколько книг прозы для детей и взрослых: «Несерьезные рассказы» (Париж,

1928), «Дневник фокса Микки» (Белград, 1930), «Солдатские сказки» (сборник вышел уже посмертно — в 1933 г.), ряд других. «Библейские сказки» согласно сведениям Л. А. Спиридоновой вышли в Москве в 1921 г. Однако, по изысканиям А. С. Иванова, такой книги у Саши Черного при жизни не выходило.

В настоящем сборнике тексты прозаических произведений даются по изданию: Саша Черный. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3—5 / Сост., подгот. текста, коммент. А. С. Иванова. М.: Эллис Лак, 1996.

\* \* \*

В раздел «Вспоминая Сашу Черного» включены воспоминания писателей, которые общались с Сашей Черным в разные годы его эмигрантского бытия и смогли сохранить для нас каждый по-своему его обаятельный человеческий и писательский облик.

**Николай Владимирович Станюкович** — плодовитый литературный критик и поэт; автор поэтических сборников «Из пепла» (1929), «Свидетельство» (1938), «Возвращение в гавань» (1949).

Его воспоминания были опубликованы в журнале «Возрождение» (1966. № 169. С. 119—225).

**Андрей Седых** (наст. имя Яков Моисеевич Цвибак; 1902—1994), журналист и прозаик; в 1933 г. в качестве секретаря сопровождал И. А. Бунина в Стокгольм на Нобелевские торжества; с 1973 г. — главный редактор и владелец газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк). Воспоминания «Три юмориста» (куда вошли воспоминания о Саше Черном) опубликованы в журнале «Мосты», 1961, № 8.

**Александр Васильевич Бахрах** (1902—1985) — литературный критик, литературовед, журналист, мемуарист. Автор книг «Бунин в калате» (1978), «По памяти, по записям» (1980).

Его воспоминания о Саше Черном опубликованы в составе третьей части книги «По памяти, по записям», которая печаталась в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1996, № 197. С. 225—229).

**Владимир Владимирович Набоков** (псевдоним В. Сирин) (1899—1977) — прозаик, поэт, драматург. Его воспоминания напечатаны в парижской газете «Последние новости» (1932, 13 августа).

Литературно-художественное издание

**Саша Черный**

**АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА**

Том тридцатый

Ответственный редактор *М. Яновская*  
Художественный редактор *А. Мусин*  
Технический редактор *Н. Носова*  
Компьютерная верстка *Т. Комарова*  
Корректор *Н. Хаустова*

ООО «Издательство «Эксмо».  
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.  
**Интернет/Home page — [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)**  
Электронная почта (E-mail) — [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»  
обращаться в рекламное агентство «Эксмо». Тел. 234-38-00.**

**Оптовая торговля:**  
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.  
Тел./факс: (095) 745-89-16.  
Многоканальный тел. 411-50-74. E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

**Мелкооптовая торговля:**  
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.

**Книжные магазины издательства «Эксмо»:**  
Супермаркет «Книжная страна». Страстной бульвар, д. 8а. Тел. 783-47-96.  
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»). Тел. 194-97-86.  
Москва, Пролетарский пр-т, 20 (м. «Кантемировская»). Тел. 325-47-29.  
Москва, Комсомольский пр-т, 28 (в здании МДМ, м. «Фрунзенская»). Тел. 782-88-26.  
Москва, ул. Сходненская, д. 52 (м. «Сходненская»). Тел. 492-97-85.  
Москва, ул. Митинская, д. 48 (м. «Тушинская»). Тел. 751-70-54.  
Москва, Волгоградский пр-т, 78 (м. «Кузьминки»). Тел. 177-22-11.

**Северо-Западная Компания представляет  
весь ассортимент книг издательства «Эксмо».**  
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.  
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82.

**Сеть книжных магазинов «БУКВОЕД».** Крупнейшие магазины сети:  
Книжный супермаркет на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34  
и Магазин на Невском, д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**Сеть магазинов «Книжный клуб «СНАРК»** представляет самый широкий  
ассортимент книг издательства «Эксмо».  
Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.

**Всегда в ассортименте новинки издательства «Эксмо»:**  
ТД «Библи-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,  
«Московский дом книги», «Дом книги в Медведково», «Дом книги на Соколе».

Подписано в печать с готовых диапозитивов 25.12.2003.  
Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура «Букмэн».  
Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 36.96 + вкл.  
Тираж 6000 экз. Заказ 2560.

ISBN 5-699-05152-X



9 785699 051526 >

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»  
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.







ПАРОВОЗЪ

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ВЫСТАВЛЕН. УДОБНОСТИ ВОДЯН. ПАРОВОЗЪ



ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ АПТЕКА

МУЗЫКАЛЬНО-ВОКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Саша Чёрный

Антология Сатиры и Юмора России XX века

«...мне только хотелось как-нибудь  
выразить запоздалую благодарность,  
теперь, когда я уже не могу послать  
ему письма, писание которого поче-  
му-то откладывал, теперь, когда все  
кончено, теперь, когда от него оста-  
лось только несколько книг и тихая,  
прелестная тень».

ВЛАДИМИР НАБΟКОВ

13 августа 1932 г.